

Иван
ЕВСЕЕНКО
Сердце-колокол

Повести последних лет.
Воспоминания коллег и друзей

Воронеж ■ 2024

УДК
ББК
Е

*Издание осуществлено при поддержке
Министерства культуры Воронежской области*

Руководитель издательского проекта *И.А. Щёлоков*
Составитель *Е.Г. Новичихин*
Редактор-составитель *В.Е. Новохатский*

Евсеенко И.И.
Сердце-колокол. Повести последних лет. Воспоминания коллег и друзей. —
Воронеж: ГБУК ВО «Журнал “Подъём”», 2024. — 516 с.

ISBN

Иван Иванович Евсеенко (2 августа 1943, село Займище, Черниговская область — 12 декабря 2014, Воронеж) — один из ярких русских прозаиков второй половины XX — начала XXI веков, автор многих повестей и рассказов, публиковавшихся в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Москва», «Смена», «Подъём», «Север», «Дон», «Роман-газета», выходящих отдельными книгами в издательствах Москвы и Воронежа, а также в переводах на иностранные языки. Лауреат многих литературных премий. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

В книгу вошли художественные произведения И. Евсеенко последних лет. Многие из них впервые были опубликованы в журнале «Подъём», но не входили в отдельные издания. Воспоминания о писателе созданы его друзьями, коллегами по перу и родными людьми.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся отечественной литературой, жизнью и творчеством современных русских писателей.

*В книге использованы фотографии из личных архивов
Светланы Евсеенко, Виталия Жихарева, Евгения Новичихина
и архива журнала «Подъём»*

УДК
ББК
Е

© Евсеенко И.И. (наследники), 2024

ISSN 0130-8165. «Подъём», 2024 г., 0-416

Поющие пески

Повести и рассказы последних лет



ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ...

Повесть

Всем, кто любил и любит...

Он приехал в родной свой город ранним апрельским утром. Стояла та благословенная пора, когда в природе все оживает, обновляется, приходит в движение; на тополях и кленах набухли и уже готовы были вот-вот распусться почки; в палисадниках старых бревенчатых домов пробились из-под земли первые весенние цветы — петушки и мята; вернувшиеся из дальних стран птицы обустроивали гнезда, неутомно щебетали и волновались, радуясь этому своему возвращению.

Он не был на родине более двадцати лет, с того самого дня, как забрал к себе в Москву заметно уже постаревшую и начавшую прибалживать мать. А кроме матери в маленьком их железнодорожном городке и в селе, где прошли его детство и юность, у него никого и не осталось.

Конечно, навестить родные свои места ему хотелось и раньше: пройти по узеньким, почти что деревенским улочкам городка, в летнюю пору всегда пламенеющего в палисадниках цветами, а в зимнюю — заваленного высокими снежными сугробами. Хотелось сходить пешком в родное село, постоять на том месте, где когда-то возвышался их с матерью дом, а теперь, говорят, лишь простирается заросший полынью пустырь.

Но приехать все никак не удавалось. То задерживали всякие писательские дела, всегда неотложные и срочные, то совсем тяжело заболела и вскоре умерла мать.

Но теперь откладывать поездку было уже нельзя. К нему самому незаметно подкралась старость, а вместе с ней и болезни. Вначале вроде бы еще и неопасные, преодолимые, а на исходе нынешней зимы, похоже, настгла уже последняя — неотвратимая... Врачи отмеряли ему всего три месяца (самое большое — полгода) жизни. И он все бросил — и поехал. Надо было попрощаться и с родным городом, и с селом, с детством и юностью и, главное, с ней — с Ириной Александровной, с Ирой, которая, по дошедшим до него слухам, после долгих лет жизни в других краях, вернулась назад в городок, поселилась в родительском доме и работает в районной библиотеке имени Короленко.

И вот он приехал. Сойдя с поезда, он перешел через высокий железнодорожный мост в центр города, за годы его отсутствия заметно перестроенный и обновленный. Дальше дорога лежала через скверик, когда-то слывший главным городским парком с дощатой танцплощадкой посередине. В нем росли громадные раскидистые осокори, липы и клены, под которыми стояли садовые скамейки на литых чугунных опорах. Здесь, в парке, любили в жаркую летнюю пору отдыхать старые городские жители, в основном ушедшие на пенсию паровозные машинисты, рабочие депо и служащие Дистанции пути — все люди степенные, уважаемые в городе, много чего повидавшие и много чего пережившие на своем веку. Вдоволь наговорившись, истомив себя воспоминаниями о давно прошедших временах и событиях, о войнах: и последней, Отечественной, и Гражданской, и еще Первой мировой, когда им доводилось снаряжать и водить поезда в дальние опасные поездки, в Галицию, в Польшу и Крым, они расходились по домам лишь в поздних сумерках. И тут же места стариков-машинистов занимала молодежь, уже начинавшая собираться на танцы под духовой оркестр железнодорожного депо. На уютных чугунно-деревянных скамейках назначались свидания, встречи, вспыхивали жаркие споры о только что увиденном кинофильме в Железнодорожном клубе, здесь признавались в любви, давались обещания и клятвы.

Но сейчас он парка не узнал. Он действительно превратился всего лишь в маленький скверик, теснимый со всех сторон новыми кирпичными домами-коттеджами. Вековые осокори, клены и липы были давно спилены, на их месте строго выверенными рядками росли молодые, неокрепшие еще пирамидальные тополя. Даже летом, при самой густой листве, они, наверное, не давали ни тени, ни прохлады, а нынче, в конце апреля, и вовсе выглядели какими-то опасно-тоненькими и случайными на пустынно-голом пространстве.

Бесследно исчезли из парка чугунные скамейки. Их заменили новыми, намеренно простенькими: четыре ножки, сваренные из металлических труб, а к ним прикреплены-привинчены болтами вразрядку неширокие, выкрашенные зеленой краской, рейки. И ни на одной из скамеек он не заметил спинки, хотя бы самых маленьких, всего в одну-две доски. А ведь без спинки садовая скамейка вовсе и не скамейка, а всего лишь деревянная лавочка. Старым людям на ней не откинуться в отдохновении изработавшимся своим согбенным телом, а молодым не сойтись в жарком объятии и порыве...

Единственное, что порадовало его в обновляемом сквере, так это строящаяся на месте танцплощадки церквушка. Но она стояла еще вся в лесах, без купола и креста, и была пока собственно не церковью, а обыкновенною, мало чем отличающейся от любых иных, стройкой.

В огорчении и даже какой-то стариковской обиде он постоял несколько минут возле ворот сквера и все-таки не вступил на его асфальтированные дорожки (в прежние, очень далекие времена они были выложены красно-сиреневыми, поставленными на ребро, кирпичами, наподобие того, как сейчас выкладывают в больших городах плитками тротуары), а мимо кинотеатра «Космос», построенного тоже уже не в его времена, пошел окольными улочками, надеясь, что там живет еще старой своей привычной жизнью его родной город.

И он не ошибся. Как только он свернул за кинотеатр и оказался возле районной поликлиники и инфекционного отделения больницы, где когда-то, давным-давно, в начале пятидесятых годов, опасно болея скар-

латиной, лежал целых сорок дней, так сразу все переменялось. Город здесь был весь прежний, во всем знакомый ему, легко узнаваемый. Здесь сохранились и осокори, и клены, и липы, и древние бревенчатые дома с резными наличниками, ставнями и коробками-фартуками, сплавившими крытую железом крышу со срубом. Сохранились кое-где даже кирпично-красные тротуары, чего он, признаться, никак не ожидал.

Несколько раз он останавливался возле того или иного дома, припоминал, кто из машинистов или других путейцев в нем жил прежде, и почти был уверен, что сейчас из калитки выйдет хозяин в черной железнодорожной форме и надо будет с ним обязательно поздороваться, как здоровался когда-то мальчишкой.

Но было пока слишком раннее утро, и из калиток никто не выходил. Город еще только-только просыпался, дремотно-сонный, тихий, весь в окружении хвойных лесов, песчаных полей и низовых пойменных лугов. Таким он всегда и представлял его себе в далекой своей и долгой разлуке.

За каждым домом скрывался, пусть и совсем маленький, но все-таки огород; оттуда доносился запах недавно освободившейся от снега земли, запах вишен, яблонь и слив, вернее, вишневого, яблоневого и сливового сока, который пришел в движение в стволах и ветках, наполнил силой и упругостью клейкие почки и все торопил их и торопил поскорее распускаться — объявлять весну.

Пройдя совсем коротенькую улочку больничного городка, он свернул налево в один из многочисленных Железнодорожных переулков, потом еще раз налево — и оказался на улице имени Короленко — на той улице, куда он и шел и куда бы мог прийти с закрытыми глазами, если бы даже весь город перестроился до основания.

Но, к счастью, тут тоже ничего не перестроилось. Обновилось — это да, это было сразу заметно по новым штакетникам и заборам, по пластиковой обивке некоторых домов (а раньше они все были либо оштукатуренными и белеными мелом, либо ошелеванными неширокими дощечками «в елочку»); в двух или трех местах он увидел заново возведенные крылечки. Но все эти незначительные и какие-то случайные перемены не портили улицу, не отчуждали ее, — она была все той же, прежней, улицей, на ней жила (и живет сейчас) Ира Белозерова, Ирина Александровна Белозерова. Впрочем, давно, конечно, не Белозерова, но это не имеет никакого значения...

Дом ее четвертый от угла, по правой стороне. Вначале будет заросший вишневым садом громадный дом (настоящий особняк-усадебка), под четырехскатной, крытой оцинкованным железом, крышей начальника железнодорожного депо Коновалова; потом районная библиотека имени Короленко, где и работает сейчас Ирина Александровна; потом островерхий, чем-то похожий на польский костел, домишко начальника Дистанции пути Корчевского и, наконец, — ее дом, именно ее, Ирин, а не дом ее отца, в те послевоенные годы несменяемого третьего секретаря райкома партии по идеологии Александра Савельевича Белозерова. Ирины родители, отец и мать, здесь ни при чем, они в стороне, в отчуждении — и дом Ирин, и только Ирин...

От угла улицы и до ее дома по кирпично-каменному тротуару ровно триста двадцать четыре шага.

К его великому удивлению и радости (уж чего не ожидал, того не ожидал!), кирпично-каменный этот, почти сиреневый тротуарчик и здесь сохранился. Его не закатали гудроном, что было, наверное, так соблазни-

тельно сделать, когда покрывали асфальтом песчаную и труднопроходимую улицу Короленко, а оставили как память (может, жильцы отстояли?) о прежнем довоенном и послевоенном городе. В это раннее утро тротуар был покрыт мелкими капельками росы, теснившимися в ложбинках и расщелинках, был живым и первозданным — и еще был брошен под ноги неожиданному заезжему гостю.

Сердце зашло у него в щемящей тревоге и тоске ожидания, вспыхнуло острой, отдающей под лопатку, болью. Он вынужден был остановиться и достать таблетку валидола. Когда же боль ушла, стала терпимой, а дыхание выровнялось, он переменял в руке портфель и лишь после этого встал на первый торцевой кирпичик, точно помня, что посередине его (ближе к правому краю) есть неглубокая выбоинка, образовавшаяся еще во время войны от срикошетившей пули.

По старой, навсегда, оказывается, укоренившейся в нем привычке, он начал считать шаги, ничуть этому не удивляясь. Он считал их с самого первого свидания с Ирой, безошибочно зная, что на триста двадцать четвертом шаге высокая двустворчатая дверь в доме откроется, и на крылечке предстанет Ира, в чуточку укороченном по тогдашней моде пальто и в неизменном своем ярко-голубом берете, который очень любила и который еще больше любил он.

Он и сейчас хотел надеяться на подобную встречу (пусть бы даже и случайную, непредвиденную) и начал убыстрять шаги, глядя только на кирпичики под ногами и совершенно не глядя на дома Коновалова и Корчевского и даже на библиотеку имени Короленко, сейчас еще закрытую, безлюдную — что ему до них!

Но каково же было его удивление, когда, дойдя до крылечка Ирины Александровны, он насчитал не триста двадцать четыре шага, а все триста пятьдесят. Старость, с грустью подумал он, — шаги стали короткими, неуверенными и зыбкими. Но потом он решительно отогнал от себя эти грустные мысли: дело не в старости и зыбкости, а в том, что, волнуясь, он, наверное, просто сбился со счета, вот и получилось триста пятьдесят шагов. Надо будет пройти еще раз, и ошибка легко обнаружится.

Но это — потом, после, а сейчас он поставил портфель на тротуар и затих перед домом, как, может быть, даже не затих бы перед своим родным домом, сохранился он только и уцелел (как он мог уцелеть без матери: разрушился, превратился в прах и пепел, зарос непроходимой серой полынью).

Дом Ирины Александровны, Иры, предстал перед ним точно таким же, каким он увидел его впервые полвека тому назад. Он стоял (будто парил) на высоком кирпичном фундаменте, заметно выделяясь постройкой от остальных, соседних домов, может быть, более богатых, но каких-то приземленных, несмотря на островерхие крыши. Он выходил на улицу сразу четырьмя громадными окнами (а у соседних — по два, не более), и от этого казался вольно распахнутым, открытым и неудержимо рвущимся навстречу каждому прохожему и проезжему человеку.

Окна в доме были забраны резными (но строгими, не вычурными) наличниками и такими же ставнями, со смотровыми прорезями в форме сердечек. Особенно впечатляла дверь. Казалось, она была сделана не столько для запираения дома, сколько для красоты. На каждой из створок в углублении филенок безвестный столяр, большой мастер своего дела, вырезал узоры-очертания обыкновенного лугового камыша, очерета, но так, что своими широкими продолговато-острыми листьями эти

узоры переплетались, когда дверь была закрыта на обе створки, и жили по отдельности, ничуть не нарушая рисунка, когда одна створка оказывалась распахнутой. Крылечко тоже было высоким, на шесть ступенек, с двумя лавочками по сторонам.

Но, главное, в конце дома, возле ворот, рос уже и тогда, наверное, столетний осокорь-тополь, укрывавший своими ветвями всю крышу, летом от знойного жаркого солнца, а зимой от снега и метели. Под тополем, в его тени и прохладе, всегда стояла садовая скамейка, точь-в-точь такая, как в городском парке. На ней уютно и укромно было сидеть, никем не замеченным и неопознанным — и они с Ирой не раз таились там — двое, всего только двое во всем мире.

Дом всегда белили, не поддаваясь соблазну ошелевать его, забрать под «елочку». Может быть, именно поэтому и казалось, что он парит над всеми остальными домами, взлетает и вот-вот взлетит из-под темно-зеленого шатра осокоря.

Дом и сейчас к недавно только прошедшим пасхальным дням был побелен (надо же!) и от этого тоже парил, летел и взлетал. Ставни на нем были открыты, распахнуты и прикреплены коваными крючками к стене. Значит, хозяйева, вернее, хозяйка уже на ногах, уже бодрствует. Так у них в городе было заведено с незапамятных времен: хозяйева, просыпаясь, прежде всего открывали в домах ставни. С этого начинался новый день, новая беспокойная жизнь, продолжение жизни.

Он тщательно поправил галстук, кожаную кепку и хотел было подниматься на крылечко, чтоб надавить на кнопочку электрического звонка, раз Ирина Александровна, Ира, сегодня не догадалась, что он уже прошел все триста двадцать четыре шага (и даже чуть больше) и теперь стоит напротив ее дома, а она все никак не выходит, но потом задержал руку. Все-таки для визита, для гостевания слишком рано, надо подождать хотя бы до девяти часов (а еще бы лучше до половины десятого или даже до десяти). Ирина Александровна ставни открыла, начала день, но к приему ранних гостей вряд ли готова.

Он осторожно, стараясь быть незамеченным из окна, прошел вдоль дома к осокорю и опять счастливо затих душой и сердцем — скамейка была на месте. Та самая, с чугунными литыми опорами и дощатыми сидением и спинкой. Сидение это и спинка за полвека, наверное, не раз менялись, красились и перекрашивались, но ничем не отличались от прежних, и скамейка, ничуть не ветшая и не старея, легко узнавалась, звала и манила к себе.

Он поддался ее зову, сел с правого края, уступая остальное место Ире, потому что она часто любила взбираться на скамейку с ногами.

Иру он помнил лет с восьми-девяти, когда мать уже начала позволять ему вместе со стайкой других более взрослых деревенских ребят ходить в город на праздники Первого мая и Седьмого ноября. Она давала ему целых пять рублей денег (настоящее богатство для мальчишки его возраста), на которые во время городских гуляний можно было купить бутылку вишневого, черносморodinного или клубничного сидра, закупоренного резиновой тугой пробкой (ее могла открыть только продавщица специальным штопором-змейкой), печенья, пряников, но, главное, мороженого — диковинного для больших и малых деревенских жителей лакомства.

Праздник всегда начинался демонстрацией. Со всего города стекались к парку, где в те годы стоял памятник Ленину, а в подножье его чем-то похожая на мавзолей трибуна, колонны демонстрантов со знаменами,

транспарантами, портретами Ленина, Сталина и других тогдашних вождей: Ворошилова, Молотова, Маленкова. Самой главной и самой многочисленной была, конечно, колонна деповская. Впереди нее кто-нибудь из особо заслуженных рабочих-орденоносцев нес тяжелое бархатное знамя с золототкаными, будто наложенными друг на друга портретами Ленина-Сталина с одной стороны и гербом Советского Союза — с другой. Вслед за этим основным знаменем развевались на ветру знамена поменьше (их можно было насчитать до десятка), наградные, завоеванные в социалистическом соревновании с другими депо Дороги. За ним, блестя на солнце ярко начищенными трубами, не шел, а шествовал, единственный на всю округу деповской оркестр духовых инструментов. Следом стройными рядами маршировали деповские спортсмены во главе с футбольной непобедимой командой «Локомотив», потом несчетно (может, даже не одна тысяча) празднично принаряженных людей, со всевозможными, вызывающими у деревенских мальчишек неподдельное восхищение, транспарантами: макетами паровозов, колесных пар, семафоров и стрелок; и тоже несчетно с лозунгами, на которых извещалось о достижениях в труде, о выполнении и перевыполнении планов, давались обещания и клятвы на будущее.

Не успевала деповская колонна занять почетное место точно напротив памятника Ленину, как тут же к ней примыкали колонны школьные, тоже многочисленные и тоже с транспарантами, портретами вождей, с самодельными из древесной разноцветной стружки цветами и со своими пионерско-комсомольскими лозунгами, среди которых главным был ленинский: «Учиться, учиться и учиться...».

Школ-десятилеток тогда в городе было две: железнодорожная №2, считавшаяся основной, где учились все городские ребята (Ира тоже училась в ней), и как бы вспомогательная, №1 имени Ленина, куда ходили после окончания сельских семилеток деревенские мальчишки и девочки и куда довелось ходить три года и ему. Школы эти постоянно соревновались и соперничали между собой: и в учебе, и в спорте, и в разных пионерско-комсомольских делах. Чаще всего, конечно, побеждала железнодорожная. Городские ребята были не то чтобы поспособней в учебе, спорте и пионерско-комсомольской работе, но посообразительней, более развитые, шустрые и напористые. Деревенские же, если когда и побеждали, так только трудом и упорством.

Праздничный митинг всегда открывал первый секретарь райкома партии Иван Егорович Пондыхнев, недавний фронтовик, носивший еще офицерскую гимнастерку под широкий ремень. Потом выступали один за другим председатель райисполкома, начальник депо, секретарь райкома комсомола, председатель какого-нибудь колхоза, передовая доярка, птичница или звеньевая полевого звена. И в самом конце от имени школьников маленькая бойкая девочка с заплетенными в две косички (ах, какие в них были ярко-красные, кумачовые бантики!) чуть волнистыми светлорусыми волосами. Говорила она всегда очень громко и задорно о счастливом детстве советских мальчишек и девочек, высоко и непокорно запрокинув вверх голову. Это и была Ира.

Она казалась ему тогда какой-то необыкновенной, особой девочкой, как будто сошла с экрана кино, которое изредка показывали в их деревенском клубе. Из подобных девочек вырастают потом зои космодемьянские, любви шевцовы и ульяны громовы. Она была такая недосыгаемая и такая далекая, что он даже помыслить не мог, что когда-нибудь будет

знаком с ней, будет держать за руку, возить на раме велосипеда, будет сидеть рядом вот здесь, на этой чугунной скамейке.

А вот же, все это и случилось, и произошло: и держал за руку, и возил на велосипеде, и сидел на садовой чугунной скамейке...

С самого маленького возраста Ира действительно была необыкновенной девчонкой-девочкой. Выступала она на всех праздничных митингах вовсе не потому, что была дочерью секретаря райкома партии, а потому, что добилась этого права отличной учебой и примерным поведением. Все десять лет, с первого и до последнего, выпускного класса Ира училась только на «отлично» и единственная на весь район окончила школу с Золотой медалью, что по тем временам случалось очень редко.

До четырнадцати лет он видел ее лишь на праздничных митингах-демонстрациях, да еще на школьных олимпиадах художественной самодеятельности в Железнодорожной клубе, где Ира всегда вела концерт своей родной школы. Но вот он поступил в восьмой класс школы №1 и стал ездить в город на велосипеде. И тут вдруг обнаружилось, что они каждое утро ровно в восемь часов (самое позднее в восемь часов десять минут) встречаются на переходном железнодорожном мосту. Встречаются по той причине, что школы их находились по разные стороны железнодорожных линий: Ирина, №2, сразу за вокзалом и водокачкой, почти на выходе из города, а его, №1, в центре, рядом с райкомом партии. Занятия в обеих школах начинались в половине девятого; и вот, торопясь не опоздать к первому звонку, они с Ирой и встречались на самой середине перекинутого через железнодорожные линии моста, потому что расстояние оттуда к их школам было одинаковым.

В восьмом и девятом классах он лишь узнавал Иру и старался пройти мимо нее как можно скорее, боясь задеть рулем или педалью велосипеда. А она, разумеется, его не узнавала: мальчишка да и мальчишка, деревенский парень на велосипеде, ничем не отличимый от десятков других, которые перебираются в это раннее утро на ту сторону моста, в центр города.

Но в десятом классе, в самые первые, начальные дни занятий, он вдруг стал замечать за собой что-то странное и необъяснимое. Как только Ира появлялась на мосту в школьной, тщательно отглаженной форме, в белоснежном, похожем на ангельские крылья (так ему казалось) фартуке, его сразу охватывал болезненно-острый озноб, смятение; он начинал стесняться и своей деревенской кепки-восьмиклинки, и застегнутых, как у всех тогдашних велосипедистов, бельевыми прищепками брюк, и дерматиновой полувоенной сумки с книгами на багажнике (а у нее аккуратный коричневый портфельчик с двумя застежками на широких резинках); лицо и особенно уши начинали у него гореть настоящим пламенем — но уходить с моста ему теперь никак не хотелось, а наоборот хотелось бесконечно долго смотреть, как она стремительно проходит мимо, высоко и гордо запрокинув голову, и как трепещет на ветру ее белоснежный фартук. Если же Ира вдруг не появлялась (может, заболела или пошла в школу окружным путем, через переезд), он не находил себе места, а на следующий день мчался в город спозаранку, занимал свой пост на мосту и, проглядывая все глаза, ждал и никак не мог дожидаться, когда же наконец мелькнет в толпе ее ярко-голубой берет.

А потом он начал ждать ее на мосту и после занятий (иногда даже сбегал с последнего урока), чтоб увидеть, как Ира будет возвращаться домой. Ему ничего от нее не надо было, а только видеть, только ощущать ее дыхание, когда она будет проходить мимо...

Он даже радовался, что Ира не обращает на него никакого внимания, весело и широко помахивает портфельчиком да изредка поправляет светлые русые свои волосы, которые от быстрого озорного движения выбиваются у нее из-под берета.

Но вскоре он почувствовал, что обращает, проходя по узенькой дощечке возле самых перил, с удивлением успеваешь посмотреть на него: отчего и почему этот парень всегда стоит на мосту, прислонившись к раме велосипеда, когда она идет в школу или возвращается домой — ждет кого? И если ждет, то почему никто и никогда к нему не подходит?..

Чем бы закончилось это их противостояние, эти их взаимно любопытные и настороженные взгляды, неизвестно. Но однажды они вынуждены были соприкоснуться и даже взяться за руки. Внизу, под мостом, почти беспрерывно проходили поезда дальнего и ближнего следования, пассажирские и товарные, сновал юркий маневровый паровозик «Кукушка», из широко распахнутых ворот депо выползали только что отремонтированные тяжелые паровозы «Иосиф Сталин» и «Серго Орджоникидзе»; и все они время от времени выбрасывали из труб резкими хлопками-взрывами клубы сизо-темного угольного дыма, а из-под колес точно такие же клубы-облака густого белого пара. Мост тогда окутывался, тонул в этом дымно-паровом тумане. В нем было трудно и почти невозможно дышать, ничего не было видно и даже не слышно, потому что паровозы, будто намеренно (может, им так полагалось по железнодорожным правилам) начинали гудеть то отрывисто и кратко, то, наоборот, протяжно и длительно, о чем-то переговариваясь и перекликаясь между собой.

В тот памятный для них с Ирой день под мостом оказалось сразу два паровоза «Иосиф Сталин». Они шли навстречу друг другу по смежным линиям, как шли навстречу друг другу по шаткому настилу моста Ира и он, и вдруг в одно спаренное дыхание паровозы выбросили из труб густо-непроглядное облако дыма, а из-под колес сизое шипящее облако пара, оба вскрикнули гудками вначале кратко, словно пробуя голос, а потом протяжно и пронзительно. Ира исчезла, растаяла в этом дыму и тумане, он потерял ее из виду, не слышал постукивания ее каблучков, легкого шелеста ее крылатого фартука. И тут она, стараясь перекричать несмолкаемые паровозные гудки, позвала, потребовала его на помощь:

— Ну, что же ты?! Я задохнусь здесь!

И он, забыв обо всем на свете, бросился на этот ее призыв и требование, на ощупь схватил за руку и стал торопливо выводить из дымной завесы вниз по ступенькам.

Опомнились они лишь на тротуаре, у подножья моста.

— А велосипед?! — испуганно воскликнула Ира.

Он невольно разжал ее руку и, перескакивая сразу через несколько ступенек, побежал вверх, где одинокий и ненужный, весь еще в дыму и водяном тумане стоял велосипед, вскинул его под раму на плечо и, рискуя упасть, помчался назад к Ире.

И как же оказался им нужен в эти минуты его старенький, разбитый на песчаных дорогах, велосипед.

— Садись! — как-то совсем просто и обыкновенно, словно они были знакомы давным-давно, сказал он. — Я отвезу тебя домой.

— Но я боюсь, — отшатнулась она в первые мгновения от велосипеда.

— Почему? — удивился он.

— Я никогда еще не ездила на раме, — честно призналась она. — Вдруг упадем.

— Не бойся! — впервые в ее присутствии засмеялся он. — Я тебя не уроню!

И она доверилась ему. Сама повесила почти игрушечный свой портфельчик на руль, сама, легонько оттолкнувшись туфелькой от тротуара, взобралась на раму и повернула к нему голову, не то спрашивая, хорошо ли она, правильно ли села, не то приказывая и поторапливая его:

— Ну?!

Он решил, что поторапливает. С двух шагов разогнал велосипед, вскочил в седло и помчал Иру вначале по кирпичному тротуару, а потом по песчаной торной тропинке через центральную площадь, через весь город на улицу Короленко.

По тем временам, по неписаным, но непреложным правилам тех времен такая поездка с девчонкой на раме, да еще через весь город или через все село, значила очень многое. Раз девчонка согласилась поехать с парнем на велосипедной раме, почти в обнимку, в одно дыхание, то из этого выходило, что не совсем она уже равнодушна к нему, не совсем посторонняя. Это был верный и неопровержимый знак, что они дружат или, по крайней мере, собираются подружиться в ближайшее время.

Он довез Иру до улицы Короленко в считанные минуты, бережно и осторожно, минуя на тротуарах и тропинках самые мелкие выбоинки и бугорки. Ее развевающиеся на встречном ветру волосы касались его лица — и оно вспыхивало и горело, словно от самого жаркого и нестерпимого огня; крылья фартука касались его рук и тоже обжигали и на запястьях, и выше, казалось, испепеляя сквозь толстую грубую ткань темно-синей вельветки. Возле дома им попались навстречу Ирины родители, Александр Алексеевич и Вера Николаевна, которые, судя по всему, возвращались с обеденного перерыва на работу: Александр Алексеевич в райком партии, а Вера Николаевна в поликлинику, где заведовала терапевтическим отделением.

Александр Алексеевич, увидев их, лишь усмехнулся, а Вера Николаевна, женщина строгая и властная, позвала к себе Иру и, совершенно не обращая никакого внимания на ее кавалера, начала выговаривать:

— Что это значит?!

— Это значит, — гордо и независимо запрокинув голову, ответила Ира, — что я катаюсь с мальчиком на велосипеде!

— Ладно, вечером поговорим, — тоном, не обещающим ничего хорошего, произнесла Вера Николаевна и увела Александра Алексеевича в первый попавшийся переулок, хотя тот, кажется, и готов был защитить дочь.

...Как и о чем говорила Вера Николаевна с Ирой вечером, он не знает до сих пор. Но Ира не прекратила кататься на велосипеде, иногда даже чуточку демонстративно требуя, чтобы он непременно провез ее мимо поликлиники. Такая вот она была тогда неуступчивая и отчаянная...

Встречаться они теперь стали дважды в день: утром на мосту, для того лишь, чтоб увидеть друг друга и постоять несколько минут у перил, глядя на убегающие далеко к переезду и Железнодорожному клубу рельсы; и после занятый у подножья моста, чтоб ехать оттуда на велосипеде по всему городу на зависть другим своим ровесникам и ровесницам.

В воскресные дни Ира бесстрашно назначала ему свидания возле дома, и они либо сидели на скамейке под осокорем, либо ехали на велосипеде за город в дубовую рощу, которая начиналась сразу за железнодорожной насыпью. И никогда больше в жизни у него не было счастливей и отрадней дней.

А потом... Что ж потом?.. Потом все случилось, как часто и случается в молодости. Окончив школу, они уехали поступать в институты. Ира, с золотой медалью, — в МГУ на факультет романо-германских языков, а он — в ближайший от их городка пединститут на истфак.

Ира как медалистка, пройдя всего лишь собеседование, поступила. Он же, увы, нет, не добрал целых два балла.

И вот с отчаяния и обиды (а еще больше от стыда перед Ирой) он вдруг взял и завербовался в Казахстан на целину.

Переписывались они с Ирой вначале очень часто, почти еженедельно. Она восхищалась его поступком и даже завидовала, что он работает в степи на тракторе, живет в палатке, а она ходит каждый день на занятия, зубрит английский и испанский языки, и никакой романтики в ее жизни нет.

Но вскоре он стал замечать, что письма ее становятся все короче и короче и приходят все реже и реже. Пока, наконец, не пришло и последнее, совсем уже коротенькое, всего в одну строчку: «Я выхожу замуж. Не сердись!»

Ему бы, наверное, надо было бросить и работу, и трактор, и палатки, и весь опостылевший Казахстан и немедленно улететь в Москву. Может, все еще и наладилось бы, может, все еще и остановилось бы, спаслось. Но он не полетел, как-то сразу, в одно мгновение поняв, что лететь не надо, что ничего уже не оставишь и не вернешь...

Перенес он все случившееся молча и одиноко, ни с кем не делись своими юношескими переживаниями, никому не открывая их.

На следующий год, осенью, его призвали в армию. Попал он служить на Северный флот, на самый конец света — Новую Землю. Тогда там проходили ядерные испытания, и он был причастен к ним. Врачи говорят, что его нынешняя болезнь — это следствие того причастия.

С Ирой они больше никогда не виделись. В Москве, где он после армии стал учиться, а потом и жить постоянно, ему, конечно, можно было ее отыскать. Но, во-первых, он не знал ее новой фамилии, во-вторых, по слухам, которые его все-таки настигли, Ира вышла замуж за выпускника Института международных отношений и жила теперь где-то в северной Африке, не то в Египте, не то в Марокко, а в-третьих, он просто не стал ее искать, решив, что все так же напрасно, как и было когда-то в Казахстане.

И вот ищет лишь сейчас, в последний, похоже, свой приезд в родной город...

Солнце уже поднялось высоко над горизонтом, заглянуло под осокорь, пробежало несколько раз длинными острыми лучами по скамейке, добралось и до него, ласково защекотало полуприкрытые глаза, словно напоминая, что пора уже, что можно уже звонить в дверь, вызывать хозяйку пробудившегося дома на свидание, тоже, скорее всего, последнее.

Но он все не пробуждался, не хотел пробуждаться, еще сильнее смежал веки, слушал, как волнуются и о чем-то спорят на осокоре синички и воробьи, и все оттягивал и оттягивал минуты этого последнего свидания.

Полвека, прожитые без Иры, без Ирины Александровны, ему не дала покоя одна, может, и странная мысль: почему тогда, в их юные школьные годы Ира выбрала именно его, деревенского мальчишку в кеп-

ке-восьмиклинке и вельветке, нескладного, стесняющегося сказать при ней лишнее слово, а не какого-нибудь городского парня из своих ровесников или даже много старше ее по возрасту, которые (он знал и видел это) заглядывались на нее, предлагали свою дружбу. Не могли не заглядываться и не предлагать: очень уж заметной девчонкой-невестой была она в городе и очень красивой. Но она всем отказала, а выбрала именно его. Когда же эти отчаянные городские ребята попробовали несколько раз перехватить своего более удачливого соперника на выезде из города и поговорить с ним так, чтоб он навсегда забыл дорогу на улицу Короленко, она с какой-то не девчоночьей, а уже женской, зрелой силою бросилась защищать его и сказала ребятам с нешуточной угрозой:

— Только посмейте!..

И они не посмели...

Но что же тогда случилось с ней в Москве, в университете?! Почему она так быстро забыла его, бросила, вышла замуж за выпускника Института международных отношений и вскоре оказалась в северной Африке, в Египте или Марокко?

Впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения. Жизнь прошла, истаяла, как один день, и пусть мучающие его и терзающие вопросы так и останутся без ответа, что в них?! Главное, не эта длинная, прошедшая в разлуке с Ирой жизнь, а те коротеньких полгода, что они были вместе.

Воробьи и синички, радуясь восходу солнца, наступающему дню и наступающей весне, затеяли свой спор и дознание уже прямо над его головой. Он слушал их щебетанье и цвеньканье и готов был вмешаться в птичий спор и разногласия, чтоб разрешить их по справедливости.

И вдруг по кирпичному тротуару несколько раз ударили, цокнули женские легкие каблучки, а через мгновение в двух шагах от него раздался женский взволнованный и встревоженный голос:

— Сережа?!

Он открыл глаза и замер. Перед ним стояла пожилая, но одетая как-то совсем по-молодому, с вызовом и даже с риском женщина. На ней был чуть удлиненный свободный плащ, повязанный по плечам и шее ярким шарфом, на ногах туфли-туфельки на высоком, будто летящем каблучке, на голове чуть наискосок (тоже с вызовом и риском) почти что легкомысленный голубой берет, едва-едва прикрывающий ее густые с двумя серебряно-седыми прядями волосы.

Она была царственно величественна и красива этим величием, какими только и бывают и могут быть женщины в ее возрасте.

В руках женщина держала тяжелую хозяйственную сумку, переполненную продуктами.

Он вскочил со скамейки, чтоб прежде всего перехватить эту сумку, а потом уже ответить на ее встревоженный и даже испуганный возглас. Но женщина безоглядно бросила сумку на тротуар, нисколько не заботясь о том, что все продукты вывалятся из нее, и, обняв его за плечи, упала головой на грудь.

— Ира! — только и мог он сказать одно-единственное слово, но обнять ответно почему-то не посмел, не решился, а лишь пожалел, что в руках у него нет сейчас цветов.

Перед самым отъездом, в Москве, на Киевском вокзале он хотел было купить для нее громадный букет южных алоцветущих роз. В поезде, наверное, можно было бы договориться с проводницей, поставить их в ведро с водой, чтоб они сохранились до утра свежими и благоуханными. Сей-

час бы он вручил этот южный, покрытый капельками утренней весенней росы букет Ире, Ирине Александровне, и никаких слов, одинаково трудных для обоих, им говорить в первые минуты встречи не пришлось бы...

Но цветы на Киевском вокзале он так и не купил, вдруг вспомнив, что Ира срезанных, сорванных цветов не любила. Ей нравились цветы живые, растущие на клумбе, в палисаднике, в лесу, в поле на обочине дороги, на лугу. Он узнал об этом случайно. Однажды, уже поздней осенью, собираясь к Ире на свидание, он нарвал у себя в саду букет разноцветных астр: белых, фиолетово-синих, красных, дымчато-розовых, любимых цветов его матери (а теперь и его самых любимых, неутомимо цветущих до конца осени, до первых заморозков и морозов) и повез их Ире. Она цветы взяла, но не обрадовалась им, а наоборот погрузилась и честно призналась ему:

— Я люблю цветы живыми. А сорванные завтра завянут и умрут... И он, помня о том, никогда ей больше цветов не дарил, разве что в дубовой роще, где на опушке росли лесные колокольчики, шутя говорил:

— Дарю тебе все! Слышишь, как звенят?

— Слышу, — тихо с придыханием отвечала Ира и роняла ему на грудь голову точно так же, как обронила сегодня.

И все же зря он поддался вчера вечером воспоминаниям и цветы не купил. Это полвека тому назад Ира, шестнадцатилетняя девчонка, сорванные и собранные в букет цветы не любила (вернее, любила, но очень жалела, что их сорвали, заставили умереть ради нее раньше времени), а теперь, наверное, относится к ним совсем по-иному, потому что букет цветов, подаренный женщине ее возраста, совсем не то, что подаренный шестнадцатилетней школьнице...

Осторожное их объятие-испытание длилось несколько бесконечно-длинных минут. Ирина Александровна никак не могла оторвать голову от его груди, а Сергей Николаевич никак не мог, не решался прижать ее к себе, словно боялся, что сил для такого объятия у него не хватит.

Но вот Ирина Александровна наконец оторвалась, погладила его по щеке длинной хрупкой ладонью, а потом начала поспешно собирать оброненную сумку и так же поспешно говорить и, кажется, совсем не то, что обычно говорят после такой неожиданной встречи и после такой долгой разлуки:

— Я ходила на рынок. Ты же знаешь, у нас рынок очень ранний.

— Знаю, — тоже совсем не то и не так сказал он, стал помогать ей складывать в сумку пучки зеленого лука, петрушки, редиса и щавеля.

Ирина Александровна не отстраняла его, не противилась, а наоборот, пошире и с готовностью раскрыла сумку. Когда же все было собрано и уложено, она распрямилась и лишь теперь сказала так, как, наверное, и должна была сказать в первые мгновения их встречи:

— Ну что же, пошли в дом...

Никогда прежде в доме у Иры он не был. В их времена девчонкам считалось запретным, некрасивым и нескромным приглашать к себе в дом мальчиков, которые заглядывались на них и пробовали ухаживать. Тем более в такой дом, как у Иры, где все по воле Веры Николаевны было строгим, где правила приличия выполнялись неукоснительно. Но в подобных домах Сергею Николаевичу бывать доводилось. После войны, бомбежек, обстрелов и пожаров несколько примерно такой же постройки домов в городе уцелело. Сережа лет с десяти носил в один из таких домов, где жил заведующий железнодорожным промтоварным магазином, по договору молоко и хорошо знал внутреннее его устройство.

Отворив высокую дверь с резной филенкой, ты вначале попадаешь в просторный, напоминающий веранду коридор. По всей правой стенке, от парадного входа до дворового, черного, он застеклен. В летнюю пору коридор превращен в кухню: в уголке, поближе к черной двери, на специальной тумбочке стоит примус или керосинка-корогаз, посередине обеденный стол, окруженный гнутыми венскими стульями; оконные хитроумного плетения и вязки рамы широко распахнуты в сад — от этого в коридоре пахнет яблоками, грушами, сливами и вишнями, а еще жасмином и сиренью, которые в их городе все жители очень любят.

На левой, бревенчатой, стене расположена дверь, ведущая собственно в дом. Она тоже двустворчатая, тоже высокая и тоже резная. Проникнув в эту дверь, ты попадаешь в большую комнату-горницу. Она о четырех окнах: три выходят на улицу, в палисадник, а одно — во двор с топливным (дровяным и угольным) сараем под железной крышей, глубоким каменным погребом и часто еще с голубятней на крыше сарая. У Иры, помнится, на крыше топливного сарая тоже возвышалась голубятня.

Александр Алексеевич, несмотря на свою высокую должность в райкоме партии, был заядлым и неисправимым голубятником, о чем у них с Верой Николаевной, кажется, даже случались размолвки.

На широких подоконниках в горнице стоят цветы, особое пристрастие и гордость хозяек: герани, огоньки, фиалки, всевозможных сортов кактусы и столетники, «елочки», чайные розы, а у многих и широколистые фикусы, для которых место особое, почетное — в уголке прямо на полу в большущей кадке-вазоне. От изобилия цветов летом в горнице всегда свежо и прохладно, а зимой по-семейному уютно и покойно.

Горница, как правило, проходная. В конце ее дощатой оштукатуренной стеной отделены две маленькие комнаты (каждая всего об едином окошке). Одна из них отдавалась в полное распоряжение детям, школьникам и дошкольникам; она так и называлась — детская. Для деревенских ребят и девочек это считалось непозволительной роскошью и даже невидалью; они привыкли жить всей семьей в хате, которая сразу была и горницей, и спальней, и детской.

В другой комнате оборудовалась родительская спальня и одновременно кабинет хозяина.

В Ирином доме все было устроено точно так же: широкий коридор-веранда (без примуса, правда, или керосинки, а с современной газовой плитой и АГВ); просторная горница, вся уставленная на подоконниках цветами (фиалки и огонек уже цвели); две притаившиеся в отдалении комнатки — детская и спальня-кабинет. Разница, пожалуй, была лишь в том, что все простенки между окнами занимали шкафы и стеллажи с книгами.

— Ты раздевайся, раздевайся! — поторопила его Ирина Александровна, как только они вошли в комнату, — у меня тепло.

Но Сергей Николаевич, прежде чем снять куртку и кожаную кепку-восьмиклинку (к шляпам он за всю жизнь так и не привык), помог раздеться Ирине Александровне, повесил ее плащ на старинную деревянную вешалку. Она легко и непринужденно позволила ему это сделать, потом сняла берет, незаметным скорым движением поправила перед зеркалом-трюмо волосы, а когда опять повернулась к Сергею Николаевичу лицом, то оглядела его с ног до головы заново, уже более пристально и внимательно, чем на улице, и вдруг сказала:

— А ты чего такой бледный? Не болеешь ли?

— Ну, чтоб совсем не болел, — улыбнулся он ей в ответ, — так нет. В нашем возрасте не болеть нельзя. Но пока терпимо. Это с дороги, наверное, бледен. Я в поезде не сплю.

— Сейчас мы все поправим! — загорелась она, надевая фартук-передник с двумя затейливыми кармашками по сторонам. — Сна, я, конечно, тебе не обещаю, потом отоспишься, а пир горой мы устроим, и все как рукой снимет.

Она достала из платяного шкафа белоснежную скатерть, в одно движение набросила ее на овальной формы стол, который по старинному обычаю стоял посреди комнаты, потом начала все так же быстро, легко и изящно расставлять на нем тарелки, фужеры, рюмки, раскладывать ножи и вилки.

Сергей Николаевич вызвался было помочь ей, но Ирина Александровна самым решительным образом отстранила его:

— Я не люблю, когда мужики околачиваются на кухне. Садись вот в кресло, жди. Разговаривай со мной.

Сергей Николаевич невольно улыбнулся этому ее почти деревенскому словечку «околачиваются», которое в устах Ирины Александровны звучало ничуть не обидно, а лишь весело и задорно. Настаивать на помощи после такой отповеди было никак невозможно, и Сергей Николаевич послушно пошел к глубокому кожаному креслу, которое стояло возле стеллажа с книгами. Но прежде чем сесть в него, он выглянул в окошко, выходящее во двор, и с изумлением увидел, как над голубятней вьются и воркуют голуби самой разной окраски и породы, очень много голубей, целая стая.

— Ты что, разводишь голубей? — не смог он сдержать этого своего изумления.

— Развожу! — с гордостью и даже с каким-то девчоночьим вызовом откликнулась Ирина Александровна, уже хлопотавшая возле холодильника. — Это у меня от папы. Ты помнишь моего папу?

— Конечно, помню, — чуть поспешно, словно боясь, что она не поверит ему, ответил Сергей Николаевич.

Но она поверила, тоже выглянула в окошко, тоже залюбовалась голубями, стала пояснять Сергею Николаевичу, указывая на двух отбившихся от стаи и сидящих отдельно на коньке сарая белых турманов, голубя и голубку:

— Это мои любимые. Они всегда вместе, как люди. Папа их тоже очень любил. Кстати, он умер всего четыре года тому назад,

— А мама? — осторожно спросил Сергей Николаевич.

— Мама давно, но и она прожила за восемьдесят.

Ирина Александровна отошла в уголок к холодильнику и почти крошечному кухонному столику, застучала там ножом, что-то нарезая на разделочной доске и раскладывая по тарелкам, а потом вдруг опять вернулась к разговору о родителях, и в первую очередь об отце:

— Ты знаешь, Сережа, я тоже буду жить, как папа, девяносто пять лет, не меньше. Я когда бросила все свои Европы и Африки, Москву и приехала сюда, так сразу поздоровела. Кругом живая земля, сады, леса, речка. А какой воздух! Ты чувствуешь?!

— Чувствую, — поддался ее восторгам Сергей Николаевич, исподтишка наблюдая за Ириной Александровной, за ее быстрыми, ловкими движениями, прислушиваясь к ее по-молодому чистому, с придыханием

голосу — и все больше находил, что ничего или почти ничего в ней не переменялось, что она все та же Ира, школьница-десятиклассница, с которой он впервые познакомился на железнодорожном переходном мосту, выводя ее из дымной пелены и завесы...

А Ирина Александровна, как будто намеренно заговаривая его и убаюкивая своим придыханием, не умолкала ни на минуту:

— Я все лето и осень катаюсь на велосипеде, а зимой бегаю на лыжах (она так и сказала, опять по-деревенски и по-охотничьи «бегаю», а не «хожу»).

Сергей Николаевич снова улыбнулся про себя этому ее точному подбору слов, ее чистой русской речи, незамутненной никакими иностранными заимствованиями, чего вполне можно было ожидать — ведь Ирина Александровна столько лет прожила за границей. Он хотел вслух восхититься этим своим наблюдением и открытием, сказать ей: «Как ты чисто, по-живому говоришь!». Но Ирина Александровна опередила его, ушла от обольстительных речей и спросила всего после минутной паузы:

— А ты не едешь?

— Нет, не еду, — чистосердечно признался он. — Какой из меня теперь велосипедист?!

— Это потому, что один, — с потаенной усмешкой сказала она. — А если кого посадить на раму...

— Ну, разве что так, — не смог сдержаться и тоже рассмеялся Сергей Николаевич.

И так им хорошо стало от этого случайного далекого воспоминания, что оба они вдруг на несколько мгновений замолчали (про такие мгновения как раз и говорят: «Ангел пролетел»), и старались ничем, даже дыханием, не нарушить их.

Но вот Ирина Александровна снова застучала ножом, зашуршала какими-то бумагами и кульками, загремела тарелками. Сергей Николаевич, чтоб не мешать ей, сел в кресло и неожиданно почувствовал во всем теле безмерную усталость и слабость. Нигде и ничего вроде бы у него и не болело: ни сердце, ни грудь, ни голова, но слабость была почти непереносимой. Может, действительно, от бессонной ночи...

— Садись за стол! — через минуту-другую вернула его к жизни Ирина Александровна.

Сергей Николаевич с трудом преодолел свое недомогание, поднялся и послушно занял место на гнупом венском стуле.

— Ты что будешь пить? — еще больше укрепила в нем силы Ирина Александровна. — Водку, вино, коньяк?

— Водку, — бесстрашно ответил Сергей Николаевич.

— Я тоже так думаю, — легко, с задором согласилась она. — Нам с тобой сейчас ничего, кроме как водку, пить нельзя, не ко времени.

Он бережно разлил в крошечные с серебряными ободками рюмки хрустально-прозрачную водку. Ирина Александровна зажала свою рюмку в ладонях, в горсти, будто согревая ее, о чем-то задумалась, а потом вскинула на Сергея Николаевича глаза:

— И за что же мы будем пить?!!

— За встречу, наверное, — почему-то ушел от ее взгляда Сергей Николаевич.

— Нет, — решительно отвергла она его предложение. — Мы с тобой, Сережа, будем пить за возвращение, — и не давая ему произнести ни еди-

ного слова, легонько прикоснулась к холодной, дымчато-запотевшей рюмке Сергея Николаевича своей, искристо-серебряной, согретой в ладонях.

Когда они выпили и поставили опустошенные рюмки на стол, Ирина Александровна опять вскинула на Сергея Николаевича глаза — и теперь уйти от ее взгляда он не посмел.

Ирина Александровна тут же принялась усиленно кормить его: подкладывала на тарелку закуски, салаты, темно-зеленые веточки петрушки, перышки лука и все время по-женски, по-матерински, словно кормила малого ребенка, приговаривала:

— Ты ешь, ешь!

Сама же она почти ни к чему не притронулась. Подперев ладонями подбородок, неотрывно смотрела, как он, во всем подчиняясь ей, ест и салат, и тоненько нарезанные ломтики сыра, и петрушку с луком. Наконец отняла от подбородка руки, скрестила тонкие без единого колечка или перстня пальцы и спросила его, ничуть не скрывая своего волнения:

— Как живешь, Сережа? Женат? Холост? Много ли нарожал детей, внуков?

— Был и женат, — ничего не утаил он. — Детей нарожал мало. Сын у меня есть, Николай. Капитан второго ранга, служит на Дальнем Востоке. Внуков двое — оба парня. Жаль, вижу с ними редко.

Ирина Александровна не стала допытываться, что значит — «был», и где сейчас его жена, и почему не с ним. Она попросила налить еще по рюмке водки, и когда Сергей Николаевич налил (и они выпили теперь уже за встречу), ответно призналась о себе:

— А у меня детей трое — все дочери. Внуков — пятеро, и тоже одни девочки, — и усмехнулась: — Не везет мне с мужиками.

О муже (где он и что с ним) Ирина Александровна не сказала ни слова. Может, и правильно сделала. К сегодняшнему дню, к сегодняшнему возвращению и встрече жены их и мужья не имели никакого отношения. Они были далеко и сами по себе, и пусть побудут пока в этом отдалении.

— Ты надолго приехал? — уходя еще дальше от опасного разговора, спросила Ирина Александровна.

— Дня на три, — не посмел скрыть он своих намерений.

— Почему так мало? — удивилась и погрустнела она. — Столько лет не был — и всего на три дня.

— Так получилось, — склонил Сергей Николаевич низко над столом голову. — Вот съезжу в село, посмотрю на родину — и назад, в Москву.

— Я свожу тебя! — вдруг вызвалась ему в попутчики Ирина Александровна. — У меня машина есть — «Форд». Дочери подарили.

— И ты, что же, водишь машину? — поразился Сергей Николаевич, вспоминая ту, прежнюю Иру, которая и на велосипеде-то по-настоящему ездить не умела — только на раме.

— О, Господи! — всплеснула руками Ирина Александровна. — Я сорок лет за рулем. — Не бойся, не уроню...

— Я не боюсь, — улыбнулся он ее обидам, хотя все равно не мог представить Ирину Александровну за рулем.

А она вдруг посмотрела в дворовое окошко и предложила:

— Вот что, Сережа, мы сейчас покормим голубей, и я покажу тебе наш город. Ты не против?

— Не против? — с готовностью отозвался Сергей Николаевич.

— Жаль только, — вздохнула и даже разволновалась Ирина Александровна, — он совсем не такой, каким был раньше. Ты заметил?

— Конечно, заметил, — тоже вздохнул Сергей Николаевич. — Много в нем стало другим.

— Мост — другой!

— Другой, — понял ее огорчения Сергей Николаевич.

Прежний переходной мост был возведен на чугунных, специально (и как искусно!) отлитых опорах, чем-то напоминающих опоры фонарей в Москве и Санкт-Петербурге. Они, несмотря на чугунную свою тяжесть, казались удивительно легкими, будто воздушными. От этого и весь мост казался воздушно-легким, висящим над железнодорожными линиями, словно летняя послегрозовая радуга. А какая на нем была ограда! Кованая в виде листьев и цветов, она тоже напоминала знаменитые ограды Санкт-Петербурга (Летнего сада, набережной Невы), Москвы, а то и самого Парижа. Сверху ограда венчалась дубовыми, с глубокой, удобной для руки ложбинкой, перилами, а снизу по всем пролетам и переходным площадкам металлической, но будто сплетенной из паутинно-тонких шелковых нитей занавесью.

Ничего этого на новом мосту не было. Его построили по типовому проекту из железобетона. Все в нем было неподъемно-тяжелым, угрюмым и серым: упрощенные четырехугольные опоры-сваи; точно такие же массивные железобетонные перекрытия и каменные скользкие ступеньки с провально зияющими между ними пустотами. А на старом мосту и ступеньки, и длинный верхний пролет были деревянными, легкими для ноги и шага. По нынешним же подниматься и тяжело, и неудобно, и даже опасно — нога сама норовила соскользнуть в междурядье и пустоту. Сергей Николаевич это утром сразу ощутил, но не придал им особого значения: он готов был идти и не по таким терниям, лишь бы поскорее добраться до улицы Короленко. А Ирина Александровна, вишь, как обо всем переживает...

— Но все равно мы тудаходим, — оборвала она грустные его воспоминания.

— Обязательноходим, — повеселел от ее твердых и уверенных слов Сергей Николаевич.

Не давая гостю ни к чему прикоснуться, Ирина Александровна быстро собрала со стола посуду, в две-три минуты перемыла ее и расставила по настенным шкафчикам и уже приготовилась надевать плащ и берет, но вдруг как бы спохватилась?

— Послушай, а ты где остановился?!

— Пока нигде, — не предвидя ничего неожиданного, ответил Сергей Николаевич.

— Тогда остановишься у меня.

— А может, все-таки лучше в гостинице, — попробовал сопротивляться Сергей Николаевич. — Зачем я буду тебя стеснять.

— Вот еще чего — стеснять, — легко сломила его сопротивление Ирина Александровна. — Приехал раз в пятьдесят лет — и к чужим людям, в гостиницу!

— Ладно, остановлюсь у тебя, — не решился больше спорить с ней Сергей Николаевич.

Хотя ему, действительно, в гостинице было бы удобней. Вдруг случится ночью приступ (а они чаще всего и случаются ночью), так с чужими людьми, с какой-нибудь дежурной-консьержкой ему будет гораздо легче: вызовет она «скорую помощь», и тем Сергей Николаевич, глядишь, спасется, не беспокоя и не пугая Ирину Александровну.

В коридоре Ирина Александровна набрала из холщового мешочка-торбочки деревянным, похожим на лодочку, совочком золотисто-огненного проса и распахнула дворовую, призывно скрипнувшую дверь. Голуби сразу отозвались на этот скрип и призыв, и едва только Ирина Александровна и Сергей Николаевич оказались во дворе, как они всей своей стайкой спорхнули с голубятни и крыши сарая, закружились, завились у ног хозяйки, радостно воркуя и переговариваясь друг с другом и с Ириной Александровной почти что на человеческом языке. А те двое белых турманов безбоязненно сели ей на плечи: голубка на левое, голубь — на правое.

Ирина Александровна с широким размахом сыпала из совочка просо на твердо-земляную площадку у крыльца (сами же голуби, поди, и вытоптали ее, утрамбовали во время бурных свиданий с хозяйкой). Голуби чуть угмонились, отпрянули от Ирины Александровны и принялись клевать просо, часто-часто постукивая клювиками о землю, будто молоточками о наковаленку. И лишь турманы остались сидеть на плечах у Ирины Александровны, невозмутимо спокойные и тихие. Ирина Александровна отсыпала из совочка проса в ладошку, в горсть, тоже удивительно похожую на удлиненную лодочку-ладью, и протянула ее турманам. Те начали клевать, поочередно склоняя к ладошке-горсти свои игрушечные белоснежные головы.

— Хочешь подержать? — неожиданно спросила Сергея Николаевича Ирина Александровна, указывая на турманов.

— Хочу, — торопливо, но чуть-чуть робко ответил он: никогда прежде Сергей Николаевич голубей в руках не держал, а только видел их летящими высоко в небе или воркующими на крыше голубятни. Ирина Александровна осторожно сняла с левого плеча голубку и передала Сергею Николаевичу. Он принял ее тоже осторожно и бережно, еще осторожнее прижал трепещущее тельце голубки к груди. И вдруг услышал, как внутри этого тельца учащенно-быстро бьется сердечко. Удары были такими сильными и тревожными, что Сергей Николаевич едва не обронил голубку на землю.

Голубь на правом плече Ирины Александровны, как только голубка оказалась в руках у Сергея Николаевича, сразу перестал клевать зерно, тоже затревожился, заволновался и готов уже был взлететь с плеча хозяйки, чтоб выручить голубку из плена.

— Ревнует, — улыбнулась его тревогам Ирина Александровна.

Сергей Николаевич тут же вернул голубку на место, на левое ближнее к нему плечо Ирины Александровны и стал следить за голубем. Тот еще несколько минут поволновался, топорща на шее перья, а потом успокоился и потянулся из-за плеча Ирины Александровны к голубке клювиком. Голубка потянулась к нему ответно. Они должны были уже вот-вот встретиться, помириться и простить друг другу невольную эту разлуку, но Ирина Александровна вдруг громко, изо всей силы хлопнула в ладоши — и вся голубиная стайка (и те, что клевали зерно на земле, и двое разлученных турманов на плечах у Ирины Александровны) взмыла вверх и стремительно, в два-три взмаха крыльев, набирая скорость, начала уходить все выше и выше в небо...

— Люблю! — запрокинув голову, неотрывно следила за их полетом Ирина Александровна и еще раз повторила: — Люблю!

Они гуляли по городу почти целый день. Вначале прошлись по окраинным его полудеревенским улочкам, где за каждым бревенчатым рубленым домом виднелся сад и огород, а потом перебрались в центр, к кирпично-дачным коттеджам, окруженным металлическими коваными оградами. Ирина Александровна держала Сергея Николаевича под руку и, время от времени останавливаясь возле этих коттеджей и оград, говорила ему:

— А помнишь, вот здесь стоял дом мельника Мирона?

— Помню, — мгновенно откликнулся Сергей Николаевич и принимался рассказывать Ирине Александровне, как они с матерью каждый год поздно осенью ездили на мельницу к старому Мирону молоть рожь-жито, как иногда, отпустив стреноженного вола на мельничный пустырь, стояли там в очереди, в заводе по несколько суток.

Ирина Александровна внимательно и сочувственно слушала его, по-сильнее сжимала локоть и вела дальше.

— А вот здесь, — указывала она на укромный закуток между двумя коттеджами, — была галантерейная лавочка Зямы. Помнишь?

— Конечно, помню, — воочию представлял себе Сергей Николаевич и галантерейную лавочку-будочку, и самого Зяму, низкорослого, заросшего кустистой бородкой, старика-еврея и его жену Сару, немного пугливую, но очень внимательную к покупателям женщину. С галантерейной этой лавочкой у Сергея Николаевича тоже было многое связано. Каждый год в канун Пасхи мать приводила его сюда, чтоб выбрать и купить новую кепку-восьмиклинку. И каждый год получалось, что нужного размера кепки у Зямы нет: то слишком маленькая, то слишком большая. Но Зяма с Сарой ни разу не отпустили их без покупки. Они выкладывали на прилавок весь свой товар, высокие стопки сложенных друг на друга кепок. Зяма малые кепки растягивал на колене, а в большие вставлял дополнительные картонные обручки. Сара собственноручно примеряла Сереже кепки на голову, давала поглядеться в зеркало и восторженно говорила:

— Как на тебя шито! Носи на здоровье!

Ирина Александровна весело, залиvisto смеялась над рассказом Сергея Николаевича, понарошку упрекала и изворотливого Зяму, и самого Сергея Николаевича:

— Вот видишь, какой ты головастый и несговорчивый! — и даже давала советы: — Надо было на заказ шить у Шахловича. Помнишь, на той стороне моста жил такой кравец-портной?!

— Да ходили мы и к Шахловичу, — отбивался от Ирины Александровны Сергей Николаевич. — Но он мог пошить кепку только к Первому Мая, а мне нужно было к Пасхе.

Они мирились, и теперь уже сам Сергей Николаевич указывал Ирине Александровне на какое-нибудь памятное для них обоих место и тоже спрашивал: — Помнишь?

Она все помнила. И единственный тогда в городе спортивный магазин на углу сквера, где Сергей с матерью купили летом пятьдесят седьмого года велосипед; и столбняную коновязь на излете центральной площади, с утра занятую, заставленную впритык лошадиными и воловьими подводами, а к вечеру пустую, пустынную, заполоненную лишь шумливыми стаями воробьев, ищущих в остатках сена и овса поживу; поимен-

но многих знаменитых в городе людей: старого одинокого учителя математики Бидулина, потерявшего в годы войны всю семью, вечно молодящуюся буфетчицу из железнодорожной столовой — Розу, безногих, безруких, слепых инвалидов войны, просящих милостыню возле магазинов и у подножья моста.

Потом они сходили в самый конец города на базар (Большой базар, как его все звали, в отличие от Малого, который ютился сразу за железнодорожными линиями, где после построили два кирпичных неотличимых друг от друга домика-близнеца), долго бродили между прилавками, вспоминали, где и что раньше продавалось: вот здесь были молочные ряды, вот здесь — табачные, вон там, на песчаном бугорке, торговали бондари, кошелочники, гончары и жестянщики. Но дольше всего они задержались возле недлинного по весне медового ряда и, не сговариваясь, вспомнили, как в самом его начале каждый день торговала медовыми, украшенными разноцветной глазурью, пряниками опрятная грузная старушка, заметно пожилого (или им, детям, тогда так только казалось) возраста. Было видно, что она не простого, не мещанского звания, а из какого-то высшего, наверное, дворянского, отмененного советской властью, сословия. Все родные и близкие у старушки, как и у Бидулина, погибли, потерялись в годы Первой мировой, Гражданской и Отечественной войн. Сама она уцелела каким-то чудом и теперь, вдобавок к мизерной пенсии (скорее всего — по потере кормильца), зарабатывала себе на жизнь тем, что пекла и продавала на базаре медовые пряники, к которым были большими охотниками дети. Никто во всем городе печь таких пряников не умел, а она сохранила старинные рецепты и навыки. Пряники старушка пекла разных сортов и форм: в виде лошадок, рыбок, барышень в глазированных передниках-фартуках, кавалеров с такими же глазированными гармошками на груди, в виде корабликов и лодочек, посыпанных в лечебных целях тминными зернышками, и от этого чуточку отдававшими горчинкой.

Пряники старушка раскладывала на чистой холщовой скатерке, и редко какой мальчишка или девчонка, оказавшиеся с родителями на базаре, могли устоять перед ними. Со слезами на глазах требовали они купить медовый этот темно-коричневый, с отливающейся на солнце глазурью, пряник.

— Ты какие любил? — словно отыскивая взглядом старушку, спросила Ирина Александровна.

— Лошадок, — не посмел он утаить детское свое пристрастие.

— А я — барышень, — созналась и она. — Только я их не ела, а наряжала в бумажные или тряпичные платья и сарафаны, и барышни были мне вместо кукол.

Оба они посмеялись этим детским воспоминаниям и увлечениям, пожалели, что таких старушек, как та из далекого послевоенного времени, уже нет — и быть не может...

Возвращаясь с базара в центр города, они постояли несколько минут, опершись на ограду, возле школы №1, где учился когда-то Сергей Николаевич, теперь, правда, потерявшей имя Ленина, наблюдали, как ребята играют на школьном дворе (была как раз переменка), кто во что горазд: в догонялки, в классики, в прыгалки-резиночки, в футбол и волейбол и еще Бог знает во что. Точно так же было и в их с Ириной Александровной время. Истомившись за зиму сидеть в душных, закупоренных классах, ученики с наступлением весны, первого тепла, едва прозвенит

звонок на перемену, опрометью выбегали во двор, на спортивную площадку, и не было им никакого удержу в играх и забавах. В них словно вселялся какой-то чертенок, которого после, на следующем уроке, ни за что нельзя было унять. Даже самого прилежного ученика-отличника он тормозил изо всей силы, не давал сосредоточиться, отвлекал от занятий, звал и манил на улицу, где горела и возгоралась апрельским щедрым солнцем весна.

Оторвавшись от штакетника, они долго еще бродили по городу, и не столько по новому, обновляющемуся вместе с весной, сколько по старому, давно исчезнувшему, ушедшему в прошлое (их городу!), всюду узнавая только им одним известные его приметы. И, наконец, держась все так же под руку, поднялись на мост и встали точно посередине верхнего пролета, где когда-то и встретились впервые. Не сговариваясь, они склонились с перил и начали наблюдать за размеренно-налаженной железнодорожной жизнью внизу. Она была теперь совсем иной: бесследно исчезли дымные, угольные паровозы, и большие — «Иосиф Сталин» и «Серго Орджоникидзе» и маленькие, маневровые — «Кукушка», юркие и действительно по-кукушечьи крикливые; исчезли высокие, похожие на журавлей и аистов семафоры, механические стрелки, а вместе со стрелками и сами стрелочники и стрелочницы, всегда вооруженные флажками (желтым — разрешающим и красным — запретительным) и сигнальными дудками, которые кричали, будто луговая, гнездящаяся в болотах сразу за железнодорожной линией, птица-коростель. Все теперь управлялось автоматически, невидимо и неслышимо, и от этого как бы даже немного скучно. Вместо маневого паровозика «Кукушки», из конца в конец разъездных путей сновал его собрат и сменщик — маневровый, выкрашенный в зеленый цвет, тепловозик. Он тоже был и проворным, и юрким, так же послушно подчинялся командам диспетчера и составителей поездов, но не фыркал из трубы угольным едким дымом, не шипел паром и напрочь потерял кукушечий свой голос-пересчет.

Несколько раз под мостом проносились тяжелые грузовые составы с двойной тепловозной тягой, но как-то глухо и совершенно, казалось, равнодушно к окружавшей их жизни — лишь бы скорее вперед и вперед, скорее мимо этой скучной и однообразной жизни. Сергей Николаевич и Ирина Александровна даже толком не успели заметить, что они везут (лес, уголь, щебенку?), таким стремительным и недоступным глазу было их движение. А вот пассажирский многолюдный поезд, пока они стояли на мосту, не прибыл к станции ни разу. Наверное, Сергей Николаевич и Ирина Александровна попали в какое-то «мертвое» время, в «окно», как его называют железнодорожники. А ведь им обоим хотелось увидеть именно пассажирский поезд, увидеть и вообразить, что они не просто так, не праздно стоят здесь, на мосту, а кого-то встречают, близкого и родного, или, наоборот, провожают в дальнюю счастливую дорогу.

Но пассажирский поезд так и не появился...

Заметили они под мостом и еще одну потерю. Возле железнодорожного депо исчез за ненадобностью поворотный круг (тепловозы и электровозы ходят теперь хоть вперед, хоть назад, а паровозы непременно надо было разворачивать на поворотном кругу в нужную сторону трубой и глзасто-яркой фарой под ней), и этому Сергей Николаевич и Ирина Александровна огорчились больше всего. Какое было величественное и торжественное зрелище, когда многотонный и молчаливо-присмиривший паровоз медленно поворачивался на кругу!

Не изменились под мостом только рельсы. Они, как и прежде, змеились, блестели на солнце, перебежали, переливались одна в другую, пока далеко за переездом не сливались наконец в единую колею, уходящую в уже затопленные разливом реки луга, в хвойные зелено-яркие и лиственные, еще темные, леса, в готовое к весенней пахоте поле и просто в далекое неведомое пространство...

Им пора было уходить: апрельское горячее солнце уже клонилось за высокие окраинные осокори и сады; предвечерний ветер резкими частыми порывами налетал на город из-за реки, потерявшей в широком разливе берега, доносил оттуда водяные и первые цветочные запахи кувшинок-латаття, луговых ирисов и мяты.

Ирина Александровна оттолкнулась от перил, сделала шаг в сторону ступенек и вдруг повернулась к Сергею Николаевичу и сказала:

— А я тогда, действительно, едва не задохнулась в дыму.

— Я — тоже, — вспомнил и он тот, может быть, самый счастливый в своей жизни день, когда от ее шагов и вскрика: «Ну, что же ты?! Я задохнусь здесь!» у него перехватило дыхание, и он боялся лишь одного, что в чадном, никак не рассеивающемся дыму, не отыщет Иру.

Сергей Николаевич догнал Ирину Александровну, легко и свободно взял за руку, не за локоть, а за ладонь, горячую и чуточку влажную, как и в тот день, и, как и тогда, начал поспешно уводить ее с верхнего пролета к ступенькам, а потом и ниже, к подножью моста, жалея лишь об одном, что у него нет сейчас с собой велосипеда. А то бы он непременно усадил Ирину Александровну на раму (и она бы ни за что не отказалась) и повез через весь город на улицу Короленко. Пусть бы все встречные, знакомые и незнакомые люди завидовали им и восхищались ими...

С моста они сходили осторожно и медленно. Вернее, осторожно и медленно сходил Сергей Николаевич, все время придерживаясь одной рукой за перила. Сердце его часто давало сбои, куда-то опасно и глубоко проваливалось; в груди возникала острая, режущая боль и, наверное, нужно было бы остановиться на переходной площадке, принять лекарства, но Сергей Николаевич не останавливался, зная, как сейчас беспокоится и встревожится Ирина Александровна. А ему этого не хотелось. Ничего — и так все как-нибудь затихнет.

Ирина Александровна шла по ступенькам бодро и молодо, озорно постукивая по каменным плитам каблучками, не шла, а, казалось, сбегала, широко размахивая крохотным своим портфельчиком, с двумя тугими защелками, который несколько раз почудился Сергею Николаевичу в ее руке.

Когда же они оказались на тротуаре, Ирина Александровна вдруг сказала:

— Ты знаешь, а я дружу здесь с одной твоей одноклассницей.

— С кем же это? — удивился Сергей Николаевич, хорошо помня, что в школьные их годы Ира ни с кем из его одноклассниц не дружила, они были для нее слишком далекими, из другой школы, деревенскими девочками, проходящими в город лишь на занятия.

— С Полиной Селезневой, — призналась Ирина Александровна.

Сергей Николаевич стал вспоминать весь свой класс, собранный из близлежащих деревень. И чтоб не ошибиться, не пропустить кого-нибудь, представил его воочию: где, кто и за какой партой сидел. Он всегда так делал, когда ему надо было по какому-либо случаю вспомнить одноклассников. Сергей Николаевич и сейчас пересмотрел их всех, пересчитал даже по партам и никакой Полины Селезневой не обнаружил.

— Не было у меня такой одноклассницы, — невольно разочаровал он Ирину Александровну.

— Как это — не было?! — вначале возмутилась она, уличая его в обмане, но потом повинилась: — Ой, это же мужняя ее фамилия — Селезнева, а какая девичья — я и не знаю.

И только теперь Сергей Николаевич вспомнил, что в параллельном, «А» классе (а он учился в «Б»), действительно, была девчонка по имени Поля.

— Артеменко ее фамилия! — безошибочно назвал Сергей Николаевич девичью Полину фамилию.

— Она говорит, что была влюблена в тебя в десятом классе, — немного с вызовом сказала Ирина Александровна.

— Да никто в меня не был влюблен, — по-мальчишески вспыхнул Сергей Николаевич.

— Ладно тебе, — не поверила его отпирательству Ирина Александровна. — Вот сходим к Полине — она все расскажет...

— Может, лучше в другой раз, — после недолгого молчания попросил Сергей Николаевич.

Ирина Александровна тоже замолчала на несколько минут, а потом крепче взяла его за локоть и, словно боясь, что он передумает, быстро согласилась:

— Хорошо — в другой.

* * *

Дома они первым делом снова покормили голубей. И теперь голуби уже не дичились, не боялись Сергея Николаевича, а, признав его своим, знакомым человеком, спокойно клевали с его руки и просо, и хлебные крошки, и он по-детски радовался этому их доверию.

Потом они с Ириной Александровной пообедали-ужинали, и обед этот прошел у них совсем не так, как завтрак. Привыкнув и кое-что узнав друг о друге за день, они уже не осторожничали, не боялись за каждое произнесенное слово (вдруг оно неверное и неверно сказанное), а разговаривали свободно и легко, и часто о совершенно незначительных, случайных вещах. Минутами Сергею Николаевичу казалось, что так вот по-семейному, по-домашнему они проводят с Ириной Александровной всякий вечер, вспоминают прожитый день (все ли в нем сложилось хорошо и ладно?), загадывают, как прожить день завтрашний, чтоб он тоже получился удачливым и счастливым...

Когда же обед-ужин был завершен, со стола все убрано, посуда вся перемыта и расставлена по шкафчикам и полочкам, Ирина Александровна вдруг предложила:

— Давай выйдем на улицу, посидим на скамейке. Вечер такой теплый.

— Давай выйдем, — без промедления согласился Сергей Николаевич, укоряя себя, почему он сам не додумался до этого.

По настоянию Ирины Александровны они на всякий случай оделись поплотнее (вечер, конечно, теплый, весенний, но к ночи вдруг похолодает, и можно замерзнуть и простыть). При выходе Ирина Александровна, придирчиво оглядев Сергея Николаевича, поправила у него на груди шарф, поинтересовалась, взял ли он перчатки, и лишь после этого распахнула дверь.

На скамейке под осокорем они сидели долго, до первой, второй и до третьей звезды, до почти что уже и глубокой ночи. И сидели молча, как будто боясь неосторожным и громко сказанным словом нарушить тишину и покой этой ночи.

Ирина Александровна забралась на скамейку с ногами, взяла Сергея Николаевича под руку, прижалась к нему, а потом и вовсе положила голову на плечо. И он сидел, не смея пошевелиться, как сидел здесь точно так же полвека тому назад, слушал ее ровное горячее дыхание, и оно казалось ему таким молодым и юным...

* * *

На ночлег Ирина Александровна определила Сергея Николаевича в комнату-кабинет Александра Алексеевича, постелила на широком раскладном диване белоснежную постель, потом указала, как включать-выключать настольную лампу и на прощанье нежно-ласково прикоснулась к плечу ладонью:

— Спи!

Он ответно пожелал Ирине Александровне спокойной ночи, подождал, пока стихнут за дверью ее легкие шаги и тут же погасил свет, который почему-то показался ему слишком ярким и резким.

Но уснул Сергей Николаевич не сразу. Он долго лежал с открытыми глазами, думал, как привык это делать дома, в Москве. В последние перед расставанием с прожитым днем минуты, в полной тишине и почти отрешенности от мира у него всегда рождались самые сокровенные замыслы и сюжеты будущих рассказов, повестей и романов. Но сегодня он думал совсем об ином. Все-таки надо было ему отыскать Ирину Александровну лет десять, а то и пятнадцать тому назад, когда впереди ожидалось вон еще сколько жизни (и кто знает, может, непредсказуемой, совместной), а теперь остается лишь прощание. Тоже, конечно, немало: увидеть ее и провести с ней рядом несколько дней перед неизбежным и уже безвозвратным расставанием. И все же жаль...

Ирина Александровна бесшумно, стараясь не вспугнуть его, не потревожить перед засыпанием, ходила в большой комнате, в горнице, что-то доделывала по хозяйству. Сергей Николаевич несколько раз порывался окликнуть ее: «Ира!».

Пусть бы Ирина Александровна вошла, посидела вон там на кресле, у стола, еще раз, совсем уже тихо и с придыханием сказала ему: «Спи!» — и прощание их отдалилось бы, затерялось в ночи и темени...

Но Сергей Николаевич так и не окликнул ее, не решил. Глухая, апрельская ночь окутала все вокруг непроглядной пеленой и завесой, погасила все огни, скрала все звезды и даже весенние живительные запахи наливающихся соком деревьев, влажной песчаной земли, первых цветов в палисадниках и на клумбах. А вот прощания не скрала и не утаила...

* * *

Разбудили Сергея Николаевича голуби. Вначале они просто ходили по подоконнику, ворковали (как будто сердясь за что-то и обижаясь друг на друга), а потом принялись настойчиво постукивать клювиками в раму и стекло. Наверное, они делали так прежде, при жизни их заботливого хозяина, Александра Алексеевича. Птиц и зверей никогда не обманешь.

Сегодня голуби безошибочно почуяли, что комната не пуста, что там кто-то есть, безмятежно и крепко спит в апрельской темно-синей ночи, и решили, что это вернулся Александр Алексеевич. А раз так, то его надо непременно разбудить, постучать в окошко клювиками: он тут же широко распахнет раму и щедро покормит их с ладони зерном и хлебом.

Заменить голубям Александра Алексеевича Сергей Николаевич, конечно, не мог, но он все равно подошел к окну и сколько можно широко распахнул раму. Голуби в первые мгновения испугались его, отпрыгнули, но потом вернулись назад и стали вопросительно смотреть на Сергея Николаевича, ожидая положенного им утром зерна и хлеба. А он, такой недогадливый, не знающий повадок и привычек птиц, не запасся ни кормом, ни водой и теперь беспомощно выбросил навстречу им пустые ладони. И голуби (надо же!) принялись торкаться в них клювиками, делая вид, что в ладонях, в горстях у Сергея Николаевича есть и хлебные крошки, и золотисто-спелое просо, и даже плещется там озерцо ключевой прохладной воды.

— Сейчас завтракаем и едем! — заговорила с Сергеем Николаевичем, прокричала со двора Ирина Александровна.

Оказывается, она давно уже была на ногах (как и когда проснулась он не слышал) и теперь готовила в гараже-сарая в дорогу машину. Сергей Николаевич устыдился своего долгого сна, быстро оделся и вышел в горницу.

Завтрак уже стоял на столе, прикрытый легкой бумажной скатертью. Сергей Николаевич еще больше засовестился своей сонливости и хотел было как можно скорее поспешить на помощь Ирине Александровне (завтрак подождет, успеется): все-таки он мужчина и шофер еще со времен целинного своего побега.

Но она опередила его. Вошла в дом в спортивном (голубое с белым) костюме и в такой же спортивной, застегнутой на молнию курточке, вся по-утреннему свежая и вдохновенная.

Допрашивать его с пристрастием о проведенной ночи (как спалось, как отдыхалось на новом, непривычном месте?) она не стала. Зачем допрашивать, когда и так все видно: он бодр, полон жизни и здоровья и готов в дорогу, хоть в ближнюю, хоть в самую дальнюю, на край света. Главное, чтоб вдвоем с Ириной Александровной...

Сергей Николаевич ожидал, что завтрак будет по-городскому быстрым и легким: кофе, чай, бутерброды. Но он ошибся. Ирина Александровна поставила перед ним полную тарелку картофельного, исходящего густым паром супа. На робкую попытку Сергея Николаевича отказаться от него, она строго и назидательно сказала:

— Мужчина с утра должен хорошо поесть!

И он послушно подчинился ей, как когда-то в юные свои, школьные и студенческие годы подчинялся матери, простой деревенской женщине, которая по утрам говорила ему точно такие же слова, зная, что предстоящий день у Сергея (каникулы не каникулы, отпуск не отпуск) будет трудным, требующим много силы и здоровья. За недолгие каникулы Сергею надо было заготовить матери на зиму дров, накопить сена, подремонтировать сарай, клетушки и заборы.

Сегодня, правда, никакой особо тяжелой работы вроде бы не предвиделось: съездят они в село, постоят на пустыре возле бывшего его родительского дома — и назад. Еще в Москве Сергей Николаевич решил, что долгого прощания в селе он постарается избежать во что бы то ни ста-

ло. И пусть земляки, односельчане, которые еще помнят и знают Сергея Николаевича, простят его. Нет уже у Сергея Николаевича на долгое прощание ни сил, ни времени...

Но Ирина Александровна рассудила все по-своему (и тут почуяла и догадалась), что день ему предстоит тяжелый и трудный, и кормила Сергея Николаевича, мужчину, работника, основательно, сытно, как кормят деревенские женщины своих мужей, собирая их с утра пораньше в поле — на пахоту или уборку, в луга — на косьбу и метание стогов, в леса — на заготовку дров.

Откуда только и переняла, откуда только и разведала Ирина Александровна — женщина по рождению своему городская, проведшая полжизни в Москве или в заграничных странах, в посольствах и представительствах — этот давний сельский обычай?! А вот же разведала и не выпустила Сергея Николаевича из-за стола до тех пор, пока он не съел все, что она ему подала-приготовила, поднявшись тоже, как истинная деревенская женщина, ни свет ни заря. При такой женщине, жене, любой мужчина должен и обязан чувствовать себя сильным и здоровым, надежной ее опорой и защитником...

* * *

Машину из гаража Ирина Александровна вывела сама, Сергей Николаевич лишь помог ей открыть и закрыть дворовые тяжелые ворота. Но потом он не выдержал и предложил ей:

— Может быть, я поведу?

— Еще чего! — возмутилась она его предложением. — Ты у меня гость. Садись — смотри в окошко!

Сергей Николаевич скрытно улыбнулся этой новой ее строгости, опять подчинился и занял место на переднем сидении рядом с Ириной Александровной, но смотреть стал не в окошко, а на нее, восхищаться, как она уверенно справляется с машиной.

Ирина Александровна заметила эти его восхищенные взгляды, почти в открытую загордилась собой и уязвила мужское шоферское самолюбие Сергея Николаевича:

— Да ты и не умеешь так водить, как я.

— Это почему же? — запротестовал Сергей Николаевич.

— Потому, что я чувствую, — все еще продолжая разыгрывать его, сказала она, а потом, немного помедлив, вдруг произнесла как-то уже совсем по-иному, с иной интонацией: — Я все, Сережа, чувствую и все понимаю...

Он сразу не нашелся, что ответить ей, замолчал и действительно стал смотреть в окошко. Ирина Александровна тоже ничем не тревожила его, и так, в молчании, они проехали всю улицу Короленко, пересекли центральную площадь, удачно, всего за несколько мгновений до закрытия шлагбаума, проскочили через переезд. И лишь после, когда миновали Железнодорожный, похожий на китайскую пагоду, клуб (так причудливо построили его еще в первые послереволюционные годы), мельницу, ту самую, где мельником когда-то был старый Мирон и где Сергей с матерью по несколько дней проводил в завозе, деповскую электростанцию, опять разговорились о разных, совсем вроде бы незначительных мелочах.

Они вдруг вспомнили, что вот здесь, возле электростанции, в годы их детства и юности росли три громадных тополя-осокоря, и на каждом было

гнездо аиста. Но пока Сергей Николаевич и Ирина Александровна странствовали по свету, тополя спилили, и аисты вынуждены были свить себе гнезда где-то совсем в ином месте.

А здесь, рядом с электростанцией, стало голо и пустынно...

Чуть дальше, за поворотом улицы, исчез знаменитый городской колодец. Он был очень глубокий, вырытый в незапамятные времена какими-то заезжими мастерами-умельцами (так гласили предания и легенды), искателями воды. И они не ошиблись в выборе места: вышли на родниковый подземный ключ, забрали его в каменный искусно выложенный сруб, а сверху поставили на неодолимо крепкой дубовой подсохе журавель. Вода в этом родниковом колодце была прозрачно-чистой, по-ледяному холодной даже в самую жаркую летнюю пору. На Крещение возле колодца всегда свершался крестный ход, воду освящали при большом стечении народа — и она была святее святых. Унесенная по домам в ведерках, кувшинах и бидонах вода после годами стояла свежей и целебной.

Сергей Николаевич и Ирина Александровна помнили этот колодец тоже с самого раннего детства. Сергей по дороге в школу или из школы часто останавливался возле него, чтоб утолить жажду после долгой дороги или после свидания с Ирой, когда в горле и груди у него все пересыхало и испепелялось. А Ирина Александровна, оказывается, по выходным и праздничным дням ходила к этому колодцу вдвоем с Александром Алексеевичем, чтоб набрать в специально заведенное ведро воды для особого, праздничного чая.

Пока были живы старые люди, они за колодцем строго следили, чистили всем окрестным миром два раза в год, обновляли на журавле крюк и ведро. Но вот год за годом старые люди вымерли, ушли, а молодым стало следить за колодцем недосуг да и незачем. В городе провели водопровод: вода появилась в каждом доме, только отверни краник, и — вот она — течет, рвется наружу тугой напористой струйкой. О колодце постепенно забыли, родничок в нем, будто обидевшись за это забвение, иссяк. Колодец, ненужный и опасный (особенно для детей), вначале забросали всяким мусором, а потом и вовсе зарыли, сравняли с землей. Теперь на его месте возвышается какой-то хлипкий торговый павильончик-будочка.

Сергей Николаевич и Ирина Александровна посокрушались и о колодце, таком памятном им в детстве и юности.

Заметили они здесь, на городской окраине, и много других потерь: в старых домах новые оцинкованные крыши (а раньше все были крашенные ярко-красным, горящим на солнце суриком); новые железные ворота и калитки (а тогда были деревянные, резные, с перекинутыми с ушулы на ушулу двускатными, тоже резными сводами-коньками).

Возле маслозавода на месте котлована, где в послевоенные годы всегда делались заготовки льда (мужики из близлежащих деревень возили его в середине марта на санных обозах), теперь стоял богатый коттедж.

Но вот промелькнули последние городские дома; ленточка асфальта перескочила через мосточек-кладку, под которыми, заключенный в железобетонную трубу, по-весеннему клокотал безымянный ручеек, и словно кто-то невидимый широко распахнул дверь в свободное и чистое пространство: в поля, в луговой, подступающий к самому городу, ольшаник, в бегущий навстречу машине сосновый бор.

Душа у Сергея Николаевича вздрогнула и зашлась в щемящей радости и тревоге — родина!

Ирина Александровна почувствовала эту особую для него минуту (не

зря же она сказала: «Я все, Сережа, чувствую и все понимаю...») и тоже замолчала.

Сосновый, нависающий над дорогой бор больше всех иных перемен удивил Сергея Николаевича. Когда-то, в начале пятидесятых годов, они всей их деревенской школой сажали здесь на песчаном пустыре колюче-острые сосенки. Потом несколько раз пропалывали их, окучивали, стараясь на всю жизнь запомнить свой ряд, который тянулся от дороги до лугового болотистого пастбища-выгона. Но, конечно, не запомнили. Через год-другой сосенки, чуть окрепнув и вытянувшись, перемешались, стали похожими, будто сестры-близнецы, и сколько ни старайся, не отличишь свой ряд от соседнего. Пока Сергей жил дома, в селе, он не замечал, как сосны растут. Временами ему даже казалось, что они не растут вовсе, что в этом году точно такие же, какими были в прошлом и позапрошлом. Впервые Сергей увидел, что сосны уже не просто выстроенный рядками в затылок друг другу подлесок, а настоящий густой и труднопроходимый лес, когда вернулся домой после четырехлетней службы на флоте. Темно-зеленой высокой стеной лес застил весь горизонт, скрывал торфяное болотце-выгон. Сергей изумился этому, но быстро привык, до конца еще не осознавая ни своего возраста, ни возраста посаженного им когда-то леса. Они оба были такими молодыми, юными и все у них было еще впереди...

И вот лишь сейчас, после двадцатилетней разлуки, Сергей Николаевич остро ощутил всю разницу их возраста и их жизни. Лес, хотя и превратился в могучий сосновый бор, оставался по-прежнему молодым и впереди у него еще многие и многие десятилетия жизни, а у Сергея Николаевича она на излете...

Сосны теперь стали корабельно-высокими, стройными; под напором лугового вольного ветра они росли с заметным наклоном к западу, к закату солнца, затеняли и будто хотели увести куда-то в сторону, в свои темно-густые дебри такую узенькую и беззащитную ленточку асфальта.

Ирина Александровна разгадала эту их хитрость и коварство, прибавила скорость и успела выскользнуть из утренней боровой темени на простор. И, кажется, сделала все это не зря. Когда Сергей Николаевич оглянулся назад, то никакой дороги там не увидел: сосны склонились над ней еще ниже, сомкнулись многоствольными своими рядами и навсегда скрыли в темноте и холоде.

Впереди, за обсаженной вербами плотиной-гатью, в глубокой луговой низине простиралось село.

Сердце у Сергея Николаевича опять защемило и забилося с неостановимой силой. Обманывать он себя не хотел: поездка эта в родное село, свидание с ним были последними. Никогда прежде Сергей Николаевич не думал о том, что такое мгновение однажды наступит, и надо будет прощаться с каждым деревенским домом, с каждой улочкой и переулком, с каждым деревом, с рекой, теперь, в весеннем разливе, такой широкой и неоглядной.

Сколько раз в прежние, далекие годы, возвращаясь домой из школы на велосипеде, смотрел он отсюда с песчаного холма на село и думал лишь о том, как бы поскорее проскочить плотину по узенькой, всегда чуть влажной тропинке, которая бежала-вилась под вербами, а потом мчаться вдоль заборов и жердяных изгородей уже по иной, деревенской песчано-твердой тропинке, позванивая звоночком пешеходам, чтоб они уступали ему дорогу, почти что летящему на крыльях после свидания с Иррой. Спроси

его кто-нибудь в те минуты, красивое его село или не очень, обыкновенное, каких десятки и сотни, он, наверное, не смог бы ответить.

А вот сегодня, когда едет в последний раз, отвечает: необыкновенное, одно-единственное на свете, как была и есть необыкновенная и одна-единственная на свете Ира, Ирина Александровна. И вот теперь она, ничего не зная о том, везет Сергея Николаевича на последнее свидание с родным селом, с родиной, с заросшим полынью пустырем, где когда-то стоял его родительский дом. И Сергей Николаевич должен благодарить судьбу, что случилось именно так, что едут они, мчатся по затененной вербами плотине, по окраинной сельской улице вдвоем с Ириной Александровной. А доведись ему пробираться сюда одному — то последней этой дороги он мог бы и не выдержать.

Дом Сергея Николаевича стоял когда-то в центре села, за школой и церковью, на берегу реки. В такую вот весеннюю пору, во время разлива вода заливала огороды, подбиралась к подворью, и Сергей, опробуя только что обновленную, заново проконопаченную и засмоленную лодку-плоскодонку, подплывал иногда на ней к самому крыльцу. Ехать к дому можно было вдоль села до церкви и школы, но можно было и, свернув в маленький переулочек (он у них звался Улочкой), проникнуть к нему и вдоль огородов, по низам. Все-таки уже конец апреля, и первая талая вода, поди, отступила, ушла в луга, освободив всегда наторенную низовую дорогу.

Сергей Николаевич попросил Ирину Александровну свернуть в переулочек-улочку. Сейчас, оказавшись в селе, он еще больше укрепился в мысли, что ни с кем из деревенских жителей ему встречаться не надо. Старых, помнящих Сергея Николаевича, сверстников, почти не осталось, а молодые его не знают, он для них чужой, посторонний человек.

Низовая дорога, действительно, уже освободилась, вынырнула из-под воды, отвердела, и Ирина Александровна мчалась по ней, словно по асфальту, не сбавляя скорость.

Ни в селе, ни возле реки, в низах, им почти никто не встретился. На окраине, при спуске с плотины, на новенький, сверкающий лакированной крышей и боками, «Форд», который вела пожилая женщина, с удивлением и завистью посмотрели два молодых парня, ладившихся куда-то ехать на мотоцикле. А в лугах распрямылась во весь рост и проводила машину долгим, тоже удивленным взглядом из-под руки какая-то старуха, рвавшая, судя по всему, первый весенний щавель, который у них называют «воробьиным» — такой он маленький и неприметный. Вот и все встречи-расставания. Оно, может, и к лучшему...

— Здесь! — наконец попросил остановиться Ирину Александровну Сергей Николаевич, когда мелькнули за деревьями железная крыша школы и купол церкви.

Ирина Александровна затормозила машину и вопросительно посмотрела на Сергея Николаевича.

— Теперь пешком, — первым выбрался он из «Форда» и указал, куда им надо идти. — Вон туда, на бугорок.

В годы детства и юности Сергея Николаевича от высоко стоящего на речном берегу дома до низовой дороги простирался у них с матерью огород, всегда разделенный канавкою-разорою на две продольные полосы. Одну они засевали рожью, другую отводили под картошку. А в самом низу, у дороги, когда сходила полая вода, вскапывали грядки: четыре — под редиску, морковь, свеклу, фасоль и лук и две — под огурцы и капусту. За этими они уха-

живали с особым бережением. Ведь если не уродится морковь или свекла, то можно как-нибудь пережить, перебиться зиму и с малым их урожаем, а если не заладятся огурцы и капуста — тогда беда. В те тяжкие послевоенные времена Сергей с матерью только спасались картошкой, солеными огурцами и квашеной капустой, изредка подкупая в сельпо хамсу.

В конце апреля, к первому теплу рожь густо зеленела, кустилась, шла в рост, по ней часто бродили длинноногие аисты, охотились за лягушками, которые легкомысленно выбирались на сушу из речной болотистой отмели.

Но теперь от бывших грядок, от разделенного на две ленточки огорода не осталось и следа: все сравнялось, потеряло прежние очертания, и по всему склону сплошной стеной стояла потемневшая за зиму полынь.

Сергей Николаевич с трудом различал в ней остатки межи, которая когда-то разделяла их огород с соседским. Он встал на эту межу и, притаптывая на ней уже начавший подниматься пырей, повел Ирину Александровну наверх, к холмику-бугорку, почти могильному кургану.

— Вот здесь стоял наш с матерью дом, — указал на него Сергей Николаевич.

Ирина Александровна подошла к бугорку поближе, словно хотела удостовериться, так ли это, и мог ли на самом деле стоять здесь, среди почерневшей полыни и репейника, высокий бревенчатый дом с русской печкой и лежанкой, от которых остался нынче лишь глиняный наплыв, с темными плохладными сенями, каморой и погребом, с многочисленными сараями, поветью и клунью, о которых она столько слышалась в городской своей жизни и еще больше вычитала в умных достоверных книгах?

Сергей Николаевич ожидал, что Ирина Александровна сейчас спросит у него что-нибудь о доме: куда он стоял окнами и крыльчком — на реку и луг или на церковь и школу, или что-нибудь про сад: был ли у них сад, и какие росли в нем деревья, и был ли колодец? Но она ничего не спросила, а лишь сложила на груди уставшие, наверное, от долгой езды руки и грустно сказала:

— Как жаль, что я не знала твоей матери.

— Мне тоже жаль, — подождав мгновение, пока затихнет порыв лугового влажного ветра, ответил Сергей Николаевич.

Много раз в своей жизни думал он о том, как хорошо бы они жили с Ириной Александровной под опекой и заботой его матери, случись им стать мужем и женой. Ирина Александровна с матерью быстро нашли бы общий язык, сдружились. Они очень похожие по характерам: обе жадные до работы, легкие на подъем и какие веселые и неунывающие при любых обстоятельствах жизни. Сергею Николаевичу в окружении Ирины Александровны, его жены, и матери тоже жилось бы легко и покойно.

А как хорошо было бы в материнском, родительском доме детям Ирины Александровны и Сергея Николаевича, трем девочкам и троим мальчикам! Все детство прошло бы у них здесь, на берегу реки, в лугах, ольшаниках и ельниках, в дальних боровых лесах, куда бы бабушка, большая любительница собирать грибы, ягоду и лекарственные травы, водила их. Дети выросли бы здоровыми телом и духом и уж ни за что бы не позволили, чтобы их дедовский наследственный дом разрушился и исчез с лица земли...

Но не судьба! Все прошло мимо, все прошло стороной... Сергей Николаевич сорвал веточку полыни, черную по стебельку, но с сизовато-бе-

лыми, сохранившими прежний свой летний цвет лохматыми шариками на вершинке. Он долго смотрел на эту ничем вроде бы неприметную веточку и удивлялся совершенству природы: веточка умерла еще прошлой осенью, но сохранила все свои очертания, соразмерность и, главное, запах — горький, и в этой горечи какой-то по-особому притягательный.

Сергей Николаевич достал из кармана записную книжку, вложил туда веточку и плотно прижал странички. Пусть лежит там, пусть хранится! Дома, в Москве, горький ее запах будет так желанен ему и так необходим...

Ирина Александровна тоже сорвала веточку полыни, поднесла ее к лицу, будто какое опахальце, веер, глубоко вдохнула запах, по-женски твердо прикрыв глаза, чтоб пережить минутное головокружение. Когда же пережила и открыла чуть заслезившиеся глаза, то вдруг повернулась в сторону Сергея Николаевича и с нежной улыбкой и придыханием сказала:

— Люблю полынь!

— За что же ты ее любишь? — опять переждав порыв ветра, спросил Сергей Николаевич, хотя ничуть и не удивился признанию Ирины Александровны.

— Не знаю, — пожала та вначале плечами, а потом, словно догадавшись о мыслях Сергея Николаевича, добавила: — За память, наверное. Вот состарилась, умерла, а запах какой живой — голова от него кружится и млеет...

Так и сказала, немного смешно и непривычно, по местному наречию — «млеет», — но как точно и верно.

Голова у Ирины Александровны, похоже, действительно кружилась и млела, потому что она вдруг начала как-то неистово и без разбора срывать один стебелек полыни за другим и складывать их в подобие черносизого, позванивающего на ветру букета.

— Нам пора! — сам не зная почему, остановил ее Сергей Николаевич.

Ирина Александровна резко разогнулась, пришла в себя, но букетик не выбросила, а связала его попавшейся под руку былинкой и первой вступила на межу, чтоб идти в понизовье огородов к машине, которая уже явно заждалась их...

* * *

Третий, прощальный день Сергей Николаевич и Ирина Александровна опять провели неразлучно. Взявшись за руки, поддерживая друг друга, они целый день бродили по городу. Побывали на всех его самых дальних окраинах, в самых маленьких его улочках и переулках, где когда-то с Ирой и Сергеем что-нибудь случалось, памятное до сих пор и не забытое. Они даже забрели в дубовую рощу за околицу, еще по-зимнему голую, без единого листочка (дубы ведь распускаются позже всех иных деревьев — в мае и июне) и от этого ярко и насквозь пронзенную апрельским неутомимым солнцем. И уж, конечно же, обнаружили там велосипедную тропинку (она точно такая же, как и прежде), бегущую, извивающуюся между столетними дубами вдоль железнодорожной насыпи. И посокрушались, что нет у них с собой велосипеда, а то бы они, старые не старые, а все равно прокатились бы до выезда из рощи, до первого железнодорожного полустанка Радвино. Сергей Николаевич бросил бы на раму свою кожаную куртку, и Ирина Александровна не устояла бы перед его пред-

ложением и зазывом, легко оттолкнулась бы туфелькой от земли и усе-лась на раме в полуоборот к нему, крепко держа руки за руль. Они бы поехали вначале медленно, тяжело и шатко (Сергею Николаевичу пришлось бы даже привставать из седла), а потом разгонялись бы все сильней и сильней, так, что встречный ветер свистел бы у них в ушах. Волосы Ирины Александровна выбились бы из-под берета и, подхваченные, гонимые ветром, касались бы лица Сергея Николаевича. От этого прикосновения лицо его вспыхивало бы горячим юношеским ознобом, который потом предательски катился бы по всему телу, овладевал им, заставляя громко и сильно биться сердца. Ирина Александровна, Ира, даже встревоженно поворачивала бы к Сергею Николаевичу голову и с неповторимым своим придыханием спрашивала:

— Тебе не тяжело?

— Нет, не тяжело, — отвечал бы он, как всегда и отвечал прежде, полвека тому назад, и еще сильнее нажимал бы на педали, стараясь справиться со странным этим, похожим на болезнь ознобом.

Но велосипеда не было. И они все шли себе и шли пешком по узенькой песчаной тропинке между деревьев и так дошли до самого Радвино. Обнаружили они это лишь в те мгновения, когда прямо перед ними вдруг возник крошечный стационарный домик, а железнодорожная колея раздвоилась и побежала двумя параллельными несмыкающимися линиями. Они удивились, что зашли так далеко, а еще больше удивились тому, что ничуть не устали от этой долгой и, наверное, уже небезопасной в их возрасте прогулки...

* * *

А вечером Сергей Николаевич уезжал. Они снова как-то совсем уже по-семейному, когда не надо друг друга стесняться и осторожничать, поужинали, выпили по рюмке водки. И ничего — она им ничуть не повредила, а, наоборот, от прощальной этой рюмки им стало только лучше и даже совсем хорошо — и скорое расставание показалось обоим не столь уж и тяжелым.

Потом они вышли во двор, чтоб Сергей Николаевич смог в последний раз покормить и тоже попрощаться с голубями. И тут Ирина Александровна немало удивила его и озадачила. Разбрасывая зерно голубям, которые, только увидя Сергея Николаевича и Ирину Александровну, всей стайкой бросились к их ногам, а два турмана привычно уселись Ирине Александровне на плечи, она вдруг сказала:

— Я хочу тебе сделать подарок!

— Какой? — не придал он вначале особого значения ее словам.

— Я подарю тебе голубей! — сказала Ирина Александровна после недолгой паузы. — Вот этих двух — турманов.

При этом она поочередно сняла голубей с плеч, прижала их к груди и начала осторожно и нежно гладить по белым упругим головкам. Голуби ответно заворковали, принялись с такой же осторожностью клевать ее в ладошки и запястья.

Сергей Николаевич, наблюдая за всей этой, почти ритуальной сценой, не знал, что ответить. Конечно, он готов принять от Ирины Александровны любой подарок, в том числе и столь необычный — двух голубей-турманов, так любимых ею. И пусть он по-настоящему не умеет обращаться с голубями, не знает, куда их поселить в Москве (разве что на

даче в Переделкино), все это неважно, не имеет никакого значения. Но что будет, что случится и станется с голубями потом, после него?.. Куда они денутся, кто их приютит, кто будет кормить по утрам с ладошки, вести с ними долгие разговоры, вспоминать Ирину Александровну, ее дом на улице Короленко и высокую голубятню над сараем?! На опустевшей переделкинской даче голуби постепенно одичают, а потом, скорее всего, и погибнут.

— Да ты не бойся, — улыбнулась Ирина Александровна, похоже, догадываясь обо всех его опасениях и страхах (увы, не обо всех), и отпустила голубей на волю. — Я не сейчас их тебе подарю. Вот управлюсь с огородом, с садом, потом приеду к тебе в гости, на Троицу, например, и привезу голубей. Ты приглашаешь меня на Троицу?

— Приглашаю! — ни минуты не медля, ответил Сергей Николаевич, сосчитав в уме, что до Троицы еще более двух месяцев, и что случится за эти месяцы — одному Богу известно...

* * *

На вокзал они пришли за полчаса до прибытия поезда. Посидели плечом к плечу (на дорожку) в тени багажного отделения на скамейке (она тут всегда стояла), помолчали. А когда вздумали заговорить, оказалось уже поздно: поезд, надрывно шипя и постанывая, поднырнул под железнодорожный мост и застыл на перроне.

Настала недолгая минута прощания. Ирина Александровна держалась молодцом, стойко и бодро, жалобной женской слезы не обронила, а лишь, припав к груди Сергея Николаевича головой, почти неслышимо вздохнула:

— Ох, Сережа, Сережа!..

Он обнял ее, поцеловал в щеку только ей одной понятным бережным поцелуем. И тогда Ирина Александровна, уже отпуская его на ступеньки вагона, во всеуслышание крикнула:

— Я напишу тебе!

— Хорошо! — ответно крикнул Сергей Николаевич через плечо проводницы и в последний раз увидел Ирину Александровну.

Она стояла чуть в стороне от многолюдной толпы провожающих, ближе к начавшему набирать скорость поезду. Рукой вдогонку Сергею Николаевичу Ирина Александровна не махала, а зачем-то сняла берет и, встряхнув головой, рассыпала по плечам пышные свои золотистые волосы. И в прощальное это мгновение показалась Ирина Александровна Сергею Николаевичу такой одинокой, такой незащищенной и такой брошенной всеми на свете, что ему впору было сорвать стоп-кран, спрыгнуть с поезда и, сколько осталось у него сил, побежать ей навстречу...

* * *

Письмо от Ирины Александровны пришло на пятый день по приезде Сергея Николаевича в Москву. Судя по всему, она написала его сразу, как только вернулась с вокзала.

Сергей Николаевич, вынув письмо из почтового ящичка, тут же хотел было его и прочесть, но потом сдержался, унес в квартиру, положил на письменный стол и вдруг испугался продолговатого этого белоснежного конвертика. Ведь не пять и не шесть дней он был в дороге, а целых пол-

века, целую вечность — и Бог знает, что в нем. Может, вообще лучше конверт не распечатывать и письмо не читать. Главное, оно пришло, а что в нем — пусть останется тайной...

И все-таки конверт он открыл (не хватило у него силы воли и мужества не открыть его).

Было по-апрельски чистое, светлое утро. Солнце ярко освещало кабинет Сергея Николаевича, книжные полки, рабочий его, заваленный бумагами стол, картины, фотографии на стенах, но Сергею Николаевичу почему-то показалось, что света недопустимо мало, что в кабинете темно и сумрачно. Он включил в помощь потускневшему этому солнцу настольную лампу, потом долго протирал и прилаживал очки, зачем-то взял в руки карандаш, как будто собирался править рукопись, и лишь после столь долгого приготовления решился письмо прочитать.

Сережа, здравствуй! —

писала Ирина Александровна старательным своим, по-школьному аккуратным почерком, который Сергей Николаевич различил бы среди тысячи других.

Ты только что уехал, а мне кажется, что с этой минуты прошла уже целая вечность. Почему так — не знаю! Но вечность!

Ты не спросил меня, а я сама не рассказала (и хорошо, что не спросил, и хорошо, что не рассказала), что же со мной произошло тогда, в Москве. Помнишь, у Бунина есть рассказ «Солнечный удар»? Там случайно встречаются на пароходе и проводят ночь в уездной гостинице поручик и женщина, так и не назвавшая своего имени. Примерно то же произошло и со мной — солнечный удар. Ты был далеко, в Казахстане, а тут вдруг появляется этот самый поручик, без двух минут дипломат, красавец и умница, и намного старше меня — и я не устояла. Опомилась я лишь через три года, уже в Египте с первой дочерью на руках. У Бунина поручик, проводив женщину на пароход, расставшись с нею, почувствовал, что постарел на десять лет. А я, когда опаматовалась, когда поняла, что сломала судьбу и тебе, и своему, ни в чем перед нами с тобой не повинному мужу, и самой себе — ужаснулась и сразу постарела на целую жизнь. И так и прожила всю эту жизнь до нашей нынешней встречи, будто затаив дыхание, будто в паровозном дыму и угаре.

Скоро (очень скоро, я посчитала — всего через сорок пять дней, на Троицу) я к тебе приеду, и мы больше никогда не разлучимся. Серрежа, я любила тебя всю жизнь, начиная с той нашей, первой, встречи на мосту, когда ты вывел меня из дыма (я, действительно, едва не задохнулась там), и люблю сейчас.

Да хранит тебя Бог в радостные эти весенние дни! Целую тебя повинным своим поцелуем! Целую и люблю!

Ира.

Подобного письма ожидал Сергей Николаевич от Ирины Александровны или какого-либо иного, он ответить не мог. Никогда Сергей Николаевич Ирину Александровну ни в чем не обвинял и никогда не требовал от нее оправдания. Наоборот, он считал во всем повинным себя. Раз женщина уходит к другому мужчине, значит, первого (прежнего) она по-настоящему не любила. Не за что было его любить...

Повторно читать письмо Сергей Николаевич не стал, почему-то почувствовав, что причинит этим Ирине Александровне боль и страдание. В любви и измене признаются лишь один раз, а потом (в другой и третий) — только взаимная боль и страдание...

Сергей Николаевич отложил письмо в сторону, достал чистый лист бумаги и решил сейчас же, немедленно написать Ирине Александровне ответ. Ведь она там, в родном их далеком городе, ожидает этого ответа, может, во сто крат сильнее, чем ожидал от нее письма Сергей Николаевич.

Дрожащей, не очень твердой рукой он написал первые три слова:

Здравствуй, Ирина Александровна!

И вдруг растерялся над предательски чистой страничкой. Что писать дальше, он не знал. Слова любви и прощения?! Так Ирина Александровна, Ира, и так знает, что он любит ее всю жизнь и что давно простил мнимые ее вины. Иначе не приехал бы к ней: и к нынешней, уставшей и измучившейся в одиночестве, и к той, юной, счастливо-восторженной девчонке Ире.

Наверное, легче и проще всего было бы написать одну-единственную фразу и строчку: «Приезжай! И приезжай как можно скорее!» Но и этого Сергей Николаевич написать не мог. Во-первых, они договорились, что Ирина Александровна приедет на Троицу, когда управится с огородом и садом, и зачем же нарушать их взаимное обещание и срывать ее в дорогу раньше времени. А во-вторых, может быть, ей и вовсе приезжать не надо. Приедет потом, после, когда с ним уже все случится, а пока пусть проживет эти сорок пять дней в радости ожидания. Для нее это ожидание сейчас гораздо лучше, чем сама встреча, которая неизвестно еще какой будет. Хорошо, если Ирина Александровна застанет его на ногах, а если нет...

Сидел Сергей Николаевич над чистой страничкой долго, так долго, как никогда не сидел ни над одной рукописью. И наконец пришел к здоровой и разумной мысли, что не стоит ему торопиться с ответом Ирине Александровне, надо отложить его на завтра, все хорошенько обдумать и, главное, остыть. Ведь сегодня в горячечно-возбужденном состоянии он действительно сможет написать Ирине Александровне совсем не то (и не так)...

Сергей Николаевич оделся, взял в руки палку и пошел гулять в небольшой сквер, который начинался сразу за его домом. Палку эту он смастерил, согнул в удобный для руки захват в Переделкино из случайно найденной гибкой дубовой ветки. Поначалу Сергей Николаевич брал с собой ее лишь на прогулки ради игры и забавы, да немного для хвастовства перед другими переделкинскими писателями — постояльцами, которые сами подобного изделия смастерить не могли (особенно согнуть в четверть круга рукоятку), но с середины зимы вдруг почувствовал, что ходить без палки ему тяжело, что при каждом шаге требуется опора и поддержка. Собираясь на родину, к Ирине Александровне, Сергей Николаевич долго сомневался — брать ее или не брать. И все-таки не взял, решив, что как-нибудь обойдется и без палки, а то Ирина Александровна совсем огорчится его стариковского немощного вида. И слава Богу, все обошлось, и Сергей Николаевич, путешествуя с Ириной Александровной по родному городу, не раз хвалил себя, что удержался и оставил палку

дома. Рядом с Ириной Александровной чувствовать себя старым и немощным было бы совсем уж зазорным.

Гулял Сергей Николаевич часа два. Вернее, не гулял, а просто сидел на старенькой заброшенной скамейке в дальнем спускающемся обрывом вниз к шумной дороге углу сквера. Думал. Во время прогулок он часто занимал именно эту заброшенную скамейку, на которую больше никто не претендовал, столь она была старенькой, распатанной и давно некрашеной. А Сергею Николаевичу очень хорошо на ней думалось. Он и сейчас надеялся, что в тиши и отстраненности от всего остального прогулочнопраздного люда непременно придумает письмо Ирине Александровне.

И действительно придумал, и так легко и удачно, что хоть сейчас возвращайся назад к столу и вдохновенно записывай. Но Сергей Николаевич, опершись на палку, продолжал сидеть на скамейке и никуда не торопился. Раз сегодня выходной, праздничный день, то и надо праздновать его по-настоящему, с фейерверками и салютами, памятуя о том, что работать в праздник грешно, запретительно, нельзя брать в руки колющие и режущие предметы (по крайней мере, так Сергея Николаевича в детстве учила мать), а перо все-таки предмет острый, колющий. Думать можно и нужно, а писать — не надо. Вновь обретенные и найденные фразы письма Ирине Александровне залегли в его памяти прочно и основательно, слово к слову, буква к букве, и завтра Сергею Николаевичу ничего не будет стоить вспомнить их и перенести на бумагу...

* * *

В этом радостном, возбужденном состоянии Сергей Николаевич провёл остаток дня и всю быстротечную весеннюю ночь. Оно не покинуло его и утром, когда он, выпив чашку кофе, сел за письменный стол.

И вдруг все в одно мгновение переменялось. Стоило только Сергею Николаевичу достать письмо Ирины Александровны и листочек с начатым ей ответом, как память ему изменила: счастливо придуманные вчера на скамейке фразы ускользнули, не дались ему, словно за ночь напрочь стерлись в воспаленной этой памяти, оставив лишь какие-то смутные неумовимые обрывки.

Сергей Николаевич опять вооружился палкой и пошел в сквер. К его удивлению и досаде, угловая заброшенная скамейка оказалась занятой. На ней сидел совсем уже древний старик с палкой-клюкой в руках. Одет он был еще в зимнюю теплую одежду: старомодное драповое пальто с цигейковым воротником, шапку-ушанку и меховые ботинки. Похоже, старик вышел сюда не сам по себе, а его вывели родственники подышать свежим воздухом. Кто знает, может, уже и в последний раз. Тревожить старика, товарища по несчастью, Сергей Николаевич не стал, пусть посидит, подумает. Хотя думы у них обоих теперь известно какие...

Не доходя до скамейки, он свернул направо к тропинке, которая вилась-бежала вдоль обрыва в тени деревьев и зарослей молодой сирени. Тяжело опираясь на палку, Сергей Николаевич принялся вышагивать по ней, лишь бы отвлечься от утренней своей неудачи, забыться, пробовал даже считать шаги, вспомнив, как совсем недавно считал их возле дома Ирины Александровны, на улице Короленко. Но каждый раз сбивался со счета, начинал заново — и снова сбивался. И, наконец, оставил трудное это занятие и, оглянувшись на старика, донельзя уставший и обессиленный, отправился домой...

Неудача преследовала Сергея Николаевича и на второй, и на третий, и на четвертый день. С утра он терпеливо садился за стол, доставал листочек с ответом Ирине Александровне, но так и не смог его продолжить. А на пятый, возвращаясь с прогулки, Сергей Николаевич неожиданно обнаружил в почтовом ящике письмо. Он немало удивился этому. В последние годы Сергей Николаевич письма получал редко, вернее, почти совсем не получал. Не от кого ему было их получать: друзья растерялись, замолчали, а многие, увы, уже и умерли, товарищеские связи разорвались, иссякли.

Вынимать письмо из ящика Сергей Николаевич не спешил и несколько мгновений предугадывал, кто бы это и зачем вспомнил о нем. И вдруг Сергея Николаевича осенило — письмо это от Ирины Александровны и ни от кого иного. Не дождавшись от него ответа (истомившись ожидать), она написала Сергею Николаевичу письмо повторное и, возможно, на этот раз с обидами и упреками, вполне им заслуженными.

Теперь уже, ни минуты не медля (и повинно), Сергей Николаевич извлек письмо из почтовой ячейки, поднес к глазам, но тут же и успокоился. Даже без очков он различил, что оно не от Ирины Александровны — почерк был не ее. Он небрежно засунул конверт в карман и решил не отвлекаться сейчас на него (прочитает вечером перед сном).

Но в комнате, надев очки, Сергей Николаевич все-таки взглянул, от кого же это ему пришло послание, кто же это еще не забыл его — помнит. Прежде всего, Сергей Николаевич прочитал обратный адрес и не смог сдержать в общем-то доброй, хорошей улыбки. Письмо было от Полины. Никогда раньше они с Полиной не переписывались. Судьбы у них сложились разные, отдельные, и ничего, кроме давней совместной учебы в школе, Сергея Николаевича и Полину не связывало. Впрочем, Полину, может, что-то и связывало, если верить ее запоздалым признаниям, и вот, узнав, что Сергей Николаевич был в городе (был и не зашел, не навестил), она решила написать ему письмо, вспомнить что-нибудь особенно дорогое и важное из школьной их жизни.

Аккуратно, чтоб не повредить обратного адреса, Сергей Николаевич обрезал ножницами кромку конверта, достал сложенный вчетверо листочек и начал медленно, с долгими остановками на каждом, не всегда разборчиво написанном слове, читать:

Здравствуй, дорогой Сережа!

Тяжело и трудно писать мне тебе это письмо. Но писать надо. Больше некому. Два дня тому назад похоронили мы Иру. Никто не ожидал и не думал о такой ранней ее и неожиданной смерти. И, прежде всего, сама Ира. Много раз она говорила мне (да, может, и тебе сказала), что будет жить до девяноста лет, не меньше. Но вот же, на следующий день после твоего отъезда вышла покормить голубей и умерла в одно мгновение от разрыва сердца.

На похороны приезжали все три дочери Иры и муж. Они хотели увезти ее в Москву, но я упросила похоронить Иру здесь, рядом с отцом и матерью.

Родительский, материнский дом дочери, скорее всего, продадут, за чем он и в таком отдалении от Москвы — пропадет, разрушится без живого человека.

Голубей я пробовала забрать к себе. Но они не хотят у меня жить, очень тоскуют по Ире и каждое утро улетают назад в свою голубятню. Что с ними будет при новом хозяине, просто ума не приложу.

Ты поплачь по Ире, поплачь и живи долго, очень долго, чтоб было кому помнить о ней. Она так любила тебя, Сережа, так любила. Я-то все знаю...

Полина.

Письмо выпало из рук Сергея Николаевича и поминальной церковной грамоткой легло на краю стола рядом с листочком-ответом Ирине Александровне, на котором в самом его начале стояли еще такие живые слова, написанные Сергеем Николаевичем в порыве и стремлении к ней: «Здравствуй, Ирина Александровна!».

А дальше все было белым и теперь уже тоже, словно поминальным. Уронив голову на стол, Сергей Николаевич сидел неподвижно и почти что мертво, ничего не видя перед собой и ничего не слыша. Перед глазами плыла лишь тяжелая, могильная темнота, сквозь которую не пробивался ни единый луч солнца. Как хорошо было бы Сергею Николаевичу сейчас, действительно, заплакать, а может, и разрыдаться в голос и крик, и тем хоть как-то унять сжавшееся в комок сердце. Но слез не было, они не подступали к нему, не рвались из глаз, предательски сухих и будто запорошенных песком африканской пустыни. В человеческой судьбе случается (может случиться) такое горе, которое выше любых, самых горьких слез, рыданий и криков. Сердце от такого горя каменеет и, хотя продолжает биться и жить, но на самом деле оно давно уже умерло. И вот это горе, эта судьба выпали Сергею Николаевичу. И что же ему теперь с этим умершим сердцем и с собой делать, как быть?! Все бросить и как можно скорее уехать туда, в родной свой город, к Ире, и умереть там, рядом с ней? Хорошо бы поступить именно так: лучшей смерти Сергею Николаевичу и не надо. Но кто будет в последние и неизбежно тяжелые, уже не зависящие от воли и памяти больного, дни опекать там Сергея Николаевича? Полина? Или какая-нибудь иная подруга Ирины Александровны, знающая о его существовании?! Но Сергей Николаевич не может себе позволить (не смеет позволить) хоть на самую малую долю осложнить их участь.

А если не ехать и остаться здесь, то как и зачем ему жить дальше?! Сергей Николаевич спрятал письмо Полины и свой недописанный листочек, а взамен взял в руки письмо Ирины Александровны, тихо перечитал его и раз, и в другой, и в третий — и каждый раз, словно заново, словно впервые. И чем больше читал, тем сильнее оно обжигало его. Обжигало и словами признания Ирины Александровны, и еще больше совсем иными, прежде Сергеем Николаевичем почти не замеченными, о том, что всю свою жизнь она прожила, затаив дыхание. Как это, наверное, страшно и невыносимо...

* * *

В тот же день, к вечеру Сергей Николаевич дал телеграмму Полине. Слова для телеграммы у него нашлись быстро. Трудные, тяжелые, а нашлись поразительно быстро и даже легко, чему Сергей Николаевич немало удивился. Уже подавая бланк в окошечко, он хотел было дописать

еще два слова: «Скоро приеду», но потом помедлил и не написал. Действительно, зачем зря обнадеживать Полину, простодушную, хорошую женщину. Если Бог даст ему силы, то Сергей Николаевич приедет и без всякого предупреждения, а если не даст, то пусть она понапрасну не ждет его, не ходит встречать к поезду и не теряется в догадках: почему обещал и не приехал.

* * *

С этого дня Сергей Николаевич ничего ни писать, ни читать не мог. С утра пораньше он брал в руки палку и шел гулять в сквер. Там он занимал уединенную свою лавочку, надолго опережая болезненного, тяжело дышащего старика, которого приводили (похоже, внук с женой) лишь часам к одиннадцати. Сергей Николаевич и старик даже стали участливо здороваться, но в разговоры не вступали, молча сидели на разных концах лавочки-скамейки, словно выжидая, кто же из них первым перестанет приходить сюда. Сергей Николаевич готов был уступить старику и оставить лавочку в полное его, единоличное распоряжение.

Старик, ладно, что тяжело, со стоном и грудным клочкотанием дышит, а, по всему видно, болезни поддаваться не хочет, борется за жизнь и, даст Бог, победит.

А у Сергея Николаевича совсем иное настроение. Он ни за что не боролся, ни о чем даже не думал, а просто сидел на скамейке и смотрел впереди себя на зазеленевшую уже на газонах молодую траву, на распутившиеся первыми листочками деревья, слушал щебетание высоко в ветвях черноголовой счастливо пережившей холодную долгую зиму синички. От недалней реки долетал к нему влажный и тоже какой-то молодой ветер. Он приносил запахи росших на самом берегу черемухи, сирени и жасмина, а еще горький и терпкий запах полыни, неведомо откуда взявшейся в городском ухоженном сквере. Сергей Николаевич глубоко вдыхал его, пробуждался и вдруг принимал твердое решение, что сегодня же в ночь во что бы то ни стало уедет в родной свой город, к Ирине Александровне, к Ире, на ее еще свежую могилу. Но потом мгновенно остывал, хорошо понимая, что никуда он и никогда не поедет, что не хочет он видеть ни родного своего города, ни родного села, ни Полину и совсем уж не хочет (не может!) видеть в последние эти его быстротечные, короткие дни могилу Ирины Александровны. А запах полыни ему просто причудился...

* * *

Жизнь Сергея Николаевича потекла однообразно, в непривычном для него равнодушии ко всему, и в первую очередь к самому себе. Кое-как переборов ночь, он с палкою в руках шел в сквер, но скамейку больше никогда не занимал, предоставляя ее в безраздельное владение старика, чему тот, кажется, нескрываяемо радовался. Он располагался на ней широко и свободно, клал рядом газету, очки, но дышал все тяжелее и тяжелее, и, судя по всему, дни его были сочтены.

Сергей же Николаевич, наоборот, с удивлением обнаружил, что чувствует себя все лучше и лучше, что палка во время прогулок ему уже совершенно не нужна: шаг его становится легким и упругим, ды-

хание — чистым и ничем не стесненным, как было прежде, а сердце не дает о себе знать ни остро-колющими, уходящими под лопатку болями, ни перепадами ритма — словно его нет и вовсе. Исчез куда-то и запах полыни...

И вдруг Сергею Николаевичу стали сниться голуби, два снежно-белых турмана. Как будто они прилетают к его окну, садятся на подоконнике и начинают стучать клювиками по стеклу, требуя немедленно отворить окно и впустить их к себе. А Сергей Николаевич никак не в силах проснуться, не в силах отворить; он засыпает еще сильнее и лишь, затаив дыхание, слушает, слушает и слушает их требовательные и бессчетные удары...





НЕ ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ СПОТУХАЛА

Повесть

* * *

*Ах, да не вечерняя заря спотухала, заря спотухала,
Ах, спотухалася заря.
Ах, да полуночная звезда высоко ли, звезда высоко ли,
Ах, высоко звезда взошла.*

Русская народная песня

Там, на том берегу реки простирался широкий пойменный луг, с ранней весны заросший густыми непроходимыми травами: луговой овсяницей, зверобоем, осокой, но гуще всего терпко-пахучей медуницей. В апреле-месяце прежде других трав она зацветала фиолетовыми и розово-синими медоносными цветочками.

Едва только всходило солнце и опадала холодная утренняя роса, как над травой-медуницей начинали роиться луговые полосато-белые шмели. Пчелы сюда, за реку, не залетали: то ли им было лететь через водную преграду недоступно и опасно, то ли боялись они старших своих сородичей, грозно гудящих шмелей, а может, просто трава медуница была не их травой, и пчелы заполняли все окрестные сады и поля, где брали богатую взятку с яблони-грушовой и полевых цветов. А на лугу было царство шмелей. Где-нибудь в укромном сухом месте, под высокой кочкой или под кустом дикой смородины они устраивали свои гнезда-ульи с крупными, вдвое больше пчелиных, сотами.

Маленький Петя с матерью, как только река входила в берега, часто переправлялись на лодке на тот берег, в луга: рано по весне собирать первый молодой щавель, прозываемый воробьиным; в разгар лета жать серпами для теленка траву-повилику, которая густым шатром окутывала кусты лозняка и дикой смородины, а в сенокосную пору ворошить валки, метать копны и стога.

Петя мальчиком был любознательным и зорким. На лугу его все интересовало и заботило: и маленькие пойменные озерца, где водилась не успевшая уйти в реку по обмелевшим протокам рыба, и лозовые заросли, окаймленные топкими торфяными болотцами с островками камыша-очерета, и

луговые высокие кочки, по которым было так заманчиво и отважно прыгать. И случилось, что Петя в самой гущавине смородиновых зарослей под высохшей корягой или под одиноко стоявшей на отшибе луговой кочкой вдруг находил тайно запрятанные шмелиные соты. Петя немедленно звал на помощь мать, и они со всей осторожностью и опаской (не объявятся ли сейчас и не нападут ли на них, оберегая свое добро, сторожевые шмели?) отламывали по небольшому кусочку медовых сот и быстро уходили подальше от «места преступления» на другой конец луга, поближе к реке, где у них в тени береговой склонившейся к самой воде вербы было оборудовано становище. Мать доставала из холщового узелка бутылку молока и краюшку ржаного темно-коричневого хлеба — луговой их походный обед.

Отдыхая от щавельной или сенокосной страды и настороженно оглядываясь по сторонам (не настигнут ли их и здесь грозные стражи?), Петя с матерью начинали есть шмелиный сотовый мед, запивая его молоком и закусывая ломтиками ржаного сытного хлеба. Шмелиный мед, собранный и сохраненный на свежем луговом воздухе, совсем не такой, как пчелиный, который таится в душных ульях и колодах, где соты заключены в туго сколоченные рамки — он более пахучий, сладкий и более терпкий. Зря его зовут диким.

Впервые детские эти воспоминания и видения начали преследовать Петю, Петра, в армии, куда он был призван поздней осенью шестьдесят второго года. Попал Петр служить на окраинный запад страны, в Калининградскую область, бывшую Восточную Пруссию, в ракетные войска стратегического назначения. Почти год он провел в дивизионной сержантской школе, обретая специальность мастера по сбору и стыковке головных частей ракеты, а потом был направлен в самый дальний полк и дивизион, базировавшийся на границе с Литвой в густых и вечно мокрых лесах возле города Немана.

И вот там, стоя в карауле под нескончаемо морозящим дождем или ожидая во время учений на стыковочной машине грозной команды «Стыковщики, к столу!», Петра и начали одолевать детские видения: родное село, река, но больше всего почему-то заросший травой-медуницей луг на том берегу реки, пойменные неглубокие озерца, только что сметанные стога сухого воздушно-легкого сена и особенно запах и вкус шмелиного терпкого, с заметной горчинкой меда.

В непроглядной ночной темени ни неба, ни звезд видно не было, вокруг лишь уныло шумел мокрый высокоствольный лес, нагоняя тоску по родному селу, по матери, по реке и широкому заросшему травой-медуницей лугу. Если же звезды изредка и проглядывали поверх деревьев, то были они тоже какими-то отсыревшими — и чужими. Петр закрывал глаза, и тоска по родным местам наваливалась на него еще сильнее...

И совсем уж непереносимой она стала весной шестьдесят четвертого года в Астраханской области, на полигоне Капустин Яр, куда их дивизион приехал на стрельбы.

Весна еще только-только начиналась, а в Капустином этом Яру, считай, уже в казахских степях, стояла нестершимая жара, суховейные ветры испепелили все вокруг, гоня из одного края пыльной степи в другой безжизненные стебли перекасти-поля. Звезды здесь от сорокаградусной жары и ветра-суховея были донельзя изможденными, высохшими — и тоже чужими. Петру в этом ночном мареве даже с открытыми глазами виделся и представлялся во всех очертаниях родительский дом, налитые буйной зеленью огороды, а за ними река и луг...

Окажись сейчас дома, Петр отпросился бы у матери, переплыл на зыбкой их лодке-плоскодонке на тот берег и заночевал бы на лугу в оставшемся еще от зимы стогу сена или даже просто под лозовым кустом, раскинув там солдатскую свою шинель. Вечером и в ночи он неотрывно смотрел бы на родные луговые звезды, ярко и высоко горящие прямо у него над изголовьем; душа бы у Петра успокоилась, перестала тосковать и печалиться.

Надежда попасть летом домой у Петра была. Если его расчет во время стрельб сработает хорошо (а еще бы лучше — отлично), то командир части должен бы объявить ему десятидневный отпуск на родину. Срок для отпуска у Петра уже подоспел...

* * *

Петру повезло. Расчет его сработал «на отлично», пристыковал головную часть к носителю, причаленному к стартовому столу, всего за двенадцать с половиною минут.

Отпуск был объявлен Петру на первом же построении части еще там, в Капустином Яру. Но домой он поехал не сразу. Пока дивизион грузился после стрельб в эшелоны, пока возвращались они окольными какими-то путями, с соблюдением строгой секретности в родной свой Неман, промелькнул почти месяц. Потом пошел в очередной отпуск командир взвода, капитан Макаров, и Петр в должности помкомвзвода остался за него. Когда же капитан вернулся, были объявлены армейские, измотавшие весь личный состав, от последнего солдата-кочегара из комендантского взвода до генерала, командира дивизии, учения с выходом в запасной позиционный район — и отпуск опять откладывался.

Петр уже начал опасаться, что в отпуск он вообще не попадет. Неизвестно кем и почему, в армии тогда был введен такой порядок, что солдат или сержант срочной службы мог попасть в отпуск только на втором году службы. Если же по каким-то причинам задерживался, то на третьем году домой его уже не отпускали, и честно заслуженный отпуск оставался лишь отпуском на бумаге, в приказе командира части.

И все-таки Петр в отпуск поехал. Случилось это на самом излете лета, в конце очень жаркого в том году у него на родине августа.

Первый день по приезде Петр провел неразлучно с матерью, по которой соскучился, может быть, сильнее всего. Отец Петра и дед погибли на фронте, бабушка, надорвавшись в войну на непосильной колхозной работе, умерла очень рано, когда Петру шел всего шестой год, и он ее почти не запомнил. Мать заменяла Петру и отца, и деда, и бабушку, была самым родным ему на свете человеком. Как Петр мог не любить ее, не скучать по ней в долгой разлуке, и как она могла не любить его, единственного своего сына. Они проговорили с матерью почти всю ночь и легли спать только на рассвете. Петр, наверное, просидел бы с матерью и второй вечер, но она сама подсказала ему, что в клубе сегодня будет кино, а потом и танцы, и ему, солдату-отпускнику, надо бы там показаться, увидеть друзей-товарищей, а может, и пригладеть себе невесту.

Петр подчинился матери и в клуб пошел. Слова ее насчет невесты были сказаны не просто так, не мимоходом, а с материнским беспокойством и надеждой. Она знала, что до армии девчонки-невесты у Петра не завелось. Вернее, невеста завелась у него еще в десятом классе районной школы, куда Петр вместе с лучшим своим другом и товарищем, Никола-

ем, три года ходил пешком за шесть километров или ездил на велосипеде. Но невеста эта изменила Петру. Сразу после десятилетки она поступила в пединститут на филологический факультет и вскоре вышла там замуж за какого-то своего однокурсника, парня уже в возрасте, отслужившего четыре года на флоте. Петр очень переживал эту измену, пробовал сгоряча и в отместку своей бывшей невесте подружиться с какой-нибудь деревенской девчонкой, но у него ничего не получилось — слишком запала ему в сердце первая его школьная любовь-увлечение.

В армии у Петра невеста тоже не завелась. На первом году службы их, курсантов дивизионной сержантской школы, в увольнение отпускали редко: то, срывая с занятий, везли в линейные части устраивать маскировку, которой тогда в штабах придавали первостепенное значение, пока не сообразили, что со спутников-шпионов можно разглядеть на земле не только стоящую на стартовом столе тридцатиметровую ракету, но даже спичечную головку; то в преддверии армейских или окружных учений объявлялась повышенная боевая готовность — и всякие увольнения отменялись; то вдруг командир дивизии издавал приказ о запрещении увольнения личного состава в связи с эпидемией гриппа.

Но если даже курсантам удавалось попасть в увольнение, то местные девчонки, хорошо разбиравшиеся во всех военных делах, должностях и званиях, на солдат первого года службы посматривали свысока и даже с насмешкой, в открытую называли салагами. Их больше интересовали молодые неженатые офицеры, недостатка в которых в городке не было, или, в крайнем случае, солдаты и сержанты второго и третьего годов службы, которые тоже уже входили в возраст женихов (многие и женились на местных этих расторопных невестах и даже, случалось, приезжали за ними после демобилизации).

В Немане, в линейном дивизионе, познакомиться с какой-нибудь девчонкой и завести с ней сердечную дружбу было и того труднее. Служба там ни в какое сравнение с «учебкой» не шла — через день на ремень, через два на кухню. А между ними, ремнем-караулом и кухней, ежедневные тренировки в ангарах и хранилищах с головными частями или на стартовом кругу. В редкие увольнения солдат и сержантов возили за тридцать километров в Неман на военном грузовике КРАЗе и отпускали на свободу всего на несколько часов со строжайшим приказанием в 21.00 быть на месте сбора. Если же кто-либо задерживался хотя бы на несколько минут, то немедленно следовало наказание, и провинившемуся запрещалось увольнение на месяц, два, а то и на три. Порядок тогда в армии был строгий и жесткий.

За те недолгие часы, что солдаты и сержанты гуляли по городу или проникали на танцы в городской Дом культуры, познакомиться с девчонкой, конечно, можно было, но только познакомиться, а вот чтоб проводить ее домой и постоять хотя бы с полчаса возле подъезда или возле калитки уже не получалось — надо было стремглав бежать на место сбора. Но даже если и постоишь, если и привлечешь ее внимание безупречной строевой выправкой, сержантскими погонами, надраенными до солнечного блеска гвардейским значком и другими знаками солдатской доблести, то все это еще ничего не значит. Следующее увольнение может у тебя случиться только через месяц, а то и через два или три, и невеста твоя за это время сто раз забудет о тебе (хотя нерушимая, клятвенная договоренность о повторном свидании и была), заведет себе нового ухажера, у которого и знаков солдатской доблести на груди побольше и сама грудь пошире...

Но все это, конечно, в далеком прибалтийском городе Немане, где солдат и молодых неженатых офицеров полным-полно, и у местных, избалованных их вниманием, девчонок просто глаза разбегаются. А в деревенском клубе, куда Петр пришел незадолго до начала сеанса, он был солдатом одним-единственным. Вроде бы свой, деревенский парень, хорошо знакомый всем ребятам и девчонкам с самого малого возраста и по совместным уличным играм, и по совместной учебе в школе, но уже и какой-то совсем иной. За два года службы в ракетных стратегического назначения таинственных и тайных войсках, о которых тогда много еще говорить и не полагалось, он заметно возмужал, стал шире в плечах, выше ростом. Парадный мундир с золотыми сержантскими нашивками на угольно-черных погонах делал его не по годам серьезным и строгим.

Девчонки и в последние минуты перед кино, и во время самого сеанса, и после, когда счетверенные стулья были снесены на сцену, освобождая широкий круг для танцев, не сводили с Петра глаз, и каждая, наверное, загадывала и волновалась — не ее ли он пригласит сейчас на первый вальс и после будет приглашать на все остальные танцы — на танго, фокстрот и польку, а когда танцы закончатся, не ее ли пойдет провожать на зависть всем иным подружкам до калитки, до ворот и простоит там со своей избранницей до самого рассвета.

Петр никого из девчонок не обманул и не обидел. Он танцевал со всеми по очереди (а иных так даже приглашал дважды и трижды) и вальсы, и танго с фокстротами, и бысролетную польку, но ни одной провожать не пошел. Тут уж сердцу не прикажешь: не глянулись они ему, не положили горячего солдатского сердца. Танцы еще были в самом разгаре, а Петр незаметно выскользнул из клуба и, стараясь никому не попадаться на глаза, отправился домой.

— Что так рано?! — удивилась мать столь неожиданному его приходу.

— Устал, — кое-как отшутился Петр. — Должно быть, с непривычки...

Он лег спать на мягком диване, приобретенном матерью специально к его приезду, но никак не мог уснуть, все время переносился мыслями в свою родную, затерянную в глухих лесах, часть, думал о покинутых им сослуживцах, совестился перед ними: вот он лежит сейчас, нежится на мягком пружинчатом диване, на белоснежных пуховых перинах и подушках, а они там, мокрые и не больно сытые, стоят в карауле, несут наряд на кухне или выматываются из последних сил на ночных неурочных учениях, поднятые по тревоге. Петр тоже тревожно вскинулся и, пугая чутко спящую на кухне за занавескою мать, заученно схватил со стула обмундирование, сапоги и метнулся к выходу, чтоб одним из первых, как и полагается сержанту, помкомвзвода, встать в строй. Но, минуту спустя, он огляделся по сторонам, увидел беленые мелом, все в рушниках и вышивках, стены родительского дома, три иконы в красном углу на киоте, фотографии отца и деда, тихо усмехнулся и мгновенно уснул, твердо загадав, что завтра непременно уплывет на ту сторону реки и заночует в широких и вольных лугах, как и мечтал о том все два года солдатской службы...

* * *

Третий свой отпускной день Петр опять неотлучно провел дома при матери, помогал ей по хозяйству: отремонтировал покосившуюся калитку, заменил на крыльчке две подгнившие ступеньки, накопил за огородами в торфяном болотце травы для телянка, несколько раз сходил к ко-

лодцу по воду. А когда на деревенские улицы, сады и огороды опустились сумерки, и августовская вечерняя заря медленно погасла, он вдруг спросил у матери:

— Наша лодка на плаву?

— Протекает немного в передке, — чуть виновато ответила мать, — но на плаву. А тебе зачем?

Ничего таить от матери Петр не стал, а чистосердечно и честно признался ей, как в армии много раз мечтал заночевать на том берегу реки, в пойменных, заросших травой-медуницей, лугах. Мать во всем поняла его желания, не стала противиться, хотя Петр и видел, что она все равно опечалилась такому его решению, что ей не хочется отпускать его от себя ни на единый час, ни на единую ночь, но мать скрыла свою печаль и лишь обеспокоенно сказала:

— А не простынешь? Ночи уже прохладные.

— Ну, что Вы, мама, — обнял ее за плечи Петр. — Я же солдат — ко всему привычен.

Мать стала поспешно собирать его в дорогу. Внесла из сеней весло с привязанным за поперечинку черенка ключом, так хорошо знакомым Петру с самого раннего детства, потом вручила ему половичок-одеяло, тоже хорошо известное Петру, которое они всегда брали с матерью в луга во время сенокоса. В конце этих поспешных и чуточку даже суетливых сборов она подала Петру в матерчатой сумке бутылку только что надоенного вечернего парного молока и ломоть черного ржаного хлеба. От молока и хлеба Петр попробовал отказаться. Он ведь всего полчаса тому назад поужинал, был сыт домашней, сваренной в русской печи, едой, от которой за годы солдатской службы, признаться, уже успел и отвыкнуть. Но мать настояла на своем:

— Ночь длинна — проголодаешься.

И он не стал больше спорить с матерью, хотя и удивился обеспокоенному ее слову — «длинна». Ну, какая в августе может быть длинная ночь — она коротка и быстротечна: вечерняя заря не успеет потухнуть, как уже поднимается утренняя, молодая, только-только родившаяся, омытая росой и туманом.

* * *

На тот берег Петр переплыл, когда на небе вспыхнули первые неяркие еще звездочки. Он сразу всех их узнал по детским своим и юношеским воспоминаниям. Они всегда вспыхивали вначале так вот неярко, подиночке и врассыпную, а потом собирались в созвездия, занимая строго отведенные им места, и светили так ярко, что слепили Петру глаза, когда он возвращался поздно ночью из клуба. Сейчас, после долгой разлуки, родные его звезды над засыпающим лугом светили еще ярче и ослепительней. Петру хотелось каждую из них снять с потухающего вечернего неба, подержать в горсти, ничуть не боясь обжечь ладони. Они совсем не были похожи ни на те мокрые, отсыревшие звезды, что тускло горели над ним в прибалтийских лесах, ни на те, что призрачно мерцали в полупустыне Капустина Яра, напоминая колючки перекасти-поля. Там звезды были чужими и холодными, а эти — родные, как было все родным вокруг: деревенские дома, река, луг, ольховые и березовые рощи, хлебные поля, отдыхающие от недавней горячей жатвы. Это были его звезды...

Место для ночлега Петр выбрал себе на дальней окраине луга в большом,

уже немного потемневшем от первых предосенних дождей стогу. Насмыкав сена, он устроил себе просторную постель из-под ветреной стороны стога, покрыл ее половиком-одеялом и со всего размаха, широко распластав руки, упал навзничь, как и мечтал упасть во время тягостной своей разлуки.

Петра сразу окутал запах высушенной до гулкового медового звона медуницы, осоки и зверобоя. Он, наверное, задохнулся бы от этих дурманящих запахов, но вдруг откуда-то из-за пойменных озер на него налетел порывистый луговой ветер. Он принес с собой запах живой, идущей в рост после июньского сенокоса отавной медуницы, запах и зверобоя, и тысячелистника, и камыша-очерета, и еще запах лозовых листьев, подорожника и щавеля. Голова и грудь затуманились у Петра совсем по-иному, молодо и счастливо. Он приподнялся на своем лежбище-ложе, огляделся вокруг и вдруг нестерпимо захотел есть. Из материнной сумки Петр достал бутылку молока и завернутый в холщовый лоскутик краюшку хлеба. Бутылка была еще теплой, а хлеб, наоборот, чуточку прохладный, остужающий, каким всегда он и бывает в такую вот вечернюю пору.

Петр торопливо открыл бутылку, разломал пополам краюшку хлеба и стал есть деревенский привычный ужин так ненасытно и так убористо, как будто пробовал его впервые в жизни. Но вскоре Петр обнаружил, что чего-то ему в этом привычно-деревенском ужине не хватает и недостает. Он долго не мог понять — чего — и даже немного расстроился своей непонятливости. Но когда молока в бутылке осталось меньше половины, Петр все-таки догадался, в чем тут причина. Не хватало ему терпкого шмелиного меда. Широко раздувающимися ноздрями Петр остро чувствовал его ни с чем не сравнимый запах, а во рту ощущал терпкий от переизбытка собранной с травы-медуницы сладкой пыльцы вкус. Шмелиные соты-ульи были где-то совсем рядом, может быть, вон там, под соседним кустом или под луговой кочкой, но сейчас, в ночи, их ни за что не отыщешь, и надо все отложить до утра.

Сон никак не шел к Петру. Закинув руки за голову, он недвижимо лежал на сенном насте, смотрел на ярко пылающие звезды, которые уже поднялись во всю высоту неба, слушал несмолкаемое стрекотание луговых кузнечиков, гудение приподнявшегося вернуться домой шмеля (значит, сотовый его дом-улей действительно где-то совсем рядом, и завтра ничего не будет стоить его найти) и с замирающим сердцем думал, что, если и бывает в жизни человека счастье, так вот оно — сейчас и случилось с Петром: он дома, на родине, на заветном лугу, под высоко горящими звездами — все свершилось, как он о том и мечтал...

Уснул Петр далеко за полночь. И спал так сладко и так непробудно, как могут спать только утомленные счастливо прожитым днем дети.

И вдруг кто-то невидимый легонько коснулся его щеки. Спросонку Петр вначале подумал, что это, наверное, ночной ветер колыхнул сенную травинку-медуницу, и она щекочет ему заспанную щеку. Но прикосновение повторилось опять и опять, и уже не только к щеке, но и ко лбу, к подбородку и даже к глазам. Когда же травинка коснулась губ, Петр вздрогнул и, еще не открывая глаз, догадался, что на самом деле это никакая не травинка, а горячая и чуточку влажная ладонь — и что ладонь эта несомненно женская, девичья...

Высвобождаясь из-под нее, он торопливо открыл глаза и действительно увидел низко склоненное над ним девичье лицо, при свете звезд и только что взошедшей луны необыкновенно красивое и взволнованное...

— Кто ты?! — едва слышно спросил Петр.

— Люба! — точно так же вполголоса и вполудыхание ответила ночная гостья и вдруг начала горячо и неотрывно целовать Петра в щеки, в глаза, в лоб и в губы.

Он обхватил пылающее ее лицо руками и стал целовать ответно тоже и в глаза, и в губы, и в длинную, с учащенно бьющейся сонной артерией, шею. Оторвался Петр от этого лица лишь один раз, чтоб вдохнуть глоток спасительного лугового воздуха (иначе ведь задохнется и умрет прямо здесь, на сенном насте), и беззвучно одними губами спросил:

— Ты откуда?

— Издалека, — зажала Люба ладонью Петру губы и опять стала целовать по-девичьи страстно и неотрывно, испепеляя ему и без того уже испепеленные глаза и губы.

Петр больше не останавливал ее (не в силах был остановить и не желал этого), а лишь удивился, как легко, через голову, снимается ее прозрачно-невесомое платье. А она удивилась, как точно так же легко, не зацепившись ни единой пуговицей, снимается его грубый солдатский мундир.

Скрывая их от всего окрестного мира, от луны и звезд, на луг, на дремотные травы, на лозняки и ольшаники опустился густой и непроглядный туман. Под его покровом и тяжестью на лугу все затихло, затаило дыхание: не колыхнулась ни единая травинка, не пошевелился, роняя на землю капельки росы, ни единый листочек, даже утомленные кузнечики перестали стрекотать, отложили до утра раскаленные свои молоточки и наковаленки. Лишь один неугомонный шмель, должно быть, винась перед сородичами за опоздание, все гудел и гудел где-то под высокой кочкой. Но вот наконец умолк и он, и стало так тихо, как будто, пробившись сквозь туман, в эти минуты и мгновения пролетел над ночным лугом небесный крылатый Ангел...

* * *

Они проснулись на утренней ранней заре. Солнце еще не вставало, а лишь обозначило далеко на востоке, за рекой, бледно-алую полоску, которая тонула в зыбком тумане.

Ночная гостья, Люба (или та, что назвалась Любой) приподнялась на локте, неотрывно-долго и чувствовалось, уже прощально поцеловала Петра в припухшие, горящие огнем губы. Потом она бесшумно надела свое прозрачно-светлое платье и, сбивая с травы босыми ногами холодную утреннюю росу, начала медленно уходить от Петра.

— Ты еще придешь? — не в силах до конца одолеть сладкий юношеский сон, спросил Петр.

— Приду! — на минуту повернулась она к нему лицом, словно ожидая от Петра еще каких-то слов или прощального порыва, но, так и не дождавшись их (он онемел на сенном, горячем еще ложе), завязала на затылке в тугой пучок длинные ниспадавшие ей до самого пояса волосы, и в следующее мгновение исчезла в луговом тумане, как будто ее и не было вовсе...

* * *

Когда солнце взошло и, тесня туман, ярко осветило весь луг, Петр долго сидел на сенном насте и никак не мог понять, что же случилось с ним в эту жаркую августовскую ночь: томительный сон, в котором ему причудилась молодая женщина, назвавшаяся Любой, ее жгучие поцелуи, ее

лицо и губы, ее сонная, бьющаяся на разрыв артерия, ее платье, которое так легко снимается через голову, или все-таки явь — и все это было на самом деле, иначе, почему же и отчего нестерпимо горят его собственные губы, глаза и грудь, а все тело стало вдруг необыкновенно легким и невесомым?..

Но чем выше всходило солнце, тем больше Петру начинало казаться, что — нет же — все это лишь сон, болезненный и тяжелый, который приключился с ним, истосковавшимся за годы армейской службы по любви и ласке. Наяву такого быть не может, никогда и ни от кого Петр не слышал, чтоб подобное случалось. А губы, глаза и грудь горят у него, наверное, оттого, что сквозь неплотное покрывало пробилась сухая и колкая трава, и Петр весь изранился об нее.

Он застегнул на все пуговицы мундир (ворот застегнул на крючки), туго подпоясал ремень и, совершенно успокоенный, собрался уже идти искать шмелиные соты, но когда стал вытряхивать половичок, то с него вдруг соскользнул и обронился на землю серебряный удлиненный крестик. Петр испуганно поднял его, долго держал на ладони и все старался вспомнить, был ли этот крестик на шее у Любы или не был. Кажется, не был, иначе Петр и губами, и лицом ощутил бы его. Но тогда — откуда же он, такой ярко горящий у него на ладони, и откуда на росяной траве следы босых девичьих ног, которые Петр только сейчас и заметил...

* * *

Искать шмелиные соты он не пошел, а, спрятав крестик в боковой карман мундира, торопливо переплыл на свой родной берег, словно бежал с места преступления.

Мать, увидев Петра, его взволнованное, полыхающее огнем лицо, положила ему на лоб руку и забеспокоилась:

— Ты не заболел?

— Нет, что Вы, — легонько отнял ее руку Петр.

Но мать, кажется, не поверила ему, еще несколько раз прикладывала ко лбу руку, долго отпаивала Петра кипяченым молоком и липовым целебным чаем, постелила даже в горнице постель, чтобы он как следует отоспался и во сне выздоровел.

Но Петр и не подумал спать. Торопя такой нескончаемо длинный августовский день, он занял себя работой по хозяйству: косил траву, ремонтировал заборы и ограду в палисаднике, рубил дрова. А как только солнце стало клониться на запад, и вечерняя, будто тканная золотом заря, потухла, он опять отпросился у матери в луга, захватив теперь в матерчатую сумку большую трехлитровую банку молока и целую буханку ржаного хлеба и воочию представлял, как Люба будет есть и пить, и как тоненькая струйка, выбившись из-под венчика, будет стекать по смуглому ее подбородку, а потом тяжело упадет на обнаженную грудь.

Сенное ложе Петр оборудовал в эту ночь особенно высокое и воздушное-мягкое, сел на самом его краешке и, глядя на пурпурный закат солнца, чутко и тревожно прислушивался к каждому движению, к каждому звуку на лугу: он слышал, как никнут и ложатся низко к земле травы, как шелестят на лозовых кустах листья, как стрекочут неутомимые кузнецы-кузнечики и как гудит точно в срок возвращающийся сегодня домой знакомый сторожевой шмель. Несколько раз поверх всех этих ночных звуков Петру чудились Любины легкие шаги. Он подхватывался с

сенного ложа и бежал ей навстречу, безжалостно приминая кирзовыми солдатскими сапогами луговую траву-медуницу, зверобой и осоку. Но Любины шаги тут же затихали, поспешно отдалялись, а после и вовсе терялись в сизо-темном тумане. Петр наклонялся к траве и при свете восшедших звезд и луны пытался различить на ней следы босых Любиных ног. Но их не было. Трава стелилась и никла к земле нетронутой и немая. Петр возвращался назад к брошенному становищу, садился на сеной наст и опять начинал терпеливо ждать, опять обостренно прислушивался к каждому движению и шороху на лугу и все вспоминал и вспоминал Любины прощальные слова, ее горячие обещания: — Приду!

...Но она так и не пришла. Утренняя заря, не в силах больше таиться за горизонтом в непроглядной темени, взошла резко и стремительно, всего за несколько минут вытеснила из луга туман, высушила травы и листья на лозовых кустах. Кузнечики, радуясь ее восходу, наперебой застучали звонкими своими молоточками, высоко в небе появились первые, самые ранние птицы: речные ласточки-щурки, узкокрылые чайки-крячки, луговые овсянки и серенько-неприметные воробьи, которые целыми стаями и тучами носились над устоявшимися уже стогами, где было для них столько поживы — сухих зернышек медуницы, зверобоя и тысячелистника. И лишь медлительные шмели дремотно спали еще в своих потаенных ульях-сотах, дожидаясь, когда солнце взойдет в полную силу и под его жаркими лучами откроются все медоносно-сладкие цветы.

Петр собрал сенную так и не тронутую постель, сокрыл все ее следы, чтоб никто посторонний не мог даже догадаться, что здесь в ночи кто-то был, томился и страдал напрасным ожиданием. К молоку и хлебу он за всю ночь так ни разу и не притронулся; не хотелось Петру одному, в тревоге и одиночестве, ни пить, ни есть, хотя жажда и голод постоянно мучили и изводили его.

На Любу Петр ничуть не обижался, а наоборот, думал о ней хорошо, с сочувствием и состраданием и легко находил оправдание ее поступку и невольному обману. Может быть, Любу не отпустили ночью в луга строгие отец с матерью, или она простудилась и заболела (роса утром вон какая холодная, а Люба беспечно ходила по ней босиком), или в темноте и тумане она просто заблудилась и вышла совсем к иному стогу, где никого не было и не могло быть. Завтра все разъяснится, и они вдвоем с Любой довольны посмеются над ее ночными блужданиями...

* * *

Но Люба не пришла ни на вторую, ни на третью, ни в любую иную из оставшихся у Петра в запасе отпускных быстотечных ночей. Они таяли одна за другой, будто краткие секунды-мгновения, приводя его в полное и безысходное отчаяние.

Перед отъездом на службу Петр в последний раз достал из бокового кармана Любин нательный крестик, долго держал его на ладони и долго сомневался — брать нечаянное это свое обретение с собой в часть или лучше оставить дома.

В конце концов он оставил крестик дома. Брать его в часть было никак нельзя: солдату, а тем более, младшему командиру, помкомвзвода, держать что-либо лишнее в карманах или в приставной тумбочке в казарме не полагалось. Это будет плохой и недостойный пример для подчиненных.

Петр положил крестик в старую свою, еще школьную готовальню, зная, что ни мать, ни кто-либо иной, посторонний туда не заглянет. Незачем им заглядывать в старенькую, с протертым по углам дерматином готовальню, которая лежит в ящичке стола, дожидается, пока Петр, отслужив в армии последний оставшийся ему год, поступит в институт (в политехнический — куда и мечтал поступить) и заберет ее с собой в большой город, чтоб чертить на ватманской дорогостоящей бумаге всякие сложные чертежи и схемы. Заберет Петр туда и крестик, если только хозяйка его не обнаружится в первые же дни после демобилизации старшего сержанта ракетных войск стратегического назначения.

* * *

Кто знает, может, Люба (или та, что назвалась Любой) и обнаружилась бы, но на следующее лето, в конце июля, Петр, не заезжая домой ни на единый день (не было у него в запасе этого дня), сразу из части отправился в большой город сдавать вступительные экзамены в политехнический институт. Сдал он их хорошо, всего лишь с одной четверкой по сочинению и был зачислен на первый курс радиофизического факультета. Навестить мать и родное село после экзаменов Петру тоже не удалось. Добираться ему надо было с двумя пересадками, и он за неделю, что оставалась до начала занятий, обернуться просто-напросто не успевал, да и лишних денег на эту поездку не было.

Появился Петр дома лишь поздней осенью на ноябрьские праздники. Декан продлил ему как недавно демобилизованному воину короткие каникулы на целых десять дней, а деньги Петр заработал, разгружая по ночам на товарной станции вагоны с углем и строевым лесом.

Дома Петр первым делом достал из готовальни чуть потускневший взаперти крестик, положил его во внутренний карман теперь уже гражданского пиджака и хотел, отпросившись у матери, отправиться к вечеру на тот берег реки, в луга. Ночевать там в холодной осенней слякоти, конечно, было уже нельзя (мать с ночевкой ни за что бы Петра не отпустила), а вот пройтись по луговым тропинкам можно было, да и хотелось...

Но, взглянув в окошко, Петр вдруг обнаружил, что река от осенних частых дождей вышла из берегов и затопила в широком половодье луга и на этом, и на том берегу — не зря они зовутся у них заливыми лугами, займищами. Все луговые тропинки, отавные травы и даже лозняки скрылись под водой, как будто они прежде и не существовали. И лишь одни потемневшие стога, сметанные на высоких бугорках и оденках, несменяемой стражей стояли на продуваемом всеми ветрами предзимнем лугу. Но на том месте, где Петр когда-то повстречался с Любой, стога не было: то ли его перевезли на эту сторону еще по осени, то ли в нынешнее лето не сметали вовсе...

* * *

Готовальню с крестиком Петр действительно увез с собой в город и поначалу открывал ее едва ли не каждый день, чтоб чертить сложные чертежи и схемы, которые студентам-первокурсникам задавали очень часто.

Крестик всегда лежал рядом, то согревал, то, наоборот, до полного изнеможения томил Петру душу и сердце. Он откладывал в сторону рейсфедер и все вспоминал и вспоминал Любу, жаркую их, единственную

ночь, и все терялся в догадках, почему она больше ни разу не пришла (может, и вправду это было только ночное тягостное видение?) и навсегда исчезла из его жизни.

А потом Петр стал открывать готовальню все реже и реже. У него вдруг появилась новая, с большим набором всевозможных чертежных приспособлений: циркулей, рейсфедеров, перьев и тонюсеньких грифелей.

Настоящая готовальня будущего инженера, так необходимая ему для серьезной, ответственной работы. Готовальню эту подарила Петру одна очень внимательная его сокурсница. Он нескрываемо обрадовался дорогому подарку, и теперь они с этой сокурсницей неразлучно проводили все дни: совместно сидели за одним столом во время лекций, практических занятий, коллоквиумов и семинаров, совместно обедали в студенческой полуподвальной столовой (хотя сокурсница была городской жительницей и могла обедать дома), совместно ходили в кино, в цирк, в театры и на частые студенческие вечеринки-танцы.

Покоренный внимательной и на редкость заботливой однокурсницей, Петр все реже и реже вспоминал и первую свою школьную (такую неудачную) любовь, и мимолетную встречу-свидание с Любой в затянутых туманом августовских лугах (которая, неизвестно еще, была или не была), а потом и совсем перестал о них думать. То были всего лишь полудетские еще, юношеские (и, конечно же, случайные) увлечения, а здесь большая взрослая любовь на долгие, бесконечные годы жизни.

* * *

После первого курса они поженились, и теперь Петр стал приезжать в село, к матери с молодой городской женой, красавицей и умницей, которая всегда и во всем понимала его, легко догадывалась и выполняла все пожелания строгого мужа.

К матери Петра жена нашла все необходимые подходы. Они быстро поладили между собой, взаимно понимая и поддерживая друг друга, чему Петр не мог не радоваться и чем не мог не восхищаться: все-таки он в женитьбе не ошибся — лучшей жены ему не надо, да ее, наверное, и не бывает.

А через несколько лет они начали приезжать в село уже с детьми. У Петра с женой родились две дочери-близнецы, да такие веселые, да такие пригожие, что у Петра прямо душа замирала, глядя на них.

Он смастерил новую просторную лодку-плоскодонку, и они часто всем семейством переплывали на ту сторону реки, в луга. Девчонки-дочери под присмотром родителей купались на речной отмели, загорали на сыпучем песке, ловили кузнечиков и бабочек. Петр учил их распознавать луговые травы: медуницу, зверобой, подорожник и щавель, а жену учил отыскивать под кустами дикой смородины и кочками шмелиные улья-соты. Она оказалась очень примерной ученицей и вскоре приловчилась отыскивать соты гораздо лучше и удачливей Петра. По-женски осторожно и внимательно она отламывала от них кусочек-другой, и шмели никогда не трогали ее, добровольно отдавая часть цветочной своей добычи новой хозяйке лугов.

Под высокой прибрежной вербой они раскидывали скатерть-самобранку, звали дочерей и пили парное, еще теплое молоко в прикуску со шмелиным чуточку терпким медом и ржаным домашней выпечки хлебом.

Петр иногда поглядывал на стога, богатырской бдительной стражей стоявшие на самых видных местах по всему лугу. Он легко обнаруживал и угадывал среди них и тот (их с Любой) стог (другой, конечно, сметанный нынешним летом, но все равно — тот). Спасая его от возможного половодья, мужики подняли стог выше других на лозовом оденке и даже окопали вокруг рвом для отвода воды. Петр смотрел на него намеренно долго, точно примечая место из-под ветреной стороны, где он когда-то устроил себе сенное покрытое половичком-одеялом ложе, на котором так сладко уснул и еще слаще пробудился от прикосновения Любиной руки, от ее обжигающе-горячих ненасытных губ, но ничего теперь, рядом с женой-красавицей, рядом с девчонками-дочерьми, которые обещали стать в будущем красавицами и умницами, может, даже и лучше матери, не томилось и не вздрагивало в душе Петра.

Он думал, что так будет всю жизнь, и никакие воспоминания, никакие стога, никакие запахи травы-медуницы и шмелиного меда не омрачат эту жизнь...

* * *

Да и как они могли омрачить, когда все в семье у Петра складывалось, как нельзя лучше. После окончания института его оставили работать в городе на оборонном заводе, который производил радиоэлектронное оборудование для ракет стратегического назначения (не для тех, понятно, на которых когда-то служил Петр, а для совсем иных, более совершенных, нового и новейшего поколения), для спутников и других космических аппаратов. С первых же дней работы Петр очень хорошо зарекомендовал себя и вскоре стал одним из ведущих инженеров. Нашлось место на заводе (в конструкторском бюро) и жене.

Года через полтора им, как молодым перспективным специалистам, дали в самом центре города трехкомнатную улучшенной планировки квартиру. По льготной заводской очереди и на льготных условиях они купили себе новенькую оранжево-яркого цвета (так жене захотелось) машину «Жигули», которые тогда только-только начали появляться и которые прежде всего продавали сотрудникам именно таких оборонно-секретных предприятий, где и трудились Петр с женой.

Профсоюзная организация выделила Петру (теперь уже, разумеется, Петру Петровичу) дачный участок в лесном престижном массиве, и они, собравшись со средствами, построили там себе небольшой, но такой уютный садовый домик-дачу.

Домой, в село, к матери Петр Петрович с женой и детьми приезжал теперь уже не каждый год. То выпадала им вдруг, опять-таки льготная, профсоюзная путевка в заводской санаторий или Дом отдыха в Кисловодске, Минеральных Водах или на Черноморском побережье, в Гаграх и Пицунде; то возили они подрастающих своих дочерей-красавиц в Москву, Ленинград и в другие примечательные и знаменитые места страны, чтоб дочери могли с самых малых лет многое увидеть и многое познать. В иные же годы по настоянию жены и вовсе никуда не ездили, а весь отпуск, все лето проводили у себя на даче. Жена, как и многие городские жительницы, оказалась большой любительницей садоводства и огородничества. Приучала к тому и дочерей.

Жили они действительно счастливо, понимали друг друга с женой с полуслова и любили друг друга так же (а может, даже и сильнее), как в

первые свои студенческие годы. И ничто (и никогда!) не омрачало эту их завидно счастливую жизнь.

Но однажды жена, занимаясь уборкой, обнаружила в ящичке письменного стола Петра Петровича старенькую его школьную готовальню с протертым на уголках до живого дерева дерматином. Сгоряча она хотела, не раскрывая готовальни, выбросить ее как ненужную рухлядь и хлам (жена терпеть не могла в доме ничего лишнего и постороннего), но потом все-таки открыла и неожиданно увидела там серебряный удлинненный крестик.

— Откуда это у тебя?! — без всякого интереса спросила она у Петра Петровича.

— Нашел когда-то давным-давно, — тоже мимоходом ответил тот. — Возьми себе, если хочешь.

Жена (женщина все-таки, модница) примерила было крестик перед зеркалом, полюбовалась им несколько минут, но потом решительно отняла от груди шеи и еще более решительно сказала Петру Петровичу:

— Нет, не возьму. Он — чужой!

Она спрятала крестик назад в готовальню, положила ее назад в столик на прежнее место, и мимолетный этот случайный разговор тут же и забылся, и они с женой больше никогда о нем не вспоминали.

Но через месяц-другой крестик вдруг бесследно исчез. Петр Петрович (теперь он уже и не помнит, по какой надобности) случайно открыл старенькую школьную готовальню и, к немалому своему удивлению, крестика там не увидел. Ничего говорить жене о пропаже он не стал (посетовал в сердцах на дочерей: может, они, играясь, унесли куда-нибудь крестик, хотя вряд ли — дочери у них росли девчонками послушными и без разрешения к отцовским или материным вещам не прикасались), но с этого дня Петр Петрович вдруг начал замечать, что между ним и женой встала какая-то незримая тень. Сперва вроде бы едва приметная, зыбкая и колеблющаяся, готовая в любую минуту навсегда растаять и исчезнуть. Но она не исчезала, а наоборот, день за днем, год за годом все ширилась и росла. Чувствовала постоянное присутствие этой, неведомо откуда взявшейся тени, и жена (и даже острее Петра Петровича). Пытаясь бороться с ней, жена стала еще более внимательной и чуткой к мужу, во всем подчинялась и покорялась ему, предупреждала каждое его самое малое желание. Но тень все росла и росла, иногда и вправду едва-едва заметная, похожая на далекое воздушное марево, а иногда так и по-настоящему тяжелая и разъединяющая их.

Несколько раз Петр Петрович порывался в такие дни и минуты уехать куда-нибудь один (скорее всего, конечно, в деревню, к матери — куда же ему еще было ехать), чтоб успокоиться, обрести душевное равновесие и не волновать понапрасну жену. Но повода для одиночной успокоительной поездки у него никак не находилось (командировки — это совсем не то, там дела служебные, не личные), да и не принято у них с женой было ездить куда-нибудь порознь.

* * *

Так прошло, наверное, лет пять-шесть, а может, и все десять. И вот однажды, когда Петру Петровичу уже было за сорок, подобная поездка ему вдруг счастливо выпала, и именно домой, к матери, где давненько, признаться, и не был.

Мать позвала Петра Петровича в помощь по одному неотложному хозяйственному делу. Она надумала перекрыть в доме соломенную их порядком уже обветшавшую крышу начавшим тогда повсеместно входить в моду шифером. В районном центре мать заключила договор с какой-то недавно только что возникшей ремстройконторой, которая как раз и занималась по деревням доходным кровельным промыслом. Строители эти и кровельщики еще по весне завезли матери и шифер, и опалубку, и рубероид, но лишь теперь, в августе-месяце, наконец, назначили день и час (договоров у них было сверх меры, и заказчикам приходилось иногда ждать по полгода), когда подъедет к ней бригада шиферных мастеров. Вот мать и звала, и слезно просила в помощь Петра Петровича. Все-таки при строительстве, да еще таком ответственном, как крыша, нужен был мужской глаз и внимание. А то летучие эти кровельщики впопыхах сделают все абы как, уедут, хорошенько обмыв у деревенской мало чего понимающей в строительстве женщины-старушки чердачное свое сооружение, а через день-другой капнет дождь — крыша и потечет по всем желобам и прорехам.

Отказать матери Петр Петрович не мог. Он взял на работе недельный отпуск без содержания и впервые за столько лет приехал домой один, без жены и детей.

При его строгом присмотре, а иногда так и вмешательстве, строители перекрыли крышу всего за четыре дня, работая (надо отдать им должное) с ранней зари до заката.

Все эти дни Петр Петрович был неотлучно дома. Руководил, распоряжался строительством, то и дело сам брался и за топор с гвоздодером, и за вилы с граблями: занес в сарай на вышки сорванные плотниками с крыши жердилаты; сметал в аккуратный, убористый стожок старую солому (матери на подстилку для коровы она очень даже сгодится), из обрезков шелевки-опалубки смастерил будку, укрытие для кур взамен прежней, тоже заметно обветшавшей.

Всю эту крестьянскую будничную работу, от которой в заводской своей жизни крепко уже и отвык и соскучился, Петр Петрович делал, вершил с особой отрадой и удовольствием.

Умаявшись с непривычки за день до изнеможения, он, едва наступала ночь, замертво падал на диван и мгновенно засыпал, иной раз даже отказавшись от ужина — любимого своего парного молока с ржаным хлебом.

Но вот на пятую ночь, когда плотники, завершив строительство и прощальное застолье с доброй хлебосольной выпивкой и закуской, уехали в город еще засветло, Петр Петрович с неожиданным томлением, которое вдруг прорезалось у него в душе (будто кто полоснул по сердцу остробритвенной осокой), посмотрел через огороды и реку на тот берег, в луга и спросил у матери:

— Лодка наша на плаву?

— Протекает немного в корме, — виноватаясь за недосмотр, ответила мать, — но на плаву. А тебе за чем?

— Можно я переночую сегодня в лугах? — стал отпрашиваться у нее Петр Петрович, как отпрашивался когда-то в юношеские, солдатские годы.

— А и переночуй, — легко и охотно согласилась мать. — В доме жарко, да и пыльно после ремонта.

Снарядился Петр Петрович в луга одной минутою и секундою: за-

хватил половичок-одеяло, бутылку молока с ломтем ржаного хлеба в материнной матерчатой сумке и всего через полчаса был уже на том берегу.

Вечерняя заря еще не совсем потухла: краешек неба светился золотой тоненькой полоской. Петр Петрович широко расправил опавшие от нелегкой кровельной работы плечи, вдохнул полной грудью луговой травянисто-хмельной воздух и при дальнем отсвете золотой закатной полоски в два-три поворота и шага отыскал памятный ему стог на высоком бугорке и оденке (да он отыскал бы его и в самой кромешной беззвездной темени, по одним только очертаниям и запаху сухой травы-медуницы).

Лежбище для ночлега Петр Петрович устроил себе из-под ветреной стороны стога, тоже высокое и мягкое, призывно шуршащее от каждого прикосновения санным настом. Прикрыв его половичком-одеялом, Петр Петрович по-мальчишески упал на сенное это ложе навзничь и запрокинул за голову руки. И почти в то же мгновение на небе одна за другой вспыхнули яркие луговые звезды, распределились по большим и малым созвездиям и во всеуслышание заговорили с Петром Петровичем на звездном своем языке, упрекали и корили его за небрежение к родному дому, к родной реке и лугу, и к ним, звездам, заставляя сиять в ночи в полном одиночестве.

Петр Петрович, как мог, винился и перед родным домом, и перед родной рекой, с крутыми ее берегами, перед лугом, а больше всего перед звездами, которым действительно, наверное, было без него светить в ночном пространстве одиноко и очень печально.

Несколько раз, конечно, Петр Петрович вспоминал Любу, но как-то неясно, будто в густом холодном тумане, когда никак невозможно понять — сон перед тобой или дневная явь. Но вспоминал, чего уж тут таиться и робеть этих воспоминаний. За ними в общем-то и ехал сюда, на родину, за ними и плыл, рискуя потонуть (давно не смоленая лодка действительно заметно протекала в корме), на заливной, весь в поднявшейся уже до колен траве-отаве, в полноводных озерах и шумливых лозняках луг.

Уснул Петр Петрович далеко за полночь, и так крепко и так непробудно уснул, как не спал в городской своей квартире уже давным-давно. Он проспал бы поди до самого восхода солнца, когда начали бы уже над береговыми кручами носиться, споря и обгоняя друг друга в полете, речные ласточки-щурки и чайки-крячки, а на лугу неустанно застучали бы звонкими своими молоточками о наковаленки кузнечики, полусонно загудели бы шмели. Но во втором часу ночи в самые сладкие и глубокие минуты сна вдруг кто-то едва ощутимо коснулся вначале лба, потом глаз, а потом и губ Петра Петровича. Он рукою отмахнулся от назойливого этого мешающего ему сладко и дремотно спать прикосновения и в сердцах подумал, что это, должно быть, налетел из дальних лугов ночной порывистый ветер, пошевелил выбившуюся из-под одеяла травинку — и она щекочет Петра Петровича и до срока будит. Он повернулся на другую сторону, пытаясь запрятать лицо в санный належалом настe, но прикосновение повторилось еще раз и еще и вдруг, не открывая даже глаз, Петр Петрович догадался, что прикасается к его лбу, векам и губам вовсе не травинка, а человеческая горячая ладонь, и что ладонь это несомненно женская.

Когда же он наконец открыл глаза (хотя и боялся их открывать), то действительно увидел склоненное над ним необыкновенно красивое при свете только что взошедшей луны лицо зрелой, в самом расцвете сил женщины.

Она заметила пробуждение Петра Петровича, провела ладонью по его щеке, а потом вдруг начала целовать в лоб, в глаза, в губы, и так неистово, с таким жаром и огнем, что Петр Петрович задохнулся и со страхом подумал, если женщина сейчас не отпустит его, то он умрет прямо здесь же, на сенном ложе в ее горячих объятьях.

Но вот женщина сама перевела дыхание и дала перевести его Петру Петровичу, и он одними только губами, шепотом, почти беззвучно и безмолвно спросил ее:

— Ты кто?! Люба?!

— Нет, не Люба! — тоже одними губами и дыханием ответила она. — Я — Людмила.

— Откуда ты? — успел сказать еще два слова Петр Петрович.

— Издалека! — улыбнулась женщина и стала еще жарче, еще неистовей целовать Петра Петровича, и он стал целовать ее ответно и в лоб, и в глаза, и в губы, и тоже так огненно и так неистово, как никого прежде и не целовал.

И еще Петр Петрович удивился, как легко, в одно лишь движение, через голову, снимается ее просторный воздушно-прозрачный сарафан, а она удивилась, как еще легче снимается его домашняя фланелевая рубашка с широким откладным воротом, на которой все пуговицы расстегнуты и нет туго повязанного галстука, носить которые в последние годы Петр Петрович привык и научился.

Темно-сизый августовский туман, до этого таившийся где-то за лозняками, теперь, гонимый порывистым ночным ветром, опустился на прибрежные луга, сокрыл от постороннего глаза, от неусыпных звезд и луны все окрест: и причаленную на песчаной отмели лодку, и сторожевые уже потемневшие к осени стога, и сенное ложе-наст, раскинутое за один из них из-под ветреной стороны. Спасаясь от тумана, трудолюбивые кузнечики запрятались поглубже в траву и приклонили к земле острые свои колени; божьи коровки, спавшие до этого на маковках медуницы, поднырнули теперь под широкие ее листочки и притаились там до рассветней зари; полосато-белые шмели перестали беспокойно ворочаться в узких сотах, задышали глубже и ровнее, зная, что в таком тумане их никто и никогда не отыщет.

И стало на лугу тихо-тихо, как будто над ним пролетел небесный крылатый Ангел...

* * *

Когда утренняя заря только-только обозначилась на востоке, Петр Петрович вдруг спросил Людмилу:

— Хочешь молока?

— Хочу! — оторвала она голову от его груди.

Петр Петрович передал ей еще не успевшую остынуть и находодать бутылку парного вечернего молока и ломоть ржаного свежего хлеба.

Высоко запрокинув подбородок, Людмила начала ненасытно и жадно пить молоко, утоляя, должно быть, мучившую ее жажду. Молоко тоненькой струйкой выбилось из-под губ Людмилы, потекло с левого уголка по подбородку и упало двумя тяжелыми каплями на зрелую ее высокую грудь. Петр Петрович неотрывно смотрел и на нежно-узенький ее подбородок, и на эту зрелую (перезревающую уже) грудь, и на по-лебединому прогнутую шею, на которой неудержимо билась и трепетала жилоч-

ка сонной артерии, и никак не мог понять, снится ему все это или происходит на самом деле, и Людмила, вдоволь насытившись молоком и хлебом, утолив жажду и голод, сейчас передаст Петру Петровичу бутылку и остаток ржаной краюшки. Она и вправду передала, но Петр Петрович ни есть, ни пить не стал, а, обняв Людмилу, принялся нежно и тихо целовать ей глаза, губы, нестерпимо горячую грудь и шею с опасно пульсирующей сонной артерией. А когда опять с трудом перевел дыхание, то прикоснулся ложбинки-ямочки на излете ее шеи и не выдержал, спросил:

— Это твой был крестик?!

— Что ты, — обвила Людмила руками его голову. — Я не ношу украшений.

И в следующее мгновение, глянув на восходящее солнце, она потянулась за сарафаном, который лежал далеко в стороне на сырой, прикипшей к земле траве. Петр Петрович невольно удивился, как же тяжело и трудно он надевается через голову, как сворачивается в тугой комок в шейном прорезе и длинном подоле. А Людмила, глядя на Петра Петровича, удивлялась, как трудно надевается его фланелевая домашняя рубашка, путаясь в широком вороте, в рукавах, и пуговицах, которые никак не попадают в петли.

Но вот Людмила, прощаясь с Петром Петровичем, в последний раз обняла, обвила его руками, в последний раз поцеловала: и горячо, и нежно, и преданно и, босая и простоволосая, начала уходить от Петра Петровича в сиренево-белый по-утреннему холодный туман...

— Ты придешь еще? — уже вдогонку прокричал он ей.

— Обязательно приду! — на минуту остановилась Людмила, завязала на затылке волосы в тугий темно-русый пучок и исчезла в тумане, как будто ее и не было вовсе...

Но прежде, чем исчезнуть, Людмила повернулась к Петру Петровичу лицом и гибким станом и не столько пообещала, сколько потребовала и приказала:

— Жди!

* * *

Петр Петрович начал ждать ее с этой последней, прощальной минуты. Он поспешно собрал сенную свою постель, еще хранящую следы и вмятины томительно-сонного женского тела. Страхивая и сворачивая половичок-одеяло, Петр Петрович с какой-то затаенной надеждой ожидал, что сейчас с него непременно соскользнет и обронится на землю серебряный удлиненный крестик. Он поднимет, спрячет его в карман, а следующей ночью, которая сегодня наступит раньше обычного, миновав и обманув длинный августовский день, Петр Петрович встретит Людмилу в лугах и, как только ее легко-прозрачный сарафан упадет далеко в траву, к подножью стога, он вернет потерю законной хозяйке.

Но с половичка ничего не соскользнуло и не обронилось (уж Петр Петрович сразу бы заметил и расслышал бы это скольжение). Судя по всему, Людмила и вправду не носила на шее ни серебряного, ни позлащенного крестика, как тогда уже вошло в моду у многих иных женщин. Но другие украшения она все-таки носила. В ушах у нее Петр Петрович обнаружил сережки, но не затейливые какие-нибудь, с дорогими камнями, бриллиантами и изумрудами, а старинные, которые в давние времена отливали деревенские кузнецы-умельцы из серебряных полтинников.

Сережки эти напоминали продолговатые капельки прозрачно-чистой студеной воды, готовые вот-вот сорваться с высоты и упасть, еще в полете рассыпаясь на тысячи мелких играющих на солнце брызг. Но сережки не срывались (а только грозились сорваться), потому что крепко и надежно удерживались за тоненькие упругие дужечки. Петр Петрович всю ночь чувствовал их холодные, остужающие прикосновения, ощущал ласковые уколы серебряных дужечек с коротенькими отворотами на кончиках и жаждал этих прикосновений и уколов еще и еще...

Но, может быть, и сережек не было, и они только причудились Петру Петровичу в ночи, а на самом деле это покалывали ему лицо, шею и грудь сенные травинки, пробившиеся сквозь неплотное одеяло-половичок.

Сегодня ночью Петр Петрович проверит свою догадку, и, если он обманулся, то Людмила будет залиvisto хохотать над его домыслами, а потом ласково обнимет Петра Петровича и припадет пылающим своим свободным от всяких посторонних и ненужных украшений лицом к взволнованной груди Петра Петровича.

В предчувствии скорого (совсем скорого) свидания, Петр Петрович поначалу хотел даже не забирать домой половичок, а запрятать его где-нибудь в стогу, чтобы понапрасну не носить туда-сюда. Но потом все-таки забрал, боясь огорчить мать, которая поди забеспокоится о стареньком и так необходимом ей в хозяйстве половичке. Он ведь в стогу сможет нечаянно пропасть: обнаружат его приглядчивые пастухи или луговые объездчики, или вытащат и унесут неведомо куда какие-нибудь звери и птицы — лисы, волки или вороны и галки.

* * *

Но обеспокоилась мать совсем о другом. Как только Петр Петрович перешагнул порог, она с немалым испугом и тревогой протянула ему листочек, который только что принесла в дом из сельсовета, где был единственный на все село телефон, дежурная-десятская. На том листочке с коряво и неразборчиво написанной малограмотной женщиной химическим карандашом фамилией Генерального директора завода стояло всего два (но каких грозных и требовательных слова): «Срочно возвращайтесь». Просто так, без крайней необходимости подобные телеграммы не посылаются. Слишком хорошо знал Петр Петрович Генерального директора (и тот знал его не хуже), чтоб не понять, что там, на заводе, случилось что-то опасное и непредвиденное, требующее обязательного присутствия Петра Петровича.

В тревоге за порученное ему на заводе слишком серьезное и ответственное дело, Петр Петрович забыл обо всем на свете: о не доведенном до конца в доме ремонте, о деревенских своих друзьях, которых не успел навестить (и в первую очередь, конечно, самого близкого, Николая, Николая Николаевича), забыл и о реке, и о лугах, и, увы, о Людмиле, которая теперь оказалась ему каким-то совершенно посторонним существом из другого, может быть, и вовсе не существующего мира. Конечно, он поступил с Людмилой слишком беспечно и непредусмотрительно: надо было все-таки узнать, откуда она, из какого заречного села или хутора, взять подробный адрес, чтоб при случае написать ей письмо, а еще лучше бы, справившись с делами на заводе, приехать сюда, домой, еще раз и, во что бы то ни стало, отыскать ее. Но вот же, не узнал и не запомнил.

Петр Петрович лишь запоздало вздохнул от этой своей беспечности, передал матери в полной целостности и сохранности половичок-одеяло, на котором в самое последнее мгновение заметил приставший стебелек травы-медуницы. Петр Петрович снял его и хотел выбросить, но вдруг остро почувствовал и ощутил, как от него исходит запах и шмелиного терпкого меда, а вместе с ним и запах волос, глаз и губ Людмилы. Первым движением у Петра Петровича было — взять этот стебелек с собой, спрятать где-нибудь в записной книжке или в каком ином потаенном месте, чтоб после часто доставать его и, вспоминая Людмилу, бесконечно верить, что она действительно была, а не приснилась Петру Петровичу в вымороченном сне на лугу.

Но он луговой стебелек-травинку все-таки не взял. Вдруг настороженно забоялся (испугался даже), что жена однажды обнаружит его (а обнаружит обязательно, тут и сомневаться нечего, и догадается, что хранится этот стебелек в записной книжке мужа не просто так, что таит он запах волос, губ и глаз другой женщины), и как тогда Петр Петрович оправдается перед женой, и без того за всю жизнь столько пострадавшей с ним, как объяснится?

Почему-то прячась от матери, Петр Петрович незаметно снял с полочки готовую вот-вот сорваться и оброниться на землю сухую луговую травинку, легонько дохнул на нее — и развеял по ветру...

* * *

Откладывать поездку Петр Петрович не стал ни на единую минуту, обнял на бегу, поцеловал заплаканную мать и на удачно подвернувшейся машине (сосед, шофер колхозного грузовика, как раз стоял возле дома и вошел в положение Петра Петровича), умчался в районный центр, чтоб оттуда опять-таки на первом попавшемся автобусе или на случайной машине (грузовике или легковой — это без разницы) мчаться уже в область, где есть аэродром, с которого можно улететь самолетом в его далекий, ставший теперь родным, город.

* * *

На заводе действительно случилось непредвиденное, всех взбудоражившее происшествие. Вернее, даже не на заводе, а далеко от него, в так памятном Петру Петровичу Капустином Яру. Во время испытания новейшего образца ракеты, изделие, изготовленное на их заводе, прошедшее десятки стендовых испытаний, дало сбой, сработало с недопустимой погрешностью, в результате чего ракета не вышла на заданную траекторию и взорвалась едва ли не на старте. Хорошо еще, что обошлось без человеческих жертв.

Само собой разумеется, что была создана для выяснения всех обстоятельств аварии государственная комиссия из представителей Министерства обороны, головного предприятия в Москве, многих иных учреждений и ведомств, причастных к ракетостроению. Завод, на котором работал Петр Петрович, должен был представлять Генеральный директор и главный инженер. Но тот, как на грех, еще до аварии заболел, попал в больницу на операционный стол, и заменить его обязан был именно Петр Петрович, тогда уже занимавший должность заместителя главного инженера (после он станет и главным).

В Капустином Яру Петр Петрович пробыл целый месяц, принимал участие во всех проверках и разборках, часто похожих на допросы. И вышел из них с честью, сумев доказать, что виной аварии было не столько само изделие, сколько ошибочные действия стартового расчета.

По вечерам донельзя утомленный всеми этими проверками, разборками и допросами, Петр Петрович часто выходил из офицерской гостиницы, где жил, в степь, садился где-нибудь на бугорке и подолгу смотрел на звезды, измученные от суховеистой августовской жары, похожие на верблюжьи колючки или на гонимые по степи стебли перекати-поля. Петр Петрович невольно вспоминал давно минувшие дни своей солдатской службы (почти двадцать лет тому назад), когда он точно так же выходил ночью в степь, садился на высохшем до каменной твердости бугорке (кажется, именно на том, где сидел и сейчас), смотрел на чужие южные звезды и душой и мыслями переносился (хотел и рвался) домой, на родину, в родные прохладно-влажные луга.

Он рвался туда и нынче, и может быть, даже еще острее и стремительней. Вот закончится вся эта нервотрепка с проверками, доводящая иногда Петра Петровича до сердечного приступа, и он опять отпросится у Генерального директора (после всего, что Петр Петрович сделал здесь, в Капустином Яру, тот не сможет не отпустить его) и уедет хотя бы на несколько дней в село. Еще тепло, еще только начинается бабье лето, и в лугах можно будет провести и одну, и другую, и третью ночь, захватив с собой вместо изношенного, потертого половичка толстое ватное одеяло, а еще бы лучше старую свою солдатскую шинель, которую мать, будто предвидя подобный случай, бережно хранит в шифоньере, заботливо перекладывает ее травой-полынью, чтоб шинель не тронули ни вездесущая моль, ни время.

Если Петр Петрович приедет к матери, то Людмила обязательно поучет и узнает, что он здесь, дома, и придет к нему в одну из коротких этих ночей (а может быть, и каждую ночь) бабьего лета. Сердце у Петра Петровича успокоится, перестанет давать сбои, и он будет, как никогда, счастлив...

Но, увы, поехать домой Петру Петровичу так и не удалось. Главный инженер все еще болел, лежал в больнице, а на заводе принялись дорабатывать злополучное изделие, согласно замечаниям комиссии, которые все-таки были (как им не быть, когда ракета, едва взлетев, взорвалась). Петр Петрович, заменяя главного инженера, днем и ночью, опять донельзя изводя и терзая ослабевшее свое сердце, безвылазно пропадал на заводе, и ни о чем ином, кроме работы, не думал, не позволял себе думать.

Ну, а потом началась зима. В том году на редкость морозная и вьюжная. Реку поди сковали метровой толщины льды, а луга занесло вровень с маковками стогов непроходимыми снегами, и в этих льдах и снегах никаких следов Людмилы не найдешь и не обнаружишь...

* * *

С тех пор прошли не только годы и годы, а и целые десятилетия. Все приключения Петра Петровича в заречных лугах (и те, юношеские, солдатские, и уже взрослые) постепенно забылись, будто подернулись луговой дымкой и туманом, а потом и вовсе исчезли.

С их исчезновением, ночная непроглядная тень между Петром Петровичем и женой день за дном все уменьшалась и уменьшалась, становилась почти незримой и в конце концов тоже истаяла и исчезла, чему Петр Петрович искренне обрадовался.

* * *

Но вот нынешним летом, как раз в августе, лучший его школьный друг и товарищ, Николай, Николай Николаевич, позвал Петра Петровича в гости. С детских лет Николай был человеком веселого, общительного характера и нрава, любил всякие беседы и застолья, шумно отмечал все семейные праздники: дни рождения, именины, проводы и возвращение из армии, но желаннее всего (и раздольней всего) Николай Николаевич с женой праздновали День свадьбы, почитая ее за главное семейное торжество, от которого пошло и есть все обширное их с женой родовое семейство.

В этом году исполнялось ровно сорок лет, как Николай Николаевич сыграл памятную свою первую тогда в селе комсомольско-молодежную свадьбу. По этому случаю он созывал богатое многолюдное застолье (считай, новая, повторная свадьба, называемая «рубиновой»), и в первую очередь, конечно, пригласил на нее своего лучшего друга по детским и школьным временам — Петра Петровича, который когда-то был свидетелем веселого и легкого, но, оказывается, вон какого верного ухаживания Николая Николаевича за будущей женой, их же, деревенской, девчонкой, тоже неудержимо веселого и легкого характера.

Петр Петрович посоветовался с женой и дочерьми и решил поехать. На родине он не был более двадцати лет, с того печального дня, когда похоронил рано и неожиданно умершую мать.

После смерти матери в село Петра Петровича не тянуло, будто кто отрезал ему туда дорогу. Да, признаться, и ездить было не к кому. Кроме Николая Николаевича, никого из знакомых там, считай, уже и не осталось. Родительского дома Петра Петровича тоже не было. В тяжелые девчачьи годы, когда оборонный их завод закрылся, и они с женой оказались в одночасье без работы, его волей-неволей пришлось продать.

Дом купил на вывоз какой-то разворотливый мужик-кооператор, решив приспособить его себе под дачу, и теперь на месте родительского, материнского дома виднелся лишь заросший полынью и татарником бугорок.

* * *

«Рубиновая» свадьба удалась Николаю Николаевичу на славу. Было и весело, и шумно. Гости раззадорились и в едином порыве кричали Николаю Николаевичу и его жене «горько» так громогласно и так требовательно, как, может быть, не кричали даже в день первоначальной их свадьбы сорок лет тому назад. Петр Петрович тоже кричал и твердо решил, что через полтора года, когда им с женой, в свою очередь, предстоит отмечать «рубиновую» свадьбу, то он организует ее ничуть не хуже, чем Николай Николаевич.

Поздно вечером, когда деревенские гости уже разошлись, а приезжие помогали жене Николая Николаевича убирать со стола, старые друзья выбрались на крылечко подышать свежим воздухом, по-товарищески

посидеть наедине, как когда-то сживали в детстве и юности. Николай Николаевич закурил папироску, чему-то потаенно усмехнулся и вдруг спросил Петра Петровича:

— А ты помнишь Лизу?

— Какую Лизу? — не сразу понял, о какой Лизе идет речь, Петр Петрович.

— Ну, ту, из десятого «А», — подсказал ему Николай Николаевич, — которая тебя любила.

— А разве она меня любила? — наконец вспомнил Петр Петрович темноволосую озорную (и такую неверную) Лизу из десятого «А».

— Еще как! — с восторгом сказал Николай Николаевич. — Я-то уж знаю. Она живет теперь в Чернигове, часто приезжает сюда и каждый раз вспоминает тебя, передает приветы.

Петр Петрович на короткое время замолчал, стал беспокойно теревить случайно попавшуюся ему в руки травинку, а потом ответил:

— И ты ей передай привет. Я ее тоже любил.

Но лучше бы Николай Николаевич не затевал всего этого разговора. Петр Петрович перестал думать о предстоящей им с женой «рубиновой свадьбе», на которую он намеревался обязательно пригласить Николая Николаевича, перестал теревить в руках ненужную ему травинку, отбросил даже ее подальше в сторону. Он долго и неотрывно смотрел на подернутый легким белесым туманом луг на том берегу реки, на сторожевую дружину стогов, уже заметно опавших и потемневших от первых предосенних дождей, на густые заросли лозняка и дикой смородины и вдруг негромко спросил Николая Николаевича:

— У тебя лодка на плаву?

— На плаву, — с готовностью ответил тот. — А тебе зачем?

И тут Петр Петрович немало, кажется, удивил и озадачил своего старого друга:

— Можно, я переночую на том берегу? — В доме душно, да и народу у тебя много.

— Ночуй! — вроде бы с охотой откликнулся на его просьбу Николай Николаевич, но, чувствовалось, что он огорчен его намерением укрыться в луга, за речку. Николаю Николаевичу хотелось еще посидеть на крыльчке с Петром Петровичем, многое вспомнить, о многом переговорить, ведь столько лет не виделись. Но желание гостя — прежде всего (поговорят завтра или послезавтра), и Николай Николаевич поспешил тут же выполнить это желание. Он позвал жену, и они быстро снарядили Петра Петровича в дорогу. Николай Николаевич вынес из веранды длинное рыбацкое весло с притороченным на черенке ключом, а жена вручила Петру Петровичу половичок-одеяло (точь-в-точь такое, какое было когда-то у матери Петра Петровича) и матерчатую сумку, доверху набитую всякой праздничной снедью. Петр Петрович поблагодарил ее за внимание и заботу, но запротивился и попросил, если можно, дать ему лишь бутылку молока и краюшку ржаного хлеба. Жена Николая Николаевича чуть обиженно вздохнула, дивясь привередливости Петра Петровича, но просьбу все-таки выполнила в точности: поставила в сумку бутылку еще теплого после вечерней дойки молока и ломоть-краюшку черного хлеба, правда, покупного, не домашнего — теперь и в деревнях хлеба тоже уже никто давно не печет.

Николай Николаевич вызвался проводить Петра Петровича до пристани, чтоб тот в темноте не путался с лодками. Стараясь не обижать дру-

га, Петр Петрович согласился взять его в недолгие попутчики: пока будут они пробираться огородами к реке, вся обида Николая Николаевича иссякнет — человек он отходчивый, долго обиды в душе не таит.

Захватив сумку и весло, они начали уже спускаться с крылечка, но в последнее мгновение Николай Николаевич вернулся назад на веранду и вынес оттуда овчинный свой охотничий тулуп. Петр Петрович принялся было опять противиться. Мол, вечера и ночи стоят вон еще какие жаркие, он не замерзнет и без тулупа. Но Николай Николаевич остался непреклонным и тулуп не бросил. Скорее всего, он был прав: все-таки Петру Петровичу не двадцать и даже не сорок лет, а далеко за шестьдесят, и овчинный этот тулуп в сырых, болотных лугах ему не помешает.

По-стариковски разговаривая о разных мелких, незначительных делах, в основном, понятно, о здоровье, о болезнях и хворях: у кого что болит (у Петра Петровича в последние годы то и дело прихватывает сердце, а Николая Николаевича мучает радикулит, заработанный на охоте и на рыбалке — самые насущные в их возрасте разговоры), до пристани они дошли не так уж чтоб и быстро, но без приключений.

Хорошо просмоленная рыбацкая лодка Николая Николаевича стояла чуть в стороне от других, будто специально приготовленная к ночному скрытному плаванию. Николай Николаевич двумя заученными поворотами ключика отомкнул гулко щелкнувший в вечерней тишине замок, погрузил в лодку сумку с провизией и тулуп и протянул было весло Петру Петровичу, но потом попридержал его, с затаенным вздохом посмотрел на реку, на заречные уже почти потонувшие в тумане и сумерках луга и вдруг сказал:

— Может, и мне поехать с тобой?

— Давай в другой раз, — после минутного молчания опять обидел старого друга Петр Петрович. — Он хотел еще и пошутить, мол, у тебя же свадьба, гости — молодая жена вскинется, а жениха нет, но потом все-таки сдержался, почувствовал, что не надо сейчас так шутить, не ко времени и не к месту.

— Ладно, — легко перенося обиду, словно подслушал все сомнения Петра Петровича Николай Николаевич, — давай — в другой.

Он наконец передал Петру Петровичу весло и резко оттолкнул лодку от берега.

Петр Петрович начал широко и размашисто грести веслом, правя лодку к песчаной отмели на том берегу, а Николай Николаевич, постояв еще немного возле пристани-привязи, повернулся и пошел к дому, где ярко и призывно горели праздничные, свадебные огни.

* * *

Едва причалив лодку к отмели, Петр Петрович, не высматривая даже глазом, а по одному только наитию, ощупью встал на луговую торную в высокой отаве тропинку и вскоре пришел к памяtnому стогу, который стоял все на том же месте, что и сорок, и пятьдесят лет тому назад.

Ночную стоянку, лежбище Петр Петрович устроил себе из-под ветреной стороны стога, насмыкал, наскуб, как у них говорят, целую гору сена, пахнущего и медуницею, и зверобоем, и осокой, застелил сверху половичок-одеяло, пристроил рядом тулуп на случай утренней росы и холода и, рискуя сломать старые свои, хрупкие кости, со всего размаха

упал на него навзничь. Полежав так минуту-другую, послушав, как отозвалось на это, может, и не совсем осторожное падение его изношенное за долгую жизнь сердце, Петр Петрович запрокинул руки за голову и стал смотреть на звезды, которые вначале вынырнули на небе порознь, то в одном совсем неожиданном месте, то в другом, а потом дружно собрались в созвездия и, казалось, опустились ниже обычного, чтоб повнимательней посмотреть, кто это там из-под ветреной стороны стога устроил себе ночлег на пахучем луговом сене.

Петр Петрович готов был вступитъ с ними в переговоры и оправдаться за свое неурочное вторжение в их владения, но через минуту-другую напрочь забыл и об одиночных звездах, и о созвездиях и стал вспоминать, как лежал здесь когда-то молодым солдатом-юношей, а потом взрослым сорокалетним мужчиной (за тем, собственно, и перебрался сюда на лодке-плоскодонке), и как приходили к нему (или не приходили?) странные ночные женщины, Люба и Людмила.

Сейчас Петр Петрович, разумеется, уже никого не ждал, да и не хотел, чтобы кто-нибудь нарушил стариковский его покой, его счастливые воспоминания, которые, может быть, даже счастливей самих встреч.

Отрешившись от всего нынешнего, земного и сиюминутного, Петр Петрович вспоминал Любу, ее необыкновенно красивое в ночи лицо, ее обжигающе-горячее молодое тело, ощущал на ладони нечаянно оброненный ее серебряный крестик (где он теперь?); еще острее вспоминал Людмилу, ее зрелые покатые плечи, ее глаза, губы и шею с нервно бьющейся и вздрагивающей жилочкой сонной артерии. Вспоминал травинку на половичке-одеяле, которая кружила ему голову запахом ее волос, глаз и губ и которую он слишком поспешно развеял по ветру. Сердце от этих далеких видений у Петра Петровича опасно вздрогнуло, начало томиться в груди, стучать гулко, с переборами и провалами.

Стараясь унять его (неплохо бы достать сейчас таблетку нитроглицерина, но не хочется), он с улыбкой вспомнил ветреную, неверную девчонку Лизу из десятого «А» класса (лица, правда, сколько ни силился, представить не мог — одни только смутные очертания).

Сердце, наверное, от этой улыбки успокоилось само по себе, затихло и, словно отдалилось от Петра Петровича. Он минуту помедлил, настороженно прислушиваясь к его удалению, а потом опять безоглядно предался воспоминаниям, входил во все подробности и детали, хотя временами и преступно путался, когда и что с ним было (в какие годы и в какие десятилетия), и в конце концов запутался окончательно, и три давно забытые женщины: Люба, Людмила и десятиклассница Лиза слились у него в один-единный образ, и Петр Петрович уже не мог оторгнуть их друг от друга, не мог разъединить, да и не желал этого. Пусть будут все вместе.

Чуть приподняв голову, он даже видел, как эта одна-единая женщина уходит от него басиком по росяной траве при первых проблесках утренней зари, как завязывает в тугий пучок на затылке волосы и как, обернувшись, обещает:

— Я приду! Обязательно приду. Жди!

Петр Петрович вздохнул этим безвозвратно прошедшим, так и не сбывшимся обещаниям, теперь уже и не зная, сожалеть ему или, наоборот, радоваться; что они не случились. Но сердце опять дало о себе знать, тревожно торкнулось в груди и вернулось назад к Петру Петровичу.

В двенадцатом часу ночи, когда точно над становищем Петра Петровича, тесня низкие звезды, повисла желто-горячая, похожая на огромную шаровую молнию луна, Петр Петрович поплотнее укрылся тулупом, чтоб к утру не озябнуть и не простудиться, и почти мгновенно уснул, да так сладко и безмятежно, как не спал, наверное, с детства.

Он беспробудно проспал бы до самого восхода солнца, до рассвета, но вдруг еще задолго до утренней зари почувствовал, как кто-то легонько (и как ласково) касается его лба, глаз, губ и подбородка. Успокоенное, сонное сердце Петра Петровича от этого прикосновения вздрогнуло, учащенное забилось и заболело дневной саднящей болью. Он, с трудом преодолевая острую эту давящую боль в левой стороне груди, пробудился. Но глаз не открыл, а стал дожидаться, когда прикосновения повторятся еще раз, еще и еще, в надежде, что сердце привыкнет к ним, забудется ровно и умиротворенно и перестанет болеть.

Прикосновения действительно повторились, и даже более нежные и ласковые, чем в первый раз. Петр Петрович, по-прежнему, не открывая глаз, безошибочно, как и когда-то, давным-давно определил, что будит его, щекочет ему лицо человеческая участливая ладонь, и что ладонь это несомненно, женская.

Томя и себя, и нетерпеливую женщину, Петр Петрович решил подождать еще одного (последнего) прикосновения, а после попытаться угадать, кто же это пришел к нему среди ночи, и громко спросить:

— Люба?!

— Людмила?

— Лиза?!

И почти определил и угадал. Но, когда, наконец, открыл глаза, то увидел, что ошибся: его лица касался встревоженный порывом ночного ветра изможденно-сухой стебелек травы-медуницы. Петр Петрович вначале отвел его рукой в сторону, за пределы сенного своего ложа, но стебелек не покорился ему, и тогда Петр Петрович с досады сломал травинку, отбросил ее прочь и развеял по ветру...

Сердце его сразу успокоилось, перестало болеть и тревожиться. Петр Петрович глубоко вздохнул, уронил голову на сенную подстилку и опять сладко и безмятежно, как в детстве, уснул.

И почти тут же над ним склонилась женщина (молодая она, юная, или зрелая, или в пожилых уже годах в темноте разобрать было невозможно); необыкновенно ласковой и нежной ладонью женщина провела по лицу Петра Петровича, словно стремилась запомнить очертания этого лица навсегда, навечно. Петр Петрович почувствовал ее ладонь, хотел пробудиться, обнять за горячее лицо и шею, ощутить на ней серебряный удлиненный крестик, но у него на это простое и такое легкое прежде движение и порыв уже не хватило ни дыхания в груди, ни биения ослабевшего сердца.

Одинокая никем не узнаваемая женщина сидела над ним почти до самой рассветной зари, неотрывно смотрела при сиянии поднявшихся в запредельные высоты неба звезд и ярко-огненной луны на побледневшее лицо Петра Петровича, а, когда заря взошла, она трижды поцеловала его в остывающий лоб, трижды осенила крестным знаменем, потом закрыла ладонью потухшие, незрячие глаза Петра Петровича и исчезла в утреннем тумане, оставляя на холодной росяной траве следы босых своих ног.

И на лугу стало тихо-тихо, как будто над ним пролетел темный небесный Ангел...

Не было слышно ни дуновения августовского ночного ветра, ни первых пробных еще перестукиваний кузнечиков, которым пора было просыпаться, ни бормотания в ульях-сотах переутомившихся за день шмелей, ни даже запаха луговых трав: медуницы, зверобоя и осоки.

Лодка-плоскодонка от случайного всплеска волны сама по себе отчалила от берега, долго кружила, зачерпывая бортами воду, на речной стремнине, на крутом ее водовороте, а потом уплыла вниз по течению и тоже исчезла в тумане...





ПОЮЩИЕ ПЕСКИ

Повесть

*Песня песков — песня сирен,
заманивающих путешественников
на верную гибель в безводной пустыне,
колокольный звон монастырей,
погребенных в пучине песков.*

Р.А. Бэгноулд,
английский исследователь

*Природа поющих песков до конца
не изучена.*

Из Интернета

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В

том году я несколько месяцев жил в маленьком двухэтажном домике на Куршской косе, что узенькой ленточкой тянется от Калининграда до Ниды и дальше до литовского города Клайпеда.

В этих местах, в бывшей Восточной Пруссии, я служил в армии, в ракетных войсках стратегического назначения. Демобилизовался я прошлой осенью, в середине октября, в самый разгар бабьего лета. Восстанавливаться на учебу в пединституте, откуда меня призвали в армию три года назад, было уже поздно. Все мои новые однокурсники готовились к зимней сессии, и мне никак их было не догнать. Я съездил на несколько недель домой к матери, получил взамен военного билета паспорт и вернулся назад в город Гвардейск (когда-то у немцев он назывался Тапиау), где и проходил службу. Еще будучи солдатом и сержантом, я сотрудничал с местной районной газетой, приносил туда небольшие заметки, а чаще стихи, которые начал тогда писать. В газете меня хорошо помнили и без особых проверок взяли литсотрудником сельхозотдела.

Работать в газете я намеревался до июня-июля, а потом, как следует отдохнув дома у матери, восстановиться в пединституте и начать учебу заново, с первого сентября.

Но ранней весной все мои планы неожиданно разрушились. Я вдруг решил бросить газету, уехать на Куршскую косу, снять там комнату или мансарду и засесть писать роман, сюжет которого в голове моей давно созрел. Я даже точно знал, где сниму себе жилье.

Минувшей осенью мне однажды уже довелось побывать на Куршской песчаной косе. В Калининграде жил мой товарищ и первый литературный наставник Женя Шанин. Он был старше меня на целых десять лет и преподавал в пединституте, где вел практические занятия по выразительному чтению. Все начинающие калининградские поэты, музыканты и актеры тянулись к нему, человеку чистейшей души и сердца. На одном из областных совещаний молодых поэтов Женя приметил и меня, тогда еще в форме старшего сержанта ракетных войск.

Устроившись на газетную работу, я часто стал приезжать из Гвардейска в Калининград, к Жене, бывать в его маленькой комнатке на улице Офицерской, где почти каждый вечер собирались юные дарования. Мы читали только что написанные стихи, пели под гитару (и Женя лучше и проникновенней всех) входящие в моду песни Новеллы Матвеевой, Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Хорошо нам было в те дни, отраднo, шумно и весело — и по-молодому счастливо.

Осенью, как только начинались в пединституте занятия, Женя с неугомонными своими подопечными ездил на заповедную Куршскую косу, тогда еще открытую для любого и каждого путешественника (после, уже не в мое время, ее закроют и станут пропускать туда любителей путешествий лишь по особому разрешению). Собираясь в одну из таких поездок, Женя пригласил на косу и меня.

Нагруженные рюкзаками (я стареньким своим, армейским, прошедшим за три года службы со мной все огни и воды), палатками, ведрами и котелками, мы на зеленой юркой электричке доехали до города Зеленоградска, бывшего Кранца, а потом, пройдя за его околицу, может быть, всего километр или полтора, обосновались беспокойным студенческим лагерем в одном из самых узеньких мест косы, на берегу Балтийского моря.

Куршская коса поразила меня своей красотой и каким-то непознаваемым величием, присутщим лишь таким вот крайним, конечным островкам земной суши и тверди. (После такую же красоту и такое же величие я почувствую и осознаю на северном полуострове Полярном, куда меня случайно занесет судьба).

С левой, западной, стороны Куршской косы простирается незамерзающее от близкого течения Гольфстрим, но все равно почти всегда, в любую пору года какое-то холодное и неприветливое Балтийское море. Мне казалось, оно никогда не бывает синим, а чаще всего либо темно-зеленым во время дождя и шторма, либо светло-коричневым, янтарным в солнечные, ясные дни, но от этого не менее холодным.

С правой стороны косы тихо и незаметно плещется заросший по берегам камышом (точь-в-точь, как у меня на родине, река Сновь) Куршский залив. В него впадает множество рек и речушек, и, наверное, от этого вода в заливе пресная (или считается пресной).

Вдоль всей Куршской косы до самой Ниды и Клайпеды растут лиственные и хвойные леса: березы, клены и липы, сказочно-таинственные ели и высокие корабельные сосны. Но больше всего путешественников удивляют причудливо согнутые горные сосенки, островки которых называют «танцующим лесом». Под напором штормового, дующего с Балтий-

ского моря ветра корабельные сосны заметно склонены на восток, к Куршскому заливу. Иногда даже кажется, что они устали бороться с этим жестоким ветром и держатся из последних сил. Но держатся и не косятся ему, больше всего на свете боясь превратиться в кривые и корявые горные сосенки. Корабельные сосны величественно скрипят вековыми своими стволами и еще более величественно шумят высоко вверху темно-зелеными, цвета морской волны, кронами.

Но главная достопримечательность на Куршской косе — песчаные, раскинувшиеся по всему морскому побережью дюны. Самая высокая из них — Королевская подвижная дюна, которую называют еще дюной Эфа в честь королевского дюнного инспектора Вильгельма Франца Эфа. Если подняться на вершину этой почти семидесятиметровой дюны, то можно услышать, как поют ее всегда влажные пепельно-белые пески. Говорят, что леса на Куршской косе вблизи города Кранца очень старые и никогда не вырубались. Здесь на протяжении нескольких столетий был королевский охотничий заказник. В нем отлавливали и обучали королевских соколов. Существует еще множество других легенд и преданий о Куршской косе, о ее лугах и озерах, о «танцующем» лесе и Королевской поющей дюне.

Пока ребята разбивали лагерь, устанавливали палатки, устлая их сосновыми ветками, мы с Женей сходили к Куршскому заливу и в луговом озерце набрали два ведра пресной прозрачно-чистой воды для чая. Девчонки тут же принялись кипятить ее на костре в медном закопченном чайнике — общем, как я понял, достоянии всей дружной студенческой компании.

Несмотря на конец октября, погода стояла не просто теплая, а почти жаркая. Такое в Калининградской области случается часто. Листья на деревьях — березах, осинах и кленах — нигде не пожелтели, не вялились осенней позолотой и багрянцем. Они были еще упругими и свежезелеными, словно в летние июньские или июльские дни.

Мы думали, что море тоже еще теплое, и в нем можно будет купаться. Но оно было уже холодным, с пенистыми рокочущими волнами, предвестниками скорого шторма. Купаться мы не рискнули, а лишь, дожидаясь, пока закипит чайник, стали бродить вдоль берега и выискивать в песке и гальке крупинки янтаря. На Балтийском море это любимое занятие всех местных жителей и особенно приезжих путешественников, которые надеются найти большой янтарный камень с запечатленной внутри мушкой, по преданиям, приносящий удачу и счастье. Надеялись на это и мы, хотя и знали, что случается такое очень редко...

Мы были на самой западной окраине нашей земли, но солнце было еще западнее. Оно уже садилось и потухало, освещая море и бегущие одну за другой волны, но почти не освещало прибой и прибрежную полосу, укрывая от нас янтарные камушки. Их лучше всего искать утром, на восходе, когда солнце светит навстречу морю и волнам, и камушки зримо блестят, искрятся на прибрежном песке. Но мы все равно искали их и надеялись на удачу...

Но вот чайник, наконец, закипел, и мы группами и поодиночке потянулись к костру. И тут нас вдруг застал требовательный зовущий голос женщины, который долетал из небольшого двухэтажного домика (вернее, одноэтажного, но с высокой мансардой под самой крышей), нависшего над песчаной зыбкою кручей.

— Мальвина! Мальвина! — кричала женщина (судя по голосу, совсем еще молодая), скорее всего, зовя какую-нибудь маленькую девочку, дочь.

Мы невольно удивились этому странному имени и принялись гадать, действительно девочку назвали так по рождению в честь Мальвины с голубыми волосами из сказки о деревянном человечке Буратино, или это только прозвище, а на самом деле ее зовут совсем по-иному, обыкновенным именем.

Крик, между тем, повторился еще раз и еще:

— Мальвина! Мальвина!

Мы остановились и с любопытством стали ожидать, кто же откликнется на этот строгий требовательный крик. Но никто не откликнулся. Мы встревожились и готовы уже были прийти на помощь юной матери в поисках непослушной ее дочери. Но вот из-за песчаного прибрежного бугорка, до которого мы не дошли всего нескольких шагов, показалась девочка лет четырех, в летних, надетых на босую ногу сандалиях. Отряхнув от песка ладошки и пальцы (должно быть, воздвигала на берегу какой-нибудь сказочный город или тоже искала янтарные сокровища), она вприпрыжку побежала к дому. Две туго заплетенные косички с белыми бантиками за каждым шагом весело раскачивались из стороны в сторону и били девочку по хрупким худеньким плечикам. Солнце, будто специально, в последний раз поднявшись над морским горизонтом, осветило бегущую фигурку, и нам показалось, что волосы у девочки действительно голубые. Наверное, это был обман зрения, который часто случается, когда сливаются при закате солнца ярко-голубой цвет неба с янтарно-зеленым цветом моря и пепельно-белым отблеском песка.

Девочка быстро поднялась по узенькой тропинке к домику, хлопнула вначале калиткой, а потом и входной дверью — и почти в то же мгновение в домике зажглись огненно-желтые, далеко видимые в вечерних сумерках огни, напоминающие огни маяка, которого так ждут в море терпящие бедствие корабли.

Мы перестали тревожиться за девочку Мальвину (а то, что она Мальвина, согласились единодушно) и за ее строгую мать и веселой гурьбой заторопились к костру, откуда нас тоже все настойчивей и настойчивей звали.

* * *

Чай уже закипел и был разлит в чашки. Но кроме чая появилось еще несколько бутылок белого сухого вина, любимого напитка в те годы всех студентов.

Мы выпили за море, за янтарные его сокровища, за песчаные поющие дюны, на которые собирались подняться завтра утром, и, чуточку захмелев, принялись петь то про дежурного по апрелю, то про капитана с усами и без усов («капитан без усов, словно корабль без парусов»), то про бригадину и Гренаду. Потом стали по кругу читать стихи, свои и чужие, мало похожие на прежние, знакомые нам с детства по урокам русской литературы.

Женя безжалостно поднял меня и заставил при полной тишине и внимании слушателей читать стихи-верлибры, до написания которых я дошел собственным умом, не зная, что их писали многие поэты с незапамятных времен, а я не слышал даже имени великого американского поэта Уолта Уитмена. Сбиваясь и на каждой строчке забывая текст (Женя мне вовремя подсказывал, приходил на выручку), я стал читать, чутко и ревниво улавливая настроение взыскательных своих слушателей.

Стихи мои им понравились, и студенты просили читать еще и еще. Я читал, но ревнивое чувство меня не покидало. Все ребята вокруг костра были моими ровесниками (кто чуть старше, кто моложе), но все они уже заканчивали институт, а мне еще только предстояло следующей осенью начать учиться на первом курсе. Если бы меня не призвали в армию, я бы сейчас тоже был уже на четвертом курсе, во всем ровня им, без двух минут учитель, преподаватель русского языка и литературы. Но меня призвали, и теперь я чувствовал себя рядом с ребятами-студентами уязвленным и подавленным, словно молодой («зеленый»), не принявший еще присяги новобранец перед солдатами третьего года службы — «стариками» и «дедами».

Это чувство, наверное, испортило бы мне весь вечер, но вдруг возле моря послышалось ржание и фырканье лошади, а спустя несколько минут к нашему костру подошли три пограничника с так хорошо знакомыми мне автоматами Калашникова на плечах: старший сержант и два рядовых — пограничный наряд.

Старший сержант, поправив, подпернув на плече автомат (я всем своим не отвыкшим еще от оружия телом почувствовал, как при этом ощутило ударился, торкнулся чуть ниже его правой лопатки ребристо-согнутый, набитый патронами рожок), с достоинством, но без лишней строгости поздоровался с нами и предупредил:

— Мы сейчас проборонuem прибрежную полосу, так вы до утра ее не переходите!

Ребята, по-видимому, не раз во время своих походов встречавшиеся здесь с пограничниками, дружно пообещали:

— Не будем!

Пограничники собрались уже было уходить к запряженной в обыкновенную крестьянскую борону лошади, которая опять зафыркала и забеспокоилась за кустами возле берега, но тут вдруг девчонки стали наперебой приглашать неожиданных гостей к костру:

— Садитесь с нами, попейте чаю!

Старший сержант минуту поколебался, посмотрел на часы, а потом вдруг согласился (как я понимал его в эту минуту!):

— Только недолго, а то лошадь у нас пугливая, моря боится.

— Недолго, недолго, — пообещали девчонки и, в одно мгновение забыв о своих гражданских сверстниках, с нескрываемым восхищением посмотрели на мужественную форму пограничников, на их зеленые, с чуть укороченными козырьками фуражки (известное дело — пограничники, единственные из всех родов войск, пилоток не носили, чем очень гордились, считая пилотки легкомысленным и ненадежным головным убором). Все потеснились, расширили возле костра круг и усадили пограничный наряд на камнях и сосновых мореных бревнах, которых морские волны пригнали, может быть, из самой Швеции.

Почувствовав рядом «своих», родных людей, солдат, я воспрянул духом, приободрился и тайком, про себя, пожалел, что военный свой мундир, тоже с нашивками старшего сержанта на погонах, медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и полным набором знаков солдатской доблести — гвардейским значком, значками «Отличника Советской армии», «Классного специалиста» и ГТО второго разряда — оставил дома у матери, а то можно было бы и мне явиться сегодня перед студентами в ладно подогнанном дембельском мундире, и девчонки смотрели бы на меня точно так, как смотрят сейчас на

пограничников. Правда, погоны и фуражка у меня не зеленые, а угольно-черные. Но это не имеет никакого значения. Наоборот, парадные огненно-золотые нашивки на черных погонах и на тугом стоячем воротничке смотрятся гораздо ярче и ослепительней, чем у пограничников.

Для начала пограничникам, конечно, налили не чаю, а вина. Сержант, принимая стакан, опять минуту поколебался — пить или не пить, — ведь пить вино или водку солдатам срочной службы, да еще при несении караульного наряда, строго-настрого запрещено, но потом все-таки выпил и разрешил выпить своим подчиненным. Я опять, как никто из собравшихся здесь, понял его. Что может быть отрадней солдату этой запретной выпивки в кругу своих гражданских сверстников?! Кто не служил в армии, тот и отдаленно не может знать, как томятся под казенными мундирами и робами-хэбэ солдатские сердца и души, как нестерпимо хочется армейцам поскорее стать гражданскими, свободными людьми и как сладка им вот такая случайная пирушка возле вечернего костерка, да еще в окружении столь внимательных к ним студенток.

Подчиненные сержанта начали откровенно заигрывать и ухаживать за девчонками, и, кажется, не без успеха. Он по-командирски жестко и предупреждающе посмотрел на них, но потом дал полную волю и свободу, должно быть, хорошо зная, что за недолгие эти минуты отдыха ничего плохого с ними не случится и ничего плохого они не сотворят...

* * *

Пограничники посидели возле костра, наверное, еще минут двадцать, а потом поблагодарили нас за угощение, попрощались и ушли к своей нетерпеливой, уставшей стоять в одиночестве лошади.

Сопровождать их вызвались несколько наших самых отчаянных, жаждущих приключений девчонок. Мы, хотя и с сожалением, но отпустили их и после долго слушали, как они, все дальше и дальше удаляясь от костра и лагеря, весело, со смехом и частыми громкими криками переговариваются с пограничниками, учатся управлять запряженной в борону лошадью и, похоже, готовы идти за ней на край света.

Незаметно наступила ночь, небо озарилось высокими, немного влажными и от этого по-особому искристыми звездами. Я ожидал, что сейчас студенты и студентки разобьются по парам и разойдутся вдоль побережья, как расходятся после кино и танцев наши деревенские ребята и девчонки вдоль реки. Но практически вся группа осталась на месте: то ли в студенческой этой, во многом пока загадочной для меня компании не было принято расходиться, оставляя своего наставника Женю, Евгения Алексеевича, одного, то ли пары в ней еще не образовались. Наоборот, как только пограничники ушли, студенты сплотились вокруг костра еще тесней, забыли и про вино, и про чай, опять принялись петь и про капитана, и про «большой ветер, который напал на наш остров», и еще Бог знает о чем.

Я за три года военной службы привык к иным песням: строевым, с понятными и ясными словами, поднимающими боевой дух и доблесть, а эти я знал еще плохо, не все в них понимал и лишь, не умея петь, одиноко томился и печалился. Время от времени я поглядывал на домик, на ярко-желтые огни в его окнах, пытался представить, что происходит сейчас за ними, что говорит мама (и какая она?!) Мальвине и что говорит девочка Мальвина маме, и что им обоим говорит их, наверное, тоже очень строгий папа...

Но вот огни потухли, домик погрузился в чернильно-черную темноту, стал невидимым, будто исчез навсегда, и мне от этого сделалось совсем грустно...

Ребята у костра перестали петь, Женя отложил гитару и вдруг начал читать с особым проникновением и глубиной, как это умел делать только он один, новое, еще никем из собравшихся не слышанное стихотворение Новеллы Матвеевой:

Был человек раздвоен,
Был человек расстроен,
Расчетверен,
Распят...

И это все было обо мне...

* * *

Мы засиделись у костра до самого рассвета. В палатку ушли и сразу крепко уснули лишь те три девчонки, которые ходили провожать пограничников. Среди них между прочим была одна, с которой я еще в электричке несколько раз переглядывался, и она не отводила от меня взгляда своих синих пронзительных глаз. Но теперь попутчица моя, кажется, забыла об этих взаимно любознательных наших взглядах и безмятежно спала в палатке на пахнущей морем хвое. И я, совсем еще не зная ее и не любя, повторил ей на сон грядущий несколько строчек стихотворения Евгения Евтушенко, которым мы тогда все так восхищались:

Любимая, спи...
Мою душу не мучай,
Уже засыпают и горы, и степь,
И пес наш хромучий,
лохмато-дремучий,
ложится и лижет соленую цепь...

Она, должно быть, услышав мои заклинания, уснула еще крепче и не видела, как солнце уже поднялось над Куршским заливом и, ярко освещая на море встречные пенистые волны, преступно перешагнуло через нейтральную полосу и всеми цветами радуги заиграло на выброшенных за ночь прибором крупинках янтаря.

Мы всей гурьбой пошли искать его. Кому-то повезло, и он нашел не только янтарную песчинку, но даже и крупный, нежно-солнечного цвета камушек с остро обломанными краями и гранями, а кому-то не повезло вовсе. По крайней мере, я не отыскал (еще не приловчился) не только камушка, но и самой маленькой янтарной капельки. А мне ведь так хотелось подарить свою находку той неверной попутчице из электрички, что сейчас сладко и дремотно спала в палатке...

Пока мы бродили по побережью, безжалостно вытаптывая нейтральную полосу, солнце поднялось совсем высоко, выше корабельных скрипучих сосен и выше дюн, задержалось на несколько минут над кирпично-красным домиком, наверное, затем, чтоб разбудить там девочку Мальвину, и побежало дальше на запад, через море, в чужие, холодные страны...

Радуюсь своим находкам и щедро делясь ими друг с другом, мы опять вернулись в лагерь, разожгли костер, попили чаю и, необидно подтрунивая над девчонками-беглянками, которые только-только выглянули из палаток, стали собираться в поход и к восхождению на дюны, в первую

очередь, конечно, на самую высокую, Королевскую, чтоб послушать ее поющие пески, посмотреть с ее поросшей редкими, похожими на колючие кактусы растениями вершины на широкий горизонт в надежде увидеть там настоящий корабль, непременно под тугими белыми парусами; а потом оглядеть тихо плещущийся Куршский залив, где, конечно же, никакого корабля с парусами быть не могло — одни только утлые лодчонки каких-нибудь рыбаков-удочников. Но и на них можно было смотреть часами. Собственно, ради этого мы и приехали в последние дни октября сюда, на Куршскую косу.

Как истинные опытные покорители горных и песчаных вершин, мы вооружились палками и посохами, изобретя их из выброшенных на берег коряг, и дружно выстроились в затылок нашему предводителю — Жене. Но вдруг, откуда ни возьмись, с моря подул холодный ключючий ветер («какой большой ветер напал на наш остров, с домишек сдул крыши, как с молока пену»), небо вмиг затянулось низкими черными тучами, и из них, как из ведра, полил на нас секущий лица и руки дождь.

В Прибалтике перемена погоды случается по сто раз на день. Я это хорошо знал и изучил за три года армейской службы. Бывало, слаженным солдатским строем маршируем мы на завтрак или обед: солнце горит и сияет над нашими головами ярче яркого, на небе ни единого облачка, синь такая, что даже глаза болят; а возвращаемся назад всего через полчаса — все переменяется: испуганное солнце будто укатилось за горизонт, небо все в низких лохматых тучах, из которых льется вот точно такой же, как и сегодня, проливной дождь. Солдаты, правда, не унывают (люди привычные, закаленные), по команде сержанта, не нарушая строя, пускаются бегом в казарму, и не раз случалось, что не успевает строй еще добежать и рассыпаться, как все опять переменится — тучи, гонимые ветром, бесследно исчезнут, а отдохнувшее солнце выкатится из-за горизонта и засияет пуще прежнего.

Ребята-студенты, жившие в Калининградской области тоже не первый год, знали эту переменчивость прибалтийской погоды не хуже меня.

Ожидая, что дождь через минуту-другую, самое многое через полчаса, прекратится и можно будет двинуться в поход, мы забились в палатки (как мне хотелось попасть в одну палатку с той, у которой такие сильные пронзительные глаза) и притаились там.

Но дождь становился все сильнее и сильнее. Все-таки была уже осень: тепло и жара оказались обманчивыми и недолговечными. Изредка выглядывая из палаток, мы даже видели, что между струями дождя замелькали тяжелые и мокрые хлопья снега. Одеты мы были по-летнему легкомысленно: девчонки в легкие, часто даже с короткими рукавами платья; ребята в такие же рубашки. В запасе, правда, кое у кого были не больно надежной, тонкой вязки свитера. Но они не столько грели, сколько придавали нам вид отважных морских волков (так мы о себе думали), поклонников Хемингуэя, портрет которого в сером, с высоким воротом свитере священно хранился у каждого из нас. Лишь у нескольких человек случайно оказались в рюкзаках модные тогда болоньевые плащи или штормовки, да у меня солдатская непромокаемая плащ-палатка. При демобилизации мне ее милостиво выдал старшина батареи Костя Никольский в знак нашей с ним крепкой трехлетней дружбы.

— Бери! — царственно сказал он. — Сгодится!

Я взял. И вот сгодилась.

В укрытии мы стойко и мужественно просидели еще с полчаса, а мо-

жет быть, и целый час, надеясь, что погода прояснится и наш отряд непременно поднимется на дюну, если не на Королевскую, то хотя бы на самую ближнюю к нам, не очень высокую и, скорее всего, непоющую. Но, казалось, солнце оставило и забыло нас, и Женя принял непреклонное решение — сворачивать лагерь и как можно скорее идти на станцию, чтоб успеть на одиннадцатичасовую электричку. Восхождение на дюны откладывалось до весны.

Мы безропотно подчинились: сами хорошо видели, что пропадем здесь, возле зеленого разбушевавшегося моря. Прикрываясь моей растянутой за четыре угла плащ-палаткой, мы наскоро собрали нехитрый свой скарб, побросали палки и посохи и поднялись на мокрое и скользкое от дождя и снега шоссе. Оно было совсем не таким, как у нас, в центральной России. Выложенное немцами в полукруг из точно вымеренных квадратных булыжников, шоссе это в осеннюю непогоду и шторм выглядело по-тевтонски угрюмым и мрачно-зловещим. Казалось, еще мгновение и, преграждая нам дорогу, из-за поворота выскочит конный отряд псов-рыцарей, закованных в латы и шлемы, похожие на перевернутые вверх дном ведра, точь-в-точь, как в кино «Александр Невский». Идти по такому шоссе, да еще навстречу дождю и штормовому ветру, было тяжело и опасно. Низко наклонив головы, мы с большим трудом одолевали шаг за шагом, булыжник за булыжником и уже явственно слышали, как переговариваются на отрывистом своем прусском наречии псы-рыцари, как они звенят щитами и копьями.

Домик Мальвины и ее юной матери шоссе теснило почти к самому морскому обрыву и будто хотело столкнуть его туда. Но он упрямо стоял, не поддаваясь ни дождю, ни ветру, иногда переходящему в настоящий шквал.

Придерживая на пару с одним парнем над головами девчонок рвущуюся на ветру плащ-палатку, я постоянно оглядывался на спасительный домик-укрытие. Он не подавал никаких признаков жизни. Калитка и двери были крепко заперты, окна наглухо задернуты темно-коричневыми шторами. Можно было подумать, что обитатели домика бежали от надвигающегося шторма, а еще больше от нашествия псов-рыцарей куда-нибудь вглубь полуострова, в леса или на Королевскую дюну, где у них есть надежное укрытие. А может, наоборот, они закрылись в доме, не боясь ни шторма, ни призрачных рыцарей, растапливают сейчас кафельную голландскую печку, и всем им там хорошо и уютно.

Я все это зримо представлял: и высокую печку-голландку, обложенную темно-зеленым с прожилками кафелем, которая разгоралась все сильнее и сильнее, наполняя дом мягким древесным теплом; и плотно задернутые со стороны шоссе, чтоб обитателей дома не обнаружили незваные гости, шторы; и громадный стол посреди комнаты, а на нем чашки с обжигающе-горячим дымящимся кофе. Мне нестерпимо захотелось туда, в этот домик, в его тепло и уют, к раскаленной печке (как хорошо было бы прижать к ней донельзя озябшие пальцы!), к дымно-пахучему, с едва ощутимой на вкус горчинкой кофе, к девочке Мальвине в розовом платье, к ее взыскательной матери и (так уж и быть!) к их папе, возможно, капитану какого-нибудь громадного океанского корабля-судна.

Но надо было идти все вперед и вперед. Прикрывая плащ-палаткой совсем окоченевших девчонок, в том числе и ту, с пронзительными глазами, которая теперь опять поглядывала на меня точно так, как вчера в электричке, надо было спастись бегством и спасти своих незадачливых

попутчиков и попутчиц, все-таки я был недавний солдат, защитник и рыцарь.

Я покорился судьбе, дал себе твердое обещание больше не оглядываться на так предательски манящий меня к себе домик, а то еще действительно, чего доброго, поверну к нему и укроюсь за его толстыми стенами, которые от дождя и ветра стали бордово-бурыми, холодно-неприветливыми снаружи и нежно-теплыми изнутри.

Но на повороте я все же не выдержал и в последний раз оглянулся на него. И вот именно в это мгновение (я после часто вспоминал его и никак не мог понять, что же со мной случилось?) я решил, что рано по весне брошу свою опостылевшую газетную работу, приеду сюда, на Куршскую косу, и сниму комнату в этом почти уже родном мне домике. А то, что свободная комната (или даже пусть какой-нибудь чуланчик) в нем непременно есть, я ничуть не сомневался, так же, как не сомневался, что мне эту комнату или чуланчик обязательно сдадут...

* * *

И вот я здесь. Правда, приехать ранней весной, в конце марта или в начале апреля, мне не удалось. Меня не отпустили с работы. Неожиданно заболел заведующий сельхозотделом, мой грозный газетный наставник (у него открылись давние фронтовые раны), и мне пришлось одному готовить и сдавать ответственному секретарю все материалы по веселому нашему отделу. А их требовалось бессчетное количество, прорва: о заготовке и вывозке в поля органических и минеральных удобрений, о ремонте сельскохозяйственной техники и подготовке к посевной кампании, о надоях молока и привесах мяса и о многих иных свершениях колхозно-деревенской жизни. Потом шли два «красных номера» — к Первому Мая и Дню Победы, и опять разговор об увольнении пришлось отложить.

Расстался я с газетой лишь после всенародных этих красноречивых праздников. Наскоро собрав нехитрые свои пожитки в рюкзак и дембельский чемодан, оклеенный изнутри фотографиями, на которых четко прослеживался весь мой боевой путь, начиная от первых дней службы (смешно мне было теперь смотреть на лопоухого, немного испуганного мальчишку в первозданно-зеленой, топорщащейся форме) и заканчивая последними, я в тот же день уехал на рейсовом автобусе в Калининград, а оттуда на электричке в Зеленоградск-Кранц.

Весна на Куршской косе была в самом разгаре. На обочине шоссе цвели, казалось, все, какие только есть на свете, цветы и травы: желто-горячие лютики, луговые ирисы, зверобой, золототысячник и медуница. Уже начинала расцветать сирень, которой в Калининградской области великое множество: и кипенно-белая, и нежно-голубая (сиреневая), и фиолетово-синяя и редко встречаемая в других местах — черная. Новорожденные листья на березах, осинах, липах и кленах были еще первозданно клейкими и липкими, но росли даже не по дням и часам, а по минутам и секундам. От них не отставали сосны: и высоко-мачтовые, корабельные, и горные, танцующие. На кончике каждой ветки они стремительно выбросили вверх пушистые свечи с зелено-коричневыми шапочками наверху. Если затаить дыхание и присмотреться повнимательней, то обязательно заметишь, как при свете яркого весеннего солнца колышутся на кончиках свечей и трепещут в воздушном мареве голубые прозрачные огоньки.

Все птицы земли тоже, кажется, здесь: воробьи, синицы, ласточки,

горлицы-голубки, грачи, сороки и вороны, скворцы, дятлы и филины, щеглы и корольки, не говоря уже про ястребов, коршунов и морских чаек, которые кружат высоко в небе, зорко оглядывая все земное и водное, подвластное им пространство. Птичий гай, щебетанье и гомон стоят неизменно: никто еще ни от кого не прячется, не скрывается, все на виду, все радуется весне и солнцу.

Вдоволь и зверья: белок, куниц, барсуков, лис, только что поменявших свой окрас зайцев, осторожных и неопасных еще волков, оленей, которые громогласно и призывно трубят где-то на материке. И над всем этим цветоносным, птичьим и звериным миром грозно и безраздельно властвует море. Оно тоже весеннее, молодое и юное: волны и валы его похмельному пенные и неостановимые. Они катятся и катятся на янтарный берег и почти стучатся в двери островерхого, покрытого красной черепицей домика.

Постучался в дверь и я. Долго не было слышно ни единого шага, ни единого шороха, все в доме замерло и не подавало никаких признаков жизни, но я неопровержимо знал, что кто-то в нем все-таки есть, что жизнь там не просто теплится, а бурлит, как бурлит все вокруг, разбуженное весной. Во-первых, шторы и тюлевые занавески со стороны шоссе были широко распахнуты, распахнуты были и сами окна, и на подоконниках стояли в хрустальных старинных вазах два громадных букета сирени: один неправдоподобно белый (белее снега и кучевых облаков, которые как раз в это время проплывали над домом), а другой, наоборот, неправдоподобно черный (чернее самой глухой и непроглядной осенней ночи). Чувствовалось, что букеты поставлены на подоконниках совсем недавно, может быть, всего час или полтора тому назад: на них еще не успели просохнуть капельки утренней прозрачной росы. А, во-вторых, не была заперта калитка, и я, свернув с дороги к домику, без всякого труда открыл ее, и по этой беспечности хозяев сразу догадался, что они непременно дома: кто же бросает калитку незапертой на щеколду, отправляясь по каким-нибудь делам в город или на побережье, к морю. И, в-третьих, сегодня было воскресенье, выходной день (я специально выбрал для своего побега праздничный день), и, по моим расчетам, Мальвина и ее пока неведомая мне мама (об их папе в эти мгновения я решил не думать, запретил себе о нем думать) неразлучно сидят дома. Сходили к Куршскому заливу за сиренью (ее там видимо-невидимо, я заметил это еще прошлой осенью), поставили в вазы и теперь, любуясь букетами (белым и черным), либо пьют чай, либо читают вслух книгу про названного брата Мальвины, деревянного человечка Буратино.

Так оно и оказалось. Через несколько томительных (вечных для меня) минут, наконец, за дверью раздались легкие, стремительные шаги («бегающая по волнам», почему-то подумалось мне). Я замер и стал ожидать обязательного вопроса: «Кто там?!»

Но его не последовало. Дверь широко и бесстрашно распахнулась, и передо мной предстала молодая, ничуть не удивленная моему появлению женщина, примерно моего возраста. Была она не очень высокого роста, но какая-то поразительно гибкая и подвижная. Еще на первом мартовском солнце она успела загореть тем особым обветренно-коричневым (будто песчаным) загаром, которым только и можно загореть возле моря, причем не южного, чрезмерно изнеженного и разомлевшего под влажно-горячими ветрами, а сдержанного, северного или прибалтийского — и только в марте.

Бесстрашно открыв дверь незнакомому человеку, хозяйка дома и тут ни о чем меня не спросила, а лишь в упор глянула на незваного гостя, как бы сразу вызнав и определив, кто я, что я и зачем пришел сюда, такими голубыми и такими бездонно глубокими глазами, перед которыми пронзительно-синие глаза моей осенней попутчицы мгновенно померкли, потускнели, и я их навсегда забыл.

Первое, что мне захотелось сделать, так это немедленно, сейчас же повернуться и уйти, не сказав хозяйке дома ни единого слова, потому что нельзя было себе представить, как можно будет жить под одной крышей, под одним кровом с этой женщиной, с этими ее всезнающими глазами. Но я все-таки не ушел, а, собравшись с силами, произнес давно заготовленную фразу, которая прежде мне казалась такой простой и естественной, а теперь (произнесенная) прозвучала и неестественно, и непросто (поддельно даже), словно я что-то скрывал и не хотел сказать открывшей мне дверь женщине всю правду:

— Нельзя ли снять у вас на лето комнату?

Женщина еще раз посмотрела на меня, выведывая все остатки моих тайн и сокрытий, и, кажется, уже приготовилась произнести краткое свое непреклонное решение: «да» или «нет», но потом оглянулась назад в глубину дома, и сердце мое опять замерло. Я представил себе, что сейчас из темных его запутанных лабиринтов выйдет в белоснежном морском кителе с широкими золотыми шевронами на рукавах испытанный всеми океанскими ветрами, штормами и бурями капитан (а в том, что мужем такой женщины может быть только капитан, я в это мгновение не сомневался ни капли). Посмотрев на меня, сухопутного незадачливого путешественника, он снисходительно усмехнется в усы (ах, какие у него должны быть усы! смолянисто-черные, непробиваемо густые, а может, даже и борода, точь-в-точь, как у Эрнеста Хемингуэя) и скажет, оберегая свое жилище от вторжения, снисходительно и насмешливо:

— Ну, разве может быть у нас свободная комната?!

Но вместо грозного капитана с усами и бородой в коридор вприпрыжку вбежала, выпорхнула Мальвина. И я был спасен.

— А я тебя знаю! — скрывая все свои сомнения и страхи, сказал я. — Ты — Мальвина!

— Откуда вам известно, что она Мальвина? — словно подменяя где-то замешкавшегося капитана, улыбнулась хозяйка дома.

Но как улыбнулась?! Ни до, ни после я таких улыбок не видел: одними только уголками, кончиками обветренных губ — не улыбка, а всего лишь полуулыбка, треть улыбки или даже четверть. Так обыкновенные земные женщины не улыбаются. Так дарят, одаряют улыбкой только женщины, живущие на берегу моря, среди высоких сыпучих дюн, на вершинах которых во время шторма и бури поют свои загадочные мелодии влажные янтарные пески. И, кроме этих женщин, никто их не понимает — и понять не может.

Ни до, ни после не слышал я и такого голоса: с глубоким грудным дыханием и вечной тревогой, тоже поющего и серебряно-звонкого, услышав который ты невольно вздрогнешь и никогда уже его не забудешь. Я действительно вздрогнул и, совершенно не помня, о чем спрашивает меня хозяйка дома, долго слушал, как ее голос несмолкаемо звучит у меня в ушах, то удаляясь к морю, к дюнам и корабельным, натянутым, будто струна, соснам, то возвращается назад, тысячу раз повторенный эхом, чтоб звучать еще звонче и чище.

Наконец я отвел взгляд от лица хозяйки дома, отрешился от ее голоса и выдал свою тайну:

— Прошлой осенью я видел Мальвину и слышал, как вы зовете ее.

Хозяйка дома ничего на это мое признание не сказала, нисколько не заинтересовалась и не удивилась ему, а, прижав к себе Мальвину (словно этим объятием посоветовалась с ней), вернулась к началу нашего разговора.

— Свободной комнаты у нас нет, — произнесла она опять с серебряным переливом. — Но есть свободная мансарда.

— Очень хорошо! — поспешно согласился я на мансарду, теперь уже и не помышляя о бегстве.

Впустив в коридор, хозяйка по крутой, отвесной почти лестнице повела меня наверх. Мальвина, пританцовывая и припрыгивая на каждой ступеньке, не шла, а летела, будто какой мотылек, порхала сзади нас.

Во всех бывших немецких домах мансарды похожи друг на друга. За годы своей службы, да уже и после я не раз и не два бывал на них у офицеров высшего начальственного состава, которые предпочитали казенным квартирам в многоэтажных домах-новостройках старинные немецкие особняки с добротными хозяйственными постройками во дворе: сараями, гаражами, погребями и образцово ухоженными яблонево-грушевыми садами на задах. На одной из таких мансард я еще на первом году службы перестилал, имея кое-какие плотницко-столярные навыки, полы по просьбе-приказанию только что заселившегося в дом нового начальника политотдела дивизии.

Как правило, мансарды были о трех окнах: два квадратных на усеченной стене выходили в палисадник на проезжую улицу, а одно (в коридоре) — прямоугольное — во двор и сад.

Сразу за дверью, с левой стороны, возвышалась обложенная кафелем печка-голландка. Обстановка и убранство на мансардах тоже мало чем отличались друг от друга. В простенке между окнами стоял старинный, немецкой работы письменный стол, возле глухой, самой высокой стены — кожаный диван или никелированная кровать, могло быть еще плетеное кресло-качалка, а рядом с ним какая-нибудь тумбочка. Все по-немецки прочно и расчетливо, ничего лишнего и случайного.

Мансарда, куда меня привели хозяйка дома и Мальвина, была точно такой же: печка-голландка, кожаный диван, письменный, затянутый зеленым сукном стол, тумбочка. И все же — не такой! Совсем не такой! Два окна ее выходили не на проезжую, вымощенную булыжником улицу, а на море. Под напором штормового ветра они скрипели и, как показалось мне, раскачивались вместе с домом, так похожим на корабль-парусник, который неудержимо мчится по волнам, то взлетая на высокий их пенистый гребень, то проваливаясь в бездонную морскую пучину.

— Располагайтесь, — повелительно сказала хозяйка дома и хотела уже было уходить, но я, преодолевая всю свою робость и стеснительность, вдруг остановил ее:

— Нам, наверное, надо познакомиться.

— Наверное, надо, — тая в устах странную свою полуулыбку, сдержанно ответила та на неуклюжие мои слова.

— Меня зовут Николаем, — назвался я, опять обуреваемый сомнениями: протягивать ей руку или не протягивать, положено это делать или не положено при знакомстве с женщинами.

— А меня... — начала было хозяйка дома, но на минуту замешкалась и стала поправлять развязавшийся у Мальвины на косичке бантик.

Пока она перевязывала его и расправляла, чтобы он был похож на бутон цветка белой розы (нет, на бутон белой лилии), потому что роза очень колючая, и Мальвина может пораниться ее шипами, я почему-то подумал, что имя у этой необычной женщины тоже должно быть каким-нибудь необычным, Ассоль, например, или любое иное, гриновское, рассказами, повестями и романами которого мы тогда начинали зачитываться и часто не знали, кому отдать предпочтение — Александру Грину или Хемингуэю.

Но имя у нее оказалось самым обыкновенным, встречающимся на каждом шагу, хотя и библейским.

— ...Мария! — произнесла она его тоже совсем обыкновенно и буднично, но для меня в ее устах это имя прозвучало торжественно и возвышенно, отозвалось гулким эхом в полупустой комнате и заставило меня почему-то вздрогнуть. И уж совсем я пришел в смущение, когда Мария сама подала мне свою тонкую загорелую ладонь. Я ожидал, что рукопожатие ее будет слабым, едва заметным (а ладонь непременно холодной, озябшей), но Мария обманула меня: рука ее оказалась и сильной, и горячей, и легко умиряющей любое волнение.

Аве, Оза, —
Ночь или жилье,
Псы ли воют, слизывая слезы,
Слушаю дыхание твое,
Аве, Оза...

Я неожиданно вспомнил стихи Андрея Вознесенского, прошептал про себя, вставив вместо вымышленного имени Оза имя Марии, которое должно было там стоять и стояло всегда: Аве, Мария!..

Это были совсем иные слова и совсем иные стихи, их сочетание, нисколько не похожие на те, что я произносил прошлой осенью возле студенческого костра на сон грядущий утомленной походом вдоль моря с пограничниками девчонке-попутчице. Она так и осталась в моей памяти всего лишь попутчицей. А здесь все было не так, все по-другому: Аве, Мария...

Ее ладонь из своей вмиг онемевшей (окаменевшей даже) ладони я выпустил с таким сожалением, как будто, едва успев ощутить, терял навсегда.

Стараясь как-то смягчить эту потерю, я перевел взгляд на Мальвину и с чрезмерным возбуждением спросил о ее странном имени:

— А Мальвину действительно зовут Мальвиной?

— Что вы! — прижала к себе дочь Мария. — Ее зовут Машей. Мальвину она сама придумала, чтоб не было между нами путаницы. Я и согласилась.

Из всего этого признания Марии меня больше всего поразило, что она сказала «Я», а не «Мы», то есть она с мужем или с кем-то еще, кто обитает в доме: с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой Мальвины, которые могли быть. Но она сказала «Я» и тем выдала, что никаких иных обитателей в доме нет и, главное, нет мужчины, ее мужа. Я это понял и почувствовал сразу, как только вошел в коридор. На старинной деревянной вешалке я не заметил никакой мужской одежды, а у подножья вешалки, на тумбочке-галошнице, не было ни мужских ботинок, ни сапог, ни расхожих домашних тапочек. Еще больше укрепилось мое мнение в том, что мужчины в доме нет, когда я поднимался по лестнице на мансарду. Перила на ней были опасно расшатаны, а одна ступенька с левой глухой

стороны держалась на честном слове. Починить и перила, и ступеньку в общем-то ничего не стоило: опору на перилах надо было снять и расклинить у основания, а ступеньку прижать гвоздями или заменить вовсе — похоже, она подгнила. Но заняться этим мелким обиходным ремонтом явно было некому...

На мансарде Мария не задержалась ни на минуту.

— Располагайтесь! — сказала она и, увлекая за собой Мальвину, легким шагом спустилась вниз.

Я стал располагаться. Небрежно бросив на диван рюкзак и дембельский чемодан, подошел к столу и широко распахнул выходящие в сторону моря окна. В комнату сразу ворвался влажный морской ветер, наполненный весенними запахами цветов, молодой травы, хвои и едва-едва распустившихся листьев. Море, до этого какое-то далекое и с трудом угадываемое по шуму прибою, вдруг приблизилось и грозно зарокотало, как будто хотело выброситься на сушу, устав от постоянно терзающих его ураганов и штормов. И, наверное, выбросилось бы, если бы на его пути не встал кирпично-красный дом с высокой мансардой.

Соленые морские брызги, морось долетели до распахнутого окна и омыли мне запыленное лицо. Я пришел от их прикосновения в юношеский неопишуемый восторг и решил тут же, немедленно, сесть за стол и начать писать свой до самых мелких деталей продуманный и осмысленный роман. (Так, наверное, перед открытым, выходящим на море и океан окном, писал рассказы и романы Эрнест Хемингуэй).

Достав из чемодана пачку бумаги, я разложил ее на зеленом сукне стола, вооружился специально заведенной для этого самопишущей дорогой ручкою и уже приготовился было вывести первую давно заготовленную фразу, как вдруг сквозь рокотание прибою мне послышался какой-то странный, похожий на завывание сквозняка звук. Вначале я подумал, что это и на самом деле сквозняк, который образовался, когда я открыл на мансарде окна. Чтоб сквозняк прекратился и не мешал мне думать и сосредотачиваться, надо было поплотнее прихлопнуть входную дверь.

Я так и сделал. За увесистую медную ручку посильнее притворил дверь, потом обследовал, нет ли где у порога щелей, сквозь которые и свистит пронзительный, отвлекающий меня от работы ветер. Но щелей нигде не было: тяжелая наборная дверь по всем косякам и порогу прилегала плотно, без единого зазора — все-таки она была сработана каким-то немецким педантичным мастером. Тогда я на всякий случай проверил еще и вьюшку на печке-голландке, хорошо помня по деревенскому своему детству, что ветер чаще всего как раз и завывает в трубе, если вьюшка или чугунные парные кружки закрыты неплотно. Но никаких зазоров и щелей не обнаружил и на вьюшке.

Успокоенный, я вернулся назад к столу и замер над чистым, не тронутым еще ни единой буквой и помаркой листочком. Но как только я вознамерился написать первое слово, так тут же снова раздался пронзительно-острый, отвлекающий меня от сокровенных мыслей звук. Я попробовал закрыть окна, но звук этот проникал и сквозь закрытые окна, изводил и мучил меня. Я совсем раздосадовал, и не столько от самого звука, сколько от того, что никак не мог понять, откуда он исходит.

Я опять распахнул окна — звук усилился, и тогда я вдруг вспомнил все рассказы и легенды о дюнах, о поющих песках и сразу успокоился, не находя в их пении ничего для себя опасного и страшного. Пусть поют и воют, нагоняя тоску и уныние на людей малодушных и робких, а мне

под их пение лишь будет лучше и отрадней работать, как отрадней было когда-то думать и мечтать о дальних странах на деревенской своей русской печке под завывание сухопутного ночного ветра в трубе.

Я подвинул поближе к себе листочек, размашисто написал в правом верхнем уголке свое имя и фамилию, потом высокими печатными буквами начертил название романа и занес уже ручку, чтоб как можно скорее записать первую фразу, а то вдруг она забудется или слова в ней перепутаются, поменяются местами, и смысл, тысячу раз повторенной этой моей фразы в уме, потеряется, станет совсем иным. Но в это мгновение входная дверь у меня за спиной широко распахнулась; листочек от порыва ветра предательски выскользнул из-под рук и закружился рядом со столом. С трудом догоняя его и удерживая, я оглянулся и увидел на пороге Мальвину.

— Мама зовет вас пить чай, — весело и задорно прокричала она и, не дожидаясь от меня ответа, стремглав побежала вниз.

Заходящее солнце, прорвавшись сквозь узенькое коридорное оконце, на долю секунды осветило ее заплетенные в косички волосы — и они мне опять показались голубыми, как у сказочной девочки Мальвины.

Уклониться от приглашения на чай мне было неудобно, некрасиво, хотя я и досадовал, что моя работа прервана в самом начале; вдохновение, еще по-настоящему не придя ко мне, погасло, и сегодня его, скорее всего, назад уже не вернешь.

Я спрятал листочек в ящик стола, решив, что начну работу завтра рано утром, с восходом солнца, и никто мне в ранние эти часы помешать не сможет. А сейчас — что же, деваться некуда, надо идти на чаепитие и познакомиться с приютившими меня хозяевами поближе.

Я достал из рюкзака бутылку сухого болгарского вина, которую купил еще в Калининграде, словно предвидя подобное знакомство и подобное чаепитие.

Стол был накрыт почти по-студенчески небогато, но с редким знанием сервировки, как умеют это делать только женщины, которым подобное знание и умение передалось по многолетней, а может, и многовековой семейной традиции. Похоже, в своих догадках я не ошибся: чашки, блюдечки и вся иная посуда на столе была тонкого, наверное, фамильного фарфора, к которым мне, привыкшему пить чай из солдатских эмалированных кружек, страшно было прикасаться.

Скрывая смущение и робость, я с деланной отвагой водрузил на стол бутылку вина и сказал, как привык говорить это в своих солдатских, студенческих или деревенских застольях:

— Гулять, так гулять!

К моему удивлению, Мария ничуть не смутилась такому началу нашего чаепития, как будто именно на него и рассчитывала и заранее была готова к моему нахальству.

— Ну, что ж, будем гулять! — опять едва заметно, в четверть улыбки, усмехнулась она.

Пока Мария ходила на кухню за высокими хрустальными бокалами и старинным латунным штопором, я оглядел комнату, пытаюсь найти в ней какие-нибудь признаки присутствия мужчины. Но ничего даже отдаленно намекавшего на то, что мужчина живет здесь постоянно или хотя бы бывает время от времени, не обнаружил. Точно так же, как и в коридоре, в комнате я не обнаружил ни единой мужской вещи: ни рубашки, ни костюма, ни, к примеру, капитанской курительной трубки, которая

вполне могла бы лежать на подоконнике, прячась за цветочными вазами. На стенах не было ни единой мужской фотографии, что совсем уж показалось мне странным. Впрочем, нигде не заметил я и фотографий Марии — всюду одна только Мальвина, Мальвина и Мальвина.

Мне в пору оставалось радоваться такому открытию, но я вдруг испугался его. Если бы в доме был или предполагался быть мужчина (пусть он сейчас в отдалении, в отъезде, но он есть), я бы чувствовал себя гораздо спокойней и уверенней: он надежно защищал бы меня от необдуманных слов, неосторожных взглядов и неверных легкомысленных поступков. Но мужчины, увы, не было.

Бутылку я откупорил не очень умело, еще более неумело разлил вино по бокалам, обронив несколько капель на белоснежную скатерть.

Подняв свой бокал за высокую хрупкую ножку, я на правах мужчины, гостя и постояльца приготовился говорить тост, хотя, может быть, его полагалось бы произнести как раз хозяйке дома, а еще лучше бы хозяйину. Но всех этих тонкостей этикета я не знал, не был им обучен и, пренебрегая ими, сказал, как умел — и опять, кажется, невпопад, по-солдатски и по-деревенски грубо:

— За встречу!

Мария минуту помедлила, а потом, порывисто прикасаясь к моему почему-то суетно вздрагивающему бокалу своим звонким и непоколебимо устойчивым, осторожно, но настойчиво поправила:

— За знакомство!

Стыдясь своей деревенско-солдатской грубости, я поспешно согласился с ее поправкой. Действительно, какая неодолимая разница была между этими нашими тостами: «За встречу!» и «За знакомство!» Встреча, всегда нетерпеливо ожидаемая и желанная (я по простоте и недомыслию сразу и выдал это свое желание), а знакомство может быть вполне случайным, мимолетным и ни к чему не обязывающим.

От волнения, что допустил такую оплошность, я едва не выронил бокал. Выручила меня опять Мальвина. Она поочередно чокнулась со мной и Марией маленькой своей фарфоровой чашечкой, наполненной чаем, и вдруг по-детски пронзительно и звонко сказала, наверное, где-то раньше подслушав у взрослых самый простой, обязательный в любом застолье тост:

— За здоровье!

Мы оба, я и Мария, невольно улыбнулись ее словам, сразу сгладившим все наши иносказания, и выпили до дна сухое болгарское вино, пахнущее виноградом, солнцем и далеким Черным морем. По этикету, по застольному строгому правилу, пить вино до дна, до самого доньшка, наверное, не полагалось, но мы по-молодому выпили его до дна, и мне это очень понравилось.

Мальвина точно так же выпила весь свой чай и, изображая усталость, откинулась на спинку стула. Мария поправила на ее платье подвернувшийся воротничок, а я вдруг засовестился перед своей спасительницей. Как же это так, собираясь сюда, на Куршскую косу, и зная, что в приглянувшемся мне домике живет девочка Мальвина, я не купил и не привез ей никакого подарка. Сейчас в этом виниться, конечно, не надо: смутятся и Мария, и Мальвина, но в ближайшие дни я свою ошибку исправлю, специально съезжу в Зеленоградск или даже в Калининград и куплю Мальвине самый дорогой подарок, перед этим выведав, что ей больше всего на свете нравится.

Белое болгарское вино было совсем слабым, но я все равно от него чуть-чуть захмелел, почувствовал себя свободней и раскованней и через несколько мгновений, услышав, как и сюда, в комнату, доносится сквозь открытое окно поюще-пронзительный звук, спросил Марию:

— Это поют пески?

— Что вы! — искренне удивилась она моему неведению. — Это у нас на крыше установлен флюгер, он и беснуется (так и сказала с некоторым даже раздражением — «беснуется») во время ветра. Пески поют совсем не так. Их надо слушать на дюнах и лучше всего на Королевской.

— А вы сводите меня туда как-нибудь? — опять с недопустимым нахальством спросил я.

Мария снова немного помолчала, налила мне полную чашку горячего черно-густого чая и лишь после этого сказала неопределенно и уклончиво:

— Как-нибудь свожу...

Из этих ее уклончивых слов трудно было понять, действительно она сводит меня на дюны или завтра же забудет о своем обещании.

Низко склонившись над чашкой, я никак не мог придумать, о чем бы еще спросить Марию, как продолжить разговор дальше. Надежды на то, что она продолжит его сама, у меня никакой не было. Мария сосредоточенно пила чай и, кажется, совершенно запамятовав обо мне, уже томилась моим присутствием. Мне впору было рассердиться на нее: если запамятовала, если томится, то зачем звала?! Я бы сейчас сидел у себя на мансарде за письменным, так понравившемся мне столом и вдохновенно писал бы уже не первую и даже не вторую и не третью, а может быть, пятую или десятую страницу романа, и ничто бы не смогло мне помешать: ни беснующийся флюгер на крыше дома, ни поющие пески, ни рокочуще-шумный морской прибой.

Но она зачем-то позвала. Пусть ради только одной вежливости и гостеприимства, это совершенно неважно — главное, что позвала.

Украдкой я посмотрел на смугло-загорелое отрешенное лицо Марии, и мне показалось, что она в эти минуты была не здесь, не за чайным столом, рядом с незнакомым и посторонним человеком, а где-то очень далеко, но где и с кем, о том знать никому не позволено.

— Вы давно здесь живете? — наконец все-таки нарушил я томительное молчание и вернул Марию назад в дом, к себе.

— Я здесь, считай, родилась, — вздрогнула она от моего излишне громкого голоса и действительно торопливо и послушно вернулась назад.

— А родители ваши живы? — не совсем понял я это ее «считай».

— Нет, они погибли, — чутко уловила Мария мои сомнения. — Я детдомовка. А ваши?

— Отец погиб, а мать жива, — почувствовал я перед ней свою невольную вину: Мария круглая сирота, а я всего наполовину, рос и воспитывался при матери и бабушке. О детдомах я слышал лишь вскользь и очень боялся их — там все люди чужие и, как мне казалось, очень недобрые.

Отодвинув чашку, я хотел переменить трудный наш, не ко времени затеянный мной разговор и задать гостеприимной хозяйке совсем иной, более веселый и легкий вопрос, но Мария вдруг опередила меня.

— А вы, наверное, родились в России? — спросила она с какой-то странной ноткой зависти (а может, вовсе и не зависти) в голосе.

— В России! — с гордостью ответил я. — Вернее, на Украине.

— Ну, это все равно, — вздохнула она, и нотка зависти в ее голосе как будто пропала.

Мальвина, мало чего понимая в нашем разговоре, прилежно сидела за столом, подперев двумя ладошками голову. Но как хорошо, что она сидела, а не убежала куда-нибудь гулять, оставив нас с Марией одних. Я бы тогда совсем растерялся и не знал, как вести себя дальше, о чем еще и как говорить.

— А я в России не была ни разу, — вдруг призналась мне (и как удивила меня) Мария.

— Совсем не были?! — не в силах и не сразу смог поверить этому ее признанию я.

— Совсем не была, — улыбнулась она в ответ на мое удивление и опять замолчала.

— Я свожу вас туда! — вспыхнул я и загорелся желанием исправить это ее упущение. — Вы поедете?!

— Если повезете, — вполне серьезно сказала она.

Я сразу представил себе, как мы едем с Марией в поезде, как пьем чай в уютном затененном купе, как, почти соприкасаясь лицами, смотрим в окошко на мелькающие мимо большие и малые города, деревни и села, бескрайние (до самого горизонта) поля, озера и реки, леса и перелески. Общаясь с Марией, конечно же, уже на «ты», я рассказываю и рассказываю ей о России, а она все слушает меня и слушает и тоже говорит «ты».

И я действительно начал рассказывать Марии о России, но почему-то не обо всей сразу, а только о своей деревне, о своем доме с глиняным полом, приземистыми окошками, завалинкой и громадной русской печкой с примыкающей к ней продольной лежанкой, возле которой так хорошо сидеть зимними холодными вечерами. А еще я рассказывал Марии о своей маленькой, но быстротечной речке, о ее заливных правобережных лугах-займищах, о березняках и ольшаниках, где мы когда-то в детстве так любили играть в войну, о картофельных и ржаных (житных) полях, одинаково прекрасных, что в раннюю пору цветения и выбрасывания колоса, что в зрелую уже, предосеннюю, когда колос налит и с каждым днем все твердеет и твердеет, а картофель буйно завязался и растет в глубине земли не по дням, а по часам. Отдельно (и по-особому доверительно) хотелось мне рассказать Марии о небольших прибрежных низинках, влажных впадинках, засеянных льном. Поздно вечером, уже почти в сумерках, ярко-голубые его цветочки широко раскрываются (и надо поскорее увидеть это и насмотреться на них!), а рано поутру, когда едва блеснут первые лучи солнца, они плотно-наплотно закрываются, чтоб никому не выдать тайну своего цветения. Но я немного помедлил и не рассказал об этом Марии, потому что всего рассказать о России все равно нельзя: ее надо самому увидеть.

Я ожидал и надеялся, что Мария тоже что-либо поведаст о себе, о своем детстве, о своей жизни здесь, вдалеке от России и Украины. Но она ничего не говорила, а лишь пила, уже не чокаясь, вино да смотрела (намеренно или не намеренно) мимо меня, в окошко то на букеты черной и белой сирени, то еще дальше в непроглядную темноту надвигающейся ночи.

Мне, наверное, надо было вежливо попрощаться, поблагодарить за угощение и уйти. Для первого раза, для знакомства вполне хватит, а что будет завтра, послезавтра или через неделю, о том лучше не загадывать.

Но уходить мне так не хотелось. Не хотелось этого и Мальвине. Еще тверже подперев ладошками подбородок, она готова была слушать меня хоть всю ночь, принимая мои рассказы за настоящую сказку. Да они, в сущности, такими и были.

Я остался, но, разочаровывая Мальвина, сидел молча (все вроде бы было уже сказано) и, тоже в одиночку, будто украдкой пил вино. Так прошло минут пять-шесть, показавшихся мне целой вечностью. У Мальвины уже начали слипаться глаза. И тогда я, отдаляя расставание, осмелел и задал Марии вполне естественный при знакомстве вопрос:

— А вы где работаете?

— В Зеленоградске, в библиотеке, — ответила Мария, легко оторвавшись от созерцания цветов и ночной темноты.

— А с кем же тогда остается Мальвина? — допытывался я дальше.

— Ни с кем не остается, — еще легче разгадала Мария весь незамысловатый подтекст моих вопросов. — Мы ездим с ней на велосипеде в Зеленоградск, и, пока я работаю, Мальвина играет во дворе библиотеки.

— А в другой раз, — преодолевая свою дрему, неожиданно вмешалась в наш разговор Мальвина, — я хожу к бабе Насте.

— А кто такая баба Настя? — спросил я сразу обеих своих собеседниц, надеясь услышать в ответ, что это их родная бабушка (по отцу или по матери). Но услышал совсем иное.

— Это моя давняя знакомая, — словно укоряя меня за назойливость, с небольшим нажимом ответила Мария. — Мы с ней дружим. Она живет здесь с самой войны.

Такого пояснения о бабушке, бабе Насте, Мальвине показалось мало, и она, будто связывая узелок за узелком тоненькую ниточку-паутинку, которая протянулась между мной и Марией, сказала о ней самое главное и важное для себя:

— У бабы Насти есть большая собака и куры.

Мы с Марией не выдержали и невольно рассмеялись этому ее серьезному и обстоятельному рассказу, и ниточка между нами, как мне показалось, упрочилась и уже не грозилась порваться от случайного порыва ночного ветра.

Вот теперь мне уже точно можно было (и надо было) уходить. И я, пожелав хозяйкам дома спокойной ночи, действительно ушел к себе наверх, хотя в тайне и надеялся, что они меня еще на полчаса, а то и на целый час задержат.

Спать мне не хотелось, не хотелось ничего ни писать, ни читать, не хотелось даже думать. Я долго сидел возле открытого окошка, слушал монотонный шум прибоя, скрип распатавшейся рамы, веселое пение на крыше дома беспокойного флюгера, и было мне в тот вечер и в ту ночь так хорошо, как никогда прежде...

* * *

Проснулся я спозаранку, сделал ободряющую армейскую зарядку, попил чаю, приготовив его тоже сугубо армейским испытанным способом и приспособлением — самодельным кипятильником из двух лезвий от безопасной бритвы. С моря дул свежий влажно-упругий ветер, доносился едва слышимый шум прибоя, на крыше волновался, лопотал флюгер — все располагало и побуждало к работе. Вдохновение кружило и туманило мне голову. Я уселся за стол и, священнодействуя, заново разложил листочки: чистые — высокой стопочкой с правой стороны, а озаглавленный вечером — чуть наискосок, по-школьному, прямо перед собой и, вспоминая слово за словом первую фразу романа, начал выводить ее по возможности ровным и разборчивым почерком. В это столь раннее, томитель-

но-теплое, начавшее разгораться утро ничто, казалось бы, не могло помешать мне, не могло и не смело отвлечь от работы, вспугнуть вдохновение, все больше и больше овладевавшее мною.

Так бы оно, скорее всего, и случилось, если бы я, написав первую фразу, не задумался над второй и в этой напряженной задумчивости не взглянул в просторно открытое окно. И в одну минуту все вдохновение мое погасло, разрушилось и отлетело, гонимое ветром в высокое безоблачно-синее небо, а вместо него вспыхнули во мне вначале тревожно-холодный озноб, а потом испепеляюще-жаркий огонь. Вдоль морского прибоя, глубоко проваливаясь босыми ногами в морской песок, шла Мария. Я сразу догадался, что она ищет и собирает при первых лучах восходящего солнца янтарные искрящиеся камушки. Мария часто наклонялась к песчаному наплыву, разгребала случайно подобранной палочкой прибрежную гальку и вдруг надолго замирала, разглядывая на ладонке найденный камушек. Подол ее длинного бледно-сиреневого платья окунался в воду, намокал и становился по-ночному темным и, наверное, тяжелым. Но Мария не замечала этого, была равнодушна и к темноте, и к тяжести, вся поглощенная и сосредоточенная на разглядывании и узнавании камушка. По крайней мере, мне так казалось издалека, из открытого, распахнутого настезь окошка.

Отложив в сторону листочек и ручку, я тоже долго и сосредоточенно следил за ней, словно заново узнавая Марию, но потом вдруг засовестился своего подглядывания, закрыл окно и резким движением задернул штору. На мансарде сразу стало душно и пыльно, как будто в нее ворвался сухой смелый смерч и всю засыпал раскаленным песком южной африканской пустыни...

Осторожно ступая по скрипучим ступенькам лестницы, чтоб не разбудить Мальвину, которая, судя по всему, еще спала, я спустился вниз, несколько минут постоял у подъезда в сомнении, идти дальше или, может быть, лучше не идти, не обнаруживать себя, а повернуть назад — и все-таки преодолел свою нерешительность и пошел к морю, к Мариин.

— Доброе утро! — неестественно бодрым голосом поздоровался я с ней, делая вид, что оказался здесь, у моря, совершенно случайно.

— Доброе утро! — ответила Мария, кажется, ничуть не удивившись этой моей случайности.

О чем еще говорить, я не знал, заранее не придумал ни на мансарде, тайно наблюдая из окна за Марией, ни на лестнице, ни позже, когда почти бежал к Мариин по холодному влажному песку. Но говорить что-то надо было, иначе, зачем и бежал...

— Вы почему не спите? — спросил я первое, что пришло мне в голову.

— Я по утрам собираю янтарь! — с улыбкой простила она мне мою невоспитанность. — А почему не спите вы?

Застигнутый врасплох, я оказался совершенно не готовым к такому вопросу, растерялся и стоял перед ней, словно провинившийся школьник перед учительницей. Сказать Марии всю правду и признаться в том, что я поднялся в такую рань, чтоб писать роман, у меня не хватило мужества. В эти мгновения все мое сочинительство показалось мне пустым и ничтожным занятием, которому я самонадеянно предался, воображая себя писателем. А на самом деле никакого писательского таланта у меня нет, и вскоре я брошу все эти глупости, окончу педагогический институт и уеду по направлению в какую-нибудь сельскую школу, чтоб преподавать там русский язык и литературу, как это делают сотни и тысячи моих сверстников.

Но, наконец, я все-таки нашелся и обманул Марию:

— Меня разбудил флюгер!

— Ничего, привыкнете, — уже без всякой улыбки, вполне серьезно успокоила она меня и опять начала ворошить палочкой гальку.

Закатав повыше штанины брюк, я тоже зашел в воду и принялся внимательно наблюдать за поиском Марии. Но на этот раз она ошиблась, и янтарно блеснувшая под лучами солнца крупинка оказалась обыкновенным камушком-песковиком. Мария оттолкнула его палочкой, несколько не огорчившись своей неудаче. Я самовольным, непрощеным соглядатаем пристроился рядом с ней, стараясь, правда, ничем не мешать Марии и идти чуть в стороне и позади.

Ни о чем больше спрашивать Марию я не осмелился, боясь опять попасть впросак, огорчить и ее, и себя. Да никакой надобности у нас в разговоре и не было: Мария сосредоточенно и внимательно искала янтарь, а я делал вид, что обучаюсь у нее этому искусству.

Так, шаг за шагом, мы и шли с Марией вдоль побережья, вроде бы и рядом, вроде бы и вместе, но в то же время и совершенно отдельно, порознь, каждый сам по себе. Заново обнаружили мы друг друга лишь у подножья первой попавшейся нам на пути невысокой дюны.

Вблизи, всего с расстояния в несколько метров, я видел дюну впервые. Она показалась мне очень похожей на песчаный курган у нас, в селе, образовавшийся, по преданиям, на месте древнего монастыря. Отличалась она от кургана лишь тем, что заросла не полынью, не хворощью и вездесущим дурнишником, а какими-то серо-зелеными широколиственными и колючими растениями, которые, наверное, только и могут расти на песчаных дюнах возле моря. Было и еще одно, тоже, несомненно, морское отличие. На склоне, обращенном в сторону моря, песок лежал не сплошным покровом, а неширокими ступенчатыми наплывами, напоминавшими крутую лестницу. Образовалась она, должно быть, под напором штормового, ураганного ветра, долетавшего сюда с Северного моря и Атлантического океана.

Мне захотелось тут же подняться на вершину дюны и посмотреть с высоты вначале на тихий Куршский залив, а потом на янтарно-темное, даже в эти ранние часы вздымающееся тяжелыми волнами и пенными кружевными бурунами на гребнях, море.

Точно так же я поднимался давным-давно, в детстве, на монастырский наш курган, смотрел, заслоняясь от солнца ладошкой, вначале на утопающее в садах и раскидистых осоках село, а потом поворачивался лицом к реке, на берегу которой когда-то и был построен Богородицкий мужской монастырь, и смотрел на заливные равнинные луга, заросшие до самого горизонта густой некошеной травой. Мне хотелось заглянуть и дальше, за горизонт, но его застил далекий Милоградский лес, во всем таинственный и недоступный для меня, совсем еще мальчишки.

Мне все это наяву представилось и вспомнилось, и я действительно вознамерился сейчас же, немедленно, подняться на дюну, с вершины которой заглянуть за горизонт ничего не стоит.

Но Мария, догадавшись о моих намерениях, вдруг остановила меня, уже шагнувшего было на первую ступеньку дюны. Из накладного кармана платья она достала целую горсточку янтарных камушков, выбрала один, самый крупный, с застывшей внутри, может быть, тысячу лет тому назад мушкой и протянула мне:

— Возьмите на память. Он приносит счастье.

— А не жалко? — суеверно попробовал отказаться я от подарка.

— Нет, не жалко, — беспечно ответила Мария. — Берите, пока не передумала. У меня счастья через край.

По этим ее лишь внешне беспечным словам я понял, что как раз счастья у Марии и нет или было, но очень давно. Так давно, что она о нем уже забыла. Но, возможно, я и ошибался, ведь Марии всего двадцать два — двадцать три года, и все счастье у нее еще впереди. По крайней мере, о себе я именно так и думал. Самое трудное испытание — армия — у меня уже в прошлом, а в будущем — веселая студенческая пора, беззаботная жизнь в общежитии, походы во главе с каким-нибудь молодым аспирантом в окрестные леса, костры на берегу реки, тревожно беспокоящие душу песни под гитару:

Ах, какие удивительные ночи...

Принимая дорогой подарок, я хотел было сказать Марии что-нибудь успокоительное насчет счастья и будущего или хотя бы пообещать, что с таким драгоценным подарком-талисманом я непременно буду счастлив. Но Мария не позволила мне больше произнести ни единого слова. Она запрокинула голову, вприщур посмотрела на солнце и, только по одной ей известной примете точно определив, который теперь час, сказала:

— Нам пора. Мальвина уже проснулась.

* * *

Назад мы шли скорым, поспешным шагом, нигде не останавливаясь и не задерживаясь, хотя мне несколько раз казалось, что вон там и там, в россыпи песка и гальки, таится крупный янтарь — самый счастливый из всех, которые когда-нибудь и кто-нибудь находил. Но задерживать Марию я не посмел и, тяжело дыша, словно во время армейского десятикилометрового марш-броска с полной выкладкой, шел рядом, лишь изредка позволяя себе посмотреть, как наши тени под лучами солнца переплетаются на прибрежном песке...

В подъезде Мария попрощалась со мной без прежней отверженности, которая мне послышалась в ее голосе возле дюны, а непринужденно и буднично, хотя я и уловил (или мне так показалось), что будничность эта какая-то нарочитая:

— Не скучайте! Мы вернемся после семи.

— Постараюсь! — тоже с нарочитой бодростью ответил я, уже начав скучать сейчас же, вот в это мгновение, еще не расставшись с Марией.

* * *

Я поднялся по лестнице наверх, но сразу в комнату не пошел, а встал в коридорчике возле окошка, которое выходило во двор, в надежде еще раз увидеть Марию.

И вскоре действительно увидел ее. Минут через пятнадцать-двадцать она вышла во двор вместе с принаряженной и озорно подпрыгивающей с одной ножки на другую Мальвиной. Из кирпичного, по-готически островерхого сарайчика они выкатили сияющий черным лаком давнего немецкого производства велосипед.

Такие пугающе-черные трофейные велосипеды, все искореженные

и поломанные, я хорошо помнил по своему послевоенному детству. Их побросали в сорок третьем году отступающие немецкие войска в непроходимых наших лесах и чащах, на полевых песчаных дорогах, в торфяных болотных лугах, где не то, что на велосипеде, но и пешком порядком пробраться не так-то просто. Два или три велосипеда ребята постарше кое-как собрали и на зависть нам, едва-едва начавшим ходить и разговаривать малышам, носились на них по деревенским улицам. Но здесь, в Восточной Пруссии, велосипеды эти были не трофейными, а природно-своими, и чернота их не казалась столь пугающей и отталкивающей.

Мальвина легко и привычно, с небольшой лишь поддержкой Марии взобралась на раму, и они покатали в сторону Зеленоградска по самой кромке еще влажного и пустынного шоссе.

Я следил за отважными велосипедистами, сколько можно было следить, пока они не скрылись за поворотом и не растаяли в неожиданно повисшем над шоссе туманом. Мне невольно вспомнился мой родной, изготовленный на минском заводе дорожный велосипед нежно-зеленого, словно первая майская зелень, цвета, с голосистым звончком на руле. Будь он теперь со мной, я бы, ни минуты не раздумывая, вскочил на него и помчался вслед за Марией и Мальвиной, чтоб сопровождать их до самого Зеленоградска-Юранца. Но мой выдавший виды велосипед стоял сейчас далеко в России, у меня в доме, в дровяном сарае или в повети, заботливо прикрытый матерью попоною, и терпеливо дожидался своего хозяина в полном одиночестве и забвении.

Проводив Марию с Мальвиной последним прощальным взглядом, я вошел, наконец, в комнату, подобрал разбросанные ветром по всему полу злополучные свои листочки, положил на подоконнике подаренный Марией «счастливый» камушек и попробовал опять настроиться на работу. Но у меня ничего не получалось, хотя я и старался с предельным вниманием сосредоточиться на очередной фразе, по нескольку раз перечитывал предыдущую, менял в ней слова местами, находил новые, которые казались мне гораздо лучше написанных прежде. Вдохновение как будто уже и вернулось ко мне, привычно окутало теплом и жаром голову, и все-таки я не мог продвинуться в работе ни на шаг. Что-то мне упрямо мешало, удерживало и мысли, и руку. Поначалу я думал, что это шум прибора, лопотание флюгера на крыше или монотонное гудение проносившихся по шоссе машин. Точно так же, как и вчера, я поплотнее закрыл окно, но затворничество это мне ничуть не помогло. Шума прибора, посвистывания флюгера и гудение машин теперь было почти не слышно, но работа у меня по-прежнему не ладилась: слова либо не находились вовсе, либо находились, но совсем не те, которые были мне нужны и которые я чувствовал в воспаленной своей голове. И вдруг я понял, в чем тут дело, что мне мешает и не дает по-настоящему сосредоточиться. Взгляд мой упал на подарок Марии — янтарь, и я безошибочно определил — он всему вина и помеха. Я спрятал камушек в ящичек стола, но получилось еще хуже. Из темноты и заточения он будто обжигал меня невидимыми своими лучами, манил к себе, просился в руки. Впору было взять его и с отчаяния выбросить назад в море. Я с трудом удержался от необдуманного этого поступка (как после и чем оправдаюсь перед Марией?!), но работу оставил, резко смел со стола все листочки и едва не изорвал их на мелкие клочки...

Делать мне было совершенно нечего, и я решил обследовать ближайшие к дому окрестности и, если повезет, заготовиться провиантом в каком-нибудь магазинчике. Закрыв дверь на ключ и запрятав его в потаенном месте, которое мне еще вчера вечером показала Мария, я пошел вверх по шоссе в сторону Ниды. И, оказалось, не зря. Километра через полтора вдруг обнаружился небольшой, судя по всему, рыбацкий поселок, теснившийся на берегу Куршского залива. Был он совсем крохотным, всего на пять-шесть домов, но в самом крайнем из них располагался продуктово-хозяйственный магазинчик. Я вошел в него и первым делом, сам не зная почему (может, с досады за напрасно потерянное утро), купил бутылку вина, граненый стакан и матерчатую сумку и лишь потом кое-что из провианта: буханку хлеба, полкилограмма дорогой «краковской» колбасы, банку прибалтийских шпрот, а для лакомства триста граммов любимых своих глазированных пряников.

Погрузив припасы в сумку, я опять пошел вверх по шоссе, надеясь отыскать и увидеть еще что-нибудь примечательное: островки «танцующего» леса, родниковое озерцо или по-тевтонски прочный прусско-королевский замок. Они, говорят, здесь встречаются часто. Но вместо всего этого я вдруг увидел с левой стороны шоссе ту самую дюну, у подножья которой мы с Марией стояли утром вдвоем и где она подарила мне на счастье янтарь.

Недолго думая, я свернул к ней и по зыбкому, постоянно осыпающемуся под ногами песку начал взбираться на вершину. Казалось, она была совсем рядом (рукой можно дотянуться), но достигнуть ее с набега и наскока на одном дыхании мне не удалось. Несколько раз я останавливался, успокаивал бьющееся частыми гулками толчками сердце, ругал себя за непредусмотрительность: надо было отыскать у подножья какую-нибудь выброшенную морем корягу-посох (в прошлом году студенты вооружались ими не зря) и лишь после этого, опираясь на нее, затеять восхождение, уподобившись пилигриму и паломнику. Я стал оглядываться по сторонам, нет ли где на многоступенчатом склоне если не посоха, то хотя бы самой обыкновенной палочки (все было бы легче одолевать крутой подъем). Но вокруг было пустынно и голо, лишь в двух-трех местах позванивали на ветру ядовито-зеленые, похожие на кактусы растения с острыми колючками на листьях. Угрюмым, неприютным видом они нагоняли тоску и уныние, а мне и без того было невесело. Я едва не повернул назад, чтоб укрыться в доме, который был хорошо виден отсюда, с высоты, и завалиться там спать. Но минуту спустя, я все-таки усовестился своей слабости и малодушия, переложил сумку из руки в руку и с новой отвагой принялся карабкаться вверх. Дыхание у меня постепенно наладилось, выровнялось (опять же, как во время десятикилометрового маршброска, когда на смену первому, хлипкому и неустойчивому, дыханию приходит второе, размеренное и глубоко-сильное), и я одолел оставшуюся часть подъема всего лишь с одной коротенькой остановкой.

Зато какие просторы и дали открылись мне с зыбкой вершины дюны! Морской горизонт действительно раздвинулся, и мне показалось, что на самом сгибе его играет на утреннем солнце белый, туго натянутый парус, хотя это могла быть и пенисто-кружевная пена на гребне крутой высокой волны. Но я решил, что это парус, и долго следил, как он то исчезает, то вновь появляется за чертой горизонта.

Потом я повернулся в другую сторону и так же долго и неотрывно следил за утренней пробуждающейся жизнью на тихом Куршском заливе. В нескольких местах заметил рыбацкие сине-голубые лодки и самих рыбаков с удочками, спиннингами и еще какими-то неведомыми мне да и плохо различимыми отсюда, издалека, снастями в руках. Мне захотелось, обнаружив себя, прокричать рыбакам что-нибудь веселое и озорное, чтоб они отвлеклись от своей унылой и, возможно, неудачной сегодня рыбалки, тоже развеселились и бросили ненадежные свои, обманувшие все их ожидания удочки. Я сложил руки рупором, набрал полную грудь воздуха, приподнялся на цыпочках и собрался уже было кричать, но вовремя спохватился: далекого моего крика рыбаки, скорее всего, не услышат, а если и услышат, то вдруг подумают, что со мной случилась какая-нибудь беда и я зову их на помощь.

А со мной никакой беды не случилось. Просто мне хорошо и весело на вершине песчаной дюны. Помощь, конечно, нужна (очень нужна!), но только не их, мужская и рыбацкая...

А коль мне вдруг сделалось так хорошо и весело, коль я достоверно знаю, чья и откуда придет помощь (поздно вечером, после семи часов), то надо мне поскорее устроить праздник в честь покорения первой в моей жизни дюны.

Я разложил на сумке все свои припасы, открыл ножиком-складеньком, который с детских лет всегда ношу в кармане (как деревенскому мальчишке-следопыту без перочинного ножика?!), бутылку вина, консервы, нарезал вдосталь колбасы и хлеба. Потом налил полный стакан янтарно-чистого вина, поднял его высоко в руке и прокричал в сторону моря:
— С тобой обняться был бы рад!

Море откликнулось на мой призыв глубинным устрашающим роко-том, вспенилось девятым, а может, и десятым валом и выплеснулось на берег такой могучей волной, что на вершине притихшей и затаившейся дюны задрожали и пали ниц колючие песчаные растения.

В гордом восторженном одиночестве я пировал долго и счастливо. Много раз кричал еще что-то морю и его грозному повелителю Посейдону, читал стихи — и свои собственные, и чужие — и нескрываемо радовался, что никого сейчас рядом со мной нет.

Но потом, как это часто и бывает после неумного веселья, мной овладела юношеская необъяснимая грусть. Я оставил свои будоражащие крики, перепалку с морем и Посейдоном и, отрешившись от всего земного и водного, упал ничком на песок и стал слушать его загадочное пение. Я прижимался к песку разгоряченной головой и грудью, и мгновениями мне казалось, что я действительно слышу какие-то звуки и мелодии и почти понимаю их. Но они тут же и уходили от меня, ускользали, непонятые и неразгаданные, и я слышал лишь тревожные крики чаек над морем.

Не веря этому, я поворачивался на спину, запрокидывал руки за голову и опять напряженно слушал то в полной темноте, закрыв глаза, то, наоборот, широко открыв их, чтоб неотрывно смотреть в высокое синелазурное небо, куда, наверное, и улетают все будоражащие меня звуки. Но и лежа навзничь, на спине, ничего кроме надоедливости крика чаек и шума прибоя не слышал...

Вконец измучившись, я допил остатки вина, собрал пиршеский свой стол и берегом моря пошел к дому. В нескольких шагах от дюны мне, наконец, попался настоящий подорожный посох, неодолимо крепкий,

сиренево-сизый и немного шершавый от пропитавшей его морской соли. Я поднял посох и, опираясь на него, зашагал быстрее. На дюну я ни разу не оглянулся, но все время чувствовал нависшую у себя за плечами и готовую раздавить меня ее громаду, постоянно думал о ней, о ее поющих песках: либо мне не дано услышать их и понять, либо это лишь легенда, а на самом деле ни о чем вечно влажные эти просоленные пески не поют и не могут петь...

* * *

Дома я плотно затворился на мансарде и долго лежал на диване, стараясь уснуть, чтоб поскорее прошло время и настал долгожданный вечер — семь часов. Но уснуть мне так и не удалось, и тогда я, бодрясь и заново обретая жизнь, достал из дембельского чемоданчика томик Хемингуэя и стал читать любимый свой рассказ «Старик и море»:

«Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно *salao*, то есть самый что ни на есть «невезучий», и велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла три хороших рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтоб помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатах из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову разбитого полка...»

И чем больше я читал, тем больше мне хотелось, выпросив у рыбаков лодку, уйти в море и обязательно поймать громадную рыбу-меч. От меня бы она ни за что не ушла: я молод, натренирован и закален за три года армейской службы, не то, что старый немощный старик. Сколько бы рыба ни вырывалась, сколько бы ни таскала лодку по морю, а все равно не вырвалась бы, и я к вечеру, отбившись от всех акул, укротил бы ее и привез домой, чтоб обрадовать Марию и Мальвину богатым уловом и добычей. С этими, считай, уже осуществленными надеждами я, в конце концов, уснул на диване и беспробудно проспал и весь вечер, не слыша, как вернулись Мария с Мальвиной, и всю штормовую, неожиданно холодную ночь. И ничего мне в этой ночи не снилось... (А старику из рассказа Хемингуэя почему-то снились львы).

* * *

На следующее утро повторилось то же самое. Мы гуляли с Марией вдоль побережья, собирали влажный янтарь (я наловчился и уже почти без помощи Марии нашел несколько крупинок, похожих на запекшиеся на солнце капельки сосновой смолы-живицы), и, сосредоточенные этими поисками, суеверно молчали. Вернее, молчала Мария, а я говорил восторженно и недопустимо много (это мне только казалось, что я так же, как и Мария, молчу), все рассказывал и рассказывал ей о своем селе, куда мы обязательно съездим. Там тоже очень хорошо гулять на ранней, утренней заре возле речного берега, смотреть и слушать, как носятся над водой речные ласточки-касатки и речные чайки-крачки с сабельно-острыми крыльями, как прямо у тебя под ногами безбоязненно ходят сиренево-

сизые трясогузки-плиски и длинноногие кулички, а высоко в небе охранно парит гордый и неприступный аист...

Ничего не изменилось ни на третий, ни на четвертый день. В девятом часу Мария с Мальвиной уезжали в Зеленоградск, а я оставался один в своей высокой, нависшей над морем мансарде. Сидеть за столом и томиться над очередной фразой романа я даже не думал, заведомо зная, что ничего у меня не получится, нужные слова не отыщутся и не найдутся, словно засыпанные песком и галькой.

Я опять шел в рыбацкий поселок, покупал в магазине вино и закуски и взбирался на дюну, но уже не со стороны моря, где она многоступенчато-отвесная и недоступная мне, а со стороны шоссе, к которому дюна подходит почти вплотную затыжным пологим спуском. На вершине я лежал на непрогретый еще песок вначале ничком, а потом навзничь и долго, часами лежал, пытаясь все-таки услышать, как поют янтарные древние пески. Но ничего, хотя бы отдаленно напоминающее пение, я ни разу не услышал...

* * *

Так продолжалось целую неделю. Я совершенно извелся, измучился и вдобавок ко всему простудился, лежа на холодном песке. Марии о своих походах на дюну я не обмолвился ни единым словом, делая вид, что целыми днями суровым отшельником и затворником безвыходно сижу на мансарде и все пишу и пишу таинственный свой роман.

Но вот в субботу вечером, когда мы втроем пили чай на первом этаже, Мария вдруг сказала:

— Завтра мы с вами пойдем на Королевскую дюну.

— С Мальвиной? — не смог не спросить я.

— Нет, — строго ответила Мария. — Мальвина по воскресеньям ходит к бабе Насте. У них там свои секреты.

Я думал, что Мальвина начнет сейчас капризничать, упрашивать Марию, чтобы та взяла ее с собой, но Мальвина, наоборот, лишь обрадовалась, что завтра, в выходной воскресный день пойдет к бабе Насте, по которой сильно соскучилась и с которой у них свои секреты и тайны.

* * *

Ночью я спал плохо, часто просыпался, с тревогой и замиранием сердца смотрел в окошко: не пора ли подниматься, не настало ли уже утро, может быть, самое счастливое утро в моей жизни. (Часам я в ту ночь не доверял и ни разу не взглянул на них: часы могли остановиться или намеренно замедлить ход, лишь бы навредить мне).

Но вот, наконец, солнце вынырнуло из-за Куршского залива, далеко, до самого горизонта осветило тихое и спокойное море, впервые показавшееся мне синим и голубым.

Я наспех, без прежнего прилежания сделал зарядку, наспех попил чаю и, облачившись в военное свое хэбэшное обмундирование, которое у матери вместе с парадным мундиром не оставил, а забрал с собой (вдруг пошлют в колхоз на уборку картофеля или кукурузы, так лучшей одежды не найти), сел на диване и стал ожидать, когда Мария позовет меня.

Ждать пришлось долго. Наверное, часа полтора, а то и два. Я просто забыл, что сегодня воскресенье, и Марии с Мальвиной хочется отоспать-

ся за всю прошедшую рабочую неделю. Особенно Марии. Ведь она ежедневно просыпается с восходом солнца и все бродит и бродит по морскому побережью, по моим подозрениям, лишь делая вид, что собирает янтарные крупинки, а на самом деле по какой-то совсем иной причине...

Торопя время, я пробовал читать Хемингуэя, но не «Старик и море», а другие его более счастливые рассказы. Поначалу я увлекся ими, завидовал отчаянно храбрым и мужественным героям Хемингуэя, но потом вдруг ловил себя на мысли, что ничего не понимаю в написанном, не могу вникнуть в его смысл и значение, хотя прежде не раз эти рассказы читал, и все мне в них было понятно и ясно.

Я отбрасывал книгу в сторону и опять принимался ждать, чутко, с резким биением сердца прислушиваясь к каждому шороху на нижнем этаже дома.

* * *

...Мария позвала меня лишь в девятом часу, и не просто позвала, а сама поднялась на мансарду и постучалась в дверь.

Я поспешно открыл, надеясь увидеть Мальвину, которая часто выполняла роль посыльной. Но увидел Марию, одетую совсем не по-походному, в праздничное, выходное платье все того же нежно-сиреневого, похоже, любимого ее цвета, правда, немного старомодное, удлиненное (а тогда ее ровесницы носили платья уже совсем другие, укороченные, едва-едва прикрывающие колени или вовсе не прикрывающие их).

Мария с удивлением и любопытством посмотрела на мой военный наряд, на кирзовые, надраенные, будто перед походом в увольнение, до зеркального блеска сапоги, на бело-батистовый умело подшитый подворотничок (жаль, вдвойне и втройне жаль, что не было сейчас при мне медали и знаков солдатской доблести!), но ничего не сказала по этому поводу, а лишь посоветовала, как обычно советуют опытные проводники-наставники начинающим путешественникам:

— Возьмите свитер, наверху холодно!

Я тут же бросился выполнять ее приказание, затолкал в рюкзак шерстяной, связанный мне матерью в канун демобилизации свитер, и еще зачем-то плащ-палатку, хотя о ней Мария не обмолвилась ни единым словом.

Увлекая за собой Марию, я сразу за порогом дома свернул было на тропинку, ведущую к морю, чтоб идти к Королевской дюне вдоль побережья (заманчиво было представлять мне этот объединительный наш поход по сыпучему, пепельно-белому песку берегом такого тихого сегодня и такого синего моря!), но она вдруг остановила меня:

— Мы поедем на велосипедах. Это очень далеко. Вы умеете ездить на велосипеде?

— Умею, — ответил я, хотя надо было обмануть Марию и сказать, что не умею или умею, но лишь чуть-чуть. Ведь одно дело идти с ней рядом, слышать ее дыхание, ощущать запах ее светло-каштановых волос и, возможно, даже соприкасаться плечами, и совсем иное — ехать на велосипедах по обочине шоссе (Мария впереди, я — сзади), когда ее дыхания и запаха волос не будет слышно, когда она будет постоянно впереди и в отдалении.

Но сопротивляться Марии я не имел никакого права: она хозяйка, путеводительница, а я всего лишь гость, человек временный и случайный.

Велосипеды стояли в сарае, прислоненные к кирпичной красной сте-

не: один мужской, с продольной высокой рамой, тот, на котором Мария с Мальвиной ежедневно ездили в Зеленоградск, и другой — женский, с рамой изящно-прогнутой, чтоб женщинам было удобно и неопасно садиться на него. Заднее колесо у женского велосипеда было в полукруг затянуто ажурною желто-розовой сеткой. Когда он изобретался, женщины еще не носили брюк, а путешествовали в платьях и юбках. Во время езды подхваченный порывом встречного или бокового ветра подол мог попасть и запутаться в спицах, и вот для этого была придумана защитная сетка. Рядом с грубоватым мужским велосипедом, женский, с глубоко, по-журавлиному прогнутой рамой, защитительной сеткой и кружевной усеянной бубенчиками и кисточками ленточкой по ободку сидения казался миниатюрным и воздушно-легким. На нем только и могли ездить такие женщины, как Мария, утонченно-нежные и хрупкие.

Я выкатил оба велосипеда из сарая, придирчиво, по-деловому осмотрел их, подкачал шины, проверил динамомашинки, прикрепленные на передних вилках, и глазастро-зоркие фары на рулях, как будто нам предстояло возвращаться домой поздно ночью.

Мария внимательно наблюдала за моим дотошным осмотром велосипедов и дорожными приготовлениями, но ни во что не вмешивалась, не сделала ни единого замечания, великодушно позволила, не спросившись разрешения, приладить ее сумку на руле (свой рюкзак я приторочил на багажнике, надежно прижав его тугой пружиной). Судя по всему, она считала, что всем этим и должен заниматься именно я, мужчина, гораздо больше ее понимающий в технике. Я загордился своей частью, умением и ловкостью, и в этой гордыне не догадался о том, что она наблюдает за мной не просто так, не ради одного только любопытства, а, похоже, сравнивает с каким-то иным мужчиной, который чинил ей велосипеды раньше и с которым она тоже ездила на Королевскую дюну.

Крепко заперев на щеколду калитку, мы сели на велосипеды (как и следовало ожидать: Мария — впереди, я — сзади), но поехали не по тряскому шоссе, а по песчаной тропинке, которая, будто наперегонки, бежала рядом с ним, то ныряя в густые березняки и осинники, то едва заметным ручейком петляя по луговым, заросшим молодой травой полянкам. Точно такая же пешеходно-велосипедная тропинка, тесно прижимаясь к заборам и изгородям, бежала у меня по селу вдоль огородов и широких колхозных полей, засеянных рожью, льном и высокой, дурманяще пахнущей коноплей. От резких порывов ветра и рожь, и лен, и даже ломкая конопля шли настоящими волнами и перекатами и были очень похожи на янтарно-зеленое море. Когда Мария приедет ко мне в село, то я покажу ей эти наши поля и огороды, и она согласится, что они действительно похожи на любимое ее янтарное море.

Несколько раз, почти вплотную приближаясь к Марии, я хотел ей рассказать об этом сейчас, пока смел и решителен, но сдерживался, и вовсе не потому, что боялся показаться смешным и навязчивым со своими неправдоподобными сравнениями, а потому, что не мог оторвать взгляда от Марии, от ее туго завязанных на затылке в пучок волос, от ее длинной, с едва заметной родинкой, шеи и нежно-покатых плеч. Все это казалось мне видением, полусном — и я боялся испугнуть его. Мария тоже молчала, хотя, наверное, могла бы и указать мне на какие-нибудь особо приметные и особо любимые ее места вдоль дорог. Но то ли таких мест не было, то ли она намеренно скрывала их от меня. Лишь возле рыбацкого поселка Мария вдруг повернулась ко мне и предложила:

— Давайте заедем, купим рыбы!

— Давайте, — немедленно согласился я, радуясь и предстоящей остановке, когда мы вдвоем будем покупать рыбу, и просто ее серебряно-звонкому голосу...

По своей неопытности и незнанию местной жизни, я думал, что рыбу мы будем покупать в том самом магазине, где я недавно покупал вино, но Мария спешила с противоположной от него стороны, возле добротного хозяйственного дома с зубчато-острым забором, на котором сушились рыболовецкие снасти. Мы вошли во двор, и она принялась торговать змееподобных угрей горячего и холодного копчения у хозяина дома, высокого костистого старика, судя по акценту, латыша или литовца.

— Надо купить вина, — запальчиво, но так, чтобы не слышал старик, предложил я.

— Надо! — легко согласилась она. — Только на дюне вино не пьют. Надо водку или настойку: перцовку, зверобой, старку.

Я поразился всем этим ее совсем не девчоночьим, не женским словам, но противиться не посмел, оставил Марию наедине со стариком и побежал через улицу к магазину.

Покупать водку я почему-то поостерегся и приобрел бутылку жгучекрасной перцовки.

Когда я вернулся назад, Мария уже укладывала в сумку рыбу. Ей помогал старик: ловко, нигде не ломая, сворачивал угрей в колечки и бережно передавал разборчивой покупательнице.

Никогда прежде угрей я не видел и не ел (в нашей тихоструйной реке они не водятся, и доведись кому поймать странную эту рыбку, то ее непременно приняли бы за змею) и с опаской представил себе, как же я буду их есть, да еще в присутствии Марии.

— Пива не возьмете?! — спросил на прощание старик. — У меня свое, домашнее, в дубовой бочке.

— Спасибо! — вежливо отказалась Мария (может, она вовсе не любила пива или считала, что козь на вершине дюны нельзя пить вино, то пить домашнее литовско-латышского приготовления пиво из дубовой бочки предосудительно и недостойно тем более). — В другой раз.

Это случайно оброненное Марией обещание «в другой раз» меня очень обрадовало и вдохновило. Значит, мы приедем сюда еще когда-нибудь (возможно, в следующее воскресенье) и тогда уж непременно купим у сумрачного старика пиво. Я сам настою на этом, а Мария не посмеет отказать мне...

* * *

Остановились мы возле самого подножья дюны, с пологой ее, затяжной стороны. Велосипеды Мария велела спрятать в кустах терновника, где было только одной ей ведомое потаенное место, а сама, сняв сандалии, стала подниматься на дюну. Я хотел забрать у Марии тяжелую ее хозяйственную сумку, но она, наотрез отказавшись от помощи, отстранила меня рукой и произнесла какое-то странное, загадочное слово:

— Потом!

Что это могло означать, я никак понять не мог. Когда — потом?! Сегодня, чуть позже, на самом крутом участке подъема, или в другой раз, когда мы будем взбираться на дюну, неся в сумке и рюкзаке многолитровые бутылки с пивом. Забрать же ее ношу силой я не отважился. У лю-

бой иной женщины забрал бы, не раздумывая, а вот у Марии не посмел, потому что она — не иная...

Деваться было некуда: я понадежней приладил рюкзак, по привычке стянул его на груди специальными лямками, которые бывают только в армейских вещмешках, и двинулся вслед за Марией. У подножья дюны лежало несколько посохов, брошенных какими-нибудь нашими предшественниками, студентами или заезжими туристами с материка, и я сначала позарился было на один из них, помня свое первое восхождение на дюну. Но так и не взял его, устыдившись своей слабости. Мария ведь на все эти просоленные морем коряги даже не посмотрела.

Она шла уже далеко впереди меня. И не шла, а, казалось, взлетала легкой весенней ласточкой, почти не оставляя на песке никаких следов. Я же в солдатских своих дембельских сапогах сорок третьего размера, подбитых для форсу самодельными подковами, увязал в нем едва ли не выше голенищ и все больше и больше отставал от Марии. Мне, наверное, тоже надо было снять пудовые эти сапоги и идти налегке, босиком, но я постеснялся решиться на такой поступок. Солдат в брюках галифе с завязками-штрипками на щиколотках и с самодельными, захлестнутыми за стопу шлейками (в наше время так делали все солдаты, начиная с первого дня службы, чтоб брюки были в натяг и струнку, а не морщились гармошками на голених) выглядит несуразно и постыдно, будто военнопленный. Но еще больше меня смущали солдатские мои портянки, которые Мария на вершине дюны непременно, конечно, увидит. Они были фланелевыми, новенькими, выданными мне к дембельским сапогам все тем же щедро-уступчивым Костей Никольским, к тому же и недавно собственноручно постиранными, но все равно оставались грубыми солдатскими портянками, и мне не хотелось, чтоб Мария их видела.

Терзаемый глупыми своими сомнениями, я, выбиваясь из последних сил, брел вслед за Марией и сгоряча несколько раз подумал, что, может быть, мне и вовсе не надо было соглашаться на поездку с ней к Королевской этой поющей насыпи.

* * *

Соединились мы с Марией на самой вершине дюны, возле реденьких, но все-таки защитных кустов краснотала, которые неведомо каким образом могли расти в этих пустынных песках. Вся правая пологая сторона дюны была ярко залита солнцем. Смотреть на нее было опасно — так слепили глаза кремневые, звездно-искрящиеся песчинки. А левая, лестничным обрывом падающая в море, находилась еще вся в тени и от этого казалась какой-то провално страшной.

Внизу, на побережье и на шоссе, с утра было тихо и безветренно (не знаю почему, но я обратил на эту немного странную для морского прибалтийского побережья тишину, когда мы отправлялись с Марией в дорогу), а здесь, на семидесятиметровой высоте, дул пронзительно-резкий и холодный ветер. Почти ураган.

— Наденьте свитер! — заботливо сказала Мария, как только я сбросил на землю рюкзак. — Простудитесь!

Меня обдало изнутри обжигающе-горячим жаром от этих ее слов, как будто я вдруг оказался возле полыхающей печи или возле кузнечного горна, но я не подчинился Марии и стал по-мальчишески храбриться, изображать из себя закаленного, стойкого солдата, которому все ни по

чем, тем более, что сама она была лишь в одном легоньком летнем платье, и ничто не показывало, что в сумке у нее хранится более теплая одежда: кофта, свитер или хотя бы штормовка.

— Вы и так по ночам кашляете! — неожиданно оборвала Мария мою показную храбрость. — Не хватает только воспаления легких.

Я поразился этому еще больше, чем ее приказанию надеть свитер, и жар внутри меня сменился холодно-колким ознобом, как будто я давно и безысходно болею именно воспалением легких.

По ночам я действительно кашлял, иногда глухо и сдержанно, а иногда надсадно, с хрипами и резью в груди, но никак не мог предположить, что все эти мои, в общем-то, не очень опасные покашливания, слышит Мария. Я думал, что она сладко и томительно спит, убаюканная морским прибоем, запахом сирени и лопотанием флюгера на крыше. А, оказываешься, она все слышала и, может быть, досадовала на меня, что я бужу ее в самые сонные полуночные часы.

После такого признания и такого упрека не подчиниться Марии было никак нельзя. И я послушно подчинился ей, достал из рюкзака свитер и надел его поверх гимнастерки. Мне сразу стало и теплее, и уютнее. Я почувствовал себя опять гражданским вольным человеком, в одно мгновение избавился от своей скованности, обрел утерянное было чувство мужского старшинства и главенства и принялся, ни в чем не советуясь с Марией, разбивать наш походный туристический лагерь-бивуак.

Первым делом я расстелил на песке солдатскую плащ-палатку, прижал ее по краям, оберегая от порывов ветра, камнями, потом поставил на середину бутылку перцовой настойки и положил рядышком наизготовку свой драгоценный ножик-складенек, который нам обязательно, конечно, должен был понадобиться. Мария не останавливала меня и не делала никаких замечаний. Она была занята своим женским делом: раскладывала на холщовом полотенце длиннохвосто-угрожающих угрей, хлеб, поставила китайский термос с чаем (а я вот, собираясь в поход к морю, не подумал о том, что пресной воды там не найдешь ни капли, и чтоб не умереть от жажды, надо будет спускаться к Куршскому заливу или идти в какой-нибудь ближайший поселок) и, главное, два граненых стакана. Эти граненые стаканы совсем удивили меня. По своему — и деревенскому, и армейскому, и редакционному — опыту мне хорошо было известно, что на свежем воздухе, на природе, водку или крепкую настойку лучше всего пить из граненых стаканов, а не из рюмок. Стаканы и устойчивей на земле, и надежней, в них лучше видна мера и доза содержимого.

Когда все было готово, мы сели на плащ-палатку, но не рядышком, а напротив друг друга, разделенные скатертью. Я налил по четверти стакана перцовки и замер, опять, как и в первый день нашего знакомства, не зная, что и как надо говорить, какой провозглашать тост. Мария сразу почувствовала мою растерянность, но несколько мгновений еще ждала, должно быть, надеясь, что я придумаю и найду единственно необходимые сейчас слова. И я придумал бы их, но вдруг на вершине дюны стало темно и сумрачно: с моря набежала гряда облаков, она плотно закрыла солнце, и тут же капнуло несколько крупных предупреждающих капель дождя. И тогда Мария выручила меня, растерянного и немолчащего с зажатым в руке стаканом янтарно-розовой перцовки.

— За тех, кто в море! — искренне и серьезно сказала она и негромко чокнулась со мной ободом стакана.

Что надо говорить в ответ на такой тост, я не знал: все-таки был че-

ловеком сугубо континентальным, сухопутным, в наших краях подобных тостов не провозглашают. Поэтому я произнес что-то согласно-невнятное, но зато открыто посмотрел в бездонно-голубые, чуточку суженные глаза Марии и безошибочно почувствовал, что слова эти не совсем ее, что она просто раньше не раз слышала их в компаниях людей действительно мореходных, испытанных штормами и бурями, для которых слова «За тех, кто в море!» — не пустой звук.

Перцовку Мария выпила совсем не так, как обычно пьют крепкие напитки женщины (через силу, с плотно сжатыми губами), а по-мужски, на едином вдохе-выдохе.

Я последовал примеру Марии, выпил перцовку тоже единым глотком и залпом, но едва не поперхнулся. Пробовать перцовку мне давно не приходилось, и я запамятовал, сколь это обжигающе-острый напиток, как горит и испепеляется от него все внутри. Волей-неволей надо было поскорее закусывать, гасить в себе перцовый бушующий пожар, иначе погибнешь, сгоришь дотла. Отрешившись от всего на свете, я отломил едва ли не четверть хищно глянувшего на меня мертвым глазом угря. Белоснежное его рыбье мясо показалось мне не только удивительно нежным и мягким, но еще и холодно-остужающим. Огонь во рту и гортани сразу погас, притупился, и я заново обрел жизнь.

Мария же закусила лишь маленьким кусочком хлеба и еще меньшим ломтиком угря горячего копчения. Чувствовалось, что все это для нее привычно и обыденно и что она не раз и не два отмечала свое восхождение на Королевскую дюну такой вот, не совсем обычной трапезой.

На меня Мария опять не обращала никакого внимания: смотрела мимо, далеко в море, сейчас спокойное, не штормовое и, возможно, видела (а уж чувствовала и осязала точно!) тех, за кого только что выпила огненно-крепкую перцовку. А я неотрывно смотрел на ее напряженное лицо, хотя и понимал, что так поступать нельзя, но ничего с собой поделать не мог: смотрел и еще хотел смотреть, и лишь в те мгновения, когда она замечала мой откровенно-настойчивый взгляд, я поспешно отводил его и через плечо Марии устремлял на залитый солнцем Куршский залив, за которым начиналась бескрайняя равнинная суша...

Потом мы еще несколько раз выпивали, уже не обременяя себя никакими тостами, но как-то совсем не так, как в первый день нашего знакомства. Может быть, потому, что пили не в доме, под защитой островерхой крыши и красно-кирпичных стен, а возле моря и не из хрустальных бокалов. Правда, однажды я едва не провозгласил тост за Летучего Голландца, чтоб он наконец благополучно пристал к берегу. Но, минуту подумав, я вовремя сдержался: вдруг по морским законам и обычаям провозглашать такой тост нельзя, чтоб не накликать на тех, кто в море, беду. Вместо этого я стал нахваливать угрей, которых раньше мне есть никогда не доводилось, а заодно и старого латыша или литовца, скрыв от Марии, что он-то мне как раз и не понравился.

Голова от выпитого у меня опасно закружилась, и я заново принялся рассказывать Марии про свою деревню, про могильный курган, на котором мы тоже иногда устраивали выпивку.

— С женщинами? — прервала она меня.

— Какие там женщины! — не придал я тогда никакого значения этому ее любопытству. — Играем целый день на лугу в футбол, а вечером купим в складчину несколько бутылок портвейна, взберемся на курган и пьем возле птичника.

Я подробно и, должно быть, совершенно неинтересно для Марии, рассказал ей, как во времена нашего детства колхозному начальству взбрело в голову построить на вершине кургана из лозового плетня сарай, громко названный птичником и даже птицефермой.

Года три-четыре там действительно содержались под присмотром двух старушек, определенных в птичники, куры и утки. Но ничего из этой затеи, в конце концов, не получилось. Утиные выводки с утра пораньше расплывались по реке вверх и вниз по течению и часто бесследно пропадали там. Одних безнаказанно вылавливали громадные сомы-бочажники, которые водились в речных глубинах; других, принимая за диких, еще более безнаказанно отстреливали осенью заезжие и захожие, не нашего колхоза и села, охотники. С курами было и того хуже. Не досыта, впроголодь кормленные, они разбредались по окрестным огородам, совершая опустошительные набеги на просяные клинышки и грядки. Из-за этого постоянно возникали скандалы и со старушками-птичницами, по немощи своей не очень бдительными, и с колхозным начальством. Вдобавок ко всему по ночам кур воровали хорьки и куницы, сразу расплодившиеся вокруг птичника, а днем над ним неисчислимыми стаями кружили коршуны и тоже удачно охотились за цыплятами, а то и за курами-несушками.

К моему удивлению, Мария очень внимательно слушала мой назойливо-пространный рассказ и в конце заинтересованно спросила:

— А он до сих пор стоит?

— Кто? — увлеченный повествованием, не понял я.

— Ну, птичник этот! — пояснила она.

— Стоит! — обрадовался я интересу Марии к моей юношеской жизни. — Только пустой. Я вам покажу его, если мы съездим в деревню.

— Хорошо, — после недолгого молчания сказала она.

Странно как-то и неясно (как будто не вслух, а лишь про себя) сказала, и я никак не мог понять, что значит это ее «хорошо»: согласна Мария поехать ко мне в деревню, или ей «хорошо» сейчас со мной на вершине Королевской дюны.

Солнце к этому времени уже поднялось высоко в зенит, ярко осветило и все наше становище, и часть западного, морского склона дюны. Неожиданно (и очень опасно для меня) Мария вдруг сняла летнее свое легко-сиреневое платье и осталась в одном лишь вызывающе открытом купальнике. Меня поразило ее тело: оно было на редкость соразмерно сложенным и натренированным. Такие тела обычно бывают у женщин, которые с детских, с юношеских лет занимаются плаванием: длинная шея, покатые плечи, стройные сильные ноги — все выверенное и филигранно отточенное. Небрежно скомкав платье, она положила его себе под голову и легла на плащ-палатке, лицом к солнцу и морю.

Я тоже принялся стаскивать свитер, но Мария резко и требовательно остановила меня:

— А вы не смейте! Простудитесь и обгорите!

Я одернул свитер назад, но вовсе не потому, что «не смел», а потому, что вдруг застеснялся своего, хотя и мускулистого, но такого неимоверно худого и нескладного тела. Одежда скрывала очевидные его недостатки, и как бы уравнивала меня с Марией, а сбрось я солдатское свое обмундирование, которое придавало мне хоть какое-то мужество, так все бы сразу обнаружилось и проявилось (и худоба моя, и по-зимнему болезненная белизна), и как бы я тогда себя чувствовал рядом с Марией, безупречно сложенной и загорелой.

Я лишь позволил себе, наконец, снять сапоги, показавшиеся мне сейчас неподъемно тяжелыми и нелепыми. Портянки я привычно и заученно обернул вокруг голенищ и безжалостно забросил дембельские свои, так тщательно и любовно выхоленные кирзачи подальше, в заросли широколистой, похожей на кактусы колючки.

Я лег на плащ-палатку по другую сторону нашей скатерти, но не переставал украдкой следить за Марией. Она вначале лежала с широко открытыми глазами, глубоко, размеренно дышала и неотрывно смотрела в высокое чисто-синее сейчас, без единого облачка небо. Во время вдоха-выдоха из-под выреза купальника в ложбинке груди у нее появлялась соблазнительно белая, зовущая и манящая полоска, оторвать взгляд от которой было выше моих сил. И я преступно не отрывал его.

Но вот Мария утомленно прикрыла глаза, дыхание ее стало ровнее и тише, и я решил, что Мария уснула. Подглядывать же за ней, сонной и спящей, мне показалось некрасивым и нечестным. Я тоже прикрыл глаза, надеясь, что сладкий охранительный сон на свежем морском воздухе вот-вот овладеет мной.

Так мы лежали минут десять-пятнадцать: Мария спала (или мне казалось, что она спит), а я изо всех сил старался уснуть. Но вот Мария, не открывая глаз, вдруг приглушенно-тихим, потерявшим серебро голосом окликнула меня:

— Слышите?!

— Слышу! — отозвался я, сразу догадавшись, о чем она говорит и спрашивает — о поющих песках на вершине Королевской дюны.

Но на самом деле, сколько я ни напрягался, а ничего, кроме ударов собственного сердца, не слышал. Мне надо было признаться в этом Марии, попросить, чтоб она научила меня, как надо по-настоящему слушать поющие пески. Но как я мог признаться ей в своей глухоте?! И я не признался, а лишь, обманывая ее, сказал:

— Какой странный звук!

— Странный, — согласилась она со мной и опять замолчала (теперь, кажется, действительно глубоко и крепко уснула).

Ко мне же сон никак не шел, меня не мог убаюкать ни монотонный шум морского прибойя, ни пронзительные звуки поющего песка, услышать и разгадать которые мне, судя по всему, не дано от природы.

Я сел на плащ-палатке и, будто врубелевский «Демон в пустыне», обхватив коленки руками, угнетенный и неприкаянный, застыл в двух шагах от спящей Марии-Тамары. Смотреть на нее, спящую, я по-прежнему опасался, но мне в который уж раз пришла в голову неотвязная мысль и догадка, что раньше Мария бывала здесь на вершине Королевской дюны с кем-то иным. Точно так же они пили обжигающе-жгучую перцовку (он и научил этому Марию), смеясь и забавляясь, закусывали угрями холодного и горячего копчения, а потом долго лежали рядом, слушали поющие пески, и оба понимали все их мелодии и звуки.

Оставив меня в полном одиночестве, Мария безмятежно спала (или казалась мне спящей) на этот раз очень долго. Солнце за это время начало клониться на запад, светить ей прямо в глаза, словно тоже истомилось в одиночестве и хотело, чтоб она поскорее проснулась.

Мария и вправду несколько раз повела веками, отчего длинные ее ресницы вздрогнули — и проснулись. А в следующее мгновение проснулась и она сама, немного с удивлением посмотрела на меня (кто я такой и зачем здесь?!), и вдруг резко поднялась на ноги и стремительно побежала

по крутому обрыву к морю. Я бросился было за ней следом, но Мария, обернувшись на бегу, остановила меня все теми же заботливо-запретительными словами:

— А вы не смейте! Море холодное — утонете!

На этот раз мне надо было ее все же послушаться и побежать следом: что с того, что море холодное — плавать я умею, может, и не хуже Марии, а если и утону, то все-таки рядом с ней, в ее любимом Балтийском море.

Но я не побежал. И вовсе не потому, что опять застеснялся раздеваться при ней, показывать свое бледно-худое, еще по-настоящему не пережившее промозглую прибалтийскую зиму тело, а потому что, наконец, всерьез обиделся на нее за недоверие ко мне, за излишнюю опеку и совершенно ненужную мне заботу.

Я гордо остался стоять на вершине дюны и наблюдал, как Мария, потишь раскинув руки, бежит навстречу морю и солнцу.

Возле самой кромки воды она выбросила руки далеко вперед и, ни на минуту не задерживаясь, натренированно поднырнула под набежавшую (можно было подумать, что специально для нее) высокую волну и бесследно скрылась в янтарных глубинах моря.

Мгновение истекло за мгновением, а Мария все не показывалась и не показывалась. Я начал лихорадочно снимать свитер и гимнастерку, чтоб бежать ей на выручку: ведь, того и гляди, сама утонет в морской, еще почти ледяной пучине. Но вот Мария показалась далеко от берега и, не оглядываясь на меня, дозорно стоящего на вершине, еще стремительней, чем бежала по склону дюны, поплыла к резко очерченному горизонту. Я следил за ней, сколько можно было следить, порывался даже крикнуть: «Возвращайтесь назад!», но когда фигура Марии превратилась в маленькую, будто чернильную точку, опять сел на плащ-палатку и обхватил колени руками...

* * *

Возвращались мы домой уже ночью, в сумерках. Во дворе у порога нас ждала Мальвина и баба Настя, высокая, немного нескладная женщина, лет сорока пяти, в солдатской, похоже, еще времен войны защитной стеганке-телогрейке. На правой руке у нее не было двух пальцев, мизинца и безымянного, на щеке (от виска до подбородка) виднелся глубокий извилистый шрам. Но все эти увечья бабу Настю ничуть не портили, а лишь делали ее какой-то по-особому величественной и несокрушимой.

Глянув на мое армейское обмундирование, баба Настя с прямою, присущей только женщинам, прошедшим войну и фронт, спросила:

— Солдат?

— Бывший, — ответил я вроде бы точно так же, как при знакомстве с Марией, но вместе с тем и совсем не так: правая моя рука сама по себе привычно вскинулась к виску, словно при докладе старшему по званию.

— Пехотинец? — опять спросила баба Настя, и в этом ее вопросе ясно читалось и слышалось, что главным солдатом на войне она считает именно пехотинца и никого иного.

— Ракетчик! — разочаровал я бабу Настю.

— Все равно солдат, — примирительно сказала она и, считая разговор со мной законченным, повернулась к Марии. — Ну, тогда я пойду. Мальвина накормлена.

— Спасибо, — поблагодарила ее Мария за дневной, воскресный просмотр за Мальвиной и проводила до калитки.

Там они о чем-то еще недолго поговорили и расстались: Мария вернулась назад к нам с Мальвиной, а баба Настя пошла по шоссе в сторону Зеленоградска-Кранца к своему, таящемуся где-то совсем рядом, жилью. Я невольно залюбовался ее походкой, вернее, даже не походкой, а поступью. Так нестигаемо могут ходить лишь женщины, прошагавшие в солдатском строю не одну сотню километров с санитарной сумкой на боку или снайперской винтовкой на плече (баба Настя, скорее всего, с винтовкой). Походка эта, поступь, вошла в ее кровь, в жилы и кости, и ничто на свете не сможет сбить бывшую фронтовичку с гордого победного шага...

* * *

Вечер мы с Марией и Мальвиной провели за чаем в их пропитанной запахами сирени и моря комнате. Я все порывался расспросить Марию о бабе Насте: кто она и откуда, почему поселилась здесь, на Куршской косе, и не уезжает в Россию, где у нее наверняка есть родные и близкие. Но так и не спросил, вовремя почувствовав, что рассказ этот расстроит Марию, которая сама не едет в Россию.

Я решил отложить разговор о бабе Насте до следующего раза, до следующего нашего с Марией похода на Королевскую дюну. А в следующий раз я буду вести себя совершенно не так, как сегодня. Забрав у Марии сумку, взберусь на песчаную вершину прежде нее, сниму и сапоги, и гимнастерку, и брюки-галифе, чтоб в один день загореть не хуже Марии. А когда мы с ней без всяких надуманных многозначительных тостов выпьем перцовки, я лягу рядом с Марией плечо к плечу, рука к руке и буду слушать (и непременно услышу), как поют эти уже начавшие мне надоедать пески. Потом мы вместе с Марией побежим по склону дюны к морю, и я уплыву гораздо дальше нее, ничуть не боясь ни волн, ни пугающе черной глубины. За целый день я ни единым словом не обмолвлюсь о своем селе и могильном кургане на берегу реки (Марии это скучно и неинтересно), где мы пили с ребятами (а иногда все-таки и с девчонками) портвейн в тени заброшенного птичника. И уж совсем не стану я ревновать Марию к ее прежнему спутнику, с которым она ходила на Королевскую дюну когда-то давным-давно, не зная еще меня. Я его просто придумал, вообразил, а на самом деле его никогда не существовало и не могло существовать.

Но следующего раза, увы, так и не случилось. Неделя проходила за неделей, а Мария все не звала и не звала меня в новый поход на Королевскую дюну. Сам же попросить ее об этом я не решался.

Каждое утро я просыпался спозаранку, раскладывая на столе уже успевшие пожелтеть листочки и пробовал сосредоточиться над ними, плотно задернув на окне занавески, чтоб не видеть, как Мария ходит по морскому берегу и собирает янтарные крупинки. Но я видел ее (а еще больше чувствовал) и сквозь занавески, предательски искал в них щелочку, с нетерпением ожидал, когда порывом ветра они распахнутся едва ли не в пол-окна. Листочки мои оставались лежать нетронутыми.

Потом я внимательно прислушивался, как Мария с Мальвиной собираются на работу, как они за утренним чаем о чем-то весело переговариваются и смеются...

Когда же они выкатывали из сарая велосипед, я выходил на лестнич-

ную площадку, припадал к слуховому окошку-бойнице и долго следил, как они едут по утреннему, полупустому еще шоссе, все удаляясь и удаляясь от меня...

После их отъезда я прятал листочки назад в ящичек стола, давая при этом и себе, и этим пожелтевшим листочкам твердое обещание, что завтра утром обязательно вернусь к ним, и работа у меня на этот раз заладится. Кое-как успокоив себя обещанием, я спускался вниз и целый день бесцельно слонялся по побережью, иногда забредал в поселок, чтоб, суеверно обойдя стороной дом, где мы покупали с Марией рыбу, заглянуть в магазин и приобрести там бутылку вина. Пил я его, хоронясь под обрывом за какими-нибудь камнями и корягами, не очень дружелюбно поглядывая на виднеющуюся вдалеке гряду дюн. Сухое вино было кислым и чуть-чуть горьковатым, чего я не замечал прежде; я пил его маленькими глотками, растягивая не столько удовольствие, сколько время: пока я буду сидеть здесь, под обрывом, незаметно наступит вечер, суровые мои хозяйки вернутся из города, и уж сегодня Мария обязательно объявит, что в ближайшее воскресенье мы отправляемся на Королевскую дюну.

Но день проходил за днем, а Мария по-прежнему ничего мне не говорила, никуда не приглашала. Они с Мальвиной жили своей счастливой жизнью, а я своей, обособленной и неприкаянной, вернее, не жизнью, а существованием, легкомысленно вставшего к ним на постой квартиранта.

Закончилось все это тем, что однажды утром, как только Мария с Мальвиной отправились в Зеленоградск, я сочинил впопыхах коротенькую записку: «Я уезжаю. Так случилось», потом, тоже впопыхах, будто кто-то мог меня остановить и насильно удержать, собрал все свои вещи и исчез из дома Марии навсегда, подальше от Куршской косы, от холодного, почти северного моря и как можно подальше от неизвестно о чем поющих и стонущих песков...

По дороге, правда, уже в электричке, я вдруг подумал, что все-таки надо было добавить в записке еще несколько слов. Каких, я никак придумать не умел, но чувствовал — надо было. Может, пообещать, что скоро приеду, и мы обязательно поднимемся на Королевскую дюну. Я едва не вернулся назад. Подхватив чемодан и рюкзак, выходил в тамбур к двери и на одной остановке, и на другой, и на третьей, но так и не вернулся: дверь с лязгом захлопывалась, и электричка с пронзительным, надсадным воем неслась навстречу новой моей, студенческой и непременно счастливой жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...С тех пор прошло много-много лет. Я учился вначале два года в провинциальном педагогическом институте, а потом целых пять лет в Литературном институте в Москве. И годы эти действительно были самыми счастливыми в моей жизни. Все, о чем я загадывал и мечтал, сбылось: лекции в переполненных аудиториях, семинары и коллоквиумы, студенческие вечера и пирушки в общегитии, походы в окрестные леса и рощи, а в Москве — в театры и музеи, поездки в древние города-поселения: Сергиев Посад (тогда еще Загорск), Абрамцево, где жил один из любимых моих писателей — Юрий Казаков, в Переделкино, Коломну, Архангельское и даже в Рязань, в село Константиново, на родину Сергея Есенина. Само собой разумеется, что появилась у меня и та, единственная, о которой я тоже мечтал с самой ранней юности. Правда, выбрать ее на фило-

логическим факультете педагогического института было не так-то просто. Девчонок там училось очень много, и одна другой лучше — глаза разбегаются и туманятся. Тогда она сама выбрала меня.

И, кажется, не ошиблась. По крайней мере, мне так хотелось думать...

Писателем я тоже все-таки стал. И даже написал тот злополучный роман, который пробовал писать, еще работая в районной газете, а потом безуспешно терзался над ним, недолгое время живя на Куршской косе. Получился он, конечно, совсем не таким, каким виделся мне в юношеские ученические годы. Все в романе было иным: и название, и первая глубокомысленная фраза, которая долгие годы изводила и неотвязно мучила меня. Я заменил ее на более простую и ясную (может, и не без влияния того же Казакова): «В тот год я жил на берегу Балтийского моря в старом заброшенном доме».

Роман этот неожиданно для меня имел успех, чему я не мог честолюбиво не радоваться. Кто из начинающих писателей в молодые годы не хочет быть знаменитым, замеченным и читателями, и критиками! Но, написав роман, я начал очень быстро забывать и Балтийское море, и Куршскую косу, и кирпичный домик над песчаным обрывом, и, прежде всего, не покоренные мной дюны. Повзрослев, я стал стыдиться себя, того прежнего, нескладного юноши, только-только снявшего армейские погоны, который так робел перед хозяйкой дома по имени Мария.

* * *

Став писателем, я быстро пристрастился ездить к Черному морю, теплomu и по-южному ласковому. Почти каждый год я, то вместе с семьей, то в одиночку отдыхал в Домах творчества в Пицунде, Коктебеле или в Ялте.

В Коктебеле я любил подниматься раньше других обитателей Дома творчества, шел к морю и собирал там по побережью камушки халцедона, сердолика и агата, чтоб после заказать из них в мастерской, ютившейся у самой проходной, для жены и дочери перстеньки и ожерелье. Камушки эти и своим неброским цветом и каким-то внутренним, исходящим от них теплом нравились мне гораздо больше холодных янтарных.

В те годы в Коктебеле существовала одна незыблемая традиция. Каждый отдыхающий в первые же дни по приезде обязательно совершал паломничество на могилу Максимилиана Волошина, которая виднелась на вершине холма Кучук-Енишар по дороге на Феодосию. К могиле вела крутая, торно натопанная за многие десятилетия паломниками тропинка.

Писатели чуть постарше меня помнили, как всего несколько лет тому назад на могиле Волошина с утра до вечера сидела в темном одеянии его жена Майя, Мария Степановна. Писатели, а чаще их жены и дети, приносили ей еду и воду — тем она и жила, безутешно оплакивая своего Макса. Но в мое время Марии Степановны уже не было в живых. Она покоилась рядом с могилой мужа, и теперь паломники навещали их обоих, хотя многим и казалось, что Майя-Мария незримой тенью сидит на камне и все так же скорбит по Максy, считая свою жизнь тоже законченной еще в начале тридцатых годов, когда он так рано и неожиданно умер.

В очередную свою одиночную поездку, едва поселившись в дощатом домике, в тени кипарисов и каких-то иных, неведомых мне, южных де-

ревьев (я всегда любил поселиться в Коктебеле именно в этих дощатых неприметных домиках, а не в кирпичных корпусах № 19 или № 2, где обычно селилось высокое литературное начальство), я, как истинный паломник, вооружился посохом и отправился по крутой, выцветшей за лето до меловой белизны тропинке к могиле Волошина и Майи-Марии.

Измученный и бессонной ночью в душном поезде, и нелегким подъемом на вершину Кучук-Енишара, я положил на надгробные гранитно-серые плиты два букета полевых цветов, собранных по обочине тропинки, потом долго смотрел на самый древний в Крыму потухший вулкан — нависшую над морем скалу Карадага, которая по своим очертаниям напоминала голову Максимилиана Волошина (так все говорили, так оно и было на самом деле) и, наконец, собрался уходить, чтоб успеть еще до вечера побывать на пляже.

И вдруг со стороны Феодосии к могилам Волошина и Майи-Марии подошли две женщины, тоже, судя по всему, паломники, знающие все коктебельские обычаи: одна лет тридцати семи-восьми, а другая совсем еще молодая, юная, может быть, всего лишь девятнадцатилетняя.

Солнце мне светило прямо в глаза, и я поначалу не признал их и не обратил на них сколько-нибудь пристального внимания: мало ли кто приходит на могилы Волошина и его жены. Одни, зная, кто лежит под гранитными серыми плитами, почтить их память, а другие, может, и празднично — все ходят, вот и они пришли.

Но, мгновение спустя, на солнце со стороны Карадага набежала темно-лиловая туча: я перестал щуриться, взглянул на паломниц повнимательней — и сразу узнал их.

— Мария?! — смело обратился я к старшей, давно пережив юношескую свою привычку робеть и без всякого повода стесняться женщин.

Она подняла на меня глаза, минуту-другую смотрела с удивлением, не узнавая, а потом все-таки узнала и улыбнулась своей сдержанно-таинственной (как и прежде, одними лишь уголками губ) улыбкой. Узнать меня действительно было непросто. Из лопоухого, чрезмерно худого, даже тощего, полумальчика я превратился к сорока годам в заметно тяжеловатого мужчину, оброс огненно-рыжей, увы, уже начавшей в двух-трех местах сесть бородой. Но Мария меня узнала. Правда, ни по ее виду, ни по ее вскользь и, как мне показалось, утомленно сказанным словам (как будто мы с ней виделись вчера и успели уже надоесть друг другу): «А, это вы?», я не мог понять, рада она нашей встрече или, наоборот, досадует, что она случилась.

Стараясь не придать этому никакого значения, я повернулся в сторону ее молодой спутницы и с полной уверенностью, что не ошибаюсь, весело сказал:

— А вы, конечно, Мальвина?!

— Конечно, Мальвина, — с полуслова подхватила она мой шуточный тон, хотя, похоже, немало и удивилась, что здесь, за тысячи километров от ее дома, кто-то называет ее не Машей, а приставшим к ней еще в детстве прозвищем — Мальвиной.

— Но меня вы не помните? — продолжил я все так же шуточно допрашивать ее.

— Не помню, — честно призналась Мальвина, но потом, еще раз взглянув на меня и о чем-то задумавшись, вдруг сказала: — Нет, все-таки чуть-чуть помню. Вы жили у нас на мансарде и носили солдатскую форму.

— Носил, — ностальгически вздохнул я.

Мне еще долго можно было продолжать разговор с Мальвиной в подобном тоне, пуститься в воспоминания о Куршской косе, об их доме и мансарде, о дюнах и о том, как Мальвина с мамой каждый день отправлялась на велосипеде в Зеленоградск-Кранц, а я с утра до вечера неприкаянно бродил по побережью холодного Балтийского моря. Но я вдруг почувствовал, что Мария не хочет этого разговора, что она вот-вот оборвет его, прекратит и уведет Мальвину на ту, феодосийскую, сторону холма, словно маленькую девочку, которой совершенно ни к чему слушать взрослые разговоры.

Меня это почти обидело: только встретились, только узнали друг друга, и сразу расставаться, опять на долгие годы, а может, и навсегда. Впрочем, я, скорее всего, просто наговаривал на Марию и в волнении не замечал, что она лишь делает вид, будто не рада встрече со мной и хочет поскорее расстаться, уберечь от ненужных воспоминаний Мальвину, а на самом деле и рада, и хочет продолжить наш разговор. Она ведь тоже сейчас совсем иная, хотя внешне почти не изменилась: все такая же стройная и гибкая, не по-южному сдержанно загорелая под скупым балтийским солнцем. Она лишь повзрослела, и от этой взрослости своей и зрелости стала еще более красивой.

Все старое, давнишнее и, казалось, навсегда, безвозвратно забытое вдруг всколыхнулось во мне, ожило и возродилось из песка и пепла. Ничего теперь от Марии мне не нужно было (у нее своя жизнь, у меня своя), но побыть с ней рядом хотя бы часа два-три, а лучше бы весь день, до вечера, хотелось, и тут скрывать нечего.

Сделав вид, что подчиняюсь пожеланиям Марии, я прервал свой шуточный разговор с Мальвиной и принялся заманивать обеих паломниц к себе в Дом творчества. Я пообещал показать им домик Волошина, сводить на наш литфондовский пляж и в мастерскую, где можно заказать перстень или кулон из сердолика и агата, которые мы сообща обязательно найдем на побережье. И уж чтоб совсем сломить сопротивление Марии, я, может быть, и не без тайно проснувшейся вдруг во мне гордыни сказал ей:

— Я подарю вам свою книгу.

— Роман? — неожиданно удивила, но одновременно и польстила моему самолюбию Мария. (Значит, читала, значит, знает, что я все-таки добился своего и здесь, в писательском Доме творчества, обретаюсь не случайно).

— Можно и роман, — уклончиво и опять не без гордыни ответил я, опасаясь и желая узнать, что она думает об этом романе, о первой его фразе: «В тот год я жил на берегу Балтийского моря в старом заброшенном доме».

Мария все еще сомневалась, нисколько не прельщаясь моими обещаниями и посулами. И раз, и в другой она оглянулась на холмы и курганы, по которым бежала в сторону Феодосии извилистая тропинка, проложенная, может быть, еще Волошиным и его многочисленными гостями-поселенцами. Потом перевела взгляд на пост пограничной заставы в поселке Орджоникидзе, где в эти минуты, насколько я мог понять издалека, шла смена караула. Неведомо почему, но мне показалось, что Мария готова сейчас скорее отправиться к пограничникам, жизнь и службу которых так хорошо знает по своему знакомству и ежедневному общению с ними на Куршской косе, чем ко мне, малознакомому и давно забытому

постояльцу. И, наверное, пошла бы. Но тут вдруг меня поддержала Мальвина.

— Мама, — настойчиво, но не капризно, сказала она, — я хочу посмотреть на дом Волошина и искупаться — очень жарко.

Мария еще раз посмотрела на караульную будочку пограничников с ослепительно блестящим на солнце прожектором (можно было подумать, он зажжен и выскивает длинными цепкими лучами в море нарушителей), взглянула на удлиненно-обрывистый холм-аэродром в поселке Планерская, где в эти минуты готовился к разбегу стремительно-ширококрылый планер. И столько в этом ее взгляде было тревоги, тоски и усталости, что я невольно подумал — только позволь ей, и она сейчас, не задумываясь, улетит на серебрянокрылом, неустойчивом планере за горизонт и дальше горизонта, как уплыла когда-то, оставив меня одного на дюне, в ледяное янтарное море.

Но Мария все же преодолела себя и не стала противиться Мальвине: — Хорошо, пойдем. Только недолго.

Выстроившись гуськом, мы стали ускоренным шагом спускаться вниз, к морю и Дому творчества: Мальвина впереди, потом Мария и, замыкающим, я. Разговаривать на ходу было не очень удобно (Марии и Мальвине постоянно пришлось бы оборачиваться, а это опасно — в любой момент можно соскользнуть с тропинки и сорваться под откос), и я, отложив все разговоры на потом, когда мы расположимся на пляже или будем собирать халцедоны, лишь изучающе поглядывал на своих спутниц.

Мальвина совсем была не похожа на Марию: высокая, длинноногая, с почти еще детскими угловато-остро приподнятыми плечами, она напоминала сейчас молодую неокрепшую птицу, которая, разбежавшись с холма, через мгновение тоже взлетит вслед за матерью, но полет ее будет совсем иным: веселым, безоглядным и необдуманно высоким.

Мальвина действительно бежала по крутой тропинке, оставляя нас с Марией далеко позади. Солнце играло в ее густых, ниспадающих до самого пояса волосах — и они показались мне, как и когда-то на балтийском побережье, голубыми.

Поджидая, Мальвина иногда останавливала свой разбег, оглядываясь на нас, идущих осмотрительно и осторожно, и вот тогда, в повороте ее длинной шеи, в высоко приподнятом подбородке я узнавал черты Марии и ревновал Мальвину к матери.

Мы с Марией убыстряли и без того быстрый для нас шаг и оказывались друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Мне хотелось прикоснуться к ее плечу и шее, и я вспоминал, как хотел этого много лет тому назад, когда мы с Марией поднимались на Королевскую дюну. Но я не прикасался, вдруг почувствовав и физически ощутив в себе ту, прежнюю, робость...

* * *

Возле домика Волошина мы остановились всего лишь на несколько мгновений, решив, что посетим и осмотрим его вечером, когда немного спадет жара, а сейчас надо поскорее идти на пляж — Мальвина совсем изнемогла от зноя.

Народу на пляже было мало. Обитатели Дома творчества после сыт-

ного обеда любили поспать в прохладных домиках, чтобы вернуться к морю только в предвечерние, а то и совсем уже вечерние, почти ночные часы, когда вода будет и свежей, и теплой, словно парное молоко. Вечернее и ночное купание считалось среди писателей (и особенно среди их жен) признаком хорошего тона, и многие предпочитали его утреннему, когда и море еще холодное, и на пляже так многолюдно и суетно, что негде яблоку упасть.

Воспользовавшись этим поистине «мертвым часом», мы выбрали себе самое удобное и уединенное место под крутым обрывом, принесли туда и расположили в полукруг три дощатых лежака. Я открыл бутылку сухого белого вина, которую купил, несмотря на протесты Марии, в маленьком павильончике на самом подходе к Дому творчества. Там же я предусмотрительно приобрел пластмассовые, начавшие уже тогда входить в моду стаканчики, кружочек копченого сыра сулугуни, мягко-ноздреватую лепешку лаваша и коробку конфет — все самое богатое и дорогое, что только нашлось у бойко-расторопной продавщицы.

Раскладывая несметное это богатство на мохнатом полотенце, которое достала, смирившись с моим упрямством, из сумки и жертвенно растелила между лежаками Мария, я, с иронической улыбкой (сам не знаю, как это случилось), сказал:

— Жаль, нет угрей и перцовки.

— Жаль! — вполне серьезно ответила Мария.

Мальвина, ничего не поняв в наших подтекстах, по-молодому ухватисто и хищно разломала на три равных части сыр и лаваш и, примиряя нас с Марией, положила перед каждым его долю, словно во время поминальной трапезы.

Сравнение это пришло в голову, наверное, только мне одному, потому что и Мария, и Мальвина были настроены совсем по-иному: обе радовались южному горячему солнцу и южному морю и, без всякого сомнения, тому, что неожиданно-негаданно встретили здесь старого знакомого. По крайней мере, радовалась Мальвина, вдруг вспомнив, как она когда-то каждый вечер поднималась ко мне на мансарду, чтоб пригласить к вечернему чаю.

Мы выпили за неожиданно-случайную эту встречу, закусили лавашем и сыром. Вино было холодным и терпким, а лаваш и сыр первородно пахли молоком и дымом. Перцовку и змееподобных угрей здесь в сорокаградусный зной пить и есть было бы невозможно.

Я потянулся за бутылкой, чтоб налить по второму стакану, на ходу придумал вполне подходящий к случаю тост «за женщин и море», но Мальвина вдруг поднялась с лежака и простодушно сказала:

— Я пойду купаться, а вы оставайтесь.

— Далеко не заплывай, — по-матерински озабоченно предупредила ее Мария, но удерживать не стала.

Я вернул бутылку на прежнее место, вдруг почувствовав, что пить вино без Мальвины нам не надо. Мария молча согласилась со мной и накрыла свой стаканчик плоской серо-зеленой галькой, опять невольно напомнив мне поминальный обычай, когда в Красном углу рядом со свечой ставится прикрытый ломтиком хлеба стакан для умершего.

Чтоб поскорее избавиться от этого тягостного, бог знает почему, пришедшего в голову сравнения, я предложил Марии развернуть стеллажи к солнцу и позагорать, пока Мальвина купается. Мария без малейшего сопротивления согласилась со мной, хотя я почти был уверен, что она

тоже уйдет сейчас к морю, поднырнет под волну и уплывет за волнорез и горизонт, опять запретительно сказав мне: «А вы не смейте! Море холодное — простудитесь» или что-то в этом роде: «Море глубокое — утонете!» или «Море горячее — обожжется!» Но она не уплыла, а первой ушла к лежакам, которые я не без долгого колебания поставил совсем рядом.

Безжалостно постелив на лежаке свое светло-сиреневое удлиненное платье, которое сняла, едва придя на пляж, Мария легла на него и устало прикрыла глаза.

Тело ее было, как и прежде, налитым и натренированным, без единой морщинки, телом пловчихи и ныряльщицы.

Несколько минут я молча лежал рядом с Марией, исподтишка наблюдая за ее ровным спокойным дыханием. Оно не учащалось и не ослабевало: во время вдоха на груди из-под купальника показывалась узенькая незагорелая полоска, а во время выдоха она целомудренно исчезала. Дыхание Марии напоминало равномерный прилив и отлив морской волны, и по этому умиротворенному ритму я понял, что Мария не спит и не пытается уснуть, а просто лежит и загорает под обжигающе-жарким солнцем, действительно устав после долгой пешей дороги из Феодосии.

— Вы по-прежнему живете на Куршской косе? — нарушил я, наконец, молчание, раз она все равно не спит.

— Живем! — открыла Мария глаза и чуть повернула голову в мою сторону.

— А как оказались здесь? — не мог уже остановиться я.

Мария ответила вполне охотно, как, пожалуй, ответила бы любому иному человеку, с которым случайно познакомилась на южном пляже:

— В Феодосии живет сокурница Мальвины, вот мы и приехали. В наших песках и сырости она часто болеет бронхитом.

Теперь, когда разговор начался, мне можно было спросить Марию о дюнах (поднимается она на них или нет?), о «танцующем лесе» или о том, собирает ли она по утрам, как и прежде, янтарь. Но я почему-то напомнить ей об этом не осмелился и спросил совсем об ином:

— Баба Настя жива?

— Жива, — еще более повернув голову в мою сторону, ответила Мария.

— Она очень хорошая женщина, — вспомнил я добрым словом бабу Настю (мы с Марией вслед за Мальвиной называли ее не тетей Настей, а бабой), ее солдатскую телогрейку, беспалую руку и шрам на щеке.

— Хорошая и несчастная, — после минутного колебания сказала Мария.

— Почему несчастная? — не все понял я в ее словах, хотя еще пятнадцать лет тому назад, впервые увидев бабу Настю, сразу догадался, что она человек очень одинокий.

— Потому что... — немногословно пояснила мне Мария, — она никогда не была замужем и у нее никогда не было детей.

Я замешкался, не зная, то ли задать Марии еще одно «почему?», то ли лучше перевести разговор на что-либо иное.

Мария догадалась о моих сомнениях и сама ответила на незаданный мой вопрос:

— В войну у нее было тяжелое ранение, и она не могла иметь детей. А раз не могла иметь детей, то зачем — замуж!

Слова эти Мария произнесла с неожиданной резкостью и крепко сжала в ладони подвернувшуюся ей под руки гальку, чем выдала свое волнение, а может, и раздражение на меня за праздное любопытство.

Она опять закрыла глаза и теперь, похоже, действительно уснула. Дыхание у нее было тихим и умиротворенным, и за каждым вдохом-выдохом утишалось еще больше, и продолговатая галька скатилась на землю и через мгновение ее уже нельзя было различить среди сотен и тысяч подобных.

Я обрадовался, что Мария уснула и что мне ни о чем с ней больше не надо разговаривать. Я стал думать о бабе Насте, о ее суровом солдатском решении не выходить замуж, коль нельзя иметь детей. Счастья же лишь для самой себя баба Настя, судя по всему, не признавала.

И вдруг Мария, не открывая глаз и не поворачиваясь ко мне, на ощупь снова сжала в ладони гальку и негромко спросила меня:

— Почему вы тогда, на Королевской дюне, не признались мне в любви?

— А разве я вас любил? — тоже тихо, вполголоса, уклонился я от прямого ответа.

— Любили! — твердо, без колебания произнесла она.

Мне, наверное, надо было протянуть к ней руку, накрыть ее ладонь своей ладонью, но вместо этого я задал ей свой, давно, оказывается, мучивший меня вопрос:

— А вы почему не признались?

— Но я же вас не любила, — опять твердо и неоспоримо, ответила Мария. — А потом — я все-таки женщина.

Раскаленная галька так и осталась лежать в ее ладони. Я почти физически ощутил, как она обжигает Марии кожу, но забрать гальку так и не решился. Вернее, опоздал: Мария вдруг сама отбросила ее и завершила наш странный, в общем-то, ни к чему не обязывающий разговор.

— Вам надо было уйти тогда в море, — сказала она, — простым матросом на торговом судне или рыбаком.

— Зачем? — перебил я ее на полуслове.

— Не знаю, — пронзительно взглянула она на меня, — но надо было.

Я ожидал, что Мария сейчас не сдержится и добавит: «А вы бежали в Россию, на сушу», но она ничего больше не сказала, а лишь беспокойно посмотрела на море, отыскивая взглядом среди редких купальщиков Мальвину.

Мне предстояло что-то отвечать: оправдываться за свое юношеское бегство, но нужных, единственно верных слов не находилось — меня охватила непереносимая, почти стариковская тоска. Ведь я и на самом деле порывался когда-то уйти в море или в Куршский залив (и до сегодняшнего дня не забыл об этом) и поймать там для Марии и Мальвины такую громадную меч-рыбу, что ей позавидовал бы сам старик из хемингуэевского рассказа. Но вот же — не ушел...

В который раз в жизни меня выручила Мальвина. Она вдруг подбежала к нам вся мокрая, сияющая восторгом и радостью и закричала, показывая рукой в сторону Карадага:

— Смотрите, смотрите, там дельфины!

Мы с Марией приподнялись на локтях и действительно увидели, как при входе в бухту, возле Карадага, напоминающего голову Волошина, счастливо играют две пары дельфинов. Они, совсем как в цирке, то синхронно взлетали над водой высоко вверх, то уходили в морс-

кие пронизанные солнцем глубины, то, забавляясь, переворачивались со спины на живот и что-то говорили друг другу на своем дельфиньем языке, может быть, даже про нас, сухопутных, боящихся морской стихии людей.

— Я поплыву к ним! — загорелась Мальвина и хотела уже бежать назад к морю, но Мария на этот раз остановила ее:

— Не надо — вспугнешь!

Мальвина резко затормозила свой бег, чтоб и вправду не вспугнуть дельфинов, которые, заметив ее приближение, уплывут подальше от назойливых человеческих глаз.

Подойдя к кромке моря, мы с полчаса наблюдали за игрой дельфинов. Мальвина по-прежнему восторгалась ими, давала обещание, что в следующий раз обязательно поплывет к ним и заведет человечье-дельфинью дружбу. А мы с Марией следили за ними молча, не проронив ни единого слова, как будто были на них за что-то обижены. Но вот дельфины, должно быть, утомленные игрой: прыжками, кувырканьем и разговорами, вынырнули в последний раз и, к огорчению Мальвины, исчезли за поворотом скалы.

Сглаживая ее огорчение, я увлек Мальвину собирать сердолики и агаты, втайне надеясь, что и Мария последует за нами, и мы с ней обязательно вспомним, как собирали холодно-чистый янтарь на побережье Куршской косы. Но она вслед за нами не пошла, а так и осталась стоять у кромки моря, отрешенно глядя вслед уплывающим дельфинам.

Нам с Мальвиной повезло. Едва мы сделали несколько шагов в сторону Карадага, как обнаружили маленький светло-синий сердолик. Он мгновенно высох на ладони у Мальвины, и она с детским удивлением сказала о нем:

— Какой теплый!

Ободренные удачей, мы, как истинные кладоискатели, стали еще зорче вглядываться в россыпь мелкой прибрежной гальки, загадывая отыскать камушек покрупнее, с каким-нибудь необычным рисунком-начертанием или напоминающими созвездия крапинками, или с разводами, которые часто встречаются на голубовато-серых агатах. Но нам долго ничего не попадалось, и я, чувствуя перед Мальвиной за это невольную вину (все-таки проводником и главным старателем был я), принялся расспрашивать свою спутницу и ученицу о ее жизни и учебе. Правда, я никак не мог привыкнуть, что Мальвина уже взрослая серьезная студентка и разговаривал с ней чуть-чуть снисходительно, словно она навсегда осталась той маленькой девочкой, которую я знал.

— Ты на кого учишься? — не в силах преодолеть в себе этого предвзятого чувства, спросил я.

— На путешественника! — и действительно, будто малый ребенок, ответила Мальвина.

— Как это? — удивился я.

— Очень просто, — улыбнулась она. — Я изучаю биологию и географию, но хочу быть путешественником. Я однажды уже путешествовала.

— Куда? — поддержал я в ней жажду детства и законную гордость.

— В Африку, — нескрываясь гордясь своим поступком, ответила Мальвина. — На нашем калининградском научно-исследовательском судне. А теперь хочу поехать на Алтай и, если отпустит мама, еще дальше — в Беловодье и на Тибет.

«А не боишься?» — опять, как взрослый у ребенка, вознамерился я спросить будущую покорительницу Алтая и Тибета, но меня опередила Мария.

— Мальвина! — точно так же громко и требовательно, как и много лет тому назад в сумерках прибалтийского вечера, позвала она слишком задержавшуюся у моря дочь. — Нам пора домой!

Ослушаться Марию мы с Мальвиной не посмели и поспешили на ее зов.

Пока мы с Мальвиной шли, Мария успела одеться и ждала нас возле решетчатой калитки, ведущей на территорию Дома творчества.

— А мастерские?! А книга?! А домик Волошина?! — неожиданно показала строптивый свой нрав Мальвина.

Мария посмотрела на солнце, начавшее клониться к морскому горизонту и закату, и попробовала отговорить ее от обещанной экскурсии:

— Поздно уже.

— Ничего не поздно, — не поддалась матери Мальвина. — Мы уплывем отсюда последним пароходом.

Насчет парохода она ничего не выдумывала: от причала, расположенного сразу за павильончиком, где мы покупали вино, несколько раз в день ходил до Феодосии маленький прогулочный катер. Судя по всему, Мальвина, как истинная путешественница, заметила углый этот кораблик и теперь очень даже кстати вспомнила о нем.

Мария, несколько мгновений поколебавшись, все-таки уступила Мальвине, хотя и чувствовалось, что она устала и от непривычной для нее жары, и от слишком теплого моря, и от этого совсем ненужного ей похода на писательский, похожий на резервацию, пляж.

— Ладно, — примиряясь со своей участью, сказала она, — ведите...

И мы с Мальвиной повели Марию через всю территорию Дома творчества, единственного благоухающего зеленого островка на всем побережье от скал Карадага до холма Кучук-Енишара и взлетной полосы планеров. Вернее, на правах хозяина, вел один я, но Мальвина, как соучастница нашего с ней заговора, быстро освоилась на широкой затененной деревьями аллее и шла так уверенно, как будто бывала здесь, в Коктебеле, уже десятки раз.

В мастерской мы показали найденные нами камешки ювелиру и чеканщику, очень расторопному и, сразу было видно, хитроватому, дочерна загоревшему мужчине лет пятидесяти. Оглядев наши находки и простым глазом, и под лупу, он сказал, что, конечно, можно из них сделать маленькие перстеньки, но лучше купить уже готовые. Мальвина поначалу не соглашалась с ним, а потом вдруг загорелась и стала выбирать себе перстенок из тех, что были выставлены на витрине и из тех, которые целой россыпью выметнул перед ней предприимчивый мастер. Мальвина поочередно примеряла их на пальчик, любовалась и не знала, на каком остановиться. Я, как мог, помогал привередливой покупательнице, побуждая примерить еще и кулон или ожерелье, которых тоже было на витрине вдоволь и которые я решил, во что бы то ни стало, подарить Мальвине. Поддаваясь моей подсказке и понуждению, она зачарованно примеряла их и тоже не знала, какой из них самый лучший.

А Мария в нашем выборе никакого участия не принимала. Она незаметно стояла возле двери, словно совершенно случайно, по ошибке, зашла сюда и сейчас же, немедленно, уйдет.

И вправду ушла бы из прохладной спасительной мастерской под лучи закатного, но все равно еще нещадно, знойно палящего солнца. Я вознамерился и ей сделать подарок и едва ли не насильно подтолкнул к витрине:

— Выбирайте!

— Спасибо, — поняла она мои намерения, но устояла и к витрине не подошла: — Я не люблю украшений.

— Мама говорит правду, — видя мое огорчение, сказала Мальвина, — она ничего такого не любит.

Сама же Мальвина подарок от меня приняла. Она, наконец, выбрала продолговатый сиренево-голубой перстенок и точно такое же ожерелье с крупным кулоном посередине. Украшения эти очень шли ей: к ее удлиненной руке (удлиняя ее еще больше), к ее загорелой шее и пышным, вольно разметавшимся по плечам волосам...

* * *

По дороге назад мы ненадолго зашли в мой дощатый холостяцкий домик, и я выложил перед гостями свои книги (роман и одну новую, недавно только вышедшую), которые захватил с собой в Дом творчества, чтоб подарить их какому-нибудь знакомому писателю, оказавшемуся в одном «заезде» со мной. Роман Мария сразу отвергла, отодвинула в сторону, сказав, что он у них есть в библиотеке (в библиотеке, а не у нее дома, что меня, конечно, огорчило), и выбрала книгу повестей и рассказов. А Мальвина безоговорочно взяла роман:

— Он мне нравится! — с чрезмерным восторгом сказала она, как будто хотела загладить вину матери.

Пока я мучился над автографами (я в этом жанре не очень большой мастер), Мальвина подошла к зеркалу и принялась любоваться моим подарком: ожерельем на шее и перстеньком на пальце. Она подносила пальчик к ожерелью, задерживала перстенок возле кулона, придирчиво проверяя, подходят ли они друг другу. По ее весело играющим глазам было видно, что она проверкой этой довольна и вообще довольна всем на свете.

Мария тоже и раз, и в другой посмотрела на Мальвину, на ее отражение в зазеркалье, задержала поочередно взгляд на перстеньке и ожерелье (все-таки она обманула меня, и, как всякая женщина, была неравнодушна к украшениям, но только почему-то, по какому-то обету не носила их). Я собрался спросить, довольна ли она выбором Мальвины, но вдруг меня охватила тревога. Мне показалось, что Мария вспомнит сейчас о янтаре с застывшей в нем мушкой, который когда-то подарила мне на счастье, — храню я его или нет?

Долгие годы я действительно бережно этот камушек хранил. Он всегда лежал на моем письменном столе и, как и предсказывала Мария, приносил счастье. А потом вдруг куда-то заделался. И, несомненно, по моей вине. Для лучшей сохранности я переложил его со стола в какое-то иное, более надежное место, и тут же запамятовал — в какое. Спыхватившись, пытался искать камушек, досадовал на себя, но с годами досада эта постепенно затихла, и я перестал тревожиться о его исчезновении. Оно и вправду, чего мне было о нем тревожиться. Жизнь моя и без янтарного талисмана складывалась как нельзя лучше. Все у меня было: любимая работа, почти что литературная слава, любимая и любя-

щая жена, любимые дети — что еще нужно человеку для полного счастья?!

Если Мария спросит, как отвечать? Сказать, что храню, будет неправдой. Сказать, что потерял, будет для нее горькой обидой и огорчением.

Но Мария ни о чем меня не спросила. Скорее всего, тоже запомнила о давнем своем подарке и пророчествах.

Она спрятала книги в пляжную сумку и, взглянув на часы, поторопила Мальвину, которая продолжала любоваться перед зеркалом и подарками, и собой.

— Пошли! Друзья твои в Феодосии будут волноваться.

— Ничего, пусть поволнуются, — беспечно сказала Мальвина, но матери подчинилась и не пошла, а величественно-гордо понесла себя на выход, повзрослевшая, выросшая девочка с голубыми волосами. И в эти мгновения она удивительно была похожа на Марию, на Аве Марию, такая же загадочная и непредсказуемая...

* * *

Возле дома Волошина мы задержались тоже всего минут на десять-пятнадцать, обнаружив, что на причале уже полным ходом идет посадка на последний вечерний катер. Но Мальвина все равно успела пробраться за ограду волошинского дома и проникнуть по крутой лесенке на шаткий балкон, опоясывающий почти по всей окружности второй этаж. Оттуда она победно помахала нам с Марией рукой, и в эти мгновения была удивительно похожа уже не на мать, а на одну из знакомых Волошина, обитавших в этом доме полвека тому назад.

Когда же она спустилась к нам, то, уподобясь знакомой Волошина из двадцатых годов, мечтательно сказала:

— Я хочу пожить здесь.

— А разве у нас хуже?! — не смогла скрыть своей обиды и тревоги Мария.

— У нас лучше, — успокоила ее Мальвина, но минуту спустя ласково погладила ладонью ограду и добавила: — Только у нас нет ни дельфинов, ни планеров...

— Нет! — не очень сентиментально ответила Мария и пошла к пароходу, который уже подавал сигнальные гудки.

Мы едва-едва успели на него. Прощаясь, Мальвина обняла и поцеловала меня, еще раз поблагодарила за подарки, Мария же не обняла и не поцеловала. Она лишь уже возле самого трапа неожиданно задержалась и спросила меня:

— А ваш могильный курган в деревне цел?

— Увы, нет, — ответил я. — Его разобрали на песок, когда строили шоссеюную дорогу.

— Вот видите, — с упреком произнесла Мария, и это были последние слова, которые я от нее услышал.

В следующее мгновение Мария быстро поднялась по трапу и невидимо смешалась с толпой.

А Мальвина до самого отплытия катера стояла на верхней палубе, возле капитанской рубки, махала рукой и, стараясь пересилить пронзительные гудки уже окутанного вечерними сумерками и маревом опасного суденышка, кричала мне:

— Мы еще приедем! Мы обязательно приедем!

Но они больше так и не приехали.

Первые два-три дня я, по правде говоря, не очень их и ожидал. У Марии и Мальвины ведь там, в Феодосии, какая-то своя жизнь, обязательства перед друзьями Мальвины, которые могут и обидеться, если гости-постояльцы, оставив их, зачастую ездят неведомо зачем в Коктебель.

Я за эти дни постепенно втянулся в обычный для большинства отдыхающих писателей ритм существования: с утра два-три часа писал новый, задуманный мною еще дома рассказ, потом шел на пляж, купался, загорал, вел затяжные беседы с многоумными своими собратьями по перу и еще с более многоумными их женами. После обеда безмятежно спал или бродил по окрестностям Коктебеля. Однажды даже съездил в Старый Крым, в дом-музей Александра Грина.

Но на четвертый день я не на шутку начал беспокоиться и томиться ожиданием. Сразу после завтрака, не прикасаясь к своим сочинениям, пошел на холм Кучук-Енишар, к могилам Волошина и его жены, почему-то совершенно уверенный, что Мария и Мальвина уже там. Но их не было ни на холме, ни на диком пляже возле поселка Орджоникидзе и пограничной заставы. Я совсем затосковал и, вернувшись в Дом творчества, весь остаток дня провел на пристани, встречая и провожая каждый феодосийский катер. Но Мария с Мальвиной и на катере ко мне не приплыли.

С этого дня весь отдых мой и работа разрушились. Я был занят лишь ожиданием Марии с Мальвиной. Утром просыпался с одной и той же мыслью, что уж сегодня они непременно приедут; вечером, иногда еще засветло, ложился спать и утешал себя: не приехали сегодня, так обязательно приедут завтра — ведь обещали приехать и не могут не сдержать своего обещания...

Правда, в тревоге ожидания я забывал, что обещала приехать одна лишь Мальвина, а Мария ничего не обещала, спросила только меня зачем-то о деревенском могильном кургане и невидимо затерялась в толпе.

Совсем отчаявшись, я сам два или три дня подряд плавал на катере в Феодосию, бродил там по всем пляжам, заглядывал в картинную галерею Айвазовского, на вокзал и на пристань, надеясь где-нибудь все же встретить Марию с Мальвиной.

Но потом вдруг спохватился и ездить перестал. Ведь вполне могло случиться, что как раз в тот день, когда я искал Марию с Мальвиной в Феодосии, они ездили ко мне, в Коктебель, и вот по моей же неосмотрительности и вине мы разминулись...

Срок моего проживания в Доме творчества между тем подошел к концу. В последний день я сходил на холм Кучук-Енишар, попрощался с могилами Волошина и Марии Степановны (тоже давно и неизменно заведенный в Доме творчества ритуал), искупался в вечернем засыпающем море, понаблюдал за дельфинами, опять устроившими свои показательные игры при входе в бухту, а рано утром, ни свет ни заря, уехал рейсовым автобусом в Симферополь, чтоб улететь оттуда в родной свой город...

Дома же меня сверх всякой меры заполонили дела и заботы, мелкие и рутинные: ремонт квартиры, переговоры с издательством о но-

вой книге, какие-то ненужные собрания и совещания в Союзе писателей. Занятый ими, я все реже и реже вспоминал о Марии с Мальвиной, о случайной нашей встрече с ними в Крыму, а потом и вовсе забыл о них...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Жить в забвении и забвении мне было легко и спокойно: ничто не тревожило и не отвлекало от работы. Но вот однажды в Москве на Старом Арбате я лицом к лицу столкнулся с Мальвиной. Она первой узнала меня и окликнула, а я, поди, и проследовал бы мимо — так Мальвина повзрослела и переменялась. Во время последнего нашего свидания в Коктебеле она была в общем-то еще угловатой девчонкой-подростком, а теперь превратилась в двадцатипятилетнюю зрелую женщину. От прежней, озорной и не всегда послушной, Мальвины остались, пожалуй, лишь одни ниспадающие до плеч чуточку голубоватые волосы. Впрочем, мне могло так просто показаться при свете ярко вспыхнувшей вдруг неоновыми огнями витрины, возле которой мы остановились.

— Какими судьбами в Москве? — искренне обрадовался я встрече с Мальвиной.

— Учусь в аспирантуре, — тоже нескрываяемо обрадовалась она моему появлению.

Мы зашли в первое попавшееся кафе, заняли маленький, всего на двоих, столик в уголке возле окошка, заказали вино, кофе, какие-то изысканные закуски (Мальвина обнаружила в этом большие познания) и начали на радостях пировать.

— Ну, как ты, побывала на Алтае и в Гималаях? — принялся я выяснять ее.

— Побывала! — немного с вызовом, как в давние годы, ответила Мальвина.

— И страну счастья — Шамбалу — нашла?

— Почти, — сказала она, но уже почему-то без прежнего вызова.

— Замужем? — решил я переменить тему разговора.

— Тоже почти, — уходя от прямого ответа, усмехнулась Мальвина.

Я минуту помедлил, а потом спросил о том, о чем надо было, конечно, спросить в первую очередь:

— Как мама?

Мальвина ответила не сразу. Она достала из сумки сигареты, красиво и опытно закурила, откинув далеко на отлет длинную загорелую руку, долго держала дым в груди, а когда, наконец, выдохнула его, то посмотрела на меня по-детски большими, но напряженно суженными глазами:

— Мамы уже три года нет в живых.

— Как нет в живых?! — не смог сдержать я невольного вскрика.

— Она утонула, — еще сильнее сузились ее глаза.

— Но мама же так хорошо плавала! — вспомнил я наш с Марией поход на Королевскую дюну, когда она, поднырнув под штормовую волну, уплыла от меня почти за горизонт.

— Плавала... — не стала спорить со мной Мальвина.

Она перевела взгляд в окошко, на шумную староарбатскую толпу, на каких-то иностранных развязных туристов, как раз остановившихся воз-

ле кафе, потом, как бы случайно обнаружив меня и удивившись этому, сказала вполголоса еще несколько почти бессвязных слов:

— Мама собирала на побережье янтарь, ее накрыло штормовой волной, и она не смогла выплыть.

Мальвина сделала небольшой глоток вина, поправила разметавшиеся волосы и вдруг как бы сама для себя произнесла:

— А может, не захотела выплыть...

— Но почему?! — изумился я жестокой ее догадке.

— Это знала только одна она, — опять не столько для меня, сколько для самой себя проговорила Мальвина.

В моей памяти всколыхнулось все, что связывало меня с Марией от первого дня нашего знакомства и до последних минут расставания на причале в Коктебеле, и я не поверил повзрослевшей ее дочери. Не было у Марии никаких причин, чтоб не выплыть. Просто произошел несчастный случай, что на море, увы, происходит часто. Я хотел сказать об этом Мальвине, но сказал все-таки совсем иное:

— Мама была очень странным человеком.

— Станным, — с неожиданно прорезавшимся серебряно-звонким переливом в голосе проговорила она. — Станным и несчастливым.

— Почему несчастливым? — заступился я за Марию.

— Потому, что одиноким, как баба Настя, — отвергла мое заступничество Мальвина.

— Но у нее же были вы!

— Была! — с трудом сдержала слезы Мальвина. — Но, может, лучше бы меня не было вовсе...

Что скрывалось за этими ее несправедливыми словами, я разгадать не мог, но что-то же скрывалось, одинаково роковое и для Марии, и для Мальвины, и, возможно, для меня. Угнетенный и потерянный, я сидел тихо, безотрывно смотрел на взрослую дочь Марии и чувствовал себя гораздо моложе ее по летам. Она пережила самое тяжелое в своей жизни горе три года тому назад, а я переживал свое только сейчас, у нее на глазах.

Мальвина слезы сдержала и, успокаивая меня, заговорила о матери чуть отстраненно, как обычно говорят лишь о живых людях, с которыми расстались хотя и надолго, но не навсегда:

— Мама была не от мира сего. Такие люди долго не живут. Она это чувствовала.

— А ваш папа? — задал я Мальвине, наверное, самый мучительный для нее вопрос, который когда-то не посмел задать Марии.

— Что папа! — закурила новую сигарету Мальвина. — В детстве, когда я спрашивала о нем маму, она неизменно отвечала: «Папа ушел в море, но скоро вернется». Я верила и очень ждала его. В пятнадцать лет спросила еще раз, и мама ответила то же самое: «Папа ушел в море, но обязательно вернется». Больше о нем я не спрашивала.

Мальвина отогнала рукой в сторону окошка дым, и я заметил, как две крошечные слезинки повисли у нее на длинных густых ресницах. Ну, что мне стоило в эти мгновения сказать ей: «Вот я и вернулся!». Она бы поверила мне больше, чем верила когда-то матери. Мы обнялись бы с ней, прильнули друг к другу, родные по крови и духу люди, и уже никогда бы не расставались. Но я не посмел обмануть Мальвину, когда-то совсем маленькую, а теперь стремительно выросшую девочку из детской забытой сказки. Я лишь осторожно прикоснулся к ее плечу (плечу Марии) ладо-

нюю. Она горячую мою ладонь не отстранила, прижалась к ней и вдруг, смахивая с ресниц слезинки, сказала:

— Я отыскала своих дедушку и бабушку.

— Они живы?! — обрадовался я за Мальвину так, как обрадовался бы, узнай, что жив, отыскался мой отец.

— Нет, они погибли, — безжалостно разрушила она преждевременные мои надежды. — Но не на войне...

— А где же?! — удивился я.

— В лагере! — чуть помолчав, ответила Мальвина.

— В нашем или в немецком? — переспросил я (тогда уже можно было об этом спрашивать).

— В нашем, — не утаила от меня правды Мальвина. — Их обвинили в измене Родине.

— Мама об этом знала?

— Думаю, знала, — глубоко вздохнула Мальвина. — Но, жалея и охраняя меня, скрывала, хотя они были реабилитированы.

Мне захотелось еще раз прикоснуться к плечу Мальвины, сильному, упругому плечу пловчихи и путешественницы, но Мальвина вдруг посмотрела на часы и заторопилась:

— Я должна уходить.

— Свидание?! — тоже почти сквозь слезы постарался улыбнуться я.

— Что-то вроде этого, — в тон мне ответила Мальвина, спрятала в сумочку сигареты, оглядела себя в маленькое зеркальце и встала из-за стола.

Я проводил ее до станции метро «Арбатская». По дороге, в сутолоке Старого Арбата и подземных переходов мы о чем-то с ней еще разговаривали (о чем, сейчас совершенно не помню, кажется, о ее учебе, о будущих путешествиях: я праздно спрашивал, Мальвина наугад отвечала). У входа в метро мы расстались, забыв даже обменяться адресами или хотя бы телефонами: людской поток затянул Мальвину в свой пугающий водоворот, а я остался у входа и вскоре потерял ее из виду...

* * *

Опять в моей жизни побежали дни за днями, иногда наполненные призрачными делами и событиями, а иногда так и совсем пустые и бесполезные, как, увы, это постоянно случается в старости. О Марии и Мальвине я поначалу часто вспоминал. О Мальвине даже чаще, чем о Марии, которую теперь, сколько ни терзай себя, не вернешь, как не вернешь свою прожитую жизнь. А увидеть Мальвину мне хотелось. Несколько раз я порывался съездить в Москву и отыскать ее, хотя и не знал, где она учится в аспирантуре: в МГУ или в каком-либо ином, специальном географическом вузе. Мечтал я съездить и в бывшую Восточную Пруссию, в Калининград, в городок, где я служил в армии (впрочем, ракетных войск стратегического назначения сейчас в Калининградской области, насколько я знаю, нет, и мою часть давным-давно расформировали), потом в Зеленоградск-Кранц и на Куршскую косу, где, может быть, еще жива баба Настя.

Но порывам моим так и не суждено было осуществиться. Мальвина, скорее всего, в каком-нибудь новом путешествии: на Тибете (ищет неизведанную страну счастья — Шамбалу), в африканской пустыне или в безводных степях Китая и Монголии. Она ведь тоже не

совсем земная, не с нашей планеты девочка-женщина, хотя, может быть, и сама об этом пока не догадывается. А на Куршскую косу сейчас просто так не попадешь, нужно добывать специальные разрешения, на что у меня нет уже никаких сил, да и баба Настя вряд ли жива (ей должно быть за девяносто, а до такого возраста редко кто из фронтовиков доживает).

И вдруг мне стали сниться холодное Балтийское море, Куршская коса, песчаные ее дюны, «танцующий» лес и маленький кирпичный домик с островерхой крышей и мансардой, который просто каким-то чудом удерживается на краю морского обрыва.

В глухую осеннюю полночь я отчетливо слышу, как на Королевской дюне поют, плачут и вызванивают, будто церковные колокольцы, пески. Не просыпаясь, я напрягаю слух, и мне кажется, что еще совсем немного, еще чуть-чуть, и я обязательно пойму, о чем же так тоскливо поют, звонят и плачут под напором ветра эти никем не разгаданные пески...





РАБОТНИК

Повесть

*Памяти
Евгения Ивановича Носова*

Жаловаться на жизнь старому Никите Ивановичу вроде бы не приходится. Живет он у старшего своего сына Василия (младшие дети — Иван и Даша — обосновались по большим городам, в отдалении) в полном обеспечении и достатке. Одет, обут, накормлен-напоен — а что еще в преклонном таком возрасте (Никите Ивановичу без двух девяносто) человеку надо.

Конечно, пока была жива жена Никиты Ивановича, Дарья Михайловна, Даша, он отрадней себя чувствовал и уютней, тут и говорить нечего. Они с Дарьей Михайловной за столько лет совместного проживания сроднились в одно-единое: всюду рядышком, всюду вместе от самой войны. Но Дарья Михайловна поторопилась, ушла на покой раньше Никиты Ивановича, хотя и моложе его на целых пять лет. Теперь Никита Иванович — один.

Каждое утро, едва вскинется заря, он выходит на улицу, садится на лавочку возле забора и начинает коротать день. А он тянется, будто год: солнце зависнет над березняком и пойменным лугом и ни с места, хоть оглоблей-шестом его подталкивай, сияет, горячится и, кажется, вовсе не намерено клониться к полудню, а потом к вечеру и к ночи.

Но это бы ладно, это бы можно и вытерпеть, конец дню все равно будет, солнце истомится и на покой уйдет. Главная же беда для Никиты Ивановича, что не может он уже по слабости сил своего здоровья работать: ни пахать, ни сеять, ни косить, ни рубить дрова. А охота, так охота, что иной раз нету никакого терпения и мочи. Все бы, кажется, сделал, горы бы каменные своротил, а сил совершенно не в достатке, до лавочки без подмоги и то не всегда добредает.

Вот и нынче невестка Наташа сопровождала Никиту Ивановича за калитку, приладила к забору, поставила рядышком черепяную миску с его любимыми крахмальными блинчиками и литровый кувшинчик утреннего теплого еще молока.

— Поешьте, когда захочется, — ласково наказала она ему. — Не сидите голодным.

— Ладно, поем, — пообещал Наташе Никита Иванович, чтоб не огорчать ее, хотя на самом деле ничего ему есть не хотелось. Еда — она работника любит, трударя, а такому бездельнику, каким стал теперь Никита Иванович, никакая кормежка не впрок.

Невестка, Наташа, у Никиты Ивановича золотая. Никогда грубого слова не скажет, не попрекнет, а чтоб уж поперек идти, так этого с самого первого дня не случалось. Она и с покойной Дарьей Михайловной такая была, и с Василием, все — Вася да Вася. Поэтому и живут они с ним в хорошем семейном ладу, Никиту Ивановича немощного и хворого доглядывают.

— И молока попейте, — повторно наказала ему Наташа. — Я только сейчас Зорянку подоила.

— Попью и молока, — дал обещание ей и насчет питья Никита Иванович.

Но, по правде говоря, и молока ему пока неохота. Жажда, она тоже от работы приходит. Когда хорошенько наморишься, изойдешь потом — вот тут и молоко, и холодный погребной квас, и колодезная родниковая вода в самый раз. А прозябая на лавочке возле забора, ни о чем таком и думать не хочется.

Минут через десять-пятнадцать после Наташи заглянул к Никите Ивановичу и Василий. Он мужик тоже уже в годах, третье лето как на пенсии, но, слава Богу, еще при силе и при здоровье, работает, ломит за троих, как прежде ломил и сам Никита Иванович, иначе откуда бы в их доме взялись крестьянскому благополучию.

— Ну, как ты тут? — остановился Василий в двух шагах от лавочки.

— Сижу, — не очень весело ответил Никита Иванович. — Что со мной делается?

Василий подровнял на лавочке кувшин-кринку, чтобы он был под рукой у Никиты Ивановича, а потом вдруг сообщил:

— Мы с Наташей в город собрались съездить, к Сергею (Сергей — это сын Василия с Наташей и внук Никиты Ивановича, он с семьей в районе живет, за пятнадцать километров). — Ты потерпишь до вечера?

— Потерплю, чего ж не потерпеть, — как бы даже и обиделся на Василия Никита Иванович — первый раз они, что ли, путешествуют к Сергею, оставляя его на хозяйстве. — Не дите малое — езжайте.

Василий обиды его то ли не заметил, то ли оставил ее без всякого внимания: старый, что малый, за всеми капризами их не уследишь.

— Калитку на щеколду мы запирачь не будем, — предупредил он на прощание Никиту Ивановича. — Зорянка сама ее откроет.

— Не запирайте, — смирился и с этим Никита Иванович, хотя уж что-то, а калитку, когда Зорянка придет с пастбища, он мог бы и открыть — до нее от лавочки и идти-то всего три шага.

Но полного доверия и в этом к Никите Ивановичу нету. Вдруг запямятует или, пока добредет до ворот-калитки, Зорянка вся нетерпением изойдется — ей ведь первым делом после пастбища воды охота попить из бочки, что стоит возле сарая. А если же калитка на щеколду не заперта, то Зорянка толкнет ее рогами (приучена уже к тому) и вся недолга — вот он, водопой.

Пока Василий переговаривался с Никитой Ивановичем, давая ему наставления (теперь хозяин в доме он — чего там говорить), Наташа появилась на крылечке вся принаряженная, праздничная, с двумя увесистыми сумками в руках — деревенские подарки внукам-правнукам.

Василий тут же выгнал из гаража машину-«жигуленка» и причалил к крылечку, прямо к ногам Наташи, чтоб она лишнего шага с поклажей не сделала. Это Никита Иванович одобряет: такую жену, как Наташа, на руках надо носить, а не то что в «Жигулях» катать. Никита Иванович, бывало, тоже, когда собирался с Дарьей Михайловной в город на базар-ярмарку ехать, так подводу (машин в те годы ни у кого и в помине не значилось), непременно к крылечку причаливал. В кузовок загодя травы положит или свежей соломы-обмялицы, половичком ее сверху прикроет, чтоб Дарье Михайловне сидеть было мягко и нетряско. Она того не меньше Наташи заслуживала — жена и подруга Никите Ивановичу была верная, только тем за всю жизнь и огорчила, что умерла раньше положенного срока.

Василий и Наташа в четыре руки быстро погрузили в багажник сумки и еще отдельно, в кузовках и корзинах, яблоки-житницу и раннего созревания сливы — вот уж подарок внукам-правнукам, так подарок.

Перед отбытием Наташа в последний раз попытала Никиту Ивановича:

— Вам ничего не надо?

— Да не надо, не надо, — поторопил он ее. — Езжайте с Богом.

Машину Василий с места тронул плавно (так и Никита Иванович подводу когда-то трогал), чтоб Наташу не побеспокоить, не огорчить резким толчком в самом начале движения. Никита Иванович проводил машину взглядом до поворота (не едет, а будто лебедь по волнам плывет — вот какой Василий мастер-шофер, механизатор широкого профиля), потом укрепился головой-подбородком на палке-кривульке, без которой теперь ни единого шага сделать не может, и не то задремал, не то провалился в стариковское усталое забвение.

Пребывал он в том забвении, может, минут пять-десять, а может, и час-полтора (течение времени Никита Иванович теперь иной раз определяет с трудом), а потом вдруг пробудился, словно что-то толкнуло его изнутри, огляделся вокруг и опять затосковал-закручинился по крестьянской неотложной работе. Дома ее, поди, непечатый край, а он от немоги своей сиднем сидит на лавочке, себе и людям в укор. Лучше уж умереть: тогда все понятно и простительно — мертвому какой укор и понукание. А пока жив, надо работать, трудиться, потому как жизнь человеческая, если отбросить все лишнее и постороннее — есть работа.

Никита Иванович себя с самых малых, считай, что еще и младенческих лет только в работе и помнит. Выбежал он однажды во двор, чтоб песчаную горку-крепость соорудить или зазевавшегося какого мотылька-бабочку картузом поймать, а отец (после на войне он без вести пропал в самом начале ее, осенью сорок первого года) в повети двуручной пилою дрова на козлах пилит. Никита мальчонка-мальчонкой, а сообразил, что коль пила двуручная, то ею и пилить надо вдвоем. Он оставил мотылька-бабочку в покое, подошел к отцу и попросил:

— Можно и я?!

— Давай, — улыбнулся отец, радуясь неожиданному такому помощнику.

Никита взялся за ручку двумя ладошками, и начали они пилить с отцом бревно в паре. Помощь не помощь, а все ж таки пила в прорези ровней идет, не вихляет со стороны в сторону. Вот с того дня и часа Никита Иванович и сознает свою жизнь, будто именно тогда и родился, а до этого — все, как в тумане.

Или вот еще. Едут они с отцом в лес по дрова. Два младших брата — погодки, Степан и Ваня (на войне тоже оба погибли, а уж ребята были не чета Никите Ивановичу: один танкист, другой — моряк, он же всего лишь пехотинец и сапер-плотник) дома, при матери, им пока в лес рано. А Никите уже и вовремя — восьмой год идет. Отец доверяет ему вожжи, а сам сидит рядышком на грядущке, покуривает. Никита правит буланым коньком с полной отвагой и умением (куда твой мужичок-с-ноготок), зазря, без необходимости за ременные вожжи не дергает, кнутом-пугой не замахивается, но и чрезмерной воли и своенравия буланому коньку не дает.

Разговор у них с отцом идет самый серьезный и рассудительный: куда лучше ехать за дровами — в урочище Смолярну или в Малые горы.

Отец склоняется в Малые горы: там по болотинам-низинкам чаще попадают сосны-сухостоины, которые можно пилить безбоязненно — ни лесник, ни лесничий за них ругаться не будут. А живую сосну, Боже тебя упаси, трогать не смей. Это дело предосудительное и незаконное.

Никита же заманивает отца на Смолярну, где в березовом молодом перелеске можно вырезать гибкое удилице. Доказательство, конечно, веское, но отец все-таки настаивает на своем, и первую ходку они делают в Малые горы. И не ошибаются: сухостоины там действительно попадают часто — успевай только оглядываться.

Работают они с отцом опять в паре, рука об руку. Вместе сваливают сухостоину, вместе обрубаят сучья (отец специально отковал для Никиты в кузнице маленький заданной топорик), вместе кряжуют. Потом укладывают бревна на телеге, туго, внакрут, увязывают конопляной веревкой и отправляются в обратный путь, домой, где их ждут не дожидаясь мать и два брата.

И как хорошо им в эту минуту: отцу с сыном, уже настоящим помощником и наследником в мужской работе, и сыну с отцом-родителем, строгим, но во всем справедливым наставником и поучителем...

Или вот еще, к примеру, — пахота. Земля пробуждается к новой жизни и плодородию, уже вся в первой зелени по межам и палисадникам: густо-зеленой крапиве, чистотеле, в желто-горячих одуванчиках-кульбабах; сады в первом цветении и кипени, роятся пчелами и шмелями; в небе вьются жаворонки и ласточки; река за огородами в широком, неоглядном разливе — весна, жизнь...

Отец прокладывает на пароконном плуге начальную борозду, а потом доверяет упряжку Никите (ему уже лет десять), подсобляя лишь на разворотах, где Никита сам занести, забросить плуг в новую борозду пока еще не в силах. Во всем же остальном он доподлинный оратай. Борозду ведет ровненько, словно по нитке и шнуру, кнутовищем вовремя выталкивает из-под ножа и лемеха застрявшую там стерню, на ручки плуга чрезмерно не налегает, держит легонько, необременительно, как научает отец. От весеннего земляного запаха голова у Никиты чуточку кружится и будто хмелеет...

Или вот наступает время сенокоса. Отец с Никитой косят в две косы: отец взрослой косою-«девяткой», а Никита пока лишь скосочком-«семеркою». (Позже, перед самой войной, когда Степан и Ваня подрастут и войдут в юношескую силу, они будут косить в четыре косы, вот уж косовица, так косовица, раззудись, плечо, размахнись, рука — все соседи станут нескрывая завидовать им: еще бы — отец и три сына-богатыря, не в каждом подворье, не в каждом семействе подобная артель и удаль). Но

от отца не отстают ни на шаг, тянут свой прокос-ручку с ним наравне, хотя отец, может, и намеренно ради Никиты чуть попрдерживает себя в рвении.

Косят они на ранней заре, пока свежо и росно: известное дело — коси, коса, пока роса, роса — долой, коса — домой. Трава на их наделе густая и сочная (овсяница, гусятник, молодая осока под лозовыми кустами близ болотца-заводи), кажется, сама ложится в высокие валки, заманивает, поторапливает косарей.

Часов в десять-одиннадцать мать с братьями переправляются на лодке через реку — везут работникам ранний обед в горшочках, кувшинах и мисках.

Всем семейством они располагаются в тени за кустами и устраивают луговую совместную трапезу.

После обеда-трапезы Никита с отцом позволяют себе небольшой отдых. Вернее, отдыхает, лежит-нежится на расстеленной матерью попоне один Никита, а отец поправляет, отбивает косы в стороне на ольховом пенке — в том и весь его отдых.

Когда мать с братьями, которые не столько обедали, сколько бегали по лугу наперегонки, прятались, скрывались друг от друга в лозовых кустах, ловили картузами и детскими своими ладошками проворных кузнечиков, уплывают домой, Никита с отцом еще косят часа два, до знойного высокого полудня.

Косьба, косовица из всех крестьянских работ особенно нравилась Никите. С каждым годом он все больше чувствовал и замечал, как во время сенной страды тело у него взрослеет, наливается мужской крепкой силой, как он из мальчишки-подростка превращается в мужчину, в полноценного работника-земледелца.

Дня через три-четыре Никита с матерью и братьями ворочает, ворошит на лугу валки-покосы. Это работа женская, подростковая и даже детская. Отец в ней редко когда участвует — у него свои заботы: надо поправить заборы, плетни, порушенную ветром-ураганом соломенную крышу, связать на заказ рамы, наборные двери или смастерить для какого-нибудь малыша-младенца табурет-стоячечку (отец первый в селе столяр и плотник). Отрывается он от топора-рубанка лишь в особо чистый и ведренный день, когда подходит пора метать стог.

Тут они на лугу опять всем семейством. Никита с матерью подносят на длинных жердяных носилках копны; отец навильник за навильником укладывает сено по окружью оденка, а братья-огольцы утаптывают его, вершат — это они уже умеют, к этому уже приучены. Когда стог поднимается над лугом во весь свой рост, братья уложат на его макушке в перекрестье лозовые, туго связанные отцом плети, а сами, словно какие белки-куницы, спустятся на землю по носилкам-слегам и на полных правах займут место за скатертью-самобранкой у подножья стога — потому как тоже уже работники, старатели.

Отдыха после косьбы-косовицы у крестьянина мало. Не успеет он оглянуться, как вот уже — Петров день, и другая страда на подходе — жатва. Теперь только успевай поворачиваться, лови, усматривай каждый погожий день. И только он выпадет, так сразу любые-другие, казалось бы, самые неотложные работы в сторону, в отклад — и всем семейством от мала до велика с серпами в руках на огород. (У них на песчаных, не очень плодородных землях в основном рожь сеют, а ее сподручней и необходимей серпами жать, чтоб после, обмолотив в клунях и на открытых токах

цепами, крыть прямоствольной «кулевой» соломой дома и сарай). Работа кипит с утра до позднего вечера, до темноты, тяжелая работа, изнemoгающая, до седьмого и восьмого пота, но в сладсть и в отраду — урожай убираешь, хлебущек. На жатве Никита всегда в паре с матерью постать занимал, а отец — тот со Степаном и Ваней в одном зажине стоял. Серпы им он, правда, доверять опасался — мальчонки совсем еще, руку раскроვენят-порежут. Но и без дела братья не оставались: вовремя перевясла раскладывали, вовремя воду-квас утомленным жнецам подносили, вовремя отцу палочку-цурку подавали, которой рожь связывают в снопы. На жатве эта работа в основном мужская, она силы и сноровки требует немалой.

Снопы, опять же смотря по погоде, они либо складывали на стерне в копы и полукопы, либо прятали в клуне, чтоб через день-другой приступить к молотбе. Откладывать ее на потом никак нельзя. Ведь не успеешь в гору глянуть, как уже новая страда на подходе, сентябрь месяц — вот он, стучится в двери и в ворота, напоминает о скорой зиме и, стало быть, надо копать картофель. Последняя в крестьянском году, картофельная страда, тоже занятие артельное, гуртовое. Никита Иванович ее с самого малого детства любил. Солнышко уже осеннее, нежаркое, но еще ласковое; листва на деревьях желтеет, багрянится, а кое-где и вся в позолоте; в небе летают-вьются паутинки «бабьего лета»; на огородах то там, то здесь вспыхивают костерки, на которых мальчишки пекут картошку нового урожая. От ласкового, запутавшегося в паутинках «бабьего лета» солнца, от картофельного сладкого дымка, что тихо поднимается в высокое с редкими кучевыми облаками небо, на душе у тебя становится светло и чисто, будто в великий отдохновенный праздник — на Пасху, на Троицу, на Петров день, или на Рождество Христово.

Нет, без работы человеку жить никак невозможно. Тогда уж действительно лучше сразу, загодя, лечь на лавку и помереть в одночасье. А с работою — жизнь!

Вот взять, к примеру, ту же войну, будь она неладна. Так ведь это тоже в первую очередь работа. Ратная — но работа. И не только в обороне, когда без усталости роешь землю, оборудуешь окопы, траншеи, землянки и блиндажи, управляешься больше топором и лопатою, чем винтовкою, но и в бою, в открытом сражении — работа. Поднимется твой взвод или рота в атаку: и хорошо, если удастся с ходу, с налета сломить сопротивление противника, обратить его в бегство, а если — нет, если начнет он встречать тебя, в лицо и грудь поливать пулеметным и всяким прочим огнем, да таким свинцовым и частым, что командиры волей-неволей подадут команду: «Залечь и окапываться!». И тут упадешь с разбега на землю и молишь только об одном: чтоб земля под тобой оказалась песчаной, сыпучей и податливой для саперной малой лопатки. Иной раз и вправду повезет — земля и сыпучая, и податливая, — и ты в считанные минуты выроешь под собой какое-никакое углубление, сладишь брустверок, чтоб укрыть за ним голову; но в другой раз не земля — кремень. И тогда уж держись солдатик-пехотинец, напрягай все свои силы, умение и сноровку до соленого пота на гимнастерке и шинельке, до кровавых мозолей на ладонях, вгрызайся в эту каменную землю и лопатой, и ногтями, и хоть зубами ее кусай — иначе гибель тебе неминуема. Вот это работа так работа! Никита Иванович все это на себе испытал — знает.

Первые полтора года (с перерывами, понятно, на лежание в госпиталях по ранению и увечью) ему довелось воевать в пехоте, красноармейцем-

стрелком, а потом, когда осколком повредило правый, прицельный глаз, попал он в саперы, но не в те, которые ставят мины, а в те, которые навоят переправы, мосты и гати. Там работа, считай, главное солдатское предназначение, хотя и за винтовку приходилось братья частенько, и самих себя защищая, и выступая в трудные минуты в подмогу строевым частям.

Саперам-плотникам доставалось на войне ничуть не меньше, чем пехотинцам. Все время в воде и болоте, когда по колени и пояс, а когда и выше — по грудь и шею. Летом оно еще ничего — терпимо, а вот в сызкую осень или зимой, в мороз и стужу... Пока наведешь мосточек-паром для тяжелой техники через вроде бы и не больно широкую какую-нибудь речушку, весь обледенеешь, перемерзнешь до самых костей, не раз даже подумаешь, уж лучше бы в бой, под огонь и пули. Но — не велено! Задача твоя — быть здесь, при мосточке и гати, и чуть вражеским снарядом или бомбой порушит их, сразу кидаешься в воду, класть новые бревна, лозовые плети и любой иной подручный материал — ведь на том берегу товарищи твои, фронтовые побратимы, захватили малюсенький плацдармик, держат его из последних сил, гибнут и погибают от превосходящего числом противника — и вся надежда у них на подмогу, на огнестрельную технику: пушки, танки, самоходки, они же застряли из-за пробоины в бревенчатом настиле-пароме. И в эти минуты главный, основной человек на фронте — сапер. Безоглядно бросается он в воду, под пули, снаряды и бомбы, лишь бы подсобить своим товарищам на том, вражеском еще берегу, выручить и спасти их от верной гибели на крошечном пятачке-плацдарме.

Сколько лет прошло с той поры, а все стоит перед глазами Никиты Ивановича воочью, будто ребята захватили роковой тот плацдармик вон там, на берегу его родной реки, и Никите Ивановичу надо поскорее бежать туда, на ходу думать-соображать, где обзавестись бревнами и досками, может, раскатать чей сарай или клюню (да свою же и раскатать — она ближе других к обрывистому берегу, где и виднеется порушенный мост-переправа).

Но какое там бежать и раскатывать? Лишний раз рукой пошевелить, вздохнуть в полную грудь сил у Никиты Ивановича теперь нету. Хорошо, палочка-посошок помогает, а то и вовсе упал бы на траву-мураву. Одно только Никите Ивановичу нынче и остается, что предаваться видениям. Сдержаться он себя не может — и предается. И опять же, об одном и том же — о работе.

И о довоенной, когда трудился, совершал все под доглядом и повелением отца с матерью, и военной, фронтовой, и уже послевоенной, когда сам встал во главе семьи, растил вместе с Дарьей Михайловной, приучал к крестьянской работе вначале детей, а потом и внуков.

В забытье своем и мечтаниях Никита Иванович вознамерился было переменить на посожке-кривульке руки, а то что-то онемели они и пошли мурашками, но вдруг, откуда ни возьмись, налетел из-за реки суший ураган-ветер, столбом и смерчем поднял на улице пыль и со всего разгона и размаха так ударил в незапертую на щеколду калитку, что она взвизгнула в петлях и навесах и едва не расшиблась о ворота.

«Э, нет, — строго подумал и даже произнес вслух Никита Иванович, — дело у нас так не пойдет». Приладившись и опершись на палочку-кривульку сколько было и оставалось в нем силы и мощи, Никита Иванович поднялся и мелким стариковским шагом пошел к калитке. Но

закрыть ее с улицы ему не удалось. Дубовую щеколду на сыромятном ремешке, которую Никита Иванович сам же и смастерил лет тридцать тому назад, ударом ветра напрочь заклинило, и как он ни дергал за этот ремешок, она не поддавалась и в пробой не падала. Пришлось Никите Ивановичу войти во двор и уже оттуда разглядеть, что там случилась за поломка, что за увечье? Оказалось — ничего страшного и нет: просто от удара щеколда перекосилась, и в зазор между перекладинкой и железной скобочкой-шейкой попала сорная щепочка. Она и удерживала щеколду. Никита Иванович вытащил щепочку, подергал для проверки за ремешок — и все наладилось: перекладинка падала в пробой легко и необременительно, и запирала калитку крепче крепкого.

Наладив щеколду, Никита Иванович собрался опять вернуться назад на лавочку и опять засесть там надолго — других забот у него больше нету. Вот разве что блинчик съесть, чтоб вечером Наташа его не ругала и не корила.

Но вдруг Никита Иванович заметил, что и на повети, где у них еще с отцовских времен была столярная мастерская, дверь от порыва ветра тоже хлопает и тревожится в косяках. Ее надо было бы примкнуть на замочек или хотя бы на колышек и подпереть каким-либо чурбачком-колодочкой.

Опираясь одной рукой на палочку, а другой придерживаясь для устойчивости за стенку дома и за обшивку веранды, Никита Иванович всего с двумя краткими перерывами добрал до повети, нашел и колышек, и чурбачок, и приготовился уже дверь надежно зацемить и подпереть, но в последнее мгновение не выдержал и заглянул внутрь помещения.

На него сразу дохнуло запахом хорошо просушенной доски, древесной стружки: смолисто-острой — сосновой и чуть с горчинкой — осиновою и ольховой, запахом столярного клея в водяной бане и еще много какими иными запахами, ведомыми только подлинному столяру (например, запахом ручного коловоротного точила, изобретенного из мелкозернистого камня-песковика; с этим запахом никак не мог сравниться и перебить его запах точила электрического, непрерывно вращающегося и искрометного).

В углу, вдоль стены и окна, основательно и прочно стоял тяжеловесный дубовый верстак, не отцовский даже, а еще дедовский — вот сколько ему времени, считай, полтора века.

Деда своего, Никиту Романовича, в честь которого и наречен-назван, Никита Иванович не помнит. Дед воевал вначале японскую войну, а потом и Первую мировую. На ней он и погиб где-то в Галиции за пять лет до рождения Никиты Ивановича. Вообще, у них в роду все мужчины — солдаты и работники. По наследству это им передавалось, по крови из поколения в поколение. Дед Никиты Ивановича на войне воевал и погиб на ней. Отец — тоже воевал, и тоже погиб, пропал без вести. Никита Иванович с братьями, Степаном и Ваней, в подмогу отцу-родителю встали. Степан с Ваней погибли, а Никиту Ивановича Бог сохранил, уберег, хотя, может быть, это и не совсем справедливо: Степан с Ваней в большие бы люди выбились, они к учебе, к книгам-учебникам с самого малолетнего возраста тянулись, о рабфаках и институтах мечтали.

Дети и внуки Никиты Ивановича в свое время и в свою очередь от солдатской, ратной службы, опять же, не уклонились, прошли ее честь по чести. Василий четыре года в моряках был на Северном подводном флоте, подо льдами Арктики ходил — во какой герой, краснофлотец. Войны ему, к счастью, не досталось, а вот младшему, Ивану, и внуку Сер-

гею, тем досталось с избытком. Иван в Афганистане сражался, ранен там был и контужен, а Сергей-Сережа — в Чечне в военно-воздушных войсках, в десантниках. И ранение у него есть нешуточное, и награда — посеребренный крест. Василий с Наташей, может, потому и опекают Сергея больше других, младших детей, чувят — парню от войны этой кавказской отойти надо и душой, и телом. Душой, поди, что и больше. Никита Иванович это по себе знает, по своим фронтовым испытаниям, победам и поражениям.

Нет, все ж таки, что ни говори, а Русская земля с покоя веку на крестьянских мужиках держалась. Из них и работники ее всегда происходили, хлебопашцы и кормильцы, и верные защитники-оборонители от коварных врагов, которых у нее в любые времена находилось немало. По крайней мере, Никита Иванович так думает и размышляет.

Вдоволь надышавшись хмельными столярными запахами, Никита Иванович сразу из повети не вышел, а присел на табурет, чтоб набраться сил и крепости для обратного путешествия к лавочке, единственному теперь уже и последнему своему посту-караулу. Но вдруг он заметил в простеночке между верстаком и бревенчатым срубом сарая, к которому повесть и примыкала, оконную, только, кажись, вчера и связанную Василием раму. Никита Иванович слышал, как он там шоркает рубанком, стучит молотком и киянкой, но подойти, осведомиться, что там и к чему, не нужен ли какой совет, подсказка, сил не хватило. Да и что толку подходить: в советах и подсказках Василий не нуждается — он столяр теперь половчей и поспорившей отца, а подсобить делом у Никиты Ивановича мощи опять-таки нету.

Рама эта предназначалась для веранды. Еще по весне Василий надумал обновить-поменять на веранде из-под ветреной, затянутой густым плющом стороны две старые заметно подгнившие рамы (оттого и прогнили, что всегда в тени находятся, в сырости), которые, дай Бог памяти, наверно, полвека тому назад сладил Никита Иванович при посильной помощи Василия, тогда еще подростка и подмастерья. Но ни весной, ни летом у Василия до рам руки так и не дошли: то пахота-посевная, то сенокос, то уборка, к тому же и доска была сыроватая, сохла, проветривалась на вышках. А теперь Василий в преддверии осени и скорых дождей уложил все-таки минуту, отбросил день-другой — и раму связал.

Никита Иванович не выдержал и мелким, нетвердым шагом подошел к ней, взял в руки и, испытывая на прочность, пару раз повел-пошатнул из стороны в сторону. Рама, как говорят столяры, нигде и не ойкнула — столь плотно она была связана в шипах. Молодец Василий — порадовался за сына Никита Иванович — рама эта простоит целый век, и ничто ей не страшно: ни ветры-суховеи, ни сырость, ни морозы.

Но потом он и вдругорядь не сдержался, повернул раму на ребро и прицельно глянул по плоскости с угла на угол — нет ли где перекоса и уклона. Их не было ни на миллиметр, ни на полмиллиметра — вот какой из Василия вышел мастер. Столяры промеж собой, когда оценивают только что сделанную вещь: оконную ли раму, дверь (наборную или филенчатую), резные наличники и ставни, любят сказать с подначкой: «Для себя годится, а на продажу — нет!». Рама же, связанная Василием, годилась и для себя, и на продажу. Тут других слов и быть не может.

Никита Иванович аккуратно поставил раму на место, чтоб Василий не заметил никакого нарушения, не догадался, что в повесть наведывался проверяльщик и контролер (его самого теперь на каждом шагу проверять

надо). Делать в повети Никите Ивановичу было вроде бы больше нечего, и он, передохнув еще разочек перед дальней дорогой к лавочке на табу-рете, нацелился к выходу. Но совсем уж нечаянно увидел в уголке за ко-ловоротным точилом распущенные Василием на циркулярке заготовки для второй рамы. Никита Иванович приподнял одну, просто так, ради стариковского интереса, чтоб глянуть-поглядеть, да еще ради того, чтоб вдохнуть на свежем пропиле запах смолы-живицы. Поглядел, вдохнул и хотел уже было возвернуть на место, но потом, сам не зная, как это у него получилось (наверное, привычка: глаза боятся, а руки делают), положил заготовку на верстак, крепко-накрепко закрепил винтом и потянулся к полочке за шерхебелем-шершепкою.

У Василия в мастерской по новым, ученым временам было, конечно, в большом недостатке и выборе множество всякого электрического саморезу-щего инструмента: циркулярка, электрорубанок, электрическая дрель, махонькая шипорежущая машинка (эту Василий сам изобрел), был даже токарный станочек по дереву и металлу. Но Никита Иванович, признаться по правде, машин опасался, не знал, как включать-выключать, как пользоваться ими, поэтому и сейчас он, опять же по долголетней привычке, взял с полочки не электрорубанок, а старинную шершепку с удобной для захвата ручкой. Там же, на полочке Никита Иванович обнаружил рабочие очки Василия (без очков тот с недавних пор тоже не обходится) для лучшего удержания связанные за дужечки резинкой-шнурочком. Никита Иванович приладил их на переносицу, глянул туда-сюда и по-мальчишески обрадовался — очки были ему как раз впору, всякий предмет сквозь них виделся отчетливо и ясно и в своем исконном размере.

При таком вооружении от Никиты Ивановича не укрылось, что шершепкой Василий давненько не овладевал (чего ею овладевать, когда электрический рубанок под рукой?!): полукруглое лезвие, хотя и было остро заточенным, но в нескольких местах покрылось коричневатым налетом, предвестником ржавчины. В работе, после двух-трех взмахов налет этот, понятное дело, сойдет, сотрется сам собой, но Никите Ивановичу вдруг страсть как захотелось подновить-поправить лезвие на точиле, а потом еще и довести вручную на оселке-брусочке. Захотелось так, что прямо-таки сердце зашлось...

Никита Иванович не стал себя сдерживать, утишать, а привычно (буд-то занимался этим и вчера, и позавчера, и каждый день) принялся за дело. Киянкой он легонечко, с пристуком и потягом тронул несколько раз по пятке шершепки: клинышек мгновение помедлил, а потом качнулся, расслабился и пошел вверх. Никита Иванович подхватил его в руки, словно какую увертливую щучку, и положил на верстак. Лезвие старинной, отменно закаленной стали он вынул еще с большим бережением (не дай Бог, обронится и неисправимо повредится о какую-нибудь железку или камень — после Василий будет очень недоволен), еще раз внимательно обследовал, потрогал кончиком ногтя и принял повторное неотменяемое решение — все-таки лезвие надо подточить, чтоб после в работе оно шло по дереву (хоть за волокном, хоть против), как по маслу.

Электрическое точило, в котором тоненький, всего в полтора пальца, фиолетового какого-то цвета точильный камень был забран в металличе-ский кожух-щиток, стояло, считай, под рукой у Никиты Ивановича, на стеллаже возле окошка. Но он решительно пренебрег им: не приучен Ни-кита Иванович к неостановимым электрическим скоростям, когда даже круга не видно, а одно только фиолетовое мелькание — поднеси лезвие,

и сразу так вжикнет, такие искры посыплются, что всю заточку перекосит и сведет на нет.

Придерживаясь за верстак, Никита Иванович подошел к родному своему коловоротному точилу, где все понятно, обдумано и выверено годами, где работа не требует никакой спешки и опасения. Устроено коловоротное точило действительно по уму: под камнем-песковиком расположено неглубокое дубовое корытце, в которое заливается вода. Когда камень начинает вращаться, то он сам по себе окунается в эту воду, смягчает трение и не дает лезвию пригореть. А на электрическом, того и гляди, миг посинеет и пойдет такой окалиной, что напрочь загубит инструмент-шершепку.

Воды в корытце, понятное дело, не было. Василий коловоротом пользовался редко, разве только в том случае, когда свет вдруг возьмут да отключат, а Василию край как надо подправить стамеску или топор.

Идти в дом за водой Никите Ивановичу, правда, не понадобилось. Она повседневно стояла у Василия в мастерской-повети в эмалированном ведреке близ порога, надежно прикрытая увесистой крышкой. Василий — человек запасливый и расчетливый. В мастерской у него, будто в горнице, всегда чисто и аккуратно, все всегда под рукой, все на своем месте. Никита Иванович с детства его к этому приучал. Взять ту же воду. Захочется тебе во время жаркой работы попить или в точильное корытце подлить кружку-другую, или просто лицо-руки ополоснуть, так не надо за каждым разом в дом бегать, отрываться от дела, которое кипит в самом разгаре.

Воду для ускорения Никите Ивановичу, конечно, можно было бы налить прямо из ведра, но оно оказалось наполненным всклень, под самый венчик. Никита Иванович попробовал его стронуть, но сразу почувствовал, что не осилит, а если и осилит, то расплескает добрую половину — от Василия ему за это опять-таки будет укор. Смирив гордыню, Никита Иванович стал носить воду к корытцу латунно-медной литровой емкости кружкой. Вскоре после войны он сам же и смастерил ее из артиллерийского снаряда (тогда такие кружки в каждом доме были), изнутри хорошенько залудил, а снаружи для красоты выпарапал-нарисовал острым керном-пробойником мирный домик. Он и сейчас на ней еще виден. Не домик, а прямо-таки дворец с четырьмя окнами, трубой и дымом-колечком над ней.

Долгие годы латунная эта кружка стояла у них на кухоньке впритык к двум ведрам (одному деревянному — цеберку, а другому, редкому и дорогостоящему по тем временам — оцинкованному) и служила главным питьевым ковшиком. Но потом, когда появились и новые, эмалированные ведра, и новые, на любой размер и на любой вкус кружки, снарядное полуфронтное изделие перекочевало в поветь-мастерскую и вот незаменимо служит здесь до сих пор. Дарья Михайловна и Наташа всегда следили за кружкой (теперь, понятное дело, следит одна Наташа), чистили тертым кирпичом и мелом, и она, будто только что изготовленная, самоварно сияла, притягивая к себе сквозь окошко яркие солнечные лучи, а домик на ней проявлялся живее живого, хоть сейчас заходи в него и живи в свое удовольствие всем семейством.

На коловоротном точиле, конечно, лучше бы работать вдвоем, чтоб кто-то один крутил ручку, а другой управлялся с лезвием шершепки-рубанка, с топором или долотом и стамеской. В детстве Никита Иванович и приучался к столярному мастерству именно таким вот образом и манером:

он крутит ручку, а отец затачивает подзатупившийся в работе инструмент. Точно так же потом привыкал, набирался столярного и плотницкого умения и Василий, хотя и совсем мал еще был. Никите Ивановичу приходилось подставлять ему под ноги для возвышения какой-нибудь ящичек или колодочку, чтоб Василий мог дотянуться до ручки.

Но когда помощника-подмастерья нет, то можно помалу справиться с точилом и в одиночку. Не столь, правда, сподручно, но можно. Тем более в таком случае, как нынче у Никиты Ивановича, когда лезвие надо лишь чуть-чуть тронуть, снять с него ржавый налет да на кончике маленький заусенец, который остался от прежней заточки.

Никита Иванович и начал управляться. Одной рукой крутил коловорот, а другой, выбрав точный угол, прилаживал к камню лезвие. Необходимого дыхания и крепости в груди для полного разгона точила у него, к немалой обиде и досаде, уже не хватало, но и на остаточном своем дыхании он лезвие все ж таки подправил, да так, что после и на оселке его не потребовалось доводить. Рука у Никиты Ивановича хоть и слабая и безвольная, но по-прежнему еще верная.

Несколько минут он любовался лезвием, опять трогал его и кончиком пальца, и ногтем — и работой своей остался доволен.

Дав себе совсем малое время на передышку, Никита Иванович принялся собирать шершепку в обратном порядке. Придерживая лезвие пальцем в летке, он выпустил его поверх подошвы всего на тонюсенькую ниточку, потом приладил клинышек-щучку и легонько-точным ударом киянки заклинил. Получилось и в обратном порядке все как нельзя лучше: лезвие нигде не перекошилось и не сдвинулось с определенного ему места.

Теперь предстояло испробовать обновленный инструмент в деле. Признаться по правде, Никита Иванович даже забоялся всей своей затеи. Разобрать-собрать, заточить шершепку силы у него хватило, а вот хватит ли ее хотя бы для одного-двух замахов — это еще неизвестно. Но и отступить было вроде бы поздно, да и охота (ох, как охота!) снять золотисто-тонкую стружку вначале с краешку, а потом и в прогон по всей заготовке.

Никита Иванович опять дал себе минуту отдыха, попил из ведерка воды, посидел даже на табурете возле верстака, поудобней приспособивая на переносице очки, а на затылке резиночку-шнурочек. Наконец поднялся во весь рост, укрепился ногами на полу, прижался для верности коленом и бедром к верстаку (а то вдруг поведет, завалит на сторону) и с великой осторожностью и бережением, будто первый раз в жизни, тронул шершепкою заготовку. И осилил, угадал, уловил на вдохе-выдохе привычное это движение: стружка пошла из летки с лицевой стороны темная и шершавая, а с тыльной — желто-горячая и атласно-чистая, пошла и завершилась в упругое колечко, как и полагается ей заворачиваться под рукой хорошего мастера.

Никита Иванович обрадовался этой удаче, сделал маленький шаг вперед, осмелел и пошел вдруг взмахивать шершепкою безоглядно на дыхание, которое клокотало и билось у него в груди, словно какая пойманная в силки птица.

В запале он даже не заметил, как острогал и одну, и другую, и все четыре стороны заготовки, едва успевая поворачивать ее да понадежней закреплять винтом. Опомнился Никита Иванович лишь после того, как брус-заготовка заиграла на солнце гладко-восковым в смоляных янтарных прожилках гранями. Понятное дело, что ее придется еще поправить рубанком и отфуговать до точных размеров фуганком, отобрать «четверть»,

отливы, резать шипы, совершить и еще много всяких столярных премудростей. Но это все потом, позже, а сейчас, коль уж разохотился, и шершепка прямо-таки горит-полыхает в руках, надо браться за остальные заготовки. До рубанка-фуганка и «четверти» очередь дойдет или нет — еще неизвестно (вдруг птица-клокотание в груди так забьется, что враз все бросишь и побредешь к лавочке-посиделке), а вот шершепочкой первородно очистить все шесть заготовок, кажись, и можно. Василию будет в том какая-никакая помощь.

Никита Иванович поставил остроганную заготовку рядом с рамою, взял очередную, темную и занозистую, оглядел ее со всех сторон (куда, в каком направлении идут волокна, где таится, скрывается малый неопасный сучок, а где большой, с которым надо разговаривать на «Вы», чтоб он от чрезмерного взмаха-потяга не отслоился и не выскочил из основы, образовав досадное углубление-выемку), закрепил по всем правилам на верстаке и, заметно осмелев, пошел махать шершепкою в свое удовольствие и отраду. И ничего — все сладилось: птица-клокотание в груди было затревожилась, явно намереваясь остановить Никиту Ивановича, но потом утишилась малым робким галчонком, да и уснула.

Никита Иванович совсем приободрился и всего за час-полтора спроворил все шесть заготовок, прислонил их одну к другой возле рамы и, отойдя шага на два в сторону, долго любовался их первозданным, с золотинкой, видом.

Тут самое время было бы выбраться из повети и перекурить на порожке, как это Никита Иванович делал всегда в прежние свои рабочие годы. Но, во-первых, он давно уже не курит (грудь не позволяет), а во-вторых, чего же время зря терять: вот попьет он из кружки-снаряда водички и возьмется за рубанок. Раз уж Никита Иванович справился с шершепкою, с первым, самым трудным в столярном ремесле делом, то с рубанком, даст Бог, справится и подавно: тут не столько сила нужна, сколько умение — подравнять глубинки, оставшиеся от шершепки, прогнать стружечку всего в толщину папиросной бумажки.

И столярная сокровенная работа у Никиты Ивановича закипела поновому. Признаться, он даже не ожидал от себя, старого, немоющего, такой прыти. Рубанок сущим голубем-сизарем порхал у него в руках, ворковал и постанывал от удовольствия.

Когда же все шесть заготовок были рубанком подправлены и придиричиво осмотрены со всех сторон (не затаилась ли где мелкая шероховатость, бугорок или скос?), Никита Иванович потянулся за фуганком. Теперь, чего уж, надо доводить дело до конца, чтоб после к заготовкам больше столярными строгательными инструментами не прикасаться.

Фуганков у Василия два. Один деревянный, старинный, сработанный отцом Никиты Ивановича из неодолимо крепкого березового бруса. Ручка у него ухватистая, резная, в пятку и в передок вставлены два колышка-бочоночка размером в добрый пятак, чтоб при сборке-разборке фуганка ударять киянкою непременно по ним, а не по живому корпусу (от таких ударов, да еще, если по нерадению и спешке не киянкою, а железным молотком, он пойдет трещинами, лопнет — инструмент будет напроць и навсегда загублен). Лезвие в старом фуганке, само собой разумеется, с «горбатином», и стружка из-под него выходит не только тоньше папиросной бумаги, но даже тоньше лебяжьего пухового перышка.

Другой фуганок — современный, металлический. В нем тоже все по уму сделано, тут придиричься нечего: и ручки устойчивые (в металличе-

ком фуганке их две: для правой руки и для левой), и лезвие с «горбати́ком», которое, правда, закрепляется не клинышком, а винтом, и подошва отполирована до зеркального блеска. Хороший инструмент, Никита Иванович против него ничего не имеет.

И все-таки он больше любит старый, отцовский фуганок. Как-то он привычней и роднее, что ли. Да и руку чрезмерно не тяжелит — дерево как-никак, материал живой, изначальный.

Никита Иванович и взял с полочки деревянный отцовский фуганок, глянул на лезвие: точить — не точить? И затаенно обрадовался. Судя по всему, Василий этим фуганком пользовался частенько, неведомо почему тоже предпочитая его новомодному — железному. Может, все из-за того же лезвия, которое долго и надежно держит заточку, а может, по привычке — с детства ведь еще приучен к нему.

Работать таким инструментом, как этот фуганок, орел и сокол, одно наслаждение. Тут со смертного одра встанешь, лишь бы с широкого размаха пройтись им по доске или брусу, посмотреть, как они после заполируются, будто покрытые тончайшим слоем медоносного воска.

Во всю ширь плеча размахнувшись один раз, Никита Иванович, считай, играючись, отфуговал все заготовки точно в размер, тут уж никакой контролер-проверяльщик не придерется. Лоб у него, конечно, маленько покрылся потом, рубаха взмокла, но это не беда, наоборот даже великая радость. Во-первых, какая же мастеровая да и вообще любая крестьянская работа-стремление бывает без пота и усталости? А во-вторых, коль изошелся Никита Иванович потом, то, стало быть, еще жив, еще окончательно не помер от своего ежедневного пустопорожного сидения на лавочке под забором...

Отливаясь на солнце восковыми боковинками, заготовки-брусья опять встали рядком возле рамы, словно шесть подружек-невест на выданье. Никите Ивановичу, наверное, на том и пора было завершить столярное свое увлечение. Отвел душу — и хорошо, и хватит. Да оно, может, что и не по замыслу Василия сделал, так после будет ему от сына за то упрек, скажет — испортил материал, сидел бы уж лучше на лавочке. Но до того вдруг Никите Ивановичу захотелось отобрать на заготовках «четверть» (ну, хотя бы на одной-другой), что хоть криком кричи, руки вот аж дрожат, просят к отборнику, а про душу и вовсе говорить не приходится — она вся в томлении и страсти.

И Никита Иванович, стерев со лба горячий трудовой пот, не стал сдерживать ни тело, ни душу. Взял легонько-невесомый отборник и, видел бы кто, как он справился с ним, как старательно и удачно отобрал на заготовках «четверти», куда потом, когда рамы будут собраны и подогнаны на своем месте, на веранде в косяках, Василий вставит стекла-«двойку» или «тройку», то есть, в два или три миллиметра толщиной — это уж как ему вздумается и захочется.

Вообще-то у Василия для отбора «четвертей» есть фреза, удивительно быстрый и увертливый инструмент. Им сработать «четверти» ничего не стоит — всего и делов-то минут на двадцать, не больше. Но Никита Иванович пользоваться фрезой не умеет, страшится и стрекочущего ее вращения, от которого мелкие щепки разлетаются по всей мастерской, и надсадного гудения мотора, от которого уши закладывает, словно они ватой забиты. Для молодых мастеров, привлеченных к столярному умению недавно, фреза, конечно, инструмент незаменимый — быстро и безошибочно работает, а для таких, как Никита Иванович, старых и медли-

тельных, сподручней все же обыкновенный: отборник. Стружка из-под него идет иной раз цельная, во всю длину доски, сворачивается спиралью и кружочком и пахнет одним только деревом, без примеси железа и машинного масла. Ее хоть на новогоднюю елку вешай.

После отбора «четвертей» в будущей раме положено сделать отливы, чтоб она была похожа именно на раму, а не на какой-нибудь короб, который непонятно, зачем и для чего сделан. Но отливы надо скашивать под отметку и черту, обозначая их либо карандашом, либо отбивая плотницким, обильно натертым мелом, шнуром. Никита Иванович решил сделать разметку все ж таки под карандаш. Под шнур оно, понятно, быстрее, но есть опасение, что со слабыми своими стариковскими глазами (тут и очки не помогут) Никита Иванович не углядит черту и на одной заготовке не доберет до нужного размера полмиллиметра, а на другой, наоборот, захватит лишку, и после, когда начнешь вязать раму в шипы, продольный брус не состыкуется с поперечным, намучаешься, пока подгонишь.

В прежние годы при разметке любого столярного изделия: рамы, двери, кухонного шкафчика-стола или табурета Никита Иванович пользовался металлическим метром-складеньком. Но нынче эти метры не в чести и не в моде. На замену им пришли хитроумные ленточные рулетки. Вон и у Василия она висит на гвоздике, поддетая за шнурочек. Очень даже завлекательное и нужное изобретение. Потянешь на себя за ленточку, и она выдвинется на необходимую тебе длину, а надавишь на рычажок-кнопочку — ленточка тут же сама по себе и спрячется внутрь корпуса-коробочки, словно какая змейка в укромное гнездышко.

Никите Ивановичу это новшество, как только Василий завел его, сразу пришлось по душе. Он, помнится, едва ли не целый день забавлялся им, измерял, уподобясь малому ребенку, все подряд: подзаборную свою лавочку, калитку, ворота, ступеньки на крылечке.

Но сегодня рулетка-змейка нужна ему не для баловства, а для самой серьезной дельной потребности. Никита Иванович мастерит, вяжет раму, и ленточка эта, рулетка для него незаменима.

Никита Иванович снял ее с гвоздика, вооружился карандашом и наметил отливы хорошо видимой даже ему, подслеповатому, прямолинейной (будто стрела пролетела) чертой. Рулетка службу свою сослужила верно, не допустив и самой ничтожной погрешности.

Для ускорения дела отливы можно отобрать поначалу малым столярным топориком. Но Никита Иванович и в прежние годы на него никогда не зарился. Тюкнешь по неосторожности топориком чуть посильней и, глядишь, вдоль всего бруса, на который уже затрачено столько труда и силы, побежит предательская трещина — и досадуй тогда не досадуй, а надо будет брус заменять.

Нынче же на топорик Никита Иванович даже не поглядел: тяжело-ват он для нетвердой его руки, да и куда торопиться, поспешать: день летний, как год, можно все сделать с должным вниманием и осторожностью, чтоб после не корить себя, мол, поленился, словчил, вот теперь и получай — брус расщеплен почти надвое. Не зря говорится: поспешишь — людей насмешишь, а сам наплачешься.

Чтоб подобного происшествия не случилось, Никита Иванович отобрал-скопил отливы инструментом поделikatней топорика: вначале шершешкою, потом рубанком, а потом прогнал еще и под фуганок, и работой своей опять остался доволен — за черту, за метку он нигде не перешагнул, не нарушил их, все получилось в точный, надлежащий размер.

Теперь Никите Ивановичу предстояло сделать главное — запилить шипы. Все предыдущие старания были в общем-то подготовительными, с ними мог справиться и подмастерье, а настоящий столярный мастер как раз и проверяется на шипах, как он их запилит, как подгонит, не получится ли все сикось-накось, шатко и не впритирку — свяжешь раму, а она выйдет у тебя на манер пропеллера.

Весь в сомнениях и тревоге — браться за шипы или не браться — Никита Иванович долго сидел на табурете, пил, остужая разгоряченное тело, воду, ревниво смотрел на изобретение Василия — шипорезную машинку с малюсеньким циркулярным диском — и никак не мог принять нужного решения, чего раньше с ним никогда не бывало. И в молодые свои, и в зрелые уже годы он в любом деле на решения был скор и отважен, долго раздумывать не любил, подмастерьем еще переняв от отца вразумительные поучение: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж!» или «Глаза боятся, а руки делают!».

Но то было в детские, молодые и зрелые годы Никиты Ивановича, а нынче, какие они у него — стариковские, преклонные, нынче у него и глаза боятся, и руки не делают, дрожат вон даже мелкой сомнительной дрожью.

И все-таки Никита Иванович решился. В едином порыве преодолел все свои страхи и опасения. Если он сейчас заробеет и бросит начатое дело на полдороге, так после жизни ему не будет от этого отступничества. А руки у Никиты Ивановича дрожат вовсе и не от сомнения, а оттого, что рвутся и просятся к работе, как они всю жизнь рвались и просились у него к ней.

Страхнув с себя дрему и забытие, в которые впал по малодушию своему, Никита Иванович поднялся и возвысился во весь рост над верстаком — полноправный работник и мастер. Поперечные метки под шипы на заготовках он начертил карандашом, пользуясь рулеткой-змейкой и угольником, а продольные рейсмусом — инструментом специально для этого и придуманным в незапамятные еще времена изобретательными столярами-умельцами. Заклинишь по нужному размеру реечку с остро заточенным гвоздиком на кончике, и пошел выводить черту за чертой. Гвоздик от твердого твоего нажима глубоко проникает, проваливается в древесину и ведет черту по продольному волокну безошибочно. В столярном мастерстве рейсмус — инструмент незаменимый, и Никита Иванович всегда содержал его в образцовом порядке. Теперь вот содержит Василий, хорошо зная, что, чем точнее сделаешь разметку, тем точнее и надежней после получится шип, а значит, и вся рама будет без малейшего перекоса.

На разметку Никита Иванович затратил полчаса, не больше. Это дело хоть и ответственное, но легонькое и даже отдохновенное. Его можно делать, покуривая, посвистывая, а то и забавляя себя каким-нибудь веселым песнопением.

Никита Иванович, правда, ни на что не отвлекался: ни на покуривания, ни на посвистывания, ни на песнопения, к которым в молодые годы был даже очень охоч, а превратился весь во внимание и бдительность. Давненько он все-таки за рейсмус не брался, и было опасение, что рука где-нибудь дрогнет, отчего бороздка-черта вильнет в сторону. Но вроде бы и тут у Никиты Ивановича все сладилось: продольные и торцевые черточки всюду сошлись, связались в единую неразрывную линию.

Теперь очередь за пилой. Никита Иванович всегда зашлифовывал шипы

продольной лучковой пилой с мелкозернистым зубом. Инструмент тоже испытанный и надежный. Подтянешь тетиву, и пила, действительно, будто лук-самострел, аж звенит в руках. Когда работаешь шип, то черта должна оставаться с внутренней стороны пилы, а когда гнездо-проушину — с внешней. Допуски эти необходимы для подгонки, они сгладятся, уберутся, где стамесочкой, а где рашпилем. Главное, не перепутать будущий шип с гнездом, чтоб после не кусать себе локти, если вдруг окажется, что связка твоя никуда не годится, болтается и ходуном ходит, как старое колесо на старой телеге. Уж лучше загодя пометить карандашиком: гнездо обязано быть на большой продольной заготовке, а шип — на малой, поперечной.

Никита Иванович так и сделал — пометил, хотя раньше, при твердой памяти, ни разу не ошибался. Но нынче меточка не помешает: память у него хуже девичьей: положит какую-нибудь вещь вроде бы в определенное, выверенное место, а через день-другой кинется и, хоть убей, не помнит, где она, как в воду канула. Старость — что там и говорить.

Первый шип Никита Иванович работал с особым пристрастием: закреплял и перезакреплял на верстаке заготовку-брус, подтягивал и переподтягивал тетивой полотно пилы, сто раз проверял и перепроверял черту. Поглядеть со стороны, так хуже нерадивого подмастерья. Никита Иванович вполне с этим согласен. Но ведь и то сказать, в последний раз он вязал раму лет пятнадцать тому назад — как не осторожничать, как не волноваться-тревожиться?

Но на втором шипе дело у него пошло веселей. Рука сама по себе, без малейшего, казалось бы, усилия Никиты Ивановича вспоминала все необходимые, вовсе и не забытые им движения и навыки. Пила в ней прямо-таки пела и выпевала, звенела и вызванивала медными и серебряными колокольчиками, как в давние молодые и возмужалые годы Никиты Ивановича. Он только успевал вытирать пот со лба.

Ну, а дальше все сладилось, сработалось совсем уж по наитию. Подогнал Никита Иванович шипы и гнезда-проушины стамеской, рашпилем и припасовочной пилой, прорубил опять же малой, десятимиллиметровой стамесочкой не гнездо даже, а гнездышко для внутренних, срединных поперечин и — вот он, самый торжественный момент в жизни любого столяра-мастера: связывай, соединяй шипы и гнезда воедино, гляди и радуйся, считай, уже готовому изделию.

Вообще-то Василий хотел поставить на веранде рамы наборные, с множеством мелких ажурных окошек в полукруг. Когда посмотришь на эти окошка-оконца, вытянувшиеся от подоконника до верхнего косяка-лутки, словно по струнке, так волей-неволей почудится тебе в них журавлиный клин, летящий высоко в голубом небе. Какому мастеру не хочется сделать подобную красоту?! Но нежданно-негаданно воспротивилась намерению Василия Наташа. Против журавлей и красоты она, конечно, не восставала (все рушники-утиранники, накидки и скатерти у нее и в журавлях, и в голубях-ласточках, и в цветах-травах), но вдруг сказала Василию со вздохом и тревогой: «Солнышка будет мало, плющ и так все загораживает!»

И Василий, согласился с ней. Ажурные эти, журавлиные, оконца действительно станут скрадывать солнышко, и на веранде навсегда поселятся тень и сумрак. А Наташа — она свет любит, сияние. Покойная Дарья Михайловна точно такой же была. Никита Иванович, когда они вон еще в какие годы, собравшись с недостатками, начали пристраивать к дому

веранду, тоже вознамерился было окна-двери смастерить «с интересом», но Дарья Михайловна за солнышко даже порешительней Наташи заступилась, сказала Никите Ивановичу весело и не обидно: «Знаю я тебя, нагородишь клетушек, после ни солнца, ни простора на веранде не будет!» Никита Иванович уступил ей, хотя у него уже и чертежник был заготовлен под наборную раму. И не то, чтобы поостерегся он спорить с Дарьей Михайловной, а, поразмыслив над ее словами, согласился, что во всем Даша права: подлинная красота не в кружевных плетениях, а в простоте и просторе.

Все шипы и гнезда-проушины сошлись у Никиты Ивановича, словно влитые, в жесткую, неколебимую притирку, без перекосов и пропеллеров. Никита Иванович в последний раз прошелся по всем четырем углам и по внутренним связкам припасовочной пилой, простучал пропилю киянкой, в последний раз промерял рулеткой раму вдоль и поперек, прикинул и по диагонали и даже сам себе удивился — все сошлось миллиметр в миллиметр. «Надо же!» — не смог сдержать он этого своего удивления и радости.

Но потом все-таки пригасил их. Предстояло еще скрепить раму по углам сквозными колышками. В старые годы, прижав угол к верстаку струбцинами, Никита Иванович проделывал отверстия под колышки самым обыкновенным буравчиком. Но как только Василий обзавелся скоростной дрелью с бесчисленным набором сверл по металлу и дереву, Никита Иванович по достоинству оценил это похожее на боевой автомат изделие и выучился им владеть, хотя, честно говоря, с буравчиком ему раставаться было и жаль. Сколько дырочек просверлил он им за свою жизнь — не счесть, а теперь, выходит, как бы предает старого своего, верно служившего ему товарища. Но больно уж медлителен буравчик: в дерево чуть войдет и начинает сразу поскрипывать, постанывать, словно жаловаться на свою судьбу, мол, старый не старый, а давай, трудись, изворачивайся до полного изнеможения. Никита Иванович и внял его жалобам, отстранил от работы, вроде как на заслуженный отдых отправил, на полную пенсию по выслуге лет. Прятать, правда, буравчик далеко не стал (вон он из столярного ящичка с мелким инструментом выглядывает): дрель, конечно, изобретение современное, любое отверстие минутою-секундою просверливает, но оно полностью зависит от электричества, а чуть его отключат — и все: встал хваленый твой быстролетный инструмент. И тогда уж хочешь, не хочешь, а вспомнишь про буравчик, поклонись ему поясню и потихоньку да помаленьку прямым и обратным поворотами (чтоб от стружки освободить) и просверлишь нужную тебе дырочку.

Но сегодня свет был, и Никита Иванович, в одну минуту настроив дрель, прицельно начал сверлить отверстия. Любо-дорого смотреть на такую работу. Не успеешь приставить сверло к метке, нажать на рычажок-пружинку (опять же, чем не спусковой крючок на мосинской винтовке, на карабине или на автомате ПППШ?), как сквозное отверстие уже готово. Бери тепеь заранее заготовленный, нарубленный-наколотый топориком из чурбачка-обрезка колышек и с необходимой осторожностью, чтоб не расколоть в поспешности и нетерпении продольный брус, загоняй его туда киянкой.

Никита Иванович, давая дрели передышку перед каждым очередным углом, оберегая ее от перегрева, забил все четыре колышка в меру туго и плотно — рука сама чувствовала, когда надо остановиться и не переусерд-

ствовать. Припасовочной пилкой он снял оставшиеся от колышек пеньки, зачистил их для верности и красоты рубанком. Потом, ни на мгновение не прерываясь, точно так же зачистил на углах допуски: душа горела и стремилась к последнему этому нехитрому уже действию, к завершению работы.

И вот она — рама — готова по всем статьям и замыслам! Никита Иванович стряхнул с нее рукавом рубахи налипшие кое-где стружки и древесные опилки и торжественно поставил рядом с рамой Василия. И оказалось, что они ничем и не отличимы друг от друга: поменяй, переставь их местами, так и не поймешь, какая изготовлена Василием, а какая Никитой Ивановичем. Вот разве что на раме Василия темно-коричневый сучок размером с копейку-гривенник разместился на левом продольном брусе, а у Никиты Ивановича мелкой россыпью несколько штук (будто родинки или веснушки-ластовынья) на поперечном. Но это уж надо быть слишком приглядчивым, чтоб заметить подобную разницу. Пристроив табурет подальше к двери, Никита Иванович присел на нем, снял ненужные ему теперь очки и долго любовался обеими рамами, представлял, как они встанут на веранде в косяках и будут стоять там и вправду лет сто, не меньше, сияя всегда чисто вымытыми Наташей стеклами, беспрепятственно пропуская внутрь помещения так желанное ей солнышко.

Но еще больше радовался Никита Иванович тому, что все ж таки одолел все свои сомнения и страхи, взялся за столярные инструменты и связал, сладил раму. Оно, наверное, и раньше: и день, и два, и полгода, и год тому назад можно было взяться за них. Так нет же — приспособился сидеть на лавочке, словно кулик на болоте, стенать да жалобиться, что сил нету, здоровья нету. А сила и здоровье как раз в работе и заключены. Пока работаешь, они живут и прибавляются в тебе, а как только опустил руки, то напрочь уйдут и иссякнут.

Тело Никиты Ивановича от сладостной, признаться, уже и подзабытой усталости томилось и изнемогало, то в одном, то в другом месте подрагивало жилочками и суставами, давало о себе знать: мол, действительно живо еще, не умерло, полнится крепостью и напряжением.

И вдруг Никите Ивановичу захотелось есть! Так захотелось, что прямо-таки желудок подвело. Поставь перед ним сейчас миску борща, миску каши, да налей наркомовских сто граммов, так он сметет все единым махом и даже добавки попросит. Хороший работник должен быть и отменным едоком. Это любому-каждому известно. Не зря ведь говорится и пишется: «Ест за четверых, работает за семерых». Никита Иванович в рабочие свои годы едоком был непереборчивым и основательным. Дарья Михайловна нарадоваться на него не могла: за столом только миски-тарелки успевала за ним убирать. А как обленился и засел куликом-вороном на подзаборной лавочке, так все желание и потребность у Никиты Ивановича в еде отпали. За весь день бросит в рот какую корку-щепоть — тем и сыт, и доволен. Наташа корит его за это, увещевает: каждое утро в печи ни свет ни заря специально для Никиты Ивановича, как для малого дитяти, что-нибудь особое, отдельное приготовит. Никите Ивановичу и вправду совестно перед ней, и неудобно, но через силу ничего есть не станешь.

А сегодня, вишь, как все наладилось. И борщ ему подавай, и кашу, и сто граммов с походом налей. Вот что значит работа и работник!

В печи у Наташи всего, конечно, наготовлено, наварено и нажарено, стоит сейчас, упревает. Никита Иванович запросто даже может устроить

в любой момент себе пир горой. Сто граммов у Василия тоже найдется, хотя он к этому и не особенно большой охотник. Но не время еще застолье-праздник устраивать — до обеда добрых три часа. Да оно если все по уму рассудить, застолье с выпивкой и переменной блюд лучше к вечеру, к угасанию дня организовать, когда попрохладней будет и повольней. А пока можно лишь перекусить (перекусить Никите Ивановичу очень даже не помешает) творожными блинчиками с молоком, которые стоят на лавочке и давно дожидаются его.

Никита Иванович поднялся с табурета и вознамерился было сходить за ними, чтоб в охотку и сласть подкрепиться в мастерской-повети при рабочем своем месте, еще раз и еще поглядывая на так удачно изготовленную раму, но вдруг осекся. В мастерской не прибрано, инструменты на законные свои места не возвращены. Так не годится! Никуда даже не годится! Покойный отец всегда научал Никиту (а после и Никита Иванович своих сыновей): после работы первейшее дело — убраться в мастерской, как в горнице, чтоб отходная вся стружка была вынесена, инструменты расставлены на полки, определены в ящики и ременные ячейки-патронташи, которые тянутся вдоль всей стены над верстаком, полы подметены метлой и веником.

Никита Иванович со всей старательностью и принялся за уборку. Прежде всего расставил, рассортировал инструменты, потом щеткой-опалхальцем из конского волоса стряхнул все стружки-опилки с верстака, стараясь не поднимать чрезмерной пыли. Березовая метла и домовый соевый веник стояли в углу возле двери. Там же притаился и ширококозаватный, долбленный когда-то Никитой Ивановичем из дерева липы специально для столярной мастерской совочек. В другом углу отыскалась двуручная ивовая корзина, тоже изготовленная нарочито, для мастерской, чтоб выносить в ней стружки и обрезки.

Никита Иванович вооружился всем этим инвентарем, таким привычным и обиходным, что в былые годы и внимания на него не обращалось. Попользовался и возвратил на прежнее место. А теперь, вишь, после стольких лет разлуки и обратилось, и так отрадно было взять Никите Ивановичу в руки и метлу, и веник, и отполированный до лакового блеска за долгие годы употребления совочек. А уж как отрадно было мести-подметать полы, выуживать из самых потаенных мест стружку, куда та, словно скрываясь от Никиты Ивановича, позабилась, о том и говорить нечего. Уборка — это венец всякому делу, приготовление к празднику. А у Никиты Ивановича сегодня праздник из праздников — работа!

Стружек и обрезков набралась полная корзина. Никита Иванович поначалу даже забоялся, осилит ли он ее, донесет ли за поветь и сарай, где под навесом хранились наколотые и сложенные высокими штабелями дрова. Но потом он поднатужился, сорвал корзину с места и пошел, пошагал в обнимку с ней (какой там вес в стружках и опилках — легче пушинки), опять радуясь, что и эта работа поддалась ему, осилилась, и что в дальнейшем для Никиты Ивановича путешествии обходится он без палочки-посошка.

Корзину Никита Иванович опрокинул в невысокую дощатую загородку, как раз и оборудованную для того, чтоб хранить в ней стружки, обрезки и всякий прочий отходный материал из столярной мастерской. Наташа использует его для растопки печи и лежанки. Лучшего материала-поджога и не придумаешь — занимается от единой спички.

Разровняв стружки равномерно по всей загородке, Никита Иванович

для верности придавил их, прижал сверху дровяными полешками (вездесущие куры вмиг обнаружат новину и разгребут, растащат по всему двору) и налегке направился назад, чтоб теперь уж без промедления устроить себе предварительную легкую трапезу. Но возле водопойной бочки он на минуту попридержал шаг, заглянул в нее и немало удивился — бочка была, считай, напрочь пустая. Плескалось глубоко на донышке всего ведра два-три замутненной воды — и весь потоп. Видно, вчера с вечера Василий и Наташа в спешке и суете подзабыли пополнить ее. Сегодня им тоже было не до воды: к Сергею и внукам в дальний город гостевать нацелились. Утром Зорянка утолила жажду перед выходом на пастбище из вчерашних запасов, а к возвращению ее обратно Василий и Наташа надеются быть уже дома — тогда и накачают насосом из колодца свежей ключевой воды.

Ну, а вдруг задержатся допоздна, загостуются, засидятся в застолье, с внуками заиграются?! Вон и насчет калитки они Никиту Ивановича не зря предупредили. И что же тогда получится?! Корова придет, устремится к водопойной бочке, а там всего мелкая лужица на самом дне, до которой Зорянка и не дотянется — рога не допустят.

Года три-четыре тому назад Никита Иванович и минуты бы не горевал по такой безделице: подхватил бы ведра да к колодцу, а нынче опасно ему загораться на такой подвиг и промысел: полновесное ведро воды не то, что ивовая корзина со стружками-опилками, осилит ли он по немощи своей его?

Сам не зная зачем, Никита Иванович колыхнул бочку рукой, поглядел еще раз в ее темную глубину и все-таки нашел себе утешение: Василий с Наташей хозяева рачительные — не может такого быть, чтоб они запмятовали про воду для Зорянки. Просто-напросто рассчитывают и надеются к вечеру обернуться. А насчет калитки они предупредили Никиту Ивановича на всякий случай, чтоб он зазря не переживал и не тревожился.

Поставив пустопорожнюю корзину в повети на место, Никита Иванович без перерыва и роздыху устремился через весь двор на улицу за тарелкой-миской с творожными блинчиками и кувшином с молоком. И так устремился, что даже позабыл захватить с собой опорный посошок. Опамтывался он только на полдороге, с удивлением остановился и заоглядывался по сторонам, бестолково завертел головой то на калитку, то на мастерскую-поветь, не ведая, как ему теперь поступить: то ли возвращаться назад за посошком, то ли уж путешествовать и дальше налегке, своими силами. Сомнения его развеял опять неожиданно-негаданно налетевший из-за огорода буранный какой-то ветер. Он так подтолкнул Никиту Ивановича в спину, между лопаток, что тот невольно сделал два-три шага по направлению к калитке, а потом уже и остановиться не мог. Да и чего было останавливаться, чего было сожалеть о посошке-кривульке, когда ветер вон как поддерживает и мчит на улицу. К тому же и то стоило взять в расчет, что когда Никита Иванович настроится идти в обратную сторону, так обе руки у него будут заняты: в одной миска с блинчиками, а в другой — кувшин. И куда же в таком случае прикажете ему девать обременительный посошок? Под мышкой или за ремешком-поясом что ли тащить его назад в поветь?! Так ведь не боевая он казацкая шашка, без которой казак не казак!

В общем, отбился, отвязался Никита Иванович от назойливого посошка, и — ничего, все обернулось очень даже согласно: прижимая кувшин

и миску в обхват к груди, Никита Иванович проделал обратный путь без особых приключений. Ветер и теперь помогал ему, поддерживал встречаемыми своими порывами, будто туго натянутыми парусами, не позволяя завалиться ни вправо, ни влево, ни упасть, к примеру, на землю ничком. Так он и довел Никиту Ивановича до повети и даже, развернувшись в нужный момент одним своим крылом, легонько подтолкнул в дверь.

«Вот то-то же!», — сказал Никита Иванович в назидание посошку, который сиротливо и обидчиво таился в уголке в обнимку с метлой и соевым венником. Тот в ответ лишь вздохнул и повернулся кривулькой к стенке, хотя чего тут обижаться, радоваться надо, что Никита Иванович обошелся без него, дал отдохнуть и выпрямиться.

Трапезу себе Никита Иванович устроил на верстаке. Расстелил попавшую под руку газетку (Василий большой любитель почитать их здесь, в мастерской, в минуты отдохновения), водрузил на нее миску с кувшином и, подвинув поближе табурет, принялся за угощение. И что ж ты думаешь, не успел вдохнуть-выдохнуть, как ни единого блинчика и в помине не осталось, молоко в кувшине тоже переполовинилось. Вот едок, так едок! Жаль, не видит его сейчас Наташа, а то бы она все прежние свои упреки насчет слабого аппетита Никиты Ивановича напрочь оставила бы и позабыла.

После сытной такой трапезы, как и после хорошей работы, Никите Ивановичу, конечно, опять полагалось бы по всем правилам выйти из повети, с большой осторожностью перекурить где-нибудь в тени под деревом, а потом и вздремнуть полчаса-час (рабочему человеку больше и не надо, как эти полчаса-час безмятежного полуденного сна, чтоб после снова без усталости трудиться до самой зари вечерней), все на том же верстаке в повети. Никита Иванович прежде всегда так и делал, так и поступал.

Но теперь с куревом покончено раз и навсегда. Никита Иванович даже подзабыл всю его томительную сласть и головокружение. А вот передохнуть на верстаке можно. В повети в любую, самую знойную полуденную жару прохладно и не душно. Подложишь под голову телогрейку-стеганку, которая для такого случая всегда висит при входе на гвоздике, пиджак или картуз и, не успеешь прислонить к ним голову, как сон охватит, окутает тебя туманом своим, и ты безраздельно провалишься в него.

Верстак звал Никиту Ивановича, манил к себе, словно царское какое ложе, и он легко поддавался неодолимым тем приманкам. Немного, правда, поразмыслил, что лучше положить под голову — картуз или телогрейку? На телогрейке, конечно, помягче и повыше, но ведь и под бок что-то бросить надо: старому его, костлявому телу на голых досках поди будет мулко. Наконец решил, что многоумная голова и на картузе приладится за милую душу, а вот тело надо побережь. Оно совершенно привередливым стало: чуть что не по нем, так после не разогнешь и не сложишь — бревно бревном.

Ложе у Никиты Ивановича получилось, действительно, куда твои царские пуховые перины. Давненько он на таком не почивал. Наташа как раз мягкими перинами-подушками Никиту Ивановича и балует, да еще сверху и одеялом верблюжьей шерсти прикрывает. Оттого, может, и бессонница по ночам Никиту Ивановича мучает, оттого, случается, он глаз до самого рассвета не смыкает. А тут, гляди, как все славно устроено: под боком телогрейка распростерта, под головой — картуз суконный. На фронте, бывало, Никита Иванович точно так же на краткосрочный сон-отдых

устроивался: телогрейка-шинелька под боком, краснозвездная пилотка в головах, и — ничего, спал со всей молодой крепостью, никакие снаряды-бомбежки разбудить не могли.

Нынче, разумеется, годы у него не те, но ведь и войны, слава Богу, никакой нету, тишина и покой в округе — спи, не хочю! Один только пехот-горлан поет во дворе, так он для сна не помеха.

Взбираясь на верстак, Никита Иванович принял на всякий случай меры предосторожности. Оперся вначале коленкой на табурет, а с него уже вполне благополучно взметнулся и на возвышение, на телогрейку (а до этого ведь промелькнули у него было даже сомнения — взберется на верстак без посторонней помощи или не взберется).

Умацивался Никита Иванович на ложе недолго: растянул во всю длину сладко утомленное тело, подложил под голову руки и тут же начал уходить в сон, тоже сладкий и тоже утомленный, каким не спал, Бог знает, с каких времен. Ему сразу стало что-то сниться, грезиться: вначале вроде бы туманное и неясное, а потом все ясней и ясней. Еще бы мгновение, минута, и Никита Иванович легко бы разгадал все эти видения и грезы. Но вдруг, откуда ни возьмись, предстала перед его взором (во сне ли, наяву — не разобрать) пустая водопойная бочка. А вслед за тем и корова Зорянка. Придет она с пастбища, ринется к бочке, а там воды на самом доньшке, в глубине, куда рогастой корове никак не дотянуться. И что прикажете измученной жаждой животине в таком расстройстве делать?! Только ревмя реветь, да бочку опрокинуть и ногами ее истоптать.

Сон от неожиданного этого беспокойного наваждения у Никиты Ивановича как рукой сняло. Он проворно вскочил с верстака (чего, признаться, от себя и не ожидал), спустился на пол и безоговорочно порешил, что передохнуть можно и опосля, а сейчас надо водопойную бочку помаленьку да потихоньку наполнить, чтоб она больше его ни в дреме, ни в бессонном лежании не тревожила.

Колодец у них во дворе. Путешествия до него всего ничего, метров пятьдесят. Поди Никита Иванович не переломится, если принесет десять — пятнадцать ведер воды. Занятие это всегда почиталось детским, ребячьим. Никита Иванович совсем еще мальчонкой был, лет двенадцати, а за ним, отцом и матерью закрепилась ежедневная обязанность наполнять водопойную бочку. И ничего, справлялся. Поначалу носил воду всего лишь одним не больно объемным ведрком, а когда подрос, то вооружался уже двумя полноценными, двенадцатилитровыми, иногда, правда, для облегчения пользуясь коромыслом. А ведь воду они тогда набирали из колодца уличного, дальнего, расстояние до которого вдвое, тройное, а то, может, и четверо пространнее, чем до своего, дворового.

Мода на домашние дворовые колодцы пошла у них в селе в середине семидесятых годов. Народ к тому времени уже оттаял от войны, обжился, вошел в какой-никакой достаток. В районе стали образовываться всевозможные ремстройконторы и бригады, которые не за бог весть какую плату брались перекрывать шифером по окрестным селам соломенные обветшавшие крыши, менять деревянные недолговечные ушуглы на железобетонные, устраивать бани. Образовалась и механизированная бригада по рытью колодцев и скважин.

Василий одним из первых в селе и заключил с ней договор. Поначалу он загорелся на новомодную скважину. Но Дарья Михайловна, Наташа, да и Никита Иванович, узнав, что воду из скважины надо доставать либо вот такусеньким ведрком со складывающимся дном, либо качать

электрическим насосом, в три голоса воспротивились намерениям Василия. Как-то оно шибко замысловато получается и не по-человечески. Темень в той скважине египетская, ни самого малого блюдечка воды не видать, ведро ухнет в эту тьму, а вернется ли назад (полное ли, пустое ли), еще неизвестно. Насосом же качать воду, к примеру, для полива сада, конечно, удобно и необременительно, но для домашних кухонных нужд как раз и обременительно, и неудобно, да и опасно: женщины им пользоваться не умеют, того и гляди, спалят-пережгут или обронят в бездонной этой скважине.

Колодец же — дело привычное, родное. В нем простор и свобода. Вода, издали видимая и доступная, плещется, родниковым прозрачным озерцом, колыхнешь ее ведром, приспособленным на журавлином крюке или на цепи-коловороте, и она по-живому отзовется на то колыхание подлинно озерным всплеском, волной и прохладой.

Василий послушал-послушал доказательства Дарьи Михайловны, Наташи и Никиты Ивановича в пользу колодца, и сломил свое сопротивление, согласился с ними. Закупил он в районе восемь железобетонных колец, и землеройная бригада при посильной помощи, совете и досмотре тогда еще пребывающего в силе и здравом уме Никиты Ивановича в одну неделю колодец углубила до родниковой ключевой воды. Цепной коловорот и двустворчатую будочку-укрытие над ним Василий с Никитой Ивановичем установили уже сами. Дарья Михайловна, правда, настаивала, чтоб они возвели более привычный и удобный для нее журавель. Василий и тут согласился с матерью, но не получилось — пространства для журавля во дворе не хватало. С тыльной стороны мешала крыша соседского сарая, а со всех остальных — сад: яблони, груши, сливы-вишни, которые в лучшем случае пришлось бы обрезать по высоким, самым плодоносным ветвям, а в худшем — так и вовсе спилить и выкорчевать. Дарья Михайловна, главная хозяйка и радетельница сада-винограда, такого и помыслить не могла, смирилась с коловоротом и приспособилась добывать им из колодца воду не хуже, чем летучим журавлем. А когда Никита Иванович взметнул на островерхом коньке будочки-укрытия голосистого золотого петушка, она и вовсе подобрела к нему, переговаривалась даже, случилось, с тем задиристым петушком, повелевала ему сторожить их дом и усадьбу, их царство-государство бдительно и неусыпно.

Для экономии времени заходить в дом за ведром Никита Иванович не стал, а решил попользоваться тем, что обреталось в повети-мастерской, все равно воду в нем надо бы сменить, прогрелась она за день, замутилась. Выплескивать, однако, ее почем зря на улицу он не посмел, а обильно полил комнатные цветы: герани, огоньки, фиалки, кактусы-столетники, что всегда стояли у Василия в летнюю пору в мастерской на подоконнике. Тоже, небось, истомились от жажды?!

Полный решимости и отваги, Никита Иванович вышагнул было за порог, но потом вернулся назад и взял в свободную руку отдохнувший и как бы даже помолодевший посошок. Тут храбрись не храбрись, а осторожность не помешает. Тяжелое ведро склонит тебя в одну сторону, и не успеешь оглянуться, как опрокинешься наземь, а посошок-кривулька, верный товарищ и побратим, выручит, не даст опозориться и осрамиться, уберезет от нечаянного увечья.

Ради все той же осторожности и пробы Никита Иванович первое ведро наполнил не по самый венчик, как это полагалось бы по всем водоносным правилам и обычаям, а всего лишь на треть, не долив до венчика

ладони на две. Нес он его бережно, за каждым зыбким шагом поглядывал, не плещется ли вода и при таком малом наполнении через край. Трудовую правую руку Никита Иванович для лучшего удержания приспособил на бедро, а левую, с зажатым в ней посошком, откинул на отлет и, захватывая далеко вперед землю, опирался на него с удвоенной силой, подталкивал себя и тем сохранял равновесие. Со стороны посмотреть, так смешно, наверное, все это у него получалось. Идет, хромает, будто колченогий петух. Но, слава Богу, никто не видит его позора и немощи. Соседи все по работам, в полях и огородах, а с улицы Никиту Ивановича укрывает высокий забор и садовые деревья. Да оно и не в соседях, не в людях дело: от себя стыдно. Дожился, доработался старый солдат, пехотинец и сапер, ведра воды толком принести не может. А ведь бывало...

Что бывало, Никита Иванович вспомнить не успел, опрокинул ведро в бочку (воды там не прибавилось, кажется, ни на каплю — вся брызгами она разлетелась по стенам). И вдруг такая обида и такая злость разобрала его, что хоть криком кричи и стеной. Если и вправду Никита Иванович будет носить воду всего по полведерка, то и до позднего вечера бочку не наполнит. Лучше уж было и не начинать, не испытывать себя. А если начал, так, будь добр, работай, как надлежит работать серьезному, ответственному мужчине. Отбрось в сторону посошок, который на самом-то деле никакой тебе не помощник, а только помеха, бери в руки два ведра, держи ими равновесие — и действуй. А то вон уже и куры над тобой смеются, не то, что люди.

В нештучной этой горячке и обиде Никита Иванович сходил в сени, взял там запасное ведро и, отбросив, где придется, посошок, заторопился к колодцу скорым и широким шагом. Воды он теперь в оба ведра налил всклень, под венчик и ободок. И как-то сразу на душе у Никиты Ивановича потеплело.

Вода в ведрах первородно колыхалась, шла волною и хвылею, раза два даже выплеснулась через край, побуждая Никиту Ивановича браться за дужки. И он, не медля ни минуты, взялся, сорвал ведра с земли и пошел, пошел, шаг за шагом, не клонясь ни влево, ни вправо, а точно по тропинке, как солдат на занятиях по строевой подготовке. Плечи от тяжести у него приспустились, но не обвисли, а налились силой и крепостью, которая передалась им от живой и живительной воды из полновесных ведер.

Глядя на трудовой подвиг Никиты Ивановича, куры от изумления затихли, перестали копошиться и кудахтать в траве-мураве, выискивая там себе какую-то поживу. И лишь главарь их и предводитель, рябой петух, растопырив крылья, закричал так голосисто и горласто, что сторожевой золоченый его сородич на колодезном коньке тоже встрепенулся, привстал на одной ноге и закричал ответно еще громче и еще голосистей. По крайней мере, Никите Ивановичу так почудилось и послышалось.

— Ну, раскричались! — для порядка приструнил заполошнных петухов Никита Иванович, хотя самому и было приятно (чего уж тут скрытничать), что оба они, и живой, и золоченый, так победно приветствуют его, поощряют и оказывают душевную помощь в труде.

Одно за другим Никита Иванович опрокинул ведра в бочку, и воды там сразу заметно прибавилось: она поднялась на добрую ладонь вверх, омыла сухие, успевшие даже порыжеть на солнце дубовые клепки, которые от удовольствия и утоления жажды возвышенно скрипнули, будто ойкнули в обручах.

Удаче своей и обретению Никита Иванович по-мальчишески обрадовался, подхватил пустые, облепленные ведра и, не давая себе и самой малой, минутной передышки, устремился назад к колодцу. Радость, она, конечно, радость, но только обольстись ею чрезмерно, расслабься, так тут же поплачешься: тело разомлеет, рассупонится, и захочется тебе присесть, а то и прилечь где-нибудь в теничке. Знает Никита Иванович эти обольщения, испытывал. В молодые годы они, к примеру, не очень-то и опасны: посидел-полежал, перекурил, хрустнул отдохнувшими костями да и побежал дальше. А нынче и поостеречься надо — поспешай дело крестьянское делать, пока кости приспособились к движению и не встали колом.

Водопойная бочка была у них двадцативедерная, и Никите Ивановичу пришлось сделать еще восемь ходок, да потом в заключение одну дополнительную, девятую, как и замысливал он первоначально: позаимствованное в повети ведро полагалось вернуть назад, наполненное свежей глубинной водой. Никита Иванович и вернул его, устойчиво водрузил на лавку, прикрыл сверху крышкой, а рядышком на виду и подхвате поставил кружку, предварительно хорошенько ополоснув ее от возможной пыли. Второе ведро можно было определить в сенях и опорожненным, каким и брал его в пользование. Но Никита Иванович проявил тут своеволие, вполне вразумительно решив, что лишняя вода в доме никогда не помешает. Вернется Наташа с гостеваний, станет хлопотать возле печи, мыть-перемывать после ужина посуду, так вода эта очень даже ей пригодится.

Управившись с ведрами, Никита Иванович подобрал оброненный посошок, чистосердечно повинился перед ним, мол, сам понимаешь, работа есть работа, ее на трех ногах делать не годится. Посошок вроде бы простил его, надежно лег ручкой-кривулькой в ладонь, и они опять сроднились с ним — два старых, неразлучных вон уж сколько лет товарища.

Когда работаешь, время летит минутою и даже секундою и мгновением, не то, что на подзаборной лавочке в безделье и скуке: там оно тянется, словно замороженный вол в скрипучей телеге. Пока Никита Иванович таскал воду, гремел ведрами, переговаривался-перекликался с петухами и курами, солнце поднялось в полуденную свою высоту и даже заметно стало клониться за речку, к закату.

Опираясь на оброненный посошок, Никита Иванович подошел к повети, присел на порожек и стал не так уж чтоб и чрезмерно, но все ж таки чутко прислушиваться к себе, определять, требует его разгоряченное тело получасового отдыха или можно просто посидеть здесь, на порожке, в тени и прохладе, да тем и удовлетвориться. Вроде бы требовало, млело и томилось, всеми частями и членами, понуждало Никиту Ивановича ко сну, утомленное домашней, не бог весть и какой, если сравнить с былыми временами, работой. Он склонен уже был подчиниться этому требованию и, проникнув в поветь, залечь на верстаке, тем более что и телогрейку он убрать с него и повесить на гвоздик не успел. Но тут неожиданно-негаданно заволновался в сарае поросенок, а вслед за ним подал голос и малый, сеголетний бычок, который обретался в загоне рядом с порослячьей клетушкой-закутой.

— Вы чего, ребята?! — издали крикнул Никита Иванович. — Не кормлены, не поены, что ли, или от баловства и скуки ревете?!

Поросенок и бычок на минуту затихли, а потом отозвались еще громче и настойчивей, требуя к себе внимания, хотя, если разобраться, то,

может, и неурочно. Собираясь утром в дорогу, Наташа накормила поросенка с добрым запасом да еще и добавки плеснула в корытце (Никита Иванович видел, как она уже перед самым отъездом носила в сарай ведро с картофельно-мучным замесом), так что можно целый день спать-нежиться, зарывшись в солому. Бычок тоже не обижен. Василий бросил ему в ясли здоровенную охапку-навильник свеженакошенной травы и в отдельном ушате-цеберке поставил опять же мучного поила — неужто все подобрал?

При таком визге, волнении и реве малолетних обитателей сарая Никите Ивановичу с отдыхом пришлось повременить. Оно, и время, по здравому размышлению, для него прошло. Отдыхать надо было часов в одиннадцать — половине двенадцатого, а нынче уже поди второй час; все, кто отдыхал, давно на ногах, бодрствуют и втягиваются в новую полуденную и вечернюю работу.

В бревенчатом рубленом сарае было темно и незнойно. Никита Иванович пошире распахнул ворота, чтоб при солнечном дневном свете, который сразу устремился туда, отеснил темноту и сумрак в дальние углы, поглядеть, что там у поросенка с бычком за беда, что к чему. Оказалось, поросенок по малому своему возрасту, играясь и балуясь, перевернул корытце, откатил его к стене да еще и зарыл в солому-подстилку. Вообще он норовистый парень, непоседливый, как бы не пришлось вставлять ему в пяточок железное кольцо, чтоб поспокойней себя вел. Но это, понятно, попозже, когда войдет он в силу и вес. А пока, куда ж денешься, надо потакать ему, хотя и строгим словом окорачивать не мешает.

— Ну, что, — проникнув в закуту за корытцем, вступил с кабанчиком в переговоры Никита Иванович, — проголодался?

Кабанчик в ответ пронзительно взвизгнул, замахнулся даже было на пустое корытце мордочкой, но потом опомнился, виновато зачмокал пяточком и сказал на поросячьем своем языке Никите Ивановичу:

— Оно само перевернулось!

— Ладно тебе, само! — погрозил ему посошком Никита Иванович. — Озорничал, небось?!

Кабанчик отвернул пяточок в сторону, засопел, будто заплакал, а потом вдруг повалился на бок и подставил Никите Ивановичу розовое свое, покрытое белесой щетинкой тельце, зная, что тот непременно почешет сейчас и за ухом, и по спине, и по нежно-молочному животу. Наташа, главная кормилица и поилица кабанчика, приучила его к этому. Никита Иванович не устоял перед просьбой разомлевшего озорника, присел на корточки и почесал его везде и повсюду, хотя и не преминул для назидания и потрепать за ухо. Кабанчик лежал тихо и смиренно, вытягивал от удовольствия ноги, полусонно помахивал скрученным в колечко хвостиком да чуть слышно похрюкивал и повизгивал. Ну, дитя дитем!

На том они и помирились. Кабанчик, кажется, совсем разомлел и уснул под рукой Никиты Ивановича или притворился спящим (тот еще игрун!), а Никита Иванович, поправив корытце, устремился в дом, чтоб приготовить для оголодавшего неслуха-баловника новую, обеденную порцию замеса-болтушки вместо так нахально им опрокинутой.

В сенях Никита Иванович добыл из-под лавки специальное, называемое у них в доме «поросячьим» ведро и принялся готовить кабанчику обед. Из дубовой объемистой рязки он зачерпнул несколько горстей сваренной Наташей утром и усердно помятой толкачем картошки, добавил туда совочек ржаной муки из мешка, что стоял здесь же, в сенях на лавке.

Потом Никита Иванович со всеми предосторожностями достал ухватом из печи чугунок с горячей водой и, по мере потребности подливая ее в ведро, принялся творить замес-болтушку. В деревенской жизни вообще-то дело это сугубо женское. Хозяйка на то и хозяйка, чтоб варить обед, стирать, убираться в доме, да кормить всю домашнюю живность: коров-поросят, кур-уток, гусей-индюшек, если они у кого есть в подворье. Мужчины в женские пределы не вмешиваются, у них свои обязанности: пахать землю, косить сено, рубить дрова, заниматься столярным или плотницким мастерством. Покойная Дарья Михайловна Никиту Ивановича в свои владения допускала редко. Наташа держит Василия тоже подальше от кухни. Но бывают случаи (заболеет хозяйка, занеможет или окажется в отъезде, как нынче Наташа), когда мужчина ломает свою гордыню и привычку, берется и за ложки-поварешки, и за стиральное корыто, и за нитку с иголкой. Никите Ивановичу, правда, ничего ломать не надо. Для него сегодня и такая вот совсем неброская, немужская работа в радость и удовлетворение. Руки, а еще больше душа, соскучились по ней, притомились в безделье. И разбираться тут некогда: мужская она или женская — зазорной работы в человеческой жизни не бывает. Лень и безделье зазорны — это да! А работа, если только ее не спустя рукава, не равнодушно делать, всегда в радость, было бы только здоровье да какая-никакая сила.

Подбадривая и вдохновляя себя такими вот разумными рассуждениями, Никита Иванович «забелил» поросячью трапезу кружкой молока, словно наваристый борщ сметаною, и понес в сарай. Без такой «забелки» разбалованный Наташей кабанчик есть не станет, разгневется, рассердится и с досады прямо на глазах у Никиты Ивановича опять опрокинет корытце. Разгорячась и сразу не разведав, не распробовав еду, он и с «забелкою» может корытце в одну минуту перевернуть вверх дном. Наташа сколько раз жаловалась на него. Но Никита Иванович тоже не лыком шит. Уж чего-чего, а перехитрить кабанчика-разбойника он пока еще сумеет.

Прежде чем налить болтушку в корытце, Никита Иванович отыскал в повети хорошую проволоку и за поперечную ручку основательно прикрепил, приторочил его к дверному косяку. Кабанчик поколебал корытце туда-сюда мордочкой, но быстро уразумел затею Никиты Ивановича и с завидным аппетитом, с похрюкиванием и даже стоном припал к еде, радуя старого хозяина своим послушанием.

Никита Иванович несколько минут постоял еще возле закуты, почесал кабанчика ради поощрения вдоль хребта, а потом распрощался с ним и пошел к бычку, который уже тянул к нему поверх перекладки голову с начавшими пробиваться рожками.

— У тебя что за оказия, звездочет?! (у бычка на лбу горела-светилась яркая молочно-белая звездочка — оттого и звездочет), — тоже со всей строгостью в голосе спросил Никита Иванович.

— Да вот, — чистосердечно признался бычок, — траву из яслей рогами повыкинул и истоптал ногами-копытцами, а теперь есть хочется.

Никита Иванович заглянул в ясли, проверил, так ли оно на самом деле. И вышло, что так. Трава, считай, до самого доньшка была повынута и брошена под ноги (молочные рога у бычка растут, чешутся, беспокоят его — он и балует). Цеберко с пойлом, к счастью, осталось нетронутым. Попить из него бычок попил (и, похоже, не раз), но с места не стронул, поостерегся. И то хорошо.

— Ну, что с тобой делать?! — покачал головой Никита Иванович. — Сейчас что-либо придумаем.

Хотя, чего ж тут думать, чего чрезмерно размышлять?! Вон в углу стоят две косы: одна взрослая, мужская — «девятка», а другая, детская и женская — «семерка». Не коса даже, а скосочек, которым когда-то Василий приучал к косьбе своих сыновей-подростков, Сергея и Степу, как в былые, довоенные времена отец приучал и самого Никиту Ивановича. Бери любую и отправляйся с нею хоть за огороды, в луга, где на торфяном болотце стелется понизу мягкая трава гусытник, а хочешь, в вишенник, что зеленокипенным островком раскинулся у них по меже, сразу за воротами. Там трава иного произрастания: садовая, межевая — пырей, овсяница — бычок-третьячок до нее особо охоч.

Никита Иванович взял было косу-«девятку» (косить так косить), но потом со вздохом вернул ее на место. Не потянет он нынче «девятку», под нее сила нужна мужская, в самом соку и разгаре, а не стариковская, исходящая. К тому же, «девяткою» лучше управляться в лугах, где простор и размах, но ведь путешествие туда далекое и опасное. Порожняком, с одною только косою на плече да поводком на поясе Никита Иванович, может, как и доберется, а обратно, груженный вязанкою, поди, и задохнется. Так что целиться ему надо в ближний вишенник, где в междурядье молодых и старых, но еще плодоносящих вишен, «семерочка» будет Никите Ивановичу и в силу, и в неширокий прокос-ручку.

Он легко, будто играючись, подхватил ее на плечо, подпоясался поводком, который обнаружил тут же на вбитом в бревенчатую стенку костыле, в карман положил брусок-монтачку и в полном вооружении и отваге вышел за ворота, в вишенник.

Трава там стояла в пояс, да такая густая, такая сочная, в полном наливе от недавно прошедших дождей. Василий, добывая прокорм бычку в лугах, ее не трогал, словно нарочито берег для такого вон непредвиденного случая, когда Никита Иванович определится в косари.

Косить поясную эту траву лучше бы по утренней или по вечерней росе, как косили они когда-то в памятные довоенные годы луговой свой надел с отцом и братьями или в послевоенные, с малолетним Василием. Но бычок-третьячок до вечера, вишь ты, ждатель не желает. Ему сейчас, в самую жару и спеку, вынь да положи подкормку.

Никита Иванович остановился на опушке вишенника, покрепче упер косью в землю и начал наводить-монтачить детско-стариковскую свою «семерочку». И какой звук от нее пошел, какой голос: возле пятки стремительно-острый, высокий и звенящий, а возле носка, когда Никита Иванович обхватил-обнял полотно косы рукой, глуховато-низкий, но все равно такой желанный Никите Ивановичу, и так веселящий его вмиг помолодевшую душу.

Первые два-три замаха дались Никите Ивановичу как бы даже и с трудом: в пояснице что-то опасно колыхнулось и напряглось, а в простреленной на войне возле самого плеча левой руке вспыхнула застарелая боль. Но потом он приловчился, перенес, перетерпел эту случайную боль и неудобства и через минуту, через шаг-другой забыл о них и думать. Скосочек, тоже, было видно, крепко соскучившийся по работе, вжикал в траве со всей старательностью и прилежанием, подрезал ее под самый корешок, выбривая, как у них говорят, до твердого садового дерна. Сразу запахло травяным, живительным соком, подрезанной кое-где на бугорках земель, потревоженными корешками. Запах этот смешивался с запахом вишневого, проступившего в полуденную жару то там, то здесь на стволах вишневого клея, вишневого, чуть привядшего на солнце листа и

самых ягодок-вишен, терпко-сладких и темных. К нынешней поре, к середине августа, вишня, понятно, давно уже отошла — отцвела, налилась соком и созрела. Сергей со всем семейством, внуками, правнуками приезжал собирать ее урожай. То-то было здесь веселья и гомона! Но кое-где на отдаленных вершинках, да и понизу на густых кустистых веточках одна-две (а то, гляди, и пять-шесть) вишенок укрылись от проворной детворы. Теперь вишенки уже перезрели, привяли и оттого так томительно пахли и были так желанны любому и каждому, кто обнаруживал их и добывал в укритии. Иная вишенка была тронута клювиком беспокойно-ветреного воробья, но это не беда. Вокруг поклевки проступил сок, запекся, и ягодка стала еще слаще, еще томительней, а, случается, так и вовсе хмельной.

Никита Иванович в детские свои, мальчишеские годы очень любил охотиться за этими перезрелыми вишенками, отгонял от них воробьиные шумливые стайки, рвал и понизу, и на гибких вершинках, куда взлетал стремглав. От его пристального взгляда не укрывалась ни единая ягодка, и Никита, бывало, набирал их полный картуз и для себя, и для малолетних братьев, Вани и Степы, которые, запрокинув головы, стояли у подножья деревьев.

Никита Иванович и теперь не удержался от поиска. Увязав потуже поводком вязанку, он помедлил вскидывать ее на плечи, а пошел по прокосу вдоль вишенного ряда, и, что ж ты думаешь, обнаружил с полдсятка ягодок, как раз таких, о каких и мечтал — перезрело-привядших и тронутых воробьиными клювиками. Были они и на дальних вершинках, но туда Никите Ивановичу уже не добраться, не взлететь, пусть ими всецело распоряжаются и лакомятся воробьи. А эти, низовые, Никита Иванович по-ребячьи оборвал в картуз, присел на вязанку и начал тоже по-мальчишески забавляться (смаковать, как у них говорят) последними в уходящем плодоносном году наливными вишенками. Иногда он в хмельной истоме прикрывал глаза, и ему вдруг начинало казаться, что вон там, на другом краю вишенника в густой траве стоят два его младших погибших на войне брата, Ваня и Степа, и терпеливо ждут, когда он поделится с ними добытым урожаем. Никита Иванович протягивал им весь картуз, но тот резко провисал и ронялся на землю, а братья исчезали, будто намеренно прятались от Никиты Ивановича в молодом вишенном подлеске. Он лишь вздохнул от этих неожиданных-негаданных видений, подхватил вязанку и, несколько раз опасно пошатнувшись, понес ее во двор.

Бычок встретил Никиту Ивановича веселым задорным мычанием, жадно набросился на траву и незаметно вернул косаря и собирателя позднего урожая в сегодняшней день, в непреходящую трудовую жизнь.

Косу, поводок и монтачку Никита Иванович определил в уголок, в прежние, узаконенные для них места: косу рядом со старшей ее, взрослой сестрой-«девяткой», поводок на крюк, а монтачку на дощатую полочку, где она всегда и покоилась по заведенному когда-то отцом порядку. Василий поди и не заметит никакого в них нарушения, а то ведь может и рассерчать. «Чего ты, — скажет, — отец, изнемогаешь, я сам, что ли, не накошу травы?!» Накосить-то он, конечно, накосит, но ему, молодому, не старому еще, не понять пока, как охота было взять Никите Ивановичу в руки косу, как охота помонтачить ее брусочком-монтачкой, а уж как охота пройти хотя бы маленький прокос — о том и говорить нечего. Это понимание только в большие, древние годы настигает человека.

Уняв поросенка и бычка, Никита Иванович поплотнее притворил ворота в сарае, чтоб туда не проникли вездесущие куры (они нахальные — залетят и в закуту к сонному кабанчику, чтоб полакомиться остатками его трапезы, как будто своей, куриной, еды им во дворе не хватает; и в ясли к бычку, разгребут там забавы ради свеженакошенную траву) и присел опять на порожке возле повети.

Порожек был уже весь в тени и прохладе. Солнце обошло поветь с тыла и теперь тешилось на огороде: то стремительно бежало по желтогорячим головам подсолнуха, словно пересчитывая их, то пряталось в высоко сложенных на стерне копах и полукопах-кресцах золотисто-дозревшей ржи, то вдруг устало падало на крышу старинной баньки, что притаилась у них напротив вишенника по другую сторону огорода под узколиственной вербой. Никита Иванович во всем понимал предвечернюю эту усталость солнца. Попробуй, посвети с четырех часов утра, согревая все окрест, начиная от самой малой, мелкой букашки и травинки и заканчивая высоченными деревьями, быстротекущей рекой, лугом и полем, так притомишься к полудню донельзя и захочется тебе отдохнуть на пологой крыше укромной баньки. Никита с братьями, бывало, тоже взбирался туда по крутой лесенке и мог, распластавшись, часами лежать на осиновых, поросших кое-где зелено-кустистым мхом досках, словно на мягкой перине (банька тогда была у них покрыта деревянным тесом, хорошо державшим влагу и тепло). Отрадно было им с братьями роскошествовать на ней, слушать шелест листьев молодой еще в те годы вербы, вести задушевные мальчишеские разговоры, предаваться мечтам и мечтаниям. Теперь по новой моде банька, разумеется, перекрыта шифером, но солнышку покойно и на шифере, потому как верба без малого за век разрослась и ввысь, и вширь и нависает над банькой тeneвым густотканым шатром.

Боясь вспугнуть притаившееся на крыше солнышко, Никита Иванович сидел на порожке тихо и бездыханно, изредка лишь позволяя себе позабавляться посошком, провести по земле длинную, словно итоговую какую черточку. И дочертился до того, что неведомо как, каким путем и образом настигло его за этим подлинно стариковским занятием одно неодолимое желание. А чего бы это Никите Ивановичу после трудов праведных не помыться в баньке?! Очень даже неплохо было бы помыться-попариться, переодеться в чистое, свежее белье и встрегить Василия с Наташей добрым разудалым молодцем. Никита Иванович немедленно бросил унылую стариковскую забаву, затоптал, засыпал песком черточку и, свободно помахивая посошком, пошел в баньку на разведку. Если Василий наполнил котел водой, накачал ее туда глубинным насосом, то от желания своего Никита Иванович ни за что не откажется, жарко натопит печку, разогреет воду до огневого кипятка и устроит себе подлинную солдатскую помывку.

Котел оказался залитым водой под самую крышку. Возле печки лежала добрая охапка дров, а впритык к коробу с камнями стоял медный ковшик с квасом. По всему было видно, что Василий с Наташей не иначе, как сегодня вечером, вернувшись с дальней дороги и гостевания, намеревались завести баньку. Это ведь тоже сам Бог велел — после дороги и гостей помыться-попариться.

Ну, а коль такой у Василия с Наташей замысел, то Никита Иванович упредит их желание: баньку растопит-разбередит, испробует на себе: все ли в ней ладно и хорошо (воды в котле с великим запасом — на всех хватит) и передаст ее Василию и Наташе уже наполненную жарким стогра-

дусным паром, от которого снимается любая дорожная усталость, любая немощь и хворь.

Никита Иванович выгреб маленькой кочережкой из печки и поддувала пепел в глубокий противень, стоявший у подножья печки, закинул в зев дрова, обложил их древесной стружкой, тоже предусмотрительно заготовленной Василием, и зажег огонь-пламя всего с одной спички.

Печка, принимая его, сразу весело загудела, зарокотала, обещая хороший жар и нагрев. Никита Иванович на всякий случай послушал минуты две-три утробное это гудение: мало ли чего — огонь обманчив и коварен, вначале займется, воспламенится, а потом вдруг и опадет, погаснет. Но вроде бы все было ладно, уже высоко пылала не только одна стружка, а и березовые полешки-дрова, наполняя предбанник томящим запахом дегтя. Никита Иванович поплотнее прикрыл чугунную дверцу и понес противень с пеплом к летней кухоньке, сооруженной под навесом в отдалении от жилых огнеопасных строений. Там у Василия был оборудован для пепла просторный оцинкованный ящик. Того потребовала и на том настояла Наташа. Сразу за кухонькой у нее разбита грядка помидоров, а пепел для них первейшее удобрение и защита от всякой тли.

Никита Иванович опрокинул противень в ящик и вознамерился уже возвращаться назад к баньке, но потом любопытства ради заглянул под навес и вдруг увидел, что кухонная печка с чугунной на две конфорки плитой разобрана до самого поддувала. То-то Наташа, кажись, от самого Петрова дня готовит обед в доме, а не в летней этой, так любимой ею кухоньке. И только теперь Никита Иванович припомнил, что разговор насчет летней кухоньки велся у Василия с Наташей давно. Наташа сетовала и жаловалась, что печка-плита там дымит и «прикидывает», а в нескольких местах так и вообще пошла трещинами, того и гляди, случится пожар. Василий обещался печку переложить, исправить, но, видно, за полевой неусыпной работой руки у него до печки не доходили, хотя намерения Василия починить ее во всем видны. Вон в уголке заботливо прикрытый рубероидом стоит штабелек красного обжигного кирпича, насыпана высокая горка белого мелкозернистого песка, в плетеной ивовой корзине заготовлена сухая глина. Полукруглое, вырезанное сваркой из железной бочки «творило» тоже здесь. Не случись сегодня у Василия поездки в город, к Сергею, так он с утра и занялся бы, наверное, печкой. Тут и делов-то всего часа на два, от силы — на три, тем более что старая печка загодя разобрана, фронт работ, как говорится, налицо. Разводи глину, бери в руки мастерок, уровень, печной молоток — и гони ряд за рядом, соединяй печку со «сторчевой», хорошей тяги трубой, которая ремонта пока вроде бы не просит. Особого расчета и разметки кладка не требует: не предвидится ни единого «колена» или поворота, самая большая задача — вставить дверцу да сверху положить плиту. Но на это великого ума не надо.

Сердце у Никиты Ивановича зашлось в горячем волнении. Уж если выпал у него сегодня такой счастливый день, что отважился Никита Иванович и на одну работу, и на другую, и на третью, так чего бы ему не подмогнуть Василию и с печкой, не порадовать Наташу, которая в летние месяцы привыкла все варить-жарить на свежем воздухе, не томя понапрасну дом ненужным ему в эту пору жаром.

Печник из Никиты Ивановича, конечно, послабее, чем столяр и плотник. Но и не совсем уж так, чтоб никудышний. И русскую печь может сложить, и лежанку-грубку, хоть голландку, хоть самую обыкновенную,

продольную, на которой зимой в трескучие тридцатиградусные морозы можно спать-нежиться за милую душу. В свое время он и у себя в доме печь с лежанкой сложил, и, слава Богу, ни Дарья Михайловна, ни Наташа на них ни разу не пожаловались. По селу из края в край в старых домах, считай, через два подворья на третье тоже печки Никиты Ивановича, и тоже вроде бы служат безотказно — жалоб и нареканий на них нету.

Понятно, что все эти печки-лежанки он клал в рабочие свои годы, но с малой печкой-печуркой под навесом уж как-нибудь справится и нынче. Пока банька будет созревать, насыщаться теплом и паром, пока вода в котле закипит, Никита Иванович здесь, на летней кухоньке и руки помоеет.

Посошок-кривульку Никита Иванович при таком бодром замысле насчет печки, опять пришлось отложить в сторону — пусть отдыхает, дремлет в тенечке под яблоней, натешится они с ним всегда успеют. А теперь чего ж медлить, надо заводить раствор, да с Божией помощью и поправить печное сооружение.

Заготовленные Василием глину и песок Никита Иванович тщательно перемешал в «твориле» в расчете один к трем (большие комки глины размял даже кое-где руками), потом залил всю эту шихту в меру и потребность водой и довел раствор совковой лопатой до густоты сметаны, хоть на хлебушек его намазывай.

Глубоко, во все легкие вдыхая глиняный и песчаный запах, Никита Иванович взялся за мастерок и сам не успел оглянуться, как печная, забирающая всю душу, работа у него закипела, не оставляя ни единого мгновения для любых иных дум и рассуждений. Первым делом Никита Иванович по отвесу и уровню вывел все четыре угла, закрепил на проволоке дверцу, а потом выложил простенки. Мастерок, словно какая летучая птица, играл-поигрывал у него в руке. Никита Иванович даже удивился этому: столько лет не прикасался к нему, а оказывается, тоже ничего не забылось, не утратилось. Ни разу не перебрал он на мастерок глины-раствора, ни разу не промахнулся с ним на очередном кирпиче: все получалось в точный расчет и место. Положишь кирпич, стукнешь-пристукнешь по нему черенком мастерка — и торопись со следующим.

За все время работы Никита Иванович отвлекался от печки всего трижды: путешествовал проведать баньку, подложить дров, проверить котел, как в нем вода — дозрела до полного кипения или пока еще только на подходе.

Завершили они это незримое соперничество, соревнование с банькой, считай, шаг в шаг. Только Никита Иванович водрузил на готовую уже печку чугунную плиту и заделал ее в потемок раствором, как вода в котле изошлась бурунами и водоворотами.

Никита Иванович наскоро убрался возле печки, чтоб не было возле нее никакого видимого разорения, а один лишь законченный порядок. Можно, конечно, было (да и желалось) посидеть под навесом на скамеечке, полюбоваться содеянным, но банька настойчиво звала и требовала Никиту Ивановича к себе, курилась над трубой белесым, похожим на августовское облако дымком. Медлить не выходило никак: упустишь в баньке каленый жар, какая после этого будет тебе парилка, какое обновление тела и души?!

Никита Иванович и не промедлил ни минуты. Наскоро заскочил в дом, взял в шифоньере чистое нательное белье, аккуратно выглаженную Наташей верхнюю мягонькую рубаху, мохнатое полотенце-утиранник и

во все ноги, бегом и подбегом устремился к баньке, которая совсем уж изнемоглась от перегрева и, похоже, даже удивлялась и сетовала, мол, что ж это за незадача такая: печка раскалена докрасна, вода в котле кипит, срывает крышку, а парильщик никак не появляется — или заробел и отменил купание?!

— Да здесь я, здесь! — разоблачаясь в предбаннике, успокоил ее Никита Иванович.

Тело его было по-стариковски белым (загар взялся только по лицу и шее) и незавидным, порядком изношенным и на войне, и в мирной повседневной жизни, все покрытое шрамами, ломанное и переломанное, но еще живое, дышащее и желающее дышать. Сейчас Никита Иванович хорошенько пропарит его, прокалит, и увечное это тело помолодеет, нальется силою, и, глядишь, Никита Иванович и раму еще не одну свяжет, и печку не одну сложит.

Прежде чем нырнуть из предбанника в самую баньку, в огнедышащую ее утробу, Никита Иванович придирчиво выбирал веник из немалого их числа, висящих на жердочке, не зная, на каком сосредоточиться — на дубовом или на березовом. Дубовый вроде бы покрепче и похлеще, но березовый как-то родней, что ли, запах у него более томительный и сладкий. В конце концов Никита Иванович остановился на березовом, с густыми, тесно прижавшимися друг к другу листочками.

Окунув его в шайку с водой, он распахнул дверцу — и едва не задохнулся от окутавшего его жара, едва не попятился назад. Но потом осилил минутную свою слабость, поплотней захлопнул за собой дверь, и жара этого ему уже показалось мало, не в достаток, Никита Иванович взял ковшик с квасом и с расчетливого замаха плеснул из него на раскаленные камни. Они по-змеиному зашипели, вздрогнули и взорвались таким горячим и плотным облаком пара, что казалось, банька не выдержит, рассыплется и раскатится по бревнышку. Но она выдержала, устояла. Бревна и вправду, как почудилось Никите Ивановичу, надсадно скрипнули и даже повернулись в пазах, но через мгновение впитали в себя пар и только поплотнее прижались от него друг к другу.

Выдержал, устоял и Никита Иванович. Он до полной мягкости размочил, размлел в шаечке веник, каждый его листочек и каждый прутик, отряхнул излишки воды, вдохнул-выдохнул сколько помещали легкие горячего воздуха и самым беспощадным и безжалостным образом пошел хлестать и нахлестывать свое брненное, утомленное тело. И мало того, что нахлестывал по плечам, по спине (куда только можно было достать, дотянуться), по груди и ногам, так еще и покрикивал на него, укорял строгими дерзкими словами:

— А вот тебе, вот тебе и вот! Не сиди у забора, не коченей!

Тело вначале изумилось и нешуточным, с потягом, ударам Никиты Ивановича, и осуждающим его словам, а потом лишь зарозовело, застонало в сладкой истоме каждой своей жилочкой, суставом и косточкой, во сто крат повторяя те стоны и отклики, которые обрело в мастерской-повети при первых замахах Никиты Ивановича шершепкою. Эта переключка еще больше взбудрила его и обрадовала.

— Живем, значит, можем! — не уставал он восторгаться и обрабатывать себя березовым пахуче-саднящим веником. — Работаем и паримся!

В баньке, конечно, лучше мыться-париться вдвоем или втроем, дружной артелью и сообществом, чтоб один лежал плашмя на полке, хоть на нижней, умеренно жаркой, хоть на самой верхотуре, где, казалось бы,

никакого продыху нет, а другой и третий охаживали бы тебя в два веника, пока не согласишься пощады и спасения.

Никиту и Ваню со Степаном с самых малых лет приучил к баньке отец. Уж он был парильщиком из парильщиков, знал в этом деле все искусства и тонкости, безвозвратно выгонял из тела любую хворь и забвение. Оттого, может быть, Никита с братьями выросли телом и духом здоровыми, пригодными и к крестьянской мирной работе, и к ратной, военной.

Банька затевалась у них в доме каждую субботу. И был этот субботний день для всех домочадцев праздничным, престольным и храмовым. Мать непременно пекла «банный» (так она его называла) пирог-братину с грибами, рыбою, капустою или ягодою-калиною, ставила самовар, и они сидели за тем столом иной раз до позднего звездного вечера. Отец с матерью выпивали по рюмочке водки, а дети какой-нибудь сладкой целебной настойки, вишневой, черничной или смородиновой. Вечера те на всю жизнь запомнились Никите Ивановичу; жаль только, что продолжались они недолго — война, окаянная, все смешала и спутала.

Василий с Наташей тоже до бани очень охочи. Вишь, надумали затеять ее сегодня. День хоть и не субботний, а самый обыкновенный, трудовой, но для них праздник вровень престольному — сына-невестку проведали, внуков-наследников повидали. Честь и хвала им за это!

Никита Иванович по-хорошему позавидовал Василию с Наташей, а потом даже чуточку возгордился, что догадался об их замысле и баньку взогрел предварительно.

Благодатно истязал себя и казнил березовым венником он в баньке долго. Лежал и на нижней полочке, и на верхней, испытывал тело — выдержит, не выдержит? И, слава Богу, оно выдерживало, хотя сердце, конечно, и начинало предупреждающе частить. Тогда Никита Иванович проворно бежал в предбанник, окатывался студеной водой, которая была заготовлена у Василия во флягах и выварках. Сердце сразу утишалось, добрело и приходило в норму.

Но пора было и честь знать! Работе, как говорится, время, а потехе — час. В последний раз окунувшись поочередно в горячую и холодную воду, Никита Иванович сухо-насухо вытерся мохнатым полотенцем-рушником, неспешно облачился в чистую исподнюю и верхнюю одежду и вышел на свежий воздух. И, Боже ж ты мой, каким добрым, непревзойденным молодцем себя Никита Иванович почувствовал! Будто двадцать, тридцать, а то и вообще бесчисленное число лет свалилось с его плеч.

Никита Иванович присел на лавочке, что была устроена в тени подле бани и, не сдерживаясь, залюбовался всем окрестным широким миром. Ураганный, порывистый ветер к вечеру притих, уgomонился. За огородами, далеко в лугах начинал подниматься августовский, кажись, первый в этом году туман. Он скрадывал речку, лозовые негусто раскинутые по ее берегам кусты, половинил, подрезал надвое тучные стога, укрывал лошадиный примчавшийся в ночное табунок. А здесь, на огороде, возле дома было еще светло и прозрачно. В саду давали о себе знать на разные голоса птицы: чирикали, собираясь стайками, беспокойные воробьи, цвенькали синички, стрекотали сороки, стремительно носились в небе высоко ласточки. Все жило, торжествовало и побуждало жить!

Никита Иванович сидел на лавочке, расправив плечи, победно вскинув голову (совсем не так, как в последние времена на унылой подзаборной лавочке), дышал глубоко и свободно, казалось, в две необъемные гру-

ди и никак не мог надышаться предвечерним прохладно-бодрящим воздухом, никак не мог налюбоваться и начувствоваться окрестным беспредельным миром: и пропадающей в тумане рекой, и склонившимся почти до самого низа, до горизонта заходящим солнцем, и отяжелевшего яблоками, грушами и сливами сада, не мог наслушаться пения и щебетания вольных поднебесных птиц-пташек.

Так бы и сидел здесь всю ночь, сроднясь навечно с этим волшебным миром, сидел бы и до первой, и до второй, и до третьей звезды, а потом и до раннепробудного восхода солнца, чтоб опять взяться за работу, за топор, лопату или мастерок-кельму, по которым так истосковалась душа Никиты Ивановича.

И вдруг он почувствовал, что чего-то ему не хватает, самое чуть-чуть, но не хватает для полного завершения и торжества нынешнего, такого удачливого во всем дня. От изумления Никита Иванович даже приподнялся с лавочки и заоглядывался по сторонам, словно ожидая, что кто-нибудь посторонний подскажет ему, в чем тут дело, в чем причина и задача. Никита Иванович отыскал прислоненный к дверному косяку посошок, взмахнул им, играючись и дивясь, какой тот малый, неказистый и совершенно ненужный ему, возродившемуся из полного почти праха и забвения. Но понапрасну так подумал он о старом своем верном товарище. Посошок нежданно-негаданно взял да и сослужил Никите Ивановичу неоценимую службу. Рассекая предвечерний настоянный на садово-цветочном запахе воздух, он весело шепнул своему хозяину: «Да что ж тут думать и гадать, сам Суворов говаривал: после бани крест продай, а выпей!»

Никита Иванович в голос рассмеялся своевременно-дельной подсказке посошка-товарища. Действительно — это уж надо распоследним человеком себя осознавать, чтоб после таких работ, которые счастливо выпали сегодня Никите Ивановичу, да после такой знатной бани не выпить, не подвести со всем достоинством черту великому дню.

Оно, конечно, надо бы подождать, пока вернутся из гостей Василий с Наташей, обустроят хозяйство, попарятся, помоются, и потом уже засесть за вечерний праздничный стол сообща, всем семейством. Но есть у Никиты Ивановича опасения (ох, есть!), что и Наташа, и Василий предостерегут его от заветной рюмочки. Скажут, не надо бы в твоём возрасте и здоровье приловчатся к ней. А Никите Ивановичу охота, так охота, как никогда, может, и не было в прежние лета и годы. Здоровье у него неважное, тут чего скрывать, но коль он выдержал нынче работную повинность, то уж рюмочку-другую выдержит и ничего с ним не станется. По заслугам и честь!

Медлить со своим замыслом Никита Иванович не стал. Промедлишь, рассидишься, млея, на лавочке, а Василий с Наташей тем временем и возвратятся — и все сорвется, разрушится. Он подбросил в банную печурку охапку дров, чтоб они там потихоньку воспламенялись и не давали охолонуть котлу, держали в хорошем накале воду для хозяйки. Подождав пару минут, пока дрова займутся на углях, Никита Иванович направился в дом в веселом предвкушении праздничной вечерней трапезы. Но прежде, чем подняться на крылечко, он свернул к уличной калитке и снял ее со щеколды на тот случай, если вдруг засидится в застолье и не заметит, как корова Зорянка припожалует с пастбища. Ветра к вечеру нету, полный штиль и безмолвие, никакого побоя-хлопанья вроде бы не предвидится, так что пусть калитка пребывает незапертой. Зорян-

ка толкнет ее и проследует к водопойной бочке, а уж во дворе Никита Иванович ее заметит и перепроводит в сарай.

Стол-трапезу Никита Иванович решил накрыть себе не на кухоньке, а в комнате-горнице, где в праздники и торжества он всегда и накрывался. Никита Иванович достал из шифоньера чистую скатерку, расшитую петухами и прочими птицами, хранящимися среди цветов и трав, раскинул ее по столу, разровнял, разгладил все до единой складочки, чтоб на них случайно не опрокинулась какая-нибудь тарелка-миска или налитая всклень рюмка.

Еда в праздник должна быть горячей и обильной. Первым делом, понятно, закуски, которых у Наташи в холодильнике всегда вдосталь. Никита Иванович и принялся со всем умением, на которое только был способен, выставлять их одну за другой, на мелких блюдечках, продолговатых хитроумных селедочницах, в баночках разных размеров и калибров. Всего обнаружилось в достатке: нарезанное крупными ломтями сало (Никита Иванович всегда любил, когда сало нарезано крупно, чтоб можно было основательно почувствовать его природный вкус и сытость), селедочка, заправленная подсолнечным маслом и украшенная сверху колечками репчатого лука, малосольные, нарезанные продольно огурчики (Никита Иванович, опять-таки, любит, предпочитает, чтоб огурчики были нарезаны продоль, а не поперек — мальми кружками, — Наташа это знает), маринованные грибы-опята в пузатой баночке, ну и всякие там приправы: горчица, хрен с добавкой свекольного рассола, перец — душистый и горький. Обнаружились еще в холодильнике колбаса и голландский сыр. Но Никита Иванович решительно отверг городские эти приготовления. Ему захотелось, чтоб на столе было все свое, домашнее, выращенное и взлелеянное своими руками. Почему нашла на Никиту Ивановича такая стезя, он толком объяснить и не мог. Но вот же нашла, обуяла, и Никита Иванович всецело подчинился ей.

Когда закуски были расставлены согласно порядка и ранжира, Никита Иванович проследовал на кухню и стал с двойным и тройным бережением доставать из печи ухватом черепяной горшок с борщом — главной и неперменной едой на любом крестьянском празднике.

Ах, какие борщи умела варить покойная Дарья Михайловна, и какие варит нынче Наташа! Всего в них в меру и досталь: молодой же картошки, стручкового горького и болгарского сладкого перца, укропа, петрушки и еще чего-то, может, вовсе и неведомого Никите Ивановичу. Когда заправишь борщ сметаной и, предварительно откусив ползубочка припорошенного солью чеснока, еще только склонись над мискою, еще только вдохнешь пленяющий голову запах — так хоть выпей этот борщ безотрывно, набегом, как у них говорят, столь сладок он и столь сытен.

Борщ в печи к вечеру заметно приостыл, и Никита Иванович прежде, чем подать его на стол, подогрел в высокой кастрюльке на электрической, с двумя похожими на скрученные колечками змейки-медянки, спиралями. Это делать Никита Иванович умел. Наташа научила его включать-выключать плитку на тот случай, если он вдруг, вот как нынче, останется дома на хозяйстве один, так чтоб по желанию мог подогреть себе чего-нибудь горяченького, для старого человека всегда необходимого.

Пока же борщ томился, созревал в кастрюльке, Никита Иванович водрузил на стол ложку и рюмку, добыв их из кухонного со стеклянной дверцей буфета. Ложка и рюмка у Никиты Ивановича были свои, отдельные,

считай, именные. Ложка еще фронтовая, солдатская, прошедшая с ним все огни и воды, и медные трубы. Никита Иванович до сих пор помнит, как в самые начальные месяцы войны они с другом-товарищем по взводу Иваном Кузьмичом изготовили ее, вылили из какого-то подручного алюминевого металла по образцу обыкновенной деревянной ложки. Иван Кузьмич, в довоенной своей жизни — сельский кузнец, был по этой части большим мастером и искусником. Ложка получилась на загляденье: в черпачке глубококопья, объемистая, в черенке-ручке недлинная, с маленьким шариком-бурулькой на кончике. А уж какая ухватистая и ловкая, тут и вообще говорить нечего! Есть ею из котелка что солдатский борщ, что кашу было одно удовольствие — споро и до самого доньшка. Фронтовую эту ложечку-черпачок Никита Иванович тщательно берег и на войне в боях-отступлениях-наступлениях, в долговременной обороне, в лазаретах и госпиталях, и еще пуще в мирной жизни как память о той далекой войне и о своем старшем друге Иване Кузьмиче, который, едва успев одарить Никиту Ивановича столь бесценным подарком, вскорости и погиб.

Рюмочка на упрямой опорной ножке тоже очень памятна и дорога Никите Ивановичу — отцовская, а может, еще и дедовская. От них она и перешла ему в наследство, как не беречь ее, как не гордиться ею?! Стекла она, конечно, самого незавидного, простого, но как умеренно, всего в пятьдесят граммов, сделана, с какими тонкими отливающими хоть при солнечном ярком свете, хоть при свете керосиновой лампы-восьмерика гранями. Выпьешь из нее под хорошее заздравное слово-пожелание всю до дна водку или настойку-наливку и не столько от этой водки-настойки захмелеешь, сколько придешь в высшее торжество и легкость души от самого вида чудодейной рюмочки-стопки. Никита Иванович ни за что ни про что не променяет ее ни на какие заморские хрустала.

Подогретый, исходящей дымным паром борщ Никита Иванович перелил из кастрюльки в черепающую гончарную миску и поставил на скатерти промеж ложки и рюмки. Милости просим, дорогой гость и работник, к столу!

Можно было садиться и трапезничать. Но тут вышла у Никиты Ивановича незадача с водкой-настойкой. Все в том же застекленном кухонном шкафике-серванте хранились у Василия с Наташей и чистая белоголовая водка, и настойка на разных травах: на зверобое, душице, на чаге, на корне-калгане, была и вишневая наливка, и несколько сортов вина. Никита Иванович даже растерялся маленько — на чем сосредоточиться, на чем остановиться?!

Он дотошно перебрал бутылки, поглядел на свет, а те, которые были откупорены, так даже понюхал сквозь узкие горлышки и все одобрил, ни единой не забраковал. Василий с Наташей чего зря в буфете хранить не будут. Но в конце концов остановился Никита Иванович все же на белоголовой, чисто-прозрачной, как слеза, водке. Фронтовые, наркомовские сто граммов настойкой-наливкой или сладеньким винцом никогда не выдавали. Там навсегда спирт был, напиток честный, солдатский, без всяких посторонних подозрительных примесей. Если бы он и сейчас имелся в буфете, то Никита Иванович, не раздумывая, отдал бы предпочтение, несомненно, спирту, вспомнил бы во всех подробностях фронтовые те годы, коль нашла на него такая минута. Но спирта в буфете как раз и не обнаружилось, он теперь лишь в медицинских лекарственных целях употребляется, все-таки время мирное, спокойное. Заменой же спирту для

бывшего солдата может быть только сорокаградусная водка! Она, понятно, послабее спирта, так ведь и сам солдат нынче ослабел, притомился на жизненной дороге.

Никита Иванович выудил из буфета высокорослую непечатую бутылку водки и заторопился было к столу, к томящейся и требующей полного его внимания и почета скатерти-самобранке, но в последнее мгновение вдруг умерил шаг и загорелся новым, совсем уж неожиданным-негаданным желанием. На верхней полочке он заметил тоже старинный, памятный Никите Ивановичу с детства графинчик, в тельце приземистый, бокастый, а в горлышке удлиненный, будто лебединая шейка, увенчанная царственной пробочкой-короной. Если приглядеться повнимательней, то графинчик и вправду похож на птицу-лебедя, того и гляди, поднимется на крыло и улетит за моря и океаны. Покойный отец всегда любил, чтоб водка на столе стояла именно в этом лебедином графинчике, а не в обыкновенной расхожей бутылке. В графинчике как-то оно праздничней получается, душевней. У Никиты же Ивановича сегодня праздник если не первостольный, то двенадесятый — завершение трудового, рабочего дня — и отступать ему от отцовских заветов в такой день негоже.

Откупорив бутылку, Никита Иванович перелил водку в графинчик, но сразу на стол не понес, а полюбовался, порадовался им, проглядел на свет-солнце и воочию заметил на его доньшке, на боках и на шейке (а на пробочке-короне так и особенно) хрустальные искорки-лучики. Когда же после минутной этой игры воображения Никита Иванович водрузил графинчик в самом центре скатерти-самобранки, то праздничный его стол обрел надлежащее завершение, возвысился и возвеличился до самого высокого торжества и предела.

Чуть подрагивающей от волнения рукой Никита Иванович наполнил первую, починную рюмочку. Пить ее полагалось стоя и не в унылом молчании, а произнеся приличные к случаю слова-пожелания. Уняв в руке беспокойство, Никита Иванович поднялся, вскинул рюмочку до уровня груди и сердца, минуту-мгновение поколебался и вдруг сказал, глядя в прозрачно-чистое окошко, где виднелся краешек улицы, а за ней огорды, луга, и дальний предосенний березняк:

— Ну, за все хорошее!

— За все хорошее! — согласно ответили ему деревенская улица, луга-огороды, березняк и мелькнувшая за ним излучина реки.

Никита Иванович еще выше поднял стопочку и выпил ее всю до дна с таким торжеством и вдохновением, с каким не пил, наверное, с фронтового победного дня.

Горячая, жаркая волна охватила все его тело и замерла где-то под сердцем. Никита Иванович даже чуть-чуть заробел, приладил стопочку к графину и принялся гасить накатную эту волну учащенным глубоким дыханием. И она, подержав сердце еще несколько секунд в напряжении, отступила, ушла невидимо в землю.

Закусывал Никита Иванович первую починную рюмочку основательно и прочно. Вначале, словно устраивая, умащивая оденок, отведал всего понемножку, по щепотке: и огурчиков, и грибков, и сальца с красной прожилочкой-прорезью, и селедочки, а потом принялся за борщ, который был и действительно таким, что хоть выпей его и еще потребуй полмисочки, а то и полную миску добавки. Фронтная ложечка-черпачок так и мелькала в руке у Никиты Ивановича, удивляясь ненасытности знатного едока.

Опаматовался Никита Иванович, пришел в себя лишь после того, как ложка гулко застучала по пустому черепяному доньшку, где не обнаружилось уже ни единой прожилочки капусты, ни единой дольки перца, ни единого кружочка-скриглычка морковки, свеклы или молодой разваристой картошки. Не было даже юшки! Уж точно едок, так едок! Все подмел подчистую! Осилит бы, поди, и добавку! Но, во-первых, не один Никита Иванович в доме обитатель, есть еще и другие едоки, законные домовые хозяева — Василий с Наташей. Приедут они из города, попарятся-помоются в баньке и, гостевали не гостевали, а захочется им в родном, родительском доме поужинать, устроить праздничную вечерю. Борщ им в таком случае самая основная закуска, особенно, если после рюмочки водки-наливки. А во-вторых, в печи упревает в пузатеньком горшочке-макотерке под тщательной прикрытой крышечкой тушеная с мясом-поребриной картошка. (Никита Иванович доподлинно разведаль о том, добывая борщ). Тоже любимая из любимых еда Никиты Ивановича. Наташа, словно заранее зная, какой выпадет сегодня у него день и какой праздник, специально изготовила ее, чтоб порадовать и удовольствовать Никиту Ивановича.

Подогревать картошку на электрической плитке он погодил. Никите Ивановичу как раз нравилось, чтоб она не была чрезмерно горячей, а лишь томной и ноздревато-разваристой. К вечеру в горшочке, огорнутом в березовые угли и пепел, картошечка и дозревает до полного своего навара и вкуса. Зачерпнешь ее ложкой (лучше бы всего прямо из горшочка), и она тает во рту от одного только грудного твоего дыхания.

Никита Иванович соблазнился на эту затею и выставил картошку на скатерть-самобранку в первозданном ее, нетронутом виде — в прокаленном, испытанном тысячеградусными огнями горшочке-макотерке.

Под картошку полагалась вторая, легкая уже стопочка. Никита Иванович налил ее, опять поднялся над столом, опять глянул в окошко и опять сказал просто и обыкновенно всему окрестному миру и населяющим его людям:

— Будьте здоровы и счастливы!

— И ты, Никита Иванович, будь здоров и счастлив! Живи долго! — ответил ему отзывчивый окрестный мир.

От взаимной этой доверчивой переклички на душе у Никиты Ивановича сделалось хорошо и радостно. Он пододвинул к себе поближе горшочек, обхватил его для устойчивости рукой и съел ноздревато-томной картошки, считай, четверть посуды, как и полагается достойному работнику, столяру-печнику и косарю-пахарю. В прикуску с малосольным огурчиком она пошла вдогонку за борщом так споро, что Никита Иванович едва умерил себя.

Третья стопочка всегда была у Никиты Ивановича особой, несуетной и скорбной. Поминальной стопочкой, как у всякого христианского, православного человека. Не отступил он от давнего этого обычая и нынче. Отклонив в сторону, в отдаление праздник, Никита Иванович не глядел теперь в окошко, где играло, доигрывало прожитый день низкое уже, закатное солнце, а обронил седую голову на грудь и вспомнил всех убиенных, погибших на войне друзей-товарищей, отца, братьев, Степана и Ваню, наставника своего в ратном тяжком деле Ивана Кузьмича; вспомнил, обнимая в памяти за плечи давно умершую мать и недавно оставившую Никиту Ивановича в одиночестве Дарью Михайловну. Никаких посторонних слов тут говорить не требовалось, они в древние еще, невиди-

мые времена были придуманы живыми людьми для умерших: «Пусть им там легко лежится!»

Никита Иванович так и сказал, повторил, почти не размыкая уст, утешительные эти слова и словно воочию повидался с родными ему, незабвенными людьми.

Выпил Никита Иванович поминальную стопочку скорбя, но одновременно и светлея душой, как всегда случается и должно случаться с православным человеком в минуты памяти, где бы они его ни настигали: в трудовой, неустанной работе, в церковном храме или вот, как нынче у Никиты Ивановича, за праздничным столом.

Долго он потом сидел в молчании и тишине, не смея нарушить эту минуту ни единым движением, ни единым вздохом. И может быть, сидел бы так до самого приезда Василия с Наташей, но вдруг возле окна стали виться и щебетать ласточки. За резным наличником у них было устроено глинобитное родовое гнездо. Днем, спасаясь от жары, ласточки по большей части отсиживаются там, изредка лишь взмывая в небо, а к вечеру выпархивают всем семейством (ласточки, известное дело, птицы утренние и вечерние) и устраивают такие игры-забавы и такое щебетание, что, кажется, сам бы поднялся на крыло, лишь бы быть с ними вместе. Особенно волнуются молодые, нынешнего года рождения ласточки, которым предстоит вскорости прощаться с родным своим, родительским гнездом и впервые в жизни улететь в далекие заморские страны.

Никита Иванович невольно залюбовался стремительными полетами ласточек, заслушался их щебетанием-разговором и не заметил, как опять вернулся в прерванный свой праздник. Отошедшие раньше Никиты Ивановича на вечный покой люди простят его за это без всякого укора и обиды. Не зря ведь сказано: живым живое и сущее! На душе у Никиты Ивановича, словно после темной ночи, наступило раннее светлое утро, и он вдруг подумал, а как бы здорово и хорошо было устроить-сыграть сейчас за праздничным столом песню.

В старые, довоенные времена главным запевалой-певцом был у них отец. Едва выпив рюмочку, он начинал петь высоким и сильным голосом памятные ему песни: то веселые и игривые, про любовь и свидания, то печально-кручинные, про разлуку и расставание на долгие годы. На срочной службе еще в царской армии отца за это, говорят, очень любили и рядовые солдаты, и господа офицеры.

Мать тоже была певуньей, но голосом послабее отца, чего, кажется, даже немного по-женски стеснялась и каждый раз, вступая вслед за ним в песню, заметно робела, словно боясь, что песню эту испортит. А вот Никите Ивановичу Бог голоса не дал: не перенял он его ни от отца, ни от матери и всегда сидел за столом тихо и безмолвно, слушал и никак не мог послушаться, как родители поют-играют песню, дополняя друг друга и сливаясь в одну-единую душу.

Голос и пристрастие к пению перешли от отца и матери младшим братьям Никиты Ивановича, и особенно к Ване. Чуть повзрослев и поднявшись в возрасте, они любую песню вели вслед за отцом и матерью безошибочно и верно в каждом слове и звуке. Жаль, как жаль, что Степан и Ваня погибли так недопустимо рано и не успели встать на зрелые мужские голоса. А то бы они и сейчас могли порадовать старшего своего молчаливого брата застольной праздничной песней. Пение у них в доме возродилось лишь после войны, когда Никита Иванович, вернувшись с фронта, женился на Дарье Михайловне, на Даше. Она оказалась певуньей и

мастерицей в песенном деле. Бывало, и в праздничный день, и в будний сядут они рядком с матерью и поют на два звонких голоса. Никита Иванович чутко внимает им, а сам нет-нет да и подумает: вот что война-погибель наделала: по всей округе, да поди и по всей державе-России в каждом доме одно только женское безысходное пение. Мужской голос редко где отзовется. Война повыбила их до основания.

Никита Иванович еще немного посидел за столом, внимательно прислушиваясь к любому звуку на улице — не едут ли, не возвращаются ли Василий с Наташей? А потом решил больше не томить себя (приедут, куда ж они денутся, загостились у родных детей и внуков — дело знакомое), убрать со стола, да и прилечь на полчаса в махонькой своей комнатке-светелке с ясным окошком во двор. Теперь вроде бы уже и можно: зачинать какую-либо новую работу в предвечерье поздно, только разгонишься, а, вот она, уже и темнота, ночь, солнце скроется в лугах за горизонтом, и работу, затеянную в спешке, все равно придется бросать.

Со стола Никита Иванович убрал все честь по чести, чтоб Наташа на него после не осерчала. Закуски он спрятал назад в холодильник, а горшок с картошкой притулил в печи за заслонкой, пусть потомится — ему не помешает. Графинчик Никита Иванович определил в сервант, скатерку аккуратно вытряхнул во дворе, посуду перемыл и протер до полной сухости кухонным полотенцем. С детства Никита Иванович приучился во всем держать порядок и чистоту: хоть на рабочем своем месте, на столярном верстаке в повети, хоть при кирпичной кладке печи-лежанки, хоть за праздничным столом. Закончил, свершил дело, отвел душу в веселье, песнях и плясках, будь добр, уברי все после себя. В крестьянской жизни прислуги нету.

Когда все встало и легло на свои места, Никита Иванович прошелся веничком вокруг стола, подобрал с пола в совочек случайно оброненные крошки, потом тщательно помыл под рукойником руки, расчесал перед зеркалом на проборок пепельно-седые волосы и проследовал в свою светелку. Но на самом последнем шаге, уже держась за дверную ручку, он внимательно оглянулся, чтоб еще раз удостовериться, все ли в горнице хорошо и ладно — и вдруг взгляд Никиты Ивановича упал на телевизор, что примостился на тумбочке в простенке между двух окон. И даже не столько на сам телевизор, сколько на обыкновенную школьную тетрадку, поверх которой лежала пластмассовая самописная ручка. Из этой тетрадки Василий и Наташа вырывают листочек-другой и пишут письма своим братьям-сестрам, детям и внукам, иным дальним и ближним родственникам или просто хорошим друзьям-знакомым, живущим в недостижимых городах и селах.

Никита Иванович отпрянул от двери, подошел к тумбочке и любопытства ради взял в руки вначале увертливую, скользкую ручку, а вслед за ней и школьную в широкую разгонистую линейку тетрадь. Никаких определенных намерений у него насчет них вроде бы не было — взял да и взял, охота посмотреть, какие нынче тетради и ручки.

Признаться по правде, ручка ему не понравилась; мало того, что скользкая и увертливая, так еще и без видимого расщепленного на излете надвое перышка. Вместо него был пристроен на кончике пластмассового тоненького стерженька шарик величиной с просыное зернышко. Чернильницы, хоть проливайки, хоть непроливайки при таком хитроумном изобретении не требовалось. Чернила прятались в стерженьке, заточенные туда неведомо каким образом. По разумению Никиты Ивановича та-

кой ручкой ничего путного каллиграфического не напишешь: ни нажима тебе, ни наклона.

А вот тетрадка — совсем иное дело! Тетрадка Никите Ивановичу очень даже приглянулась. Бумага в ней белая, лощеная, линейки расчерчены голубенькой отчетливо видимой краской. Тут уж хочешь, не хочешь, а рука сама потянется, чтоб написать на этой высокого сорта бумаге какое-либо письмо-послание.

И Никита Иванович неожиданно загорелся. А чего бы действительно не написать и ему в приподнятом сегодняшнем настроении письмецо родственникам, к примеру, младшим своим детям, сыну Ивану и дочери Даше или кому-нибудь из давних друзей-фронтовиков. Очень даже хорошо было бы и верно написать.

Никита Иванович присел на стуле и принялся обдумывать, о чем бы таком важным сообщить им, какими известиями порадовать. Но вдруг вовремя остановился в своих задумках, вспомнил, что друзьям-фронтовикам написать теперь письмецо нет у него никакой возможности: все они, опережая его, разминулись с жизнью и ушли на вечный солдатский покой (а лет двадцать тому назад, случалось, взаимно откликались еще, если не письмо, то открыточку ко Дню Победы друг другу посылали). Никита Иванович, похоже, на сегодняшний час остался последним из них.

Насчет письма Ивану и Даше у Никиты Ивановича тоже ничего не получалось. Ведь совсем недавно, кажись, всего два-три дня тому назад Наташа отписывала им письма, передавала от Никиты Ивановича поклоны, а Василий отвозил те письма и поклоны в город на почту. Это — во-первых! А во-вторых, для письма Ване и Даше Никите Ивановичу потребуются конверты и почтовые марки, которых у него под рукой нету. Потребуется и точный адрес каждого, с наименованием улицы, номера дома и квартиры. В каких городах и весях живут Ваня с Дашей Никита Иванович, понятно, знает, не раз и бывал у них в прежние годы (случись и сейчас быть, так нашел бы с закрытыми глазами), а вот точные номерные адреса их в памяти стерлись. У Василия с Наташей адреса эти где-то записаны, но рыться в чужих бумагах и документах Никита Иванович не смеет — не приучен к тому с детства. Да оно, если рассудить по-умному, то с письмами его к Ване и Даше как-то и не совсем хорошо получится, обидно для Василия и Наташи. Что ж это ты, отец, посетуют они, не доверяешь нам, что ли, или секреты какие имеешь, что надумал отдельно писать письма Ване и Даше?! Нет, так в семейной жизни не годится, разлад может произойти, доверие потеряться.

Никита Иванович посидел еще немного на стуле, завистливо полистал тетрадку от лицевой обложки до замыкающей и хотел уже было возвратить ее назад к телевизору, но вдруг пришла ему в голову совсем простая, обыкновенная мысль. А чего бы не написать Никите Ивановичу отцовское, родительское письмецо Василию с Наташей?! Тут и хорошо получится, и ко времени. Вот приедут они из города, войдут в дом, а на столе лежит письмо-послание, которое всегда в радость и ожидание...

Мысль эта очень даже глянулась Никите Ивановичу, и он немедленно принялся исполнять ее.

Листочек (вернее, два) Никита Иванович вознамерился поначалу изъять из середины тетрадки, осторожно, чтоб не сломалась, подковырнув скрепку. Но потом он обнаружил, что в тетрадке имеется одиночный, непарный листочек, бережливо оставленный там Василием или Наташей, и удовольствовался им. Подобные одиночные листочки, помнится, на

фронте выдавали красноармейцам для писем политруки. Разнились они от нынешнего лишь сортом бумаги (откуда в военное время было набраться лощеной, изысканной?!), да еще тем, что на лицевой стороне в левом верхнем уголке всегда воодушевляла глаз картинка: солдат-пехотинец, артиллерист или летчик, или изображение Верховного главнокомандующего товарища Сталина. Под картинками-изображениями крупно были пропечатаны призывы всеми силами и возможностями громить ненавистного врага, а иногда для пущей убедительности пропечатывались еще и шрифтом помельче стихи:

Победа над лютым врагом близка.
Чтоб светлые дни настали,
«Вперед!» — говорит нам родная страна,
«Вперед!» — приказал нам Сталин!

Было и третье небольшое, но вполне определенное и необходимое отличие. Самая нижняя линейка шла пунктиром, оставляя в два пальца шириной чистое поле, которое всегда требовалось для преобразования уже готового письма в солдатский треугольничек.

Пристроился Никита Иванович сочинять письмо на подоконнике, поближе к свету. Как-то уютней и раздумчивей было сочинять его на укромном подоконнике, а не на широком полированном столе (куда твоя бухгалтерия!). На фронте тоже редко когда доводилось писать солдату письма за широким ученым столом. Приладишься где-либо в окопчике, в траншее или, если случится в боях затишье, на свежем воздухе под сосной-березой, положишь на колени саперную лопатку — и вот он, стол со столешницей.

Для лучшей видимости и прозрачности Никита Иванович тщательно протер специальной фланелькой крупнокалиберные с цепкими дужками очки, недавно подаренные ему вместе с футляром Наташей (там протирочная эта фланелька и хранилась), твердо зажал в пальцах самописную ручку, вскинул ее над листочком, намереваясь написать первые приветственные слова. И ничего не написал. Он поворачивал ручку и так, и этак, а все равно ничего не писалось и не придумывалось. Не лежала к этой ручке у Никиты Ивановича душа — и все тут! И вообще, ни к какой иной ручке не лежала, хоть самой разноможной, со стальным или золоченым пером. Ну, скажите на милость, какой солдат на фронте писал письма ручкой. Где ему было доставать в боевой обстановке и саму ручку, и перо, и чернила?! Они имелись разве что у писаря. Но если писарь будет давать их, одалживать каждому бойцу, то никаких запасов не хватит. Одних чернил за день израсходуется литра два, не меньше, не говоря уже про перья и промокашки.

Карандашом солдатские письма писались — вот чем! Лучше бы, конечно, химическим. Послунявил его или подставил под дождевую каплю — и он сразу проявится на бумаге фиолетовыми плотными чернилами. На случай письма карандаш (пусть даже самый малый, всего лишь кончик его, огрызок) всегда хранился в кармане гимнастерки или в портсигаре-кисете. Саперу же, плотнику карандаш был вдвойне необходим. Он приравнивался к шанцевому инструменту: топору, пиле, метру-складеньку. Без карандаша плотник ни на шаг, он постоянно должен быть под рукой: разметку сделать, цифру нужную записать или даже чертежик будущего сооружения начертить. Никита Иванович был солдатом рачительным и ответственным, карандаш (а иногда так и не один) у него обязательно имелся.

От такого теплого воспоминания Никита Иванович приободрился. Пластмассовую шариковую ручку вернул на тумбочку и принялся искать в доме карандаш. Но он что-то никак не находил: то ли все карандаши у Василия и Наташи вышли, то ли хранились где-то в особом, неподвижном месте, о котором Никита Иванович и догадаться не мог. Тогда он, оставив на время листочек созреть для письма на подоконнике, откомандировался в поветь за плотницким и столярным карандашом, которым сегодня поутру работал и который положил в кузовок верстака, где тот никак не мог затеряться.

Так оно и вышло: карандаш пребывал в уголке кузовка и, казалось, сам просился в руку, для начертания букв и словес. Да какой ладный и основательный карандаш! По внешнему цвету красный, издали видный, сделанный в шесть граней, чтоб не скользил и не изворачивался в пальцах, и, главное, твердый грифельком (мягким грифельком столяру-плотнику не работа — быстро расходуется, крошится и черту ведет чрезмерно жирную). Таким карандашом при умной голове не то что обыкновенное солдатское письмо написать можно, а даже целую книгу-роман сочинить или картину в полстены размером нарисовать. Никита Иванович управлялся им сегодня в свое удовольствие и ни разу не ошибся в размерах, ни одну черту не скривил. После работы, правда, забыл в спешке заново подточить. Но это дело легко поправимое.

Никита Иванович взял за обушок топор и, как всегда это и делал во время плотницко-столярной страды, начал затачивать карандаш под тупым стойким углом, так, чтоб грифельек выглядывал из-под облатки всего миллиметра на полтора-два, не больше. Затачивать карандаш под острым углом, далеко выпуская вперед грифельек, ни плотнику, ни столяру не годится. Сколь бережно ни обращай с ним, а все равно длинноносый этот грифельек обязательно обломится.

Искусством своим Никита Иванович остался доволен: карандаш сразу приосанился, приободрился, готовый к любым новым начертательным испытаниям, но Никита Иванович для верности (все-таки письменна-скрижали писать собрался, а не одни только метки-черточки ставить) подправил его по-столярному на рубанке. Перевернул рубанок подошвою вверх и на остром лезвии подшлифовал грифельек, снял с него едва приметные посторонние уголки и крошки.

По привычке Никита Иванович приладил карандаш за ухом и заторопился в дом к подоконнику, где письменный листочек поди уже и заждался. Но во дворе случилась у Никиты Ивановича небольшая задержка. Банька едва курилась сизым дымком, и он наскоро сбежал к ней, подбросил в печку полешек пять-шесть, выбирая которые посучковатей и покряжистей, чтоб подольше горели и не позволили баньке охолонуть к приезду Василия и Наташи.

С карандашом письменное дело у Никиты Ивановича вмиг заладилось и заспорилось. Он с ходу, едва успев присесть на стуле возле подоконника и склониться над листочком, вывел отдельной строчкой приветственные уважительные слова, как писал их когда-то с фронта матери — разница была лишь в обращении:

«Здравствуйте, дорогие Василий и Наташа!»

Но потом у Никиты Ивановича все вдруг опять застопорилось. О чем писать дальше, он никак не мог придумать и сообразить. Живут Василий и Наташа в одном доме с ним, в одном подворье, и все, что творится, про-

исходит в их хозяйстве, случается в жизни, знают полней и лучше, чем Никита Иванович. Известна, видна, как на ладони, Василию и Наташе и вся его без остатка судьба-кручина: как он, стена и кряхтя, поднимается утром, с трудом и натугой завтракает и идет на подзаборную лавочку коротать бесконечно длинный день. Вот разве что написать им о том, как, сидя на этой лавочке, Никита Иванович предается мыслям-воспоминаниям, да печалится по Дарье Михайловне, которая неосмотрительно оставила его одного, а не забрала в дальнюю дорогу с собой. Но подобные скрижали поди Василию и Наташе будут и огорчительны. Скажут, старый человек, древний, словам своим отчета не дает.

Вовремя опомнившись от необдуманного этого намерения, Никита Иванович стал глядеть в окошко на вечернюю, отдыхающую от трудового дня улицу, на огороды, усеянные то там, то здесь копешками ржи, на луг-пастольник и на березняк, заметно взявшийся уже первой осенней позолотой. Все готовилось к ночи, к покою и сну, подчиняясь раз и навсегда установленному порядку жизни. Пора было готовиться и Никите Ивановичу. На полную ночь, конечно, еще рано, еще не подоспел срок, а вот передохнуть до приезда Василия и Наташи полчаса можно.

И только он подумал об этом, как вдруг все вернее-верного слова нашлись у него сами по себе. Чего тут долго размышлять и сомневаться?! Или и вправду совсем уже старым и неповоротливым умом сделался?! Чтоб не растерять счастливо обретенные слова, Никита Иванович, ни секунды не медля, начал старательно, большими буквами, с правильным наклоном в правую сторону начертать их на листочке. И получилось все хорошо и необходимо:

«Я все по мере возможности сделал и лег отдыхать».

Потом Никита Иванович немного подумал, перечитал написанное и добавил еще несколько слов, без которых письмо было вроде бы как незаконченным, оборванным посередине:

«Низкий поклон всем родным и близким, всем сродственникам и знакомым.

Ваш отец Никита Иванович».

Так он, помнится, заканчивал фронтовые свои не очень частые письма, опять с той лишь разницей, что тогда писал не «отец», а «Ваш сын Никита».

Трепетный, чутко шуршащий в пальцах листочек Никита Иванович подержал пару минут на весу, словно боясь и жалея с ним расставаться, а потом сложил в аккуратный солдатский треугольничек, не требующий никакой почтовой марки. Оказывается, ничего не забылось у Никиты Ивановича в этом умении: заскорузлые его изработавшиеся руки сами по себе нашли нужные движения и сгибы. Никита Иванович не успел перевести дыхания, как вот он перед ним: солдатский, многими теперь уже забытый треугольничек. Осталось только написать на нем адрес, чтоб треугольничек знал, куда лететь и куда стремиться по родной, разоренной до основания земле. Никита Иванович опять склонился над ним и, твердо придерживая за кончик, приготовился писать подробный свой домашний адрес особо крупными печатными буквами, чтоб почтальоны и письмоноши, не дай Бог, чего не перепутали и не отправили его совсем в иную сторону. Но на первой же букве Никита Иванович осекся и подивился своей забывчивости: подробного адреса тут не требуется. Письмо

нигде путешествовать и не будет, а останется пребывать дома и в ближай-
шие часы попадет из рук в руки, от Никиты Ивановича к Василию и На-
таше. Стараясь нигде не выйти за пределы голубенькой черты-линейки,
Никита Иванович так и написал стройными печатными буквами, да еще
для верности и обвел их карандашом дважды:

«ВАСИЛИЮ И НАТАШЕ»

Готовое, завершенное письмо он приладил на самом видном месте в
горнице — на полированном, зеркальном столе подле вазочки с цветами-
астрами, которые убирал на время трапезы. Треугольничек, прислонен-
ный к ней, встал под ярко-синими, красными и дымчато-белыми цвета-
ми незыблемо (куда твой почтовый голубь!) и не потерялся среди них, а
смотрелся глазою и требовал немедленного прочтения. Пройти мимо
него было никак нельзя.

Никита Иванович не выдержал и издалека, от двери своей светелки
полюбовался им, его соразмерными гранями, острыми уголками, четки-
ми, стоящими навтыжку буквами. И надо же, что почудилось Никите
Ивановичу от внимательного такого досмотра! Вверху, чуть справа, сра-
зу над адресом воочью промелькнул солдатский почтовый штемпель, а
уголки и грани показались Никите Ивановичу чуточку примятыми и при-
тупленными, как будто проделали долгий путь с войны, с фронта сюда,
домой, в мирную повседневную жизнь.

Никита Иванович хотел уже было подойти к нему, взять в руки, чтоб
удостовериться, так ли все это на самом деле, но потом лишь улыбнулся
и закрыл за собою дверь в светелку.

Мягкий пружинчатый диван он во всю ширь раскладывать не стал, а
прилег лишь на одной узенькой половинке-створке, чтоб, как только вер-
нутся Василий с Наташей или ударит Зорянка рогами в калитку, так
мигом пробудиться и быть в полной боевой готовности.

Сон навалился на Никиту Ивановича в одну минуту, и такой дремот-
ный, каким Никита Иванович спал в последний раз, может быть, еще в
далеком-предалеком младенчестве-детстве при отце и матери ранней май-
ской весной, когда начинали расцветать белокипенные сады, река была в
широком, неохватном разливе, свежевспаханная земля исходила теплым
живительным паром, а Никиту не могли разбудить своим неудержимым
щebetанием даже ласточки, только что прилетевшие в родные края из
дальних, заморских стран.

* * *

Василий и Наташа вернулись домой уже в густых сумерках. Выеха-
ли они от Сергея вроде бы еще и засветло с твердым расчетом поспеть как
раз к вечерней дойке, но в дороге неожиданно-негаданно обломались. Мо-
тор забарахлил, зачихал, закашлял, а потом и вовсе умолк. Пока искали
причину поломки, чинились, прошло, наверное, часа полтора. Наташа вся
извелась, горюя о недоеной корове, о некормленной остальной живности:
привередливом поросенке, бычке, курах-утках, но больше всего пережи-
вая за главного своего подопечного, Никиту Ивановича, — как он там:
поел чего, попил или голодный и обиженный лег спать в своей клетуш-
ке — всего-то ведь и оставила ему на целый день, что горку творожных
блинчиков да полкувшина молока.

Как только машина причалилась ко двору, Наташа, не переодеваясь



В КРУГУ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ

*Фото из архивов С.Е. Евсеенко,
Е.Г. Новичихина, В.И. Жихарева,
редакции журнала «Подъём»*



И. Евсеенко. Курск, 1966



*Ваня Евсеенко с бабушкой Марьей, мамой Галиной Александровной,
сестрой Тасей. Займище, 1955*



Студенты пединститута Иван Есеенко и его будущая жена Светлана
на демонстрации 7 ноября 1967 г. *Курск*



С другом и наставником Е. Шаниным читают рукопись. *Курск, 1968*



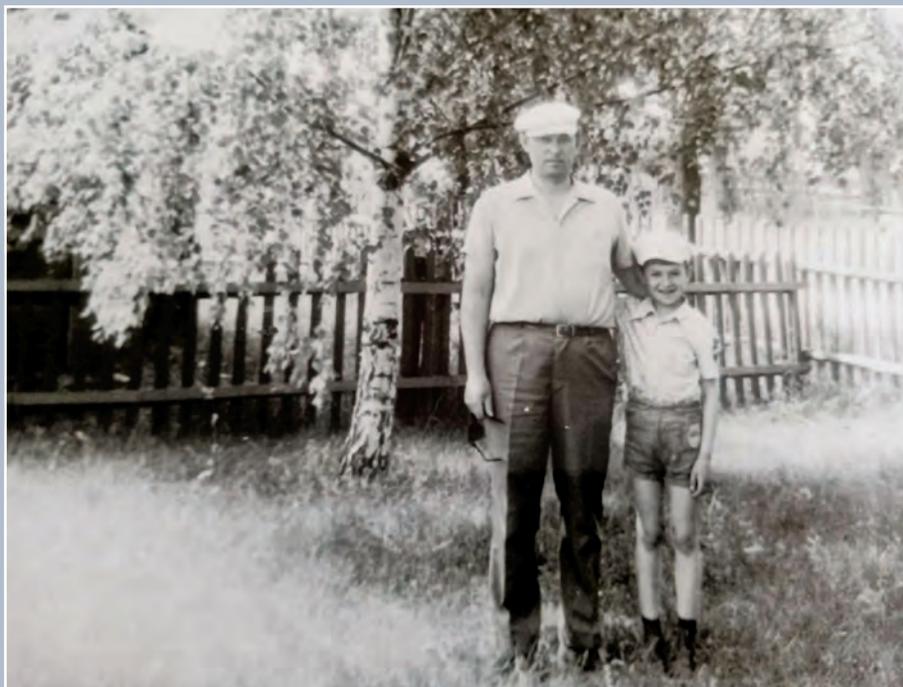
С сестрой Таисией Ивановной и племянницей Галиной на берегу реки Сновь.
Займище, 2003



Студент Литинститута им. А.М. Горького.
Москва, 1970



С супругой Светланой у стен Литинститута.
Москва, 1972



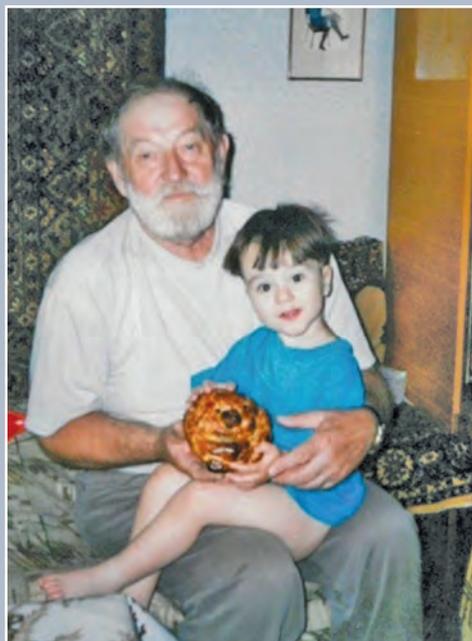
С сыном Иваном на малой родине. Село Займище, 1976



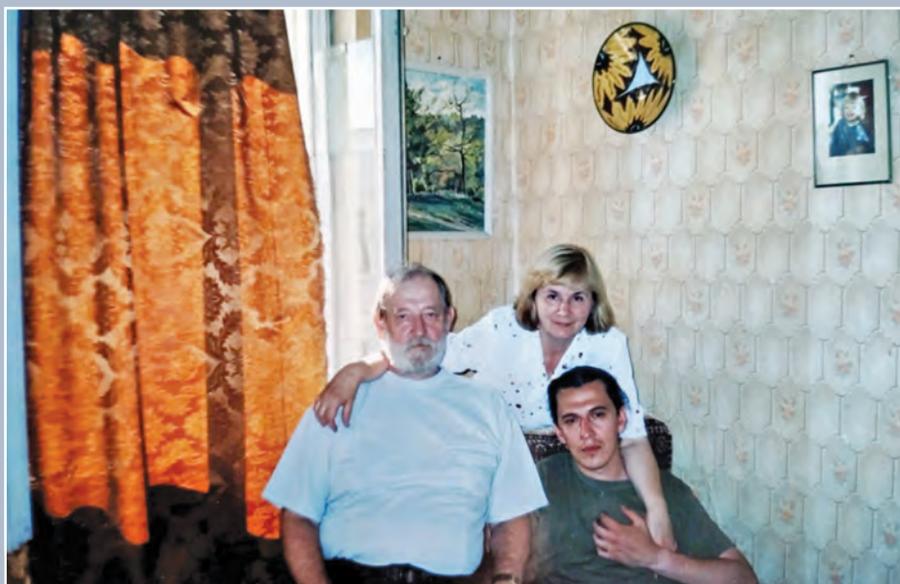
Радость на двоих. С дочкой Светланой. 1977



Отец с сыном Иваном. Ялта, 1980



Дед с внуком Матвеем. 2004



И.И. Евсеенко с женой Светланой Ефимовной и сыном Иваном. 2003



*И.И. Евсеенко (в центре), Е.Г. Новичихин (второй слева) на встрече с читателями.
Черниговская область, г. Щорс (ныне Сновск), 1996*



*И. Евсеенко — редактор отдела прозы журнала «Подъём».
Первая половина 1970-х*



Иван Евсеенко в «Подъёме». Годы перестройки.
Фото В. Панкратова



Творческий выезд воронежских писателей в район. И. Евсеенко второй справа.
Середина 1970-х



Супруги Евсеенко на даче. 2006



И.И. Евсеенко с женой Светланой Ефимовной и внуком Матвеем. 2007

и не заглядывая в дом, подхватила в сенах доенку и побежала к корове. Доить ее в сарае было уже темновато, и Наташа выманила Зорянку на свежий воздух к жердяной изгороди-коновязи, которую Василий нарочито устроил для таких вот непредвиденных случаев. Пока Зорянка нехотя поднималась (устроилась, улеглась уже на ночлег недоенная) и брела к коновязи, Наташа, не на шутку встревожившись, заглянула к поросенку и бычку: что-то они подозрительно помалкивали, не выдавая себя ни хрюканьем, ни мычанием, чего никак не могло быть — за день ведь изголодались, измаялись и теперь должны были встретить нерадивую хозяйку полным негодованием. Но они голоса не подавали, а лишь сонно посапывали на подстилке, тоже приладились уже на ночлег. В корытце у кабанчика, крепко-накрепко притороченном к дверному косяку, Наташа обнаружила недоеденную болтушку густого замеса, а в яслях у бычка добрую охапку травы, причем не лугового гусятника, а садовой овсяницы, осота и пырея.

— Ты погляди, — крикнула изумленная Наташа через весь двор Василию, — чего тут дед Никита натворил (они промеж собой звали теперь Никиту Ивановича дедом Никитой, переняв это обращение от детей и внуков.

— Чего?! — оставив машину, подошел к ней Василий.

— Так чего, — всплеснула руками Наташа. — И поросенка накормил, и бычку травы в вишеннике накопил, ясли ломаются!

Василий вначале с недоверием заглянул в закуту к кабанчику, подергал даже корытце за проволоку, потом приоткрыл ворота в загородку к сытно накормленному бычку, помаял траву в горсти и изумился не меньше Наташи:

— Надо же!

А Наташа тем временем углядела еще одно свершение деда Никиты:

— И воды полную бочку наносил!

— Так уж и полную?! — совсем не поверил ей Василий.

— А откуда же она тогда взялась?! — пристроилась на ослончике подле Зорянки Наташа. — Ты ведь утром не накачивал?!

— Не накачивал, — повинился Василий. — Некогда было.

Он обследовал бочку, будто видел ее впервые, пожал плечами и пошел назад к гаражу пристраивать на ночлег и отдых машину. Провозился Василий там, наверное, минут десять, а потом с освободившимся изпод яблок и груш лукошком проследовал в поветь, чтоб поставить его в привычном месте, сразу за дверью, в уголке. И вдруг выглянул из повети и позвал Наташу:

— Иди сюда, иди!

— Ну, что там у тебя?! — перестала вжикать в доенку тугой молочной струей Наташа.

— Да ты подойди! — не унимался, требовал ее к себе Василий.

Наташа отставила в сторону доенку, чтоб разгневанная неурочной да еще с перерывами дойкой Зорянка не опрокинула ее ногой, и заглянула в поветь.

— Дед Никита раму связал! — встретил ее на пороге Василий. — Да ты погляди — какую!

Чтоб Наташе было лучше рассмотреть раму, Василий включил в мастерской яркий электрический свет, а саму раму положил на верстак, словно на выставке-ярмарке перед возможным покупателем.

Наташа за долгие годы жизни при столярах-плотниках, муже и свек-

ре, в древесных изделиях кое-что понимала. Она погладила ладошкой гладко оструганные, без единой шершавинки брусья, коснулась и уголков с заделанными в потемок колышками, и перекрестья, подогнанного так, что женский волос там не просочится, и хотела уже восхититься сработанной дедом Никитой рамой, а еще больше самим дедом, который сподобился на нешуточный в его возрасте и слабом здоровье подвиг, но Василий вдруг опередил ее. Он взял раму в руки, посмотрел верным глазом по периметру и диагоналям, глубоко вздохнул и признался Наташе:

— Мне такой не связать в жизнь!

Будь у Василия с Наташей в запасе побольше времени, то они, восхищаясь изделием деда Никиты, задержались бы в повети, может быть, даже на целых полчаса, но время поторапливало, подгоняло — августовская прохладная ночь уже окутывала темнотой и туманом все окрест. Наташа заторопилась назад к Зорянке, которая и вправду начала гневаться и негодовать от нерадения хозяйки, несколько раз переступила в беспокойстве с ноги на ногу и даже ударила рогами по изгороди-коновязи, а Василий пошел прикрыть на крючок задние ворота, чтоб они ночью не скрипели и не хлопали на ветру.

Но прежде, чем накинуть крючок, Василий выглянул для досмотра на огород: все ли там в порядке и ладу — и неожиданно (вначале даже с тревогой) заметил при свете рано взошедшей луны, как над банькой вьется-курится белесый стойкий дымок. Повременив с воротами, Василий забежал в баньку — и не поверил своим глазам: она была жарко и неистово натоплена; вода в котле кипела и побулькивала, норovia сорвать крышку; камни в парилке раскалились едва ли не докрасна — только плесни на них из ковшика квасом, и они тут же вспыхнут и зашипят, извергая под самый потолок высокое облако-вулкан сухого пара.

— Наташа! — опять позвал ее к себе Василий, поспешно возвратясь во двор. — Скорее управляйся с Зорянкой, дед баньку протопил — парить будем!

— Баньку?! — только и нашлась, что ответить Наташа.

Парильщицей и банщицей она была запальчивой. Любила веселое это занятие пуще любого иного. Бревенчатую их старинную баньку берегла и обихаживала, словно малого ребенка, и настоятельно побуждала к тому Василия: чтоб и котел, и печка всегда были исправны, чтоб веники заготовлялись вовремя и в хорошем запасе на всю зиму, а уж про банный квас и вовсе говорить не приходилось. Наташа заводила его, настаивала на целебных душистых травах в дубовом емком бочоночке, который хранился под особым ее присмотром в погребе. В баньку Наташа подавала квас тоже в дубовом цеберке-ушате, откуда его удобно и скоро было зачерпывать медным ковшиком. (Чтоб банька была похожа на баньку, в ней все важно: и посудина, и веник, и камень — какого они происхождения и выделки). Она, будто по какому наитию, переняла все банные премудрости от погибшего на войне деда Ивана, хотя ни разу и не видела его в жизни, а только слышала подробные рассказы о нем свекра. Но вот же, переняла и запомнила — и дважды приглашать ее в баньку не требовалось.

В последний раз вжикнув в доенку уже ослабевшей струйкой, Наташа отпустила Зорянку в сарай, а сама, даже не процеживая молоко, заторопилась на призыв Василия.

Она лишь забежала на мгновение в дом, выхватила наугад из шифоньера два банных полотенца да нательное белье для себя и мужа и яви-

лась в предбаннике прежде, чем Василий успел подбросить в печку охапку дров, предусмотрительно оставленных возле поддувала дедом Никитой.

— Ну, как он там? — помешивая на колосниках розовато-вишневые угли, поинтересовался Василий.

— Да вроде бы спит, — без особого даже внимания на это его беспокойство ответила Наташа, уже вся в предчувствии жаркого банного дела. — Я к нему не заглядывала.

Мылись-парились они недолго, время все-таки поджимало, поторавливало (ночное уже, считай, было время, не банное). Пару и веников ни Василий, ни Наташа не щадили, изнемогали под ними и томились до последнего предела и в два голоса не переставали поминать деда Никиту добрым, похвальным словом:

— Ну, дед Никита! Ну, дед!

Вышли они из баньки едва-едва живые. Василий пригасил в печке недогоревшие дрова и угли, опасаясь оставлять их без присмотра в ночи, а Наташа тем временем пошла к летней кухоньке развесить там на веревочке, протянутой от подсохи к подсохе, мокрые полотенца. И вдруг закричала оттуда с новым удивлением:

— Дед Никита плиту переложил!

Василий выключил в баньке все огни, поплотней прикрыл дверь и поспешил к Наташе.

Луна, поднявшись уже в полнеба, светила ярче любых огней, и Василий с Наташей при ее высоком сиянии начали осматривать плиту, открывать для пробы дверцу и кружки. Василий с удвоенным вниманием осмотрел смычку, стык печки с трубой, за которые сам при задуманном ремонте, по правде говоря, браться и побаивался (попадет встык или промахнется?!) и после опять глубоко вздохнул и с нескрываемой завистью сказал:

— Мне такой печки в жизнь не сложить.

— Чего там не сложить?! Сложишь! — приободрила его Наташа. — И твоя была не хуже: не дымила, не прикидывала и разжигалась с одной спички.

Но Василий, похоже, не согласился с Наташей, еще раз изучил все швы и стыки, и еще раз вздохнул. Наташа с трудом увела его в дом.

Ужинать они решили на кухне, чтоб возбужденными после бани голосами или каким-нибудь неосторожным движением до срока не беспокоить деда Никиту. Наташа достала из печи горшки с борщом и тушеной картошкой, заглянула в них и не смогла сдержать улыбки.

— Ты только глянь, — показала она горшки Василию, — дед Никита и поел здорово! Полгоршика борща и полгоршика картошки!

— Да он и рюмочку, кажись, выпил, — достал из серванта хорошо початый графинчик Василий.

В гостях у Сергея он, будучи за рулем, при машине к рюмке не прикоснулся, а теперь чего ж было не наверстать упущенное, да еще после бани, когда, как любит повторять дед Никита, крест продай, а выпей.

Когда стол был накрыт, рюмки наполнены, Наташа засомневалась насчет деда Никиты:

— Ну, что, станем будить?!

— Пусть спит, — рассеял ее сомнения Василий.

Но Наташа его не послушалась, а сходила на цыпочках в горницу и постояла минуты две возле двери в светелку деда Никиты, чтоб удостове-

рится, спит он на самом деле или, может быть, давно уже бодрствует, тогда будет неудобно обделить его ужином. Но дед Никита вроде бы спал, по крайней мере, свет из-под двери не пробивался, да и никакого движения или звука (глухого, к примеру, привычного для деда Никиты покашливания) Наташа не расслышала.

«Пусть спит!» — согласилась она теперь с Василием и все так же на цыпочках пошла назад на кухню, но в горнице возле стола Наташа на мгновение замедлила шаг и при лунном горении вдруг заметила странный какой-то бумажный треугольничек, прислоненный к вазочке с цветами-астрами. Она взяла его немного даже с опаской и, не разглядывая и не изучая, что это за треугольничек и зачем он прислонен был к вазочке, понесла его на кухню Василию.

— Письмо нам, что ли?! — передала Наташа ему находку.

— От кого же это письмо?! — тоже не без опаски и удивлений принял Василий из рук в руки треугольничек. — От Вани, от Даши?

— Да нет, — теперь только, взглянув через плечо Василия, прочитала Наташа на лицевой стороне треугольничка надпись. — Кажется, дед Никита нам письмо прислал.

Василий подержал минуту-другую треугольничек в руках, с изумлением изучая написанные карандашом крупные печатные буквы: «*Василию и Наташе*», потом перевернул его тыльной стороной, где написано ничего не было, а лишь стремительно бежали продольные голубенькие линейки, подержал еще немного и наконец начал разворачивать.

— Ну что там? — с тревогой в голосе спросила Наташа.

— Так что! — успокаиваясь сам и успокаивая Наташу, ответил Василий. — Слушай!

И он неторопливо, но громко и выразительно, как обычно читал письма от детей, а с недавних пор уже и от внуков, огласил Наташе краткое послание деда Никиты:

«Здравствуйте, дорогие мои Василий и Наташа!

Я все по мере возможности сделал и лег отдышать.

Низкий поклон всем родным и близким, всем сродственникам и знакомым.

Ваш отец Никита Иванович».

— Ну, что ты с ним сделаешь?! — от души рассмеялась Наташа и, подняв высоко над столом рюмку, предложила. — Давай выпьем за здоровье деда Никиты. Какой молодец дед! Какой молодец!

— Давай! — тоже легко вскинул свою рюмку Василий.

С хрустальным серебряным звоном они чокнулись рюмками и безотрывно, до дна выпили за здоровье деда Никиты, ни капельки не оставив на слезы...

А рано поутру Василий и Наташа обнаружили деда Никиту в его горенке-светелке уже бездыханным. Обычно он поднимался чуть свет, едва вставало солнце, и сам являлся на завтрак, а тут что-то залежался, и Наташа решила заглянуть в его покои: если спит после вчерашних праведных трудов, так пусть и спит, а если пробудился, то, может, подсобить ему в чем надо, постель собрать, диван сложить.

Дед Никита спал. Вытянувшись в струнку и высоко запрокинув го-

лову, он лежал на узенькой створке дивана навзничь. Крупные его руки, с узловатыми, изработавшимися пальцами, были сложены на груди и крепко, так, что даже в нескольких местах байковая голубенькая рубаша собралась в складки, прижаты к ней. Раннее утреннее солнце, пробившись сквозь окошко, освещало его тихое, спокойное лицо, потерявшее во сне все морщины и даже фронтальную рану возле правого виска. При свете этого нежаркого, но щедрого солнца дед Никита был по-стариковски красив: в его простом крестьянском облике проступало не замечаемое прежде Наташей величие.

Но вот солнце соскользнуло с лица на пепельно-седые волосы деда Никиты, заиграло в них веселым зайчиком, запуталось лучиками (не поймешь даже, где волосы, а где лучики), а потом вдруг вернулось назад и замерло на глазах деда Никиты, будто поторапливая его поскорее проснуться и обрести дневную жизнь.

И тут Наташа заподозрила неладное. На утреннюю игру и побудку солнца дед Никита никак не отозвался и не откликнулся: на твердо смеженных его веках не вздрогнула ни единая жилочка, ни единая черточка.

— Василий! — не теряя еще надежды, крикнула в горницу Наташа и тут же приложила ко лбу, к челу деда Никиты вздрогнувшую свою ладошку. Лоб у деда Никиты был горячим только извне, от лучей уже начавшего разгораться в полную силу солнца, а изнутри — холодный и остывший.

Василий, только войдя на порог светелки и только взглянув на деда Никиту, сразу все понял и обо всем догадался. Ничего говорить Наташе он не стал, а лишь обнял ее за плечи и прижал к себе.

В горнице Василий с Наташей наполнили стакан рожью, житом, за-тепили в нем восковую свечу и, вернувшись назад в светелку, водрузили его на подоконник. Подождав, пока поминальная свеча разгорится поярче, затмевая своим вытянувшимся высоко вверх огоньком-пламенем свет утреннего солнца, они встали у изголовья деда Никиты, опять обняли друг друга за плечи — и заплакали...





ПЕТР И ФЕВРОНЯ

Повесть

*Когда подошло время их благочестивого преставления,
умоляли они Бога, чтобы им умереть в одно и то же
время. И завещали они положить их в одном гробу.
И велели они сделать в одном камне два гроба, имеющих
между собою одну перегородку.*

«Повесть о Петре и Февронии»



Шестьдесят четыре года прожили совместно, в любви, миру и согласии Петр Николаевич и Февронья Васильевна, но вот настало им время умирать. Ничего, конечно, страшного в этом нет, вечно жить не будешь. Богом пока что так не устроено и не предусмотрено, чтоб пребывал человек на земле вечно. Отжил отведенный тебе срок, удивился на свет Божий, на землю в весеннем цветении, летней зрелости и зимних снегах, на синее небо с луной и солнцем, на реки, луга и лесные чащи, свершил положенное тебе и будь добр и милостив — уступи место другим.

Петр Николаевич и Февронья Васильевна давно были готовы к этому, иной раз даже, сидя зимой возле печки-лежанки, сетовали, что прихватывают уже лишнее, заживают свой век. В одном только не было у них согласия — кому помирать первому, кому кого хоронить.

— Нет, Петр Николаевич, — пригорюнься, говорила, бывало, зимними теми вечерами Февронья Васильевна, — ты все ж таки мужчина, и гроб мне какой-никакой сладишь, и крест, и могилу-погребение выроешь. А я что буду делать с тобой?

«Люди помогут», — намеревался всякий раз опровергнуть ее Петр Николаевич, но тут же и умолкал: во всей округе ни единой живой души, кроме их двоих, не было, и на людскую помощь надеяться и рассчитывать они не могли.

Жили Петр Николаевич и Февронья Васильевна вдалеке от больших и малых деревень и сел на заброшенном Калиновом хуторе. Образовался он в старые столыпинские времена, не на памяти еще Петра Николаевича и Февроньи Васильевны. Выделившись из общины, сюда в заметное отдаление переселились двенадцать крепких крестьянских хозяйств. На берегу реки построили хуторяне дома, подворья, расчистили густые, непроходимые леса и зажили с добром и миром, во всем понимая и поддер-

живая друг друга. Назвали они свой хутор Калиновым потому, что в окрестностях его, по лесным опушкам росла в великом множестве обильно урожайная каждый год красная калина.

Петр Николаевич и Февронья Васильевна здесь, на хуторе, родились с разницей всего в два года (Петр Николаевич постарше, Февронья Васильевна — помоложе), здесь поженились, здесь прожили долгую свою жизнь, здесь им и помереть давно уже пришел срок. Петр Николаевич отлучался из дому, из хутора всего однажды, на войну, которая выпала ему, согласно его призывного возраста, с лета сорок третьего года по май сорок пятого, да еще потом полтора месяца на Дальнем Востоке, где Петр Николаевич воевал японских врагов-самураев. А Февронья Васильевна не отлучалась из хутора и вовсе.

Хуторская жизнь и в детстве, и в юности Петра Николаевича и Февроньи Васильевны была многолюдной. Детей рождалось и росло в каждом доме помногу, по десяти и больше человек. С годами лесное их калиновое селение расширилось бы, конечно, до деревни и до большого села с церковью, школой-семилеткою и сельсоветом. Земля вокруг благодатная, плодородная, река быстрая, рыбная, с мельницей и сукновальней, леса богатые грибами-ягодами, зверем пушным и птицею. Не ленись, бери все в свои руки и владей. Но времена пошли одни других разорительнее: то коллективизация со ссылками в погибельные места, на верное умирание, то война, будь она неладна, то всякие объединения-разъединения, которые придумывают в высоких кабинетах и мучают ими и без того донельзя измученный русский крестьянский народ.

Десятилетие за десятилетием, год за годом народ этот и стал разбегаться из хутора. Кто переехал в сельсоветское село Новые Боровичи, а кто и того дальше — в районный центр, да и обосновался там. Молодые ребята, уйдя в армию, после демобилизации в родной свой хутор не возвращались, искали пристанища и счастья в других местах: вербовались на комсомольские стройки, на рыбную путину, в шахты, а у кого была голова на плечах и знания, поступали учиться в институты. Девчонок же почти всех сманили в областной центр на комвальный только что построенный комбинат, где бесчисленно и требовались как раз молодые девичьи руки.

Так и исчез с лица земли благодатный когда-то, богатый Калиновый хутор. Последние семь лет остались в нем жить только Петр Николаевич с Февроньей Васильевной.

Конечно, будь у них дети, а потом и внуки, то они тоже, наверное, уехали бы. В одиночестве и самотности радости мало, что тут и говорить, и особенно, когда подошли-нагрянули года преклонные, силой и плотью слабые.

Дети у них были — сын Коля, Николай, веселый такой, во всем примерный мальчишка-парень: глаза голубые, ясные, словно два цветочка льна в утреннюю рассветную пору; волосы тоже по цвету льна, светлые и мягкие (это все в Февронью Васильевну); в кости же Коля с самого малого возраста был широк и крепок, роста высокого и стройного — тут уж сказалась порода Петра Николаевича. И он сам, и отец его, и дед были людьми, пусть и не совсем богатырского, гренадерского сложения, но и не квелье какие-нибудь, слабосильные — ржаной соломинкой их не перешибешь. К тому же и характера все крестьянского, стойкого, которого работа на земле требует от человека непременно.

Коля, если бы он поднялся в зрелую мужскую пору, поди превзошел

бы и статью, и характером, и умом всех своих дедов-прадедов. Время такое подоспело, чтоб превосходить их.

Но жизни Коле выпало всего девятнадцать с половиною лет. Едва успел он окончить в районе десятилетнюю школу-интернат, как призвали его в армию. Попал Коля служить далеким-далеко от родных мест, на китайскую границу, что пролегла по реке Амуру. Китайцы в те годы перестали с нами дружить и брататься, как бывало прежде, а все задирались и готовы были пойти войною. И пошли. Вначале на маленьком амурском островке Даманском, хотели отспорить и отвоевать его у России. Теперь о той, недолгой схватке с китайцами мало кто уже и помнит, а тогда всколыхнулась вся держава: Китай — страна громадная, перенаселенная, с ней шутки плохи.

Бои на острове Даманском шли всего несколько дней, но солдат-пограничников наших полегло там немало, и среди них — Коля. Петр Николаевич вместе с родителями других погибших воинов-бойцов летал-ездил туда и привез Колю домой на родной хутор. Здесь его и похоронили на местном кладбище всем, тогда еще многолюдным хуторским миром.

После смерти Коли Петр Николаевич и Февронья Васильевна еще крепче прикипели друг к другу, сроднились в скорби и утрате и стали жить, считай, одним сердцем и одной душою.

И вот пришел им срок помирать, идти на вечное свидание и встречу с Колей. Но, опять же, кому идти первому, а кому опосля, со временем, полного согласия у Петра Николаевича и Февроньи Васильевны не было. Каждый стерег друг друга и хотел опередить его.

По всем законам природы первому, конечно, надо было идти Петру Николаевичу. Он и возрастом Февроньи Васильевны постарше, и здоровьем послабее: на войне в ранениях и невзгодах растрчено его было много. Всю послевоенную пору Петр Николаевич одними только заботами и обиходом Февроньи Васильевны и жил. Чуть что, она и травмами его всякими лечила, и заговорами, и молитвами, и довела вон до какого преклонного возраста.

Конечно, оставлять ее после себя одну-одинешеньку на хуторе, обречь на неподъемные для женских рук похороны Петру Николаевичу было до горючих стариковских слез жалко и обидно, но и уступить Февронье Васильевне очередь он не мог, не имел на то никакого человеческого права.

Потому Петр Николаевич и стерег Февронью Васильевну так, как, может быть, не стерег и в молодые сокровенные годы. Лишнего шага ей ступить не давал: и воды из колодца принесет, и печку-лежанку растопит, и не больно обширное их домашнее хозяйство-живность (десятка полтора кур, стайку гусей, да молочноудойную козу Матрену) напоит-накормит.

И все-таки не устерег.

Февронья Васильевна обошла, обманула его своим гибким женским умом — умерла прежде Петра Николаевича смертью легкой и скорой.

Поутру поднялись они вроде бы в добром здравии, протерли на окнах запотевшие стекла, полили цветы (это всегда у них было самым первым утренним занятием), растопили печку. Потом Петр Николаевич вышел во двор, чтоб накормить кур, выпустить на реку гусиную стайку в двадцать особ во главе с черноголовым гусаком (за эту черную голову Петр Николаевич и Февронья Васильевна звали его Черномором), да отвести на лужок-пастольник Матрену, где она в свое удовольствие, всего лишь

для порядка привязанная за малый колышек, пребывала на вольной воле до позднего, закатного вечера.

Справился со своей задачей Петр Николаевич быстро и споро. Вот разве что на лужке-пастольнике задержался на минуту дольше, чем полагалось бы. День выдался по-осеннему ясный и чистый: окрестные леса стояли все в червеной позолоте и убранстве, а река, сливаясь с небом, манила такой синью, что не было никаких сил оторвать от нее глаза. У Петра Николаевича от всего этого видения, да еще от свежего, чуточку уже морозного воздуха, закружилась, затуманилась голова, его повело в сторону, и он, удерживая равновесие, позволил себе повременить лишнюю минуту (больно уж зачарованной она была) с возвращением к дому.

А когда вернулся, когда перешагнул порог, намереваясь рассказать Февронье Васильевне, какой чудный выпал сегодня в природе день, и что в такой день неплохо бы сходить им в лес за опятами и рыжиками, — он увидел Февронью Васильевну лежащей на полу уже бездыханной. Вначале Петр Николаевич не поверил случившемуся и даже сгоряча крикнул:

— Февронья Васильевна, ты чего это?!

Он зачерпнул кружкой воды, упал перед ней на колени, намереваясь (и надеясь) отпить ее, привести в чувство и жизнь родниково-колодезной живой водой, но потом понял, что все это напрасно и ни к чему. Да и сама Февронья Васильевна, как послышалось и повиделось Петру Николаевичу, шепнула ему из уст в уста:

— Не хлопочи! Смерть моя пришла.

Петр Николаевич смахнул шапкою с глаз набежавшую слезу, потом, забыв вернуть кружку назад к ведерку, долго сидел на табурете, сразу какой-то осиротевший и одинокий на всем белом свете.

* * *

Но сколько ни сиди, сколько ни плачь, а надо было теперь Петру Николаевичу думать и заботиться о похоронах Февроньи Васильевны. Первым делом предстояло ему по христианскому обычаю обмыть ее и обрядить в последний посмертный уже наряд. В деревенской многолюдной жизни этим, конечно, занимались женщины, чаще всего древние старушки, знавшие все тонкости и тайны обмывания. У мужчин при похоронах было иное занятие и обязанности: мастерить для покойного гроб (по-ихнему — домовину), крест, копать могилу. Но Петру Николаевичу рассчитывать было не на кого. Все многолюдье отдалилось вон в какие недосыгаемые пределы — за двадцать верст, в Новые Боровичи. При стариковской немочи Петра Николаевича добираться туда не меньше, как двое суток с походной ночевкой в каком-нибудь стожке сена, холодном уже, предзимнем. Сельское начальство, может, и уважило бы Петру Николаевичу, снарядило на похороны Февроньи Васильевны каких-нибудь бросовых мужиков, всегда охочих до дармовой выпивки. Но это, если Петр Николаевич дойдет до Новых Боровичей, достучится до высокого несговорчивого начальства. А если окоченеет в стогу, тогда как?! Тогда останутся они оба с Февроньей Васильевной захороненными. Да и без этих опасений и страхов как-то совсем не по-человечески бросить Февронью Васильевну на двое или на трое суток одну-одинешеньку в пустом остывающем доме. Хоть и обманула она Петра Николаевича, ушла из жизни раньше его, а все равно поди по смерти ей тяжело и кручинно. Тут

непременно должен быть рядом человек живой и родственной. Вот если бы, к примеру, первым помер Петр Николаевич, то разве Февронья Васильевна оставила бы его хоть на единую минуту?! Ни за что бы не оставила. В этом он ручается, хоть перед людьми, хоть перед Богом.

В общем, ни о каком походе в Новые Боровичи за помощью и подмогой Петр Николаевич даже и думать не смел. Он снял телогрейку и сапоги и принялся, как мог и умел, за омовение Февроньи Васильевны. Прежде всего предстояло Петру Николаевичу перенести ее с пола на дощатый самодельный диван, что стоял у них возле окна. Женщиной Февронья Васильевна была сухонькой, нетяжелой, и в молодые годы Петру Николаевичу ничего бы не стоило подхватить ее на сильные свои руки (сколько раз и подхватывал!) и перенести, хоть в доме на диван, хоть в уличной и дворовой жизни на какую-нибудь скамейку-лавочку или на крылечко. Но где теперь они, эти силы?! Ведрка воды без дрожжи во всем теле от колодца не принесет.

Поэтому Петр Николаевич храбриться не стал, а приступил к Февронье Васильевне со всей предосторожностью, чтоб и ее не обеспокоить лишним, грубым движением, и самому устоять на ногах.

Он опять низко склонился перед Февроньей Васильевной, подложил ей одну руку под плечи, а другую — под колени, отдышался и все ж таки вскинул на грудь, прижал к себе, а потом распрямился и во весь рост.

— Ты не спеши, не спеши, — шепнула ему опять, предостерегла Февронья Васильевна. — Потихоньку.

— Да я не спешу, — ответил он ей во всеуслышанье, как не раз, случалось, отвечал в обыденной ежедневной жизни, когда Февронья Васильевна останавливала его, умиряла, если Петр Васильевич не по годам и не по силам чрезмерно горячо брался за какое-нибудь мужское крестьянское занятие по хозяйству: копал ли сохранную яму под картошку, ладил ли забор, рубил ли дрова.

Минуту-другую Петр Николаевич действительно в полной тишине и неподвижности постоял посреди комнаты, утишая непомерно заколотившееся сердце, прикинул даже в уме, сколько и какой ширины ему надо сделать до дивана шагов, чтоб случайно не зацепиться за домотканый половичок, который всегда лежал у них вдоль всей горницы. Когда же сердце успокоилось и усмирилось, Петр Николаевич шаги эти сделал (их оказалось всего четыре) и бережно положил Февронью Васильевну на крапчатые сосновые доски.

В доме, хлопоча по хозяйству, Февронья Васильевна одевалась всегда легонько и необременительно. На ней-то всего и было, что байковая клетчатая кофточка, застегнутая на длинный ряд перламутровых пуговиц, просторно-свободная юбка, с наброшенным поверх нее кухонным фартуком; на голове беленький платочек-хусточка, повязанная под подбородком опять-таки свободным, не стесняющим движений узелком, а на ногах войлочко-кожаные тапочки, которые смастерил ей самолично Петр Николаевич — покупных, где их теперь достать? Была еще на Февронье Васильевне нательная домашней работы рубаха. Это уж все ее собственное искусство и рукоделие. По предплечьям и груди рубаха была вышита красно-черным крестовым узором — переплетением цветов и широколистных трав. Цветоностый и травяной веночек бежал еще и внизу рубахи, по всему подолу. В женском (а тем более в старушечьем наряде) полагалось, чтоб этот веночек-вьюнок выбивался-выглядывал из-под юбки узенькой ленточкой: так было и красиво, и приглядно. Февронья Васи-

льевна особой модницей даже в молодые годы не слыла (не до того ей было в послевоенной тяжелой жизни), но и от заведенного в старые времена обычая не отступала, блюла его, и радоваться красоте и искусно сделанной работе умела.

Теперь вот Петру Николаевичу предстояло снять с Февроньи Васильевны весь ее обиходно-обыденный наряд, омыть перед прощанием тело, а потом облачить в наряд посмертный, который у них обоих был давным-давно заготовлен и лежал двумя высокими стопочками в шифоньере на отдельной самой верхней полочке.

Никогда прежде Петру Николаевичу заниматься омовением и снаряжением человека в последний путь не приходилось, хотя на войне смертей и похорон он пережил несчетно. Но какие там омовения, какие перенаряживания убиенных, погибших друзей?! Если случится погибнуть бойцу-красноармейцу в обороне (и оборона эта будет удержана), тогда, понятно, похоронят его еще по-божески, иной раз даже и ящичек-гроб какой-никакой смастерят. А если в наступлении, когда оглядываться назад на погибших и павших некогда и недосуг, надо стремиться все вперед и вперед. Тогда уж, как получится. Тут все в милости и распоряжении трофейно-похоронных команд. Снимут они с солдатика сапоги, шинельку, а то и гимнастерку, если на ней обнаружится всего лишь одна-другая не слишком окровавленная дырочка, да и отнесут его в какой-нибудь овражек, балочку или траншею, чтоб поспешно зарыть в общей, называемой братской, могиле. Имущество солдатику там уже ни к чему — все едино ему: в сапогах лежать, в шинельке и гимнастерке, со всеми наградами на груди или в одном только нательном белье, а в боевых порядках, починенное и подлаженное обмундирование вполне может еще пригодиться живому, способному к обороне и наступлению бойцу, у которого собственное вещевое имущество и довольствие пришло в полную непригодность. В наступлении редко какому солдатику повезет, что его отыщут на поле сражения свои однополчане, друзья-товарищи по взводу или отделению и похоронят, как говорится, с отданием всех воинских почестей в отдельной именной могиле с песчаным холмиком и дощатой пирамидой, увенчанной на излете фанерной или жестяной звездочкой. Это так только в кино показывают, а как было на самом деле, теперь лишь древние, подобные Петру Николаевичу, старики, побывавшие на фронте, и помнят.

Непрошенные эти воспоминания ненадолго отвлекли Петра Николаевича от предстоящего ему скорбного занятия. Он со вздохом отстранился от них, отвел как бы в сторону нетвердой рукой и прежде всего развязал на голове у Февроньи Васильевны платочек-хусточку. Слезы опять навернулись ему на глаза, но он не стал их ни смахивать, ни вытирать — пусть текут, изнемогают, в них единственное теперь его облегчение. Небритой своей, по-стариковски костлявой скулою Петр Николаевич прикоснулся к щеке Февроньи Васильевны и в первое мгновение даже отпрянул назад: щека ее была еще заметно теплой, не до конца остывшей и охолонувшей — и в голове Петра Николаевича шаровой молнией и ударом прокатилась воспаленная мысль, что, может быть, он поторопился, поспешил принять Февронью Васильевну за умершую, а на самом деле она жива и просто прилегла на диване отдохнуть, пока разгорятся в печи как следует дрова, а Петр Николаевич вернется со двора в дом.

Но когда он стал снимать с Февроньи Васильевны кофточку, то спасительная эта, обнадеживающая мысль отступила и погасла, залитая стариковскими его печальными слезами — плечи и руки Февроньи Васи-

льевны были уже холодными и с каждой минутой холодели все больше. Юбку и нательную рубашу Петр Николаевич снял с Февроньи Васильевны уже с трудом, хотя она ни в чем и не сопротивлялась ему, а, наоборот, как могла, помогала при каждом движении: поворачивала, куда требовалось, руку и плечи, приподнимала при самом малом прикосновении Петра Николаевича голову. Когда же все будничное и пропитанное еще живым теплом одеяние Февроньи Васильевны было снято и сложено аккуратной памятной стопочкой на лежанке, Петр Николаевич поспешно достал из шифоньера чистую льняную простынку и, стараясь по возможности не причинять Февронье Васильевне страдания и боли, подложил ее без единой морщиночки и складки под тело усопшей. Все ж таки не положено, хоть живому, хоть мертвому человеку пребывать в отдохновении на холодных жестких досках. Февронья Васильевна легла на белой поминальной простынке ровненько и примерно, по-девичьи опустив руки по швам, и всем своим видом, как будто спрашивала Петра Николаевича: «Так ли все, Петр Николаевич, ладно ли все?»

— Все так, все ладно, — вслух ответил ей Петр Николаевич.

Тело Февроньи Васильевны и по смерти было красивым и величавым в прощальном своем откровении. Петр Николаевич не смог сдержать себя и с трепетом прикоснулся теперь уже ладонью к щеке и высокому лбу Февроньи Васильевны, поправил чуть сбившиеся волосы, чувствуя, что все эти ласковые его движения ей приятны и отрадны. Стараясь поддержать в ней и продлить эту отраду, Петр Николаевич сказал почти что уже веселым голосом:

— Сейчас мы с тобой, Февронья Васильевна, умоемся, принарядимся, и все будет хорошо.

— Дай-то Бог, — ответила она ему.

Петр Николаевич, оставив на минуту Февронью Васильевну в горнице одну, сходил в сени за оцинкованным корытом-ночвами, устойчиво приладил его на двух табуретках возле дивана, потом достал из печи ухватом поставленный туда еще Февроньей Васильевной чугунок с кипятком. Удерживая чугунок кухонной тряпицей и оберегаясь, чтоб какая-нибудь случайная летучая капелька-брызга не попала на Февронью Васильевну и не обожгла ее, Петр Николаевич перелил кипяток в корыто, самую малость передохнул, перевел дыхание и начал добавлять туда из ведерка воды холодной, постоянно пробуя рукой в меру ли горяч получился раствор.

В глубокой уютной печурке рядом с ухватами у них с Февроньей Васильевной хранились две рогожные помывочные мочалки. Одна чуть побольше и жестче — Петра Николаевича, а другая поменьше и помягче — та Февроньи Васильевны.

Петр Николаевич и взял было эту мягонькую, пушистую от частого употребления мочалку, но потом поспешно вернул ее на прежнее место. Живому, стойкому и к горячей, и к холодной воде человеку удобней и приятней мыться пушистой рогожкой, а для упокоенного чуткого к любому прикосновению — она никак не годится. Тут требуется материал поласковей, какой-нибудь батистовый тонкий лоскутик. Петр Николаевич открыл шифоньер и в бельевом хозяйстве Февроньи Васильевны лоскутик такой легко обнаружил. Был он невелик и не мал по размеру, а такой, что, если сложить вчетверо, то как раз и получится невесомая почти, нежнее нежного мочалочка, которая при омовении не причинит Февронье Васильевне никакого беспокойства.

Петр Николаевич так и сделал. Он глубоко обмакнул лоскутик в корыто, отжал лишнюю воду, сложил вчетверо и, не давая лоскутику остыть, приступил к Февронье Васильевне. Чутким, едва ощутимым движением он омыл ей высокий светлый лоб, потом щеки и подбородок, а когда коснулся шеи с нательным крестиком, слезы опять потекли у него из глаз градом. Они падали Февронье Васильевне на лицо, на плечи и на грудь, и, должно быть, сильно огорчали и печалили ее. Февронья Васильевна сама в своей жизни плакала редко и не любила, если плакали при ней другие люди, особенно такие вот крепкие еще на вид, хотя и возрастные уже мужчины, как Петр Николаевич. Он никогда и не плакал при Февронье Васильевне, ни на что даже и не жалобился, разве что в тот страшный день, когда хоронили они Колю. Так как же им было тогда взаимно и не плакать?! В том только и находили они свое спасение. Нынешний день был подобен тому, переломившему их с Февроньей Васильевной жизнь надвое — с Колей и без Коли. Конечно, горе горю рознь. Февронья Васильевна умерла в преклонном возрасте, на девятом десятке жизни, когда вроде бы уже и пора помирать, а Коля был застрелен китайцами всего девятнадцати лет от роду. Но все равно не плакать, не оплакивать Февронью Васильевну, с которой вон в каком завидном миру и согласии прожили они целых шестьдесят четыре года, он не мог. Сердце его без слез и плача не выдержало бы — разорвалось от горя. И он плакал, горько и несдержимо, как только и могут плакать, таясь от женщин, в подобные минуты такие старики, как Петр Николаевич, которым теперь предстоит одинокая бесприютная жизнь-доживание.

От тех горючих слез ему действительно было легче на душе и сердце. Но Февронья Васильевна все больше и больше огорчалась и печалилась ими. Это было видно и по ее лицу, и по ее крепко смеженным векам. И тогда Петр Николаевич, пересиливая себя, вдруг сказал ей, как мог сказать только при жизни в совместно веселую их минуту:

— А помнишь, как мы купались с тобой ночью возле плотины?!

— Как не помнить?! — совсем по-живому, по-доброму улыбнувшись, ответила ему Февронья Васильевна. — Все помню, будто только вчера и было.

Вечер тот, а, вернее, глубокая уже июльская ночь в канун Петрова дня была им обоим самая памятная из памятных. Петр Николаевич только-только вернулся домой после заключительных своих сражений с японцами-самураями и семимесячного излечения по разным госпиталям (фугасным осколком его так полоснуло вдоль всей спины, что он едва-едва уцелел и выжил) и ходил по селу, хотя и квелый еще, будто ветром подбитый, но все равно герой героем, в военной, ладно подогнанной форме и, главное, при всех орденах и медалях, которых было у Петра Николаевича не так уж чтоб и много (орден Красной Звезды да с полдюжину медалей «За отвагу» и за взятие разных городов), но вполне достаточно, чтоб завлечь любую деревенскую девчонку-невесту. Он и завлек ближнюю свою соседку Февронью, приметив, что за три года, пока он воевал врага, она поднялась из полудетского малого еще возраста до восемнадцати лет — самой отраднейшей девичьей поры. Петр поначалу даже не признал ее, думал, может, какая посторонняя, чужая невеста прибилась к соседям (в войну такое часто случалось: и беженцы, и дети ближних и дальних родственников, погибших на фронте и в оккупации, и просто никем не опознанные сироты, жившие на колхозном патронате). А когда признал, то уже не отходил от нее ни на шаг, да она и сама не стремилась от него отойти...

По весне и раннему лету таились они на лавочках и крылечках, вели задушевные свои молодые разговоры, все больше и больше познавая друг друга. Далеко от дома Петру отлучаться было еще опасно: раненая спина давала о себе знать, чуть что, сразу огнем загоралась — шагу лишнего не ступишь. Но к июлю месяцу, при домашнем уходе и домашней сытной еде, он заметно окреп, пересилил свои боли и вот однажды сказал Февронье:

— Давай-ка мы с тобой покатаемся на лодке. А то все сидим да сидим...

— А тебе можно? — робко, но с надеждой спросила она.

— Можно уже, можно, — тихонько обнял он ее за плечи.

Вечернее и ночное катание на лодке-поскодонке парня с девчонкой было в их деревенской жизни-ухаживании делом заманчивым и почти что обязательным. Если парень пригласил девчонку покататься, а девчонка согласилась, то, стало быть, намерения у них самые серьезные.

Захватив весло с ключиком на черенке, Петр и Февронья, никем не увиденные и не опознанные, пробрались к реке. На привязи они отомкнули плоскодонную рыбацкую лодку, которую Петр, словно предвидя такой случай, еще весною при первом паводке и разливе потихоньку проконопатил и заново просмолил. Она приняла их, будто какой ковчег, обещая далекое и сокровенное плавание. Петр с веслом в руках занял место на корме, а Февронья в двух шагах от него на серединной лавочке-перекладке. Плыть они решили вначале, на свежую силу, вверх против быстрого речного течения, чтоб после, развернув лодку и почти не правя веслом, пустить ее по течению, а самим сойтись плечом к плечу, рука к руке на серединной этой широкой лавочке.

Июльская краткая ночь выдалась такой, каких после ни Петр, ни Февронья и припомнить не могли. Ярко-серебряная луна в полном своем очертании поднялась высоко в небе, и словно застыла там, освещая лишь стремнину реки, а все берега и прибрежные заводи тая в тени ольшаников и лозовых зарослей. Все вокруг замерло и уснуло: на кустах не вздрогнет, не зашелестит ни единый листочек, на островках, мимо которых проплывали Петр с Февроньей, не поколеблется ни единый стебелек травы-осоки и молодого, еще нестойкого камыша, даже речные водовороты, днем, при солнечном свете и порывах ветра, грозно и предостерегающе урчащие, теперь присмирели и ушли в глубь реки. Тишину нарушали разве что редкие всплески играющей на стремнине рыбы да тревожные крики на болотах чуткой ночной птицы коростеля, разгадавшей приближение лодки.

Правил веслом вначале один Петр, а Февронья сидела к нему лицом, прислушивалась к ночной тишине, к игре полусонной рыбы, крикам коростеля, да еще к золотому перезвону боевых медалей-наград на груди у Петра. Но потом она решительно потребовала себе весло и, когда Петр попробовал выказать сопротивление, забрала его силой и сказала со всей строгостью в голосе:

— Сорвешь спину, что я тогда буду с тобой делать!

Волей-неволей пришлось Петру подчиниться решительной своей попутчице и передать ей весло.

Так, поочередно подменяя друг друга, они доплыли до далекого монастырского берега (стоял там когда-то в незапамятные времена монастырь — оттого и название такое), полюбовались высокими его кручами, нарвали Февронье на венок и ожерелье-монисто водяных цветов кувшинок-латаття и развернули лодку вниз по течению.

Петр перебрался, пересел к Февронье на лавочку (и она не остановила его), прижал ее к своей орденосной груди, и оба они затаились в жарком неразрывном объятии и уже не помнили, как лодка сама по себе плыла по быстрой речной стремнине мимо островков-отмелей, мимо зарослей все тех же кувшинок, речных ослепительно-белых при свете луны лилий и недавно только сметанных в лугах на высоких оденках стогов, которые, будто какая богатырская стража, оберегали Петра и Февронью.

Опомнились, пришли в себя они лишь возле плотины, когда лодку их прибило к песчаной, зетенной лозняками заводи. И тут Петро, словно невзначай попробовав рукой воду с правого ближнего к нему борта лодки, вдруг сказал Февронье почти теми же словами, какими приглашал ее в ночное плаванье:

— Давай искупаемся! Вода, смотри, какая теплая!

Февронья попробовала, испытала воду со своего, левого, борта, минуто помедлила, и Петр с тревогой ожидал, что она сейчас тоже повторит прежние остерегающие слова о том, можно ему купаться или нельзя, но она их не повторила, а ответила смелым, хотя и нескрываемо взволнованным согласием:

— Давай!

Взяв весло, Февронья сама причалила лодку к берегу, опять секунду-мгновение помедлила, огляделась по сторонам и, увидев на луговой полянке густой куст краснотала, ушла к нему и скрылась за ним.

Петр подтянул лодку повыше на берег, чтоб ее случайно не унесло течением, и направился в противоположную от Февроньи сторону, к старой низко склоненной к речной глади иве-вербе.

Соединились они на самой середине реки. Соединились и прильнули друг к другу, невидимыми своими в ночной темной воде телами, и так, в жарком этом единении, почти не отрываясь друг от друга, долго плавали по реке, изумляя своими негромкими голосами-признаниями и реку, и серебряно-чистую луну, и даже ночную чуткую птицу-коростеля, которая вдруг замолкла и притаилась в густой траве, чтоб не нарушить и не вспугнуть этого юного горячего признания.

Когда же луна начала уже клониться к закату, а на востоке заалела предутренняя светлая полоска, они опять разошлись по своим укрытиям. Петр только-только стал одеваться, как вдруг услышал из-за куста краснотала громко-веселый крик Февроньи:

— Ой, комары!

Не помня себя, Петр схватил гимнастерку и бросился спасать Февронью от беспощадно-кусучего нашествия комарья и мошки, которые колют по лугу настоящими полчищами.

Тут он впервые и увидел (а не только ощутил в темной глубинной воде) юное ее девичье тело и поразился его красоте и величию. Всего одно мгновение позволил себе Петр посмотреть на Февронью, на обнаженные ее плечи, на грудь и стройные сильные ноги (но кратко этого, летучего мгновения хватило, чтоб запомнить ночное видение на всю жизнь), а потом набросил Февронье на плечи гимнастерку, приблизил к себе и, преодолевая неожиданно охватившую его робость, тихо спросил:

— Будешь моей женой?

— Буду! — тоже тихо, из уст в уста ответила ему Февронья.

Теперь, через столько лет, давнее то видение всколыхнулось в памяти Петра Николаевича каждой своей черточкой. Он опять прикоснулся и к щеке, и к плечам, и к тоненьким запястьям Февроньи Васильевны ладонью, и тело ее показалось ему точно таким же красивым и величавым, как и в ту незабываемую для них обоих ночь (сколько раз после, уже женатыми, они вспоминали ее, дивясь, а вместе с тем и одобряя свою юношескую робость и стеснительность).

Трижды омыл Петр Николаевич крестообразными движениями притихшую и непривычно покорную ему во всем Февронью Васильевну, за каждым разом меняя в корытце-ночвах воду. Потом он сухо-насухо вытер ее мягоньким льняным полотенцем-утиральником, вбирающим в себя самую маленькую капельку влаги, и начал в обратном счете обрядить Февронью Васильевну в посмертный наряд.

Прежде всего, Петр Николаевич надел на нее нательную рубашку, вышитую, как и простая, будничная, по вороту и груди красно-черными буйными цветами, а внизу, по зубчатому подолу, тоненьким травяным узором-плетением. Поверх рубахи он надел вовсе не поминальную, а пасхально-праздничную, тоже шитую цветами и травами кофточку и такую же праздничную, в частых оборках в поясе юбку. На ноги Февронье Васильевне Петр Николаевич приладил-обул, опять-таки, самолично связанные ею для предвиденного такого случая носочки тонкого козьяго пуха, добытого у Матрены, а на голову повязал беленький платочек-хусточку. И когда глянул на Февронью Васильевну в праздничном этом наряде, то никак не поверил (не захотел и не пожелал поверить), будто она умерла, разлучилась с ним на веки вечные. Петру Николаевичу почудилось, что Февронья Васильевна вот-вот поднимется с дивана и скажет ему:

— День сегодня, праздничный и теплый, не хочешь ли посидеть на крылечке?

— Отчего же — не хочу, — ответит ей Петр Николаевич, и они, держась за руки, выйдут на высокое их крылечко, сядут на лавочку, будут греться на осеннем, но и вправду еще таком теплом солнышке, как часто сживвали на нем в праздничные радостные дни, когда заниматься какой бы то ни было работой предосудительно и грешно.

Но радостно-праздничная эта минута оказалась и обманчивой, и недолгой. В следующее мгновение он устало присел на табурет и вдруг встретился взглядом с Колей, запечатленным на увеличенной фотографии, которая висела на стене как раз в изголовье Февроньи Васильевны.

— Вот и нет у нас, Коля, матери, — тяжело и повинно вздохнул Петр Николаевич. — Не уберег...

— Что делать! — по-сыновьи участливо приободрил его Коля. — Крепись, отец.

— Стараюсь, — с благодарностью ответил ему Петр Николаевич.

От этого родственного разговора-общения с сыном ему действительно сделалось чуточку полегше и пободрее. При жизни Февроньи Васильевны они, случалось, и поодиночке, и сообща так вот обращались к Коле, и он всегда откликнулся на их слова. Откликнулся и сегодня, в столь непоправимо скорбный для Петра Николаевича час.

Почувствовав себя покрепче, Петр Николаевич решил довести до конца, завершить весь положенный по обычаю поминальный обряд. В натру-

женно-изработавшиеся руки Февроньи Васильевны, нынче отдохновенно и ровненько сложенные на груди, он приладил крестик, тоже для такого случая давно у них заготовленный, а рядом восковую свечу (хотя и сомневался, доподлинно не зная, положено это делать или нет) и затеплил на ней огонек от уголька, взятого из печи. Тот сразу возгорелся высоко и пламенно, осветил лицо Февроньи Васильевны, которое до этого было в тени. Теперь же оно просветлело и прояснилось, и опять показалось Петру Николаевичу лишь уснувшим на короткое время, но никак не мертвым.

Вторую свечу Петр Николаевич приспособил в стакане с рожью-житом, воспламенил ее и поставил на столе в Красном углу под образами — тоже обычай древний и обязательный. Оба эти восковых огонька быстро обнаружили друг друга, затрепетали в едином порыве и горении, словно чувствовали, зачем и по какому случаю зажжены. От их взаимного трепета и колыхания в горнице стало совсем тихо и торжественно-печально, как всегда и бывает в доме покойного, в горестные минуты прощания с ним. Лишь изредка тишину эту нарушало звонкое и недопустимо живое потрескивание догорающих в печи дров. Петр Николаевич поначалу испугался его, вздрогнул и даже хотел было разгрести, разбросать дрова ухватом по всему череню-поду печи, чтоб они поскорее погасли, но потом воздержался: пусть прогорают до самого малого уголька, все-таки воссожжены они Февроньей Васильевной — живая, негасимая память о ней.

Петр Николаевич опять присел на табурете, придвинув его теперь к дивану, поближе к Февронье Васильевне. Несколько раз он поправлял складочки у нее на кофте и на простынке-покрывале, которым прикрыл Февронью Васильевну по грудь, махонький крестик и свечу. Потом ему показалось, что платочек повязан под подбородком у нее слишком туго, и Петр Николаевич ослабил узелок, чтоб он не сдавливал Февронье Васильевне шею. Свершив все эти, как ему казалось, необходимые исправления, Петр Николаевич притих (тревожились и жили в нем лишь душа и сердце) и долго сидел рядышком с Февроньей Васильевной, неотрывно глядя на освещенное свечою ее лицо.

— Ты бы поел чего-нибудь, — вдруг строго и заботливо, как не раз случалось и при жизни, сказала ему Февронья Васильевна.

— Не хочется ничего! — попробовал отказаться Петр Николаевич: какая там еда при таком несчастье, он и думать о ней не смел.

Но Февронья Васильевна настояла на своем:

— Поешь, поешь! День тебе предстоит тяжелый, не евши ослабнешь. Молока хоть козьего попей с хлебом. Все сытней будет.

— Ну, разве что молочка, — со вздохом подчинился ей Петр Николаевич.

Он принес с кухоньки кувшин с молоком, глубокую чашку, украшенную по бокам розовыми вишенками-черешнями, и ломоть черного подового хлеба, печь который Февронья Васильевна была великая мастерица.

В первые годы, когда они продали корову Зорьку (добывать для нее сено на зиму им стало уже невмоготу) и обзавелись козой Матреной, Петр Николаевич привыкнуть к козьему, чуть солоноватому на вкус молоку никак не мог. Но потом — ничего — потихоньку пристрастился к нему и каждое утро, прежде горячего завтрака, по деревенскому обычаю и заведению всегда выпивал полную чашку (а иной раз, так и две) с хлебом и

тем был сыт до восьми-девяти часов, когда они садились с Февроньей Васильевной за стол уже совместно.

Но сегодня Петр Николаевич пил молоко через великую силу, через силу откусывал и хлеб, не чувствуя ни ржаного его животворящего запаха, ни первородного мучного вкуса. Он, наверное, и вовсе оставил бы всю еду-страву в сторону, если бы не видел, что Февронья Васильевна из-под смеженных век зорко следит и наблюдает за ним, и, решишь Петр Николаевич на такое послушание, так она сильно бы огорчилась. А огорчать Февронью Васильевну Петру Николаевичу никак не хотелось. Он и при жизни старался как можно реже расстраивать ее по разным обыденным мелочам, приводить в волнение, а нынче делать это тем более было непроизволительно.

Петр Николаевич допил молоко до самого доньшка, доел и хлебушек, удачно и расчетливо угадав сдружить во рту последнюю подовую корочку с последними молочными каплями.

— Вот и молодец! — похвалила его Февронья Васильевна. — А то — не хочу, да не хочу!

— Так и вправду не хотелось, — ответил Петр Николаевич и поблагодарил Февронью Васильевну за внимание и заботу, как обычно и благодарил каждое утро.

Он отнес назад на кухню кувшин и чашку. Кувшин поставил на подоконник, а чашку, ополоснув водой, на полочку в настенном шкафчике. Раньше всем этим занималась Февронья Васильевна, не позволяя Петру Николаевичу вмешиваться в ее кухонные женские дела. Но теперь рассчитывать Петру Николаевичу было не на кого, надо все до остатней мелочи совершать самому.

Захватив на кухне тряпочку, он принялся сметать со стола хлебные крошки, со всем старанием вытирать столешницу, на которую во время еды по стариковской своей неаккуратности все-таки обронил две-три капли молока. Вроде бы и совсем уж нестоящая приборка, а сама по себе она не делается.

— Ничего, привыкнешь со временем, — разгадала его мысли Февронья Васильевна, — это дело нехитрое, — потом помедлила минуту и вдруг дала Петру Николаевичу новое домашнее приказание: — Там, на припечке, стоит горшочек с куриной ножкой — суп я хотела на обед сварить — так ты теперь сам доведи его до ума. Закинь в печь два-три поленца и поставь перед полымем. Да не забудь прикрыть кружочком, а то дымом прикинет. Когда ножка хорошо проварится, зажарь суп луком с морковью, посоли, забрось лавровый листочек и щепотку горького перца. Часам к двенадцати, к обеду, суп как раз и упрет, поешь горячего.

— Да не хочу я никакого супу — ни горячего, ни холодного, — попробовал опять противиться Петр Николаевич, но Февронья Васильевна и тут была непреклонной:

— Ты об этом и думать не смей, мужчина должен есть горячее.

Пришлось Петру Николаевичу и по второму разу подчиниться Февронье Васильевне. Он сделал все в точности так, как она и приказывала: подкинул в печку три березовых поленца, прикрыл горшочек кружочком и со всем вниманием, чтоб случайно не опрокинуть, поставил ухватом перед полымем.

Сидеть в тоске и горести, дожидаясь, пока куриная ножка в горшочке проварится, Петру Николаевичу не приходилось. Теперь, когда Февронья Васильевна была омыта и обряжена, предстояло ему думать о до-

вечном ее прибежище и укрытии — о гробе-домовине, о могиле и о православном надмогильном кресте.

— Ты побудь тут одна, — попросил он Февронью Васильевну, — а я пойду в омшаник, посмотрю доски — домовину надо ладить, куда денешься.

— Иди, иди, — отпустила его Февронья Васильевна. — Я подожду, ничего со мной не станется.

Но уйти Петру Николаевичу сразу из дома не получилось. Только он приоткрыл дверь, как из сеней проворно юркнул третий их жилец-обитатель, кот Назарка. Не обращая особого внимания на Петра Николаевича, он устремился на кухню, где в укромном месте, в уголке, под лавкою стояла его приватная черепяная мисочка, всегда наполненная стараниями Февроньи Васильевны козым молоком, к которому Назарка-Назарий пристрастился не хуже Петра Николаевича. Молоко там было и нынче, звало и манило Назарку к себе, и он, учуяв и углядев его, ускорил и без того скорый шаг, но на полдороге вдруг остановился и замер с поднятой вверх лапой. В такой тревоге и нерешительности он стоял посреди кухоньки, наверное, с минуту, а потом, опустив лапу, бесшумно пошел в горницу и с удивлением посмотрел на Февронью Васильевну, которая в утренние самые работные и хлопотные часы никогда не позволяла себе празднично лежать на диване. Назарка принялся окликать ее, мяукать, звать на кухню к печи и работе, несколько раз даже царапнул ножку дивана когтями, оглянулся на Петра Николаевича, будто спрашивая его, что бы все это означало, и почему хозяйка с крестиком и высоко горящей свечой в руках покоится на диване. Петр Николаевич приласкал Назарку, погладил его по спине и хотел уже было доходчиво объяснить ему всю их печаль и горе, но Назарка вдруг сам кошачьим своим, восприимчивым ко всему живому и неживому умом понял, какая беда навалилась и пришла к ним в дом. Он высвободился из рук Петра Николаевича, вспрыгнул на диван и сел в ногах Февроньи Васильевны безмолвной, будто окаменевшей стражей. Всю свою жизнь Назарка прожил рядом с Февроньей Васильевной, под ее опекой и повседневным вниманием, и сейчас, может быть, полнее Петра Николаевича понимал, как ему будет без нее худо.

— Ты приглядывай тут за ней, — пытаюсь рассеять тоску и печаль Назарки, попросил его Петр Николаевич, — я скоро вернусь.

Назарка на мгновение ожил, посмотрел на Петра Николаевича зелеными своими, непривычно рассеянными и усталыми глазами, и в тех глазах Петр Николаевич безошибочно прочитал упрек маленького рыжего Назарки ему, Петру Николаевичу, взрослому большому человеку, который не смог, как следует, доглядеть Февронью Васильевну при жизни, а нынче просит доглядывать, охранять ее по смерти.

— Не уберег, — повинился перед Назаркой Петр Николаевич, как винился перед Колей и как готов был повиниться перед всем белым светом: перед зверьем и птицей, деревьями и травой, перед восходящим и заходящим солнцем, перед луной и звездами за свой недосмотр и недогляд. Не должен был Петр Николаевич поперед себя отпустить из жизни Февронью Васильевну, никак не должен был. А что тяжело и неподъемно ей было бы хоронить его, так это просто отговорка. Как-нибудь похоронила бы: либо помалу сходила бы в Новые Боровичи, позвала в помощь людей, либо опустила бы его на огороде в яму, где они закапывали на зиму картошку, да и засыпала землей.

Поплотнее прикрыв дверь, Петр Николаевич вышел во двор и высоко запрокинул голову на ярко горящее солнце, чтоб определить, который нынче час. Никаких иных часов, кроме солнечных, у них в хозяйстве давно не было. Настенные, прежде такие бойкие ходики, еще лет пять тому назад, истончившись в шестеренках, сломались и навсегда остановили отсчет времени. Поначалу Петру Николаевичу и Февронье Васильевне без их неугомонного перестука и мелькания блескучего маятника было тоскливо и немо, будто лишились они в доме живого говорящего существа. Но потом помалу привыкли к этой немоте и уже не обращали на нее никакого внимания. Обходились же когда-то, в древние столетия, люди без всяких часов, доверяясь только одному солнцу да круговороту земли, и — ничего, жили и не испытывали от этого особого неудобства. Петр Николаевич и Февронья Васильевна, правда, ходики из дому не выбросили, оставили их висеть на прежнем месте, обрамляя для красоты в праздничные дни вышитым рушником наравне с образами. Часы были старинные, с большим циферблатом-теремком, на котором мастер-часовщик искусно изобразил двух ангелов-трубачей (уж поистине образ), с ажурным нетерпеливым маятником и тяжелой латунной гирей на цепочке. Глядя на них, застывших, сделавших передышку в течение времени, Петр Николаевич и Февронья Васильевна иной раз промеж себя загадывали — а вдруг часы сами по себе как-нибудь наладятся и вновь пойдут. Такое, говорят, с механизмами случается. Больше всего верила этому Февронья Васильевна и ухаживала за часами, как за живыми: чистила маятник и гирю толченым кирпичом и мелом, протирала ангелам-трубачам пухлые личики, а по праздникам обрамляла часы вышитым рушником и даже незаметно переводила стрелки, будто часы действительно уже пошли.

Петр Николаевич еще раз вприщур глянул на солнце, взобравшееся в самое высокое поднебесье, и определил, что сейчас ровно полдень, ясный горячий зенит первого дня, который он живет без Февроньи Васильевны.

Петр Николаевич никак не поверил этому: ведь все осталось прежним — и солнце, и бездонно-голубое осеннее небо, и дальний багряный лес за огородами и лугом, а Февроньи Васильевны нет. Он с надеждой в душе и сердце оглянулся на домовую дверь, ожидая, что она сейчас широко распахнется, и на крылечко с метелкой-веником, чугуном-горшиком или какой-нибудь сковородкой в руках обязательно выйдет Февронья Васильевна. Но дверь оставалась глухой и неотворимой, как будто навечно забитой гвоздями.

Петр Николаевич тяжело вздохнул, поглубже надвинул на глаза шапку и, мало чего видя перед собой, побрел к задним дворовым воротам.

Бревенчатый, старинной, дедовской постройки омшаник, стоял в заметном отдалении от двора (чтоб пчелы опасно не роились в нем и не пугали малых детей), посреди фруктового и ягодного всегда густо плодоносного сада. К пасечному, пчеловодному делу Петр Николаевич пристрастился в детские подростковые годы под присмотром деда Емельяна. (У отца было другое увлечение — рыбалка и охота.) Учеником-подмастерьем Петр оказался прилежным и усидчивым и в пятнадцать лет уже самостоятельно мог справляться с пчелиным хозяйством. В войну, правда, пока он воевал, пребывал на фронте, оно пришло в полное разорение: дед

Емельян к тому времени умер, а отец, едва-едва сохранил три-четыре колоды, не в силах променять свою страсть к рыбалке и охоте на пасечное старание.

Но как только Петр вернулся с войны и женился на Февронье, так он сразу дедовскую пасеку восстановил и заново обустроил. В иные годы у них с Февроньей было до двадцати ульев-колод. При скудных колхозных заработках, они, считай, с меда только и жили, поднимали, ставили на ноги Колю, который тоже обещал быть успешным пасечником: пчелу он любил и понимал, знал все правила и порядки обхождения с ней.

Медовую взятку, мед (и садовый, и цветочно-луговой, и гречишный) они всей семьей, выпросив у хуторского бригадира лошадку, возили на продажу в район (случайно, что добирались и до области) и всегда торговали им удачно и прибыльно, потому как мед у Петра Николаевича был первозданно-чистый, взятый пчелой с живого цветка и соцветия. А иные держатели ульев подсовывали ей сахарную патоку, да еще по осени и добавляли в поддельный этот мед для весу крахмал, подкрашенный морковным соком. Петр Николаевич таких пчеловодов за истинных пасечников никогда не считал.

Когда же колхоз развалился, и Калиновый их хутор совсем обезлюдел, Петр Николаевич с Февроньей Васильевной, понятное дело, пасечное свое хозяйство сократили. Вozить мед в город на продажу они уже по преклонным своим годам не могли, да и не на чем было — на хуторе не осталось ни единой лошадки, ни единой машины и ни единого самого захудалого трактора. Сберегли для себя Петр Николаевич с Февроньей Васильевной всего пять пчелиных семей. Но как они выручали их в эти годы! Перво-наперво — сахар. В прежние, советско-колхозные времена, работал-промышлял у них на хуторе сельповский магазинчик, где можно было купить и сахар, и макароны, и разных сортов крупу: гречку, рис, перловку, пшено, случалось, что завозили даже пшеничную белую муку, для пасхальных и прочих иных праздничных куличей-пирогов. Но когда народ из хутора откочевал, магазинчик немедленно и закрылся. Сил у Петра Николаевича и Февроньи Васильевны, чтоб добывать сахар в Новых Боровичах или в районе, тоже уже не было, и они перешли всецело на один только мед. Может, потому и жизнь им выпала вон какая продолжительная. Мед — он крепит и усиливает человека, не дает ему раньше времени состариться и помереть.

Во-вторых — свечи. Коль упразднили на хуторе колхозную бригаду, закрыли магазин, то, само собой разумеется, что отключили и электричество. Какие-то налетчики в два дня сняли провода, спилили и увезли неведомо куда столбы. Оно, может, и верно: чего гнать по тем проводам электрический ток всего для одного дома Петра Николаевича и Февроньи Васильевны.

В первый год, пока был у них какой-никакой запас керосина, они пользовались для освещения в ночи своего жилья-прибежища керосиновой лампой-восьмеричком. Ну, а когда горючее иссякло, перешли на восковые свечи, которые наловчились катать, вставляя в середину конопляной жгутик. И ничего, весело даже, без уныния обходились теми саморобными свечами. Петр Николаевич из березового замысловато согнутого чурбачка смастерил подставочку-подсвечник на подобии тех, которые стоят в церквях, размером, понятно, значительно поменьше, чтоб можно было его поставить на стол или подоконник. В праздничные или в какие

иные, особо памятные Петру Николаевичу и Февронье Васильевне дни, они водружали на березовом своем подсвечнике сразу три свечи, и те, гоня темноту из самых дальних углов, сияли так ярко, что куда там твои электрические лампочки...

* * *

Чтоб не вспугнуть в ульях сонную, уже впавшую в зимнюю спячку пчелу, Петр Николаевич открыл дверь омшаника осторожно и осмотрительно. На него сразу дохнуло привычным живым запахом меда, воска и чуточку горьковатым угольно-древесным запахом, исходящим от дыма — главной пчелиной угрозы. Ничего в омшанике не изменилось, не порушилось за сегодняшний день: все стояло на своих прежних местах неколело и прочно, но Петру Николаевичу показалось, что все окутано какой-то непроглядной темнотой и забвением. С двухскатной тесовой крыши свисала паутина, стекла на единственном прорубленном в сторону огорода окошке были запотевшими и тоже непроглядно темными. А ведь еще вчера и позавчера ничего подобного в омшанике не замечалось. Февронья Васильевна следила за ним иной раз, может, даже и трудолюбивей, чем за домом: и паутину снимала, и окна мыла, и полы подметала березовой гибкой метелкой. Пчела, известное дело, любит чистоту и порядок, иначе рассердится, взятку не отдаст, а то и вовсе всем роем улетит куда-нибудь в леса и роци. И вот в один день, в одну только четверть дня, без Февроньи Васильевны, все затянулось паутиной, взялось пылью и теменью. Или, может, это просто так чудится Петру Николаевичу: темно и сумрачно на душе у него, а в омшанике и прибрано, и чисто, всюду видится рука и внимание Февроньи Васильевны.

Сосновые, шести метров длины, доски лежали на вышках, заваленные старыми ульями, рамками и искусно специально для хранения меда сделанными хуторским немым бондарем Трофимом из дерева-липы бочонками и разных размеров дежечками.

Доски эти Петр Николаевич затащил на вышки лет двадцать пять тому назад, не имея еще никакого дальнего скорбного замысла и прицела. В том году, собравшись с деньгами (лето выдалось на редкость медоносным, и они с Февроньей Васильевной оказались с хорошей торговлей и прибылью), решили они перестелить в доме полы. Старые уже истерлись, истоптались, скрипели за каждым шагом половицами, а на кухне, где всегда, берегись не берегись, проливается вода, в нескольких местах даже прогнили.

Половую доску-пятидесятку Петр Николаевич приобрел в районе на лесоторговом складе очень удачно: и по цене не дорого, и по товару первосортному. Была она шести метров в прогон (горница у них с Февроньей Васильевной тоже шести метров от порога до стены и уличных окон), смолянистая, твердая в волокне, распиленная из вековой в полтора обхвата сосны.

Плотник и столяр из Петра Николаевича слабоватый, тут чего попусту хвастать. Улей или рамку под вошину он смастерить, понятно, может, но чтоб срубить дом «в лапу» или «в ласточкин хвост», настелить те же полы, связать оконные рамы, не говоря уж про наборную или филленчатую дверь — за это Петр Николаевич никогда не брался, не по его это умению и навыку — только материал испортишь.

Посоветовавшись с Февроньей Васильевной, они наняли первейшего

на хуторе плотника Василия (Василя) Тихоновича, которого, правда, все звали не полным именем-отчеством, а только одним отчеством, да и то, переименовав его, с нажимом на предпоследнем слоге — Тихонвич, вроде как на белорусский манер. В деревенской жизни подобные переименования случаются сплошь и рядом. Мужикам несподручно и длинно называть друг друга по полной выкладке, вот они и пускаются на всякие сокращения-переименования, а то и на прозвища (иной раз так и обидные), которые, правда, произносят лишь за глаза. Это только у Петра Николаевича и Февроньи Васильевны сложилось так, что к зрелым годам они вдруг стали окликать друг дружку не по детски-юношеским именам, Петр и Февронья, а с обязательным прибавлением отчества. Первой произнесла это Февронья Васильевна, а потом уж подхватил и Петр Николаевич, из особого и с годами все больше укрепляющегося в нем сердечного уважения к ней.

Полы с Василием Тихоновичем они настелили в две недели: Тихонович — мастер, Петр Николаевич — подмастерье. Доски, хорошо просушенные еще на лесоскладе, они отесали по шнуру, острогали спаренной силою рубанком-медведком, отфуговали по обочинам (это уж сам Тихонович: дело тонкое и ответственное — скосишь где-нибудь край или не доведешь горбинку, так после никакими клиньямы доску к доске не подгонишь и не спаришь).

Стояны взамен старых, тоже уже подгнивших и взявшихся в иных местах трухой, они, опять-таки, по шнуру и уровню вывели из красного обжигного кирпича. Подмостники-лаги были у Петра Николаевича заготовлены заранее (купленные по случаю все на том же лесоторговом складе, дубовые, обрезные по всем четырем сторонам, так что и тесать не пришлось). Они с Тихоновичем лишь подложили под них на каждом стояне по двойному листу рубероида, чтоб кирпичи не натягивали влаги и сырости. Предосторожность не лишняя: дуб не дуб, а на голом кирпиче он возьмется вначале плесенью, а после размочалится и сгниет.

Доски, подогнанные, поджатые клиньямы, легли на пыленные подмостники так щитно и тесно, что не всюду даже был заметен стык и шов. По всему периметру Тихонович повязал пол плитусами, на которых для красоты пустил затейливую (триа бороздками) дорожку. Он тем и славился, что всякое свое строение: дом, сарай, помывочную баньку, оконные рамы, резные наличники или полы любил делать не только для обиходной пользы, а непременно еще и для красоты, чтоб все радовало и веселило глаз.

Полы у них получились, как яичко: гладко оциклеванные в последней доводке шершепкою и рубанком, поджатые дополнительным гвоздем-соткою, протертые по плитусам наждачной мелкозернистой шкуркою. И первой по тем полам прошла (куда твоя королева!) Февронья Васильевна. На каждой дощечке она притопнула-прихлопнула каблучками легоньких своих недавно только, к праздничному дню Покрова, купленных туфелек, и каждая дощечка откликнулась на тот стук-перестук колокольным нестихающим звоном.

— Лучше не бывает, — похвалила мастеров-плотников Февронья Васильевна, и похвала эта вместе с колокольным перезвоном до сих пор стоит в ушах Петра Николаевича.

После, уже самостоятельно, он по старинному рецепту изготовил шпатлевку (перенял когда-то мальчишкой у деда Емельяна), в соразмерных частях перемешав мел, олифу и столярный клей. Дав шпатлевке

хорошо созреть, он заделал ею на полу все мелкие шероховатости и выбоинки от сучков. Шпатлевка взялась так крепко и стойко, что за четверть века ее ни разу не пришлось менять. Всего лишь дважды они с Февроньей Васильевной перекрасили полы светло-коричневой стойкой к воде окрою — и так те полы-половицы стоят по сегодняшний день. Да и чего им не стоять, когда Февронья Васильевна следила за полами, словно за каким живым существом: всегда они у нее подметены, хорошо промыты кипятком и проложены в самых ходких местах, возле порога, дивана и кровати, домашней выделки половиками. А что теперь будет с этой красотой — неведомо. Петр Николаевич содержать полы в прежнем порядке не сумеет и не сможет по слабой своей силе и неловкости. Он, хоть и старик, а все ж таки мужчина, и его дело — пасака, топор да коса, а не печка и ухваты. Так уж у них с Февроньей Васильевной сложилось...

Поставив лесенку, Петр Николаевич снял с вышек старые рассыпавшиеся ульи, бочонки, дежи и весь прочий, случайно заброшенный туда пасечный инвентарь. Первая доска поддалась ему с трудом и немалым усилием, за двадцать пять лет прикипела, будто приварилась к перекладине. А остальные уже пошли полегче и посвободней.

Петр Николаевич вытащил их на свет божий, обмел венником от мелкого древесного сора и пыли, внимательно оглядел, обследовал и даже постучал по каждой костяшками пальцев. Доски были, как звон. Ни жук-короед, ни шашель их не тронули, не хватило, должно быть, у вредоносных жучков-комашек силы, чтоб одолеть такой крепости древесину, насквозь пропитанную смолой-живицей.

Петр Николаевич в самых малых подробностях припомнил, как эти оставшиеся в запасе при настилке полов доски (тоже прилежно оструганные рубанком-медведком и отфугованные) покойный Тихонович торговал у него. Заказов у Тихоновича в те годы было много. Народ маленько разбогател, приободрился и точно так же, как Петр Николаевич с Февроньей Васильевной обновлял, ремонтировал старые свои дома: менял оконные рамы, двери, обветшавшие резные наличники — и лучшего материала для всего этого обновления было не сыскать. Но Петр Николаевич не уступил Тихоновичу ни единой доски: во-первых, запас — он никогда карман не тянет, а во-вторых, у Петра Николаевича с Февроньей Васильевной тоже созрел замысел поменять в доме двери: в ходную, сделанную когда-то, в старые времена, в сплошной продольный шпунт (а хотелось фасонную, филленчатую), и ту, что вела из кухоньки в горницу, чтоб распахивалась она не на одну, а на две легонькие створки. Но не привелось им с Февроньей Васильевной осуществить свой замысел. Тихонович вскорости умер, а другого такого мастера, столяра и плотника, во всей округе не предвиделось. Так доски и остались лежать нетронутыми в омшанике, на вышках.

И вот долежались...

Петр Николаевич разметил их под карандаш метром-складеньком, прикидывая в уме, сколько пойдет на самую домовинку, а сколько на крышку домовинки, которую у них называют — «веком». Когда все уточнилось и сошлось в размерах, он взялся уже было за пилу, и вдруг опять непереносимая тоска навалилась на него, застила глаза и помутила разум.

Петр Николаевич отбросил в сторону пилу-ножовку, пошел в дом и, едва сняв у порога шапку, сказал Февронье Васильевне:

— Не могу я так: ты здесь, я — там, — потом присел на табурет в ее изголовье и попросил: — Можно, я буду ладить тебе домовинку в горнице?

— Так и ладь, — согласно ответила Февронья Васильевна, но сразу Петра Николаевича от себя не отпустила, заботливо напомнила: — Только ты вначале суп зажарь, а то, я слышу, он там у тебя выкипает уже.

Ослушаться Февронью Васильевну Петр Николаевич не посмел. Он мелко изрезал-искрошил на кухонной дощечке головку репчатого белого лука, розовую, лопнувшую от переизбытка силы и здоровья возле хвостика-ботвы морковь (эту тоненькими кругляшками, вовремя припомнив, как это делала Февронья Васильевна), потом отыскал в загнетке большую чугунную сковородку и положил на нее столовую ложку гусиного крупнозернистого жиру. Никакого иного жиру, масла или самого обыкновенного свиного сала у них с Февроньей Васильевной давным-давно уже не было. Содержать корову они возможностей, конечно, не имели, а вот поросенка-кабанчика помалу могли бы и вырастить: картошка и мука в доме, слава Богу, водились. (Мука, правда, домашнего тоже излишне крупного помола, которую Петр Николаевич добывал на ручной мельнице-крупорухе). Но негде было Петру Николаевичу и Февронье Васильевне по весне купить того поросенка-пяточка. Это опять-таки предстояло бы путешествовать в район, на базар, а оттуда нести обретенную живность в заплечном мешке. В молодые годы, при здоровье, и нашивали, и возили на подводах, а в преклонной старости о таком подвиге и думать не приходилось. Вот и приспособились они с Февроньей Васильевной все жарить-варить на одном только топленом курино-гусином жиру. Навар и сытость, конечно, не те, но оно, может, и к лучшему: еда легкая, необременительная, болезней и хворей от нее меньше.

Сковородку с зажаркой Петр Николаевич поставил не на треногу, а прямо на горячие угли, которые выгреб кочергой поближе к печному зеву. (Февронья Васильевна делала всегда вроде бы так: на треноге пекла блины и оладьи, изготавливала яичницу-глазунью или по отдельной просьбе Петра Николаевича омлет на молоке, а на углях зажаривала суп и борщ). На высокой треноге зажарку запросто прихватит верховым пламенем от не перегоревших еще до конца дров, внизу же, на углях, она сомлеет как раз в меру.

Но Петр Николаевич из опасения, что у него и на углях зажарка пригорит, вынимал сковороду из печи много чаще, чем требовалось, перемешивал ложкой, добавлял еще на всякий случай жиру и с намернувшейся на глаза слезой не переставал думать, что вот не перенял он вовремя от Февроньи Васильевны всего этого, казалось бы, совсем незаметного труда и умения, считал его занятием мелким и немужским, а оно обнаружилось вишь каким обязательным и нелегким, и без него человеку никак не прожить, и особенно такому старому и одинокому, каким теперь стал Петр Николаевич.

Когда зажарка привяла и зарумянилась (в двух-трех местах по недогляду все же подгорела), Петр Николаевич сбросил ее в горшочек, и вправду на четверть выкипевший. Подобное иногда случалось и у Февроньи Васильевны, и тогда она смывала остатки зажарки со сковородки кипятком. Петр Николаевич, стараясь во всем повторить движения Февроньи Васильевны, придержал сковородку над горшочком кухонной тряпицей и плеснул на нее из кружки обыкновенной холодной воды (заранее согреть кипятка для этого непредвиденного случая он, понятно, не сообразил). Сковородка зашипела, зашкворчала, изошлась высоким дымчатым паром. Все вроде бы так, как и у Февроньи Васильевны (пар от холодной воды поднялся даже много выше, чем обыкновенно поднимался у нее). Но

и совсем не так: и чрезмерный этот пар был совсем иным, и шипелашкворчала сковородка как-то обиженно и недовольно, чрезмерно брызгаясь горячим жиром, не то, что у Февроньи Васильевны — всегда весело и задорно.

— Вишь, как без тебя худо! — опечалился Петр Николаевич. — Ничего не умею!

— Не велико умение, — опять утешила его Февронья Васильевна. — Научишься, — потом немного подождала, давая Петру Николаевичу время успокоиться, и подсказала: — Ты все ж таки лавровый лист и перец положи — все будет душистей. И посолить не забудь. Я не солила.

«Ну, вот и здесь оплошал», — укорил себя Петр Николаевич и принялся выполнять указание Февроньи Васильевны: забросил в горшочек три лавровых листочка, штучек пять-шесть горошин перца и щепотку соли. (С солью, правда, засомневался — мало ли, много ли, но беспокоить Февронью Васильевну по мелкому этому делу не стал, пробовать суп тоже не стал: ничего ему нынче не хотелось — ни есть, ни пить.)

Горшочек Петр Николаевич заново придавил железным кружочком и поставил назад в печку, обгорнув его по примеру Февроньи Васильевны углями. Закрывать печной зев заслонкою, а дымоход вьюшкой он пока повременил: угли еще искрились розовато-пепельным заревом, а от сучковатой головешки курился сизый смоляной дым. При закрытой заслонке и вьюшке запросто даже можно угореть. Петру Николаевичу, правда, ничего, он в любой момент свободен выйти на улицу, подышать свежим воздухом, а каково Февронье Васильевне при ее лежании: от чада и угара делается ей совсем неважно.

В доме, возле печи теперь вроде бы никаких дел больше не было, и Петр Николаевич засобирался к омшанику за досками. Осенний день — быстротечный, короткий и надо поторапливаться: не успеешь оглянуться, как уже пора свечи зажигать, а при свечах — что за работа?!

— Назарка! — ласково позвал он кота. — Пошли со мной. Февронья Васильевна сама полчаса переможется.

— Перемогусь, — тоже ласково произнесла Февронья Васильевна. — Чего ж не перемогтись. А ты, Назарка, уважь Петру Николаевичу, сходи к омшанику, все ему будет веселей.

В прежней жизни, до сегодняшнего темного дня Назарка по большей части пребывал при Февронье Васильевне. Утром терся у ног хозяйки на кухне, зная, что ему непременно что-нибудь перепадет от ее щедрот: молоко, кусочек мяса, курятины или гусятины, или мелкая рыбешка, если только Петру Николаевичу удастся изловить ее в реке на ранней заре. Днем Назарка неотступно сопровождал Февронью Васильевну по двору, следил, как она кормит кур-гусей, режет яблоки-падалицу, перезрелые огурцы, кабачки или тыкву для пойла-подкормки козе Матрене: а поздним вечером и ночью (особенно в зимнюю морозную стужу) пристраивался на печи рядом с Февроньей Васильевной и, засыпая, мурлыкал-мурчал ей какие-то свои сказки, почти в самое ухо.

Но случилось, что и Петра Николаевича Назарка без внимания не оставлял. То сидел в тени сарая, наблюдал, как Петр Николаевич отбивает косу или насаживает на лопату новый черенок, то, примостившись на заборе, поглядывал свысока, как хозяин рубит дрова и, словно какой надсмотрщик-десятник предупреждал: «Ой, гляди, не коротко ли, не длинно ли рубишь!», а иной раз так и путешествовал вслед за Петром Николаевичем к омшанику. Пчелы его знали и не трогали: покружат над

ухом, пожужат и улетают по своим трудовым делам добывать медовую взятку. Правда, и Назарка относился к пчелам со всем уважением, ради пустой забавы их не задевал, не замахивался лапой и не топорщился шерстью, хорошо различая, что пчела, она, хоть и летает по воздуху, а все ж таки не птица и поживы от нее Назарке никакой нет. Он тихомирно сидел чуть поодаль от улья и, опять-таки, сосредоточенно и зорко наблюдал, как Петр Николаевич, попыхивая дымарем, проверяет рамки. Со стороны поглядев на Назарку, можно было подумать, что он сам готовится стать пасечником и пчеловодом: надеть на голову сетку, взять в лапы дымарь и приступить к обустройству пчелиного дома и пчелиной жизни.

В омшанике у Назарки было свое законное место — на подоконнике, над верстаком, где Петр Николаевич мастерил ульи и рамки. Распиливая по нужным размерам и строгая дощечки, Петр Николаевич любил беседовать с внимательным слушателем — Назаркой. Душа у него, хотя и кошачья, не человеческая, а все равно душа: Назарка любое слово понимает не хуже иного равнодушного человека. Петр Николаевич рассказывал ему всякие истории и случаи из своей длинной жизни, по большей части из военной, фронтовой. Вот, к примеру, про кота по кличке Пехотинец (так солдаты, сами пехотинцы, нарекли его с первого дня, и он охотно откликался на ту кличку), который прибил к ним в роту в одном белорусском дотла сожженном и расстрелянном немцами селе. Пристанище себе Пехотинец нашел на полевой кухне у повара-кандера Ерофея Ивановича, пожилого уже пятидесятилетнего солдата. Ерофей Иванович поставил его на полное котловое довольствие, вменив в строгие служебные обязанности следить за мышами, которые почти на каждом новом месте дислокации кухни неведомо откуда появлялись и норовили поживиться солдатскими не больно-то и сытными харчами.

Службу свою Пехотинец нес исправно, мышей отпугивал еще далеко на подступах к обозным продовольственным повозкам и складам. Он быстро привык к фронтовой походной жизни: не боялся ни ружейных, ни артиллерийских обстрелов, ни даже бомбежек, словно уверовав, что его, такого маленького и неприметного, с рыжими маскировочными подпалинками на боках, не достанет ни пуля, ни снаряд, ни бомбовый осколок.

Достала отважного кота-фронтвика мина. Случилось это почти на самой границе с Польшей, под Барановичами. Только только обосновался Ерофей Иванович в низинке-распадинке с кухней, только стал делать закладку продуктов в котел, как мышья-полевка припожаловала за своей долей и частью. Пехотинец мгновенно обнаружил ее и давай преследовать по жнивью. И уже почти догнал на крутом подъеме и бугорке, как вдруг, откуда ни возьмись, шальная мина, которую немцы с дуру ума пустили наугад (хотя, кто его знает, может и заметили в распадочке кухонный нестойкий дымок).

Пехотинца она накрыла точным прямым попаданием, взметнула вместе с землей высоко вверх, и после солдаты не нашли от него ни единой шерстинки. А мышья, похоже, уцелела и к вечеру опять приходила на кухню. Правда, Ерофей Иванович в точности не мог сказать: прежняя это мышья или какая-нибудь другая — они ведь все похожи, будто две капли воды. Но приходила, и Ерофей Иванович не прогнал ее, а дал поживиться под продуктовой повозкой оброненными зернышками крупы-перловки.

Такая вот фронтовая памятная история...

— Так ты пойдешь или нет? — повторно пригласил Петр Николаевич в дорогу Назарку.

Но Назарка на зов его и приглашение никак не откликнулся, остался по-прежнему сидеть у Февроньи Васильевны в ногах, неотрывно, поверх пламенеющей свечи глядя ей в лицо.

— Ну, ладно, сиди! — оставил Назарку в покое Петр Николаевич. — Когда еще с хозяйкой побудешь...

Его тоже повлекло присесть рядом с Февроньей Васильевной и больше не покидать ее в одиночестве ни на минуту, глядеть и запоминать и ее глаза, и высокий лоб, и крепко сжатые на груди руки. Но и надеяться Петру Николаевичу не на кого: надо самому и домовину мастерить, и крест, и задумываться о могиле — как ее копать в единую его стариковскую силу. Он опять погладил оставшегося на карауле Назарку по согбенной спине и вышел во двор, показавшийся ему вдруг каким-то неухоженным и чужим.

В омшанике, промеряв на всякий случай еще раз доски метром-складеньком (при не больно ловком столярном умении Петра Николаевича оно не помешает: семь раз отмерь — раз отрежь, да еще в таком скорбном деле, которое нынче выпало ему), Петр Николаевич распилил их под черту и стал заносить в дом. Он сложил доски устойчивым штабельком на кухне, минуту передохнул, перевел утомленное дыхание-одышку и принялся ладить в горнице подобие верстака. Можно было, конечно, приспособиться и на кухне, но тогда все равно получится в отдалении от Февроньи Васильевны, за перегородкой: ни поглядеть на нее, ни словом человеческим перемолвиться.

Под верстачок Петр Николаевич приспособил лавку, на которой в кухне стояли ведра с водой. Он занес ее в горницу и поставил торцом к уличной стене. Но чтоб доска не билась о штукатурку и не портила ее (Февронья Васильевна только недавно, к Покрову побелила весь дом), он выпилил под «ласточкин хвост» тоненькую дощечку-двадцатку, которую захватил для этой надобности в омшанике. Не поленился Петр Николаевич даже забить в торец дощечки гвоздик с обрубленной головкой. Невелика столярная хитрость, а все ж таки без нее и не обойдешься. Гвоздик острым носиком будет вонзаться в поделочную доску, не позволять ей елозить и соскальзывать с лавки-верстака, угнетая своим грохотом Февронью Васильевну.

Доски Петр Николаевич решил строгать только с одной, внутренней, стороны, чтоб в домовинке, как в горнице, было светло и чисто, ободряюще пахло смоляной живицей. А внешняя сторона пусть останется темной и печальной, одним уже видом своим напоминая Петру Николаевичу, что в осиротевшем доме его поселилась черная, непроглядная ночь.

Но прежде чем взяться за шершепку и рубанок, Петр Николаевич вовремя вспомнил о печи. Уголья и дымная головешка там погасли, притушились, и теперь уже можно было, не дожидаясь напоминания Февроньи Васильевны, закрыть и заслонку, и вьюшку, чтоб в доме сохранилось тепло.

Свершив нехитрое это деяние, Петр Николаевич шагнул уже было через порог в горницу, но потом вернулся назад к печи. Ему почудилось, что чего-то он возле нее все-таки не доделал, упустил какую-то неприметную, но обязательную малость, мимо которой Февронья Васильевна ни за что бы не прошла. Петр Николаевич поправил в углу ухваты, заглянул в загнетку и даже в подпечье, где просыхали для

завтрашней растопки аккуратно сложенные Февроньей Васильевной дрова. Все вроде бы было на месте, все в надлежащем порядке и виде, но чего-то определенно не доставало, и эта недостача привела Петра Николаевича в расстройство и досаду. И вдруг он сообразил — чего! На печи не была задернута беленькая нарядная занавеска. Февронья Васильевна подобной оплошности никогда бы не допустила. Закрыв заслонку и вьюшку, она обязательно задергивала занавеску с двумя вышитыми голосистыми петушками, давая тем самым понять, что утренняя кухонная страда завершена, и печка теперь до обеда может отдохнуть, а то и подремать в тишине и покое — работала ведь, пекла-варила с ранней зари.

Петр Николаевич поторопился исправить свое упущение — задернул занавеску по всей длине туго натянутого шнура от одного края загнетки до другого, и на кухне сразу воцарился полуденный покой, а печка действительно как будто задремала, и лишь два ершистых петушка закричали еще голосистей и звонче.

Теперь уж Петру Николаевичу ничто не мешало безотрывно заняться домовиной: время торопило и понукало его, да и Февронье Васильевне лежать бездомной на голом дощатом диване было как-то совсем уж сиротливо, будто она всеми оставлена и покинута.

Приладив первую доску на верстаке, Петр Николаевич взял в руки шершепку, замахнулся ею и раз, и в другой, а на третьем замахе вдруг не сдержался, поглядел на Февронью Васильевну и сказал ей:

— А помнишь, как мы возили с тобой на продажу мед?!

— И это помню, — с великой охотой отозвалась на его слова Февронья Васильевна.

Случилась эта поездка в конце жаркого томительного августа, сразу после Яблочного Спаса. Медовая взятка-добыча была в том году отменно богатая — хватило и себе, и на продажу.

Нагрузив подводу бочонками и флягами с медом, Петр с Февроньей выехали в ночь, с тем расчетом, чтоб на городской базар-ярмарку попасть рано — поутру, опередив всех иных продавцов-пасечников.

Конек им в дорогу достался веселый, исправный. Хорошо смазанную дегтем телегу он мчал по наезженной колее в свое удовольствие, бойко постукивал копытцами, пофыркивал, понимая лошадиным своим гибким умом, какой ценный груз он везет: садово-цветочный, гречишный и липовый мед в добротных деревянных бочонках и алюминиевых флягах и еще более ценный (и бесценный) — молодых-молоденьких мужа с женой, которые в обнимку сидят на передке телеги.

И до того этот исправный конек разохотился, что к полуночи домчал их до Новых Боровичей, легко и споро одолев половину дороги. Петр с Февроньей посоветались и решили часа полтора-два, потеснив поклажу, передохнуть, поспать на телеге, под овчинным тулупом, а то приедут в город в предрассветной темени, когда еще и базар-ярмарка будет на замке и запоре.

Сразу за Новыми Боровичами они свернули в небольшой березово-кленовый лесок, стреножив, отпустили пастись неутомимого конька, а сами забрались под тулуп.

Жарче и желанней ночи, чем та, в притихшей березово-кленовой роще, в их жизни и не было. После они часто вспоминали ее и безошибочно определили, что именно тогда зародился у них белоголовый мальчик, мальчишка, которому сам Бог велел быть Николаем, Колей, и в честь

деда своего, пахаря и солдата, Николая Егоровича, и в честь святого угодника Николая Вешнего, потому как появился на свет Коля в тот день, когда отмечается великий спасительный праздник этого угодника — второго мая.

* * *

Часам к четырем-пяти, еще по светлomu свету, Петр Николаевич домовинку сладил. Получилась она, может, и не такой, как у настоящих столяров-плотников, но вроде бы и ничего, в меру глубокая и щитная, с плотно, без зазоров и перекосов прилегающим «веком» — нареканий Петру Николаевичу за нее от Февроньи Васильевны не будет. Обивать домовину изнутри каким бы то ни было материалом (белым или черным) Петр Николаевич не стал: пусть лучше окружает Февронью Васильевну со всех сторон природное пахучее дерево. Он только постелил на дно домовины легонькую гусяного пуха перину да положил под голову покойной ее любимую соразмерную подушку, тоже начиненную гусяно-лебяжьим пухом. Все ж таки Февронья Васильевна человек уже пожилой и негоже ей лежать на твердой какой-нибудь небрежной подстилке из древесной стружки, которую чаще всего и кладут в казенных, сколоченных на скорую руку из сырой шелевки-двадцатки, гробах.

Теперь Петру Николаевичу предстояло перенести Февронью Васильевну с дивана в домовинку. Он опять вспомнил, как в прежние, молодые годы во время сенокосной страды, на жатве или в отдохновенные дни в саду, при пасеке, ему не стоило никакого труда подхватить Февронью на руки, закружить, словно пушинку, и унести хоть на край света. Февронья жарко обнимала Петра за шею, припадала к груди и плечам и, поддаваясь легкому тому кружению, залиристо-громко смеялась. А нынче нет в руках у Петра Николаевича былой крепости, а в стариковской груди нет былого твердого дыхания (с клетотом оно, хрипами и частыми перепадами, того и гляди, остановится вовсе) и надо старому-старика измышлять, как возложить Февронью Васильевну на последнюю ее пуховую постель.

Петр Николаевич придвинул столярную свою лавку-верстак почти впритык к дивану, в два захода (вначале изголовье, а потом изножье) поднял на нее домовину и, передохнув самую малость на табуретке, выровнял по возможности дыхание, подошел с поклоном к Февронье Васильевне.

— Я полегоньку, — снова попросил он у Февроньи Васильевны прощения за беспокойство. — Ты не опасайся.

— Так чего же мне опасаться, — ответила она, приободряя Петра Николаевича, но ему показалось, что Февронья Васильевна про себя тайно вздохнула, печалась своей немощи.

Вынимать крестик из крепко сжатых ладоней-лодочек Февроньи Васильевны и гасить свечу, наверное, не полагалось, но Петр Николаевич все ж таки снял и пригасил: вдруг крестик сломается, повредится, а восковая капля при наклоне упадет на пальцы Февронье Васильевне и обожжет их. Она, конечно, ничего на это не скажет, перетерпит (она всегда была терпеливой на боль), но каково на все ее страдания будет смотреть Петру Николаевичу.

Он склонился над Февроньей Васильевной еще ниже, подложил левую, неожиданно налившуюся полыхающим жаром руку ей под шею, а правую, точно такую же угольно-горячую — под колени и, удивляясь

неведомо откуда взявшейся, прихлынувшей к рукам силе, приподнял Февронью Васильевну с дивана, и, словно собираясь закружить ее по залитой предвечерним заходящим солнцем горнице-светелке, невесомо переложил в домовину.

Правда, Февронья Васильевна совсем безучастной к его трудам не осталась. Как только Петр Николаевич прижал ее к груди, так Февронья Васильевна, подсобляя ему, обвила шею Петра Николаевича тонкими гибкими руками (почудилось это все Петру Николаевичу или было на самом деле, он после так и не смог определить) и не отпускала их, пока успокоительно не легла в уютный свой древесно-смоляной домик-домовину. Петр Николаевич повернул лавку впритык к дивану (она удачно оказалась в один рост и высоту с ним) и шажок за шажком передвинул на него домовину. Потом он опять приладил в руках у Февроньи Васильевны крестик, затеплил свечу, поправил на голове платочек и осмотрительно (нет ли где складочки или неровностей?) прикрыл белой простынкой, теперь уж неотвержимо, навсегда. И все время, пока поправлял и выравнивал, не отводя взгляда от Февроньи Васильевны, неотвязно и ежесекундно думал одну и ту же думу: вот если бы им с Февроньей Васильевной и на самом деле довелось помереть согласно повести и сказанию единым днем, так лежали бы они сейчас совместно и объединительно в общей просторной домовинке — и было бы им в ней хорошо, как при жизни. Но Бог не сподобил их такой участи. Видно, за какие-то грехи и прогрешения оставил Петра Николаевича на белом помертвевшем и потухшем без Февроньи Васильевны свете, а ее забрал к себе, в свои высокие чертоги...

* * *

Столярную лавку Петр Николаевич вернул на прежнее ее место в кухне, хотя завтра, когда он примется мастерить для Февроньи Васильевны крест, лавка могла бы пригодиться ему опять здесь, в горнице. Но Петр Николаевич все-таки вернул ее на кухню, чтоб в горнице было по-церковному прибрано и чисто.

Помысел насчет креста можно было бы, конечно, начать и сегодня, но Петр Николаевич пока не знает, из чего его изобретать, из какой древесины, ничего подходящего во дворе нет, заготовлено впрок не было, да и сумерки уже наступают, вечер, и при глазной стариковской невидимости Петра Николаевича ничего путного у него не получится. Так что волей-неволей, а и крест, и могилу надо откладывать на завтра и послезавтра.

— Ты про Матрену забыл! — вдруг напомнила ему Февронья Васильевна.

— Ах ты, Господи! — в сердцах воскликнул Петр Николаевич.

Про Матрену он и впрямь напрочь забыл. А она, сердечная, небось, обвилась там, на пастольнике, вокруг колышка веревкою и кричит, стелет что есть мочи, требует подмоги и выручки. Хорошо еще, если прежде, чем обвиться, успела попить из болотного озерца-лужицы воды, а то и совсем ей будет на пустынном пастольнике худо.

Петр Николаевич надел телогрейку, шапку, взял в руки посошок-палочку, которая всегда наготове стояла у него в уголке, возле двери, и наладился в дальнюю дорогу. Назарка, которому теперь места на диване ни в головах, ни в ногах у Февроньи Васильевны не доставало, и он, словно на какой жердочке сидел то на узеньком подлокотнике, то перебирал-

ся на совсем шаткую спинку-грядущку, увязался вслед за Петром Николаевичем. Живая душа, он поди тоже, наконец, почувал, что сиди, не сиди, карауль Февронью Васильевну, не карауль, а к прежней жизни ее не вернешь. Да, может, Февронья Васильевна и добровольно отпустила его от себя, может, хочется ей минуточку-другую, полчаса, побыть в доме одной, попрощаться со всем его убранством и обиходом: с печкой и лежанкой, со столом, накрытым скатеркой, шитой и вышитой ее руками, с образами в Красном углу, с цветами на подоконниках — геранью и васильками, которые, несмотря на осень, расцвели пламенным красно-червленим цветом, с целебным кактусом, чайной розой и фикусом, что стоит в дубовой кадке прямо на полу, напоминая собой подлинное лесное дерево.

Пусть и попрощается, а они с Назаркой тем временем сходят за страждущей на пастольнике Матреной...

* * *

Пришли они как раз ко времени. Матрена действительно обвилась веревкою вокруг колышка до последней возможности, того и гляди, задохнется, и все кричала и плакала, прося помощи и спасения, будто малый ребенок. Петр Николаевич высвободил ее из тенет, погладил по голове и шее, колыхнул даже две ее звонкие сережки на подбородке, но и без внушения не оставил:

— Ты чего кричишь, стенаешь?! — Сама виновата. Сколько раз говорено: пасись на просторе и отдалении, а ты, знай, вокруг колышка топчешься!

Матрена вину свою приняла и осознала, уткнулась мордочкой Петру Николаевичу в ладонь, почмокала там, пофыркала, а потом резво топнула копытцем и первой вступила на стезжку, что вела через пастольник, пойменные грядки и пахотный огород к дому.

В грядках все уже было выкопано и убрано, созревала лишь до полной спелости в глубокой, всегда влажной низинке белокочанная капуста, да темнела укрытая на зиму соломой и айром-подстилкой (лучше бы, конечно, навозом, но где его теперь возьмешь, не имея в хозяйстве коровы) латочка-клинышек чеснока.

На огороде тоже все было в надлежащем радении. По крестьянскому обыкновению и заводу он поровну делился на две продольные полоски. На одной (с правой руки) серой стеной-щетиной стояла ржаная стерня, густо поросшая пыреем и пастушьей сумкой, неизменными ее попутчиками. Ближними днями Петр Николаевич собирался скосить стерню на зимний корм Матрене. Коза — животное непереборчивое, ест любую веточку-былинку, будь то стерня, пастушья сумка или даже полынь. А по левую руку веселили глаз ржаные зеленыя нового посева. В этом году после обильных обложных дождей они рано по осени взошли, поднялись и закустились, как никогда, дружно, обещая будущим летом богатый урожай.

Еще вчера Петр Николаевич с Февроньей Васильевной совместно радовались и этим расстилающимся зеленым ковром озимым посевам, и вовремя, до Покрова, посаженному чесноку, и белоголовой капусте. Они даже срубили на пробу один кочан, чтоб поглядеть, проверить, пора уже рубить и остальные или еще можно погодить недельку-другую до начальных дней ноября, когда они потужеют и нальются самым сладким предзимним соком (погода-то стоит вон какая ведренная, золотая).

А сегодня, в одиночестве, без Февроньи Васильевны, не радовали Петра Николаевича ни капуста, ни чеснок — все вдруг показалось ему чахлым и увядшим, да и зачем теперь Петру Николаевичу земная эта поросль, злаки, овощи и травы: они растут, произрастают, радуются солнцу, дождю и ветру, утренней и вечерней заре — а Февроньи Васильевны нету...

Матрена, между тем, звонко цокала копытцами по наторенной огородной стежке, вела Петра Николаевича и Назарку к дому, еще не ведая по козьей своей беспечности о том, какая печаль ждет ее в этом доме.

Петр Николаевич и Назарка следовали за Матреной, но совсем иным, нетвердым, шагом, — и невосполнимая утрата, горе грозовой тучей и тенью висело над ними.

Возле закрытых ворот, гогоча и толкаясь, стояла во главе с Черномором гусиная стая. Что-то они сегодня рано припожаловали: может, тоже чувствуют чего. В обычные, обыкновенные дни Черномор приводит свое войско домой иной раз уже в ночной темени, вызывая нарекания и недовольство Февроньи Васильевны. А сегодня вишь поторопился, задолго еще до захода солнца...

Петр Николаевич впустил гусей во двор поперед Матрены и Назарки, и они с налету набросились на корытце, в котором Февронья Васильевна, дожидаясь возвращения гусиной орды с реки и лугового пастбища, всегда готовила сытную подкормку: вареную картошку, морковь, свеклу, размоченные корочки хлеба, а поверх щедро посыпала кукурузным или ржаным зерном. Но сегодня в корытце было, считай, пусто. Лишь на самом доньшке виднелись остатки утренней гусиной трапезы (Петру Николаевичу не до того, и он, отпустив утром стаю на реку, совершенно забыл о вечерней обязательной для них добавке, а Февронья Васильевна не напомнила ему, не предупредила: тоже не тем была занята — помирала).

Гуси быстро подобрали из корытца остатки подкормки и с удивлением подняли на Петра Николаевича головы. Но, так и не дождавшись от него никакого вразумительного ответа и объяснения, почему это сегодня в корытце пусто, пошли всей гурьбой к крылечку и с обидой и упреком в голосе заготовали, вызывая Февронью Васильевну.

— Гиля отсюда, гиля! — приструнил их Петр Николаевич, а у самого на глаза опять накатились то ли капли вечерней холодной росы, то ли горючие слезы.

«Вот так-то, — почти вслух сказал Петр Николаевич. — Хорошо тебе было жить за Февроньей Васильевной, а нынче в одиночестве ничему ладу дать не можешь, будто без рук и головы».

Гуси окрику его подчинились, погоготали еще минуту-другую возле крылечка, а потом покорно ушли в загородку и, сбившись в тесный кружок, нахохлились, спрятали головы под крылья и раньше обычного устроились на ночлег. Только один Черномор, высоко вытянув шею, охранно сидел у жердяной изгороди и все глядел и глядел бессонными глазами на крылечко, веря, что Февронья Васильевна все ж таки сейчас выйдет из дома (не может не выйти — гуси-то не кормлены). Она просто замешкалась в подвластных ей хоромах, на кухне и в горнице: растапливает лежанку, закидывает в печку на ночь дрова, чтоб к утру они как следует просохли, или готовит ужин Петру Николаевичу.

На смену гусям из будки выскочили куры и, толкая друг дружку, устремились к кормовому и водопойному корытцам. С заполошным их налетом, нашествием Петру Николаевичу справиться было полегче. Он

сыпанул курам из совочка на вытоптанную ими же самими до каменной твердости площадочку добрую горсть проса. Куры сразу набросились на него, стали клевать, выискивать и выбирать до последнего зернышка, но тоже, нет-нет, да и поглядывали на Петра Николаевича с недоумением и тревогой — чего это он занимается с ними, кормит-поит или других, мужских, занятий по хозяйству нету...

Вступать в переговоры с курами Петр Николаевич поостерегся. Февронья Васильевна всегда находила с ними общий язык, а на него они так насыдут, что выцыганят полмешка-торбочки проса, который стоит в снях на лавке (знают, где он хранится), да еще и потребуют добавки.

Подождав, пока куры после сытной вечери попьют, запрокидывая далеко за спины головы, из корытца воды, Петр Николаевич заманил их в будку и закрыл на крючок дверцу — пусть примащиваются на насест и дремлют чутким своим куриным сном.

Теперь у него оставалась только коза Матрена. Как ни крутилась она, как ни вертелась на пастольнике вокруг колышка, а вымя нагуляла вон какое тугое и томное. Если Матрену сейчас не подоить, то к утру молоко перегорит, и ей от того будет обидно и болезненно.

Поманив за собою Назарку, Петр Николаевич пошел в дом за мелкой козьею доенкой. Как только они взамен коровы завели козу Матрену, так Петр Николаевич по просьбе Февроньи Васильевны в тот же день укоротил полновесную коровью доенку, считай, на добрую четверть. Коза — животное низкорослое, вымя у нее иной раз почти касается земли, волочится по траве, бугоркам и камушкам — доить козу-дерезу в высокую доенку несподручно. Вот и пришлось Петру Николаевичу портить оцинкованное устойчивое ведро со сливным горлышком по ободку (потому и называется оно доёнкой), а жалко было, хоть плачь, сколько лет ведро-доенка исправно служило при Зорьке, всегда переполненное белым пенистым молоком, сладким на вкус и пробу. Но никуда не денешься: обстоятельства жизни сплошь и рядом выше человеческой жалости и слез.

Ведро-доенка и в прежние, богатые коровьи годы, и в нынешние, измельчавшие, козьи, всегда висело в снях на специальном гвоздике, чисто вымытое после дойки Февроньей Васильевной и сухо-насухо протертое рушником-утиранником. Оно и сейчас обреталось на законном своем месте, блестящем и певуче-звонком — лишь коснись его пальцем.

Петр Николаевич снял ведро с гвоздика, но упреждая неурочный и запретный сегодня звон и пение, взял не за дужку, а обхватил двумя широкими руками-ладонями по окружности и прижал к груди. Ведро на грубое его касание отозвалось глухим, тоскующим звуком, похожим на стон. Петр Николаевич, переживая его, постоял немного в снях, а потом все-таки не выдержал и заглянул в дом к Февронье Васильевне.

— Вот видишь, что ты наделала, — сказал он ей с укором и обидой. — Мне теперь Матрену самому надо доить, а я не умею.

— Ничего, — усмехнулась на мужскую его обиду Февронья Васильевна. — И этому научишься. Ты только Матрене вымя теплой водой ополосни, а то она всего молока не отдаст. И травы, поднады, положи — Матрена любит.

— Ополосну и положу, — смиряясь со своей участью, ответил Петр Николаевич.

Теплой, подогретой воды в печи Петра Николаевича по неразумению его и недомыслию не было, и он налил в ведро обыкновенной, предвзительно испробовав ее из кружки — не слишком ли холодна. Вроде бы —

нет, в доме (и особенно на кухне) от протопленной с утра печи было тепло и даже жарко, вода чрезмерно нахолонуть не успела. Матрена, конечно, почует, что с водой не все ладно, но пусть уж она на первый раз Петра Николаевича простит.

Не было у него заготовлено сегодня для Матрены ни травы, ни какого-нибудь пошла из мелко нарезанной картошки, свеклы и моркови. Травяную эту или картофельно-свекольную подкормку (на хуторе у них ее зовут поднадой) сердобольные хозяйки всегда дают корове или козе во время вечерней дойки, чтоб они стояли смиренно и молоко отдавали все до капли.

Но у Петра Николаевича нет сегодня и поднады. Так что пусть и за это Матрена по печальному нынешнему дню простит его.

— Ну, а молоко куда девать? — уже на пороге еще раз поспрашивал Петр Николаевич Февронью Васильевну.

— Известно — куда, — подробно вразумила и тут его Февронья Васильевна. — Один кувшин себе и Назарке прибереги, а остальные в погреб поставь скисать на творог и сыр.

В коровьи годы никакого сыру они с Февроньей Васильевной не изготовляли, не в заводе и не в обычае это в крестьянских хозяйствах. Молоко и так расходовалось. Вдосталь и в охотку пили его с хлебушком или оладьями-пирогам, которые случались и в праздничные, и в будние дни в каждом доме. Все каши, на любой вкус: пшеничные, гречневые, перловые и кукурузные («дубовые») тоже варились на молоке, не то, что в городских домах и столовках — водяные, склизкие и пустопорожние. Потом — сладкие молочные супы, опять же с пшеном, гречкою или макаронами-вермишелью — за ухо не оттянешь. Ну, а излишки молока шли на сметану, творог и простоквашу. Подлинный же, пошехонский, голландский или какой там еще сыр в головках, окутанных воском, деревенские жители видели лишь в магазинах и интересу к нему не испытывали — не по деньгам он им был и не по нраву.

Когда же в хозяйстве у Петра Николаевича и Февроньи Васильевны объявилась коза Матрена, то как-то оно само собой получилось, что стали они, будто какие горные, живущие на вершинах, народы варить сыр. Февронья Васильевна, Бог знает, откуда почерпнула его рецепты и умение. Поначалу, правда, получалось не больно удачно, а потом мало-помалу дело наладилось, пошло: сыр варился тучным и сытным, с молочнокислым запахом и едва приметной желанной горчинкой. Петр Николаевич для пробы несколько сырных головок закоптил в нарочито вырытой для этого в саду за омшаником глубокой ямочке. Он набросал туда грушевого, яблоневого и сливового хвороста (сосна или береза для копчения не годятся по природе своей, смолянистой и дегтярной), подвесил над пропастью на жердочке сыр, запрятав его в обыкновенные авоськи, и поджег-сотворил невысокий, но дымный костерок. В том дыму-пожарище сыр томился, наверное, с неделю, и когда они с Февроньей Васильевной отведали его, то нашли, что он вполне пригодный для еды (на любителя, конечно).

Сыр домашнего производства и делания (и обыкновенный, и копченый) в зимнюю пору очень даже выручал Петра Николаевича и Февронью Васильевну. С липовым или каким иным цветочным чаем (покупного, магазинного они давным-давно уже не видывали) его попить хорошо, с кипяченым молоком и просто так пожевать ломтик в ожидании более основательного обеда-вечери. Не еда, понятно, а больше лакомство, балов-

ство, но в старости, будто в малые-младенческие годы, как без лакомства-баловства обойдешься. Не зря, видно, говорится: что старый, что малый. Назарка тоже к сыру помалу приспособился, нет-нет, да и отведаст ломтик, хотя по всем статьям не кошачья это еда. Но теперь, когда остались они с Назаркой в доме только вдвоем, куда им столько сыру (с прошлого года еще две головки в погребе лежат). Февронья Васильевна, бывало, и пирог какой с сыром спечет, и ватрушку или перед полымем, положив на кусочек хлеба, расплавит, — а они ни на что такое не способны, не обучены и не привычны.

— Ты со мной пойдешь? — спросил Петр Николаевич Назарку, — или здесь посидишь?

Назарка переступил с лапы на лапу, пронзительным взглядом посмотрел на Петра Николаевича и, вспрыгнув на подлокотник дивана, зыбкой тенью уселся в ногах у Февроньи Васильевны, тем самым определив свое решение, что никуда он больше не пойдет, с места не сдвинется.

Петр Николаевич вздохнул и, захватив в сенях висевшую на бельевой веревочке-шнурочке чистую тряпочку, которой Февронья Васильевна всегда вытирала Матрене после омовения вымя (это он приметил), вышел во двор.

Матрена терпеливо ждала Петра Николаевича возле изгороди.

— Ну, девка, будем пробовать, — сказал он ей. — Поднады нет, сетуй не сетуй — не заготовил.

Матрена на все его речения откликнулась жалобным блеянием-мычанием, с недоверием попятилась вплотную к изгороди и высоко вскинула точеную свою головку с двумя серебряно-белыми сережками на крылечко, ожидая, что там сейчас покажется с цеберком пойла в руках Февронья Васильевна — и все будет, как всегда, как в любой иной день и вечер.

— Нет, не будет, — с тоскою в голосе оборвал все ее надежды Петр Николаевич, не желая обманывать доверчивую Матрену.

Следуя во всем движениям и навыкам Февроньи Васильевны, он присел перед Матреной на низенькой скамеечке-ослончике и потянулся к переполненному молоком вымени, чтоб ополоснуть его водой, наливая ее в горсть из ведерка-доенки. Но ничего у Петра Николаевича из этой затеи не получилось. При его значительном росте и большой, радикулитной спине склониться со скамеечки к Матрене никак не выходило, и он лишь понапрасну пролил воду.

Повторив (и опять-таки без всякого успеха) свою попытку еще раз и еще, Петр Николаевич стал соображать, как бы ему выйти из этого мелкого, но, оказывается, такого затруднительного положения. И вскоре сообразил. Впритык к сараю у него стояла старая лодка, которую давно пора бы порубить на дрова (новая была на плаву), да все руки не доходили. Петр Николаевич сдвинул, положил лодку плашмя на землю, днищем вверх и пригласил на нее Матрену:

— Давай, коза-дереза, восходи на пьедестал.

Матрена помялась немного, поцокала копытцами, а потом, ладно, что животное не шибко большого ума, все-таки поняла, чего от нее требуется, и взошла-вспрыгнула на лодку. Петр Николаевич перенес туда скамеечку-ослончик, попробовал нагиб-наклон, и вроде бы все у него с дойкой должно было наладиться. Матрена стояла тихо-мирно, хотя по всему ее виду и чувствовалось, что какой-никакой похвалы и зримого поощрения она за свою понятливость ожидает.

— Да ты ей тыкву разрубь! — издалека, из дома подсказала Февронья Васильевна.

Петр Николаевич изумился не столько этой подсказке, сколько своей недогадливости. Ну, как это он не додумался до столь простой, обыкновенной мысли?! Коза, не в пример корове или коню, особа всеядная и непереборчивая, она не то что тыкву, а любую веточку-жердочку дочиста обгрызет-обглодает, будь на ней хоть самая малая ленточка съедобной коры.

Петр Николаевич вынес из сарая большую желто-золотистую тыкву, разрубил ее на дровосечной колоде на мелкие части-четвертинки и положил перед Матреной. Та приблизила к себе один ломтик-скибочку копытцем и вгрызлась в него с таким удовольствием и аппетитом, что напрочь, кажется, забыла про дойку.

Петр Николаевич воспользовался ее забвением, ополоснул вымя остатками воды, насухо вытер тряпочкой и, поплотнее прижав ведро ногой к борту лодки, взял Матрену за набрякший сосок широкой своей заскорузлой ладонью.

Все он делал вроде бы точно так, как Февронья Васильевна, но первая теплая струйка молока цвиркнула не в ведро-доенку, а в рукав Петру Николаевичу и потекла к самому локтю.

— Я же говорил тебе, — опять посетовал он на Февронью Васильевну, — не умею я — не мужское это занятие.

— А ты не поспевай, — уразумила его Февронья Васильевна. — За сосок не ладонью тяни, а двумя пальцами, большим и указательным.

Петр Николаевич примолк и стал, будто какой ученик-школьник, выполнять все наставления и указания Февроньи Васильевны: размеренно сдавливал сосок двумя помягчевшими пальцами, сгонял ими молоко от вымени в самый кончик — и дело вроде бы заспорилось. Молочная тугая струя падала точно посередине доенки, не разбрызгиваясь по сторонам, на днище лодки, и не цвиркала Петру Николаевичу в рукав.

Так с Божией помощью и смирением Матрены он непосильный свой труд выполнил, хотя спина и ноги все равно отекли донельзя. Петр Николаевич, поднявшись со скамеечки, с трудом размял и распрямил их. Матрену он остатками тыквы заманил в сарай, в просторную загородку, где раньше жительствовала корова Зорька и где остались, словно в память о ней, дощатые высокие для козы ясли. Петр Николаевич хотел было разобрать их за ненадобностью, но Февронья Васильевна остановила его:

— Пусть будут!

Петр Николаевич во всем понял ее грусть и воспоминания о Зорьке и ясли не тронул. У него у самого по прежней жизни душа изнемогала и болела. А что будет с ней, разоренной, теперь, без Февроньи Васильевны, о том и подумать страшно.

Молоко Петр Николаевич, ни в чем не отступая от повеления Февроньи Васильевны, разлил в три кувшина. Один занес в дом, на кухню для Назарки и себя, хотя зачем им столько молока: они и половины не одолеют. Два других кувшина Петр Николаевич спустил в погреб и накрыл их крышками-стеклышками на тот случай, чтоб в кувшин-глейчик не запрыгнула лягушка. (Февронья Васильевна всегда так делала). Мышей в погребе Назарка, куда твой фронтной кот Пехотинец, истребил и распугал всех до единой. А вот лягушки, которые неведомо каким образом проникали в погреб, ему не дались, и Февронья Васильевна боролась с ними всякими подручными средствами. Петр Николаевич к этой борьбе был непри-

частен. Погреб считался полным и неделимым владением Февроньи Васильевны — Петр Николаевич лишь изредка поправлял в нем ступеньки, да закатывал по осени заново отремонтированные и засмоленные бочки под соления. А нынче придется и погреб брать под свою опеку.

Выбравшись из погребной ямы, Петр Николаевич от одних ворот до других оглядел подворье, опять показавшееся ему чужим и заброшенным, и пошел в дом. Но на крылечке оглянулся и вдруг увидел, как сумерки в одно мгновение превратились в непроглядную, глухую ночь, сомкнулись за спиной у Петра Николаевича и неодолимой завесой отделили его от дневной светлой жизни.

* * *

В доме Петр Николаевич снял шапку, телогрейку и сапоги, вымыл под умывальником руки и лицо, расчесал гребенкой реденькие свои белопепельные волосы и лишь после этого прошел в горницу, к Февронье Васильевне.

— Теперь поешь! — опять озаботилась она. — Ночь тебе тоже предстоит нелегкая.

Ни пить, ни есть Петру Николаевичу, как и прежде, ничего не хотелось, но и не уважить просьбе Февроньи Васильевны он не посмел — понапрасну волновать и печалить ее сейчас не годилось. Он вынул из печи горшок с супом, поставил его на кухонный столик и засомневался: растапливать в горнице лежанку и разогреть в ней суп или поесть остывшего, холодного. Февронья Васильевна, конечно же, лежанку бы растопила, горшочек с супом туда для согрева поставила бы. Петру же Николаевичу было не то, чтобы лень или неволею заниматься сегодня лежанкой, а как-то совсем без разницы — растоплена она или нет, горячий суп или холодный.

Таясь от Февроньи Васильевны, он прямо из горшочка зачерпнул две-три ложки жиденькой юшки, заел ее ломтиком хлеба, да тем и насытился.

Для Назарки Петр Николаевич выловил в горшочке куриную ножку, положил ее в кошачью мисочку, что стояла под лавкой, и позвал кота каким-то надломленным, будто треснувшим пополам голосом, который тоже показался ему чужим, принадлежащим совершенно постороннему человеку:

— Назарка! Назарка!

Но Назарка на приманки Петра Николаевича никак не отозвался, не прельстился ни на позвякивание мисочки, к которому был приучен и приласкан Февроньей Васильевной, ни на запах куриной хорошо разварившейся за день в печи ножки: он еще крепче, всем телом вжался в подлокотник дивана и остался недвижимо сидеть в ногах у хозяйки, в один день похудевший и отощавший, с ввалившимися желто-зелеными глазами и опавшей клоками шерстью.

А какими были у них прежде, при Февронье Васильевне ужины! Не ужины, а каждый день трапеза и вечера. Обосновывались они не на кухне, а в горнице за широким на шесть четвертных досок столом, накрытым чистой скатеркой.

Петр Николаевич, как и полагается мужчине, хозяину дома, нарезал крупными ломтями домашний, подового печения хлеб, а Февронья Васильевна тем временем несла подогретый в лежанке дымящийся клубами паром суп, борщ или тушеную в чугушке картошку, или пшеничную кашу с

молоком, или свежие вечерние оладушки, только-только созревшие все там же, в лежанке. Назарка обретался подле хозяев, в горнице, терся у ног Февроньи Васильевны, мурлыкал, вел с ней какие-то свои тайные переговоры, требовал добавки-приварки в мисочку, которую Февронья Васильевна переносила в горницу, чтоб Назарка не скучал в одиночестве на кухне, под лавкою, да и они не скучали по нему: все ж таки Назарка, хоть и кот, а полноправный и законный член их семейства.

— Может, молока налить? — вспомнив все эти трапезы-вечери, в один миг отошедшие из их жизни, спросил Назарку Петр Николаевич.

Назарка и на молочные посулы Петра Николаевича никак не отозвался (а уж на что к молоку любитель и охотник!), совсем обронил горемычную свою кошачью голову, которая при исхудавшем, изможденном теле стала непомерно большой и, наверное, тяжелой.

Петр Николаевич больше принуждать Назарку не стал, прикрыл горшок с супом кружочком и вынес его в сени, как это обязательно сделала бы и Февронья Васильевна, чтоб к утру суп не прокис в теплой избе и завтрашним днем его можно было либо самим съесть, либо, смешав погуще с картошкой, отдать гусям и курам.

* * *

Вернувшись из сеней, Петр Николаевич повторно вымыл руки, повторно, на косой пробор расчесал волосы и тихим, остерегающим шагом вошел в горницу. Теперь им с Февроньей Васильевной предстояли ночные молитвенные бдения.

Он поставил на краю стола деревянный их березовый треножник, зажег на нем три восковые свечи и, поволновавшись немного возле книжной, сооруженной когда-то еще Колей полочки, выбрал старинную церковного ведения книгу в твердом картонно-коленкоровом переплете.

— Эту? — боясь все же ошибиться, спросил он Февронью Васильевну.

— Эту, эту! — подбодрила она Петра Николаевича. — Там закладочка в нужном месте есть.

Книг в их доме содержалось немало. Мирские, занимательные собрал Коля, намереваясь после армии учиться в институте историческим и словесным наукам, а молитвенно-церковные по смерти родителей Февроньи Васильевны, отца и матери, перешли к ней как бы по наследству. Семья Февроньи Васильевны была богомольной, к чтению церковного Святого писания привержена. Мать, пока жила в Новых Боровичах и не вышла замуж на хутор, пела в церковном хоре, знала все службы и обряды. С малого, детского совсем еще возраста приучила она к ним и Февронью Васильевну. В молодые годы, правда, Февронья Васильевна не так уж чтоб и часто брала в руки церковные стародавние книги: и некогда, и недосуг было за крестьянской непрестанной работой, и не поощрялось тогда чтение подобных книг. Церковь в Новых Боровичах в хрущевское суетное правление закрыли, превратив ее в клуб, и заманивали туда молодежь увлекательным кино, концертами, танцами под баян и гармошку, да лекциями о международном положении. Случалось, что и Петр Николаевич с Февроньей Васильевной вместе с другими хуторянами ездили туда подводу смотреть кино, слушать лекции и танцевать до упаду, соревнуясь с сельскими ребятами и девчонками. Молодые были, задорные, на старую жизнь оглядывались редко, чего уж тут умалчивать.

Ну, а лет десять-пятнадцать тому назад про церковные те книги

вспомнили, пыль и бездумное забвение с них стряхнули. И первой, опять же, Февронья Васильевна. Брошенный на произвол судьбы, оставленный без всякого присмотра и внимания большим и малым начальством народ стал на хуторе вымирать раньше срока и времени. Тогда-то Февронья Васильевна все отцовско-материнские наследственные книги и возродила. И не только по своему вниманию к ним, а и по настоятельной необходимости. Звать священника или хотя бы какого пономаря, чтоб он проводил усопшего за пределы земной жизни с христианской молитвою, хуторянам было не по силам (да и не всякий отец-батюшка в такую даль поедет), и они в одночасье вспомнили, что Февронья Васильевна все заупокойные службы, каноны знает, чтению и старому, славянскому, и новорусскому обучена. Хуторяне и начали приглашать ее к умершим своим родственникам, чтоб они не ушли в сыру землю без молитвенного напутственного слова. Февронья Васильевна ни единому человеку не отказала. Ночами простаивала рядом с «во гробех лежащим», читая необходимые каноны, вольно-невольно заменяя сразу и священника, и дьякона, и пономаря.

И вот дождалась своей очереди. Кроме Петра Николаевича, проводить ее в последнюю дорогу больше некому. Так что надо ему самому открывать книгу в нужном, заложенном тоненькой древесной скалочкой месте и читать по силе возможности и разумению скорбные молитвенные слова. Расставаться под их утешительные звуки им с Февроньей Васильевной будет легче и спокойнее. На то эти слова и были придуманы в древние времена людьми, познавшими всю праведность и неправедность земной человеческой жизни.

Кое-какие навыки в чтении и церковных, и мирских книг, находясь неразлучно при Февронье Васильевне, Петр Николаевич тоже обрел. Да и как их было не обрести?! Как только новое разорительное начальство лишило хутор электричества, так сразу все раньше словно сами собой приходящие в дома развлечения и забавы: телевизоры, радиоточки, магнитофоны исчезли и замолчали, остались только книги, игральные карты да гармошки-балалайки, если, понятно, у кого они были, и если кто способен был на них играть.

Петра Николаевича и Февронью Васильевну карты и гармошки-балалайки не прельщали. А вот книги — иное дело, к чтению книг они пристрастились, и особенно, когда остались на хуторе одни-единственные.

Бывало, так вот после ужина-вечери расстилала Февронья Васильевна на столе чистую скатерку, зажигала на треноге пламенно горящие свечи, и принимались они за книги. Февронья Васильевна по большей части читала книги церковные, поучительные, а Петр Николаевич мирские, более понятные ему в буквах и словах и оттого более легкие в чтении. Но, случалось, что и подменяли они друг друга. В эти подменные часы, когда Февронья Васильевна отдыхала, сидя по ту сторону стола в обнимку с Назаркой, который на читках присутствовал непременно — набирался ума, Петр Николаевич старое славянское письмо помалу и усвоил.

Была, между прочим, среди Колиных занимательных книг и книга, повесть и сказание о Петре и Февронии. Но прочитали они ее с Февроньей Васильевной всего один раз. Повесть эта ей очень даже не понравилась.

— Ишь, какой гордый! — сказала Февронья Васильевна о князе Петре. — С первого раза на бедной, безродной Ховрушке жениться не захотел.

— Испытывал, — попробовал заступиться за князя Петр Николаевич.

— А чего испытывать-то?! — совсем разгорячилась та. — Не вылечи его Ховрушка от смертельной болезни — помер бы, вот и весь сказ, и все испытания.

Петр Николаевич больше не нашелся, что ответить на эти укоризны, приблизил к себе книгу, чтоб еще раз перечесть повествование: может, какое-нибудь, самое главное, слово ускользнуло от него, и он не все уразумел в написанном. Но Февронья Васильевна прервала чтение и вдруг, вспомнив молодые их, дозамужние еще годы, сказала:

— Вздумай ты мне туманить голову, я бы ни за что за тебя не пошла!

— Так я же не князь! — попробовал и сам оборониться Петр Николаевич.

— Понятно, что не князь! — усмехнулась Февронья Васильевна.

От потаенной той усмешки вся защита Петра Николаевича пала, он закрыл книгу, но на прощанье все же сказал Февронье Васильевне:

— Зато после как Благоверный князь любил ее.

— Это воля Божья, а не его, — и тут не уступила Февронья Васильевна.

Единственное, что ей понравилось в повести, так это обоюдное, взаимное желание князя Петра и княгини Февроньи помереть в один и тот же день и час и быть похороненными в одном гробу:

— Вот бы и нам Бог послал подобную смерть.

— Оно бы неплохо, — согласился с Февроньей Васильевной Петр Николаевич, но потом не выдержал и обмолвился: — Ты моложе меня на два года — не поспедай.

Обмолвился он вроде бы без всякого постороннего умысла, по-житейски обыкновенно, ни в чем не лукавя, как пожилые люди и ведут речь о предстоящей (кто знает, может, и совсем скорой) смерти, особенно уже и не боясь ее, — а на поверку вышло, что накликать, призвал Петр Николаевич необдуманными теми словами беду. И вот Февронья Васильевна раньше его и раньше положенного ей срока лежит в тесовой домовинке, а Петр Николаевич застыл над нею со Святым писанием в руках.

* * *

Чуть затертая по уголкам от частого употребления книга красного переплета как бы сама собой открылась на нужном заложеной скалочкой месте.

Петр Николаевич трижды осенил себя крестным знаменем, надел очки и негромким, но отчетливым голосом, чтоб Февронья Васильевна все слышала, начал чтение: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас, аминь.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Святой, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй».

Читать он старался внятно и доступно, но по слабому умению своему все ж таки нет-нет, да и путался в славянских трудного написания буквах и словах. Тогда Февронья Васильевна, зная все эти молитвы и службы наизусть, поправляла его, наставляя на верный путь.

Назарка осторожно перебрался по спинке дивана в изголовье Февро-

ньи Васильевны, сел на подлокотник и стал прислушиваться к голосу Петра Николаевича. Всех слов он, может, и не понимал, но чувствовать их чувствовал. Это было видно и по его напряженно вскинутой голове, и по еще больше пожелтевшим глазам, в которых отражались колеблющиеся огоньки свечей.

Так втроем они и коротали поминальную тяжкую ночь. Петр Николаевич читал страничку за страничкой, а Февронья Васильевна с Назаркой внимали ему. За окном была непроглядная осенняя темень, шумел с тоскливым завыванием ветер, две-три капли дождя упали на стекла и, будто плача, тоненькими струйками потекли вниз. Петру Николаевичу стало совсем невмоготу. Глаза у него тоже заслезились, заплакали, голос заскрипел и ослаб, затекшие ноги онемели.

Все эти горести и невзгоды Петра Николаевича не утаились от Февроньи Васильевны. Она послушала еще страничку-другую, а потом вдруг воочию, так, что даже зашуршала подушка, повернула к Петру Николаевичу голову и сказала:

— Что это мы все плачем да плачем! Давай лучше что-нибудь веселое читаем.

— Да разве можно в такой час — веселое?! — попробовал возразить ей Петр Николаевич.

— А почему же и нельзя?! — уняла его сомнения Февронья Васильевна. — Порадуемся, как прежде...

— И что же мы будем читать? — все-таки подрастерялся ее словам Петр Николаевич.

— Так — что?! — на минуту задумалась Февронья Васильевна. — Про Руслана и Людмилу будем читать, ты уж на прощанье уважь мне.

Книгу про Руслана и Людмилу они с Февроньей Васильевной читывали в вечерних и ночных своих бдениях часто, обнаружив ее на Колиной полочке. Очень любила эту повесть Февронья Васильевна.

— Ну, коль просишь и коль не возбраняется, — уступил ей Петр Николаевич, — то и прочитаю.

Поминальную, в красном переплете книгу он закрыл, поместив на прерванном месте закладочную скалочку, и взял с полки книгу про Руслана и Людмилу. Размера она была большого, просторного, с частыми картинками на полную страницу, с отчетливыми, даже без очков хорошо видимыми буквами.

Настраиваясь на новое сказочное чтение, Петр Николаевич сел на табурет поближе к Февронье Васильевне, легонько, в кулак, прокашлялся и приступил:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.

— Э, нет! — решительно прервала его Февронья Васильевна, — ты с самого начала читай. Про царицу.

— Ну, что ты с ней сделаешь?! — не смог сдержать доброй улыбки Петр Николаевич. — Все помнит, все знает — и нынче ей про царицу давай. — А Петр Николаевич хотел начало повести, пропечатанное мелкими буквами, пропустить и взяться сразу за лукоморье, за зеленый дуб и за ученого кота.

Назарка строчки про дальнего своего потомка, а может, и сродственника всегда слушал с особым вниманием, хотя и ревниво, как будто спра-

шивал: «Это что еще за такой ученый-преученый кот, какие он говорит сказки, какие поет песни — и почему я их не знаю?!».

Но уловка Петра Николаевича на этот раз не удалась, и он, повинувшись Февронье Васильевне, стал чуть нараспев читать мелкие убористые строчки, помеченные отдельным заглавием: «Посвящение», которые все женщины, должно быть, втайне принимали на свой счет:

Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал;
Примите ж вы мой труд игривый!
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.

— Это совсем иное дело, — похвалила возвышенное чтение Петра Николаевича Февронья Васильевна. — Про царицу там не зря написано.

— Понятно, что не зря! — тоже с веселой улыбкой ответил ей Петр Николаевич, как всегда и отвечал в прежние их застольные чтения.

— Ну, а теперь можно и про лукоморье, и про кота, — милостиво разрешила Февронья Васильевна, царица из цариц, красавица из красавиц, — а то Назарка совсем заскучал.

Петр Николаевич, еще раз прокашлявшись, заново повторил зачин повести, с твердым нажимом выделив любимые Назаркой строчки про ученого кота:

Идет налево — песнь заводит,
Направо — сказки говорит.

Назарка при этих строчках и вправду приободрился, ожил. Он чуть приподнялся на лапах, расправил, распушил усы; шерсть на нем перестала топорщиться клочками и космами, а плотно прилегла к телу и залоснилась. Казалось, еще немного, и Назарка задаст Петру Николаевичу и Февронье Васильевне свой самый любознательный вопрос (всегда задавал его и требовал вразумительного ответа): «Это почему же и за что ученого кота посадили на золотую цепь и заставили ходить все по кругу да по кругу, а не отпустили на вольную волю — он бы тогда еще и не такие песни пропел и не такие сказки рассказал?). Но в следующее мгновение Назарка оглянулся на молчаливо лежащую со свечой и крестиком в руках Февронью Васильевну и опять опал всем телом, прижался потесней к подлокотнику дивана, опустил голову и как будто даже задремал.

Увлеченная слушанием Февронья Васильевна всех превращений Назарки не заметила, а то бы она вначале непременно пожурела его за недоверие к повести, а после взяла бы на руки, приласкала и объяснила: «Это ж все сказки, Назарка! А в сказке должен быть и кот ученый, и золотая цепь, и русалка на ветвях — иначе, что там тогда и слушать, чему научаться».

И они бы все трое помирились...

Читал, уступая просьбе Февроньи Васильевны, Петр Николаевич веселую сказку-повесть про Руслана и Людмилу, про злого чародея Черномора, про царей и цариц до глубокой ночи. Он, наверное, читал бы и дальше, до самого утра, но Февронья Васильевна вдруг близким, ласковым голосом прервала его:

— На сегодня, Петр Николаевич, хватит. Завтра еще ночь будет.

— Как скажешь, — остановил чтение на полуслове Петр Николаевич.

— Мне одной теперь надо побыть, — будто повинилась перед ним за эту остановку и перерыв Февронья Васильевна. — А ты поспи немного и Назарку с собой заberi.

Петр Николаевич, не дожидаясь повторных просьб и напоминаний, закрыл увлекательную книгу, тотчас поняв настоящее желание Февроньи Васильевны побыть в предутренние эти часы в горнице одной. При свете поминальных пламенных свечей ей хочется (даже полагается) подумать о прошедшей жизни, порадоваться всему хорошему, что было в ней, попечалиться тяжкому и горестному; наедине, без постороннего живого человеческого глаза и дыхания помолиться перед образами, как привыкла она молиться каждый вечер. Мешать Февронье Васильевне в эти минуты никак нельзя, хотя и расставаться с ней даже на самое краткое время Петру Николаевичу тоже тяжело.

— Побудь, — тихонько поднялся он с табурета и, положив на полочку до завтрашной ночи книгу, придиричиво оглядел горницу: все ли в ней ладно устроено, не помешает ли что одиночному бдению Февроньи Васильевны: колыхание широко открытой форточки, надоедливый монотонный скрип жучка-шашеля в старой матице или позвякивание печной вьюшки. Но вроде бы все было хорошо и покойно: форточка держалась в петлях неколебимо и прочно, не издавая ни единого звука, жучок-шашель, должно быть, притомившись за день своей разрушительной работой, свернулся калачиком в темной норке и уснул, а чугунная вьюшка отяжелела от саж и упавшего на нее из трубы кусочка глины, тоже приглушенно молчала.

Исправления требовали лишь свечи. Три осветительно-яркие, на треноге, Петр Николаевич поочередно задул слабым своим стариковским дыханием (а прежде, бывало, гасил их сразу все три одним глубоким вдохом-выдохом — но теперь на это груди у него не хватало), а две других: в граненом стакане с рожью-житом и в руках у Февроньи Васильевны пришлось заменить — они догорели, оплывая воском, почти до основания.

Пока Петр Николаевич делал эти исправления, Назарка тоже поднялся с подлокотника и спрыгнул на пол, готовясь покинуть горницу вслед за хозяином. Чует его неприкаянная душа, что так сейчас надо, так полагается...

Оставив в дверях небольшую щелочку, Петр Николаевич в паре с Назаркой, будто одна-единая тень, ушли на кухню.

Стелить постель и раздеваться до исподнего Петр Николаевич не стал, а как был в байковой синенькой рубахе и рабочих темных штанах, так и взобрался на почти уже остывшую печку и упал ничком на положенную в головах телогрейку.

Назарка вспрыгнул за ним следом, но лег не рядышком с Петром Николаевичем, чтоб погреться у него под боком, а на том месте (поближе к коменку), где обычно любила спать Февронья Васильевна, и откуда еще исходил ее живой привычный запах.

— Полежи, полежи, — понимая всю тоску и тревогу Назарки, погладил его Петр Николаевич и не смог сдержать вздоха. — Я тебя так, как она, не согрею.

Принуждая себя ко сну, он смежил, плотно даже сжал веки, но никакой сон не шел. Изредка лишь наваливалась нестойкая тягостная дрема, и в той дреме Петру Николаевичу все чудилось, что Февронья Васильевна зовет его к себе. Он тревожно вскидывался, склонял голову с печи и смотрел в дверную щелочку, стараясь понять и определить: так ли это на самом деле, зовет ли его и призывает Февронья Васильевна или он просто ослышался и принял за ее голос завывание ночного холодного ветра в трубе.

Сквозь щелочку Петру Николаевичу были видны желто-горячие колеблющиеся огоньки свечей и освещенное ими с двух сторон спокойное, задумчивое лицо Февроньи Васильевны. Чутьочку бледное, но такое живое и ясное, что Петр Николаевич, неловко толкая Назарку, начинал слезать с печи и все укорял и укорял себя, старого и совсем уже, наверное, потерявшего разум: да как же он мог такое подумать, что Февронья Васильевна умерла, несправедливо опередив его?! Вот скоро займется раннее утро, и она, как всегда, поднимется прежде Петра Николаевича, растопит печь, подойдет Матрену, накормит кур-гусей, Назарку, а он все еще будет спать и нежиться на пуховой перине.

Но, посмотрев на пустое место возле коенка, где сиротливо коротал остатки ночи Назарка, Петр Николаевич опять падал ничком на телогрейку и гасил в душе призрачные свои надежды: обманывай себя, не обманывай, а вот она, Февронья Васильевна, лежит в доминалке с поминальной свечой в руках и никогда уже из нее не поднимется...

* * *

Так и промаялся Петр Николаевич на остывшей печи до утра, то впадая на короткую минуту в дрему и забвение, то опять тревожно пробуждаясь. Но как только первая утренняя заря сверкнула, зарозовела на востоке, он слез с печи и вошел в горницу.

— Тебе ничего не надо? — здороваясь с Февроньей Васильевной, спросил он.

— Не надо, все хорошо, — ответила Февронья Васильевна, за ночь отдохнувшая и передумавшая все свои думы.

Петр Николаевич больше надоедать ей не стал, а лишь опять поменял прогоревшие свечи и ушел на кухню. Домашнее и дворовое хозяйство требовало его настоящего участия.

Следуя каждодневному утреннему примеру Февроньи Васильевны, Петр Николаевич вначале растопил печку, немало, правда, помучившись с дровами, которые загорелись не сразу, хотя вроде бы и хорошо за ночь просохли. Спичек у Петра Николаевича и Февроньи Васильевны в доме тоже не было уже года четыре. Взамен им Петр Николаевич, вспомнив фронтные свои навыки, смастерил кресало из обломка старого кузнечного напильника и твердого кремниевого камушка, который случайно отыскался у него в омшанике. Февронья Васильевна быстро освоила это немудреное приспособление, с одного-другого замаха высекала искру и раздувала запальный жгутик. У Петра же Николаевича искра вроде бы и высекалась, а вот жгутик, сколько он ни дул на него, сколько ни шевелил в пальцах, никак воспламеняться не желал: то ли не доставало у Пет-

ра Николаевича дыхания, то ли пропускал он нужный момент, когда полагалось подвести жгутик под огнедышащую, мгновенную искру. (А на фронте, бывало, все получалось с единого удара, в любую погоду и непогодь, в дождь и в снег: закроешься шинелькой или плащпалаткой — и вот он огонь — готов, хочешь — папироску закуривай, хочешь — костерок ладь). Февронья Васильевна необидно посмеивалась над утраченным умением Петра Николаевича, и он по этой причине редко когда брал кресало в руки. Вчера тоже не прикоснулся к нему. Утром дрова, очаг успела еще поджечь Февронья Васильевна и передала огонь из рук в руки Петру Николаевичу. И как он пригодился ему! Поминальные свечи Петр Николаевич воспламенил от печного уголька и после весь день зорко следил, чтоб не упустить его. А не поторопись Февронья Васильевна, так Петр Николаевич полдня поди бился бы над неподатливым кресалом.

Но сегодня надежда у него на Февронью Васильевну не предвиделась, и огонь Петру Николаевичу предстояло добывать самому. Можно было, конечно, взять его от свечей и как бы вернуть назад в печку, но Петр Николаевич посчитал, что это невозможно, что огонь на свечах совсем иной, чем в печке, не огонь, а пламя, освещающее Февронью Васильевну дорогу за пределы земной жизни.

Чтоб не тревожить ее скрежетанием железа по камню, Петр Николаевич поплотнее притворил в горницу дверь и лишь после этого, унимая в руках дрожь, стал бороться с кресалом. Задымился, пошел мелкими розоватыми окалинками жгут не с первого, не со второго и даже не с третьего удара, но все-таки задымился. Петр Николаевич, собрав все остатки дыхания, подул на него еще раз и торопливо подставил тонкосенскую смоляную лучинку, которые всегда для этого случая хранились у Февроньи Васильевны в загнетке. Нестойкий голубенький огонек веселой змейкой скользнул по ней и, чувствуя печную тягу, приподнялся, будто на цыпочках. Прервав дыхание, Петр Николаевич склонился с лучинкой в руках к печному зеву и поджег заранее установленный там шалашиком мелкий хворост. Тот сразу вспыхнул ярким шумливым огоньком. Цепко охватывая полешки, он побегал по золотисто-сухой коре, по сучкам и отслоившимся от полешек прожилкам. Потом спрятался где-то глубоко внутри дровяной клетки, уступив дорогу густому начальному дыму, который стойко потянулся из печного зева в трубу. Петр Николаевич отпрянул от загнетки и припечка и сел передохнуть на лавке рядом с ведрами. Пока огонь разгорался, набирал силу, Петр Николаевич неотрывно смотрел на него и так же неотрывно думал о Февронье Васильевне. Вот он всего только один раз разжег печку и как извелся с нею и притомился: спина вся мокрая, дыхание в груди напрочь иссякло, будто она до отказа забыта дымом, а Февронья Васильевна занималась этим каждодневно и никогда не звала в помощь Петра Николаевича, давая ему еще полчаса-час подремать самым сладким утренним сном.

* * *

Затевать какое-либо варево для себя Петр Николаевич не стал (обойдется и вчерашним супом), а вот для кур-гусей поставил вглубь печи, с левой стороны большой чугунок с картошкой, с правой же приладил чугунок поменьше, наполненный просто водой: пусть согреется на всякий случай, закипит — в хозяйстве сгодится: миску-тарелку какую помыть.

Больше возле печи Петру Николаевичу делать было вроде бы нечего.

Он прикрыл печной зев на три четверти заслонкой, чтоб тепло с нестойким уже дымом попусту не утекало в трубу, а грело свод-кобылу и черень. (Февронья Васильевна подобным образом всегда поступала).

На дворе тем временем совсем рассвело, прояснилось: день опять занимался по-осеннему чистый и свежий. Все пробуждалось и тянулось к весело поднимавшемуся из-за горизонта солнцу, к продолжению обновленной за ночь жизни.

В запертом сарае жалобно бляела, требуя свободы и внимания Матрена; в загородке волновались, гоготали гуси, будто говоря тем разноязыким гоготанием Петру Николаевичу, мол, давно пора выпустить их на реку, где в ранние часы самый сытный и богатый улов; а куры — те самовольно, сквозь малую щель в будке выбрались во двор и уже пили из корытца воду, суетно подбирали не подобранные вчера в сумерках зернышки.

В общем, хочешь, не хочешь, а надо было Петру Николаевичу выходить во двор и удовлетворять все утренние желания-требования обитателей сарая, загородки и будки.

Он снял с крючка телогрейку и шапку, но прежде чем надеть их, все-таки еще раз заглянул в горницу. И вовсе не за тем, чтоб получить от Февроньи Васильевны какие-нибудь наставления и указания, а просто, чтоб посмотреть на нее при свете восходящего солнца после ночной тягостной разлуки.

Она лежала все так же тихо и задумчиво, словно чутко спала-дремала или грелась, смежив веки, на утреннем этом ласковом солнце.

Назарка, неведомо когда проникнув в горницу, сидел на подлокотнике дивана в изголовье Февроньи Васильевны. Солнце, затмевая сияние свечей, играло на его рыжих подпалинках, торкалось острыми лучами в покрасневшие от бессонницы глаза, но Назарка никак не отзывался на всю эту игру и торканье, как будто солнца не было и вовсе, как будто оно, померкнув вчера вечером, сегодня так и не встало, не поднялось над горизонтом.

— Сиди! — едва слышимым шепотом, боясь разбудить Февронью Васильевну, сказал Назарке Петр Николаевич и вышел за порог.

* * *

С оголодавшей за ночь, бляющей, гогочущей и заполошно, бестолково кудахтавшей живностью он справился уже чуть побойчее, чем вчерашним днем. Распахнув ворота на обе створки, Петр Николаевич выпустил со двора нетерпеливых гусей, которые сразу успокоились, выстроились во главе с Черномором в походный порядок и двинулись к реке по ржаной темной стерне, сбивая с нее утреннюю холодную росу. Потом он посыпал зерна курам, подлил в корытце воды, с угрозой прикрикнул на глуповатого рябого петуха, который, взлетев на изгородь, вдруг вздумал неурочно кукарекать, и лишь после этого освободил из заточения Матрену.

Она опротясь выскочила из сарая и, готовясь к дойке, добровольно взобралась на лодку. Петр Николаевич опять разрубил Матрене для поднады тыкву и принялся доить уже почти с полным умением и сноровкой, хотя, конечно, не так, совсем даже не так, как Февронья Васильевна. Матрена это чувствовала, беспокойно переступала с ноги на ногу, задевая копытом доенку, поглядывала то на Петра Николаевича, то на пустое крылечко и плотно закрытую дверь.

Петр Николаевич не сказал ей ни единого осуждающего слова, не пожурил Матрену за беспокойное топтание на лодке, а молча цвиркал струйкой настоящего в вымени за долгую ночь самого сладкого и самого целебного утреннего молока — и опять плакал.

Когда же вымя совсем обмякло, он отнес доенку в сени, прикрыл непроцеженное молоко марлевой накидкой и поскорее вернулся во двор, чтоб отвести Матрену в луга на привязь и тем завершить утренние свои заботы и с печью, и с живностью. Иные его ждали сегодня дела-предна-чертания — крест для Февроньи Васильевны и могила. Никто, кроме Петра Николаевича, решить этих дел не мог, не мог ни посоветовать, ни подсобрить — надо было все, опять-таки, совершать самому.

Прежде всего, конечно, крест. Еще в ночи, лежа на холодной печке, Петр Николаевич неотступно думал о нем. Как, из чего, из какого материала смастерить, связать его? По-хорошему, по-старинному, крест полагалось бы поставить Февронье Васильевне дубовый, чтоб стоял он непоколебимо и прочно и десять, и двадцать, и тридцать, и все сто лет, не требуя починки и обновления. Но во дворе у Петра Николаевича с Февроньей Васильевной не имелось не то, что дубового, но даже самого обыкновенного соснового или березового бревна (это уж Петр Николаевич знал точно). Да и откуда им было взяться?! Вызолоченная ранней осенью полоска леса с ярко-зелеными островками-проплешинами сосны виднелась за рекой всего в двух верстах. Но никакой возможности спилить там дерево не было. Во-первых, мост через реку при новых властях совершенно разрушился, прогнил и провис измочаленными досками, обнажив голые сиротливо торчащие из воды сваи. Можно было подумать, что мост этот попал под вражескую бомбежку или артиллерийский прицельный огонь. В войну Петр Николаевич вдосталь нагляделся на подобные разорения. Бывало, только вступит пехота и боевая техника на такой вот шаткий мосточек, чудом уцелевший еще во время сражений сорок первого года в лесной хуторской глуши, как тут же налетит немецкая авиация, люфтваффе, и давай забрасывать его бомбами, а вслед за ней подключится и артиллерия. И тогда уж солдатики, которые в этот момент на мосту, молись Богу, потому что никто иной, кроме Бога, спасти их не может. Одна, две, три бомбы пролетят мимо, подняв водяные столбы рядом с переправой, а четвертая, пятая или шестая непременно угодят в самую серединку — и все живое на мосточке идет под воду, пропадает и гибнет со стенаниями и криками.

Но там, на войне, всегда таились где-нибудь поблизости саперы-плотники. Они по пояс, по плечи, по горло в воде (часто ледяной, студеной), подновят переправу, и опять по ней движется пехота и какие-никакие пушонки, чтоб захватить на том берегу хотя бы малюсенький плацдармик и удержать его до подхода основных армейских сил. Петр Николаевич сам не раз и не два попадал в подобные переделки, погибал и тонул и в летней, и в осенней, и в зимней ледяной воде — знает, что это такое, молился не столько Богу, сколько саперам, мол, ребята, поживее давайте, попроторней — там, на том берегу, пропадают без подмоги ваши друзья-товарищи.

Но здесь, возле родного мирного хутора надеяться Петру Николаевичу можно и вправду только на одного Бога. Ремонтировать мост некому, да и незачем. Заливные луга на том, правом, берегу заросли лозовыми кустами-чагарниками, никто их не косит, стога не мечет, не вершит, скотину не пасет. Все пошло прахом и немочью. А какой был мост! Всем мо-

стам мост: построенный еще дедами-прадедами на дубовых в полтора обхвата сваях, соединенный в единое целое такими же дубовыми лагами на неодолимо крепких шипах, да еще и прихваченных коваными скобами. Казалось, веку ему не будет! И вот, кроме этих обнаженно-голых, обросших понизу водяным мхом, свай, ничего и не осталось.

Во-вторых, заречный лес теперь не колхозный, не государственный и не державный, а закупленный на корню каким-то новым богатеем — и по частному тому, приватному лесу летают на конях и вездеходных машинах верные богатеи стражники и слуги, с которыми лучше не связываться. Петр Николаевич с Февроньей Васильевной, собирая по старой безбоязненной привычке в лесу валежник (после перевозили его на свой берег на лодке), несколько раз нарывались на них и едва-едва остались живы.

И в-третьих, если бы даже Петру Николаевичу тайком удалось сосну срубить (про дуб тут и говорить не приходится: в их местах он произрастает редко, и порубка дуба во все времена каралась с особой строгостью), то как, каким образом он мог бы ее доставить к дому (даже раскряжеванную на необходимые соразмерные части) вначале по лесу, потом лугом, потом, переправив самотеком через реку, огородом, по прошлогодней вязкой стерне. Отваги и мочи на это у Петра Николаевича никаких нету.

Конечно, если бы с Февроньей Васильевной случилось несчастье зимой, так тогда можно было бы накатить сосну на санки (имелись у них в хозяйстве хорошие дубовые саночки, с настоящими, широко раскиданными по обе стороны бильцами) и, протапывая в снегу дорожку (да, может, и снег бы лежал не очень глубокий), привезти хотя бы два кряжа ко двору. Но Февронья Васильевна не угадала своего часа и умерла осенью. А по осенней песчаной дороге сосну можно привезти только на раскате-бендюге, запряженным хорошей лошадью или волом. Но ни раската, ни лошади, ни вола у Петра Николаевича тоже не было под сегодняшней непомерно тяжкий день.

Была тачка. Хорошая, завидная тачка, на резиновом ходу, с убористой площадочкой-кузовком, с березовыми спаренными березовой же стяжкой-полозом оглобелками. Не тачка, а прямо-таки самокат-самолет. Только потяни его за оглобелки, только подтолкни чуточку сзади, так он сразу зашуршит-заиграет резиновыми колесами по траве-песку, разбежится и, того и гляди, вправду поднимется на невидимых крыльях в воздух.

Тачку эту смастерил не Петр Николаевич: на подобные изделия-изобретения он не способен, нет у него на них ни способностей, ни сноровки, ни достойного материала и инструмента. Самокатно-легонькую, почти неощутимую в движении тачку подарил Петру Николаевичу и Февронье Васильевне ближний их сосед (жил всего через два дома), хуторской кузнец и умелец на все руки Макар Трофимович.

Петр Николаевич и Февронья Васильевна были с Макаром Трофимовичем и его покойной непоседливой, как птичка-синичка, вечно трудящейся женой Марфой Ивановной (Марфушей), в большой соседской дружбе, почти родстве, взаимно подсобляли друг другу, приходили на выручку в любом крестьянском деле. Но вот Марфа Ивановна, надорвавшись на колхозной и домашней работе (минуты ведь не посидит без дела, без какого-нибудь занятия), стала часто прибалывать, слабеть здоровьем и умерла так же, как и Февронья Васильевна, под осень, в раннем еще по стариковским меркам возрасте — всего в семьдесят три года.

Похоронив свою Марфушу, Макар Трофимович намерен был и дальше жить-перемогаться на хуторе, но дети (сын и две дочери, осевшие в больших городах) не позволили ему пропадать в одиночестве и забвении, а настоятельно переманили к себе, в большие эти города, не то в Рязань, не то в Тверь.

И вот в прощальные, безрадостные дни Макар Трофимович и подарил Петру Николаевичу с Февроньей Васильевной двухколесную свою незаменимую в домашнем крестьянском хозяйстве тачку. Он погрузил на нее кузнечные, слесарные и все прочие огородные инструменты, которые так долго и надежно служили ему, и привез к дому Петра Николаевича и Февроньи Васильевны.

— Берите, — с печалью в голосе сказал Макар Трофимович. — Мне теперь все это ни к чему, а вам сгодится.

Петр Николаевич и Февронья Васильевна не стали кривить душой, вымышленно отказываться от столь дорогого подарка. Они приняли его с сердечным участием и благодарностью, хорошо понимая, что сосед их кругом прав: в городе ни кузнечные тяжелые молотки-кувалды, ни зубила-напильники, ни даже вилы, лопаты и грабли не нужны, а у них, на хуторе, они найдут себе и место, и дело.

Петр Николаевич и Февронья Васильевна пригласили Макара Трофимовича в дом, выпили с ним по рюмочке и распрощались навсегда, как нескрываемо и предвидели это за празднично-прощальным тем столом. Жив сейчас Макар Трофимович или не жив, Петр Николаевич того не знает. Письма в их захолустье, на хутор (даже если бы кто-то и вознамерился написать), уже лет десять, наверное, как не приходят. Калинов хутор, разоренный и обезлюдевший, теперь поди нигде, ни в каких бумагах не числится. Нету такого жилья-поселения! А коль нету, то и письма-телеграммы носить незачем — кто их там будет читать-перечитывать.

Тачкою Макара Трофимовича Петр Николаевич с Февроньей Васильевной пользовались и в прежние времена, как только он ее смастерил. Одалживались при всяком необходимом случае: навоз из сарая на огород вывезти (когда еще корова Зорька была), сено, накошенное на пастольнике и в заречных лугах, доставить (через реку на лодке, а потом уже на тачке) с огорода картошку, тыквы, капусту или что-либо иное, неподъемное на плечи, прикатить к дому в погреба и ямы.

Но больше всего тачка нужна была для доставки торфа. Как только новое, ретивое, беззаботное начальство, захватчики, отлучили хутор от леса, между прочим, самими же хуторянами частично и посаженным в начале тридцатых годов (в том числе и Петром Николаевичем с Февроньей Васильевной, тогда еще учениками начальной их хуторской школы), так крестьянские жители во главе с Макаром Трофимовичем разведали, что на пастольнике по окраинам и прибрежным низинкам болот можно добывать вполне пригодный для топки горючий торф. Макар Трофимович смастерил, считай, для каждого подворья специальную, согнутую под прямой угол специальную торфяную лопату-резак — и работа закипела. Петр Николаевич с Февроньей Васильевной тоже рыли себе вначале одну, а потом и вторую, и третью прямоугольную просторную ямочку неподалеку от того места, где сейчас пасется на привязи Матрена, и, подменяя друг друга, стали углубляться в них. Работа по крестьянским меркам и понятиям не такая уж и тяжелая. Лопата с выступающим на верхней грани ножом, как бы сама собой нарезает торфяные влажные кирпичики, а ты только подавай их из подземелья на

свет Божий своему напарнику, чтоб тот укладывал кирпичики высокими клетями и штабельками.

В этих клетях-штабельках торфяные кирпичики сохнут все лето, уменьшаются в размерах и сплачиваются иной раз прямо-таки до каменной твердости. Ранней осенью, упреждая затяжные дожди, торфяную добычу и разработку надо перевезти в сарай, в поветь или под какой-нибудь иной недоступный для дождя и сырости навес. И вот тут без тачки обойтись было никак нельзя. Петр Николаевич и Февронья Васильевна одалживали ее у Макара Трофимовича, ставили на кузовок-площадку плетеный из лозовых прутьев кошель и тесно укладывали в него черно-антрацитные торфяные кирпичики. Завершив укладку, они заступали в оглобельки и, куда твои волы-лошади, тянули поклажу через огород к подворью, взаимно подшучивая, кто из них коренник, а кто пристаянная лошадка. Любая, самая тяжкая работа с шуткой-прибауткой всегда спорится легче и веселее — это любому трудолюбивому крестьянину хорошо известно. А уж Петру Николаевичу с Февроньей Васильевной и подавно, потому что всякую-любую работу они всегда совершали вдвоем, в две нерасторжимые силы, с веселым разговором и подначкой, а то, глядишь, и с песней, застрельщицей которой была никогда не поддающаяся унынию Февронья Васильевна.

В летнюю и раннеосеннюю пору печку и лежанку они торфом не протапливали, не баловали их, обходясь валежником да теми лесинами-сучостоеинами, которые, несмотря на все запреты и погони наемных стражников, добывали тайком в лесу. Торф же приберегали до трескучих тридцатиградусных морозов, метелей и вьюг.

В этом году Петр Николаевич с Февроньей Васильевной тоже заготовили и перевезли торфяной добычи на дареной Макаром Трофимовичем тачке в сарай вдосталь, с запасом — до самой весны должно бы хватить, хотя Петру Николаевичу теперь это без разницы — хватит или не хватит. Потеряв Февронью Васильевну, ему лучше замерзнуть в нетопленной хате, чем сидеть-нежиться одному возле жарко горящей лежанки, зная, что Февронья Васильевна лежит в сырой мерзлой земле.

Размышляя над своей бедой-незадачей, Петр Николаевич несколько раз даже качнул туда-сюда за оглобельки тачку, стоявшую возле куриной будки, и с обидой, как будто она была в чем-то виновата перед ним, отошел в сторону. Нет, не выручит его сегодня прежде такая надежная тачка! Торф, картошку, тыквы, капусту и даже сено возить на ней можно, а вот доставить лесину из соснового бора никак не получится: и сама тачка не выдержит тяжести, и сил, чтоб в одиночку катить ее, груженую непомерным грузом, у Петра Николаевича не хватит.

Был, конечно, у него еще один выход, о котором Петр Николаевич, обследуя двор, сарай и омшаник, катая вперед-назад тачку, постоянно думал. Можно ему было в своей крайней необходимости пойти по разоренным хуторским подворьям и подпилить где-нибудь для креста дубовую подсоху или ушулу. Но Петр Николаевич тут же и останавливал себя в этом размышлении. Ну, какой из старой заскорузлой ушулы или подсохи получится крест?! Сколько ни теши ее топором, сколько ни правь шершепкою и рубанком, а все равно останется та ушула и подсоха в корявых, морщинистых рытвинах и трещинах. К тому же еще и темным-темна собой — лежать под таким крестом Февронье Васильевне будет и тяжело, и обидно. Надо, чтоб он был светлый, чистый и даже чуточку веселый, как была светла и чиста душой сама Февронья Васильевна.

Это — первое, что останавливало Петра Николаевича в его намерениях. А второе — и того горше и сострадательней: ну, как это Петр Николаевич пойдет по чужим дворам, станет брать чужое добро и имущество, окончательно разорять еще не доразоренные временем и непогодой сараи, ворота и заборы?! А вдруг возьмут да приедут какие-нибудь наследники этих домов и сараев, и что же они тогда скажут Петру Николаевичу, что подумают о нем?! «Вот, — скажут, — старый ты человек, Петр Николаевич, а тать ночной и разбойник!» Да хоть бы и не приехали, а все равно грешно и непозволительно зариться ему на чужое. Февронья Васильевна не одобрит такого поведения Петра Николаевича. Они в самые трудные дни, когда к весне, случалось, оставались без единого поленца дров и без единого торфяного кирпичика в сарае, не взяли в соседних подворьях ни самой малой щепочки. И все по той же непреложной причине — грешно и непозволительно.

Совсем измаявшись и истомившись душою, Петр Николаевич зашел в дом, присел на табурет рядом с Февроньей Васильевной и со вздохом пожаловался ей:

— Крест надо ладить, а из чего — не знаю.

— Без креста нельзя, — вздохнула и Февронья Васильевна, но ничего Петру Николаевичу не присоветовала.

Не ее это, женское, дело думать о лесинах и досках, да еще в такой прискорбный день, лежа под образами в домовинке. Тут уж все мужчина, хозяин, который пока что все ж таки на ногах, должен сам решать и определяться. А у Февроньи Васильевны сейчас совсем иные думы, совсем иные помыслы.

Петру Николаевичу стало совестно перед ней за свои жалобы и стенания. Он опять поправил-поменял свечи, приласкал понурого Назарку и вышел из дома вначале во двор, а потом и на огород, к омшанику. Под бревенчатой замшелой стеною там стояла скамейка-лавочка, на которой они с Февроньей Васильевной в вечерние предзакатные часы, когда пчелы угмоняются и уйдут на ночлег в ульи, часто любили посидеть, отдохнуть после трудового рабочего дня.

Петр Николаевич присел на лавочку и сейчас, хотя день только еще начинался, и омшаник весь был в холодной неласковой тени. Словно пытаясь согреть его, Петр Николаевич погладил ладонью и по одному, и по другому изношенному бревну, потом поглядел через забор на ворота, на островерхий, тоже бревенчатый сарай, и у него в голове промелькнула было обнадеживающая мысль: может, снять с сарая или омшаника один венец, да из него и смастерить Февронье Васильевне надмогильный крест. Но Петр Николаевич тут же и отринул, отверг эту мысль. Ни единого дубового бревнышка в сарае и в омшанике не заложено. Оба строения срублены из соснового кругляка, а стропила-кроквы из осины и ольхи. И все старое, действительно предельно изношенное, взявшееся трухой. Пока не трогаешь его — стоит, держится, а только прикоснись, сразу и рухнет. И где тогда Петру Николаевичу укрывать Матрену, гусей-кур, где хранить торф, четыре оставшиеся в его пчелином хозяйстве колоды-ульи?! Ведь пока жив Петр Николаевич и не лег рядом с Февроньей Васильевной, то вольно-неволью надо ему думать о живом: о безответной Матрене, о Назарке, о гусиной стайке, курах и пчелах, которые без его участия просто-напросто погибнут. Да и Февронья Васильевна ни за что не даст своего согласия на подобное разорение подворья, где все дорого ей и мило, где она прожила всю свою жизнь, будто в обнимку и с сараем, и с

омшаником, и с любой-всякой дощечкой на заборах, воротах и калитках. «Я под таким крестом, — обидно скажет она, — и лежать не стану».

Подумав еще минуту-другую, Петр Николаевич безраздельно принял сторону Февроньи Васильевны. Надворные постройки ни в коем случае трогать нельзя, если только он не хочет сейчас, когда им с Февроньей Васильевной осталось пребывать совместно считанные часы, рассориться с ней. Пусть стоят, как и стояли прежде, хранят каждым своим бревнышком, каждой клямочкой, крючком и пробоем память о ней. К тому же и не одолеет Петр Николаевич разобрать сарай или омшаник: одну только крышу он будет разорять неделю, не меньше, заставляя Февронью Васильевну томиться в тесной домовинке на диване.

А утро, между тем, разгоралось все ясней и ясней и таяло прямо на глазах. Солнце, обогнув омшаник, отгеснило холодную, студеную тень с отвесно рубленного в «ласточкин хвост» угла, потом с простенка и двери и, наконец, добралось до лавочки и Петра Николаевича. Оно так ярко и неожиданно брызнуло ему в лицо светло-горячими своими лучами, что Петр Николаевич невольно зажмурил глаза, а когда через секунду открыл их, то заслезившийся его взгляд упал вдруг в самый конец огорода и остановился намертво, застыл на кедровой сосне, которая росла там, на меже, упираясь острой вершиной и разгонистыми нечастыми ветвями, казалось, в самое небо. Петр Николаевич даже вздрогнул от такого прозрения. Как это он раньше, столько раз бродя по огороду и с козой Матреною в паре, и сам по себе, не подумал об этой сосне, не поглядел на нее и не прикинул в разладившемся уме, что лучшего креста для Февроньи Васильевны он ни с какого иного дерева-лесины не смастерит и не сладит.

Редко произрастающая в их местах эта кедровая сосна была очень памятна для Петра Николаевича и Февроньи Васильевны.

За речкою и сенокосным заливным лугом в детские, считай, младенческие еще годы Петра Николаевича и Февроньи Васильевны простирался, высоко взбираясь на пологий песчаный бугорок пустырь. Ничего на том безжизненном пустыре, кроме полыни, нехворочи да колючего дурнишника не росло: ни рожь, ни картошка, ни даже кормовой люпин, сколько ни удаб्रивай его навозом, сколько ни паши и не перепахивай. Одна была прибыль от пустыря, что на самой вершине его мужики из всех окрестных сел и хуторов раскопали глубокое провальное глинище и брали оттуда для необходимых хозяйственных нужд (печки класть, стены-потолки штукатурить, глинобитные полы насыпать) красную твердокаменную глину.

Беды же и неудобства полынный тот пустырь доставлял много. Суховейные ветры поднимали на нем песок, кружили вихрем и смерчем и бросали под обрыв, тесня луга и пастольники все дальше и дальше к реке.

И вот в тридцать пятом году, уже при новой, колхозной жизни, решено было посадить на пустыре укрепляющий почву и защищающий луга сосновый лес. (Никакое иное лиственное дерево там поди и расти бы не стало, иначе давно бы заняло его самосевом).

Колхозные мужики по наряду и приказанию начальства расчертили на пустыре одноконными плугами неглубокие бороздки; из лесничества, где был хороший питомник, доставили саженцы сосен (в том числе для опыта и сотни полторы редкой этой кедровой сосны) и подняли на посадку все колхозно-сельсоветское население от мала до велика. И в первую очередь, конечно, школы: начальные — хуторские и семилетние — сельские.

Сажали лес в те далекие, лишённые всяких механизмов времена вручную, специальным, только для этого и предназначенным инструментом, который назывался мечом (да, может, и до сих пор в иных непроходимых и непроезжих местах так сажают). Он и вправду напоминал меч, хотя на первый взгляд скорее походил на большой, в половину человеческого роста буравчик с ухватистой поперечной ручкой. Но внизу вместо витой змейки, непременной в любом буравчике, было отковано продолговатое мечеобразное лезвие — оттого и прозывался инструмент мечом, а не буравчиком или буром. Чуть повыше лезвия приваривался ещё коротенький отросточек-педалька, чтоб наступая на него ногою, дожимать меч на всю глубину, если с размаха и удара он её не достигнет.

Работали на посадке мечом два человека — пара. Тот, кто посильнее и покрепче — меченосец, а кто послабее — подсобник его, который вставляет в пробитую мечом щель саженец.

Без всякого взаимного стремления и просьбы Петра и Февроньи случилось так, что учительница начальной хуторской школы поставила их в одной паре. Петр к тому времени уже заканчивал четвертый класс (по крестьянским меркам вполне взрослый человек, работник), а Февронья только второй, но все равно вместе с отцом и матерью была на посадках. Деревенские дети к работе привыкают рано, и не ради трудового воспитания, как любят о том твердить в газетах, по радио и телевидению, а ради строгой необходимости: весной, при посевной страде картофель в лунки бросать, летом — цыплят, кур, гусей стеречь, ягоды-грибы собирать, щавель в лугах выщипывать, зимой — за младшими своими братьями-сестрами приглядывать, да мало ли еще какой работы по детским силам и умению в доме найдется.

Петр Николаевич до сих пор помнит, как они трудились с Февроньей на посадках. Заслуженно гордясь тем, что ему доверили меч, Петр с хорошего разгона ударял им в песчаную землю, пробивая её без всякого довода педалькой-заступом на всю длину лезвия, отжимал на себя и терпеливо ждал, пока маленькая Февронья вставит в щелочку саженец, предварительно расправив на нем тоненькие темно-бурые корешки. Когда же она справлялась со своей задачей, Петр крепко-накрепко прижимал саженец мечом к задней земляной стенке.

Неразглаголю трудились они на пустыре вместе и наравне со взрослыми, наверно, недели полторы. А в завершающий день, на самом завершающем рядке вдруг обнаружилось, что у Петра с Февроньей осталась в запасе одна кедровая, совсем квелая на вид, с оборванными корешками сосенка, которую просто-напросто можно было выбросить, потому что она вряд ли примется и выживет. Но Петр с Февроньей попросили её у лесничего, руководившего посадками, себе.

Дома они вначале хотели посадить сосенку в палисаднике у Петра, но его родители, посоветовавшись между собой и с соседями, указали им иное место — в конце огорода, на меже. Оно и вправду в палисаднике сосна обнаружилась бы совсем лишней. Там и без неё было уже тесно: росли береза, две вишни и куст боярышника, а понизу многолетние и однолетние цветы — петушки, мята, любисток, «анютины глазки», матиолы и разных сортов гвоздики. Петр с Февроньей послушались родителей, вняли их советам и, вырыв глубокую ямочку обыкновенной лопатой, посадили сосенку в конце огорода на высокой меже, как бы сразу на две усадьбы — свою и соседскую. По малому детскому возрасту и уму они не заметили, что родители, давая позволение на посадку дикорастущей со-

сны на огороде, где она тоже не к месту (будет давать тень на картофель, рожь и даже на грядки, мешать оголенными выступающими поверх земли корнями при пахоте), не очень-то и верили, что полуживой саженец примется и пойдет в рост.

А он, к немалому их удивлению, принялся. Не мог не приняться, потому что Петр с Февроньей едва ли не ежедневно поливали его водой, выпалывали каждую постороннюю травинку-соринку, подкармливали разведенным в ведре навозом, гоняли ворон, которые по злобному своему вороньему характеру норовили выдернуть саженец с корнями и унести неведомо куда.

Одиночная, ни с какой стороны не теснимая лесными собратьями сосна должна была вырасти искривленной в стволе, с широкой сучковатой кроной. А она выросла прямой и гонкой, с чуть продолговатыми по сравнению с обыкновенной сосной иголками, с почти кедровыми шишками и, главное, много крепче любых-иных сосен древесиной. Из таких сосен в старые времена на кораблях-парусниках воздвигали мачту, а в деревнях мужики ладили станovou опору на ветряных мельницах.

Особенно любил сосну Коля. Когда он подростом, поднялся до семи-восьмилетнего возраста, то, будто какая белка, взбирался на нее и таился там, играя в свои детские игры и забавы, иногда целыми днями.

Петру Николаевичу сосна тоже сослужила добрую службу. Когда Коля учился уже в школе-интернате в Новых Боровичах, они во время летних его каникул занесли на нее боровую колоду-улей и пересадили туда пчелиный рой. Пчелам новое уединенное место жительства очень понравилось, они быстро освоили его, стали трудиться с удвоенной силой, принося медовую взятку с дальних заречных лугов и цветочных полей, и та взятка, тот мед по общему семейному мнению Петра Николаевича, Февроньи Васильевны и Коли был много слаще и целебней всякого иного, обыкновенного, который другие пчелиные артели брали в окрестных садах, в липовых рощах и даже на гречишных плантациях.

Февронья Васильевна кедровую сосну-красавицу почитала, как родную сестру. В дни крестьянской земельной страды на огороде, в грядках или на торфяных копах, она любила передохнуть в ее тени, попить молока-кваса, послушать, как гудят-роются вокруг колоды беспокойные трудолюбивые пчелы. На Троицу возле сосны Февронья Васильевна жарила обязательную в этот день яичницу, ставила самовар на смоляных жарко горящих шишках — и не было у них в семье веселей и отрадней праздника, чем этот праздник Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа.

Когда Коля погиб, праздник, конечно, стал совсем иным: не столько праздник, сколько поминовение, молитва и неудержимые слезы по так рано и несправедливо покинувшему их сыне. Сосна в эти минуты затихала и, казалось, тоже оплакивала вместе с Петром Николаевичем и Февроньей Васильевной Колю, вспоминала его то совсем еще маленьким мальчиком, таящимся в ветвях, то учеником-юношей, любившим читать подле нее умные, значительные книги и назначать первые свои робкие свидания-встречи с ровесниками.

Никогда, ни разу в жизни, не задумывались ни Петр Николаевич, ни Февронья Васильевна, как обойдется жизнь с сосной: станет она корабельной парусной мачтой, мельничной поставой или продольной несущей матицей во вновь построенном доме. Все это должно было случиться много позже их земного пребывания, потому что деревьям, и особенно таким, как посаженная Петром Николаевичем и Февроньей Васильевной кедро-

вая сосна, отведен жизненный срок гораздо длиннее человеческого. Не думала об этом, наверное, и сама сосна. Росла себе, набиралась древесной крепости, пахучей смолы-живицы, величаво шумела навстречу высокому небу и высокому солнцу ветвями-короной, давала приют и отдохновение птицам, медоносным пчелам, паутинкам бабьего лета, снегам, дождю и ветру.

И неожиданно-негаданно дождалась преждевременного своего часа. Не корабельной мачтой и не мельничной поставой суждено ей стать, а надмогильным православным крестом для Февроньи Васильевны, которая маленькой крохотной девочкой посадила ее в весеннюю плодоносную землю, поливала из ведерка ключевой водой, выпалывала все соринки-травинки, росла с ней наперегонки, а потом растила и оплакивала единственного сына.

Но иного выхода и исхода у Петра Николаевича нет: без креста похоронить Февронью Васильевну он не может, не имеет на то никакого человеческого права. Все сколько-нибудь пригодные для креста бревна Петр Николаевич изучил, все возможности обдумал и обследовал — и никто, и ничто, кроме заветной сосны в конце огорода, его не выручит.

Петр Николаевич поднялся с лавочки и собрал в омшанике для предстоящей губительной работы необходимый инструмент: топор, долото, длинный шест, которым прежде снимал в саду с плодоносных деревьев яблоки и груши, и пилу. Вначале он хотел взять двуручную, широкую в полотне, хорошо разведенную и наточенную пилу, которой они вдвоем с Февроньей Васильевной пилили на устойчивых «козлах» дрова. Но потом Петр Николаевич отложил ее в сторону — один, без подмоги Февроньи Васильевны, он с двуручной звонкой пилой не справится. В сырой древесине ее заклинит, и тогда, хоть плачь, работа остановится и замрет. Вместо двуручной, рассчитанной на двойную силу пилы Петр Николаевич взял совсем иную — одноручную, легкую и подвижную в работе — лучковую. Правда, не столярную, будто струна натянутую конопляной веревочкой на деревянной основе-лучине, а дровопилную, вставленную в согнутую полукругом железную раму — трубу трех четвертей толщины. Эту пилу Петр Николаевич однажды купил по случаю в городском хозяйственном магазине. Ею можно было в одиночку, не привлекая всякий раз Февронью Васильевну к «козлам» на заготовку дров (мало ли у нее своих, женских, дел!), пилить сухостоины, тайно и запретно привезенные из лесу на тачке.

Начал свой путь от омшаника и дворовых ворот к сосне Петр Николаевич широким, разгонистым шагом, намереваясь как можно скорее приступить к делу: солнце уже совсем поднялось над домом, садом и огородом, и словно подталкивало Петра Николаевича в спину остро-колючими своими лучами. Но чем ближе он подходил к сосне, тем шаг его становился все короче и короче. Несколько раз Петр Николаевич вообще едва не повернул назад: так тяжело было ему смотреть на сосну, не знающей еще своей участи.

А она действительно не знала ее и не ведала. Подставив золотисто-коричневый ствол и зеленую, усыпанную прозрачными искринками утренней росы, крону солнцу и небу, она радовалась жизни, легко удерживала в ветвях налетавший из-за реки ветер, слушала, как гомонят, кружа над ней галки, как трепещет, зацепившись за кору, паутинка позднего бабьего лета.

Но как только Петр Николаевич подошел к сосне и положил на зем-

лю инструменты, она сразу затихла — и все поняла. Сосна лишь отпустила от себя ветер, птиц и паутинку, прощально взглянула в синее без единого облачка небо и будто сказала Петру Николаевичу, унимая весь разлад и горечь в его душе: «Что там и говорить, любому дереву, выросшему на родимой земле под ярким солнцем, заманчиво стать и мачтой на корабле-паруснике, и надежной опорой мельничных жерновов и крыльев, и матицей в построенном для семейной счастливой жизни доме, на которой вскоре будет висеть детская колыбель-колыска, но нет желанней судьбы и участи, чем стать православным крестом на православной могиле».

Готовясь к работе, Петр Николаевич встал перед сосной на колени, но долго еще не брался ни за пилу, ни за топор, то боялся, что не справится с неподъемной этой для его стариковских рук работой, но никак не мог отрешиться от послышавшихся ему молитвенных слов сосны.

Но вот солнце, словно тоже преклоняя колени, блеснуло горячим неуловимым зайчиком на полотне пилы и лезвии топора, и Петр Николаевич, выверив взглядом, куда, в какую сторону, лучше всего падать сосне, чтоб она не задела, не повредила зелены, взялся за инструмент. С наклонной, падающей, стороны он у самого корневища сделал на сосне вначале пилой подрез глубиной в пять-семь сантиметров, а потом нанес по нему угловую насечку топором. Без этого предварительного пропила и подсечки никак нельзя, когда имеешь дело с деревом такой толщины и размаха. Если начнешь его пилить только с одной стороны, надеясь пройти весь ствол насквозь, то едва ли не на половине дороги дерево станет клониться, падать — ствол расчухнется не меньше, как на полметра, и самая толстая его и крепкая часть — комель — будет годна разве что только на дрова. А Петру Николаевичу в его печальном замысле как раз комель больше всего и необходим. Став основанием креста, он должен был уйти в могильную сырую землю и несокрушимо стоять там долгие годы. Поэтому Петр Николаевич и пилил сосну по всем лесорубным, выверенным с незапамятных времен правилам.

Когда упреждающий пропил и топорная насечка были готовы, он, сидя прямо на земле, минут пять-десять передохнул, унял, успокоил ходящим ходившее сердце (нет, все-таки уже не по годам и возможностям Петра Николаевича была лесорубная эта страда!), смахнул шапкою со лба пот и перекинул пилу на другую сторону ствола, на ладонь повыше упреждающего пропила и затеса.

Хорошо разведенная и хорошо наточенная пила легко подрезала слоистую темно-бурую (местами почти черную) кору, но когда вошла в живую мякоть сосны, то пронзительно-остро завизжала, будто заплакала. А ведь дома, на заготовке дров она, бывало, прямо-таки пела и выпевала от малейшего прикосновения к ней, чему Петр Николаевич нескрываяемо радовался, молодел душою и телом, чувствуя в руках добрую мужскую силу.

Но то дома, на дровопилных «козлах», где каждое отнятое полешко должно было пойти в печь или в лежанку для сотворения животворящего огня, без которого жизнь человеческая невозможна. А здесь работа была совсем иная — и пила не пела, не выпевала удалую свою песню, а надсадно, навзрыд плакала вместе с Петром Николаевичем.

Каждый потяг давался ему с великим трудом и изнеможением, словно был последним, и другого уже не будет: Петр Николаевич упадет на холодную, усеянную опилками землю и никогда больше не поднимется.

Но он находил в себе силы и на другой, и на третий, и на четвертый потяг, заставлял и сердце, и дыхание, и руки работать в едином слаженном движении. Давал, правда, передышку и болезненно-горячей пиле, и себе Петр Николаевич часто. Пока пила, исходившая соком-живицей, будто и вправду слезами, остывала, он, не поднимаясь с коленей, прислонялся головой к стволу сосны и жадно, всей грудью, вдыхал осенний, возвращающий ему силы и жизнь, воздух.

Когда пила вошла в ствол на три-четыре полотна, Петр Николаевич вырубил из щепок несколько клинышков и стал загонять их в пропилен, облегчая пиле ход — тоже прием известный и необходимый.

В минуты успокоительного отдыха и колдовства над клинышками Петр Николаевич — нет-нет — да и поглядывал на сосну от корневища до недосыгаемой высокой вершины. Она смотрела на него ответно, но делала вид, что не замечает, чем он там занят внизу, возле самой земли. Петр Николаевич не верил этому нарочитому ее обману (лишь бы только не расстраивать и так донельзя расстроенного лесоруба). Все сосна понимала и все чувствовала: ствол ее, когда Петр Николаевич прикладывал к нему голову, уже не гудел, как прежде, могучим набатным гудением, не звенел туго натянутой струной на ветру, а мелко вздрагивал и, казалось, с трудом сдерживал стон и крик; тоненькие ветки тоже вздрагивали, и от этого дрожания на землю до срока падали зеленые спаренные лапки иголок и тяжелые шишки. От удара шишки иногда раскрывались, и из них вылуцивались на стерню темно-коричневые, похожие на лепестки какого-то неведомого цветка зернышки.

Отдавая все силы и все дыхание работе, Петр Николаевич пилил неподатливую сосну, наверное, часа полтора. Но вот оба пропила: и внешний, и внутренний, приподнятый над ним на ладонь, сошлись. Петр Николаевич поспешно вынул и отбросил на пожухлую между пила, чтоб ее не заклинило и не порвало во время падения сосны.

Но сосна падать не торопилась. Уже отделенная от вскормившей ее земли, от корней, она несколько мгновений еще удерживалась на пропиленном насквозь основании, словно высокая поминальная свеча перед образами. Боясь, что сосна сейчас крутанется вокруг своей оси (такое случалось на лесных порубках — и не раз) и упадет, несмотря на все предосторожности и ухищрения Петра Николаевича, на зелень, он подтолкнул ее шестом — и будто задул ярко горящее на ее вершине пламя. Сосна подчинилась толчку шеста и стала падать на порыжевшую стерню, куда Петр Николаевич и спрямлял ее. Но самого падения сосны он не видел. Как только она пошатнулась вершиной и погасила пламя, он закрыл глаза, и так, в непроглядной темноте и онемении, одиноко стоял посредине тоже черного и немного поля. Петру Николаевичу показалось, что сосна падала нескончаемо долго, целую вечность, пружиня и удерживаясь на воздухе золотисто-шершавым своим стволом и зеленой живой еще кроной. Но вот раздался глухой, похожий на разрыв снаряда, удар, затрещали ветки и сучья — на Петра Николаевича дохнуло порывом хвойного ветра; он прямо в лицо бросил ему взвихренные опилки, смешанные с землей, кусочками коры, шишками и иголками, словно хотел в кровь рассечь и без того уже рассеченное глубокими старческими морщинами лицо. Петр Николаевич, отбиваясь от земляной наледи, вихря и сечи ладонью, открыл глаза, чтоб взглянуть на поверженную и навсегда успокоившуюся сосну. Но увидел он вначале не ее, а пугающе-опустошенный прогал, который обра-

зовался на том месте, где она всего еще минуту тому назад стояла. В этом прогале и пустоте открылся Петру Николаевичу прежде невидимый, заслоняемый сосною речной берег, и сама река, и раскинувшиеся за ней заливные осенние луга, но все они показались ему могильно темными, лишенными света и жизни. И темнее всего частичка неба, которого всегда касалась своею раскидистой вечнозеленой кроной сосна. Теперь же там с несмолкаемым криком и граем кружилась лишь вспугнутая падением стая ворон и галок. Широким накатом птицы то опускались и припадали к самой земле, словно не веря, что дававшая им кров и приют сосна лежит теперь безжизненная, распластавшись на земле, то поднимались кругами все выше и выше в небо, образуя там черную провальную дыру.

* * *

Долго, с тяжело опущенными руками и согбенной спиной, сидел Петр Николаевич на поверженной сосне, не приступая к дальнейшей работе. Но солнце неудержимо поднималось по небу вверх, золотило огнем и светом почудившуюся ему черную дыру, и Петр Николаевич, глядя на него, заставил, принудил себя подняться. Сейчас для скорби и печали нет у него ни единого лишнего мгновения, секунды и минуты — надо заниматься делом, трудом, изготовлять для Февроньи Васильевны надмогильный крест, пока солнце совсем не закатилось и не погасло в западной ночной стороне.

Метром-складеньком он отмерил на сосне, начиная от покрытого бугристой корой комля и завершая первыми золотинками коры чешуйчатогладкой и тонкой два с половиной метра древесины, из которой предстояло ладить продольное несущее основание креста, а потом еще по одному метру на поперечины, прямую и косую. По правилам или не по правилам, но так уж заведено в народе, что крест для нашедшего земное успокоение человека делается с прикидкой на его рост. Высокому крупному человеку и крест ставят высокий, а маленькому — маленький, чтоб не тяжело было держать его. Февронья Васильевна статью и красотой вышла необыкновенной, а вот ростом не взяла, по плечо только Петру Николаевичу. Поэтому и крест он ей решил сделать соразмерный. На основание, которое утвердится в могильной земле, Петр Николаевич пустил восемьдесят сантиметров, а все остальное уже собственно на крест, не больно высокий, но и не малый.

Не давая себе больше никакой передышки, он тут же взялся за пилу и занес уже было ее над отметиной-чертой, радуясь, что комель при падении не распахнулся и не расслоился (все-таки предосторожности Петра Николаевича, подрез и подруб, оказались не лишними), но только прикоснувшись к древесине, остановил ее. По стволу сосны вниз и вверх сновали встревоженные ее крушением юркие худенько-мускулистые муравьи. Долгие годы она была для них, считай, родным домом, надежно укрывала устроенный под ее корнями, на меже муравейник. Весь громадный ее ствол, от этих корней и до самой мелкой иголки на вершине, был муравьями обследован и изучен, по нему они проложили, протоптали бесчисленные пешеходные тропинки и лабиринты, с потайными убежищами в ямочках на месте выпавших сучков. Здесь всегда кипела муравьиная веселая жизнь. Молодые мураши-муравьята делали по сосновому стволу первые свои самостоятельные шаги-вылазки, взрослые, строго

распределившись по ролям и обязанностям (тут уж они во всем подобны старшим своим собратьям — пчелам), с утра до ночи трудились, добывали на сосне и строительный материал, и корм, который после несли в земляной дом-муравейник.

И вот сосна с обломанными ветками и сучьями, потеряв высоту, бездыханно лежит на стерне, и как же муравьям не волноваться, не тревожиться об этой невосполнимой потере.

— Что делать, дорогие мои?! — только и нашелся, что сказать им Петр Николаевич. — Все мы под Богом.

Он повременил еще недолгую минуту-другую, а потом — куда ж деваться — перекрыл муравьям полотном пилы дорогу и, внимательно следя, чтоб какой-нибудь их них не попал под зубья и не поранился, начал пилить сырую, плохо податливую древесину.

Точно так же, с предосторожностями и досмотром, открывал Петр Николаевич и две метровой длины поперечины креста.

Обрабатывать, тесать топором, строгать шершепкою и рубанком и основание, и обе-две поперечины лучше всего, конечно, было бы во дворе, возле дома или хотя бы возле омшаника, чтоб время от времени проводить Февронью Васильевну, которая поди уже соскучилась лежать одна в нахолодавшем доме, хранимая лишь безмолвным Назаркой. Доставить метровые поперечины к дому на тачке Петр Николаевич мог без особого даже напряжения — весу в них не так уж и много, не больше, чем в хорошей вязанке дров-сушняка, который он не раз возил из лесу в одиночку, когда Февронья Васильевна была занята какими-либо своими неотложными делами. Но кряж в два с половиной метра он не только что довести, но даже погрузить его на тачку не осилит. Зимой на дубовых санях, может, и довед бы, а по осенней мокрой земле, по нетореной стерне — и думать нечего.

На всякий случай Петр Николаевич все же колыхнул колоду-кряж вначале ногой, а потом, низко согнувшись в пояснице, двумя руками и всей грудью, но кряж подался лишь чуть-чуть, и Петр Николаевич окончательно удостоверился, что везти его к дому у него никакой силы-возможности нет: не выдержит ни он сам, ни тачка. Петр Николаевич опять со вздохом посетовал на Февронью Васильевну: ну что было бы ей потерпеть до зимы, до первого хотя бы снега и мороза, когда можно было бы натереть санный накатанный путь. Вины, понятно, в этом ее никакой нету. Вся вина на Петре Николаевиче, что не уберег он Февронью Васильевну. Но могла бы и превозмочь его недосмотр — ведь она всегда была такой терпеливой и стойкой в жизни. Теперь же у Петра Николаевича единый выход — отесать и основание креста, и поперечины здесь, на месте, где сосна выросла и где упала на землю под безжалостным топором и пилою, а после на тачке ли, на чурочках ли катках, старым дедовским способом катить-кантовать их к дому.

Петр Николаевич сходил в омшаник за шнуром и кусочком мела, чтоб отбить на деревинах под отес черту. Он хотел было заглянуть ненадолго в дом, чтоб все ж таки проведать Февронью Васильевну, но потом сдержался, остановил себя. Ни к чему ее сейчас тревожить по мелочам, отвлекать повестями о своих неладах. Вот, когда смастерит крест, тогда все и поведает. Хотя насчет сосны лучше, наверное, умолчать и утаиться. Февронья Васильевна, если только узнает, из какого материала приготовил он ей крест, расстроится, разволнуется не на шутку и в сердцах, со слезами

на глазах, скажет: «Лучше бы я без креста лежала, чем губить под него такое дерево».

Так-то оно, конечно, так, но ведь прежде говорила-жалилась: «Без креста нельзя!» И те изначальные ее слова — самые верные и непрекословные. Согласно им Петр Николаевич и поступил, согласно им сосна добровольно и упала на землю, посчитав для себя за великую честь стать православным надмогильным крестом и оборонять, сколько хватит сил, Февронью Васильевну от земных бед и несчастий.

Будто какой настоящий плотник-домостроитель, Петр Николаевич прикинул складеньком по верхнему отпилу древесины, на сколько сантиметров надо ее тесать, чтоб она ровным-ровненько сошлась в четыре грани. Вышло, что на восемнадцать. Если срубить стены в доме такой толщины, то было бы как раз в меру: зимой они бы хорошо удерживали (да если еще оштукатуренные изнутри глиною) тепло, а летом сохраняли бы прохладу.

Тесовая плотницкая работа была нелегкой: ломило и спину, и руки, а тут еще и слезы, должно быть, от ветра и холода, накатывались Петру Николаевичу на глаза, застили их, и он то заваливал протес, то, наоборот, недобирал его сверху по черте. Для серьезного плотника эти просчеты, конечно, постыдные и недопустимые, а для Петра Николаевича, по его неумению, может, и простительные. После он поправит, подравняет грани шершепкою и рубанком, и они точно сойдутся в прямой отвесный угол.

Комель древесины, которому надлежало уйти в землю, Петр Николаевич тесать не стал, а лишь снял с него многослойную черно-вороньего цвета кору (под корой древесина, да еще сосновая, к земле и сырости непрочная, подгниет много быстрее, чем чистая, ошкуренная), и работой своей остался почти что доволен: протесанная и ошкуренная основа креста первозданно белела и сверкала на солнце проступавшими янтарно-изумрудными капельками смолы.

Поперечины дались Петру Николаевичу уже с меньшим трудом. Протесал он их, поставив «на попа», чему подлинный плотник поди и посмеялся бы — он и малые эти, метровые колодочки тесал бы на земле, для верности прихватив скобой к подложенному бревну или обрезку доски. Но Петру Николаевичу, опять-таки, по непрочному своему навыку, сподручней было тесать поперечины «на попа», и он, как мог, справился с ним, ничуть не убоившись насмешек истинных мастеров-плотников.

Завершив предварительную тесовую работу, Петр Николаевич повторно колыхнул основу креста и поперечины, и они, потеряв в щепе добрую треть веса, уже гораздо легче поддались ему. Петр Николаевич стряхнул рукавом телогрейки и шапкою со лба пот, а с глаз слезы-помутнение и пошел к дому за тачкой. Теперь-то уж он с Божией помощью погрузит на нее облегченные эти бревна и мало-помалу доставит к омшанику, где доведет шершепкою и рубанком и соединит в неразрывное перекрестье — крест.

Работать в доме, в тепле и уюте, под присмотром Февроньи Васильевны (уж она бы подсказала все тонкости в изобретении креста: прямым его делать или косым; с наклонной кровелькой или без нее, в свободный просвет) было бы куда как утешительней. Но коль решил Петр Николаевич не выдавать Февронье Васильевне сокровенную свою тайну насчет сосны, то надо и дальше держать зарок прочно.

Впрягшись в оглобелки пустой тачки, Петр Николаевич прикатил ее в конец огорода без единой остановки. Теперь чего уж медлить и сомневаться: сосна свалена, раскряжевана, и никакого возврата назад нету. Первым заходом он решил грузить опору креста, хорошо зная неукоснительный закон в любой работе: вначале сделай самую тяжкую ее часть, а потом уж берись за ту, что полегче.

В молодые годы, когда в руках и в спине была у Петра Николаевича мужская крепость, погрузить всего двух с половиной метровое, да еще и отесанное, бревно хоть на телегу, хоть на тачку, ему особого труда не составляло. Нисколько не задумываясь над тем, за что хвататься сперва — за комель или за вершину — Петр Николаевич в считанные минуты, где на подъеме, а где на перекат взметнул бы бревнышко на тачку-телегу, как пушинку. Но нынче эта пушинка будто налилась свинцом, и Петр Николаевич долго измышлял, как приступить к ней. Если бы у него была телега, а не двухколесная, вовсе не предназначенная для перевозки бревен тачка, он бы занес на ее задок вершину, а потом, придавив всем телом, заважил, и толстый комель сам собой оказался бы в кузовке. Но у Петра Николаевича имелась только дареная Макаром Трофимовичем тачка. Была она хотя и на железном ходу и резиновых толстых колесах, а все равно утлая и малонадежная в нынешнем предприятии Петра Николаевича. Заважить на нее бревно никак не получится: игрушечная, почти детская тачечка перекувырнется вместе с ним, да еще, чего доброго, и сломается, и тогда уж точно придется кантовать опору креста к омшанику на катках, а это, считай, до самого вечера.

Он попробовал было поступить по-иному: занести вначале на тачку комель, но смог лишь едва-едва оторвать его от земли — и бросил, боясь, что надорвется под его тяжестью, надломит и без того надломленную спину. Отлеживаться, поправляться на печке, как это случалось при Февронье Васильевне, ему теперь не за кем. Да и времени в запасе никакого нету: завтра Февронью Васильевну предстоит хоронить, а у Петра Николаевича еще и крест не готов, и могила не выкопана. Земляная, могильная работа сил тоже потребует немалых, и Петру Николаевичу надо беречь их и сохранять.

Поразмыслив над своей незадачей еще немного, он решил взять опору креста не силою, а умом и сноровкою. Не зря говорится: «Голь на выдумки хитра». Петр Николаевич причалил тачку к опоре вплотную, поднял ее в наклон за колесо и подпер в таком положении с обратной стороны двумя поперечинами. Потом он подсунул под опору шест и начал мало-помалу заваживать им ее и накатывать на тачку. Замысел и расчет Петра Николаевича оказался верным, хотя и дался ему не с первого раза. Но все-таки дался. Когда комель на тачку чуть накатился, Петр Николаевич упал на него плашмя и придавил к кузовку. Удерживая опору всем телом, он изловчился, перехватил шест и выбил им из-под тыльной стороны поперечины. Тачка вместе с опорой и Петром Николаевичем обронилась на землю и устояла на ней, хотя и опасно скрипнула в железной оси. В повергнутом таком, распластанном виде Петр Николаевич лежал две-три минуты, переводя дух и вспоминая добрым словом Макара Трофимовича, который наделил их с Февроньей Васильевной незыблемой этой, устойчивой в любой работе тачкой.

Но долго нежиться ему не приходилось. Комель, норовя соскользнуть

обратно на стерню и прищемить-поранить Петру Николаевичу ноги, наваливался на него обратным ходом, и тут было не до передышек и воспоминаний. Не давая опоре обратного этого хода, Петр Николаевич начал мелким шажком переступать вдоль нее, поближе к вершине, и все накачивал и накачивал неотрывно прилипающую к рукам и телогрейке смолистыми отесанными боками деревину. И как она ни изворачивалась, как ни вырывалась, а все ж таки он накати ее и выровнял на тачке точно по центру. Для большей верности и прочности, чтоб опора не елозила и не шла юзом на кузовке во время движения, Петр Николаевич прихватил ее поводком, который всегда был приторочен к тачке. На радостях он не сдержался и поощрил сам себя за свершенный подвиг обыкновенным в таких случаях похвальным словом: «А ты говорил — не сдюжим! Еще как сдюжили!». Он даже сделал вокруг тачки несколько кругов (вроде, как круги почета) и лишь после этого заступил в оглобелки и покатил поклажу к омшанику. Тачка за каждым шагом постанывала и поскрипывала на бугорках и выемках, наматывала на колеса ржаную стерню, но выдерживала тяжесть и катилась все ближе и ближе к подворью.

Сгрузил опору Петр Николаевич не на землю, а на лавочку, чтоб довести там ее шершепкою и рубанком. Тачка оказалась чуть повыше низкорослой лавочки, и опора соскользнула на нее, считай, сама собой, своей тяжестью и весом. Петр Николаевич лишь прицельно подтолкнул ее туда, да после немного поправил, чтоб она лежала прямолинейно, не валяясь к стенке омшаника.

Второй ходкой он привез обе поперечины и порубочные инструменты: топор, пилу и так хорошо выручивший его шест. Над распростертым длинным, в пол-огорода, остатком поверженной сосны Петр Николаевич работать не стал. Как-нибудь потом, через неделю-другую, если уцелеет и жив будет, раскряжует ее, обрубит ветки и сучья, а сейчас пусть лежит, сохнет и покоится — Петру Николаевичу каждая дневная минуту дорога.

Поставив во дворе на место тачку, он, гонимый недостатком времени, тут же вознамерился взяться за шершепку и рубанок, но не выдержал и поднялся на крылечко дома. Теперь вроде бы можно было дать себе передышку побольше, проведать Февронью Васильевну и покормить Назарку. Сам он по-прежнему ничего ни есть, ни пить не хотел: внутри все будто запеклось и существовало без всякого его участия, совсем не требуя пищи и воды.

В дом Петр Николаевич вошел на цыпочках, как обыкновенно и входил, когда Февронья Васильевна, управившись с домашними делами, позволяла себе иной раз прилечь на полчаса-час на диване, с той лишь разницей, что лежала она сейчас не на боку, спрятав под голову руки, а навзничь, и руки ее крепко были сведены на груди. Февронья Васильевна отдыхала, а они трудились, удерживая в пальцах крестик и негасимо горящую свечу. Назарка был при Февронье Васильевне, все так же съездившись, сидел на подлокотнике.

Налив в кошачью мисочку молока, Петр Николаевич легонько звякнул ею, чтоб пригласить Назарку, но тот съезжился еще больше и с караула своего не сошел. Петр Николаевич поставил мисочку на порожке, надеясь, что Назарка учует сладкий молочный запах и все-таки сойдет. Но и это на Назарку никак не подействовало. Видно, и у него внутри тоже все запеклось и онемело.

Петр Николаевич больше неволить Назарку не решился, вернул мисочку назад и поспешил идти к омшанику — никакого отдыха тут у него

не получится, да и не нужен он Петру Николаевичу, спасение его в эти дни только в работе.

Заглядывать в горницу Петр Николаевич еще раз не был намерен, чтоб только одним этим взглядом до времени не потревожить и не разбудить так глубоко уснувшую Февронью Васильевну. И все-таки не выдержал — заглянул, но в ту же минуту и отшатнулся от неплотно прикрытой двери. Петру Николаевичу вдруг воочию почудилось, что возле Февроньи Васильевны на табурете, спиной к нему, сидит Коля, в военном, туго облегающем его плечи, мундире. Петру Николаевичу даже послышался негромкий Колин голос, который он и через столько лет после гибели сына мог бы легко различить среди сотен иных голосов, — а вслед за ним и ответный голос Февроньи Васильевны, тоже тихий и тоже такой родной в каждом звуке и выговоре. Не замечая Петра Николаевича, Февронья Васильевна и Коля о чем-то наедине беседовали друг с другом, как могут беседовать только мать с сыном после донельзя истомившей их долгой разлуки. «Коля!» — едва не обнаружил себя Петр Николаевич.

Ему не меньше, а может, и гораздо больше, чем Февронье Васильевне хотелось поговорить сейчас с сыном, услышать от него слова поддержки и утешения в неожиданно обрушившемся на их семью горе, совета и помощи во всех похоронных делах, которые Петру Николаевичу одному уже не одолеть и не сладить. Но, еще раз взглянув на Колю (и увидев его точно так, как видел лежащую со свечой и крестиком в руках Февронью Васильевну и сидящего на подлокотнике Назарку), Петр Николаевич поплотнее прикрыл дверь в горницу и вышел из дома. Раз Коля вернулся с солдатской службы цел и невредим, то Петр Николаевич сможет побеседовать с ним и попозже, вечером или ночью. А теперь пусть они с Февроньей Васильевной наговорятся наедине, без постороннего человека, хотя бы этим человеком и был он, Петр Николаевич, их отец и муж...

* * *

Опору и обе перекладины креста Петр Николаевич довел быстро. Прострогал их вначале шершепкою, потом пригладил, выровнял оставшиеся от нее канавки и бугорки рубанком. Работой своей, правда, он на этот раз остался не совсем доволен. Дровесина была сырая, свежая, и волокна на ней то и дело задирались глубокими шершавыми бороздками, которые не поддавались никакому инструменту. Сосне вообще-то полагалось бы отлежаться где-нибудь в тени, хотя бы зиму, до первого тепла, чтоб она хорошо вымерзла и просохла; смола-живица в ней окаменела бы и намертво связала волокна. Стружка тогда бы из-под шершепки и рубанка шла тоненькая и прозрачная, весело завиваясь змейками и колечками. Простроганные боковинки опоры и перекладин были бы чистыми и гладкими, без единой задоринки и выщербленного сучка. Пахла бы сосна тоже совсем по-иному: не сыростью и влагой, а только одной хвоей. Но ждать до весны и тепла у Петра Николаевича нет никакой возможности. Ведь одному только Богу известно, переживет он холодную долгую зиму или нет, да и каково будет Февронье Васильевне лежать в могиле, занесенной снегами и вьюгами, без охранного креста?! Пусть уж лучше такой, с недоделками и оплошностями, чем оставить ее под пустым завьюженным бугорком. Креста не ставят только на могиле человека, по собственной воле лишившего себя жизни. А Февронья Васильевна боролась за нее всеми силами и средствами.

Перекрестья Петр Васильевич связал удачно, нигде не ошибившись в размерах. Перекладыны с опиленными под угол краями вошли в опору, будто влитые. Для верности их надо было бы прихватить еще и гвоздями-двухсоткой. Но таких гвоздей в хозяйстве у Петра Николаевича давным-давно не было. Он вначале огорчился их недостатке, поискал с плотницкою «лапою» в руках в сарае, повети и омшанике, прошелся вдоль заборов — нельзя ли где вытащить старые, хотя душа у Петра Николаевича и не лежала использовать старые, бывшие уже в употреблении, проржавевшие под шляпкой и на обратном загибе гвозди для новой, да еще столь взыскательной постройки. Но потом, потратив на бесполезные поиски минут двадцать (заранее ведь знал, что ничего не отыщет: все гвозди, скобы и костыли, забитые в стенки, калитки-ворота и заборы, ему хорошо памятки — сам забивал и ладил их), Петр Николаевич даже обрадовался, что ничего не нашлось и не отыскалось. Ну, зачем ему гвозди, которые рано или поздно все равно проржавеют, истончатся и придут в негодность, когда перекрестье можно соединить дубовыми колышками-шипами, как в старые времена всегда и поступали деды-прадеды.

Петр Николаевич бросил в ящик с инструментами «лапу» и взамен нее взял витое плотницкое (двадцати миллиметров диаметра) сверло-буравчик на длинной ножке. Спарив на каждом перекрестье верхний и нижний углы диагональной чертой, Петр Николаевич нанес на них по две метки и осторожно, чтоб не сломать хорошо закаленный и оттого хрупкий буравчик, просверлил им четыре сквозных отверстия. Дубовые колышки-шипы у него легко нашлись. Ничуть не сожалея о том, Петр Николаевич пустил на них свой посошок, которым в последние годы, подсобляя больным, изношенным ногам, пользовался, если выпадала ему сколько-нибудь дальняя дорога, в лес или на тот берег реки, в луга. Себе он смастерит другую подпорку, липовую, березовую или рябиновую, а дубовый посошок пусть теперь послужит так же верно Февронье Васильевне, как служил Петру Николаевичу.

Подправленные до нужных размеров топором и рубанком колышки вошли в отверстия туго и плотно, выжав лишнюю влагу и сок. Конечно, когда крест высохнет, усядется, они дадут слабину, но их можно будет расклинить или заменить другими. А пока они держат перекрестья крепко и недвижимо, лучше всякого-любого гвоздя.

Без труда нашлась у Петра Николаевича и доска-двадцатка для кровельки-ската на кресте. Может, всего десять лет тому назад он заготовил ее для постройки нового улья, прострогал, отобрал «четверть», пропитал с наружной стороны олифою. Но и сухой, как звон, береженой для пчелиного производства, доски ему было тоже несколько не жаль — какие там теперь Петру Николаевичу улья, какие пчелы и медосбор?!

Он распилит ее на две равновеликие части с небольшим припуском на оба конца поперечины, чтоб доска закрывала их, не давая затекать дождевой или талой воде. Прибил дощечки, соединив их на вершине опоры в неразъемный угол, Петр Николаевич гвоздями-восьмидесяткой, которые в запасе у него были, и поставил крест в полный рост возле омшаника. Обретя двухскатную кровельку, он сразу преобразился, обрел необходимое завершение и, будто глянул Петру Николаевичу глаза в глаза. Так бывает всегда при постройке дома. Пока плотники не возведут на нем крышу, он всего лишь сруб, а с крышей, высоко поднятой на стропилах-кряквах, — уже дом, заходи в него и живи всем счастливым семейством и хозяйством.

По всем четырем краям наклонной крестовой кровельки, конечно, надо бы еще пустить резной «фартучек», как тоже всегда делалось в старину, чтоб он радовал-веселил и самого усопшего, покоящегося под крестом человека, и любого иного, временно еще живущего, который придет проведать, помянуть своего опередившего его по кончине сродственника. Но отвлекаться на это, выпиливать лобзиком фигурный «фартучек» Петру Николаевичу сейчас опять-таки некогда, по свободе как-нибудь за зиму сделает.

Занятый строительством креста, Петр Николаевич нет-нет, да и поглядывал на крылечко, ожидал, томился душой — не выйдет ли к нему Коля, не подсобит ли в работе, не поведает ли о своей беседе с Февроньей Васильевной. Но крылечко было пустынным, бесприютным, домовая дверь крепко затворенной, и Коля все не появлялся и не появлялся...

Шорхая рубанком или работая долотом, Петр Николаевич несколько раз откладывал их в сторону, смахивал с телогрейки налипшие опилки и стружки и делал шаг к воротам, к дому. Но тут же и возвращался назад, опять утешая себя надеждой, что повстречается и поговорит с Колей потом, завтра, совершив похороны — ведь не на один же день и час Коля вернулся. А нынче пусть он остается наедине с матерью: так нужнее и ей и ему.

Чтоб не тревожить Февронью Васильевну и Колю до времени, не разрушать их беседу, Петр Николаевич прибрался вокруг лавочки: щепу и стружки отнес в дровяной сарай, а опилки подмел березовым веником-метлой. Но и после этого ему показалось, что идти в дом еще рано, — Февронья Васильевна и Коля, когда потребуется, сами позовут.

Петр Николаевич присел на лавочке под крестом, будто примеряясь, каково будет лежать под ним Февронье Васильевне. Выходило, что и покойно, и нетяжко. Случись Петру Николаевичу помереть, так он тоже хотел бы, чтоб над его могилой воздвигли точно такой же православный крест, с двумя перекладинками, прямой и косой, и защитной кровелькой, правда, чуть-чуть повыше в размере — Петр Николаевич мужчина все-таки значительного роста.

Он не выдержал, повернулся к кресту, погладил его ладонью, одновременно и радуясь, что угодил Февронье Васильевне, и сокрушаясь, что крест достался не ему. Думать так, наверное, было грешно и непозволительно, но куда ж денешься — думалось. Вот если бы они с Февроньей Васильевной умерли одновременно, тогда уж точно лежали бы под одним крестом, совместно удерживая всю его тяжесть. Петр Николаевич как мужчина покрепче силою взял бы на себя большую ее часть. Но не суждено...

И вдруг Петр Николаевич обнаружил в кресте один недочет, недоделку. Изножье его надо бы хорошенько залить смолою или гудроном, чтоб в земле оно не было подвержено быстрому тлению. Дубовый, твердой древесной породы крест выстоял бы и так, а сосновый лучше всего просмолить и тем продлить его долговечность. Ведь менять крест на могиле Февроньи Васильевны через пять-десять лет будет некому.

Откладывая свой замысел Петр Николаевич не стал ни на минуту. От старых времен у него остался кусок антрацитной черной смолы, которую Петр Николаевич берег для ремонта лодки. Но и смоле ему нынче беречь не приходилось: плавать Петру Николаевичу без Февроньи Васильевны некуда, да и не за чем.

В стороне от омшаника он развел между двух кирпичей небольшой

костерок, поставил на него смоляное ведро, с застывшим в нем квачом, и принялся следить, как смола, поддаваясь огню, медленно растворяется, идет рябью и пеною. На крылечко теперь Петр Николаевич поглядывал совсем с иной мыслью: он просил Колю задержаться возле Февроньи Васильевны еще на полчаса, пока он справится со смолокурной своею работой, а то, не дай Бог, черный, тянущийся от костерка как раз ко двору дым и резкий удушливый запах проникнут сквозь приоткрытую дверь в дом, и Февронье Васильевне будет от них большое неудобство.

Коля внял настоятельным просьбам Петра Николаевича и на крылечко не вышел, да еще, кажется, и сообразил закрыть на окне форточку.

Но вот смола растворилась окончательно, закипела и поднялась пузырями до самого венчика ведра. Петр Николаевич подхватил его рукавом телогрейки и, не давая остыть, подбегом понес к омшанику. Размягнутым тряпичным квачом на длинной ручке он начал топилить засмаливать изножье креста, как прежде засмаливал лодку-плоскодонку перед весенним спуском ее на воду. Смола, соприкасаясь с сырой древесиной, шипела и брызгалась, но все-таки схватывалась и намертво прикипала к ней, заполняя самые малые поры.

На всю эту скорую, не терпящую никакого отлагательства работу у Петра Николаевича ушло минут десять, не больше, но когда он бросил квач в опустевшее ведерко, то у него едва-едва хватило силы, чтоб загажить ненужный теперь костерок.

Отбиваясь от остатков уходящего на огорода дыма, Петр Николаевич еще обследовал изножье креста: нет ли где по недосмотру проплешины, не выглядывает ли голое, не засмоленное дерево, и только после этого позволил себе опять присесть на лавочку и остудить пот. Все было вроде бы слажено прочно и осмотрительно, и крест простоит теперь над могилою Февроньи Васильевны и десять, и пятнадцать, и все двадцать лет, а дальше — что Бог даст. Надо только будет через день-другой опору креста и перекладины обнести глиною, чтоб их не порвало на жарком еще солнце. Ну, а по теплу, перед Пасхой и Радоницей Петр Николаевич покрасит крест голубенькой яркой краской (полбанки у него тоже сохранилось), как они прежде вдвоем с Февроньей Васильевной красили ограду на Кулиной могиле.

* * *

Только сейчас, когда работа была завершена, Петр Николаевич взглянул на солнце, определяя, который нынче час. Выходило, что уже далеко за полдень, часа четыре или половина пятого. Время не раннее, но еще и не вечер, не ночь, и до захода солнца Петр Николаевич мог бы наметить на кладбище и распечатать могилу. Сил у него, правда, осталось совсем мало, но и остаток этот Петру Николаевичу надо было использовать до самого доньшка, чего его беречь и хранить. Если он не пожалел для Февроньи Васильевны ни сосны, ни посошка, ни предназначенные для нового улья доски, которые могли бы сослужить еще и иную, не посмертную, службу, то зачем ему беречь себя, старого, замшелого старика. Бог за видимые и невидимые грехи Петра Николаевича наказал его не смертью, а жизнью без Февроньи Васильевны, не попустил ему лечь в одну с ней могилу, в один день и час.

Петр Николаевич поднялся с лавочки и пошел в сарай за штыковой и совковой лопатами и ломом, который в могильной страде может ему потребоваться, если земля в глубине окажется твердой и глинистой. Кро-

ме лопат и лома Петр Николаевич вынес из сарая еще и небольшую, всего на пять ступенек лесенку. Устойчивую эту лесенку он смастерил много лет тому назад специально для Февроньи Васильевны, чтоб ей сподручней было подниматься в сарае на вышки, где непослушные куры устраивали себе из соломы-обмялицы гнезда и несли там яйца. Петру Николаевичу она на кладбище тоже пригодится: как только могила уйдет в землю до пояса, так самостоятельно он, без лесенки, из нее не выберется — не та отвага и ловкость.

Весь инвентарь Петр Николаевич погрузил на тачку, покрепче подвязал поводком и заступил уже было одной ногой в оглобельки, как вдруг ему явственно послышался голос Февроньи Васильевны, которая наконец звала и кликала его к себе.

Петр Николаевич бросил тачку посреди двора и, поправляя на ходу одежду, телогрейку и брюки (Февронья Васильевна не любит, когда он глядится неопрятным), заторопился на ее зов. Входную дверь он открыл с волнением и тревогой: все, что скажет Петру Николаевичу и потребует Февронья Васильевна, он готов был исполнить сию же минуту, а вот свидания с Колей робел, как будто чувствовал перед ним какую-то свою, отцовскую, вину и не знал, как за нее оправдаться.

Но Коли в доме не было. Вернее, он был, но лишь на портрете, который висел на стене в изголовье Февроньи Васильевны. Белая же табуретка стояла возле дивана пустая, никем не занятая. Петр Николаевич, не доходя до нее нескольких шагов, застыл на порожке горницы и спросил Февронью Васильевну:

— Звала?

— Звала, — утвердительно ответила та и необидно пожурила его: — Хватит тебе на сегодня, побудь со мной.

«А где же Коля?» — хотел было спросить ее Петр Николаевич, но вовремя умолчал, чтоб понапрасну не тревожить Февронью Васильевну воспоминаниями о сыне (если надо, сама обо всем расскажет), и послушно присел на диване в ногах у Февроньи Васильевны, чуть потеснив на подлокотнике Назарку. Табурет Петр Николаевич аккуратно поправил, подравнял на половицах в надежде, что Коля вот-вот вернется (может, незаметно куда отлучился ненадолго из дома) и займет свое место возле матери.

А пока Коли не было, Петр Николаевич доложил Февронье Васильевне:

— Крест я помалу сладил. Нашлось одно бревнышко в омшанике.

О сосне же он всю правду от Февроньи Васильевны утаил, сберег в душе, хотя и сделалась ему от этого сохранения и утайки тяжело и горестно, словно свершил он какой грех, а раскаяться сил и решимости не хватает. При жизни Февроньи Васильевны никогда и ничего Петр Николаевич от нее не таил и не прятал: не было между ними так заведено, чтоб у нее свои помыслы, а у него — свои, жили одной душой и одним сердцем. Но теперь, когда Февронья Васильевна навсегда распрощалась с жизнью, не надо ее беспокоить земными суетными заботами Петра Николаевича. Узнав, из какого дерева и материала он смастерил для нее надмогильный крест, Февронья Васильевна небось огорчится и скажет ему: «Ну, вот, не успела я помереть, как ты своевольничаешь».

А может, и заплачет от обиды. Видеть же Февронью Васильевну плачущей, да еще в прощальные их часы, Петру Николаевичу никак не хотелось. Пусть она лежит с миром и покоем, а он свой тяжкий перед нею грех как-нибудь искупит.

Обман Петру Николаевичу удался: Февронья Васильевна действительно ни о чем не догадалась и сказала совсем иные слова:

— Вот и хорошо! — Но минуто спустя все-таки повторно пожурила его: — И опять весь день не евши.

— Некогда было, — попробовал оправдаться Петр Николаевич и, чтоб избежать новых упреков, принялся в очередной раз менять оплывшие, до черноты нагоревшие в фитильках свечи.

Февронья Васильевна терпеливо вынесла всю перемену, хорошо зная, что по закону и уставу лежать с малым дымным огарком не полагается — того и гляди, он погаснет, а убирать поминальные свечи еще рано, еще не время...

Когда новые свечи разгорелись до полного вытянутого вверх стойкими язычками пламени, Петр Николаевич посидел еще недолгую минуто в ногах у Февроньи Васильевны, а потом все-таки решил идти к брошенной на дворе тачке: добрых два часа в запасе у него еще есть, и могилу до темноты можно будет наметить и углубить штыка на два.

Но на кухне Петр Николаевич вспомнил насчет еды и, чтоб не дожидаться от Февроньи Васильевны лишнего напоминания, принес из сеней горшок с супом, отрезал ломтик хлеба и съел три-четыре ложки застывшего до твердости холодца навара. Насытился им Петр Николаевич или не насытился, он понять не мог, да нисколько этим и не обеспокоился.

Накрыв горшок кружочком, Петр Николаевич вернул его назад в сени и вдруг почувствовал во всем теле такую усталость и такую ломоту, что нечего было и думать о кладбище и могиле. Он не только наметит ее и пройтись хотя бы на штык-другой не сможет, но даже не доведет до кладбища тачку. Февронья Васильевна, как всегда, права — на сегодня хватит, могилу придется оставить на завтра. Даст Бог, сила у Петра Николаевича за ночь прибудет и установится.

Но во двор он все-таки вышел. Надо было пригнать с пастольника Матрену, подоить ее, почистить, а то всего за один день она набралась где-то репьяхов и колючек травы-череды. Шерсть у Матрены вся свалаялась колтунами и комьями, сережки потускнели и уныло обвисли, того и гляди, обронятся рога, и те стали какими-то иными — притупились и будто бы опрокинулись на спину. Петр Николаевич заметил весь этот недогляд за Матреной еще утром, но тогда ему было не до нее, а сейчас, ввечеру, надо привести козу в какой-никакой божеский вид — животное страдать не должно, беда у Петра Николаевича или не беда. Раньше мыла-умывала Матрену, расчесывала ей шерсть специально заведенным гребнем Февронья Васильевна. Петр Николаевич в эти их женские прихорашивания не вмешивался, а теперь, вишь, придется вникать, иначе коза совсем запаршивеет, и будет ему за это перед Февроньей Васильевной стыдно.

Потом предстояло Петру Николаевичу накормить кур, проверить на вышках гнезда, нет ли там свежих, только сегодня снесенных яиц. Гусей тоже без внимания не оставишь: придут они с луга не больно сытые (все самые лакомые для них жучки-червячки, готовясь к зиме, поди залегли на дно реки, зарылись недосыгаемо в землю), и полуголодную их стайку надо подкормить зерном, а то они всю ночь будут гоготать в загородке, тревожа Февронью Васильевну.

Неплохо бы еще проверить пчел: как они там ведут себя, перемогаются в ульях, не слишком ли взбунтовал их Петр Николаевич, весь день топчась возле омшаника. Но это уж, как получится — в темноте улья вскрывать не будешь...

По нехитрым расчетам Петра Николаевича все и вышло. До захода солнца и ранних сумерек, которые опустились на реку, пастольник и огород вместе с сизовато-лиловым туманом, он сумел справиться и с Матрeной, и с курами, и с шумливой гусиной стайкой. Когда же на небе поверх тумана вспыхнули первые, будто пробные еще звездочки, Петр Николаевич окончательно уже, на всю предстоящую ночь вернулся в дом, к Февронье Васильевне.

Он опять тщательно и прилежно вымыл лицо и руки, надел чистую рубаху, причесал волосы и лишь после всего этого приготовления вошел в горницу.

Февронья Васильевна встретила его приветливо и внимательно, как обычно и встречала после дневных работ и беспокойств, когда он появлялся на пороге.

— Устал? — с участием спросила она Петра Николаевича и сегодня.

— Устал, понятно, — честно признался он Февронье Васильевне и, по-прежнему оставляя Колину табуретку незанятой, присел на стареньком венском стуле возле обеденного стола.

В прежние дни к его возвращению на этом столе была уже расстелена белая скатерка, лежал на дощечке нарезанный мерными ломтиками хлеб, а иной раз так и стояла наполненная всклень рюмочка самогонной водки или настойки, которую, притомившись в работе, Петр Николаевич выпивал с особым удовольствием за здоровье Февроньи Васильевны. Она благодарила его за чистосердечные пожелания и тоже присаживалась рядом.

Но нынче на столе в черепадной миске стоял лишь медовый поминальный напиток — колыво. Нынче им с Февроньей Васильевной предстоял иной ужин и иная вечеря...

— Я почитаю, — открывая «Псалтырь» на заложенной страничке, спросил разрешения у Февроньи Васильевны Петр Николаевич.

— Почитай, почитай, — одобрила она его намерение и приготовилась слушать.

Петр Николаевич подвинул поближе к книге треножный светильник, зажег на нем свечи и, вооружившись очками, стал читать самый непременный и главный в поминальном бдении псалом под номером сто восемнадцать:

«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.

Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.

Они не делают беззакония, ходят путями Его».

Поначалу голос Петра Николаевича был хриплым, глухим и будто простуженным (может, действительно простыл на огороде и подле омшаника), слова скрадывались и пропадали, не долетая до Февроньи Васильевны, но вскоре голос мало-помалу выправился, окреп, и торжественно-наставительные стихи Святого Писания извлекались из уст Петра Николаевича легко и доступно, облегчая душу и ему, и Февронье Васильевне.

Несколько раз, правда, Петр Николаевич, перелистывая страничку, прерывал чтение: ему вдруг казалось, что в нетопленном доме Февронья Васильевна под тоненьким покрывалом-простыней озябла, и он обеспокоенно спрашивал ее:

— Тебе не холодно?

— Не холодно, — отвечала Февронья Васильевна, но Петр Николае-

вич не верил ей и незаметно укутывал ноги Февронье Васильевне одеялом верблюжьей утепленной шерсти.

В другой же раз и перерыв он обращался к Назарке и журил его точно так, как самого Петра Николаевича журила Февронья Васильевна:

— Целый день не евши! Одни кожа да кости остались. Хоть бы к молоку притронулся.

Назарка повинно склонял голову, но с подлокотника не сходил, а лишь чуть повыше вскидывал голову, словно торопил Петра Николаевича продолжить чтение, в котором, кто знает, может все понимал и чуял.

А в третий (и особенно продолжительный) перерыв Петр Николаевич оглянулся на пустой Колин табурет и стал упрямо бороться сам с собой: спросить у Февроньи Васильевны насчет Коли или лучше не спрашивать, не нарушать ее покой и утешение. И действительно не спросил, оставив Колину, сыновью, и Февроньи Васильевны, материнскую, тайну единственно при них. Коля и Февронья Васильевна перешли уже земную, брENNую черту, и им теперь ведомы и знаемы такие откровения и такие заповеди, которые Петру Николаевичу, пока все же находящемуся еще по эту, светлую, сторону той черты, недоступны и не открыты...

* * *

Точно так же, как и во вчерашнюю первую прощальную ночь, Петр Николаевич с Февроньей Васильевной читали и слушали «Псалтырь», «Заупокойный канон» и другие поминальные молитвы и моления по усопшему. Когда же притомились скорбеть и печалиться, то, опять-таки, с обоюдного согласия, довершили чтение заветной повести Февроньи Васильевны про Руслана и Людмилу и приступили еще к одной, тоже очень ею любимой, которую Февронья Васильевна знала почти наизусть: «Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»:

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая поднимается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

Закрыли они любимые свои книги: и Святые, Божественные, и мирские под самое утро, когда алая заря действительно уже начала просыпаться на востоке.

Погасив на треножнике свечи и поцеловав перед расставанием Февронью Васильевну, Петр Николаевич, опять не раздеваясь, забрался на печку и там бессонно перемогся до рассвета, до утренней зари, которая взошла на затянутом студеным туманом небе не алой, а какой-то тусклой и серой, как будто ей было тяжело, да и не за чем подниматься на этом небе...

Кое-как управившись с хозяйством, Петр Николаевич впрягся в тач-

ку и, часто припадая без посошка на больные ноги, медленно покати́л ее по заросшей пожухлым бурьяном хуторской улице.

Кладбище было совсем неподалеку, всего через десяток-полтора подворий от дома Петра Николаевича и Февроньи Васильевны, в березовой рощице, которая спускалась одним краем к топкому болотцу, пастольникам и реке. Но пробирался к нему Петр Николаевич, вытаптывая бурьян, долго. И пока пробирался, то все поглядывал и поглядывал на пустые, заколоченные по окнам и дверям, а часто уже и порушенные, дома, вспоминал их жильцов и жителей, своих соседей, с которыми за долгие годы столько пережито и радостей, и горестей. И вот никого из них нет, остались только пугающе-черные эти дома, с ослепшими окнами, поваленными заборами и просевшими крышами. Скоро и родительский дом Петра Николаевича станет точно таким же, будто заживо похороненным, с той лишь разницей, что окна и двери останутся в нем не заколоченными, и от этого еще более страшными, как не закрытые глаза умершего человека. Винить в этом вроде бы и некого. Но в то же время и есть. Ведь не преклалась же жизнь по всей земле, и кто-нибудь да мог бы вспомнить и об их заброшенном уголке, о Калиновом хуторе — все-таки не чужая здесь, не отчужденная земля, а частичка общего нашего Отечества, России.

На кладбище тоже царило, считай, полное запустение. Лишь Колина могила, да соседствовавшие с ней родовые могилы Петра Николаевича и Февроньи Васильевны были ухожены. Петр Николаевич с Февроньей Васильевной навещали их часто и, сколько хватало сил, берегли: поправляли кресты и оградки, сгребали опавшие листья, пропалывали сорную траву-забвение. На остальные же ближние и отдаленные кладбищенские ряды запала и мощи у них уже не доставало. В канун Радоницы, правда, Петр Николаевич, отбив косу, скашивал и сжигал в низах, возле болот, порыжевший за зиму бурьян, — вот и вся приборка. Жалко, конечно, да и совестно было им с Февроньей Васильевной глядеть на все это запустение, на проседавшие с каждой весной все ниже и ниже, скрывающиеся в земле могилы, но и спасти их они, готовые сами в любой день и час лечь в эту землю, по слабости своей не могли.

Родственники умерших в первые два-три года после похорон приезжали навестить отцов-матерей, устраивали поминки (иногда и шумные), а потом появлялись все реже и реже и, наконец, вовсе приезжать забывали. Ставить им это в вину тоже вроде бы не приходилось. Живым, как говорится, живое — одними только поминовениями существовать не будешь.

Колина могила была крайней в родовом их длинном ряду. Возле нее Петр Николаевич и остановил свою, груженную лопатами, ломом и лесенкой, тачку. Вместо креста на Колиной могиле стояла пирамидка из темного гранитного камня, увенчанная красной пятиконечной звездой. Петру Николаевичу она всегда напоминала (и равнялась с ними) солдатскую дощатую пирамидку, которых он вдоволь насмотрелся на фронтальных своих путях-дорогах. Через год после гибели Коли ее установили военные люди, тогда еще не привыкшие к частым смертям призванных в армию на защиту Отечества молодых ребят (это потом, когда пойдут афганская и одна за другой чеченские войны, они и привыкнут к ним и даже заметно притомятся похоронами). Под звездой на искусно отполированной лицевой грани была прикреплена Колина фотография в зеленой форме сержанта пограничных войск с обозначенной внизу через черточку датой коротенькой его жизни.

Появляясь на кладбище, Петр Николаевич и Февронья Васильевна первым делом всегда протирали эту фотографию, снимали с нее случайно приставшие паутинки, березовые листочки или капельки дождя и всякий раз нескрываемо плакали горячими родительскими слезами.

Не отступил от заведенного обычая Петр Николаевич и сегодня. Войдя за ограду, он протер Колину фотографию шершавой, загрубелой ладонью, погладил Колю по щеке и заплакал двойными неутолимыми слезами — за себя и за Февронью Васильевну.

Когда же глаза у него чуть просветлели, Петр Николаевич уже бесслезно и безропотно сказал Коле, как мог сказать лишь фронтовому своему, во всем равному с ним товарищу, зная, что тот поймет с полуслова его скорбь и печаль:

— Посторонись, Коля, и принимай мать.

Коля ничего Петру Николаевичу не ответил, а лишь трудно вздохнул, опять-таки, напомним ему сдержанные вздохи фронтовиков, когда им приходилось хоронить только что погибших в бою однополчан. Или, может быть, Петру Николаевичу это только послышалось, а на самом деле зашумела, вздохнула клонимая к земле налетевшим с низовых лугов ветром береза, которую когда-то Петр Николаевич и Февронья Васильевна посадили в изголовье Колиной могилы. Теперь береза была уже в самом расцвете сил, неодолимо крепкая в стволе и корнях, раскидистая гибкими ветвями, и ветер, сколько ни налетал на нее из-за реки, сколько ни клонил долу, а ничего поделать не мог — береза легко выдерживала все его наскоки и порывы. Точно таким был бы сейчас, в зрелых летах, и Коля...

* * *

Отступив от ограды Колиной могилы всего на черенок лопаты, Петр Николаевич стал размечать очертания кладбищенского вечного теперь уже поселения и дома Февроньи Васильевны. Вначале он определил его в точно таких размерах, как определял когда-то на фронте: одна штыковая лопата в ширину и две — в длину. Больше погибшему солдату и не требовалось, если только предстояло ему лечь в одиночную обособленную могилу, а не в общую — братскую. Но потом Петр Николаевич скорое свое решение переменял. И переменял его по двум настоятельным причинам. Во-первых, лежать в узенькой, похожей на полевую траншею-щель, могиле Февронье Васильевне будет тесно и бесприютно, а во-вторых, как он в одиночку, никого не призывая на помощь, опустит гроб в эту щелочку. Тут предстоит копать могилу пошире (и значительно пошире), чтоб после, поставив в нее в наклон две доски, спустить по ним гроб на сеной веревке.

Сделав новую разметку, Петр Николаевич, шаг за шагом, приступил выбирать первый, усыпанный золотисто-багряными березовыми листьями, слой. Земля досталась Февронье Васильевне мягкая, песчаная, пахнущая травами и глубоко залежными в ней кореньями. Штыковой и совковой лопатам она поддавалась легко, и минутами Петру Николаевичу казалось, что роет он вовсе не могилу, а обыкновенную просторную яму, чтоб сохранить в ней до весны картофель. Февронья Васильевна вон там, на огороде, уже разворачивает укрытые соломой и чуть-чуть присыпанные верховым грунтом бурты. Петру Николаевичу надо поспешать: погода стоит сухая, солнечная, как раз под засыпку картофеля. Они с Фев-

роньей Васильевной удачно угадали, выбрали и определили для этой завершающей полевой страды день. Но все равно поторапливаться нелишне. Осенняя погода переменчивая: вроде бы ярко сияет и лучится солнце, а через минуту, глядь, откуда ни возьмись, набежали тучи, и вот он моросящий холодный дождь — картофель опять придется укрывать соломой, прикапывать верховым грунтом и дожидаться нового ведренного дня.

Петр Николаевич стал проворней налегать на лопату, далеко на три тыльные стороны отбрасывая землю. Лицевую же сторону, обращенную к протоптанной стежке, он оставлял чистой, чтоб беспрепятственно можно было подносить к яме и засыпать в нее по наклонному дощатому желобу картофель.

Работа у него спорилась, была вовсе необременительной: сил она забирала всего чуть-чуть, а вот радости приносила много, как любая крестьянская работа, в которой, собственно, и заключается вся человеческая жизнь.

Но вот и раз, и другой далеко отброшенная земля ударилась об ограду Колиной могилы — и вся радость у Петра Николаевича сразу прошла. Нет, тут уж, обманывай себя не обманывай, но занят он сейчас иной земледельческой работой, и не картофель предстоит хранить Петру Николаевичу в вырытой яме, обозначив ее по четырем углам кочерыжками подсолнуха, а Февронью Васильевну под тяжелым сосновым крестом. Всякую прочую работу-делание можно перенести на завтра или на послезавтра, смотря по погоде и здоровью, эту же не перенесешь и не отметишь — она самая срочная в человеческой жизни и существе.

Больше Петр Николаевич не позволял себе отвлекаться на посторонние мысли, не забывался и не обманывал себя, а думал только о неотложной и неотвратимой этой работе.

Вообще-то рыть могилу близким родственникам (сыну для отца-матери, мужу для жены, брату для сестры) по обычаю и приметам не полагалось. Оно, может, и верно — будто вместе с ними и сам себя зарываешь и хоронишь. Но это при общинной многолюдной жизни, когда есть кому помочь и подсобить человеку в горе-страдании, а Петру Николаевичу — некому, и пусть Бог его простит за нарушение установленных дедами и прадедами заповедей.

Когда могила углубилась до коленей, Петр Николаевич подвинул поближе к ее краю пятиступенчатую лесенку на тот, предвиденный им еще дома случай, если вдруг понадобится выбраться наверх и передохнуть где-нибудь в стороне на осеннем ласковом солнышке.

Но предосторожности его оказались совершенно напрасными. Попеременно выбрасывая землю то штыковой, то совковой лопатами, Петр Николаевич забыл и о лесенке, и об утреннем только-только проснувшемся солнце, которое существовало как бы само по себе, отдельно от Петра Николаевича и всего померкнувшего без Февроньи Васильевны мира.

Зато ему опять вдруг вспомнилась война. И не бой-сражения, а как раз такие вот, как нынче, похоронные часы и минуты. Словно оглянувшись на все свои фронтовые дороги, Петр Николаевич воочию увидел, сколько же на них позади себя он оставил солдатских одиночных и братских могил, теперь, может, уже и безымянных, сколько вырыл их и засыпал обратно землю, сколько поспешно поставил сверху дощатых пирамидок с жестяными или фанерными звездами.

В летнюю пору на все похороны-поминки тратилось всего час-полто-

ра драгоценного военного времени. А вот если зимой, в тридцатиградусные морозы, тогда — худо. Тогда многоопытные похоронщики раскладывают посередке будущей могилы костерок, отогревают малый кружочек заколдованной земли (и сами заодно отогреваются, как могут, на том вечном еще огне), курят, ведут воспаленные разговоры о только что утихшем бое, вспоминают павших, втайне радуясь (чего уж скрывать — так оно и было), что сами пока живы. Земляной кружочек тем временем под костерком подтает, оплывет, и тут уж похоронщики не зевай, — где саперными стальными лопатками, а где ломом, который у запасливого старшины для подобного случая всегда найдется, обламывая края кострища, выбрасывая на сторону ледяные ковриги. И так иной раз до самого дна насквозь промерзлой могилы, чтоб погибшему бойцу в худенькой шинельке лежалось в ней и тепло, и не страшно.

Тяжкая это была работа, тяжелое и прощание с товарищами, которые всего какой-нибудь час тому назад так же, как и ты, думали о живом, тайком курили в рукав, дочиста опорожняли котелок, если поспевала кухня, или грызли размоченный сухарь, а теперь вот холодные, окоченевшие, в худеньких этих своих шинельках со сгустками запекшейся и замерзшей крови, теснятся в вырытой с такими трудами, выдолбленной ямочке, понапрасну надеясь там согреться и отдохнуть.

И все равно сообща, совместными, неразрывно сомкнутыми силами уцелевших в бою солдат рыть могилу и прощаться с товарищами было много легче, чем сейчас Петру Николаевичу одному, без всякой надежды на подмену и помощь. Конечно, он не сетует, надо терпеть и перемогаться, но как хорошо бы сейчас увидеть рядом с собой и передать из рук в руки лопату кому-нибудь из своих однополчан, таких надежных и в бою, и в работе, перекинуться с ними утешительным словом...

* * *

Вырыл могилу Петр Николаевич к одиннадцати часам. Получилась она широкой и просторной, будто горница-светелка. Случись Петру Николаевичу с Февроньей Васильевной, согласно повести и преданьям, действительно помереть в один день, так оба их гроба (или один — сдвоенный) встали бы на ее дне, ни с какой стороны не теснимые землей.

Штыковой лопатой Петр Николаевич выбрал с лицевой стороны могилы две канавки, в которые предстояло ему положить наклонные доски, с грустью-завистью оглядел готовый к новоселью дом-убежище Февроньи Васильевны, зачистил на стенках две-три неровности, которых прежде не заметил и, спустив лесенку, выбрался на свет Божий.

День и сегодня обещался быть светлым и ясным. Февронья Васильевна такие дни очень любила, с утра до вечера проводила их во дворе или на огороде, радуясь и беспредельному синему небу и осенней октябрьской свежести воздуха, и золотоносным краскам, разлитым по березнякам и осинникам, и все говорила и говорила Петру Николаевичу о своей радости, как будто он сам ничего не видел, не замечал и не умел радоваться:

— Ты погляди, какое ведро, какое ведро!

И вот Бог послал Февронье Васильевне и в окончании земного ее срока именно такой день, щедрый и на яркое солнце, и на безбрежное небо, и на лесную позолоту.

Лопаты и лесенку Петр Николаевич прислонил к Колиной березе, оставил на кладбище (позариться на них на одичавшем, обезлюдившем

хуторе некому, да и Коля присмотрит), а сам покатил тачку налегке к дому. В похоронных его трудах теперь предстояло самое тяжкое: надо было доставить на кладбище крест, крышку гроба — «веко», а после и гроб с истомившейся уже лежать в нем Февроньей Васильевной. В неподъемных этих трудах Петр Николаевич, опять-таки, мог надеяться не столько на свои, совсем уже ослабевшие силы, сколько на крестьянскую хитрость и ловкость, без которых никакое дело не делается, да еще на тачку Макара Трофимовича. Даст Бог, она выручит Петра Николаевича и сегодня — грешно ей не выручить его с таким грузом.

Катил он пустую громыхающую тачку по проложенному в бурьяне следу, зорко примечал и откладывал в памяти каждый бугорок и выемку, чтоб после, когда будет ехать груженым, обойти их стороною, не застрять и не опрокинуться. Кое-где Петр Николаевич приминал бурьян ногами, втаптывал его в колею, мостил мягкую, постельную гать для безвозвратного уже путешествия Февроньи Васильевны. Несколько раз его осеняла мысль, может, взять в руки косу, да прокосить окаянный этот бурьян, заполонивший такую чистую и торную в былые годы улицу (только трава-мурава да подорожник росли на ней по обочинам-обмежкам пешеходных тропинок). Но Петр Николаевич тут же и отсекся от этой мысли: ни сил, ни времени на единоборство с бурьяном у него не было.

* * *

Первой ходкою Петр Николаевич привез на кладбище крест, для верности прочно захлестнув его на кузовке тачки поводком. Далась эта ходка ему нелегко. Крест, привязанный-непривязанный, все равно сползал, клонился то в одну, то в другую сторону, а на спусках толкал запряженного в оглобелки Петра Николаевича толстым засмоленным изножьем в колени. А тут еще дыхание: совсем оно начало изменять Петру Николаевичу, прерываться и kloкотать в груди, лишая и тех малых сил, которые теплились еще в одряхлевшем теле Петра Николаевича. Он волей-неволей останавливался и, не опуская оглобелек на землю (после, того и гляди, не поднимешь), давал себе недолгую передышку, чтоб дыхание выправилося, и грудной надсадный клекот, вперемешку с кашлем, не пугал Петра Николаевича.

Сгрузил крест он в изголовье чуть взявшейся утренней росой могилы: перекрестье с кровелькой-скатом на сухую нетронутую землю, а смоляной комелек на выброшенный высоким курганом грунт, с тем дальним расчетом, что когда начнет выбирать этот грунт, так крест сам собою опустится в могилу, и Петру Николаевичу останется лишь немного приподнять и выровнять его по шнуру-отвесу...

Вторая ходка была не такой обременительной. Петр Николаевич скорым устойчивым шагом привез на тачке «веко» да плотницкий молоток, с завернутыми для сохранности в тряпицу-лоскуток гвоздями-восьмидесяткой.

На отдых, на перерыв себе после нее, он не отпустил ни единой минуты, а сразу направился назад, готовясь и душой, и телом к третьей, заглавной для них с Февроньей Васильевной дороге. Петру Николаевичу предстояло везти гроб, а Февронье Васильевне терпеть всю тяжесть и скорбь этой дороги, ни в чем не в состоянии помочь возчику.

Но прежде, чем везти гроб, Петру Николаевичу предстояло как-то изловчиться и погрузить его на причаленную к крыльцу тачку. Тут снова

надо было брать не силою, а умением и хитростью. Вынести гроб он, понятно, не вынесет — об этом и думать нечего, а вот, опустив на пол, древним дедовским способом, на катках-чурочках, помалу и выкатит. Какой-никакой опыт у Петра Николаевича есть: и десятипудовые ушулы-бревна на катках передвигал, и только что засмоленную лодку, когда еще не было у Макара Трофимовича тачки, от самого дома до реки сплавлял, и улья, поставив их рядком на дощатый поддон, перевозил через улицу, на колхозное гречишное поле. Да что там ушулы, лодка или улья: дома сплоченной крестьянской артелью передвигал Петр Николаевич с места на место. Опять же, и на войне, когда приходилось строить в обороне блиндажи и землянки, так бревна для них солдатики, по-муравьиному впрягшись в лямки, тоже тащили-кантовали на катках. Домовинка же с Февроньей Васильевной полегче будет всех этих грузов, хотя, конечно, для души и сердца Петра Николаевича она тяжелей тяжелого, и тут, главное, чтоб Февронья Васильевна вытерпела все неудобства.

Тачку Петр Николаевич причалил, пристыковал вплотную к крылечку задним ходом, а чтоб стояла она ровным-ровнехонько, точно по горизонту, подставил под оглобелки дровяные «козлы». Катки он долго и тщательно выбирал в повети из штабелька полешек. Да так и не выбрал. Одни были кривые и сучковатые, другие коротки — домовина на них запросто соскользнет во время передвижения. Тогда Петр Николаевич сходил к омшанику, взял не запрятанный еще на вышки шест и, нисколько не жалея его и не щадя, отрезал три метровые жердочки. За долгие годы службы шест руками Петра Николаевича и Февроньи Васильевны, которая часто любила сама снять с плодоносного дерева особо понравившееся ей краснобокое дозревшее яблоко или медовую грушу, был отглажен, отполирован до воскового блеска, и катки из него получились — лучше не придумаешь.

В сарае Петр Николаевич захватил еще длинную сенную веревку и, обремененный всем этим инвентарем, будто крадучись, вошел в дом. Сразу заносить инвентарь в горницу он не стал, а, стараясь не шуршать веревкою и не греметь катками, сложил их в углу на кухне.

Минута наступала в похоронном таинстве самая тревожная и угнетенная: Петру Николаевичу предстояло, как и требовал того обычай и закон, попрощаться с Февроньей Васильевной в доме.

Он замер у ее изголовья, долго и неотрывно смотрел на тихое и спокойное лицо Февроньи Васильевны и все медлил и медлил с прощальными словами, удерживал ее в доме, не в силах представить, во что он превратится без верной своей заботливой хозяйки.

Дом и сейчас уже был не таким, как всего два дня тому назад: беленые мелом стены сделались тусклыми, в двух-трех местах осыпались до глиняной штукатурки; непроветренные окна запотели, засты солнечный слабо проникающий сквозь них в горницу свет; цветы на подоконниках завяли, а лежанка, с водруженным на нее и тоже потускневшим самоваром, словно просела, придавилась к полу и вот-вот развалится. Образа на киоте, в позлащенных и посеребренных окладах, и те, казалось, потемнели строгими своими ликами. А что станет с домом завтра и послезавтра, о том Петру Николаевичу и подумать было страшно...

Но медли не медли, удерживай Петр Николаевич Февронью Васильевну в доме не удерживай, а неотвратимая пора прощания наступила. Свечи и в стакане с рожью, и в руках у Февроньи Васильевны догорели

почти до самого основания, и слабыми своими, едва мерцающими огоньками подталкивали и торопили Петра Николаевича.

Он пересилил себя, окреп душою, трижды перекрестился на образа и трижды поцеловал Февронью Васильевну в холодный лоб, на котором все до единой морщинки расправились, и он стал ясным и молодым, как в девичьи ее годы.

— Прощай, Февронья Васильевна, — сказал Петр Николаевич, не сдерживая подступивших слез. — Хороший был у нас с тобой дом.

— Хороший, — поддерживая Петра Николаевича, ответила та. — Береги его...

— Сберегу, — утвердительно пообещал Петр Николаевич, хотя на устах у него и были совсем иные слова. Ну, зачем Петру Николаевичу теперь этот дом, эти хоромы на четыре окна, зачем печь, лежанка, обеденный стол, табуретки и стулья, зачем самовар, из которого они с Февроньей Васильевной, весело соревнуясь, пили по вечерам чашка за чашкой чай с вареньем и медом (а Петр Николаевич в одиночестве и блюдецка не выпьет), зачем кухонная посуда, ухваты, треноги и чаплея, зачем все остальное убранство дома, прежде такое любимое и дорогое Петру Николаевичу, а без Февроньи Васильевны ставшее чужим и постылым. Лучше бы он похоронил вместе с Февроньей Васильевной и дом, и все до единой надворные постройки, а сам остался на юру, коль Бог не прибрал его в один день с ней и не положил рядышком в одном гробу-домовинке и в одной могиле...

— Ты об этом и думать не смей, — вдруг привела его в память Февронья Васильевна. — Дом ни в чем не повинен. Потом — у тебя хозяйство: Матрена, куры, гуси, Назарка — на кого ты их бросишь!

— Да это я так, — вытер костяшками пальцев глаза Петр Николаевич. — Нашла минута, ты не серчай.

Февронья Васильевна больше ничего не сказала, примолкла и, готовясь в дорогу, потверже укрепилась на подушке головой.

Можно уже было заносить в горницу жердочки-катки и веревку, гасить в руках у Февроньи Васильевны поминальную свечу и потихоньку спускать гроб на пол. Но Петр Николаевич вдруг вскинул просветленные, почти сухие глаза на портрет Коли и промолвил:

— Ты тоже попрощайся в доме с матерью.

Коля вздрогнул лицом, едва заметно повел плечами и начал сходить с портрета к Февронье Васильевне.

Петр Николаевич подвинул ему табурет, смахнул с него ладонью невидимую пыль, но сам в горнице не остался, а укрылся на кухне, чтоб не мешать прощанию сына с матерью, которое ни с каким иным прощанием сравниться не может...

Вслед за ним выбежал из горницы и спрятался в уголке на кухне и Назарка.

На пороге, правда, Петр Николаевич не выдержал, оглянулся и увидел, как Коля, низко склонившись к матери, целует ей щеки, глаза и лоб, падает головой на грудь, и широкие его плечи тяжело вздрагивают. Память поманила Петра Николаевича к тем дням, часам и минутам, когда Февронья Васильевна прощалась с погибшим сыном. Она точно так же, вся в испуге и слезах целовала ему щеки, глаза и лоб, падала на грудь головой и ни за что не хотела отдавать его в руки стоявшей наготове похоронной военной команде, отпускать из дому. А теперь вот не хотел отпускать ее из родительского дома Коля.

Укрывался на кухне Петр Николаевич целые полчаса, то бесцельно перебирал жердочки, то сматывал и разматывал веревку, то прижимал к себе присмирившего, покорного Назарку. Но вот полуденное солнце, обогнув дом, заглянуло в кухонное оконце и поторопило Петра Николаевича.

— Пора, Коля! — решился он все-таки войти в горницу.

Коля оторвался от матери, долгим прощальным взглядом посмотрел на Петра Николаевича, будто не узнавая его, и опять слился с висевшим на стене портретом.

— Ну, Февронья Васильевна, крепись, будем собираться, — сказал Петр Николаевич и подступился к гробу.

— Мне — что, — безропотно ответила та. — Я давно готова, ты о себе теперь думай, не надрывайся.

— Я потихоньку, — пообещал Петр Николаевич, принимая близко к сердцу заботливые ее слова.

Она и при жизни так вот всегда в первую очередь тревожилась о нем. Все лучшее — Петру Николаевичу: лучшая одежда-обувь, лучший кусочек за обедом, в работе лучшая лопата, тяпка или вилы. Сама же брала что останется, и никогда не сетовала на прохудившиеся сапоги-валенки, на ржавую затупившуюся лопату, на тяпку с обломанным по недосмотру Петра Николаевича черенком. На этот счет у них иной раз возникали объяснения и строгости. Петр Николаевич видел все малые и большие ее хитрости, но Февронья Васильевна легко обходила его протесты и несогласия.

— Ты мужчина — главный работник, — говорила она ему. — А я на подхвате. Мне и так сгодится.

Петр Николаевич уступал Февронье Васильевне, соглашался, хотя сплошь и рядом главным работником (и особенно в полевых, огородных делах) была как раз она, а Петр Николаевич состоял при ней лишь слабым подсобником.

Но теперь, на смертном одре Февронье Васильевне можно было бы уже порадеть и о себе, а она вишь не отреклась от своих привычек и тревожится опять лишь о Петре Николаевиче, чтоб он не надорвался.

* * *

Перед выносом гроба из дому, наверное, полагалось произнести какую-то отдельную напутственную молитву, но Петр Николаевич не знал — какую. Поэтому он, глядя на образа, лишь осенил себя крестным знамением и промолвил, как подсказало ему сердце:

— Господи, прими ее в Царствие Небесное. — Потом, погасив в руках Февроньи Васильевны свечу, немного постоял в молчании и сказал совсем уже мирскими, обыкновенными словами: — Кого же тогда еще и принимать, как не ее.

Гроб с дивана на пол Петр Николаевич спустил в три приема. Вначале, беря его поочередно за изголовье и изножье, переместил на два табурета, которые были все ж таки на четверть пониже дивана; потом на два ослончика-скамеечки, в размерах и того меньше, один кухонный, обиходный (Февронья Васильевна, сидя на нем, любила чистить картошку, разжигать лежанку, перебирать щавель или лущить фасоль), а другой — подойный, обретавшийся всегда во дворе, при корове Зорьке и козе Матрене. Ну, а с ослончиков, совсем уже необременительно Петр Николаевич поставил гроб на пол, загодя разложив на нем катки-жердочки.

Февронью Васильевну он обеспокоил всеми этими передвижениями самую малость. Она лишь однажды капельку сдвинулась плечом с подушки, но тут же закрепилась на ней заново и в терпении своем не поддала виду, что Петр Николаевич вольно или невольно причинил ей живую телесную боль.

Если бы не порожки, в горнице и на кухне, то гроб можно было бы, перемещая, перекладывая жердочки с изголовья в изножье, катить, встав на колени. Но на порожках, да и после на крылечке, при погрузке на тачку, его придется приподнимать, и лучше всего это сделать на веревке. Петр Николаевич дважды, в обхват гроба (чтоб не соскользнула), пропустил ее под заднюю поперечину днища, потом повязал длинную петлю и накинул, стоя лицом к Февронье Васильевне, себе на шею. Так он делал, перетаскивая и ушулы, и лодку, и улья. Во-первых, катить любой груз становой силою, хребтом много легче, чем одними только руками, а во-вторых, груз этот всегда перед тобой, ты видишь, как он движется: ровно, прямолинейно или сбивается юзом на сторону, и, если что не ладно, можешь вовремя поправить его.

Замысел Петру Николаевичу удался. Гроб с легким поскрипыванием сдвинулся с места, потом, во всем покоряясь туго натянутой веревке, покатился на катках совсем исправно, будто какая ладья, подчиненная парусному скорому ветру. Катки под поперечинками не стопорились, чего Петр Николаевич очень опасался, а прокатывались вольно, он лишь успевал менять их местами. Оба порожка Петр Николаевич тоже одолел беспрепятственно. Наматывая веревку на руки, он чуть приподнимал его и легко опускал на каток по ту сторону порожка. Февронья Васильевна, похоже, и не догадывалась об этих препятствиях.

На тачку Петр Николаевич установил гроб опять-таки без сколько-нибудь заметных осложнений, шаг за шагом, поддерживая где веревкой, а где руками и грудью, он удачно спустил его с крылечка. Принимая необычный груз, которого ей никогда еще возить не доводилось, тачка лишь чуть качнулась из стороны в сторону, скрипнула в оглобелках и замерла, будто давая Петру Николаевичу понять, что коль уж так случилось, так произошло, то она готова везти и этот груз.

Для верности Петр Николаевич начал было закреплять гроб поводом, но потом устыдился необдуманного своего решения: ну разве позволительно тут обходиться измочаленным конопляным поводом. Февронья Васильевна ничего, конечно, не скажет, но самому-то Петру Николаевичу разве не совестно.

Он вернулся назад в дом, достал из шифоньера два длинных, шитых красно-черным крестом и обрамленных зубчатым кружевом, рушника. Февронья Васильевна изготовила их еще в девичестве, до замужества и принесла в дом Петра Николаевича как самое дорогое ей приданое. По обоим рукавам рушников она вышила луговые широколистые цветы и травы, а над ними, в веночке, увенчанном короною, изобразила начальную букву своего имени «Ф», что означает — Февронья. Неброские луговые цветочки были щедрой россыпью раскинуты и по всему остальному полотну от одной короны до другой, и от этого казалось, что они летят высоко по воздуху. Февронья Васильевна очень любила и берегла их (а уж как любил Петр Николаевич — о том и говорить не приходится) и доставала из шифоньера лишь по большим праздникам: на Рождество, на Пасху и Троицу, да еще на Петров престольный в Новых Боровичах и у них на Калиновом хуторе именинный день Петра Николаевича. Рушниками

Февронья Васильевна обрамляла образа и увеличенную свадебную фотографию, на которой Петр Николаевич изображен в солдатской форме, при всех своих фронтовых орденах и медалях, а Февронья Васильевна в белом подвенечном платье, пошитом из парашютного шелка — самого дорогого тогда, припасенного еще со времен войны, материала. В доме, убранном рушниками, сразу становилось по-особому светло и чисто, как будто солнце, сойдя с неба, поселилось в нем, в Красном углу, рядом с образами, тоже окаймленное рушником.

Ни Петр Николаевич, ни Февронья Васильевна никогда не думали и не гадали, что столь дорогие и памятные им обоим рушники понадобятся не только для праздника, а и для сегодняшнего такого скорбного дня и обряда. Но от судьбы никому не уйти, будь ты человек, птица или зверь, или высоко растущее дерево, или луговая трава и цветы, или самая обыкновенная вещь, сделанная человеческими руками, не понимающая своего значения и своей жизни. Сопровождали рушники Февронью Васильевну под венец, а теперь пришел им черед сопроводить ее под сосновый могильный крест. Хотя, кто знает, может, лучшей судьбы им и не сыскать.

Одним рушником Петр Николаевич повязал гроб по груди Февроньи Васильевны, а другой — по ногам, расправил все складочки, чтоб они не давили ей тело и чтоб все шитые узорчатым крестом цветы, травы и именные венки с коронами были далеко и наглядно видимы.

Еще раз, для верности обследовав, все ли в тачке надежно и прочно, нет ли где какого неудобства Февронье Васильевне, Петр Николаевич взялся было за оглобельки, но вдруг по ту сторону задних, дворовых ворот ему послышался какой-то настойчивый стук и шебуршание. Петр Николаевич повременил с отъездом и пошел посмотреть, что там случилось, что там за стук и тревога: может, он плохо закрыл утром ворота, и они теперь бьются об ушулы, заставляя Февронью Васильевну волноваться и в эту прощальную минуту; или ветром сорвало и перевернуло копешку соломы возле омшаника, и вот она шебуршит и разлетается по всему огороду (а ведь Февронья Васильевна сколько раз говорила, чтоб Петр Николаевич укрепил ее в перекрест по вершине лозовыми плетями, да ему все некогда было, все недосуг).

Но когда Петр Николаевич распахнул одну створку ворот (все-таки ничего он утром не забыл и не запамятовал — они были прочно закрыты и заперты на крючок), то в изумлении отшатнулся к ушule. Возле ворот стояла Матрена и время от времени била в дощатую преграду то копытцем, то рогами. Позади ее волочилась опутанная луговым бурьяном и стерней веревка с железной занозой-колышком на конце. Такого прежде никогда не было, чтоб Матрена самостоятельно вытащила ее, сорвалась с привязи и до срока пришла домой. И вот — на тебе — сорвалась, пришла и требует, чтоб ее пустили на подворье.

Но еще больше удивился Петр Николаевич, когда увидел, что чуть в стороне от Матрены, тесно сплотившись за копешкой соломы, стоит гусиная стайка и тоже просится во двор. Это и совсем было неожиданно и нежданно. Ведь иной раз уже в густых сумерках, а то и вовсе в ночной темени приходилось гусей собирать на лодке и принудительно сопровождать домой — такие они пловцы и гулены. А тут до времени оставили все заповедные свои речные заводы и стремнины и вернулись на подворье по доброй воле.

— Вы чего это удумали?! — с трудом сдерживаясь, чтоб не пожурить

Матрену и гусей за самовольство, спросил Петр Николаевич, но медлить не стал и пошире распахнул ворота на обе створки.

Первой, тяжело волоча за собой веревку, процокала во двор Матрена, минуту помедлила, оглядываясь вокруг, а потом приблизилась к Февронье Васильевне и застыла в двух шагах от нее. Вслед за Матреной, не разбираясь в порядки, а сразу всей неделимой стайкой проследовали мимо Петра Николаевича гуси и тоже замерли возле крылечка и тачки с гробом.

Куры, до этого боязливо таившиеся в будке, завидя Матрену и гусей, осмелели, принялись одна за другой выпархивать сквозь узенький лаз в дверце и окружать тачку своим отдельным хороводом и выводком. Они даже не испугались Назарки, который, наблюдая за деяниями Петра Николаевича, выжидательно сидел на крылечке, и шаг за шагом приближались к хозяйке, чтоб разбудить ее петушиным пением и громким разноголосым кудахтаньем кур-несушек, как ежедневно на самой ранней заре всегда и будили.

Глядя на всех своих осиротевших сородичей по дому и двору, Петр Николаевич жалел их, как жалеют малых неразумных детей, которые в такую вот трудную минуту все чувствуют и понимают, но сказать еще ничего не умеют. Никаких утешительных слов у него для них не нашлось, но сам он вдруг утешился и окреп душою: все-таки не забыли они Февронью Васильевну, пришли попрощаться с любимой своей хозяйкой, и Петр Николаевич хоронит ее уже не один, а всем живым, Божьим миром и собором.

Давая Матрене, гусиной стайке и курам побыть с Февроньей Васильевной лишнюю, дополнительную минуту наедине, Петр Николаевич удалился к лицевым уличным воротам и намеренно долго раскрывал их.

Оставшись без присмотра, все гусиное и куриное царство, увлекая за собой пугливую Матрену и даже Назарку, приблизилось к гробу почти вплотную и вдруг одним, неразделимым голосом заготовало, закудахтало, заголосило и заплакало, как умеют плакать действительно только дети, да еще звери и птицы, предчувствуя беду или скорое расставание с родными местами перед отлетом в чужие далекие края, из которых не всем им суждено вернуться.

Сквозь этот гогот и стенания Петру Николаевичу послышалось, будто Февронья Васильевна что-то сказала своим подопечным в ответ, хорошо зная природный их язык, обычаи и повадки. Но — что, он не разобрал и не понял. Может, давала хозяйские свои строгие наставления, как дальше жить всей дворовой живности без ее женского, материнского догляда, а может, лишь попрощалась с ними да поблагодарила за уважение и память.

Выслушав ее, гуси-лебеди, куры и Матрена с Назаркой отступили, попятились в сторону, как всегда отступают во время похорон перед выносом гроба из дома и двора люди. Разница была лишь в том, что люди утешают себя слезами и молитвой, а звери и птицы держат невыплаканное свое страдание в сердце.

Ждать и медлить больше было нельзя, и Петр Николаевич, встав в оглобли лицом к Февронье Васильевне, начал потихоньку вывозить тачку со двора. Первые два-три шага он сделал с чуткой предосторожностью и оглядкой, стараясь удерживать кузовок тачки в строгом равновесии, чтоб повязанный рушниками гроб не сдвинулся ни вперед, ни назад. Но когда Петр Николаевич удачно уловил это равновесие и закрепил его не

только в памяти, а и во всем теле, то осмелел и стал делать шаги пошире и поуверенней.

Вся похоронная процессия, во главе с Назаркой, двинулась следом, вышла со двора и выстроилась за гробом. Но Петр Николаевич обратился к ней со слезной просьбой:

— Оставайтесь дома, ребята!

Конечно, в окружении домашней живности, сроднившихся с ним существ, Петру Николаевичу было бы в дороге легче, не так одиноко и тягостно на душе, но, с другой стороны, — ему хотелось тоже сейчас побыть на хуторской улице с Февроньей Васильевной наедине, чтоб никто не отвлекал его ни голосом, ни шагом, чтоб никто не мешал им с Февроньей Васильевной вспоминать, как ходили они тут, хаживали при жизни в праздничные и в будние дни — а теперь вот идут в последний раз...

Тачка по накатанной, вымощенной бурьяном дороге катилась нетяжко. Но Петр Николаевич все равно делал частые остановки, осматривал и саму тачку, все ли в ней в порядке и крепости, и гроб — не ослабли ли на нем рушники и не сдвинулся ли он с места. Заодно Петр Николаевич давал и себе небольшую передышку. Тачка, хоть и вправду легка, но с его немощными силами ее без остановок и передышек Петру Николаевичу все равно не докатить.

Пока же он отдыхал, не выпуская оглобель из рук, Февронья Васильевна оглядывалась по сторонам и будто прощалась с каждым хуторским домом.

Петр Николаевич заметил это и начал намеренно останавливаться возле каждого соседского подворья с порушенными крылечками и крышами, с заколоченными, слепыми, дверями и окнами. Прощаться тут было почти что уже и не с чем — одни только руины и запустение. Но Февронья Васильевна все равно прощалась, и не столько с погибающими домами, сколько с людьми, которые когда-то в них жили.

— Простите меня, если чем обидела, — говорила им Февронья Васильевна, как и положено говорить в час расставания. — Простите и прощайте...

— Прости и ты нас, — отвечали ей бывшие, давно умершие или разъехавшиеся из хутора соседи, незримыми тенями выходя из порушенных своих домов.

Они говорили что-то еще, но Петр Николаевич подхватывал тачку и катил ее дальше, боясь, что Февронья Васильевна чрезмерно расстроится и разволнуется от свидания с ними.

Тачка опять покачивалась в земляной, песчаной колее, подминала под себя резиновыми колесами бурьян в колдобинах, шуршала и жалобно, со стоном повизгивала.

— Как ты там? — беспокоился о Февронье Васильевне Петр Николаевич, стараясь, сколь возможно бережливее одолевать неровности и ухабы дороги.

— Все хорошо, — унимала его тревогу Февронья Васильевна. — Будто в облаках плыву.

Петр Николаевич верил ей и не верил. Дорога все ж таки была тряской, с песчаными бугорками и провалами, которых не выравнивал никакой бурьян. Петр Николаевич, удерживая равновесие тачки, чувствовал это и руками, и спиной, и особенно больными опухшими ногами, которые то и дело у него подламывались.

А Февронья Васильевна, похоже, ничего земного и бренного уже не

чувствовала, не обращала на него внимания, и ей действительно, наверное, казалось и чудилось, что она летит и плывет в облаках.

Остановок до кладбища насчиталось ровно двенадцать, как и полагаются по церковному уставу и канону. Если бы гроб сопровождал священник, диакон и певчие, то на каждой из этих остановок они бы читали необходимые молитвы, пели бы поминальные хоры, а на далекой Ново-Боровицкой церкви звонили бы колокола. Но ни священника с диаконом, ни певчих, ни колоколов не было, и Петр Николаевич, заменяя их всех, опять твердил единственную знаемую им молитву: просьбу и прошение к Господу Богу сохранить и помиловать Февронью Васильевну и принять ее, прощенную и помилованную, в Царствие Небесное...

* * *

За околицей хутора, на двенадцатой остановке Петра Николаевича догнал Назарка. Все-таки не выдержал он и, нарушив все запреты и обещания, сбежал из дома, чтоб проводить Февронью Васильевну до края могилы. Петр Николаевич ругать его не стал, а наоборот, обрадовался, что Назарка здесь, и что теперь не только во время прощания, но и во время похорон рядом с ним будет живая страдающая душа.

Назарка пристроился позади тачки, в узенькой сырой колее, и угрюмо брел, не отставая от нее ни на единый шаг. Иногда он вообще безрасчетно припадал к колесу, будто хотел остановить и замедлить его бег. Петр Николаевич посильнее налегал руками и спиной на оглобли, чтоб случайно не придавить Назарку, который, кажется, и вправду не понимал, что делает.

Так они и вошли с ним на кладбище. Петр Николаевич, стараясь как можно скорее одолеть самые трудные метры к зияющей темным провалом могиле, а Назарка, наоборот, удерживая и не пуская ее туда.

Но удерживай, не удерживая, а того, чему суждено совершиться, не остановишь. Когда тачка укрепилась в двух шагах от могилы, Петр Николаевич попросил Назарку:

— Посиди в сторонке, мне и так тяжело.

Назарка послушался, отошел к Колиной березе и сел возле белоствольного ее ствола. Но было видно, что душою он ничуть не подобрел и строго осуждает Петра Николаевича за его поспешное намерение спрятать Февронью Васильевну в глубокой, так похожей на картофельную, яме. Вину свою Петр Николаевич признавал, и будь его воля, он бы яму эту засыпал обратно, а Февронью Васильевну увез бы домой, и она там, на радость Назарке и всем остальным дворовым жителям, проснулась бы от неурочного своего долгого сна. Но воли Петра Николаевича на то не было, а была лишь одна Божия воля, которой никому еще не нарушить.

Не вступая больше с Назаркой ни в какие переговоры, Петр Николаевич обронил оглобли на землю, развязал рушники и принялся спускать гроб с тачки. Она стояла теперь в полунаклон, и гроб изножьем своим почти касался кладбищенского песка. Петр Николаевич, обхватив, обняв его по груди Февроньи Васильевны, подтолкнул до упора в кладбищенский этот сырой песок, а потом, изловчившись, начал выталкивать из-под гроба тачку ногой. Она поддалась ему не с первого раза и захода, но все же таки поддалась: колеса провернулись, подмяли под себя и один, и другой, и третий опавший, кажется, только сегодня утром листочек и, беря разгон, стала уходить под едва заметный уклон. Удержать гроб на весу Петр

Николаевич не мог, он лишь чуть срывал его с места и при каждом новом повороте колеса спускал все ниже и ниже по кузовку тачки, пока гроб и не коснулся земли изголовьем.

Несколько минут после этого Петр Николаевич обессиленно лежал на груди Февроньи Васильевны, хватал широко открытым ртом холодный осенний воздух, стараясь насытить им и унять гулко колотящееся сердце.

— Тяжко?! — опять участливо спросила его Февронья Васильевна.

— Тяжко, так тяжко, как ты и подумать не можешь, — ответил ей, ничего не скрывая и не утаивая, Петр Николаевич.

Он долго еще лежал у нее на груди, не в силах оторваться и оставить Февронью Васильевну одну. Но оставлять надо было — наступал тому неизбежный и неотвратимый час. Сняв шапку, Петр Николаевич опустил ся на колени, трижды осенил себя крестным знамением и трижды поцеловал Февронью Васильевну руки, глаза и лоб — и это было последним земным его целованием.

Теперь наступала и совсем уже горестная роковая минута — пора было закрывать гроб-домовину «веком», забивать гвоздями и опускать его в могилу. Слезы заполнили Петру Николаевичу глаза, покатались по старым морщинистым щекам, по заросшему седой щетиной подбородку и упали на белое покрывало. Чтоб не показывать их Февронье Васильевне, он поднялся с коленей и пошел к «веку», которое стояло, прислоненное к березе. Но сразу взять его Петр Николаевич не смог, а тоже припал к нему и обнял — и сколько пребывал в этом объятии не помнил и не видел — прощались ли с Февроньей Васильевной Коля и Назарка.

Вернула Петра Николаевича к похоронной работе своим шелестом береза. Она роняла ему на голову, на плечи и на заплаканное лицо багряные, уже отжившие положенный им срок листья. Петр Николаевич не стал отряхивать их, а как был в густой, будто церковной позолоте, так и понес «веко» к гробу.

Но прежде, чем закрыть им Февронью Васильевну, он еще помедлил недолгую минуту и секунду, чтоб теперь уж воистину в последний раз взглянуть на нее и навечно запомнить, а Февронье Васильевне дать коротенькое мгновение еще раз перед расставанием поглядеть на белый свет.

Но вот эти минуты, секунды и мгновения истекли, истаяли — Петр Николаевич вздрогнувшей рукой накиннул на лицо Февронье Васильевне во всем похожее на подвечную фату покрывало и опустил на домовинку пахнущее смолой-живицей «веко». Оно легло ровно, впритык, нигде не выбиваясь и не скашиваясь углами. Но Петр Николаевич все равно обследовал его со всех сторон, проверил, не прищемилась ли где белая накидка-фата или краешек подушки — Февронье Васильевне будет огорчительно, если ее домик-домовинка уйдет в землю плохо обихоженным и прибранным.

Но все было вроде бы в надлежащем порядке: нигде ни единой щелочки и даже ни единой ниточки, свисающей из-под «века», Петр Николаевич не заметил. Можно было забивать его гвоздями. По обыкновению мужики — похоронщики делают это быстро, зная, что каждый удар молотка для измученной родни покойного страшнее страшного. Но Петр Николаевич, теребя в руках молоток и лоскутик с гвоздями, все-таки и тут повременил еще секунду-другую: он сам был и похоронщиком и родней, — и дополнительная эта секунда была нужна ему для того, чтоб побороть и свой страх, и свои слезы.

Тоненьких гвоздей-восьмидесятки Петру Николаевичу предстояло забить восемь: по два в изголовье и изножье и по два на каждой из боковин. Первый гвоздь, показавшийся ему обжигающе горячим, Петр Николаевич долго прилаживал в изножье, чуть клоня на себя, чтобы тот прочно соединил «веко» с домовинкой, нигде не согнулся и не вышел наружу. Забивал гвоздь Петр Николаевич в полудара и в ползвучка, думая в первую очередь о Февронье Васильевне и втайне надеясь, что, может быть, она и не услышит их вовсе. Петр Николаевич живой человек, и то пугается этих ударов, а каково переживать их в полной темноте и затворе Февронье Васильевне.

Со вторым гвоздем Петр Николаевич справился уже повернее, но когда перешел в изголовье домовины и взялся за третий, вдруг прямо под руку ему, подавая голос, бросился Назарка.

— Ну, что ты, что ты?! — остановил его Петр Николаевич, приласкал, пригладил и даже, отложив в сторону молоток, взял на руки: — Никуда не денешься — так надо...

Назарка вроде бы успокоился, перестал жалиться и что-то выговаривать на кошачьем своем недоступном Петру Николаевичу языке. Высвободившись из плена, он сел на землю и стал неотрывно следить, как третий этот гвоздь, должно быть, где-то попав на сучок, кривясь и сгибаясь, с трудом уходит в древесину.

Остальные пять гвоздей они с Назаркой забili уже общими силами. Петр Николаевич работал, а Назарка, вздрагивая при каждом ударе, жался к его ноге, принимал часть этих звуков на себя, и они казались Петру Николаевичу уже не такими громкими и страшными.

Положив молоток и оставшиеся в лоскутике гвозди на тачку, он приладил в канавки, вырытые по брустверу могилы, две наклонные доски и взял в руки веревку. За два дня и две ночи, проведенные возле умершей Февроньи Васильевны, Петр Николаевич вроде бы подробно обдумал, как без чьей-либо подмоги и соучастия будет опускать гроб, но сейчас, когда этот момент наступил, он все-таки заробел, растерялся, не зная, с какой стороны к нему и приступить. Ошибиться и оплошать тут никак нельзя. Если гроб, не дай Бог, пойдет наперекос, а то и вовсе сорвется с веревки, чем тогда оправдается Петр Николаевич перед Февроньей Васильевной.

Но сама же Февронья Васильевна и выручила его, подсказала, как не раз, случалось, подсказывала и выручала при жизни, когда Петр Николаевич испытывал затруднения в каком-нибудь деле.

— Глаза боятся, а руки делают, — шепнула она ему издалека.

Петр Николаевич воспрянул духом, прибодрился и начал все свершать по своему замыслу и расчету. Оба конца веревки он пропустил под днище гроба, выбрал их на себя, а образовавшуюся петлю накинул на шею. Потом Петр Николаевич, поочередно приподнимая и удерживая на веревках изголовье и изножье гроба, установил его на доски и принялся легонько, сантиметр за сантиметром, опускать вниз.

Веревка на шее натянулась, больно врезалась в оголившийся позвоночник, но Петр Николаевич, сколько мог, терпел эту боль, хотя минутами ему и казалось, что он не выдержит и опрокинется вместе с гробом в могилу. У Петра Николаевича темнело в глазах, и если бы он не успевал вовремя упираться каблуками сапог в землю, то и вправду, наверное, опрокинулся бы. Но Петр Николаевич успевал, удерживался на ногах, и все ниже и ниже попускал гроб по наклонным скользким доскам. И вот, наконец, тот коснулся «веком» земляной стены и застыл в полуметре от

дна. Петр Николаевич ослабил веревку и стал высвобождать из-под него доски. Гроб постепенно выравнивался, сползал по ним, лишь кое-где обрушивая подсохшие комья песка. А когда Петр Николаевич окончательно доски распатал и вынул, он прочно и твердо лег на дно могилы. Теперь оставалось только аккуратно поправить гроб точно по ее центру и середине. Сделать это можно было все теми же досками, заведя их рычагом вдоль стены, но Петр Николаевич не решился на подобное деяние. Февронья Васильевна небось и так настрадалась во время спуска, качаясь на жесткой веревке, а тут он еще начнет толкать ее досками. Петр Николаевич отбросил ненужные ему теперь доски в сторону, приладил в могилу лесенку и спустился по ней к гробу сам.

Могила показалась ему совсем не страшной: просторной и светлой, от пробивавшегося в нее сквозь ветви березы солнца. Действительно — горенка и светелка, жаль только, что не предусмотрено в ней широкого наружного окошка. Петр Николаевич выправил гроб и опять невольно подумал о том, что вот если бы им довелось с Февроньей Васильевной лежать в одном родственном гробу, то и тогда бы места в этой могиле было с запасом и хорошим зазором по всем четырем стенам.

Он и без гроба готов был остаться здесь, но наверху опять подал голос Назарка, который во время спуска гроба-домовинки спрятался под тачку и безвылазно сидел там, то ли робел, то ли не решался мешать Петру Николаевичу. А теперь вот осмелел и зовет, требует его к себе.

Петр Николаевич внял просьбам испуганного Назарки и, с трудом одолевая ступеньку за ступенькой лесенки, выбрался из могилы. Он поднял дрожащего всего и сжавшегося в комочек Назарку на руки, прикрыл его полою телогрейки и бросил на крышку, на «веко», гроба три горсти песка.

— Пусть земля тебе будет пухом, — по обычаю и христианской вере, сказал он уже вослед, вдогонку Февронье Васильевне завершающие их жизнь слова.

Ответила она ему что или не ответила, Петр Николаевич не расслышал. Опустив на опавшие березовые листья чуть согретшегося под полой Назарку, он взял в руки совковую лопату и принялся зарывать могилу.

По фронтовому своему, да и по гражданскому немалому похоронному опыту Петр Николаевич хорошо знал, что минута эта тоже нелегкая. Ближним родственникам лучше не смотреть, как первые комья земли с глухим ударом падают на крышку гроба, прогибают ее и скатываются на сторону. Тут уж и самые сильные духом люди не выдерживают, заходятся в рыданиях и криках, а иной раз, так и вырывают у могильщиков лопаты. Понять их и простить можно. Пока гроб еще не зарыт, пока видна хотя бы крышка, «веко», покойный родной человек остается еще с ними, еще будит и теплит в них надежду, что он не умер, а просто отлучился на недолгое время и, придя домой, они застанут его живым и здоровым.

Но вот гроб скрылся под землей — и все — разделительная черта проведена: умерший уже Там, за темной этой чертой, а они здесь, при ярком свете дня; вера их и надежда на встречу с покойным тает и гаснет, они сдерживают плач и рыдания, приходят в себя и начинают осознавать и сильнее прежнего любить жизнь...

Опытным могильщикам все эти страдания доподлинно известны, и они стараются общими силами, не переводя дыхания и не щадя себя, как можно скорее засыпать гроб, сделать его сокрытым и невидимым.

Но Петр Николаевич медлил и не торопился перейти разделительную

черту, которая уже навеки разъединит его с Февроньей Васильевной. Он тоже плакал и рыдал, душа его тоже временами срывалась на такой крик, что казалось — сердце не выдержит и остановится. Петр Николаевич сквозь слезы глядел на крышку гроба, и опять, сколько было возможно, медлил, не желая расставаться с Февроньей Васильевной и обретать ненужную ему теперь жизнь.

Он вначале засыпал все зазоры между гробом и стенами могилы, потом, беря всего по пол-лопаты земли, чтобы смягчить удар, прикрыл его изножье и середину, и лишь после этого приступил к изголовью. Землю на него Петр Николаевич не бросал, а спускал далеко вниз на лопате и бережно опрокидывал на сосновые доски. Они принимали ее на себя и удерживали без малейшего прогиба — хорошие смоляные доски, под защитой которых Февронья Васильевна будет лежать, как и завещано в молитвах, с миром и упокоем.

Когда «веко» закрылось, ушло в подземную темноту, Петр Николаевич прибавил усердия в работе, рушил и обваливал песчаную насыпь без передышки, минутами даже теряя в памяти, что он и зачем закапывает. Ему вдруг начинало казаться, что никакая это не могила, а все ж таки обыкновенная яма с картошкой, которую надо зарыть на зиму как можно скорее, потому что на небе надвигается осенняя чернильно-синяя туча, и вот-вот прольется холодный обложной дождь. Тогда яму придется откапывать обратно, выбирать из нее картошку и просушивать где-нибудь в сарае, повети или в омшанике, иначе выращенный с такими трудами урожай погибнет.

Отстранился Петр Николаевич от обманной своей мысли лишь через полчаса, когда подошла пора устанавливать крест. Тут уж никакого заблуждения быть не могло. Вот она, до половины зарытая могила, и вот он, шестиконечный православный крест, засмоленный по комельку, и надо как-то исхитриться, чтоб воздвигнуть его в изголовье гроба-домовины.

Обходя крест с двух сторон, Петр Николаевич, лопата за лопатой, выбирал из-под него землю и подталкивал к краю могилы. Крест клонился в нее, сползал, но чтоб поставить его прямолинейно, во весь рост, нужно было крест приподнять за кровельку, или верхнее прямое перекрестье-перекладину и так удерживать до тех пор, пока он не засыплется и не утрамбуется землей. Петр Николаевич брался и за дощатую кровельку и за перекладину, но вынужден был с обидою в душе и сердце отступить — сил на такой подъем у него не хватало. Петр Николаевич возвращался назад к комельку и снова где совковою, а где штыковою, более острою и сподручною, лопатой вынимал из-под него землю, задевая уже под уклон и край могилы.

И вдруг Петру Николаевичу почудилось, что кто-то невидимый помогает ему: крест коснулся комельком могильной земли, укрепился в ней и начал медленно выравниваться. Петру Николаевичу оставалось лишь чуть попридержать его плечом и, как можно скорее, засыпать остатками надземного грунта. Со всей поспешностью он бросился исполнять требуемое, но прежде, чем подставить плечо под крест, приподнял глаза и осязаемо увидел своего помощника. Обняв крест широко раскинутыми руками за кровельку и верхнюю перекладину, его приподнимал и удерживал в равновесии Коля.

— Не надо, сынок, не надо! — попробовал остановить его Петр Николаевич. — Я сам потихоньку. Ты отдыхай.

Но Коля его не слушался. Налегая на крест уже и грудью, он с неболь-

шим доворотом укрепил его в изголовье могилы и теперь ждал, когда Петр Николаевич засыплет ее вровень с твердой кладбищенской землей. Не смея больше поднять ни на Колю, ни на крест глаза, Петр Николаевич с удвоенной, неведомо откуда взявшейся у него силой, всего за пять-десять минут справился с глинисто-песчаным грунтом, обгорнул им крест, утрамбовал черенком лопаты. Коля несколько раз качнул крест, прочно ли он, основательно ли стоит и, должно быть, удостоверившись, что и прочно, и основательно, разжал руки и так же невидимо исчез, как и появился.

Петр Николаевич, давая себе наконец короткую передышку, оперся на лопату и посмотрел на Колину могилу. Ему показалось, что гранитная пирамидка на ней едва слышимо скрипнула, красная звездочка колыхнулась и зазвенела на ветру, а фотография Коли стала различима гораздо ясней и четче, будто обновилась.

Почудилось все это, привиделось Петру Николаевичу в горячечной его от бессонных ночей голове или, может, случилось и вправду, он определить не мог, но крест стоял в положенном ему месте, невысокий, как раз по росту Февроньи Васильевны, с наклонной почти игрушечной кровелькой. Свежестью своей и новизной он резко выделялся среди других кладбищенских крестов и был белее белой, соседствовавшей рядом с ним, Колиной березы.

Петр Николаевич не выдержал, прикоснулся к кресту рукою, смахнул прилипшие с тыльной его стороны сорные травинки и багряные листики березы и оставил до времени в покое и одиночестве. Петру Николаевичу предстояло образовать над могилой бугорок-холмик, без которого она мало чем была еще похожа на православное христианское погребение.

Надгробный этот холмик Петр Николаевич сладил тоже невысоким и необременительным для Февроньи Васильевны, но аккуратным, с пологими спусками на все четыре стороны. Большие комья земли он тщательно разбил штыковой лопатой, а те, что помельче, размял в горсти и равномерно рассыпал по гребню. А чтоб они не скатились вниз и не застыли к могиле подходы, Петр Николаевич переменял штыковую лопату на совковую и до мраморного вида и твердости обстучал ею холмик по всей окружности.

Отряхнув руки, Петр Николаевич отошел на три-четыре шага в сторону от могилы, чтоб поглядеть на свою работу издалека, как всегда это и делал, закапывая ли какой столбик, устанавливая ли рядком пчелиные улья, или завершая метать на лугу стожок сена (вблизи недочеты и оплошности не заметишь, а с отдаленного взгляда они сразу себя и обнаружат) и вдруг — надо же — могила показалась ему вовсе и не могилой, а обрывочком, крайинкой огуречного ряда, которые в пойменных грядках каждую весну самолично насыпала и возделывала Февронья Васильевна. Она точно так же, как и нынче Петр Николаевич, разминала в горстях комья земли, прихлопывала их лопатой, оставляя, правда, на самом гребешке неглубокую бороздку, куда на равном расстоянии друг от дружки клала продолговатые, заранее размоченные в воде огуречные зернышки. Через неделю они прорастали вначале двумя гладенькими темно-зелеными лепестками, похожими на стократно уменьшенные листья комнатного цветка-фикуса, но потом быстро выбрасывали трехпалые, уже подлинно огуречные, покрытые колючими ворсинками листочки, удлиняли и удлиняли стебельки, пока не образовывались гибкие плети, которые, опережая одна другую, сползали по склону высокого холмика-рядка. После огурцы зацветали желто-горячими частыми цветочками; их сразу обна-

руживали пчелы и, опыляя, брали сладкую медовую взятку. Огурцы на тех высоких курганных рядах всегда вырастали у Февроньи Васильевны один в один, тоже налитые сладким медовым соком, упругие и хрустящие. Они буйствовали все лето (а иногда захватывали и частичку осени — сентябрь месяц) и так радовали глаз этим своим буйством, урожайным обилием и животворящим запахом, что, глядя на них, непроизвольно мнилось: если и существует какое определение и понятие природной жизни, так вот она, здесь, в этих, самых обыкновенных, огуречных рядах...

Думать о могильном, погребальном холмике подобным образом, может, и не полагалось бы, но Петр Николаевич подумал, вспомнил Февронью Васильевну в разгар лета посреди любимых ее грядок, и все думы-воспоминания не показались ему зазорными. Февронья Васильевна как раз такие воспоминания и завещала ему...

Никаких, бросающихся в глаза, недочетов и изъянов в могильном кургане и в кресте Петр Николаевич не заметил и в отдалении от них. Все было сработано по возможности его и силам — прилежно и аккуратно. Сизый, отливающий мрамором холмик был не слишком высок, но и не мал, а точно в пору и в рост Февроньи Васильевны. С крестом Петр Николаевич тоже все угадал: он не давил могилу своей чрезмерной тяжестью к земле, а наоборот, как бы приподнимал и указывал ей путь в осеннее, затянутое белыми кучевыми облаками небо.

Но чего-то Петру Николаевичу и на песчаном бугорке, и на кресте все-таки не хватало. Теряясь в догадках, он то опять удалялся от погребения на самую опушку кладбища и оглядывал его оттуда, то приближался вплотную и все равно никак не мог понять, чего он не доделал, чего не довершил. Ничем не в силах был помочь Петру Николаевичу и Назарка, который снова забрался под тачку, откатившуюся за куст сирени, и, нахохлившись, сидел там. Петр Николаевич наклонился, чтоб взять его на руки, пригнеть и пожалиться на свое стариковское беспамятство — и вдруг обо всем догадался. Бог ты мой, да не хватает же на кресте рушника, с вышитыми на нем Февроньей Васильевной травами, венками и короной с заглавной литерой ее имени — Февронья, а на холмике не достает хотя бы самого малого пучочка, стебелька-другого живых, исходящих росой и соком, цветов! Без рушника же и природных земляных цветов все погребение остается сиротским, безымянным и заброшенным с самого первого дня.

Петр Николаевич, забыв на время о страждущем Назарке, бросился тут же исправлять свой, наверное, такой обидный для Февроньи Васильевны недосмотр. Из двух рушников, лежавших на тачке, он выбрал тот, которым Февронья Васильевна была повязана по груди и рукам (рушник этот показался Петру Николаевичу более ярким и зримым) и, стараясь не повредить зыбким неосторожным шагом холмик, повязал его по верхнему перекрестью. Концы рушника сразу затрепетали на ветру; корона и литера «Ф», пронзенные солнцем, засветились, засияли, и могила в то же мгновение обрела свое завершение и уже не гляделась в ряду других погребений сиротской и брошенной.

А вот с живыми цветами у Петра Николаевича получилось хуже. Конечно, все полевые и луговые цветы по осени давно отцвели и обронили на землю созревшие семена. Но ведь обязан же был помнить Петр Николаевич, что возле дома у них, в палисаднике, растут и пламенеют еще, не поддаваясь никаким холодам, стойкие и так любимые за эту стойкость Февроньей Васильевной цветы-астры. Их можно было нарвать не

просто стебелек-другой, не букетик-пучок, а целую охапку — и как бы они сейчас украсили могильный холмик, как бы порадовали Февронью Васильевну. Но — вот же — в горячечной погребальной страде о цветах Петр Николаевич и забыл. Теперь ему за это совестно и стыдно, и надо немедленно исправлять оплошность, чтоб к вечеру, до ранних сумерек и темноты, цветов-астр нарвать в полном изобилии и поставить их в кувшинчике с водой на могиле Февроньи Васильевны.

Петр Николаевич начал поспешно загружать на тачку весь инструмент-инвентарь: лопаты, лесенку, веревку и наклонные доски. Второй рушник он тщательно свернул и спрятал за пазуху, под телогрею, чтоб дома обвить им увеличенную фотографию Февроньи Васильевны, на которой она изображена в молодые свои годы сразу после войны.

Потревожив Назарку, Петр Николаевич выкатил тачку из-под куста сирени и уже встал было в колею, но вдруг взгляд его упал вначале на ограду Колиной могилы, а вслед за этим и на красноезвездную пирамидку, к которой Петр Николаевич сегодня по скорбным своим трудам заходил всего на минуту, — и вот там, у подножья пирамидки, он увидел клонящиеся к ней и огибающие ее астры. Ну как мог Петр Николаевич забыть об этом?! Ведь по весне, обкопав пирамидку, они с Февроньей Васильевной высеяли их (и каждый год высевали) густой россыпью, и после все лето, в жаркие, знойные дни ходили поливать из специально заведенного ведерка-лейки. Астры, радуя Февронью Васильевну, поднялись дружно, дружно и зацвели к августу-месяцу: белые, сиреневые, красные, обняли, окружили пирамидку и стойко уцелели до сегодняшнего дня.

Петр Николаевич, бросив тачку, откинул на калитке щеколду и вошел за ограду Колиной могилы, с минуту он постоял возле нее в молчании, как стоял и утром, а потом, указывая на цветы, спросил Колю:

— Можно, я сорву для матери?

— Сорви! — тут же откликнулся тот, — и даже подсказал, в каком месте: — Вон там, с солнечной стороны.

Петр Николаевич послушался Колю и заглянул за пирамидку с востока, где солнца всегда было больше. Обходя кладбищенские деревья, оно остро проникало туда горячими своими лучами, гнало тень. Астры поворачивались к солнцу чисто умытыми утренней росой головками, тянулись к нему тоненькими упругими стебельками, каждым листиком и даже каждым невидимо запрятанным в земле корешком. Они были выше ростом и ярче в цветении своих собратьев, растущих в тени, с западной и северной сторон. Коля, похоже, давно приметил, обнаружил их островок-полянку и вот как вовремя подсказал отцу, совсем было впавшему в забытие.

Петр Николаевич, низко клонясь к земле повинною головой, начал рвать астры не все подряд, а на выбор, чтоб их было поровну: и белых, и красных, и желто-горячих, и сиреневых. Дополняя друг друга яркими солнечными красками, они торжественно и празднично пламенели, отвергая всякую печаль и уныние и утверждая непреходящую жизнь, для которой все сущее на земле и родится. Когда цветов набралось столько, что Петр Николаевич уже с трудом удерживал букет-охапку в горсти, он понес их на могилу Февроньи Васильевны.

— Прими от нас с Колей, — сказал он ей и рассыпал астры по всему холмику-бугорку, будто по родительскому дому в день великого праздника Пресвятой Богородицы — Троицы.

— Спасибо! — ответила, принимая подарок, Февронья Васильевна, и в голосе ее тоже не было никакой печали и скорби.

Могила, украшенная цветами-астрами и рушником, и вправду обрела завершенный свой вид. Живые цветы на холмике сливались с вышитыми Февроньей Васильевной луговыми цветами-травами на рушнике, были нерасторжимы, как нерасторжима жизнь здешняя, земная и высоко-небесная, куда ушла теперь Февронья Васильевна.

Петр Николаевич поочередно посмотрел на Колину пирамидку и на белый сосново-смолистый крест Февроньи Васильевны и неожиданно тоже унесся за краткие земные пределы. Ему вдруг представилась в раннем весеннем цветущем яблоневетка, а на той ветке две сизокрылые голубки — и эти голубки есть соединившиеся родные души Коли и Февроньи Васильевны. Они сидят крыло в крыло, о чем-то заветно беседуют и так счастливы своей встрече и единению, как, может быть, не были счастливы и при жизни. Или были, но до конца тогда еще не понимали этого своего счастья.

Мешать им Петр Николаевич не смел и вернул взгляд с необозримых пригрезившихся ему горных высот на землю, к подножью пирамидки и креста. Но прежде, чем вернуть его и опустить долу, он все же успел увидеть, что на яблоневетке есть еще одно незанятое место. И это место для остающейся пока на земле одинокой и страждущей его души. Петр Николаевич почувствовал, как в груди у него что-то шевельнулось, поптичь затрепетало, сердце прерывисто зачастило, будто освобождая этой птице дорогу. Но, похоже, она была еще до конца не проторена, не пройдена среди земных пространств: широких полей, озер и рек, лугов и лесных чащоб, охраняемых голубым бездонным небом. Сердце еще раз торкнулось и встало на прежнее свое место под запрытаным на груди у Петра Николаевича рушником. Ему даже показалось, что именно рушник Февроньи Васильевны и преградил, застил на время дорогу приготовившейся к излету птице.

Не веря этому, Петр Николаевич расстегнул две верхние пуговицы телогрейки, достал согретый слабым теплом старого своего тела рушник, чтоб повязать его на нижней косой перекладинке креста — но было уже поздно: робкая, испуганная птица окончательно успокоилась и замерла рядом с ровно, без пропусков и опасных остановок, бьющимся сердцем.

Петр Николаевич, прощаясь до завтрашнего дня с Февроньей Васильевной, трижды осенил себя крестным знаменем и сказал ей:

— Ну, оставайся с Богом!

— А ты уходи Богом, — ответила она, и Петр Николаевич почувствовал, как предвечерний неведомый ему раньше покой и мир лег и окутал не только хуторской заброшенный погост, но и всю необъятную землю, от восхода и до заката солнца.

Он впрягся в тачку и, пропустив вперед совсем похожего на тень Назарку, медленно покотил ее к дому...

* * *

С этого дня Петр Николаевич будто поселился на кладбище. Утром, поспешно и не всегда с должным прилежанием совладав с хозяйством, он манил за собой Назарку и шел туда, как на заутреннюю поминальную службу. Останавливаясь у подножья могилы, он клал на сырую землю свежие цветы-астры и творил по силе своей возможности и умению заупокойную эту молитву, таинство ее и откровение.

А потом, мало-помалу обретая земную жизнь, принимался за обу-

ройство бугорка-холмика: то ладил из остатков сосны и разобранных ульев невысокую оградку, то мастерил лавочку, чтоб можно было посидеть на ней и побеседовать в тиши и покое с Февроньей Васильевной, то, упреждая на кресте разрывы и трещины, обмазывал его глиною, то приспособливал со всех четырех сторон кровельки выпиленный лобзиком «фартучек»; а в начальные дни ноября посадил в изголовье могилы молодую березку, точь-в-точь такую, какую они когда-то посадили с Февроньей Васильевной в изголовье Колиной могилы.

Но чем бы ни занимался Петр Николаевич, как бы ни старался отвлечься в работе, обманывая и самого себя, и Февронью Васильевну, а ходил он на кладбище не только ради поминовения и строительных работ, а прежде всего, ради потаенной неотступной мысли и надежды, которая поселилась в душе его и сердце. Творя ли усердную поминальную молитву, устанавливая ли ограду и лавочку, сажая ли березу, Петр Николаевич чутко стерег и призывал к себе сокровенную, задержавшуюся где-то в пути, минуту. Вот сейчас, вот в это мгновение, долю мгновения, когда он прибывает штакетину, приспособливает на кресте резной «фартучек» или сажает березу, Бог смилостивится и пошлет ему скорую и легкую кончину. Петр Николаевич пошатнется, обронит и молоток, и «фартучек», и гибкий саженец — и замертво упадет на землю рядом с Февроньей Васильевной, как о том и было завещано в старинном сказании и повести о Петре и Февронии. А что останется Петр Николаевич не захороненным — так это не беда. Он солдат — и ему ли привыкать к подобным превратностям. Мало ли его фронтовых друзей-товарищей осталось не захороненными после боев и сражений. Останется и он. Год за годом опавшими березовыми листьями, гонимым суховейным ветром с полей песком, снегами и талыми водами занесет его старое тело, и он неотвратно уйдет в землю, чтоб навечно там соединиться с Февроньей Васильевной и прорасти совместно с ней, из одного корня, травой, деревом, цветочным стебельком или гибким огуречным побегом...





НЕТЛЕННЫЙ СОЛДАТ

Рассказ

Ранней осенью сорок третьего года в этих местах шли тяжелые, не смолкающие ни днем, ни ночью бои. Наши войска хотели во что бы то ни стало до наступления зимних холодов переправиться на правый берег реки Десны и захватить там хотя бы небольшой плацдарм. А немцы всеми силами старались удержаться за рекой, где у них были хорошо оборудованные и укрепленные позиции.

В кровопролитных тех боях солдат и с немецкой, и с нашей стороны погибло несметное число. Хоронить их было особенно некому. Наши войска в конце концов противника одолели и погнали его все дальше и дальше на запад. Погибших красноармейцев предавали земле похоронные команды и уцелевшие местные жители, прятавшиеся во время боев в окрестных лесах. Немцам же и тем более было не до похорон. Под напором Красной Армии они безоглядно бежали несколько суток, пока опять не зацепились и не устроили новую оборону на правом берегу реки Ипути, уже почти на самой границе с Белоруссией. Хоронить погибших, брошенных в спешке на местах гибели немецких солдат и офицеров тоже пришлось нашим похоронным командам, да опять-таки старикам, женщинам и детям-подросткам. Сколько-нибудь приметной разницы в захоронениях бывших врагов-противников не было. На конных, а то и на ручных волокушах, запрягаясь в них по три-четыре человека, убитых свозили в траншеи, блиндажи и окопы и зарывали землей. Различие, пожалуй, было лишь в том, что над могилами наших солдат деревенские жители и бойцы похоронных команд ставили кресты или четырехугольные, вошедшие в воинский обычай пирамидки с жестяными звездочками наверху, а немецкие оставляли без всякого обозначения, сравнивали с землей, жестокосердно, но справедливо, по их преступлениям и злодеяниям поминая фашистских захватчиков-оккупантов недобрым словом: вы хотели нашей земли, так вот она вам, сырая и холодная на веки вечные...

Почти семьдесят лет пролежали погибшие солдаты обеих армий в бывших траншеях, блиндажах и окопах. Одни в непреходящей скорби и памяти, оплакиваемые матерями, женами и детьми-сиротами, а другие в полном заслуженном ими забвении.

Но вот то ли по велению какого высокого, верховного начальства, то ли по собственной воле, никем не понуждаемые, объявились и на левом, и на правом берегу реки небольшие поисковые отряды, которые разры-

вали густо заросшие теперь лесами, кустарниками и травой бывшие эти траншеи и окопы, чтоб отыскать там хотя бы кости погибших советских солдат (а если повезет, так и узнать их имена) и захоронить уже по-человечески, с отданием всех необходимых воинских почестей. Останки же гитлеровских солдат передавались германской стороне, и их хоронили отдельно на возникающих по обоюдной договоренности России и Германии то там, то здесь немецких кладбищах, несмотря на глухое молчание жителей близлежащих деревень.

Объявился такой отряд и в правобережном селе Березанке, в окрестностях которого когда-то был как раз и захвачен нашими войсками крохотный плацдармик, откуда после началось победное наступление всех подтянувшихся к Десне армий.

Руководил отрядом мужчина лет пятидесяти, Николай Петрович, говорят, участник афганской и чеченской войн, недавно вышедший в отставку в звании подполковника. Ему помогали три крепких молодых парня — Алеша, Витя и Славик, тоже, по слухам, недавние, правда, уже мирного времени солдаты. По всем армейским пехотным правилам они разбили в тени и защите речной уремы палаточный лагерь и принялись за раскопки.

Березанцы нет-нет да и заглядывали на эти раскопки, интересовались, что удалось бойцам добровольного отряда отыскать на месте давних боев. Чаще других повадился ходить к поисковикам, прикипел, считай, к ним всей душой непоседливый, разговорчивый старичок, по деревенскому прозвищу — Прошка. Звали его на самом деле не Прохором и не Прокофием, как поначалу подумали было поисковики, а Егором Дмитриевичем. Но об этом мало уже кто в Березанке и помнил. Весь деревенский его род прозывался Прошками, должно быть, в память какого-нибудь древнего зачинателя этого рода, действительно Прохора или Прокофия. Прошка на прозвище свое не сетовал, охотно откликнулся на него, похоже, и сам забыв даденное ему по крещению имя. Необидно ласковое прозвище даже больше подходило к нему, чем строгое крестительное имя: Егор, Георгий. Росточка он был невысокого, щупленький, худенький, но жилистый и не в меру говорливый, хотя, казалось бы, при его ремесле столяра и плотника, которыми Прошка владел в великом умении, ему полагалось бы быть молчаливым и задумчивым.

Но Прошка был иным. По возрасту своему (ему шел уже семьдесят шестой год) он был домочадцами — женой, гораздо моложе его по годам, сыном, невесткою и двумя взрослыми внуками — почти полностью освобожден от всех домашних обязанностей и забот и безотлучно целые дни проводил с поисковиками. Веселил их несмолкаемыми разговорами, давал дельные, а иногда так и не очень, советы, где, в каких местах и в каком направлении надо вскрывать землю, вспоминал военные годы, когда он совсем еще мальчишкой вместе с матерью занимался похоронными работами, водил под узду запряженную в волокушу лошадь. Но особенно любил Прошка посидеть с поисковикам поздно вечером возле костерка, вышить с ними по рюмочке, обсудить прошедший трудовая день, повнимательней рассмотреть найденные трофеи: насквозь проржавевшие наши и немецкие автоматы и винтовки, каски, позеленевшие латунные бляхи от ремней, опять-таки, наших и немецких солдат. Наших — с пятиконечной лучезарной звездой, а немецких — с угрожающей и кощунственной надписью: «Gott mit uns», что означает «С нами Бог». О найденных же солдатских останках, костях и черепах, говорили редко. Разложенные по

дощатым ящичкам, (наши — отдельно, немецкие — отдельно, хотя, может быть, и ошибочно: человек, он только при жизни отличим друг от друга внешним своим обличием, дарованным ему от рождения языком-речью, да одежками, а по смерти, прахом своим, костями и черепом одинаков — они разговора и обсуждения не требовали.

* * *

За два месяца работы поисковики на месте боевых действий противоборствующих армий, немецкой — захватнической, и Красной — освободительной, солдатских останков нашли немало. Имена погибших, правда, удалось установить лишь в двух случаях: ножами или какими-нибудь иными остро заточенными инструментами-орудиями они были глубоко и аккуратно нацарапаны на немецких похожих на шлемы тевтонских псоврыцарей касках. Наши же все беспечные солдатики так и остались безымянными.

В конце августа поисковики собрались из Березанки уезжать. Они заметно уже притомились тяжкими своими трудами, да и по их прикидкам все, что можно было вырыть и найти на заливных пойменных лугах, на приготовленных уже к осенней пахоте полях и огородах, в березовых рощах и сосновых борах, они нашли и вырыли. К тому же и отпуска, в счет которых поисковики занимались изысканиями, у них заканчивались.

Прошка расставаться с поисковиками было огорчительно и жалко: где он еще найдет таких внимательных и усидчивых слушателей? От скорой разлуки с новыми своими друзьями и товарищами Прошка горестно вздыхал, печалился, стал даже приходить на раскопки с березовым посошком, чего раньше за ним не водилось: он без всякого посошка и подмоги был еще проворен и легок в шаге.

И вот в один из последних перед расставанием вечеров, сидя с поисковиками возле костерка, Прошка, прервав обычные свои затяжные разговоры-повествования, вдруг попросил их:

— Ребята, вы бы копнули еще вон там, возле старого глинища.

Шатким сучковатым посошком он указал при этом далеко в сторону от бывших траншей и окопов, где, примыкая к смешанному березово-хвойному лесочку, действительно виднелось давно заброшенное и заросшее негустой полынью глинище.

— А что там может быть? — не очень заинтересованно переспросил его Николай Петрович, кажется, легко разгадав незамысловатую хитрость деда Прошки.

— Все может! — воодушевился тот и начал в который уже раз рассказывать о том, как в сорок третьем году, когда наши войска захватывали плацдарм, он с матерью и другими березанцами прятался именно в этом лесочке, за глинищем. Но к прежним своим рассказам Прошка добавил теперь одну подробность, которая раньше ему не вспоминалась. С уверенностью бывалого, опытного солдата он принялся вспоминать достоверную эту подробность о том, как наши бойцы цепью, правым ее краем (в пятидесятых годах Прошка служил в пехоте и считал себя большим знатоком пехотных цепей и построений), бежали вдоль глинища, а немцы, подпустив их поближе, открыли встречный, заградительный огонь. Красноармейцев и командиров полегло там немало. Женщины, старики и дети на волокушах привезли оттуда к братской могиле человек, наверное, пятнадцать, но многие могли остаться и под землей, засыпанные глиной.

— Надо бы копнуть, — заключил он основательный свой рассказ.

— Ладно, — не стал обижать Прошку Николай Петрович. — Завтра с утра поглядим...

* * *

Обещание свое Николай Петрович выполнил. Едва Прошка появился возле палаточного лагеря, он позвал Алешу, Витю и Славика и пошел вслед за настырным проводником к глинищу с необходимым для раскопок снаряжением: металлоискателем, разных размеров лопатами (штыковыми, совковыми и особой закалки и остроты — стальными, саперными), длинными железными штырями и даже с небольшой удобно складывающейся лесенкой на тот случай, если придется вдруг опускаться глубоко вниз разрытых ячеек.

По указке Прошки Николай Петрович, самолично вооружившись металлоискателем, стал переходить от одного места к другому, внимательно прислушиваться, не раздастся ли в наушниках обнадеживающий прерывистый сигнал, да на всякий случай поглядывать на заброшенные шурфы-колодцы глиняных выработок, в которые ничего не стоило провалиться. Но металлоискатель помалкивал, ничего не обнаруживая под землей. Ничего не находили там и помощники Николая Петровича, хотя, опять-таки, по подсказке Прошки, со всем прилежанием и тщательностью обследовали длинноколющими штырями заросшие луговой овсяницей и осокой подступы к глинищу.

Неразгибно трудились поисковики, ведомые Прошкой все утро, но часам к одиннадцати, когда солнце поднялось уже над речной уремой и разгорелось по-августовски жарко, они решили к великому его огорчению и расстройству работы сворачивать — больше искать было вроде бы негде, да и понапрасну.

Николай Петрович и притомившиеся ребята собрались под высокой, начавшей уже в преддверии осени кое-где желтеть листом березой, чтоб, немного передохнув, возвращаться в лагерь и готовиться к отъезду из Березанки. Прошка больше поисковиков не останавливал и не уговаривал. Он тоже подошел к березе, повинно присел на песчано-глинистом бугорке и, прерывисто вздыхая, принялся перебирать в памяти детские свои видения, задним числом сомневаться — бежали здесь, вдоль глинища, захватывая плацдарм, красноармейцы или не бежали. Но чем больше Прошка думал и вспоминал, тем все сильнее укреплялся в вере, что все ж таки бежали и он в заблуждение поисковиков не вводит.

Белоствольной раскидистой березы, под которой поисковики сейчас собрались, тогда на опушке глинища не было. Она объявилась и проросла самосевом много позже, после войны, а в сорок третьем году от глинища, уже и тогда наполовину заброшенного, и до самой окраины села простиралось открытое луговое пространство. Малый, но зоркий и ко всему внимательный Егорка-Прошка никак ошибиться не мог: низко пригибаясь к земле и выбрасывая далеко вперед длинноствольные винтовки и автоматы с круглыми патронными дисками, красноармейцы все бежали и бежали вглубь этого пространства, а немцы, стараясь остановить их, все плотнее и плотнее стреляли из орудий и минометов. Земля от разрывов вздымалась на дыбы, гудела и дрожала, казалось, сама готовая взорваться. В этих земляных смерчах и пороховом дыму красноармейцы на минуту исчезали, падали, но когда земля оседала, а дым рассеивался, они

опять, пусть и меньшим уже числом, поднимались и неудержимо бежали вперед.

Николай Петрович, впервые увидев Прошку столь задумчивым и молчаливым, подошел к нему поближе и присел рядышком, намереваясь утешить старика каким-нибудь ободряющим товарищеским словом. Длинный, будто сенные грабли, металлоискатель с насадкой на конце он положил чуть в стороне, в тени березы, так, чтоб тот не грелся и не раскалялся на солнце. Подыскивая необходимые для Прошки утешительные слова, Николай Петрович начал было закуривать сигарету и вдруг бросил ее незажженную на землю и встревожено вскинул голову. Из наушников, лежащих на травянистой кочке, доносился едва слышимый, но настойчивый сигнал, словно кто-то невидимый давал из-под земли о себе знать азбукой Морзе.

Николай Петрович подхватился на ноги, надел наушники и, приказав всем собравшимся возле березы, пребывать в полной тишине и молчании, стал сантиметр за сантиметром обследовать возвышающуюся бугорком у ее подножья луговую задернившуюся площадочку. Прошка, несмотря на его запрет, тоже подхватился и, пристроившись рядом, шепотом, вполголоса спросил:

— Есть что-нибудь?

— Похоже, есть! — на мгновение отвлекся от прослушивания Николай Петрович.

— Я же говорил, — совсем воодушевился, продвигаясь за ним шаг в шаг, Прошка, — надо копать...

— Копнем, — заверил Прошку Николай Петрович и, чтоб окончательно рассеять и свои, и его сомнения, протянул Прошке наушники.

Тот проворно перенял их и, спрятав за пазуху дарованную ему внуками бейсболку с длинным укрывающим от солнца глаза козырьком и какими-то непонятными иноземными надписями, приладил пружинчатую дужку поверх седеньких истончившихся волос. Наушники минутую другую помолчали, как будто собираясь с силами, а потом зашлись в непрерывном тревожном сигнале, который все усиливался и усиливался по мере того, как Николай Петрович, обойдя бугорок по кругу, остановил насадку металлоискателя в самом его центре. Теперь уже Прошка, погрозив пальцем и Николаю Петровичу, и Алеше с товарищами, чтоб они стояли, не шевелясь, потуже прижал ладонями к вискам наушники, и ему вдруг показалось, что оттуда, из-под земли, сигналы эти подаются специально для него, старого Прошки, как бы в награду за то, что он с самого начала был тверд и непоколебим в своей вере насчет глиница, где находка обязательно должна была обнаружиться.

Когда же Прошка вдоволь наслушался стонущих подземных сигналов и сказал про себя тому, кто подавал их: «Потерпи маленько, потерпи, сейчас добудем», Николай Петрович распорядился своим помощникам:

— Копайте вот так — по кругу.

Алеша, Витя и Славик, вооружившись лопатами, тут же принялись выполнять его приказание. Первым делом они сняли травянистый дерн и уложили его рядом под березой. Прошка еще в начальные дни раскопок заметил, что и Николай Петрович, и его подчиненные (особенно самый старший из них — Алеша) относятся к земле с полным бережением и ответственностью. Выкопав яму и отыскав в ней все, что можно было отыскать, они зарывали ее обратно и обязательно укладывали поверх

сырого потревоженного грунта цельнотравяной дерн. Прошка такое поведение поисковиков всемерно одобрял и поддерживал. Земля здесь еще со времен войны вон как повреждена и изуродована. Раненая, а местами, так и вовсе убитая, мертвая земля. Столько лет прошло с той погибельной поры, а она никак не может залечить свои раны и воскреснуть к новой плодородной жизни.

Вслед за дерном на два-три штыка шла сухая серо-сыпучая супесь, а потом вдруг показалась красная с белыми прожилками и отливами глина. По краям намеченной ячейки она была каменно-твердой, веками слежавшейся в пласты и глыбы, а в самой середке, по центру, тоже сыпуче-рыхлой, и довольно легко поддавалась штыковым и совковым лопатам.

Работали ребята споро и опытно, вначале все втроем, а когда ячейка углубилась до коленей, уже поодиночке, часто подменяя друг друга, чтоб было сподручней и вольней разворачиваться в ней и выбрасывать на поверхность глину. Разгорячившись, ребята снимали рубахи и майки и теперь блестяли на жарком солнце загорелыми за лето до жгуче-коричневой темноты мускулисто-натренированными телами.

— Молодцом, ребята, молодцом! — поощрял землекопов Прошка, поочередно заговаривая то с одним, то с другим, то с третьим.

В молодые свои годы он тоже был мускулисто-крепеньким, упорным и тягловым в работе. Летом, когда доводилось артельно рубить дома или заниматься на свежем воздухе каким-либо иным плотницко-столярным мастерством, Прошка непременно снимал рубаху и майку, и старшие его по возрасту напарники точно так же завидовали его силе, здоровью и загорелому, не знающему усталости телу. Теперь же дряхлый и ослабевший Прошка (чего уж тут попусту хорохориться!) нескрывая тосковал по настоящей мужской работе и несколько раз порывался спуститься в ячейку, чтоб, завладев лопатой, в полную силу потрудиться, тем более при такой, считай, похоронной работе, которую, может быть, надлежало бы свершать именно старому, пожилому человеку.

Но Николай Петрович каждый раз останавливал его, словно берег для каких-то иных, еще более ответственных дел.

В перерыв, когда ребята сменялись в яме, Николай Петрович опускал в красно-горячую ее глубину металлоискатель, напряженно прислушивался к его то отрывисто-кратким, то, наоборот, протяжно-длинным сигналам и подбадривал неутомимых работников:

— Ближе уже.

Но было вовсе еще и не близко. Ребята, углубляя и расширяя ячейку, проходили штык за штыком, но ничего в ней пока не отыскивалось: ни латунно-медной пряжки от солдатского ремня, ни разрозненных деталей винтовок и автоматов, ни даже стреляных гильз, которые в других местах встречались чаще всего. Прошка не на шутку обеспокоился таким обстоятельством и, подступая поближе к Николаю Петровичу, принимался подсказывать ему:

— Левее надо было взять! Левее!

— Возьмем и левее, — успокаивал Прошку Николай Петрович и опять опускал в ячейку металлоискатель, не дожидаясь даже пересменки ребят.

И вот во время одного из таких погружений металлоискатель зашелся в неостановимом пронзительном сигнале.

— Осторожнее! — крикнул Николай Петрович работающему в эти минуты в ячейке Алеше.

Но тот уже сам, без всякого напоминания Николая Петровича понял, что надо работать осторожней и бережливей. Он отбросил в сторону лопату, опустился на колени и начал где ладонями, а где одними только чуткими, ловкими пальцами разгребать сухую даже здесь на полутораметровой глубине глину.

Все остальные работники во главе с Николаем Петровичем сгрудились наверху, у самого обрыва ячейки, понапрасну стараясь определить, что там проявляется под ладонями и пальцами Алеши. Но пока ничего не было видно: вздрагивающей своей от напряженной работы и учащенного дыхания спиной он застил все днище раскопок.

Прошка, нарушая приказания Николая Петровича, самовольно вздумал было спуститься по лесенке Алеше на подмогу, но тот наконец разогнулся, отпрянул спиной к холодной глиняной стенке и, с трудом сдерживая волнение, проговорил сдавленным тревожным полусшепотом:

— Смотрите...

Все глянули и в первое мгновение не могли сказать в ответ Алеше ни единого слова. Даже словоохотливый, непоседливый Славик и тот затих, не в силах ничего произнести и выговорить. Горячий, яркий луч солнца, пробившись сквозь зелено-багряную занавесь березовых ветвей и листьев, осветил на дне ямы молодое, не тронутое тлением лицо погибшего в бою солдата. Было оно худым и изможденным, но не землисто-серым, каким обычно бывает у умерших людей, а светло-коричневым, загорелым, совсем, как у Алеши, Вити и Славика.

Раньше других опомнился и пришел в себя Николай Петрович.

— Ничего не трогай и вылезай наверх! — отдал он приказание Алеше.

Тот беспрекословно подчинился этому приказанию, выбрался на поверхность и, переводя дыхание, тяжело присел на глиняной насыпи. Долговязый Витька протянул Алеше фляжку с водой, а Прошка тут же вытащил из-за пазухи бейсболку, аккуратно расправил ее и передал Алеше, чтоб тот мог прикрыть от солнца и ветра-сквозняка разгоряченную во время работы голову. Алеша ни от фляжки, ни от внимания Прошки не отказался. Он долго захлеб пил воду, пока фляжка не опорожнилась до самого доньшка, потом натянул бейсболку на голову и теперь уже с высоты глиняного бугорка посмотрел на лицо обнаруженного им солдата.

— Надо же! — все так же, полусшепотом, словно робея собственного голоса, произнес он. — Сроду такого не было...

— По Божией воле и промыслу, — легонько и успокоительно прикоснулся к плечу Алеши заскорузлой стариковской ладонью Прошка, — может быть еще и не такое.

Николай Петрович вмешиваться в их переговоры не стал. Добыв из рабочей походной сумки обыкновенный мастерок-кельму, которым пользуются печники-каменщики и целый набор разных по размеру кисточек, он спустился по лесенке в ячейку. Точно так же, как и Алеша, Николай Петрович встал вплотную к стенке на колени и принялся кельмой и кисточками дальше высвобождать из глиняного плена солдата. Алеша со своего бугорка, а Прошка с Витькой и Славиком, пристроившись на противоположном обрыве ячейки, неотрывно следили за каждым его движением. Из-под рук Николая Петровича вначале показалась по-юношески тоненькая шея, потом белым-белая гимнастерка с погонями рядового бойца Красной Армии. Судя по этой гимнастерке, воевал он давно, по крайней мере, все лето, и она выгорела на палящем солнце до первозаданной холщевой белизны. На ремне, туго защелкнутым на талии пряж-

кой с потемневшей, но все равно хорошо различимой звездой, были при-торочены — с правой стороны подсумок и точно такая же, как у поисковиков, алюминиевая фляжка, а с левой, выглядывая из-за бедра, — саперная стальная лопатка. Брюки-галифе у солдата тоже были выгоревшими до белизны и, чувствовалось, немало уже ношенные, в нескольких местах наспех зашитые широкими стежками. Обут красноармеец был в грубые солдатские ботинки с идущими почти до самых коленей обмотками, удивительным образом сохранившими зеленый защитный цвет.

Широко, вразлет разметанные руки солдата Николай Петрович высвободил из-под глины в самом конце раскопок, и тут обнаружилось, что в правой ведущей руке тот держит крепко зажатую ладонью за цевье винтовку-трехлинейку, а левую в последнее мгновение жизни обронил вольно, словно давая ей отдохнуть от тяжелых солдатских трудов.

Но больше всего поразили и Николая Петровича, и заглядывающих в ячейку ребят, и Прошку березовые розоватые корни, которые охранно оплели солдатское тело по груди и поясу. Казалось, они навечно связывают его с землей и ни за что не хотят отпускать наверх.

— Подайте секатор! — разгибаясь в полный рост, попросил Николай Петрович.

Алеша, уже воспрянувший духом после минутного забвения, протянул ему обыкновенный садовый секатор на длинных ручках, который на такой вот случай, когда приходилось в глубине раскопанной ячейки обрезать корни деревьев и кустарников, в запасе у поисковиков был.

Николай Петрович перехватил секатор и, опять припав на колени, осторожно и умело обрезал коренья. Витя и Славик забрали их у него и отнесли за глиняную насыпь в заросли полыни, чтоб они не мешали в дальнейшей работе. Корни были еще живые, наполненные соком, но отсоединенные от березового ствола, как-то сразу померкли, потеряли упругость и жертвенно легли в полынные белесые заросли.

Пока ребята относили обрезки корней, Николай Петрович мягкой невесомой кисточкой обмел с груди солдата густо обронившиеся на нее комочки глины. Когда же он кисточку отнял, то все увидели, что на левой стороне груди солдата, захватывая и накладной, застегнутый на пуговку карман темнеет широкое с рваными краями пятно. Глядя на это пятно и разметающиеся в предсмертном шаге руки, нетрудно было догадаться и понять, как солдат погиб. Вражеская свинцовая пуля попала ему в самое сердце. Солдат запнулся на стремительном своем бегу, взмахнул руками и упал навзничь в глубокий глиняный шурф, через который всего за мгновение до этого перепрыгнул. От близкого разрыва снаряда глина рядом с шурфом вздыбилась и навсегда засыпала, похоронила его в отдельной, единолично доставшейся только ему могиле. Потом год за годом поверх глиняной насыпи влажным, речным, и суховеинным, полевым, ветрами нанесло тоненький слой плодородного грунта; он пророс луговой овсяницей, осокой, неброскими цветами (по большей части желто-горячими лютиками), которые невидимо сокрыли могилу, не обозначенную ни православным крестом, ни пирамидой-звездочкой, ни хотя бы сколько-нибудь приметным бугорком-холмиком.

Освободив грудь солдата от березовых корней и глиняных комьев, Николай Петрович уже хотел было подниматься по лесенке наверх, чтоб обсудить с Прошкой и ребятами, как поступать с обретенным солдатом дальше, но вдруг в прорези расстегнутой его гимнастерки он заметил ярко блеснувший и будто загоревшийся под лучами проникшего в глубину

ячейки солнца огонек-искорку. Николай Петрович замедлил шаг, снова низко склонился над солдатом и бережно извлек из прорези гимнастерки вначале серебряный крестик, покоившийся тоже на серебряной тонкого плетения цепочке, а потом изготовленную в виде махонькой дощечки (опять-таки из серебра) иконку-ладанку. Солнечный луч, обходя плечо Николая Петровича, высветил на крестике не помутневшее ни единой черточкой за долгие годы лежания в подземелье распятие, а на ладанке такой же чистоты и ясности икону Тихвинской Божией Матери, извечной заступницы и охранительницы воинства. Удерживая обе находки на ладони, Николай Петрович перевернул ладанку тыльной стороной и вдруг обнаружил там надпись.

— Самохин Иван Тихонович, — вслух начал читать он, — тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, село Знаменка, Ярцевского района, Смоленской области.

Прошка и ребята-поисковики, затаив дыхание, внимали голосу Николая Петровича да издалека смотрели на серебряный нательный крестик солдата и словно обновившуюся в лучах утреннего солнца икону Божией Матери.

Наконец Прошка глубоко, но как-то по-стариковски робко вздохнув, прервал это молчание:

— Комсомолец, должно быть, а верил...

— На войне все верят, — тоже утишив голос, из темноты ячейки отозвался Николай Петрович, сам побывавший на двух войнах, раненный там и контуженный.

Он вернул крестик и иконку-ладанку на прежнее их место и попробовал извлечь из левого нагрудного кармана убитого солдатскую книжку и комсомольский билет, чтоб прочесть и там фамилию, имя и отчество солдата и удостовериться, что они точно такие же, как и на тыльной стороне ладанки. Но ничего из попыток у Николая Петровича не вышло: солдатская книжка и комсомольский билет были повреждены, разорваны пробившей их пулей и густо, нечитаемо, залиты кровью. Он обратно застегнул на кармане пуговку, разгладил образовавшуюся складочку, но прежде чем шагнуть к лесенке, еще раз, теперь уже про себя, повторил для более прочного и твердого запоминания отчетливо обозначенные на ладанке слова. Похоже, бумажным легко уничтожаемым документам, погибший солдат не особенно доверял, а вот надписи на ладанке верил крепко и незыблемо.

Призван он был на фронт (или ушел добровольно, как уходили тогда многие его нетерпеливые ровесники, едва-едва успевшие окончить школу-десятилетку), скорее всего, еще до оборонительных тяжелых боев у стен Смоленска и занятия его немцами.

Серебряный нательный крестик и иконку Тихвинской Божией Матери-Заступницы, несмотря на комсомольские его клятвы, тайком надела на грудь своему, может быть, и единственному неудержимо рвущемуся на войну сыну Ивану, Ване, мать. В минуту разлуки, перед отправкой в Ярцево пешим порядком или на какой-нибудь шаткой колхозной телеге, мать крепко обняла его, поцеловала и осенила напутственным крестным знаменем.

И вот это крестное знамение, нательный серебряный крестик, иконка-ладанка, материнское объятие, поцелуи и слезы почти два долгих года хранили Ивана от гибели. Не каждому солдату, тем более солдату-пехотинцу, выпадала на войне такая участь и такое счастье. Смертельная вра-

жеская пуля настигла его лишь осенью сорок третьего года на правом берегу реки Десны, у старого заброшенного глинища, совсем уже неподалеку от родной его Смоленщины.

— Что будем делать? — выбравшись из ячейки, обратился почему-то к одному только Прошке Николай Петрович.

— Как что, — еще раз острым, пронзительным взглядом окинул тот недвижимо и выжидательно лежащего на дне глиняного склепа солдата. — Надо позвать из церкви отца Михаила.

— Пожалуй, что и верно, — согласился с ним Николай Петрович и тут же отдал приказание всегда быстрому на ногу Славику: — Сбегай в храм, позови батюшку.

Славику дважды повторять приказание не надо было. Он накинул майку и нацелился было мчаться к церкви, что виднелась голубой маковкой поверх деревенских крыш и деревьев на высоком холмике, рядом со школой. Но совсем неожиданно объявились в подмену Славику еще более проворные гонцы и посланники. Мимо глинища, от реки в деревню, шли с удочками в руках мальчишки, большие охотники до утренней рыбалки и купания. Заметив под березой деда Прошку и поисковиков, с которыми они за лето, часто бывая на раскопках, успели хорошо подружиться, знали всех поименно и пофамильно, свернули туда с наторенной луговой тропинки. Прошка вздумал было поначалу не пускать их к разрытой ячейке, боясь, что мальчишки заробуют при виде обретенного солдата, но те, ловко ускользнув от деда, без всякого позволения просочились к глиняной насыпи и заглянули вниз. Заробели, приметно даже побелев личиками, только самые маленькие, дошкольного еще, почти младенческого возраста ребята, а те, что постарше, глядели безбоязненно и внимательно. Они лишь непривычно для себя примолкли и, соприкасаясь высоко над головами ореховыми гибкими удочками, потеснее сошлись у насыпи. Прошка, видя стойкую храбрость мальчишек, простил им их непослушание и вместо Славика, который мог в любую минуту понадобиться возле ячейки, вызвал к себе самого старшего и надежного по возрасту рыбака и купальщика.

— Василек, — быстро признав, чей мальчишка, какого деревенского рода и фамилии, наказал он ему, — беги в церковь и скажи отцу Михаилу, чтоб немедленно шел сюда — найден, мол, нетленный солдат.

Василек, Васька, ощутимо гордясь, что поручение дадено именно ему, бросил свою удочку и лозовую низку с рыбой — плотвичками, красноперками и окуньками, в траву и прямо по лугу, чтоб спрямить и ускорить дорогу, побежал в деревню.

Остальные мальчишки, отпрянув от ячейки, окружили плотным кольцом Алешу, Витю и Славику и начали вполголоса, с оглядкой на Николая Петровича и Прошку, которых все ж таки немного побаивались, расспрашивать, как отыскался в земле солдат и почему он лежит, будто живой.

Николай Петрович тем временем принялся звонить по диковинному для Прошки, уместяющемуся целиком в ладошке мобильному телефону.

— Ты куда это?! — поинтересовался Прошка.

— В военкомат.

— И зачем?

— Ну, как — зачем?! — престал колдовать над мобильником Николай Петрович. — Солдата все-таки нашли, без военкомата нельзя.

— Эт ты зря! — осудил его Прошка. — Сейчас налетят вороньем, все испортят.

— Что испортят?! — не совсем понял Николай Петрович.

— А все и испортят, — еще более туманно и обиженно ответил Прошка.

Николай Петрович вступать в дальнейшие собеседования с ним поостерегся, зная, что Прошка в иных случаях бывает на редкость неуступчивым и твердым. Опять прижав телефон к уху, он отошел за глиняную насыпь, в заросли полыни, где ему никто не мог помешать, и стал по-военному четко докладывать в военкомат о неожиданной находке в селе Березанке, на краю заброшенного глинища.

— Сейчас подъедут, — закончив разговор, известил он Прошку, надеясь, что тот смягчится и поймет Николая Петровича, который по-иному поступить никак не мог. Раскопки повсеместно велись, хоть и не под очень настойчивым, но все-таки присмотром военкоматов, и доложить туда полагалось и по военному уставу, и по гражданскому закону.

— Пускай едут, — действительно немного оттаял душой и как бы даже пренебрег известием Николая Петровича Прошка.

Прикрываясь ладонью от встречного солнца, он принялся дальнорочно высматривать не появится ли на тропинке отец Михаил. С полчаса никого видно не было: тропинка и луг гляделись пустынными и заброшенными, будто по ним никто и никогда не хаживал. Но вот из-за лозовых низкорослых кустов, окаймлявших деревенские огороды, показался вначале Васька-гонец, а потом, почти ни на шаг не отставая от него, и отец Михаил. Был он в посеребренной широко развевающейся на ветру ризе и голубой камилавке, которые, должно быть, услышав рассказ Васьки о негленном солдате, забыл или не успел снять. Риза ярко горела, искрилась на солнце, а камилавка сливалась в один цвет с голубой маковкой церкви и заголубевшим на горизонте, наверное, к дождю небом.

Подбежав к разрытой ячейке, отец Михаил вначале было растерялся (ему тоже никогда прежде присутствовать, а тем более совершать молебен при обретении нетленного тела не доводилось), но потом успокоил шаг и дыхание и, осенив себя крестным знамением, взглянул на солдата.

— На нем и крест есть, и иконка-ладанка! — упреждая Николая Петровича, объяснил Прошка.

Отец Михаил опять свершил крестное знамение, взял в руки наперсный крест и начал проникновенно читать молитву-Трисвятое, которая после недавно завершенной заутренней службы, похоже, была еще у него на устах: «Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный...»

Предельно кратких ее покаянно-клятвенных слов никто, кроме Прошки, достоверно не знал, но все: и маленькие притихшие мальчишки, и молодые ребята-поисковики, и серьезно-суровый Николай Петрович почувствовали, что так сейчас надо, что без молитвенного слова и возгласа сейчас никак нельзя.

Молитву отец Михаил прочитал, как и полагается, троекратно, за каждым разом все больше и больше сплачивая и объединяя вокруг разрытой ячейки детей-подростков, взрослых мужчин и деда Прошку.

Они действительно объединились, верующие и не очень верующие, забыли обо всех своих предстоящих делах и не заметили, как едва различимая прежде на горизонте тучка стремительно начала продвигаться по небу, играть многоцветной, все ярче и ярче проступающей радугой. Но вот она зависла над глинищем и с нее вдруг сорвались крупно-тяжелые капли солнечного слепого дождя.

Отец Михаил осенил себя крестным знамением и с беспокойством

посмотрел на тучу, начавшую опасно темнеть и скрывать полоска за полоской радугу. Не смогли утаить тревогу при виде надвигающейся тучи и поисковики. Всякий раз, собираясь на раскопки, они захватывали с собой на случай дождя вместе с инструментами и солдатскую непромокаемую плащ-палатку. А сегодня опрометчиво оставили ее в лагере: день обещался быть вроде бы сухим, ведренным, да и, несмотря на заверения Прошки, ничего отыскать они не надеялись...

А туча над глинищем между тем все темнела и сгущалась, грозясь разразиться настоящим ливнем: всего еще несколько минут тому назад, хотя и крупные, но вовсе неопасные капли теперь слились в хорошо различимые дождевые полосы. Обретенного солдата, навзничь лежащего на дне глиняной ячейки, надо было чем-то срочно от них защитить. Поисковики заметались, начали поспешно собирать свои рубахи, майки, но всех вдруг опередил отец Михаил. Он быстро снял с плеч епитрахиль и серебряно-белую ризу и протянул их Николаю Петровичу:

— Укройте!

Николай Петрович ловко подхватил одежды-облачения отца Михаила, спустился по лесенке в ячейку и тщательно укрыл ими солдата, оставив на виду лишь светло-коричневое, будто загоревшее его лицо, которому теперь никакой дождь повредить, наверное, уже не мог.

Дождь и вправду минут пять-десять шел обильным непроглядным потоком, заставив всех спрятаться под березой, но потом вдруг словно кто-то невидимый обрезал его точно по краю глиняной насыпи. Косые дождевые струи с тяжестью и надземным шумом падали на бесплодное глинище, на луг, на реку, застили от взгляда шиферно-серые крыши деревенских домов и голубую церковную маковку, а над убежищем солдата ярко сияло августовское жаркое солнце.

— Ты погляди! — изумился этому явлению Прошка, плотнее прижимаясь к стволу березы.

Николай Петрович с помощниками тоже немало удивились увиденному, а самые младшие неразумные еще мальчишки-дети так даже опять заробели и, побросав удочки, начали искать защиты возле деда Прошки. И лишь один отец Михаил ничему не удивился и не пришел в боязливое изумление, а, словно продолжая молитву, произнес:

— Все в руках Божиих!

Когда же туча, гонимая ветром, уплыла за реку, унося туда с собой скоротечный слепой дождь, он твердым шагом вышел из-под березового листовенного шатра, будто из-под Царских врат, и направился к ячейке.

В ее глубине ничего не повредилось и не порушилось: стенки ячейки были почти сухими, нигде не оплыли, не взялись влажными разводами и потоками. Только на епитрахили и ризе отца Михаила кое-где виднелись небольшие лужицы-озерца дождевой прозрачной воды, да лицо солдата было омытым, по-утреннему чистым и свежим.

— Как живой! — созерцая обновленного солдата, не преминул воскликнуть Прошка и настоятельно призвал к обрыву ячейки малых детей и ребят-подростков, чтоб те тоже посмотрели на омытого дождем, будто живого и воскресшего солдата.

Николай Петрович и отец Михаил не стали мешать наставительной беседе Прошки с детьми, а отойдя в сторону, принялись обсуждать и советоваться, как быть и как поступать с солдатом дальше.

Но не успели они перемолвиться еще и двумя-тремя словами, как из деревенской улицы, бороздя и ломая пешеходную тропинку, выметнулась

на луг легковая бежевого цвета машина «Волга». В мгновение ока она круто развернулась возле ячейки, и из нее выбрался крупнотелый, тучный мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, но при тяжелом клонящем его голову книзу галстук.

— Военком, — почему-то вздохнул Николай Петрович и пошел на встречу мужчине.

А Прошка остался к нему совершенно безучастным. Несмотря на свою тучность и важность, военком не произвел на него никакого впечатления. Прошка еще с давней своей юности, когда он только собирался идти служить в армию, привык к тому, что военком — это всегда человек военный (не зря же он и зовется военным комиссаром), в значительном даже звании — подполковник или, в крайнем случае, майор. Этот же, хотя и был надменно-важным и при разлапистом галстук, но гражданским, нестроевым. На нем, как и на нынешнем министре обороны, тоже человеке сугубо гражданском, трудно было представить туго затянутый ремень, портупею через плечо и погоны. Никакой власти такого военного комиссара Прошка над собой признавать не желал. С места он не стронулся, опершись на посошок, стоял возле глиняной насыпи в окружении мальчишек и без всякого волнения дожидался, пока тот в сопровождении Николая Петровича подойдет поближе.

Военком, в свою очередь, тоже не обратил особого внимания ни на Прошку, ни на отца Михаила, который без облачения мало чем был похож на священника-батюшку — обыкновенный деревенский мужик, да и только, ни на Алешу с Витей и Славиком, ни тем более на малых беспоконных мальчишек — как будто здесь, у глиняной насыпи, никого из них вовсе не было. Тяжело, по-медвежьей переваливаясь с ноги на ногу, он подошел к краю раскопок и, еще не заглядывая в их глубину, немного как бы с досадой и недовольством спросил у Николая Петровича:

— Ну, что тут у вас?!

— Да вот, — подробно не распространяясь, указал ему на нетленного солдата Николай Петрович.

— Та-ак, — долго и придирчиво смотрел в ячейку военком.

Все в тревоге примолкли, ожидая от него самого справедливого решения. И военком решение это принял. Уверенной рукой поправив на шее ослабевший под собственной тяжестью галстук, он, несмотря на всю свою важность и значительность, сказал действительно справедливо и разумно:

— Ну что ж, похороним с отданием воинским почестей! Что здесь неясно?!

Он собрался уже возвращаться назад к машине, но тут Прошка неожиданно для всех и в первую очередь для гражданского военкома выказал свой характер. Он вышагнул из рядов и тени мальчишек и застыл в шаге от грозного военкома, невысокий росточком, поседевший, но крепенький в эти минуты, телом и духом.

— Больно ты скор, — смело и с вызовом сказал он ему, — похороним...

— А что же иначе?! — только сейчас, кажется, и увидел Прошку военком. — Под открытым небом оставим, что ли?!

— А это все в Божией власти, не нашей, — почти точь-в-точь повторив слова отца Михаила, произнес Прошка,

— Ну-ну! — только и нашелся, что ответить ему, военком.

Он непредвиденно ловко для своего отяжелевшего тела развернулся

и пошел назад к машине. Но прежде, чем сесть в нее, подозвал к себе Николая Петровича и предупредил его:

— Куда надо, мы сообщим!

— Хорошо, — пожал ему руку Николай Петрович, и на том все переговоры с военкомом завершились.

Шофер сразу, как только военком захлопнул дверцу, завел машину, и она стремительно помчалась в село, поднимая позади себя пыль, неизвестно откуда взявшуюся на мокром после дождя лугу...

* * *

Слух о том, что поисковики нашли на старом глинище нетленного солдата, быстро облетел все село. Принесли его туда малые мальчишки-рыбаки, которые, забоявшись, что матери будут их ругать за долгую отлучку, разбежались по домам, едва только военкомовская машина отъехала от глинища. Ну, а коль узнали о нетленном солдате женщины, то слух о нем уже как бы сам собой побежал от дома к дому, от подворья к подворью, тревожа и поднимая на ноги всю Березанку.

Поисковики ни о чем еще не договорились и ничего определенного не решили (вернули лишь отцу Михаилу епитрахиль и ризу, открыв опять солдата полуденному свету и солнцу), как от села к глинищу стал стекаться и прибывать народ: не занятые на осенних полевых работах старики и старухи, шустрые мальчишки, которые нескрываемо завидовали своим сверстникам, прознавшим о нетленном солдате раньше их. Теперь они старались наверстать упущенное и, обгоняя друг друга, бежали кто по разрушенной военкомовской машиной тропинке, а кто лугом, примыкавшими к глинищу дальними огородами и илистым речным берегом. Прервав самую срочную страду-жатву, появились на окраине села и занятые на полевой этой страде мужчины и женщины.

Но впереди всех, сопровождаемый внуком, шел, ощупывая дорогу длинной тоненькой палочкой, последний оставшийся в Березанке в живых солдат-фронтовик Сергей Махоткин. Во время войны на подступах к городу Будапешту он был тяжело ранен в голову, еще тяжелее контужен и почти полностью потерял зрение. Увечью своему Сергей, правда, не поддался, не впал в отчаяние, а, обходясь остатками зрения, работал в колхозе наравне с остальными здоровыми мужчинами, удачно женился на деревенской подростке к его возвращению с войны и госпиталя девочке, родил троих сыновей. Но постепенно зрение Сергея все-таки покинуло, и лет десять, а то и все пятнадцать он пребывал уже в непроглядной кромешной темноте. Жена, сыновья и внуки возили его по разным больницам, клиникам и глазным институтам, вплоть до московских повсеместно известных, но врачи лишь разводили руками: сами по себе глаза Сергея для его возраста были не так уж и плохи и еще могли служить и служить ему. Вся же беда Сергея заключалась в том, что в результате фронтového ранения и особенно контузии у него повредились глазные нервы, а против такого увечья наука и врачебное искусство, говорят, пока что бессильны.

Сергея с внуком на тропинке никто, даже нетерпеливые мальчишки, обгонять не решались, чувствуя и понимая, что он, фронтовик и участник войны, должен приблизиться к обретенному солдату первым. Пусть Сергей его и не увидит, но ощутить ощутит и уже от одного этого поздоровет и укрепитя силами.

К приходу Сергея Махоткина отец Михаил снова облачился в ризу и епитрахиль, словно перед самой торжественной службой и литургией. Прошка тоже подобрался, отряхнул с рубахи и брюк налипшие глиняные крошки и всякие иные соринки и встал рядом с батюшкой, готовый встречать односельчан приветливо-обходительным словом, объяснять любому и каждому, что тут на глинище и как случилось.

Сергей Махоткин по разговору и негромкому покашливанию Прошки догадался, что тот здесь на боевом посту и что без него столь необыкновенное происшествие никак обойтись не могло. Он легонько постучал палочкой возле обутых в летние переплетенные наперекрест всего двумя кожаными полосками сандалий Прошки и попросил, обращаясь по природному его имени:

— Егор, подведи меня к нему!

— Так он ведь пока на глубине, в ячейке! — не предвидя такой просьбы Сергея, растерялся тот.

— Ничего, — не отступал от своего намерения Сергей. — Лесенка небось есть?

— Лесенка есть, — с готовностью отозвался Прошка.

— Я и спущусь по ней, — опять постучал впереди себя палочкой по травяному насту Сергей. — Ты только укажи — куда.

Прошка подхватил Сергея под руку и начал подводить к обрыву ячейки, безошибочно метя на выглядывающую из ее недр алюминиевую рабочую лесенку поисковиков. Ему принялись помогать внук Сергея, ребята-поисковики, Николай Петрович и даже отец Михаил, обнимая и придерживая незрячего фронтовика за плечи. Но Сергей, нащупав руками лесенку, дал им знать, что он и сам справится. За долгие годы слепоты Сергей привык и приловчился все, что было ему возможно и доступно, делать самостоятельно, никого не обременяя излишней о себе заботой: одевался-обувался, аккуратно брился опасной бритвой-складеньком, помогал жене по дому и двору, мог даже (понятно, когда был помоложе) принести от колодца ведерко-другое воды.

Пошатав лесенку из стороны в сторону и убедившись, что она стоит прочно, Сергей развернулся и начал ощупывать ногой первую перекладку, чтоб, вступив на нее, погрузиться в ячейку. Но тут его вдруг опередил неугомонный Прошка:

— Погоди немного, — остановил он Сергея, — я спущусь вперед, чтоб принять тебя на глубине.

— Спускайся, — дал согласие на его помощь Сергей и, пропуская Прошку, отступил на шаг от обрыва.

Прошка на редкость проворно для своего тоже уже немолодого возраста проник в ячейку и крикнул оттуда, из подземелья, Сергею:

— Давай!

Сергей, оставив на поверхности ореховую свою палочку-поводыря, опять нащупал ногой ступеньку и стал спускаться в ячейку. Прошка удачно принял его, прислонил к глиняной стене, потом подождал немного, пока Сергей устоится, обретет равновесие и подсказал:

— Теперь склоняйся на колени.

Сергей, скользя и придерживаясь плечом о стенку, выполнил команду и требование Прошки, опустился на узенькую глиняную площадочку по правую сторону от солдата. Прошка сделал то же самое по левую сторону.

— Где он? — повел впереди себя рукой Сергей.

— Пониже опусти ладонь, пониже, — подсказал Прошка.

Сергей снова безропотно подчинился ему, опустил ладонь как можно ниже, к самой земле и угодил солдату на плечо и погон. Осторожно, но крепко, он сдавил худое это, угловатое плечо, будто поздоровался с солдатом, которого когда-то хорошо знал, но непредвиденно, как часто и случалось на войне, разлучился с ним на фронтовых дорогах.

Секунду помедлив, Сергей все так же бережно и чутко начал перебирать пальцами дальше, продвигаясь к лицу солдата. Вначале он прикоснулся к его щеке, потом к виску и коротко остриженным, не потерявшим своей жесткости волосам.

— Молодой? — уследив по учащенному дыханию, где находится Прошка, спросил он:

— Молодой, — утвердительно и разборчиво ответил тот. — Двадцать третьего года рождения. Иваном зовут, из-под Смоленска.

— Годок, — погладил Сергей солдата по стриженной, почти детской еще голове, словно малого, невыросшего ребенка, который годился теперь ему в сыновья, внуки и правнуки.

— На нем и крест есть, и иконка-ладанка Пресвятой Богородицы, — опять вступил в разговор Прошка. — Там все и написано: кто он и откуда.

Но Сергей оставил этот доклад Прошки пока без внимания, словно намеренно откладывая его на будущее, когда они поднимутся из ямы на поверхность и взаимно успокоятся. А сейчас он спросил Прошку совсем о другом:

— Куда его убило?

— В самое сердце, — после краткого молчания сказал Прошка.

— Легкая смерть, — словно завидуя солдату, вздохнул Сергей. — Мгновенная.

Он подвинул руку с его головы на грудь, обнаружил там крест и иконку, но не тронул их, как того ожидал Прошка, а закрыл широкой своей отяжелевшей за долгую жизнь и неустанную крестьянскую работу ладонью рану солдата под левым карманом гимнастерки, как будто хотел охранить его от летящей смертельной пули.

В недвижимом этом положении Сергей стоял долго над поверженным солдатом, к чему-то напряженно прислушивался внутри самого себя, что-то обретал и никак не мог поверить этому обретению.

— Я вижу его, — вдруг взволнованно и тревожно произнес он.

— Кого? — вначале ничего не понял в словах Сергея Прошка.

— Солдата, — уже чуть громче, твердея голосом в каждом звуке, проговорил тот. — Лицо его вижу, грудь, винтовку в руке, крест и ладанку на груди... И тебя, Прошка, вижу. Седой ты весь и щуплый.

Прошка замер, безмолвно прислонившись спиной к глиняной стенке. Замерли наверху ячейки, расслышав получше, чем туговатый на ухо Прошка, слова Сергея, Николай Петрович, отец Михаил и ребята-поисковики.

А Сергей, все так же не отрывая ладони от груди солдата, высоко запрокинул голову и, просветлев всегда по-старчески темным лицом и затянутыми незрячей пеленой глазами, сказал уже совсем уверенно и отчетливо:

— Березу вижу и солнце.

Он опять сам по себе, отвергая помощь Прошки, поднялся с коленей, отыскал взглядом лесенку и поднялся наверх. Там его сразу окружили

односельчане и поисковики и начали наперебой спрашивать, до конца еще не веря откровениям Сергея:

— Правда, видишь?!

— Вижу, — рассеял все их сомнения тот и безошибочно указал на своего внука. — Вот это внук мой, Сергей, очень похож на меня в молодости.

Это было и вправду так. Старики и старухи, которые помнили Сергея Махоткина в молодые его довоенные и послевоенные годы, говорили ему всегда то же самое, мол, Сережа больше похож на деда, чем на отца с матерью. Теперь же Сергей сам убедился и удостоверился в этом. Он обнял, прижал внука к себе твердой, обретшей уверенность в движении, будто тоже в одно мгновение прозревшей рукой и сказал, не скрывая своей радости:

— наших кровей, махоткинских.

Стал Сергей узнавать и других березанцев, называть их по именам и фамилиям, опять несказанно радовался этому узнаванию сам и радовал все тесней и тесней окружавших его односельчан, которые намеренно старались попасться ему на глаза и окончательно утвердиться в вере, что ни в чем не обманывает их Сергей — видит все вокруг и различает.

Пока длилось это узнавание, Прошка тоже выбрался из ячейки и, переходя от одной стайки березанцев к другой, восторженно рассказывал, как там, на глубине, все случилось, как Сергей, положив руку на простреленную грудь солдата, вдруг прозрел, увидел вначале убиенного, а потом и его, Прошку, и ни на вот столечки не ошибся, что это именно он, Егор Дмитриевич, весь седой и белый, в клетчатой летней рубашке.

Прошку все внимательно слушали, интересуясь самыми малыми подробностями произошедшего, а когда тот умолк, несколько человек, которых давно тоже одолевали неизлечимые болезни и увечья, робко спросили его, нельзя ли и им спуститься к солдату.

— Это как отец Михаил решит, — не посмел дать подобное позволение Прошка.

Болящие начали пробиваться сквозь толпу к отцу Михаилу, но в шаге от него остановились и безропотно притихли. Отец Михаил вдруг негромким, но по-особому проникновенным голосом стал читать молитву на обретение святых мощей, хотя без разрешения высшей духовной власти, может, и не имел на то должного права: «Ныне силы небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь славы, се жертва тайная совершена дароносится...» Кто как умел и мог, поддержали его, и торжественно-скорбное это песнопение широко растеклось по суховейному глинищу и по лугу.

Не пел лишь один Сергей Махоткин. Он все глядел и никак не мог наглядеться на это пожухлое к осени глинище, на высокоствольную березу, на луг и речку, но больше всего на прозрачное голубое небо, заново обретая его и как будто заново нарождаясь на свет Божий.

Когда соборная молитва была завершена, отец Михаил, тоекратно благословил березанцев крестным знамением и повелел им расходиться по домам до нужного часа. Но никто уходить не торопился. Березанцы еще теснее сгрудились вокруг разрытой ячейки, стараясь хоть краешком глаза посмотреть на нетленного солдата, а болящие, наконец, пробившись к отцу Михаилу, принялись слезно просить у него позволения спуститься к солдату по лесенке

— Не надо его пока тревожить, — удержал их отец Михаил. — Моей власти здесь мало...

Березанцы вроде бы и согласились с отцом Михаилом, что только высшие духовные лица могут определить участь нетленного солдата, признать его мощи святыми или не признать, но вместе с тем и тревожились, как скоро это случится и где быть до той поры обретенному.

И тут вдруг возник рядом с отцом Михаилом совсем было затерявшийся в толпе Прошка.

— В раку его надо заключить, — подсказал он верное, неоспоримое решение. — Заключить и в церкви под Престолом поставить. А там видно будет...

Отец Михаил окинул притихшую стайку своих не всегда прилежных в служении и церковных обрядах прихожан пристальным пастырским взглядом, словно советуясь с ними и совместно сомневаясь, дозволено так поступить или не дозволено, потом перевел взыскующий этот взгляд на нетленного солдата и, наконец, спросил выжидающе застывшего Прошку:

— А ты раку смастерить сумеешь?

— Отчего ж не сумеет, — загорелся просьбой-наказом отца Михаила Прошка. — Сладим с Божией помощью.

— Тогда и благослови тебя Бог! — осенил Прошку наперсным крестом отец Михаил. — А мы все будем молиться и ждать...

* * *

Молва о нетленном, обретенном в Березанке солдате быстро облетела все окрестные деревни и села, и к нему потянулись пешие, конные и автомобильные паломники. Но на подступах к глинищу их неприступным кордоном встречали поисковики, которые переместили туда свою палатку и теперь несли посменно караульную службу. Каждодневно был там и кто-нибудь из добровольных церковных помощников отца Михаила (а часто и он сам). Встречая паломников, караульщики сочувственно, но непреклонно говорили им:

— Пока рано. Вот заключим в раку, получим благословение высших духовных властей, тогда и приезжайте.

Паломники на эти запреты караульных не обижались, понимая, что так оно, наверное, и должно быть: без позволения главенствующих духовных лиц приложиться к нетленному солдату не положено и нельзя. Они лишь просились хотя бы издали посмотреть на глиняную ячейку, где солдат лежит и покоится. На это разрешение им давалось. Паломники, не отрывая глаз, глядели на прикрытую поисковиками брезентом ячейку (вдруг опять нагрянет дождь, да еще если с грозой), вздыхали и тоже соглашались ждать, сколько будет назначено и необходимо...

А Прошка все эти дни неустанно мастерил раку.

У него давно лежала в повети дубовая в два обхвата толщиной колода. Приобрел ее Прошка в лесничестве на осенней расчистке и намеревался, распустив на плахи, сладить в доме новые подоконники-подушки взамен старых, заметно уже подгнивших. Но дело это у него все откладывалось и откладывалось. Самостоятельно распустить колоду на плахи ручными пилами Прошка по слабости своих сил уже не мог. Надо было везти ее на пилораму в район за двадцать километров (своя, колхозная, разрушилась и бесследно исчезла вместе с колхозом), но доставить туда колоду у Прошки опять-таки не имелось никакой возможности: ни грузовых тяжелых машин, ни тракторов с прицепами в Березанке тоже не осталось. Несколько раз Прошка заикался насчет колоды и подоконников

сыну, то тот не торопился исполнять его настоятельную просьбу: то некогда сыну было, недосуг, то вдруг надумал он поставить в доме какие-то диковинные пластмассовые окна (и начал уже для замысла того накапливать деньги), которые теперь повсеместно ставят в городских каменных квартирах.

Так и долежала колода до нынешнего сокровенного часа. Выкатив ее на середину повети-мастерской, Прошка, помолясь, и приступил к ней со всеми необходимыми инструментами. Несмотря на свой суетный разговорчивый характер, плотником и столяром он действительно был отменным, редких наклонностей и искусства. Рубил ли Прошка дом-сарай, вязал ли косяки-лутки, рамы и двери, так делал он все это не только ради прочности и повседневной необходимости, а еще и ради красоты, чтоб и дом, и сарай, и окна-двери не просто служили по принадлежности своей, но и радовали, веселили глаз. На крыше дома или сарая Прошка непременно воздвигал голосистого сторожевого петушка, оконные наличники-обиконцы ладил резными, с затейливыми кружевными и ажурными кокошниками наверху. Такими же кружевными, воздушно-легкими выходили из-под руки Прошки и подстрешные «фартуки», на изготовление которых иные-прочие нынешние столяры не желали тратить ни сил, ни времени.

Не раз и не два за свою долгую жизнь приходилось Прошке мастерить скорбные, но, куда ж деваться, необходимые в завершение человеческого земного срока деревянные прибежища всего на четыре доски — гробы-домовины. Только и они у Прошки получались, хотя и скорбными, но не устрашающими, тяжелыми и гнетущими, а всего лишь печально-грустными, по-живому пахли сосновой смолой-живицей, чем облегчали участь и усопшего, и остающихся пока на этом горевом свете его собратьев и со-родичей.

Раку же Прошка мастерил впервые. Прежде он лишь несколько раз видел ее во время солдатской своей службы в городе Киеве в подземных пещерах Киево-Печерской лавры, да в знаменитых древних монастырях, куда заглядывал не столько по богомольному своему пристрастию, сколько по молодому задорному любопытству. Но, вот же довелось и досталось мастерить и раку.

Перво-наперво Прошка принялся вырубать столярным малым топориком, долотами-стамесками разных размеров, подчищать рубанком-горбатином ложе раки. Потом взялся за наружные ее стороны. В изголовье он вырубил православный восьмиконечный крест, а в ногах — веночек полевых неброских цветов и трав. На продольных же боковинах Прошка пустил стремительно бегущие веточки-вьюнки с продолговатыми листочками, одинаково похожими и на лавровые, и на более привычные в их местности — вербные.

Село в ожидании, пока Прошка справится с ракой, притихло и непривычно замерло. Нигде не было слышно ни громких переключек, ни праздничного веселья, ни даже ребячьих шумливых голосов. Лишь изредка, встречаясь где-нибудь на улице или возле колодцев, березанцы, настороженно прислушиваясь к ударам Прошкиного топора, к шорханью рубанка-горбатика, полусшепотом говорили:

— Рубит...

— Строгает...

И опять замирали в безмолвии и поспешно расходились по домам...

* * *

Завершил свою работу Прошка на третий день к вечеру и пригласил в повесть отца Михаила с Николаем Петровичем поглядеть и определить, ладно ли у него все получилось, достойно ли и не требуется ли еще какая-нибудь дополнительная доводка.

— Все ладно, — в два голоса сказали отец Михаил и Николай Петрович, дивясь искусству старого Прошки.

Рака и вправду вышла у него редкой красоты, искусства и легкости. При свете заходящего августовского солнца, которое проникало сквозь широкое обрамленное резными наличниками окошко в повесть, она первоначально, прозрачно сияла, словно была сделана не из обыкновенного дерева-дуба, а из чистейшего серебра-золота. Полевыми своими цветами и травами, туго сплетенными в веночек, лавровыми и вербными продольными бегунками, а больше всего православным намоленным крестом в изголовье рака, казалось, зримо и осязаемо поднималась над усыпанным стружками полом повесть и парила в вечернем воздухе.

Отец Михаил окропил раку святой водой, прочитал молитву и при полном согласии Николая Петровича и Прошки назначил, что завтрашним днем они переложат в нее нетленного солдата и понесут Крестным соборным ходом в церковь.

* * *

Прознав об этом решении отца Михаила, село с раннего вечера начало готовиться к завтрашнему Крестному ходу. Женщины достали из шифоньеров праздничные выходные наряды, мужчины отложили задуманные на завтра самые срочные работы и поездки, повымылись в банях, чисто в два захода побрились, а дети без долгих уговоров и напоминаний пораньше легли спать, чтоб пробудиться утром ни свет ни заря вместе с отцами-матерями и не пропустить, как будут поднимать из глиняной ячейки и опускать в раку нетленного солдата.

Когда же августовская наполненная ожиданиями ночь иссякла, березанцы, наскоро управившись с домашними обязательными заботами (подоили и выгнали в стадо коров, накормили кур-уток, обиходили прочую мелкую живность да протопили наспех печки), семейно и одиночно потекли к глинищу.

Часам к девяти начали подходить и подъезжать пешие, конные и автомобильные паломники из соседних дальних и ближних деревень, куда слух о сооруженной Прошкой раке и о поднятии солдата долетел по проводным и повсеместно модным нынче беспроводным карманным телефонам, а еще надежнее сам собою, не зря же говорят — земля слухом полнится.

Отец Михаил в церковном горящем на солнце облачении, подтянуто-значительный Прошка в белой фланелевой рубашке и Николай Петрович с помощниками, все в камуфляжно-зеленой форме (жаль, без погон) встречали их и расставляли вокруг ячейки по бугоркам и холмикам, так, чтоб всем было одинаково видно, что возле нее происходит и свершается.

Из церкви были доставлены хоругви, иконы, выносной крест с окаймленным Божественным сиянием ликом Иисуса Христа, фонарь на длинной точеной ручке с загодя установленной в нем восковой, рассчитанной на долгий срок горения свечой. По указанию отца Михаила хоругви, крест

и фонарь были розданы самым крепким и надежным мужчинам, а иконы женщинам и детям.

Но главное, что влекло и приводило в тревожно-печальный восторг паломников, была установленная у края ячейки рака, которую Прошка вместе с Николаем Петровичем, Алешей, Витькой и Славиком привезли сюда, считай, еще затемно на легковой оборудованной верховым багажником машине.

В изголовье раки на табурете сидел Сергей Махоткин, тоже по-праздничному принаряженный домашними в новую рубаху, пиджак и легонькие летние туфли. Говорят, внук хотел еще прикрепить на грудь Сергею все его фронтовые и послефронтовые ордена и медали, то тот решительно предостерег его от подобного намерения: «Ни к чему это все нынче!» И внук не посмел противиться деду, хотя до конца и не понял, что означает это его запретное «ни к чему».

Паломники с удивлением и похвалой глядели на дубовую беломраморного цвета раку, на ее резной крест, цветы и листья, но еще с большим удивлением глядели на Сергея Махоткина. Впервые за долгие годы руки его не были заняты длинной ореховой палочкой-поводырем, и он не знал, куда их девать: то тяжело складывал в покое на коленях, то опускал почти к самой земле вдоль табурета, то прикасался к раке, словно согревал их исходящим от нее теплом и светом.

Все было уже готово к подъему солдата и Крестному ходу, но Николай Петрович, то и дело прикладывая к уху махонький телефон-мобильник, просил отца Михаила подождать еще немного — обещался подъехать военком с офицерскими какими-то чинами, а без них идти Крестным ходом было и преждевременно, и нехорошо.

Но вот наконец Николай Петрович после очередного телефонного разговора сообщил собравшемуся на лугу народу:

— Вроде бы едут...

Березанцы и паломники сразу заволновались, потеснее сгрудились в стайки на бугорках и холмиках: как-никак, едет начальство, к тому же военное, всегда более суровое и требовательное, чем привычное для сельских жителей — гражданское, и еще неизвестно, как оно себя поведет. Вдруг опять вознамерится похоронить нетленного солдата на деревенском кладбище, рядом с братскою могилою. И как тогда противиться несговорчивому начальству, как оборонять солдата от этого, пусть, может, и законного, а все ж таки не Божеского намерения.

Ждать пришлось недолго. Не успели березанцы и паломники даже накоротке переговорить между собой о предстоящей обороне, как из окраинной деревенской улицы вынырнула «Волга» военкома. Подъехав к глинищу, она, чуть потеснив мужчин с хоругвями на торфяник, остановилась в двух шагах от раки.

Но вместо военкома из «Волги» совсем неожиданно для березанцев и паломников, выбралась маленького почти неприметного росточка старушка в белом, повязанном под подбородок платочке и мужчина лет шестидесяти, заботливо поддерживающий ее под локоток.

Старушка поясno поклонилась народу, осенила себя незыблемо-твердым крестным знамением и встала под занесенную уже для благословения руку отца Михаила.

— Сестра убитого с сыном, — тут же побежала по бугоркам и холмикам, неведомо от кого и как возникнув, молва о старушке и сопровождавшем ее мужчине.

— А где же военком?! — озабоченно спросил шофера Николай Петрович.

— Подъедет попозже, — ответил тот и поспешно стал разворачивать машину, чтоб отправиться назад в город.

Николай Петрович опять было приложил мобильник к уху, но потом спрятал его в карман и, ничего больше не говоря шоферу, тоже подошел к старушке.

Отец Михаил троекратно благословил ее, приобнял за плечо и, зорко следя, чтоб она случайно не оступилась на травянистом уже затоптанном сотнями ног дерне, повел к обрыву ячейки.

Старушка поправила на голове платочек, прикрыла даже перед горестным испытанием глаза, потом долгим неотрывным взглядом посмотрела на затененного в глубине глиняного склепа солдата.

— Он, — едва слышимо выдохнула она. — Ванечка! — И, закрыв заплаканное лицо худенькими ладонями, припала к груди подоспевшего ей на помощь сына.

Отец Михаил отдал ему старушку на полное попечение, чутко понимая, что в эту тяжелую минуту ей лучше побыть в объятиях и утешении родного, кровного человека.

Старушка и вправду вскоре успокоилась, вытерла глаза кончиком платочка и уже просветленным, ясным взглядом еще раз посмотрела на лежащего в глиняной тверди брата с широко разметанными руками.

Ни отец Михаил, ни сын, ни Николай Петрович с ребятами-поисковиками не посмели нарушить этого созерцания. Они молча стояли поодаль, за спиной старушки, не зная, что и как можно сказать в такую минуту.

И вдруг растерянное их молчание прервал Сергей Махоткин. Он поднялся с табурета, почти уже привычно, без чьей-либо посторонней помощи подошел к старушке, прижал ее к себе, тихо поцеловал во влажные вновь наполнившиеся слезами глаза и еще тише произнес, указывая взглядом на ее брата:

— Я только прикоснулся к нему — и вот вижу. А до этого двадцать лет был незрячим.

Старушка ответно обняла Сергея, погладила по щеке старенькой своею теплой, почти обжигающе горячей ладонью и сказала:

— Он всегда таким был, будто ангел небесный.

Отец Михаил, Николай Петрович и сын старушки почувствовали себя при таком взаимно-откровенном разговоре Сергея с сестрой солдата лишними и бесшумно отошли от ячейки к мужчинам-хоругвеносцам.

Старушка не стала их окликать и удерживать, как будто и прежде рядом с ней и Сергеем никого постороннего и не было. Она вдруг достала из бокового кармана кофточки-джерпера тщательно завернутый в носовой платочек узелок, осторожно развязала его и протянула Сергею старую пожелтевшую фотографию довоенных еще времен. Сергей, удерживая ее на доступном для глаз расстоянии, принял ее внимательно и пристально рассматривать. На фотографии был изображен молодой, может, всего четырнадцатилетний парень в рубашке-косоворотке и чуточку уже коротковатых для него брюках, а рядом совсем малая русоволосая девчонка в легоньком летнем платьице с надплечными крылышками.

— Это мы с Ваней в тридцать шестом году, — пояснила Сергею старушка.

— Какой молоденький, — словно припоминая самого себя в давние те довоенные годы, отозвался на ее слова Сергей.

— Молоденький, — еще раз посмотрев на фотографию, вздохнула старушка и вдруг начала рассказывать Сергею о брате все, что знала и что запомнила из его юношеской жизни. — Бывало, заболело, так Ваня сядет рядышком, положит руку — вот так — на лоб и будто забирает болезнь на себя, она сразу уходит, отпускает — и к вечеру я уже совсем здорова и весела.

Сергей никакими дополнительными вопросами и любопытством не перебивал старушку, а лишь украдкой глядел на нее просветленными своими глазами и все больше и больше узнавал в ее лице черты старшего брата: такой же высокий чистый лоб, такие же гибкие, в широкий разлет брови, такой же тонкий заостренный подбородок. И только взгляда, глаз старушки и брата он сравнить и сличить не мог. У старушки взгляд был живой и теплый, с подвижными, чуть покрасневшими от слез веками, а у брата веки были крепко-накрепко сжатыми.

О чем еще говорила, что еще рассказывала Сергею о брате старушка, того никто не слышал. Никто не уловил и ответных слов Сергея. Отец Михаил и Николай Петрович в который уж раз принялись советоваться между собой, как извлекать солдата из ячейки, водружать в раку и после нести Крестным ходом в церковь. Они заоглядывались по сторонам, ища среди березанцев и паломников Прошку, чтоб спросить и его мнения. Уж кто-кто, а Прошка подсказал бы им, что и как надо делать: в войну ему вон сколько довелось поднимать из земли, переносить и перевозить убитых.

Но Прошка нигде не отыскивался. Как только раку установили возле ячейки, он незаметно затерялся в толпе, в самых дальних ее рядах. За ним давно водилась странная такая привычка: срубив дом, сарай или баньку с воинственно вознесенными на их кровлях сторожевыми петушками или, приладив на окнах резные наличники, а в подстрешье «фартуки», он всегда отходил в сторону, давая возможность хозяевам, их соседям и всем прочим жителям без стеснения оценить его плотницкое умение и искусство. Но еще с большим пристрастием оценивал Прошка в такие минуты это умение сам и почти всегда находил какие-нибудь досадные недочеты и недочеты.

Он и нынче, выбрав себе местечко на маленьком бугорке-торфяной кочке, взыскательным взглядом окидывал раку из-за спин березанцев и паломников. И ему зримо и явственно виделось, что в переплет с бегущими по обеим ее сторонам вьюнками из лавровых и вербных листьев все-таки надо было пустить полевые и луговые цветы: звонкие колокольчики, васильки-волошки, вереск и чабрец, и тогда бы рака смотрелась, может, даже ничуть не хуже, чем в Киево-Печерской лавре.

В изножье раки, рядом с веночком, Прошка обнаружил один недобранный стамескою и рубанком бугорок и так раздосадовал этому недочету, что вообще готов был уйти домой и затвориться где-нибудь в повети.

Отец Михаил, не найдя Прошку, своей волей и властью принял решение и сказал Николаю Петровичу:

— Давайте начинать. Пора!

— Давайте, — поддержал его тот и спустился по лесенке в ячейку.

Вслед за Николаем Петровичем спустился туда и совсем какой-то сегодня задумчивый Алеша. Вдвоем они опытно и согласно подвели под солдата заранее заготовленный дощатый помост; правую его руку с не-

отрывно зажатой винтовкой прислонили к бедру (и сразу получилось, как будто тот взял ее на караул, чтоб заступить на доверенный ему самый ответственный пост), а левую положили на грудь чуть повыше солдатского ремня с пятиконечной звездой.

Удостоверившись, что солдат лежит на помосте прочно и непоколебимо, Николай Петрович с Алешей оторвали его от земли и подняли наверх. Там помост из рук в руки приняли Витя со Славиком, отец Михаил, два-три мужчины-добровольцы из березанцев и паломников и Прошка, который, наконец преодолев все свои сомнения, объявился возле ячейки. Он немедленно откликнулся на просьбу Николая Петровича и отца Михаила и принялся распоряжаться работами, зорко следя за тем, чтоб при возложении солдата в раку никто не потревожил его лишним резким движением, не отвлек от постовой караульной службы.

Все у мужчин получилось, как нельзя лучше. Солдат лег в раку покойно и терпеливо, не выронив из правой руки винтовки, а левую не отняв от груди.

Ничто в нем не изменилось и не нарушилось: ни откиннутая чуть назад голова, ни по-юношески худенькие шея и плечи, ни в струнку вытянутые ноги в солдатских ботинках и обмотках. И лишь лицо солдата при ярком полуденном сиянии солнца вдруг просветлело, нестойкий коричневатый загар сошел с него; оно посвежело и даже как будто зарумянилось.

Старушка, до этого мгновения молчаливо стоявшая в сторонке, теперь подошла к раке, обняла брата за грудь, припала щекой к его просветленной, согретой солнцем щеке и сказала так, как, наверное, не раз говорила в далекой своей детской жизни:

— Братик мой милый...

Никто старушке не мешал, не тревожил и не торопил ее. Все понимали, что старушке надо хоть немного побыть с братом наедине, высказать ему все, что долгие годы разлуки таила и берегла в душе только для него одного, единственного. Ведь сейчас брата отнимут, отторгнут от нее, и он уже будет принадлежать не только ей, а и всем иным людям, перед которыми неожиданно явился, нетронутый землей и тлением. Старушка еще теснее припала к брату и не смогла сдержать своего невольного горестного упрека:

— Мать так надеялась, так ждала, что ты вернешься...

Солдат, казалось, внимательно слушал сестринские упреки и обиды, слушал и внимал им. И вдруг как будто прошептал с успокоительной, чуть тронувшей его губы улыбкой: «Вот я и вернулся...»

Старушка заплакала совсем уже навзрыд, прощально обняла брата и уступила место возле раки своему сыну.

Тот склонился над ней, тоже заплакал, прикоснулся широкой ладонью к груди солдата, которого видел прежде только на фотографии, да знал о нем по рассказам матери.

— Оставь его, Ваня! — легонько тронула сына за рукав старушка.

Слова ее прозвучали негромко, но отчетливо и по-матерински повелительно. Их услышали даже на самых отдаленных бугорках и холмиках. Там все пришло в волнение и беспокойство. Отец Михаил больше медлить не стал и отдал распоряжение устраивать Крестный ход.

Возглавляя его, далеко вперед, на луговую тропинку, вышел с иконой Пресвятой Богородицы в руках высокий, уверенный в шаге старик, Матвей Еремин, который во время любого Крестного хода: — на Рожде-

ство, на Пасху, на Троицу, в день Преображения Господня, на Спаса, — всегда и носил ее, задавая Крестному ходу особенно торжественную и мерную поступь. Вслед за Матвеем встал с престольным Животворящим крестом бывший учитель труда восьмилетней березанской школы, а теперь один из самых усердных помощников отца Михаила в церкви Александр Наумович. Потом, по-военному подравнявшись в единую шеренгу, выступили мужчины с фонарем и хоругвями и несколько женщин и детей со своими, снятыми с домашних кивотов иконами. Они все повернулись в полуоборот к ячейке и начали ожидать, когда отец Михаил, прочитав молитву, отдаст приказание отрывать раку от земли и вставить с нею в самом центре Крестного хода.

Минута была скорбная и напряженная, наполненная молитвенным голосом отца Михаила, дьякона и певчих. Но вот иссякла и она, и к раке с двух сторон подступили Николай Петрович с Алешей и Витя со Славиком.

По команде Николая Петровича они подняли раку на плечи, и она сразу взметнулась, вознеслась над людскими головами, почти вровень с хоругвями. Золототкаными своими полотнищами с ликами Иисуса Христа и Божией Матери они широко развевались на ветру, образуя вокруг нее охранный шатер.

Отец Михаил, дьякон и певчие, выждав несколько мгновений пока рака потверже укрепится под этим шатром-хоругвями, расположились в двух шагах позади нее. Их примеру последовали старушка с сыном и Сергей Махоткин. Поддерживая друг друга, они отдельной, соединенной теперь почти родственными уже узами стайкой укрылись за спиной отца Михаила и приготовились к дальней и нелегкой для них дороге. А за ними, сколько видно было глазу, вдоль глинища и луга, до самой речной уремы выстраивались березанцы, пришлые и приезжие паломники

Прошка поначалу хотел было вслед за Николаем Петровичем и его помощниками тоже подставить плечо под раку, чтоб несменяемо нести ее к церкви, но потом отступился от этого своего намерения, вовремя определив, что он по сравнению с молодыми мужчинами маловат ростом: плечом до раки Прошка не дотянется и будет лишь помехой для них, сбивая с ноги и шага.

Он опять затерялся в толпе и теперь уже совсем издалека, поверх людских голов, смотрел на раку и с двойным пристрастием укорял себя, что не пустил вдоль лавровых и вербных бегунков полевые и лесные цветы...

Но долго удерживать на этом внимание у Прошки не получилось. Отец Михаил осенил себя напутственным крестным знамением и подал условный знак Матвею Еремину: мол, пора, выступаем с Богом.

Матвей долго ждать себя не заставил. Он поднял-взметнул икону Пресвятой Богородицы высоко над головой и сделал по торфяной тропинке начальный размеренно-твердый шаг. И в то же самое мгновение далеко в селе на церковной звоннице ударил колокол. Звонарем у них в Березанке был молодой выученик районной музыкальной школы по классу духовых инструментов, трубы-валторны Павел (Паша) Красавкин. Еще в первые годы музыкальной своей науки он пристрастился подниматься на звонницу, которой тогда безраздельно владел его дед, Борис Серафимович (Борис-звонарь, как все в Березанке от мала до велика звали его). Паша вначале на слух, а после уже и согласно нотной музыкальной грамоте перенял от деда старинное умение и тайну коло-

кольного перезвона. Поименно различал он все, какие только бывают в храмах, колокола: большие и малые, праздничные, воскресные, полиелейные и еще особые — зазвонные колокольцы. Когда же дед Борис умер, Паша с полного согласия и благословения отца Михаила стал исполнять на них все будничные и праздничные благовесты, заупокойные службы и тризны уже в одиночку, ничуть не уступая, а может, даже и превосходя деда.

Нынче отец Михаил повелел Паше подняться на церковную колоколенку с утра пораньше и зорко следить за всем, что будет происходить на лугу. И как только Крестный ход с поднятой над головами ракой обустроится, чтоб идти к церкви, так, нисколько не медля, сразу ударить в колокола.

И Паша не упустил, не проглядел нужного мгновения. С первым шагом Матвея Еремина, он тронул главный, самый тяжелый колокол вначале чуть слышимым, далеким звуком, а потом, подстроив к нему колокола и колокольцы поменьше, огласил всю округу таким звоном, какого никто и никогда еще здесь не слышал. Он не был заупокойно-поминальным, но и не был радостно-праздничным, а каким-то особым, словно набат, возвышающим душу.

Отец Михаил, дьякон и певчие, едва лишь этот звон коснулся их уха, на одном породненном дыхании возгласили молитву-Трисвятое: «Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас...» На повторе ее подхватила из уст отца Михаила старушка, а вслед за ней сын и Сергей Махоткин, который впервые за долгие годы своей слепоты шел в столь дальнюю дорогу без палочки и сопровождения, смело и безоглядно.

От них молитва как бы сама по себе перекинулась на остальных паломников, волна за волною захватывая все новые и новые их ряды, — и вскоре уже пел весь Крестный необозримый ход.

Николай Петрович в просвет между хоругвями иногда обеспокоенно поглядывал на село, надеясь увидеть на его выезде машину военкома. Но она что-то никак не появлялась и не появлялась...

Крестный ход тем временем, стройно вытягиваясь в длинную нескончаемую ленточку на лугу, вскоре подошел к деревенским домам и начал заполнять широкою песчаную улицу.

И вдруг, откуда ни возьмись, над ракой, крестом, иконами и хоругвями взвилась стайка никем вначале не опознанных птиц.

— Горлицы это! Горлилки! — радостно воскликнул, первым узнавая их, Прошка.

Вслед за ним все березанцы и паломники тоже признали в метущейся птичьей стайке диких лесных голубей-горлинок. Признали и удивились, как это они не могли их различить сразу, когда те только появились над ракой, над иконами и хоругвями. Хотя, может, потому и не различили, что горлилки — птицы тайные, скрытные, в село к людям они не залетают, а живут в полном уединении в лесах и чащах.

Но вот сегодня, нарушив это уединение, залетели...

Когда показалась церковь с широко распахнутой дверью притвора, горлилки взмыли на голубую увенчаную крестом маковку и уселись там на карнизе.

Так, под колокольный звон, молитву отца Михаила и голубиное воркование раку занесли в церковь и поставили подле Престола и иконы Божией Матери.

Крестный ход у церковного порога разбился теперь уже в одиночную цепочку, и каждый паломник стал с крестным знаменем подходить к раке, прикасаться к ней и склонять перед нетленным солдатом голову.

Людской поток паломников и березанцев шел до самого позднего вечера, и горлинки за все это время ни разу не струнулись с карниза. Но когда возле солдата остались одна лишь старушка с сыном да отец Михаил с Николаем Петровичем и Прошкой, они вдруг в единый взмах крыльев запорхнули в церковь и вихрем закружились над ракой, как будто возвращая солдату из высокого, только им одним доступного, поднебесья его молодую бессмертную душу...

*13.12. 2011 г. — 19.01.2012 г.
г. Воронеж*





РАННЕЮ ЗАРЕЮ, ВЕЧЕРНЕЮ ПОРОЮ

Повесть

*Раннюю зарю,
Вечернюю порою
Помоги, Господи!*

Молитва
перед началом заговора

Такие вечера бывают только в самом конце августа. День еще стоит жаркий и знойный, все изнемогает от нестерпимо палящего солнца: и земля, и деревья, и люди, а в ранних сумерках вдруг неожиданно-негаданно поднимется над утомленной землей сизобелый туман. Он окутает, сокроет от человеческого глаза вначале реку и луга, потом огороды и отяжелевшие от наливных яблок и груш сады, незаметно подберется к подворьям и домам — и в тот же миг станет повсюду свежо и даже прохладно. И сразу почувствуется приближение скорой осени.

Вот таким августовским прохладным вечером, упредив на полчаса туман, Антон побежал к реке поставить, кинуть, как он говорил, от берега к берегу переметы. Из всех видов и хитростей рыбалки Антон больше всего любил именно переметы. Снасть вроде бы и не замысловатая: длинный шнур с насаженными на него грузилами и крупного размера крючками-кошками на поводках-оттяжках, а какая удачливая и надежная и, главное, как томит она душу настоящего рыбака ожиданием. Днем наловишь в прибрежном болотце ивовой комлей-топтухой, а то и просто корзиную мелкой всякой рыбешки-живца (чаще всего увертливого, гибкого вьюна), сохранишь его в ведерке с водой, а как только завечереет, сразу весло на плечо, перемет на локоть и бежишь с тем ведерком к реке, весь в охотничьем азарте и сладкой тревоге. Один конец перемета привяжешь на этом берегу к какой-либо коряге, потом взметнешься на утлюю лодчонку-плоскодонку и, едва-едва пошевеливая веслом, чтоб не снесло ее по течению, плывешь к берегу другому, противоположному, и начинаешь, не торопясь и не поспешая, разматывать шнур и нанизывать на крючки-кошки живца, а сам горишь душою. Испепеляешь ее, думаешь-прикидываешь — на этого живца возьмется полутораметровый сом, линь, налим

(случается, что и щука) или на другой, соседний. В такой прикидке, надежде на удачу добрая четверть, а то, может, и вся половина рыбацкого счастья.

Поставив перемет, ночью спишь плохо, часто просыпаешься, куришь на крылечке веранды папироску за папироской и опять все думаешь и переживаешь — позарится кто из обитателей подводного царства на твои переметные крючки или не позарится? А раннею зарею, едва посветлеет краешек неба, бежишь во все дыхание к реке. И вот она — удача! И на одном крючке, и на другом, и на третьем то линь, то язь, то шупачок или карась, а на самой середке — сом, да какой! Не сом, а сомище — толстый, нагулянный, не меньше, как два пуда веса, и усы — в полметра длиной.

С таким уловом, с таким сомищем на плече идешь ты домой, уже ничуть не торопясь и не поспешая — полным победителем идешь, и каждый встречный-поперечный сельчанин поздравляет тебя с богатой добычей, интересуется, не будешь ли ты продавать сома, хоть всего целиком, хоть по частям, трогает его для забавы и удовольствия и за усы, и за хвост, и за плавники. А рыбаки, которые припозднились сегодня и еще только идут встречь тебе к водоему, каждый со своей излюбленной снастью: кто с сетью, кто с кошарою или малым волочком, а кто так и просто с набором разномастных удочек, мотырок и жерлиц, хотя глубоко и таят рыбацкую и охотничью свою зависть, поздравляя Антона, но утешают себя тем, что сегодня они непременно обойдут его и наловят такой плотвы, окуней и щук, по сравнению с которыми, Антонов сом ничего стоить не будет. Помоги им Бог!

Самое удачливое переметное место у Антона на Колодном и на Кривом Колене. Оба берега там высокие, крутые; река стремится между ними быстро, словно в каком земляном ущелье или каньоне, с крутым разворотом на Кривом колене, и от этого стремления и быстроты на речном дне (а глубины на Колодном без малого десять метров — Антон сам мерил багром) образуются бочажины, коловоротные ямы, где как раз и живут, нагуливают силу и вес сомы-гусятники (зазевавшихся глупых гусей они любят во время вечерней зари прихватывать — оттого и «гусятники»).

В памятный тот вечер Антон устремился, не раздумывая, на Колодное, потому что накануне еще заметил, что гуляет, жирует там сом-гусятник, который хитростью и обманом уходил от него все лето. На Антоновы наживки, вьюнов, пескарей и красноперок, он не зарился, а напал на гусиные и утиные выводки, поджидая их на Кривом Колене, где такие водовороты и кручи, что малые, неокрепшие еще гусята и утята едва-едва преодолевают их, кружат и бьются в бурунах, опасно отстают от родителей — тут сом-разбойник и настигает малолеток. Старый, судя по всему, сом, многоопытный, седоусый, бочажник. В такой, значит, глубине, в такой бочажине живет (скорее всего, под мореным дубом, упавшим в реку, Бог знает, в какие древние, незапамятные времена), откуда его никаким манером не выманишь. Тем заманчивей было Антону взять этого злонамеренного сома, гусятника и бочажника. «Уж я тебе!» — пригрозил ему Антон и нанизал на крючки-кошки для приманки не одних только вьюнов и пескарей с красноперками, а и два увесистых гусиных окорочка, которые выпросил у жены Варвары Ильинишны, у Варьки, как он зовет ее, не забывая их молодые влюбчивые годы. (С утра он зарубил по ее наказу старого, отжившего свое, отплавившего водные речные пространства, гусака). Варька посомневалась-посомневалась, а потом два гусиных окорочка Антону и выделила, пото-

му как и у нее на сома-разбойника была немалая обида: он из их выводка тоже троих гусят изловил.

Таких вечеров, как был тот, позднеавгустовский, Антон действительно не упомнит. День стоял ветреный, ураганный даже, но часам к семи вдруг все в единое мгновение успокоилось, затихло, нигде ничто не шелухнется и не вздрогнет. И в этой тишине и безмолвии туман поднялся особенно рано, сразу отяжелел, опал к самой речной глади, и такой густой и непроглядный (не сизый даже, а темно-синий, чернильный какой-то), что Антон, стоя на корме лодки и разматывая перемет, передка ее не видел, как будто его не было вовсе, и рыбацкая Антонова лодка из одной только кормы и состояла.

Но, слава Богу, все с переметом сладилось как нельзя лучше: он лег на дно, словно по струнке, нигде не запутавшись и не зацепившись ни за какую-нибудь подводную корягу, ни за водоросли (а ведь, случалось, что и путался и зацеплялся в иные разы). Антон дважды проверил и на одном берегу, и на другом, как он закреплен за вымытые водоворотами, но неодолимо крепкие ольховые коренья и направил лодчонку к привязи, что была сразу за Кривым Коленом.

Он примкнул ее замочком к дубовой свае, оставшейся на Колене от мельничной, разоренной по глупости еще в тридцатые годы, плотины, чтоб мальчишки-подростки, озоруя, не угнали ее куда-нибудь вниз по течению (сам был в подростковые годы озорником немалым — чужие лодки угонял к соседним новомлинским лугам, чтоб после поглядеть, как хозяин будет искать ее, притопленную в заросшей лозовыми кустами заводи). Приторочив ключик на черенок узкого рыбацкого весла, Антон заторопился домой, спрямляя дорогу по торфяной шаткой тропинке, что бежала среди ольхового молодняка-подлеска по самому краю топкого, илистого болотца.

И вдруг он услышал, как из самой гущавины ольшаника, с другого берега болотца, доносится жалобное и какое-то подозрительно слабое лошадиное ржание. Антон остановился на полушаге, прислушался повнимательней, снял даже с головы кепку-восьмиклинку и оттопырил ею ухо. Ржание повторилось, но еще более слабое и жалобное, взывающее о помощи и спасении. По тоненькому, плачущему почти голоску Антон сразу определил, что ржет это, просит об участии и подмоге не взрослая лошадь, а совсем малый, может, всего только недели две-три тому назад родившийся жеребенок.

Происшествию такому, неожиданному случаю, Антон горячо удивился и озадачился им. Давным-давно в округе никаких лошадей и в помине не было. Как только стали разорять колхозы, так проворные председатели, чтоб хоть чем-то поживиться на этом разорении, все лошадиные табуны сдали в заготскот, тогда тоже доживавший уже последние свои дни. Сами-то они надеялись переселиться в новой жизни на машины, по возможности иноземные, быстролетные (и пересели), а вот как крестьянину быть без лошади, на которой он пахал и сеял, дрова заготавливал, сено зимой с того берега реки, с заливных лугов по ледяной «дороге жизни» возил, то им без разницы. Начальство, оно только на собраниях делает вид, что о народе печется и душой страдает за него, а на самом-то деле только о своей выгоде и думает. Так с покон веку было, так есть и сейчас, так, похоже, и в будущие, невидимо далекие годы останется...

И вот — на тебе — считай, в ночи уже, за торфяным болотцем, в ольховых зарослях лошадиное зовущее и стонущее ржание! Откуда и как мог появиться тут жеребенок?!

Загадка и удивление, конечно, немалые, но все это на потом, на опосля, а пока надо было Антону что-то предпринимать, что-то делать — уж больно жалобно ржал, плакал и звал его к себе жеребенок.

Антон снял резиновые сапоги, в которых всегда ходил на рыбалку, закатал выше колен штанины и стал перебираться на ту сторону болотца. Все ходы-переходы ему здесь хорошо известны. И по рыбацким своим делам, и по сенокосным (на болотных островках траву теленку-бычку косит) он бывает на торфяниках ежедневно, случается, что и не по одному разу.

Жеребенка Антон увидел на бугорке, заросшем высокой осокою, аиром и водяным буряком. Он лежал между двух торфяных кочек, действительно совсем крошечный, новорожденный, и уже не ржал, а лишь почти по-щенячьи скулил тоненьким болезненным голоском.

— Кось-кошь-кошь! — позвал его Антон, выбравшись из болотца на земляную твердь.

Жеребенок вскинул на человеческий призыв голову, приободрился и попробовал подняться, встать на две передние ножки, а потом и на задние. Но сил у него на это не хватило, жеребенок завалился всем худеньким тельцем на сторону, несколько раз качнулся и опять упал между кочек.

— Ах ты, Господи, Боже мой! — только и воскликнул на это Антон.

Он подошел к жеребенку поближе, погладил его ладонью по худенькому дрожащему тельцу, стараясь определить на ощупь, отчего тот так дрожит и стелает: от пережитого во время блуканий по болотам страха, от вечерней уже прохлады-холода или, может, пораненный где, изувеченный. И вышло, что в подозрениях своих Антон ничуть не ошибся: дрожал жеребенок и от испуга, и от холода, но больше всего все-таки от увечья. Когда Антон коснулся левой задней его ножки в коленке, то жеребенок опять резко вскинулся, застонал пуще прежнего и взглянул на Антона недоверчивым обидным взглядом.

— Больно? Да? — сочувственно заговорил с ним Антон и поскорее отдернул руку. — Потерпи, орлик ты мой, потерпи немножко. (После случайно оброненное это имя, Орлик, так навсегда и прижилось к жеребенку.)

Антон присел перед ним на корточки и стал совсем уже бережно и осторожно, одними только кончиками пальцев обследовать ножку жеребенка — сломана она или только вывихнута в коленке. Слава Богу, перелома, кажется, не было, а только вывих. Для младенца тоже, конечно, увечье немалое, но с ним можно будет справиться и своими подручными средствами и силами: кое-какие навыки в этом деле у Антона, да и у Варьки есть.

Но, к несчастью, обнаружилось у жеребенка под брюшком и еще одно увечье — рана (определенно кусанная) с уже запекшейся по краям кровью. Похоже, этой ли, прошлой ли ночью гнались за ним, отбивая где-нибудь в верховых Гвоздиковских лугах, за дальним Цыганским берегом (в богатом селе, Гвоздиковке, кажись, два-три мужика лошадей держат, да и цыгане на Цыганском берегу, случается, становятся табором, а уж у них лошади определенно есть) от матери, волки или одичавшие собаки, которые страшнее любых, самых лютых волков. Хотя, может, вовсе и не гвоздиковский он и не цыганский (какой мужик-хозяин и, тем более, таборный цыган оставит в ночи жеребенка без присмотра?!), а просто брошенный какими-либо случайными заезжими людьми на произвол судь-

бы. Нынче детей малых бросают, не то что жеребят. Жизнь такая беспутная пошла, народ совсем одичал и оскудел умом и душой.

Солнце, и без того едва различимое в тумане, теперь утонуло в лугах за лозняками и вербами. На небе появилась бледная, всего в четверть обручика луна, а потом вынырнули и пугливые звездочки-мерцания. Сумерки сгустились до полной темноты, и — вот она — августовская ночь уже окутала всю землю. Антону надо было что-то делать, что-то предпринимать, пока туман не проник и сюда, в торфяное болотце, и не сокрыл все, не перепутал для человеческого глаза.

Поспешно и почти уже вслепую, на ощупь, Антон нарвал охапку аира и погуще прикрыл им жеребенка, а то ведь комарье сейчас налетит на него смертоносными тучами и живьем заест, особенно, если обнаружит на брюшине свежую, кровотокающую еще местами рану. Сам же Антон мигом перебрался через болотце, подхватил резиновые сапоги-бродни под мышку и босиком, сколько было у него дыхания, побежал домой.

— Варька! — еще с порога крикнул он жене. — Скорее запрягаемся в тачку и на Колодное! Там жеребенок в болотах помирает!

— Какой еще жеребенок?! — вначале не поняла его крика Варька, занятая какими-то своими домашними делами.

— Да откуда мне знать — какой! — в сердцах швырнул в угол сапоги Антон, чего с ним раньше никогда не случалось. — Но помирает.

Тут уж Варька все поняла и сполна расслышала (вообще-то она у него женщина отзывчивая, на руку и ум скорая), бросила все вечерние свои занятия и, как стояла в комнате в одних домашних тапочках и ситцевом халате, так и побежала вслед за Антоном к сараю, где прислоненная оглоблями к бревенчатой стене громоздилась у них двухколесная тачка на тележном ходу.

Смастерил ее Антон из телеги, единственного достояния, которое досталось им с Варькой от разоренного колхоза. Когда все уже было распродано и разворовано, Антон с Варькой однажды возвращались домой от сына Андрея, который тогда только-только женился и построил дом (совобща построили) на том конце села, поближе к асфальтной трассе и городу, и ради любопытства (все-таки томило что-то душу им, закоренелым колхозникам, по утраченной общественной, артельной жизни) заглянули на бывший колхозный двор, к хате-дежурке и кузнице. Дорога их так пролегалла, что никак нельзя было обойти им, миновать колхозного подворья. И вот возле дежурки увидели они полуразломанную и оттого никому уже не нужную телегу, а в самой дежурке на крюке точно такую же изношенную и измочаленную конскую сбрую: хомут с оторванной супоней, чересседельник без подпруги, брезентовые связанные в двух местах на скорую руку вожжи, оброть и дугу. Дуга была, правда, цела, хотя и протертая в захватах оглоблями и гужами основательно.

— Давай заберем! — предложил Антон. — Все равно ведь пропадет.

Варька придирчиво оглядела рухлядь. Потрогала на хомуте войлок, не совсем ли он прогнил, не источила ли его моль, потом качнула несколько раз туда-сюда телегу, проверяя, целы в ней оси и колеса, и сказала Антону со вздохом:

— Заберем, наверное. Я на этой телеге телятам подкормку возила (Варька одно время телятницей работала), помню ее.

В общем, погрузили они сбрую-упряжь на телегу, Антон встал в оглобли, а Варька в помощь ему сзади — толкала телегу за грядущку — и покатали они ее такими спаренными силами вдоль села к дому.

Встречные мужики, глядя на их с Варькой обоз, посмеивались, научали Антона:

— Ты бабу в оглобли, в хомут запрягай, а сам садись в передок и подгоняй ее кнутом. Варька у тебя двужилная — потянет.

— Баба мне для другого нужна! — отшучивался, отбивался от мужиков Антон, но с оглоблей не выпрягся и местами с Варькой не поменялся, хотя она не раз и предлагала ему такую замену. Варька у него подруга жалостливая, характерная, понимает, что если мужик до срока надорвется в работе, так все хозяйство в миг рухнет и пойдет прахом. Но телега не Бог вещь какая и тяжелая, Антон бы ее и один без Варьки вытянул, он вообще-то от природы мужик тоже жилистый, в работе упорный.

Дома Антон целиком восстанавливать телегу, доводить ее до полного ума не стал: тягловой силы — только они с Варькой, но и без внимания не оставил. Снял переднюю ось с оглоблями и тягами-атосами, смастерил на ней площадку-кузовок, оглобли укоротил и соединил, спарил березовой поперечинкой — получилась тачка, тачанка, в ходу не так уж, чтоб и легкая, но Антону с Варькой вполне по силам и, главное, в хозяйстве незаменимая. Сколько раз она выручала Антона с Варькой: и навоз они на ней из сарая вывозили, и тыквы, свеклу-морковь по осени из дальних пойменных грядок доставляли, и даже в лес за хворостом-валежником ездили. Мужики над изобретением Антона теперь уже не посмеивались и не подначивали насчет Варьки, а — нет-нет — да и одалживались тачкою. Не у каждого ведь в доме автомобиль-машина стоит или тракторок, пусть даже самый захудалый. Жизнь крестьянская при дворе и подсобном хозяйстве к первородному образу без колхозов повернулась. Ее на собственном горбу теперь поднимать приходилось, да еще вот на Антоновой двухколесной тачке. Мужики, куда ж денешься, и приходили к нему, снимали картуз, ломали шапку, просили тачку на час-другой, к примеру, от магазина мешок муки привезти или с луга малую копешку сена-отавы, или по весне только что заново проконопаченную и просмоленную лодку к речному берегу примчать. Если для всего этого машину-трактор нанимать, то никаких магарычей не хватит, без картуза и штанов останешься. А Антону не жалко, бери, пользуйся, если имеется в том потребность, только вовремя и в сохранности назад возверни, потому как первобытная эта тачка и в другой раз тебе может еще потребоваться. В крестьянском проживании, и особенно в нынешнем, вконец обнищавшем, без взаимной выручки никак нельзя. Пропадешь бирюком и единоличником — это Антон еще в самом малом возрасте усвоил.

Огородами и лугом Антон с Варькой, запрягшись парно в тачку, прокатили ее минутою, без всяких задержек и передышек, иногда так даже переходили на рысь. А как свернули возле реки на Кривое Колено и Колодное, так вдруг возьми и заплутали маленько. Туман опустил на луговые заросли-чагарники до того непроглядный и вязкий, что Антон с Варькой, стоя в одних оглоблях, почти что и не видели друг друга, а лишь чувствовали локтями, да узнавали по дыханию. Несколько раз они, сворачивая с торфяной тропинки, останавливались то возле одного болотца, то возле другого, в два голоса звали жеребенка, но кругом было одно только ночное глухое безмолвие: жеребенок на их голоса никак не откликался, не подавал никаких признаков жизни. Антон с Варькой начали уже было в обоюдной тревоге думать, что, может быть, они опоздали, и жеребенка прежде их, нерасторопных и медлительных, обнаружили луговые волки или одичавшие собаки и вконец растерзали его, беспомощного и беззащитного.

Но вот возле третьего, уходящего по-за ольховым кустом-кочкарником в сторону от тропинки, болотца (как это Антон не определил его сразу — ума приложить невозможно) жеребенок наконец отозвался на их голоса тоненьким своим младенческим ржанием.

Антон в ту же минуту распознал всю окрестность: и куст-кочкарник, и заросли аира попеременно с осокой и водяным буряком, и потерявшееся было в ночи болотце, затянутое ряскою. Он оставил Варьку возле тачки на берегу, а сам, опять закатав повыше штанины, не перешел даже, а перескочил всего в два-три шага всю водную топкую преграду. Жеребенок его появлению ничуть не испугался, а, наоборот, признал спасителя, с надеждой приподнял голову и попробовал, как и в прошлый раз, опереться хотя бы на передние ножки.

— Да лежи ты, лежи! — негромким, тихим предупреждением успокоил его Антон. — Сейчас переправляться будем.

Стараясь не прикоснуться к ране на подбрюшине жеребенка, он подсунил ему под бока руки, легко сорвал с земли (в отощавшем жеребенке и веса-то всего пуда полтора, не больше), развернулся лицом к болотцу и, с удвоенной осторожностью выверяя теперь босыми ногами каждый шаг, стал переносить его, будто малое дитя, на тот берег, к Варьке. Тело у жеребенка было болезненно горячим, а дыхание и того горячее — это Антон почувствовал сразу и постарался идти еще бережнее, боясь, что дыхание младенца иссякнет вовсе.

Но, слава Богу, все обошлось, жеребенок переправу перенес стойко, ни разу не пожаловался ни на неудобства, ни на боль. А на том берегу их ждала уже Варька с попоной в руках. Спешка не спешка, а из дома она, оказывается, попоны успела на всякий случай захватить. И теперь эта попоны очень даже пригодилась.

Когда Антон положил жеребенка на тачку, Варька прикрыла его, укутала-запеленала в попоны, и вправду, будто годовалого ребенка. Антон для надежности прихватил жеребенка поверх попоны к тачке поводком, который всегда неотлучно был при ней, притороченный к кузовку. (Тачка все-таки повозка зыбкая, всего двухколесная, и любой груз на ней надо закреплять, а то, того и гляди, соскользнет и свалится на землю).

Катили теперь Антон с Варькой тачку медлительным чутким шагом, минутно оглядываясь назад: как там их детеныш-найденш, не жалобится ли, не стонет ли? Но жеребенок держался молодцом, чувствовал и понимал ребячьим своим умом, что ничего худого Антон с Варькой сделать ему не могут.

* * *

Дома они решили для начала определить жеребенка Орлика на веранде, чтоб постоянно рядом с ним быть и немедленно откликаться на любой его зов и просьбу. Антон принес со двора охапку соломы-обмялицы (едва ли не переполовинил копешку), расстелил ее, разровнял в уголке подле окошка, освободив от рыбацких своих снастей, которым там было отведено Варькой место.

Уложив Орлика на солому, Антон с Варькой при ярком электрическом свете стали оглядывать все его ранения и увечья. Рана под брюшком оказалась не очень и опасной. Волки-собаки повредили только кожицу, в широкий, правда, разрыв, но глубоко внутрь не проникли. Варька обильно смазала, прижгла рану йодом. Лучше бы, конечно, дегтем, он для

животного понадежней (это веками проверено), любую рану в три-четыре дня заживляет, настырную мошкару, слепней и оводов прочь гонит, чтоб они рану ту не кровянили и не усугубляли ее. Но где теперь дегтя в селе достанешь?! Никто его не держит и не запасается им. Телег на деревянном ходу, чтоб оси смазывать дегтем, нету и в помине, лошади-волы тоже давно все перевелись, настоящих яловых сапог, для которых деготь первейшая защита от износа и воды, днем с огнем ни у кого не сыщешь — одни только кирзовые, так они от хорошего дегтя поди сгорят в миг, им гуталин подавай понежней да пожже и желательнo, чтоб непременно иноземный. Приучены уже к тому.

А вот за вывихнутую ножку Антон взялся сам. Был у него в этом деле какой-никакой навык. В детские его и ранне-юношеские годы жил как раз напротив их дома дед Игнат, крепкий, рачительный хозяин, старой, еще дореволюционной закалки. Помимо хлебопашества дед Игнат занимался и всякими иными подручными ремеслами и увлечениями, без которых подлинному крестьянину жить и невозможно и скучно: рыбалкою, охотою, держал пасеку на двенадцать ульев-колод, плотничал и столярничал, знал толк в бондарном и кузнечном делах. Но, главное, за что ценили и уважали деда Игната в селе, так это за редкостное его умение излечивать скотину и от внутренних, невидимых болезней (от живота, например), и от внешних, хорошо видимых и ощутимых: от суставных вывихов, грыжи, от волчьих и даже змеиных укусов. Костоправному своему, ветеринарному делу дед Игнат, говорят, частью научился во время службы в царской армии, где состоял ремонтером при кавалерийских частях, а частью (и гораздо больше) от своих отца и деда, тоже известных в селе костоправов, врачей-лечителей. Правил вывих или грыжу дед Игнат непременно трижды, сопутствуя деяние свое подходящими к случаю, к приключившейся у скотины болезни молитвою и заговором, которых знал великое множество и которые, может быть, в первую очередь и помогали увечной животине.

Малого Антона дед Игнат привечал, как родного, единокровного внука. Своих внуков у него не было (одни только внучки, пять девок-стрекоз, — а тут мальчишка, парень, к тому же такой ко всему приглядчивый и податливый к учению). Много чего полезного и необходимого перенял Антон от деда Игната: и рыбацкую переметную страсть, и охоту (с ружьем и без ружья; одними только силками и петлями мог зайца и лису изловить), и начаткам кузнечно-бондарного искусства. Перенял он от деда Игната и врачевание скотины. Не робея, помогал ему вставлять вывихнутые суставы, вправлял грыжи, прислушивался к заговорам и молитвам, хотя и не требовал немедленно передать их ему. Во-первых, слишком мал он еще был и юн в ту пору для заговоров и молитв, а во-вторых, старый хранитель передает их молодому лишь в предсмертный свой час, иначе помогать не будут. Непременный этот обычай Антон тоже знал (сам же дед Игнат и поведал ему о нем) и запретного от поучителя своего и наставника не требовал. К тому же и не был Антон до конца уверен, ему ли передаст дед Игнат великие свои таинства или кому-нибудь другому, более достойному, способному к ним. Молитва ведь и заговор не каждому по душевным силам...

Дед передал Антону. Тот переписал все их в ученическую тетрадку и потом заучил на память. Пользоваться, правда, стал лишь гораздо позже, когда отслужил уже армию, вошел в зрелый возраст, женился на Варьке. Да и то поначалу тайком, для дома и ближних соседей, никому не раз-

глашая своего знания и умения. Тогда в селе при ферме был уже ветеринарный врач с высшим образованием и зоотехник: заболевшую скотину все к ним вели, а Антоновы заговоры и молитвы были не в чести и под запретом, не полагалось тогда ни в церковь ходить, ни крестным знаменем себя осенять.

Но нынче все переменялось. Как только колхоз распался, ветеринарный врач и зоотехник куда-то исчезли, съехали (люди они были чужие, пришлые), да и чего им оставаться, когда лечить некого: животноводческая ферма тоже закрылась, все поголовье впопыхах извели, пустили под нож, как будто жизнь человеческая на том и закончилась, и ни молока никому больше не надо, ни мяса, ни сметаны с творогом, ни коров, ни лошадей. Заливные луга, которые прежде берегли и лелеяли всем миром, в три года позаросли лозняком и ольшаником, дебри какие-то, а не луга. Кто корову держит (на все село голов тридцать-сорок осталось, не больше), так сена негде накопить, хоть серпом его по кочкарникам собирай.

При таком обороте дела вспомнили все вдруг об Антоне и его каком-никаком умении врачевать и излечивать скотину, нет-нет, да и звали то в одно подворье, то в другое. Он не отказывался, шел, хотя никому особой надежды и не внушал. Все-таки возможности его были совсем малые, ветеринарным образованием не подкрепленные — одна только помощь, что собственные руки да слово Божие.

К жеребенку, к вывихнутой его ножке, Антон тоже приступил не без опаски, но надежда на этот раз была в нем твердая — излечит найденыша своего во что бы то ни стало, поднимет на ноги.

Еще раз, сколько можно осторожно и чутко, он обследовал у Орлика колено, поглаживая, со всех сторон, а потом, попросив Варьку попридержать жеребенка покрепче, единым резким движением вставил сустав на место. Орлик вскрикнул от боли совсем по-человечески, рванулся даже было с места, но через секунду в изнеможении притих и спрятал голову в солому.

— Может, компресс какой приложить, — вся встревоженная после операции, спросила Варька.

— Нет, не надо, — успокоительно сказал ей Антон. — Ты оставь нас на время одних.

Варька послушно ушла из веранды в горницу и поплотнее затворила за собой дверь.

Антон, сидя возле жеребенка на маленькой скамеечке, минуты две-три переждал, а потом повернулся лицом на восток, в Красный Угол, где на веранде всегда висела у них обрамленная вышитым рушником икона Божией Матери, трижды осенил себя крестным знаменем и начал молитву-заговор, как учил его когда-то покойный дед Игнат:

Раннею зарею,
Вечернею порою,
Святой четверг,
(был как раз четверг и упомянуть
о том полагалось обязательно),
Помоги, Господи!

А дальше уже шел сам заговор, который произносился тише тихого, почти шепотом (оттого и говорят о творении заговора — «шептать», а самих врачевателей, знахарей и знахарок, зовут в их местах «шептунами» и «шептуньями», с чем Антон полностью согласен: молить Господа о помощи надо не столько голосом, сколько душой и сердцем).

Молитву свою, заговор, Антон повторил трижды, предваряя каждое моление троекратным же крестным знамением и все утишая и утишая голос. Когда же промолвил последнее слово и провел над больным коленом, над раной и над головой жеребенка двумя горячими, источающими тепло и успокоение ладонями, Орлик уже крепко и глубоко спал, как только и могут спать еще совсем недавно тяжело больные, а сейчас уже идущие на поправку люди или любые иные родственные им живые существа.

* * *

Сам же Антон в ту ночь спал очень плохо, поминутно просыпался, ходил на веранду, настороженно прислушивался к дыханию Орлика, приглядывался к нему при свете высоко висящей луны и никак не мог унять в душе тревогу: как себя Орлик покажет при пробуждении, на пользу ему пошло врачевание или не очень. Все ведь в руках Божиих.

Забылся Антон, устало задремал лишь под самое утро, когда пора было бы уже подниматься, да поскорее бежать к реке, на Кривое Колено и Колодное, проверять, взялся на перемет сом-бочажник или не взялся, обманул Антона в очередной раз, отсиделся, отлежался в своей бочажине? Варька могла бы разбудить Антона (сама ведь поднялась к корове в пять часов), но пожалела, не разбудила, и он беспечно проспал верный заревой час, когда сом выйдет на охоту и, проголодавшись за ночь, потеряет осторожность, позарится на гусиную ножку и прочно сядет на крючок. Тут его и надо брать, поднимать со всеми предостережениями со дна, кантовать в лодку, иначе ведь он может сорваться в единый миг (сила-то не мерьяная) и уйти прямо из рук.

Но не было на перемете ни сома, ни какой-либо иной мелкой рыбешки, потому как не было и самого перемета. Похоже, сом, все-таки зацепившись неглубоко за крючок, в злобе и отчаянии перекусил и сорвал, казалось бы, неодолимо крепкую снасть (капроновый шнур на перемете едва ли не в палец толщиной) и утащил ее в подводные свои владения. (Когда Антон возьмет сома поздней осенью, то на верхней его губе обнаружит метку от того зацепа). На обоих лозовых кустах-корягах, что с левого берега реки, что с правого, Антон отыскал лишь измочаленные обрывки перемета с двумя парами голых крючков, которые даже отвязывать и забирать домой не хотелось, чтоб встречные рыбаки (сетевики и удочники) не видели его позора. Но Антон с легким сердцем отвязал их, и не столько потому, что жалко ему было и этих обрывков дорогостоящего шнура, которые в рыбацком его хозяйстве еще после сгодятся, сколько из-за опасения, что на брошенные с досады крючки может по неопытности пойматься какой-либо утенок или гусенок из домашнего выводка.

Никто из рыбаков-сетевиков и удочников Антону по пути счастливо не встретился. Они ведь тоже на промысел свой на ранней утренней заре выходят, а не спят до шести часов. Но если бы даже и встретились и спросили с подначкой насчет порванного перемета и ушедшего сома, то Антон ничего бы от них скрывать не стал, потрафил бы им и рассказал всю правду. Не было у него сегодня никакой, хорошо известной любому рыбаку обиды за неудачу. Бог с ним, с этим сомом, не взял его нынче, так возьмет завтра или послезавтра. Зато дома на веранде дожидается Антона жеребенок вороной, редкостной теперь масти. Да какой жеребенок —

Орел и Орлик! В будущем из него вырастет не просто конь, а конь-огонь, скакун с золотой гривой. Поэтому Антону надо поскорее поспешать-торопиться домой, чтоб посмотреть, потрогать-проверить, а может, и спросить, как он себя чувствует после вчерашних излечений?

* * *

Слава Богу, Орлик чувствовал себя гораздо лучше и веселей. Увидев Антона, он призывно заржал, будто говорил, что ему уже совсем хорошо: рана на подбрюшине затягивается, а нога, хотя еще и побаливает немного, но сустав вставлен верно, и со временем боль пройдет.

* * *

Молитвы свои и заговоры Антон творил над Орликом ежедневно на утренней и на вечерней заре, пока их не сосчиталось три раза по три (так научал Антона дед Игнат, сам всегда строго подчиняясь этим правилам и обычаям) и с за каждым разом видел, что Орлик действительно все больше и больше идет на поправку. Он вначале робко, а потом все уверенней и уверенней начал подниматься на все четыре ноги и, хотя еще и прихрамывал, но наступал уже на заднюю левую ножку безбоязненно. Антон выгородил для Орлика из строганных под рубанок досок в сарае просторное стойло с яслями и дубовой водопойной бочкой. Когда жеребенок там немного освоился и пообвыкся, они с Варькой стали выпускать его во двор пощипать вдоль забора травы-муравы, подышать свежим воздухом, погреться на солнышке.

Орлик с неделю, наверное, ходил по двору лишь медленным осторожным шагом, примеряясь к земле, пробуя ее копытцем (и особенно на больной ноге), и вдруг неожиданно-негаданно для Антона и Варьки взял вдруг и в единую секунду, в единое мгновение прямо из сарая пустился вскачь, не оглядываясь ни на какие раны и увечья. И с этого памятного мгновения Антон с Варькой решили, что Орлик уже полностью здоров.

* * *

Ну а коль здоров, бодр и весел, так чего его держать в темном глухом сарае — надо выпускать на волю, в луга и пастольники, чтоб он видел окрестный мир: полноводную быструю реку, лозняки и ольшаники, высокие, раскидистые вербы на берегу реки, тучные травы на займищах, чтоб рос конем вольным и отважным.

Первые два-три дня Антон водил Орлика к реке в поводу, сладив ему из нежесткого сыромятного ремешка детско-игрушечную оброть, а после, когда тот привык немного к вольной-воле, поводок и оброть отнял, и Орлик (какой молодец и послушник!) следовал за ним самостоятельно, шаг в шаг. Пока Антон ставил или снимал переметы, Орлик резвился на берегу: то гонялся за каким-нибудь кузнечиком или паутинкой раннего в том году бабьего лета, то озорничал в травах и зарослях аира, пил воду из лугового озерца, а вот болота и топи сторожко обходил стороной (вид-но, крепко они запали ему в память) и ни разу не оступился и не завяз в них.

Дома к Варьке Орлик привязался не меньше, чем к Антону. Она ведь, считай, была главной его кормилицей и поилицей. Едва привезли они

Орлика с болота и определили на веранде, увечного и голодного, Варька, прежде еще всякого излечения, принялась кормить его из соски, которой кормила когда-то в колхозе на ферме телят, отлучая их от материнского вымени. Кобылье молоко, понятно, у них не было (и негде было его достать), и Варька поднесла ему теплого, не успевшего еще остыть от вечерней дойки коровьего сыродою, хотя и опасалась — возьмет он его или не возьмет, все-таки не природное это для жеребенка молоко. Но Орлик (опять же, молодец и еще раз молодец) коровье парное молоко взял, припал к соске болезненными дрожащими губами и высосал бутылку почти до самого доньшка, предельно, должно быть, изголодался в многодневных болотных блужданиях и несчастьях.

Так с месяц, наверное, Варька и отпаивала Орлика из своих рук коровьим молоком, возвращала к жизни. Ну, а после он стал уже и травку пощипывать, и поило, которое Варька специально для него готовила из мелко нарезанных яблок-падалицы, картошки, огурцов, моркови и прочей огородной зелени, с завидным аппетитом пить. Как Орлику было при таком внимании Варьки не привязаться к ней. Не ответить на ее истинную любовь своей по-детски преданной и самой верной любовью. Он и привязался, он и полюбил Варьку: везде и повсюду и по двору, и на огороде следовал за ней, вникал во все Варькины домашние дела. А чуть она присядет где на скамеечке или на крылечке, так положит Варьке голову на плечо и стоит бездыханный.

Деревенские мужики, прознав, что у Антона завелся жеребенок, специально приходили поглядеть на него, полюбоваться (давно ведь жеребят в глаза не видели), ласково трепали Орлика по холке, гладили по спине, распушали гриву, которая пока еще висла у него колечками, и все в один голос говорили:

— Добрый будет конь!

— Дай-то Бог, — с благодарностью отвечал им Антон, хотя и сам без мужиков видел (кое-что в лошадиной породе он еще со времен деда Игната понимал), что конь из Орлика и вправду выйдет добрый: высокий в ногах, гибкий в стане и, главное, не баловень какой-нибудь, а трудовой крестьянский конь.

Варька была об Орлике того же мнения. Выхаживая и выкармливая его, повторяла в мечтаниях едва ли не каждый день: вот, мол, вырастет Орлик, так не придется нам больше с тобой, Антон, возить на себе тачкою ни сено, ни хворост, ни навоз — он нам будет во всем надежным помощником и опорой в хозяйстве.

Оно и верно, оно и справедливо: годы у Антона с Варькой хотя и не больно еще старые, но и не молодые уже, не такие, чтоб только на свою силу надеяться — нужна и подмога.

* * *

С заманчивыми этими мечтами и надеждами и растили они с Варькой Орлика, радуясь, как он взрослеет и мужает не по дням, а по часам, как грива у него уже ниспадает на лебединую шею не колечками, а волнами, как копыта из молочно-игрушечных становятся широкими и твердыми, и Орлик отмеряет каждый свой шаг ими легко и уверенно.

Одно только беспокоило и тревожило Антона с Варькой: вдруг объявится подлинный хозяин Орлика и потребует его назад — и что тогда?! — как поступать тогда, как повести себя Антону с Варькой?! Не отдать вро-

де бы нельзя: не свой все ж таки, чужой жеребенок, и хозяин этот, если только человек серьезный, поди весь исстрадался, измучился от нечаянной пропажи, ночами не спал, все думал о нем и разыскивал, где только возможно. Но и отдать нельзя! Родней родного теперь стал Орлик Антону с Варькой, они тоже вон сколько ночей не спали, излечивая его и коровьим парным молоком и всякими снадобьями и молитвой-заговором, страдали душой и сердцем за него — и теперь отдать неведомо кому и неведомо в какие руки?!

Особенно одолевали Антона подобные сомнения в ночном, куда он стал водить Орлика рано по весне, когда только поднялись и пошли в рост после широкого половодья луговые сочные травы. За зиму Орлик из жеребенка-стригунка превратился в подростка, потемнел вороной своей мастью, еще больше отвердел копытами. Ночи две-три Антон привязывал, припинал, как у них говорят, Орлика на длинных колхозных еще вожжах, подновив их и возвернув к жизни, за специально изготовленный металлический колышек-штырь. Не привязать вроде бы было и нельзя: известное дело, после долгой зимы, душного сарая и стойла любая животина, хоть корова, хоть лошадь, почуяв свободу, радуются ей сверх всякой меры, а то и вовсе не находят себе места, вступают друг с другом в поединки или забьются на пастбищах в такие дали и дебри, что иной раз их всем селом ищут, особенно молодых, неопытных еще в свободной жизни.

Но Орлик вел себя спокойно и ответственно. Приученный всегда быть рядом с Антоном или с Варькой, он никуда в ночи не рвался, не дергал понапрасну вожжи, а чинно ходил по кругу, пощипывал молодую кустистую травку, кормился. Лишь изредка Орлик вдруг застывал на одном месте, вскидывал голову и настороженно смотрел на высокое звездное небо. Антон стал наблюдать за ним в чуткие эти минуты и вскоре обнаружил, что, как только Орлик вскинет голову и замрет на одном месте, так тут же с неба скатится и упадет в дальние луга звездочка. Можно было подумать, что он заранее предвидел и предвещал ее падение. Антону, человеку, по гордыне его и чрезмерному уму не дано и не обещано такое предвидение, а вот Орлику, оказывается, и дано и обещано...

На четвертую ночь Антон отпустил Орлика на волю, спрятал и вожжи, и железный штырь, твердо веря, что никуда подопечный его не уйдет и не убежит. Не любопытно Орлику убежать, не интересно и не заманчиво. Ему на звездное ночное небо глядеть заманчиво, предугадывать беспредельную его жизнь и звездопад...

Костерок теперь в ночи Антон разжигал поярче, грелся возле него (ночи все-таки еще стояли прохладные, майские), кипятил чай, прислушивался к ночной реке: не бунтует ли там, взявшись на перемет какая-нибудь большая рыба? Орлик часто подходил к костерку, клал Антону, точно, как и Варьке, на плечо голову и вроде бы засыпал, приглашая и пастуха-караульщика передремнуть час-другой: никто их тут, двоих, не тронет в ночи и не потревожит. И Антон действительно задремывал, во всем доверяясь Орлику, который только притворялся спящим, а на самом деле не спал и не думал спать, дозорно стоял на страже. Антон, пробуждаясь, гладил его, бессонного, по голове и спросонку никак не мог понять, кто же тут кого в ночных лугах стережет: он Орлика или Орлик его...

И вот в одну из таких ночей, по-особому звездную и тихую, вдруг и появился возле костерка Антона подлинный хозяин Орлика. Из-за лозового куста, под которым Антон оборудовал свое становище, неожиданно-негаданно вынырнул и, помахивая прутиком, безбоязненно подошел к огоньку цыган. Настоящий таборный цыган: кудлатый, почти черный лицом, в атласной поддевке, высоких хромовых сапогах и кожаном картузе.

— Здорово, Антошка! — неведомо откуда уже зная имя Антона, громкогласно поздоровался он и присел на корточках близ костерка.

— Здорово, если не шутишь! — тоже ничуть не заробел Антон (от природы он вообще-то человек неробкого десятка), хотя сердце у него и вздрогнуло, и подсказало: не зря заявился среди ночи кудлатый этот цыган — он и есть подлинный хозяин Орлика и сейчас начнет требовать его себе.

Так оно и вышло. Пошевелив прутиком в костерке угли, цыган вприщур глянул на Антона волоокими своими глазами и сказал:

— Мой жеребенок! Отдай!

— Это еще доказать надо! — вернул Антон попавшейся ему под руку палочкой угли на место.

— А тут и доказывать нечего, — внимательно проследил за его движением цыган. — Мой жеребенок! Это весь табор скажет.

— Ну, таборным твоим подсказкам у меня веры нет, — не поддался и на эти угрозы Антон. — Где, когда и как потерялся у тебя жеребенок, объяснить можешь?

— Известно как, — вальяжно прилег на траву незванный гость. — Прошлым летом возвращался я на подводе из города, волки и отбили его...

— Пьяный небось был? — жестко перебил цыгана Антон.

— Был, — засмеялся тот, кажись, и теперь немного хмельной. — Я думал, пропал жеребенок, а он, оказывается у тебя. Отдай!

Антон больше ни единым словом не перебил цыгана, а лишь по виду волооких его прищуренных глаз старался понять — правду говорит он насчет Орлика или неправду. Знает Антон веселое их племя — хитрованы еще те. Прослышал где-нибудь про жеребенка, придумал байку и заявился с короткими гужами.

— Послушай, — неспешно закурил папироску Антон, — ты вроде бы разумный цыган.

— Цыганы все разумные, — гордо ответил тот.

— Ну, а коль разумный, — пропустил мимо ушей горделивую эту похвальбу Антон, — то сам посуди, на чьей стороне правда. У тебя был жеребенок?

— Жеребенок, — не разгадал в вопросе Антона никакого подвоха цыган.

— А у меня, почитай, уже верховой конь, — указал на пасшегоса возле самого речного обрыва Орлика Антон. — Понимаешь разницу?!

— Понимаю, — сломал цыган надвое и бросил в костер прутик.

Минуту после этого он еще полежал на росной траве, а потом вдруг резко поднялся и, глянув из-под руки на Орлика (будто заслоняя его от яркого сияния звезд) и твердо произнес:

— Украду я его у тебя!

— Попробуй! — тоже встал возле костра во весь рост Антон. — Но ты ведь знаешь, что с конокрадами делают!

— Знаю! — опять засмеялся и даже захохотал цыган. — И все равно украду! Иначе не цыган я буду!

Он отряхнул картузом с брюк и поддевки налипшие во время лежания соринки и лепестки пепла и так же неожиданно, как и появился, пропал за лозовым кустом — тать ночной и разбойник.

* * *

Варьке Антон ничего о цыгане рассказывать не стал. Зачем волновать и тревожить ее зря, пусть пребывает в спокойствии и тишине, ухаживает за Орликом без всякой боязни за дальнейшую его судьбу.

Сам же Антон решил предпринять против цыгана-конокрада предупредительные меры. Теперь он начал брать с собой в ночное бдение старенькое, но вполне исправное огнестрельное ружье, с которым в зимнюю отдохновенную пору иногда хаживал поохотиться на зайцев или поугатать лису-хитровку, повадившуюся воровать по окрестным домам кур. Возле костерка Антон не в пример прошлым временам сидел бдительно, ни разу не позволив себе вздремнуть, чему Орлик, кажется, даже удивился, а то и обиделся, мол, что я, совсем малый жеребенок, что ли — не отобьюсь от цыгана или от собак-волков: копыта у меня, погляди какие, никто не устоит против них. По крайней мере, положив смотрителю-караульщику голову на плечо, косил глаз на ружьецо и недовольно фыркал.

А вот Варька предупредительные меры Антона одобрила. Ничего не зная о цыгане и его угрозах, она перед убийством Антона с Орликом в ночное, бывало нет-нет, да и скажет:

— С ружьем оно надежнее. Мало ли кто сейчас по ночам в лугах шастает!

— Да никто там не шастает, — настораживался Антон ее словам (вдруг все-таки проведала что о цыгане). — Это я так, на всякий случай — собак бродячих отпугнуть, воронье.

— Или волков, — подсказывала Варька. — Когда ты с ружьем, у меня на душе спокойнее.

А иной раз Варька вообще вызывалась подменить Антона в ночном. Женщина она отважная, смелая, с ружьем обращаться умеет (сам же Антон еще в молодые годы обучил ее этому умению). Но тут уж он не поддавался ни на какие ее уговоры: не женское это дело в ночной караул ходить. Они с Орликом сами справятся — мужики вон какие решительные, их голыми руками ни днем, ни ночью не возьмешь.

Да и не было в Варькиной подмоге и подмене никакой надобности. Прошла после объявления цыгана и неделя, и другая, и третья, пролетел и месяц, а потом и все лето, но никто на Орлика не покусился, никто ни разу даже не вспугнул его в лугах.

Цыган то ли затаился, выжидает, когда Орлик совсем поднимется во взрослого тяглогового коня, чтоб не растить его, не выхаживать, а взять сразу в полной силе, уже приученного и к упряжке, и к верховой посадке, обездвиженного. Цыгане — народ кочевой, вольный. Им недосуг, да поди и неохота тратить время на воспитание жеребенка-стригунка. Зачем тратить, когда можно готового своровать. У цыган вон и дети растут сами по себе, как сорная трава, будто тоже не свои, а ворованные.

Но, с другой стороны, может, и зря Антон обиду и подозрение на цыгана затаил. Может, вочью поглядев на Орлика, уверовал цыган, что не его это жеребенок: не той масти и не той породы. А что грозится ук-

расть Орлика, так на то он и цыган, от природы своей куда ж уйдешь, в крови это у него, в природе — подобрать, что плохо и ненадежно лежит. Тут цыган на что хочешь решится: храброго обхитрить, обвести вокруг пальца, робкого — припугнуть. Ну, а если не выйдет ни то, ни другое, то с легким сердцем отступится и станет искать себе другой удачи.

Похоже, с Антоном так цыган и порешил — отступиться...

* * *

Вторую зиму в своей жизни Орлик пережил еще беспечным юношей, не знающим ни хомута, ни седелки с подпругою. Сила и удаль прибавлялась в нем теперь даже не по дням и часам, а по минутам и секундам. В лугах, бывало, пустится он к реке, к дальней излучине-старнице во весь опор вроде бы еще подростком, стригунком, норвящим совсем по-детски созорничать на бегу, а возвращается огнедышащим, серьезным конем, который об озорстве и думать позабыл.

Да и как было Орлику не расти, не матереть по часам и минутам, когда кормили его Антон с Варькой не одним только пресным сеном, как в прошлую зиму, а отборным налитым овсом. По весне они засеяли на доставшихся им от разоренного колхоза паях хорошую делянку (соток сорок, а то и все полгектара) овсом, и он уродился тучным, полновесным, стебелек к стебельку, колосок к колосочку.

От золотистого сыпучего овса, от ключевой озерной воды, куда Антон каждый день водил Орлика на водопой, тот к весне нагулял тело, за матерел и вошел в окончательно зрелую мужскую пору. А коль так, то настало время приучать его к хомуту и седелке, заводить в оглобли, а к зиме так и подковать на все четыре ноги серебряно-звонкими подковами, чтоб Орлик из пустопорожнего скакуна и озорника превратился в трудового тяглогового коня, показал, на что он способен в оглоблях, в телеге-саянях, груженных, к примеру, сеном, дровами или любой иной поклажей.

Начал Антон с хомута. Старый колхозный хомут он обновил по всем статьям. Подпорченный молью войлок заменил на новый, мягонький и нежесткий, но, по всему видно, долговечный, который добыл ему в каком-то хитром городском магазине сын Андрей (теперь в городских магазинах все можно добыть); поменял и сыромятные гужи, вконец высохшие и покрытые продольными рытвинами. С особым вниманием вставил Антон в клешни хомута полутораметровую, опять же, сыромятную, сырицевую супонь, чтоб можно легко и надежно стягивать ею хомут, не причиняя коню лишнего беспокойства.

Когда все было готово, Антон вывел Орлика из сарая на подворье и, показывая на хомут, для начала вразумительно и доходчиво рассказал ему, что это за изобретение такое. Орлик слушал его внимательно, но косился на хомут глазом недобрым и настороженным. А когда Антон, пошире разжав клешни, стал надевать хомут на шею Орлика, тот все-таки взбунтовался: уклонял голову в сторону, чрезмерно выгибал холку и даже встал на дыбы. Пришлось Антону впервые за все время совместной их жизни и дружбы приструнить Орлика строгим наставительным словом:

— Ничего, брат, не поделаешь — без хомута коню никак нельзя.

Орлик вначале, кажется, ничего не понял в этих словах, с храпом рванулся из рук Антона, но потом послушно склонил голову и, считай, сам просунул ее в хомут — такой вот разумный конь.

Несколько дней Антон повторял с Орликом подобные тренировки и

репетиции, водил его к озеру на водопой в хомуте с туго завязанной супоной, и тот помалу привык к войлочно-древесному своему бремени и уже не страшился его и не норовил сбросить во что бы то ни стало.

Вслед за хомутом подошла очередь чересседельника с подпругою. С этим снаряжением было, конечно, полегче, но все равно Орлик опять немало поволновался: гнул на сторону шею, норовя дотянуться до подпруги и перекусить ее белозубыми своими острыми зубами. Когда же, вернувшись с озерной луговой прогулки, Антон разоблачал Орлика и от хомута, и от чересседельника, тот падал на землю и качался по траве-мураве, вздрагивая кожей и всем телом, словно навсегда хотел изгнать из памяти непотребную их тяжесть.

Антон во всем понимал недовольство и страдания Орлика, но, куда же денешься от этой тяжести. Он и сам не прочь бы избавиться от всякой любой крестьянской тяжести-повинности, от ежедневной почти что и каторжной работы, забросить куда подальше и топор, и косу, и вилы с лопатой, да и зажить себе вольным беспечным рыбаком-переметчиком. Но так не бывает в человеческой, тем более в крестьянской жизни: работа — первейшая ее основа и необходимость. Без работы на земле крестьянский мужик в две недели зачахнет и превратится в труху и небыль.

Одним словом, подступила пора Орлику заступать в оглобли под гнутую в пол-луны березовую дугу с медным колокольчиком — дарвалдаем. Антон хоть и с немалым сожалением и даже со вздохами, но все ж таки разобрал тачку (сколько на ней и в одиночку, и в паре с Варькой перевезено груза — не счесть) и причалил, крепко-накрепко соединив шкворнем, переднюю ось с тележным кузовком, который до этого сколько лет сущей бесполезной каракатицей стоял подле сарая. Телега сразу обрела вид телеги; передние и задние колеса, будто соскучившись друг по другу, встали в одну черту и линию, в лад и одно дыхание скрипнули ступицами и шинами. Когда же Антон смазал оси машинным солидолом (дегтя, опять-таки, где достанешь-добудешь — он теперь в аптеке только как лекарственное снадобье продается. — Антон узнавал) и несколько раз прокатил телегу на себе по двору, то она показала ему всю легкость и надежность хода — неизносимая колхозная телега.

Единственное, что пришлось Антону поменять в ней, так это оглобли. Теперь, когда телега вновь стала телегою, старые оглобли-оглобельки, которые исправно служили Антону с Варькой на тачке, никуда не годились: Орлику в них будет и коротко, и непросторно. Так что волей-неволей пришлось приторачивать новые, по его росту и стати. Подходящий материал у Антона счастливо нашелся. Две березовые хорошо ошкуренные и высохшие до колокольного звона жерди-слегги в руку толщиной лет пять, наверное, лежали у него в сарае на вышках. Как и зачем и для какой надобности Антон их туда забросил, нынче он уже и не упомнит. Скорее всего, просто про запас, как надлежит это делать любому и каждому крестьянскому мужику-хозяину. И вот, как нельзя кстати пригодился этот запас. Антон достал слегги с вышек, отряхнул пыль и паутину, оглядел со всех сторон и не смог сдержать своей мужицкой радости — готовые оглобли, словно по заказу сделанные (чуяло, должно быть, сердце Антона, зачем он слегги эти заготовил и на вышки под солому запрятал). Прямоствольные, без единой кривинки, легонькие и прочные и как раз в пору для Орлика по длине.

Для красоты и обновления Антон, понятно, прошелся по ним рубанком, пригладил наждачной мелкозернистой шкуркою и взял на новень-

кие, купленные в городском магазине, болты. Кованные в четыре волны зацепы под тяги-атосы пошли старые, которые Антон, тоже будто предвидя, что они еще в хозяйстве пригодятся, не выбросил, как ненужную ружьядь, а сохранил в ящике с кузнечным и столярным инструментом. И вишь — пригодились. Антон не поленился, проварил их в машинном масле, промыл керосином, почистил и речным песком, и шкуркою — и зацепы засияли, как новенькие, словно только что из кузницы, из-под молота и наковальни.

Прикрепив зацепы к оглоблям, Антон набросил на них тяги, отцентровал телегу, чтоб оглобли не клонили Орлика в ту или в иную сторону, а правили точно по колее.

Конечно, для такого коня, как Орлик, может быть, нужна была какая-либо совсем иная, писаная телега. Или даже не телега, а тарантас, бричка или карета с крытым верхом — но чего нет, того нет. Да и не прогуливаться, не прохладжаться они намерены с Орликом, не в бегах и скачках участвовать, а нести крестьянскую трудовую повинность. И тут уж лучше и пригодней телеги ничего еще не придумано.

Когда телега была во всем готова и обьежена Антоном собственными силами по двору, он, призвав для первого раза Варьку в помощь, решил наконец запрячь в нее Орлика.

Снарядив его в хомут и чересседельник, Антон коротко взял Орлика за оброть и, признаться, не без волнения подвел к телеге. Как он поведет себя, как покажет: добровольно заступит в оглобли или начнет сопротивляться, вставать на дыбы, предчувствуя неволю и пленение.

Минуты две-три Орлик действительно волновался не меньше хозяина, глядел встревоженным взглядом и на телегу, но, когда Антон завел его передними ногами в оглобли и подал ласковую, но строгую и понятную любому тягловому коню команду: «Заступай!», Орлик послушно перешагнул задними ногами через левую оглоблю и встал точно по центру, как будто проделывал это на своем веку сотни и тысячи раз. Антон даже растерялся от такого его послушания: ведь по глазам видно — понимает, что не мед и не сахар тяжеленная эта телега, а вот же покорился — заступил, потому, как, может, получше Антона понимает, что хорошему коню хорошая работа тоже не в тягость и обиду, а только в великую радость. Антон опомнился и не стал медлить больше ни единой секунды (сейчас Орлик понимает, а через мгновение взбунтуется, в щепки переломает оглобли, сбросит хомут и чересседельник и умчится в вольные луга, чтоб никогда уже не даваться человеку в руки), захлестнул гужами дугу, потом, упираясь на отлете ногою в клешню, стянул хомут супоней и завязал ее в тугую косичку. Варька тоже без дела не томилась: пока Антон управлялся с гужами и дугой, она приладила на оброти, защелкнула за металлические зажимы вожжи: правую — понизу гужа, левую — поверху. Ее учить не надо — колхозница и лошадица от рождения.

Теперь оставалось лишь подтянуть чересседельник, хорошенько проверив, чтоб было Орлику не коротко и не длинно, чтоб хомут не тер ему холку или, наоборот, не бился клешнями о грудь — и в путь-дорогу.

Чересседельник Антон подтянул ровным-ровнехенько, нутром чувствуя, сколь высоко надо подтягивать оглобли, и не промахнулся — хомут лег на шею и грудь Орлику, как влитой. Антон только поправил, высвободил из-под войлока в двух или в трех местах гриву, чтоб она вольно ниспадала на могучую шею Орлика, шла волнами и водопадами, а не ком-

калась колтухами и воробьиными гнездами. Грива для коня — главная его красота и гордость. Какова грива — таков и конь!

Приподнятая за оглобли чересседельником, вся упряжка сразу обрела надежную крепость и устойчивость: ничего в ней не шаталось и не провисало, а было напряжено струною и слилось воедино с телегою, которая тоже как будто подобралась и возвысилась в росте. Антон не выдержал, отошел от нее на несколько шагов в глубь двора и законно возгордился делом своих рук: «Ну, прямо-таки колесница какая-то, а не телега!».

Орлик тем временем занервничал, заперебирал ногами: то ли просился поскорее в дорогу, то ли действительно только теперь до конца осознал всю свою несвободу и угнетение.

— Может, взнуздаем! — робко сказала Варька, глядя, как Орлик неистово бьет копытом о землю.

Правда была, конечно, на ее стороне. Любого колхозного коня, а тем более жеребца, снаряжая в первую пробную выездку, непременно угнетают железной уздой, иначе он человеку не покорится, не признает над собою его власть. Но то любого иного! А здесь был Орлик, спасенный и вынужденный Антоном с Варькой, словно малый ребенок, который пребывал, считай, при смерти, при последнем издыхании, но Божией помощью и молитвою выжил и уцелел на радость родителям. И теперь, что же, его в железную узду, в обиду и боль?! Ну, уж нет — этому никогда не бывать, этого Антон никогда не допустит. Коль начали они жить с Орликом в полной любви и согласии, то надо так жить и дальше. А с железною уздечкою во рту, которая нещадно и немилосердно рвет губы, защемляет язык, сбивает дыхание, какая же любовь, какое взаимное доверие? Орлик вмиг почувет, что не ровня он Антону с Варькой, а всего лишь приبلудная бессловесная животиная, которой можно понукать, как хочешь, можно и обидеть, как хочешь и грубым, крикливым словом и кнутом, и железною в две связки уздой. И никто тебя не защитит от этого поругания и бесчестия. Лучше уж было тогда Орлику погибнуть в болотах в младенческом своем неосмысленном возрасте, чем терпеть теперь от родных ему людей боль и страдания за несовершенную еще провинность. Цыган, поди, и тот поцадил бы Орлика и не истязал его уздой.

— Нет, — решительно отверг Антон Варькины запальчивые слова, — не будем! Он и так пойдет. Вот увидишь!

Варька легко согласилась с Антоном, ласково погладила Орлика по шее, по-своему, по-женски подровняла на гриве две-три сбившихся в сторону пряди и, словно винась перед Орликом за необдуманные опасения, угостила его краюшкой хлеба, которую, оказывается, принесла в кармане. И они помирились...

Теперь уже можно было подбирать вожжи, садиться в телегу и трогаться в путь. И тут Антон с Варькой неожиданно для себя растерялись: а куда ехать им на Орлике по первому разу, куда держать эту путь-дорогу? Заманчиво, конечно, было, широко распахнув ворота, опрометью выскочить со двора, да и понестись на зависть мужикам (а иным, робким, так и на испуг) по деревенской улице размашистой рысью, галопом и аллюром. То-то будет после разговоров в селе, судов и пересудов! Это тебе не на каком-нибудь «Опеле» промчатся, который теперь для деревенских жителей вовсе и не в диковинку, а на огненном, вороной масти коне, на Орле и Орлике.

Антон поначалу так и хотел было сделать, заиграла в нем на мгновение непомерная гордыня, показать захотелось мужикам во всей красе и

себя, и Орлика. Подобная гордыня неведомо как, каким образом, какими путями и тропами иногда поселялась в Антоне. Вот, к примеру, поймает он на перемет полутораметрового сома-гусятника и, когда несет его домой нарочито по улице, а не огородами, так гордыня эта и проберется Антону в душу и заиграет там на все лады и переборы: глядите, мол, какого сома я взял — вам такой и не снился. Гордость за рыбацкую свою удачу, может, и вполне законная (какой рыбак не любит похвалиться богатым уловом?!), а вот гордыня вовсе и ни к чему. Антон всякий раз пытался сломать ее и сворачивал на полдороге из улицы в огорода, да еще и прикрывал сома какой-нибудь веткою: экая невидаль — сома он поймал, будто другие мужики не ловят их, не берут на крючки и невода.

Но то мелкая рыбацкая удача (мелкое и хвастовство), а тут Орлик, и негоже гонять его ради забавы по деревенским улицам, распугивая кур и уток. Он конь трудовой, тягловый, и надо с первого раза приучать его к дороге трудовой, груженной.

Антон посоветовался с Варькой и без всякого сожаления переменял свое решение. Вместо уличных ворот он распахнул задние, ведущие на огорода и луга. С осени еще стояла у них с Варькой возле самых грядок копешка подстилочного аира и осоки, накошенных Антоном по болотам и пастольникам. Перевезти копешку на тачке поближе к двору у Антона с Варькой никак не доходили руки. Да, признаться, и надобности в том никакой особой не было. На подстилку шла ржаная и овсяная солома, сметанная в стожок на задах клуни. А теперь вот осенний тот запас перевозит настало как раз время: солома заканчивалась, оденок уже был виден.

Из ворот Антон вывел Орлика, придерживая на всякий случай за оброть. Во-первых, задние ворота у них узковатые и, если править подводу вожжами, сидя в передке телеги, то запросто даже можно зацепить осью за ушулу, что не раз с Антоном и случалось в прежние колхозные годы на колхозных же шатких возах. А во-вторых, все ж таки боязно за Орлика. Вдруг он, почуяв за собой тележную тяжесть, скрип колес, бряцание шкворня, собьется с шага, разгневается и в праведном этом гневе так крутанется в оглоблях, что сломает их, словно палочки-спички, порвет гужи, опрокинет дугу и после запрячь себя действительно больше никогда не позволит. Орлик и вправду, даже ведомый за оброть, первые три-четыре шага сделал нетвердо, непомерно высоко поднимая передние ноги, как будто готовясь встать на дыбы и подмять под себя жестокосердного хозяина. Пришлось Антону успокоить его почти теми же словами, какими успокаивал он раненого Орлика-жеребенка в погибельную ночь на болотах:

— Ну, чего ты?! Пошли!

Варька, сидевшая уже с вожжами в руках в кузовке, приласкала, приободрила Орлика в свою очередь:

— Потихоньку давай. Потихоньку!

Ласковые слова Варьки Орлик услышал, оглянулся на заботливую свою хозяйку и, поймав широко раскрытым карим глазом ее взгляд, словно спросил: что ж это — так надо, чтоб березовые оглобли стесняли его с двух сторон, чтоб под дугой пугливо позвякивал медный колокольчик, а сзади, натягивая гужи, катилась старая скрипучая телега на железном ходу (сколько ни подновляй ее, сколько ни ремонтируй, а на колесницу она не похожа — обыкновенная телега, и все тут).

— Так надо, Орлик! — сказала Варька. — Никуда не денешься.

Орлик вздохнул, перестал беспокойно вскидывать ноги, дрожать телом. Он в последний раз оглянулся на Варьку, как будто согласно ответил ей: «Ну, коль надо, то надо» — и перешел на мерный рабочий шаг.

С этого мгновения и началась у Орлика трудовая лошадиная жизнь...

* * *

Копешку они перевезли в две ходки, чтоб сразу не обременять Орлика чрезмерной тяжестью, а дать ему привыкнуть к ней и почувствовать подлинные свои возможности и силы, хотя для такого коня, как Орлик, копешка в двадцать пудов — не вес и не тяжесть. Но привыкнуть надо... Крестьянская повседневная работа и жизнь таковы, что в них предстоит втянуться, и желательнее постепенно, день за днем, час за часом. Иначе надсадишься, рассуполнишь в горячке все жилы и пуповины. А надорванный и хворый, какой из тебя работник и созидатель — бремя одно, да и только.

Антон с Варькой все это по себе хорошо знают. С детского, вот такую сенького возраста к работе под присмотром родителей приучались: уток-гусей на выгоне пасли, траву в березняке для теленка серпами жали, картошку, просо полости (матери назначат постать — вот отсюда и до сюда — и надо ту постать к вечеру, к возвращению родителей с колхозной полевой страды обязательно завершить).

Орлик же начинает трудовую свою жизнь, считай, уже в зрелом возрасте. И тут особенно опасно надорвать, затомить его в первые рабочие дни: пусть каждой жилочкой и суставом почувствует он поначалу работу нетяжкую, умеренную, а потом, когда жилы эти и суставы приносятся к ней, можно уже будет нагружать Орлика в полную его и, похоже, немалую силу. Но, опять-таки, постепенно, не в один заход и запал.

Антон с Варькой так и стали поступать.

На следующий день выпала им поездка в лес, в урочище Вершины. Там у Антона лежали заготовленные еще зимой с позволения лесника во время расчистки десятков двухметровых дубков да столько же пролетных сосновых жердей. Изгородь у Антона с Варькой вокруг палисадника совсем порушилась и покосилась, пора было менять, а то от людей уже неудобно, будто в доме хозяина-радетеля нет. Или есть, да у него на уме одни только рыбные переметы, а что изгородь обвалилась (скотина туда даже начала забредать), так ему и горя мало.

Конечно, по нынешним временам ограду можно было заказать в городе железную со всякими вензелями и узорами или каменно-бетонную (многие мужики так и поступали, соблазнялись на вензеля и узоры), но у Антона с Варькой душа ни к железу ни тем более к бетону не лежала. Камень, он и есть камень — душу не веселит и не греет. Иное дело дерево, пахнущее смолой, дубовым листом и желудем! Опять же, и фигурные штакетинки, прибитые в разлет, как радуют глаз. Глядел бы и не нагладелся. Но нужного материала Антону для обновления изгороди никак не попадалось (особенно дубков под столбы), и он все откладывал и откладывал с ремонтом, все тянул и тянул время, пока в лесу затеется расчистка (без расчистки кто же тебе позволит срубить-спилить дубок?!). И вот этой зимой дождался, снарядился в лесорубы, и в награду получил и дубки, и жерди. Но вывезти их зимою никак не получилось: снега легли высокие, метельные — ни одна машина не пробьется. Ранней весной тоже

не вышло: распутица, бездорожье. Так и лежали дубки и жерди под прищотром лесника близ кордона.

Теперь же самое время было их перевезти. И дорога установилась, и транспорт свой, незаемный.

Ехать в Вершины предстояло улицей, не до самой, правда, околицы, не до лесной опушки, а всего лишь до бывшей колхозной фермы и кладбища (там дорога сворачивала и шла вдоль реки, по низам) — но улицей, на виду у всего честного деревенского народа.

Мужики, еще издали приметив подводу, стали глядеть в окна, а иные так и приоткрывали калитки и что-то кричали Антону с Варькой, должно быть, приветствовали их и Орлика (еще бы, столько лет живой подводы не видели!), но Антон с Варькой мужиков не слушали, никак не откликались на их призывы, не до того им было. Орлик вдруг сам по себе, не подгоняемый ни Антоном, ни Варькой, перешел с пешего шага на рысь, да такую размашистую, да такую легкую, что Антону с Варькой показалось, будто не по пыльной деревенской улице он бежит, а плывет вровень с облаками по утреннему воздуху, и вместе с ним плывут и они, самые счастливые в селе люди — Антон и Варька.

Мужики, глядя на ту рысь и на тот, может, и вправду воздушный полет, еще шире распахивали окна и калитки. Так оно и было отчего: не каждый день случается подобное видение...

* * *

Лесная та, похожая на полет-парение поездка не прошла даром ни для Антона с Варькой, ни для Орлика. Дня через два-три вдруг постучался к ним в дом Семен Макарович, мужик степенный, знающий себе цену, к тому же и рыбак-сетевик, с которым Антон был не так уж чтоб и в дружбе, но в хорошем знакомстве. Сняв по обычаю у порога фуражку, Семен Макарович поздоровался, а потом вдруг и озадачил Антона с Варькой:

— Дело у меня есть к тебе, Антон, просьба.

— Какое?! — чуть настороженно откликнулся Антон. Признаться по правде, это было даже немного удивительно, что Семен Макарович явился к Антону с просьбой. Он сам вроде бы все умел, все мог: что в крестьянском земледельческом деле, что в плотницком и столярном, что в рыбацком (не переметчик, конечно, тут Антон первейший закоперщик). И вот — на тебе — пришел к Антону за помощью. Может, что с коровою случилось или с поросенком — так Антон по силе своей и возможности готов помочь: вывих вправить или другую какую болезнь отвести.

Но просьба Семена Макаровича оказалась совсем иной. Незначительная в общем-то просьба, но такая определенная, какую никто больше в селе не исполнит.

— Лодку я себе новую сладил, — принялся объяснять ее Семен Макарович. — Проконопатил вчера, просмолил, а доставить к реке не на чем. Не подобишь с подводою?

Сердце у Антона от такой просьбы-прошения прямо-таки заиграло, запрыгало мячиком. Это действительно просьба, так просьба! Одно дело свою, домашнюю работу на Орлике править, а совсем иное — на люди выйти, показать себя во всей красе и трудолюбии! И как покажет себя Орлик у Семена Макаровича, такая и пойдет о нем по селу слава: трудолюбивый он конь, надежный или только ретивый, да не в меру резвый и к крестьянской серьезной работе непригодный.

— Отчего ж не подсобить? — переглянулся Антон с Варькой (и та сразу поняла и поддержала его запальчивое настроение). — Очень даже можно подсобить.

Вдвоем с Семеном Макаровичем они вышли во двор, и Антон впервые на глазах у постороннего человека начал запрягать Орлика, заметно, конечно, волнуясь и переживая. Но Орлик не подвел его и не посрамил. И хомут дал надеть без всякого сопротивления, и в оглобли заступил, считай, самостоятельно.

* * *

Рыбацкую лодку-щучку Семена Макаровича они доставили к реке за милую душу. Орлик, чужая, какой ответственный для любого рыбака груз он везет, шел твердым спокойным шагом, не отвлекался ни на что постороннее: ни на высокие стебельки травы на обочине дороги, которую любой иной конь непременно схватил бы на ходу, ни на птичью воробьиную стайку, увязавшуюся вслед за ними, ни даже на громкие разговоры Антона с Семеном Макаровичем о рыбацких удачах-неудачах. Низко склонив к земле голову и зорко следя за дорогой, Орлик упрямо отмерял ее шаг за шагом — работал.

На речном берегу, пока Антон с Семеном Макаровичем сгружали лодку, спускали ее на воду и поочередно пробовали посудину на плаву, Орлик тоже вел себя достойно. Смирно стоял возле самой воды и не тянулся к ней, как, опять-таки, потянулся бы любой иной невоспитанный конь, не в силах сдержаться от соблазна, чтоб не отведать речной этой проточной воды. Но Орлик сдержался, хорошо зная (приучен к тому), что всему свое время: и кормлению, и водопою, и отдыху. А сейчас — работа, да еще на глазах у такого строгого человека, как Семен Макарович. Тут уж надо соблюдать в поведении должный порядок.

А Семен Макарович и вправду нет-нет, да и поглядывал на Орлика, придирчиво так, цепко поглядывал, но говорить пока ничего не говорил. Мужик он малоразговорчивый, скупой на слова, вот разве что о рыбалке любит иной раз побеседовать — не устоит.

Но Антон чувствовал, что не зря, не праздно поглядывает на Орлика Семен Макарович, следит за ним — есть у него к Антону насчет Орлика какой-то особый, негласный разговор.

И ничуть не ошибся Антон в своих предположениях. Домчались они назад к дому Семена Макаровича на скорых рысях, едва успев перемолвиться словом-другим, но пока не об Орлике, а о лодке (ладная она получилась, устойчивая на волне или не очень), о погоде, да о видах на урожай. Крестьянский, самый обыкновенный разговор. Было видно, томит Антона Семен Макарович, выжидает для негласного своего разговора спокойной, несуетной минуты.

Послабив чересседельник, они привязали Орлика к штaketнику, положили травы (и тот не загордился, начал есть ее, пофыркивая в свое удовольствие — теперь можно, теперь заслуженный отдых и передышка), а сами вошли в дом и пристроились на кухоньке, чтоб выпить по рюмочке. Дело они сделали, пусть и малое, но для Семена Макаровича вон какое необходимое — как не выпить, не отметить свершение.

И вот после второй, а то, может, и после третьей рюмочки, Семен Макарович с затаженным пристрастием глянув на Орлика сквозь кухонное окошко, вдруг и сказал, спросил Антона:

— Ты, что же, так и думаешь держать его в жеребцах?

Антон ответил не сразу. Он тоже, если надо, умеет и помолчать, хорошенько подумать прежде, чем произнести нужное слово. Но сердце у него, до этого прыгавшее и ликовавшее в груди веселым мячиком, мгновенно опало и затихло, будто мячик этот, подпрыгнув в последний раз, закатился в непроглядную темень и зазор, откуда его ни за что не достанешь.

— Так и буду держать! — твердо и несокрушимо ответил наконец Антон.

Еще едва обрета Орлика, едва выйдя его и поставив на ноги, они с Варькой не раз и не два обсуждали непростой этот вопрос: что делать с Орликом — растить его таким, как есть, как определено ему природой, или все же так обратиться в обыкновенного крестьянского коня, в мерина. Если рассуждать просто, невдумчиво, то в хозяйстве, конечно, нужен конь, мерин, для которого ничего в жизни, кроме работы, нет и быть не может. А радость только одна — сытная еда да водопой. Но как им было поднять руку на Орлика, он и так вон сколько настрадался в болотах, отлученный от матери, порванный волками-собаками и до смерти напуганный. Они и не поднимали, а все откладывали и откладывали неразрешаемый этот вопрос на потом, на после и растили Орлика веселым, радостным жеребенком.

— Но ведь взбунтует! — дав вдоволь намолчаться Антону, продолжил разговор Семен Макарович. — Кровь у него молодая, горячая. Ему подруга нужна, любовь. Такой конь под седлом должен ходить, кованный на все четыре ноги, а ты его в телегу да в хомут. Взбунтует, вот попомнишь мое слово!

— Попомню! — только и ответил Антон Семену Макаровичу и, отказавшись от завершающей рюмки, от «посошка», мерным и тихим шагом поехал на Орлике домой.

Варьке он о разговоре с Семеном Макаровичем, опять-таки, не обмолвился ни единым словом. Коль утаил Антон от нее перебранку с таборным цыганом, то негласный разговор с Семеном Макаровичем сокрыл и тем более, чтоб не приводить Варвару Ильинишну в ненужные переживания. Но сам он окончательно и бесповоротно решил, что никогда и ни под каким предлогом не тронет Орлика. Коль уж не притомил, не тронул он его железною уздечкой, то как можно тронуть железным ножом. А подковы и седло Антон для Орлика добудет.

* * *

И уж совсем укрепился в своем решении Антон, когда вскорости пришел к нему еще один деревенский житель, ровесник и одноклассник, Витька Воробьев (за веселый, неунывающий характер и нрав его все еще с детских лет Воробьем прозвали), и снова с просьбой насчет Орлика. Да какой неожиданной и заманчивой!

В следующее воскресенье женил Витька Воробей младшего своего сына, тоже Витьку и тоже по веселому нраву — Воробья. Невесту они брали из города, из районного центра, и вот что надумали (выдумщики, что отец, что сын, еще те!).

— Дай нам на свадьбу Орлика! — с порога завелся, закружился сущим воробьем Витька Воробей-старший.

— Так у тебя же машина есть! — попробовал усмирить его Антон.

— Ну, что машина?! — горячился, не отставал Витька. — Железо! А тут живой конь! Мои городские сватья только ахнут!

Это точно — ахнут, если налетит на них Витька не мелкой пташкой — воробьем, а сизокрылым орлом высокого и дальнего полета.

— На свадьбу вроде бы карета нужна или бричка, а у меня телега, — все-таки решил Антон отбиться от Витьки. С ним только свяжись, послехватишь беды: и коня запалит, и телегу вдребезги расшибет. Хотя, конечно, и вправду заманчиво было испытать Орлика на людях, под гармошку-музыку, под песни и пляски, под хмельные задорные крики, без которых ни одна свадьба не обходится. Орлику ведь к полнокровной жизни привыкать надо: и к работе, и к отдыху-веселью.

— Велика беда — телега, — не поддался и на эти его уговоры Витька. — Мы ее так принарядим, что ни одна карета-бричка не сравнится.

— Ну, и что будем делать? — спросил Антон у Варьки, которая до этого молча сидела возле телевизора и в их переговоры с Витькой не вмешивалась, мол, кони — это ваше, мужское дело, а я тут ни при чем.

— Так что?! — откликнулась и наконец пришла на подмогу Антону насмешливая Варька. — Раз люди приглашают — надо идти.

И тем решила все сомнения Антона. Едем-идем на свадьбу-веселье и ничего нам не страшно: ни гармошки-бубны, ни песни-припевки, ни хмельные гулевые крики!

* * *

Накануне свадьбы Антон проверил всю упряжь: хомут, чересседельник, гужи и вожжи, чтоб в самый решительный момент они не подвели его, не лопнули. Заново смазал Антон и телегу, хотя она и без того хорошо была смазана, нигде не скрипела, не терлась сухими, разгоряченными частями.

На подворье к Витьке Воробью они с Варькой явились точно к назначенному времени. И тут за Орлика взялись расторопные женщины-свахи, дружки и бояре. В гриву они вплели ему разноцветные атласные ленты, вместо одного колокольчика приладили на дуге целых три (и где только Витька их раздобыл?) и тоже обвязали ее, обвили лентами, пустились длинные развевающиеся концы по оглоблям. В кузовок Витька собственноручно положил свеженакошенной травы и прикрыл чистым половичком-попоною. Телега действительно сразу преобразилась, обрела праздничный, торжественный вид, издали сразу и не разгадаешь — обыкновенная это крестьянская телега-дровни или выездная легонькая карета на рессорах.

Когда с убранством, нарядом, которые Орлик терпеливо выдержал, было покончено, Антон, повязанный по обычаю через плечо широким шитым красно-черными цветами рушником, подобрал вожжи и сел в передке телеги. Рядом с ним занял место жених, Витька Воробей-младший, разбитой, запальчивый парень, и старший боярин с перламутровым баяном на груди. С противоположной стороны приладилась Варька и несколько голосистых свях, знающих все свадебные, весельные частушки-припевки. Остальные гости занырнули в тоже разукрашенные цветами и лентами машины, которых было, кажется, пять или шесть — Антон даже сбился со счета. Витька — мужик гоношистый, с расходами не посчитался, собрал по селу все легковые машины, лишь бы не ударить лицом в грязь перед новой своей городской родней.

— Ну, с Богом! — тихонько прихлопнул вожжами Антон и развернул Орлика на улицу, на просторную, разгонистую дорогу.

Орлик сразу взял рысью, по навыку своему и широкой, и размашистой, но какой-то совсем не такой (совсем не такой — тут и говорить нечего!), которой он мчал Антона в обыкновенные рабочие дни. Почуял Орлик, что и развевающиеся ленты в гриве, и тройной колокольчик под дугой, и шитый крестом рушник у Антона через плечо не зря повязаны, что день сегодня особый, праздничный, а значит, и бег его должен быть тоже особым, праздничным и легким, таким, каким никогда еще и не был...

Когда же старший боярин, парень под стать жениху не промах, развернул на груди баян, а Варька и женщины-свахи запели первую свадебную песню-частушку (Варька поди и позадорнее свах — голос у нее звонкий и от любых иных отличимый), Орлик без всякого принуждения и понукакия Антона пошел в карьер и галоп, опять-таки почуяв, что пора, что размеренная рысь для сегодняшнего свадебного дня никак не годится — мелка и буднична.

Антон ни чем не сдерживал Орлика, попустил вожжи и лишь краем глаза следил за дорогой, за ее поворотами и изгибами. Орлик, обретя полную, нестесненную свободу, сам по наитию выбирал эту дорогу (и ни разу не сбился, не зацепил тележной осью ни за телеграфный столб, ни за чей-нибудь забор-ворота), кидал ее себе под ноги и, кажется, сожалел лишь об одном, что дорога слишком коротка и ее не хватит для настоящего разгона. Колокола-колокольчики под дугой от такого стремительного бега, заливались на все лады-переборы; старший боярин, едва удерживаясь на грядущке, разворачивал во всю грудь баян и без роздыху сыпал и сыпал вдогон и перебив колокольчикам свои плясы и переплясы, а Варька со свахами, в единое мгновение подстроившись и под колокольчики, и под баян, заполоняли всю округу величальными свадебными частушками.

Кавалькада машин, которая выстроилась вслед Орлику, на песчаной грунтовой дороге (то ли сама по себе: все-таки песок, ухабы и рытвины, то ли по велению занозистого Витьки Воробья-старшего) заметно отстали. Там тоже пытались играть и на гармошках, и на баянах, что-то петь, высовываясь из окон, но далеко им было до Орлика, до убранной лентами и цветами упряжки, до медно-заливных колокольчиков, до голосистых частушек на свежем вольном ветру, которые всякий раз начинала Варька...

* * *

Городская новая родня Витьки Воробья, завидев Орлика, действительно ахнула, пришла в смятение, и когда подоспело время ехать в ЗАГС и церковь на венчание (теперь без венчания подлинные свадьбы не проходят), забоялась даже отпустить на телегу свою дочь-невесту. Но сама она не забоялась (должно быть, Витька-жених, накануне еще шепнул ей на ухо насчет Орлика), подобрала свадебное свое воздушно-пенное платье и решительно шагнула к телеге. Витька-жених подхватил ее на руки, несколько раз покружил на виду всей обоюдной родни, а потом вскинул высоко на грядущку — и невеста гляделась там, словно какая царевна-лебедь на морских волнах. Всем она была видна и обозрима, и сама всех видела и обозревала из-под узорчатой фаты-паутинки — не то, что в тесной, душной машине, где ни согнуться, ни разогнуться.

Антон поправил на плече ружник, по-молодецки свистнул-присвистнул (он с молодости, со времен ухаживания за Варькой, выучился этому посвисту-пересвисту поди и получше многих иных деревенских ребят — иначе Варька за него бы и не пошла) и помчал Орлика по притихшим от удивления городским улицам.

* * *

В церковь на венчание Антон заглянул всего лишь на минуту, а потом вернулся назад к Орлику, потому как городская ребятня окружила его плотным кольцом и, мало чего понимая в обращении с лошадьми, лезла прямо под ноги, тянулась к гриве и даже пробовала кормить с ладошки, кто чем мог: пряниками, печеньем, жесткими бубликами-баранками. Антон приструнил маленько мальчишек, отгеснил их от подводы: Орлик, конечно, конь смирный, понимает, что перед ним дети-озорники, не взрослые люди, но по неосторожности мог кого-либо и задеть ногой, копытом или головой, отказываясь от городских сладких подношений. Так что лучше с ним поосторожней и повнимательней.

Мальчишки, хотя и с трудом, но все-таки подчинились Антону, отступили от подводы и любовались теперь Орликом издалека, спрашивали, как его зовут, какой он породы и сколько сможет повезти за один раз груза. Антон охотно вступил с мальчишками в переговоры, подробно отвечал на все их любознательные вопросы: городские все-таки жители, конь, живая природа им действительно в диковинку.

Он так увлекся своими рассказами, что и не заметил, как от церковной ограды вдруг отделился и, стороня мальчишек, широким напористым шагом подошел к подводе таборный кудлатый цыган. С Антоном он едва-едва поздоровался, как будто тот был здесь посторонним лишним человеком, а сразу направился к Орлику и, воспаленно глядя темными с поволокой глазами, начал придиричиво оглядывать и осматривать его. Тяжелой, унизанной кольцами и перстнями ладонью цыган постучал Орлика по крупу, по бокам и по шее, потом потребовав, чтоб Орлик поднял ногу (и тот, к удивлению и даже обиде Антона, поднял), зачем-то осмотрел копыто, потом цепко, уже обеими руками, схватил Орлика за челюсти и, заставляя того открыть рот (Орлик и тут во всем повиновался ловкому цыгану), обследовал молодые его, нигде не подпорченные и не сточенные еще зубы. Завершил нахальное свое обследование цыган тем, что сунул под скулу Орлику золочено-каменный кулак и на несколько мгновений задержал его там. Антон знал, что цыгане таким манером определяют — хороший конь перед ними или худой. Если кулак заходит под скулу глубоко, без остатка, то значит, хороший, а если нет, то худой, немощный и квелый, и серьезному таборному цыгану он без надобности и пользы.

Здоровенный цыганский кулак скрылся под скулой у Орлика по самое запястье. Цыган добродушно улыбнулся, и только теперь, кажется, по-настоящему заметил и признал Антона.

— Добрый конь! — весело и хитро сказал он. — Знатно добрый!

— Понятно, что добрый, — ответил Антон и, чтоб не допустить больше цыгана к Орлику, встал, теребя в руках петельку вожжей, возле оглобли.

— Давай меняться! — неожиданно (и опять с усмешкой на устах) предложил цыган.

— На что меняться? — вначале не понял его Антон, но на всякий случай потеснее прижался к оглобле.

— Ты мне коня, я тебе — машину, — пояснил цыган и указал на противоположную сторону улицы, где под деревом-кленом стояла, сияя черно-смоляным лаком новенькая машина — «Форд».

Антон мельком лишь и без всякого интереса глянул на машину: ему было совершенно все равно — «Форд» это или не «Форд», цыганская это машина или не цыганская, а какая-нибудь чужая, посторонняя, а то и краденная.

— Зачем мне машина? — отверг он затейливое и явно с подначкой предложение напористого цыгана.

— Как это — зачем?! — совсем распалился, разыгрался тот. — Теперь все мужики с машинами

— То мужики, а то — я! — защитился и тут Антон.

Но докучливый цыган никак не отставал от него, дурашливо задираясь, тем более, что вокруг них постепенно собралась толпа любопытного на всякие происшествия народа.

— Жену дам в придачу! — веселился сам и веселил толпу цыган.

— У меня своя есть, — еще крепче зажал в ладони петельку вожжей Антон.

Цыган на минуту замолчал, отступил от подводы, а потом, похоже, уже и серьезно сказал:

— Украду я все-таки его у тебя! Не крестьянский это конь — наш, таборный, цыганский, — и добавил точь-в-точь словами Семена Макаровича: — Ему под седлом ходить надо!

— Кради! — тоже вполне серьезно ответил Антон и напомнил цыгану давний их разговор возле костра: — Только после не обижайся!

— Не обижусь! — засмеялся, раззадоривая зевак, цыган и вдруг с каким-то неуловимым вывертом крутанулся на одном каблуке и бесследно исчез в толпе. Так бесследно, что Антон даже засомневался, был ли на самом деле кудлатый этот цыган или он только причудился ему подле церковной высокой ограды...

* * *

Будь у Антона в запасе хоть сколько-нибудь времени, то он, может быть, не сдержался бы и пошел вслед за цыганом, чтоб поговорить с ним об Орлике наедине, без посторонних праздно любопытных свидетелей. Не нравятся Антону все эти цыганские подначки и угрозы, надо бы остановить их раз и навсегда, а то ведь после жизни им с Варькой не будет, повсюду станут чудиться конокрады, воры-разбойники.

Но времени у Антона на погоню и разговор с цыганом не осталось ни единой минуты: венчание уже закончилось, и Витька-жених бережно нес к подводе на руках венчанную свою и теперь уже законную и перед Богом, и перед людьми жену.

...В обратной дороге Орлик тоже не подвел Антона. Мчал младшего Витьку Воробья и молодую его жену-воробиху и по городским асфальтным улицам, и по проселочной песчаной дороге, и по встреченным свадьбой улицам деревенским, будто на крыльях. Он привык уже к залиvistому перезвону колоколов-колокольчиков под дугой, к неустанному перебору баяна, к веселым песням-частушкам, нисколько не пугался всего этого перезвона, перебора и перелива, а,

наоборот, похоже, лишь желал, чтоб они были позвонче, пораскатистей, и поголосистей, потому что бежать-мчаться под их перекличку-величание совсем легко и задорно — телега кажется пушинкой и перышком.

...Но предстояло Орлику сегодня еще одно особое испытание, и Антон, признаться, ожидал его с немалой тревогой и волнением. Так заведено у них, что вечером, после застолья в доме у невесты, вся свадьба, уже хорошо подгулявшая, изморившая себя и в танцах, и в пении, едет в дом жениха, чтоб продолжить веселье там. И тут есть один, заведенный, Бог знает в какие времена, обычай. Жених с невестой обязательно должны пройти испытание огнем, очиститься им и начать после этого очищения совершенно новую первозаданную жизнь мужа и жены.

Поджидая свадьбу, мужики, играющие ее со стороны жениха, вершат на подъезде к его дому поперек дороги две-три копны сухой соломы-обмялицы. И вот, как только покажется идущая впереди всей кавалькады тройка или одиночная, запряженная жеребцом-скакуном подвода с женихом и невестой, мужики в единое мгновение зажигают солому. Огонь от нее в общем-то малоопасный, но вспыхивает высоко в небо. Деревенские (ко всему привычные, ведомые хорошим, опытным возницей) лошади идут на него без страха и робости, хотя, конечно, раз на раз не приходится: бывает, что и шарахаются в сторону, норовя миновать огонь по обочине, особенно, если дело происходит в поздних сумерках или даже в ночи (а чаще всего так оно и складывается), когда соломенный яркий огонь-пожарище застит заревом все небо.

Но то опытные, видавшие и пожары, и всякие иные стихийные бедствия колхозные кони, а тут Орлик — конь и домашний, ручной, и по молодости своей мало еще чего в жизни испытывший, кроме разве что детских своих несчастий.

Вот Антон и опасался за него, вот и тревожился и даже пребывал на свадьбе почти в полной трезвости, выпив за весь день всего рюмочку-другую, да и то не водки, а вишневой слабенькой наливки, которую подают только жениху и невесте...

* * *

Завершилось свадебное застолье в доме у невесты вроде бы и совсем еще рано, засветло, всего в седьмом часу. Антон обрадовался этому и, опережая всех остальных гостей, незаметно вышел к подводе, чтоб перед последним на сегодняшний день испытанием Орлика, еще раз проверить сбрую, телегу, приободрить его ласковым утешительным словом. А то ведь случается, что мальчишки-озорники ради забавы подрежут у коня на хомуте супонь или на чересседельнике подпругу, или повыдернут из осей занозы-загвоздки. Подвыпивший наездник-возница не заметит их преступления, и тогда происходит подлинный казус и насмешка. Провожаемые всей свадьбой сядут жених с невестой в телегу на подушки, наездник подберет вожжи, прикрикнет-присвистнет на коня. Тот рванется с места в галоп и аллюр, но на первом же шаге супонь и подпруга от такого рывка лопнут, конь выпряжется и понесется по улице сам-един, а жених с невестой под общий хохот и осмеяние, останутся сидеть на телеге, если только у нее не слетят с осей колеса. А если слетят, то и вовсе опрокинутся на землю. Так что проверить перед поездкой сбрую и телегу никогда не помешает.

Слава Богу, все оказалось на месте, в целости и порядке. Нынешние мальчишки совсем не те, что прежние. С машиной что-либо сотворить они могут запросто, привычны к ней и обучены, а вот к грозному Орлику подходить опасаются, да поди и не знают, что такое супонь, подпруга и занозы-загвоздки, как с ними сладить...

С отъездом поначалу все складывалось хорошо. Жених и невеста вовремя вышли из дома, без промедления уселись на телегу, но тут у ворот, как, опять-таки, и полагается по обычаю, встали друзья-товарищи невесты и стали требовать от родни жениха выкуп за такую красавицу, которой Витька Воробей-младший, может быть, и недостоен. Действие это в свадебном течении ожидаемое и обязательное. За невесту, несправедливо увозимую из родного подворья и родной улицы, друзья ее и товарищи, понятное дело, требуют великие миллионы и тысячи, но все заканчивается бутылкой-другой водки, да хлебосольной закуской с праздничного стола. Тут многое зависит от того, кто будет со стороны невесты вести торги. Если мужик расторопный и увертливый, с купеческой жилкой в характере, который за словом в карман не полезет, то все сладится к обоюдному удовлетворению быстро и споро. Но если попадетсЯ какой-либо мямля и топтуха, то торги-ярмарка затянутся надолго: ребята горазды покуражатся над ним, понасмешничать, заведомо зная, что никуда незадачливый этот продавец не денется — выставит на стол и поднос все, чего они потребуют.

У Витьки Воробья как раз и попался такой мямля и топтуха, мужик к торгам-продажам совсем непригожий. К тому же и заметно хмельной. И дело затянулось, застопорилось. Ребята стояли на воротах крепкою сплоченною дружиной, требовали законные свои миллионы и тысячи. Пришлось вмешаться Витьке Воробью-старшему. Но и его ребята потюмили немало и в конце концов выторговали три четверти водки. Витька, куда ж денешься, помялся-помялся и выставил требуемое...

Пока шла вся эта веселая неуступчивая перебранка, за вечерело. С дуга и реки наполнили сумерки и сизо-голубой туман. Просветленные еще, негустые, Антон даже не обратил на них никакого внимания, ничуть не забоялся и не встревожился. Ехать до дома жениха было всего ничего. Минут двадцать, не больше. Огонь-пожарище на дороге будет, считай, еще дневной, для Орлика не очень устрашимый.

Но тут вдруг задурил Витька Воробей-старший (за ним подобные вывихи водились). Он потребовал ехать не прямоезжей дорогою по хуторской, подлесной улице, а окольным путем, через все село, чтоб еще раз покрасоваться на миру, похвастать богатой своей свадьбой. Пришлось Антону подчиниться Витьке. На свадьбе слово родителей жениха или невесты — закон. Это все знают и ведают.

В общем, помчалась свадьба с колокольчиками-бубенцами, песнями и прочими музыками-баянами окольным путем по селу. Ехали, правда, тоже вроде бы и недолго, около часа, но за это время сумерки сгустились, туман осел, придавился к самой земле, и, когда Антон вывернул Орлика из села на хутор, в подлесье, там уже стояла настоящая ночь. Мужики-хуторяне, Витькины сподвижники, нужного мгновения не упустили. Чуть завидев на повороте свадьбу, они чиркнули спичкой, и соломенный яркий огонь вспыхнул под самое небо, озарил его желто-красным гудящим пламенем. Орлик на всем скаку сбился с шага, прижал уши и испуганно вильнул в сторону. Антон с трудом удержал его на дороге и впервые пожалел, что нет на Орлике сейчас уздечки, узды, чтоб через боль и

страдание (без них как проживешь, как выстоишь в жизни?!) преодолеть минутный свой страх.

Но уздечки не было. Антон тоже на секунду растерялся, но потом, сколько сохранилось в нем силы, натянул вожжи и тоже впервые за все время, что Орлик у них рос и воспитывался, грозно и властно крикнул на него:

— Не робей!

Орлик вздрогнул от этого крика, но послушался Антона и не заробел. Он бесстрашно пошел на костер всем своим взмыленным жарким телом, подмял под себя высокое пламя копытами, навалился на него, пробивая дорогу, могучей грудью и вынес жениха с невестой из огня перевозданно чистыми и целомудренными, будто омытыми утренней восходящей зарей.

А машины вынужденно сбавили ход и притормозили. Опасно им было кидаться в огонь и пламя: все ведь блестят быстро воспламеняющимся лаком, все переполнены бензином и маслами — в секунду вспыхнут ярче любой соломы, а то и взорвутся...

* * *

В ночь после свадьбы Антон впервые отпустил Орлика в луга без надзора. И даже не спутал и не стреножил. Нет, цыган-конокрад, такого коня, который прошел сквозь огни, воды и свадебные величания, просто так не возьмешь. Ни на какие приманки и посулы он не пойдет, чужому человеку в руки не дастся, растерзает и растопчет копытами.

Кое-какие сомнения у Антона, конечно, были: человек не возьмет, а вдруг опять волки нагрянут целою стаей или одичавшие голодные собаки?! Вспрыгнут на холку Орлику, вцепятся в горло и сонную артерию — и как он от них отобьется?

Но Варька, видя, что Антон и крепко выпивший (за столом у Витьки маленько наверстал упущенное за день), и крепко уставший от свадебного своего коноводства, успокоила его, сказала про Орлика:

— Да никуда он не денется! Спи!

И Антон уснул. По-хмельному беспробудно и самозабвенно уснул; за всю ночь ни разу даже покурить не поднялся, чего прежде с ним никогда не случилось — курево, оно мертвого поднимет. Но, видно, Антон в ту ночь мертвее мертвого был, раз не поднялся...

Вскинулся он лишь на ранней заре и первым делом глянул в окно: виден в лугах подле ольшаника Орлик или не виден. Слава Богу, был виден, мирно и трудолюбиво пасся в тучной отаве, пробивая грудью начавший уже редеть туман.

С той ночи так и повелось, что Антон стал отпускать Орлика в луга беспривязно и самостоятельно, во всем доверял ему.

И вдруг недели через две, когда начали уже опрокидываться первые предосенние дожди, пробудившись рано утром, чтоб проверить переметы, Антон в лугах Орлика не обнаружил. Вначале он этим ничуть не обеспокоился, решил, что Орлик, наверное, забрел в ольшаник, где под кустами трава особенно густая и сочная и где не так донимает его назойливое комарье. Но, приглядевшись повнимательней (и уже не из дома, а со двора), Антон не отыскал его взглядом и в ольшанике. В самую же глушь и гущавину Орлик вряд ли мог забраться: там и травы нет, и место топкое, болотное, которого он с детства опасался и сторожился.

И тут сердце у Антона помертвело и екнуло. Цыган! Таборный куд-

латый цыган исполнил свою угрозу, обротал и увел Орлика. Перед цыганскими чарами ни человек, ни конь не устоят. Уж если цыгане что задумяют, то заколдуют, заворожат до умопомрачения и намерение свое, во что бы то ни стало, сотворят.

Забыв про переметы, Антон захватил на всякий случай конопляной поводок и, сколько было силы, побежал в луга и ольшаники. Надежда в нем все-таки еще жила: может, цыган здесь вовсе и ни при чем, может, действительно напали на Орлика волки-собаки (хотя вроде бы в ночи не было слышно ни собачьего лая, ни волчьего воя), и Орлик, уходя от них, умчался в дальние широкие луга-займища, где ни волки, ни собаки его не догонят и не возьмут. А может, все и того проще: таится Орлик где-нибудь под высоким речным берегом, под кручей, забился туда поутру, чтоб попить после сытного кормления проточной, сладкой воды...

Но Орлик не просматривался ни в лугах-займищах, ни под речным крутым берегом, нигде не было видно и следов его борьбы с волками или собаками.

А вот копытные следы Орлика Антон вскоре обнаружил. Судя по ним, тот пасся вначале сразу за огородами на пастольнике, а потом стал продвигаться все дальше и дальше к реке. Шаг Орлика и на пастольнике, и на речном берегу был мелкий и расчетливый, не шаг даже, а шагок (когда конь пасется, то иного шага и быть у него не может: траву вокруг себя он подчищает тщательно и убористо, рядок за рядком). Но вот на Бабиной, за лодочной привязью шаг Орлика начал зримо расширяться и тяжелеть: травянистый дерн от того шага кое-где пробился до влажного речного песка и наполнился, словно в блюдечках-корытцах, водой. Похоже, Орлик пастись перестал, а перешел на рысь и галоп и понесся вдоль берега неведомо куда. Сам, по доброй воле понесся, потому что ни человеческого, ни волчьего, ни собачьего следа к тому же нигде не замечалось.

Все с большим беспокойством теребя в руках конопляной поводок, Антон пошел вдогонку за Орликом.

Луга еще только просыпались к дневной жизни. Трава-отава вся в ночной росе прильнула к самой земле и серебряно искрилась от первых лучей восходящего солнца. По речному илистому берегу сонно расхаживали длинноногие кулики, суетились трясогузки-плиски, на песчаной круче из земляных гнездышек-нор выпархивали и тоже полусонно еще ложились на крыло речные ласточки-щурки. В любое иное утро Антон не удержался бы и, оставив, к примеру, переметы, обязательно полюбывался бы и росяной отавой, и куликами, и ласточками-касятками. Отраднo ему было это раннее пробуждение лугов, реки, всего птичьего, звериного и человеческого мира. День настал, а с ним настала и беспокойная, неостановимая жизнь...

Но сегодня ничто не радовало Антона. Боясь потерять след Орлика, он не позволял себе отвлекаться ни на какие посторонние видения, а лишь упрямо глядел под ноги и все бежал и бежал вдогонку за Орликом. И никак не мог понять, зачем, куда и по какой причине тот оставил родное пастбище и умчался в дальние, бесконечные дали?

Так в неведении и тревоге миновал Антон и Попову, и Наспище, перешел вброд почти пересохшую речку-старицу, а за ней углубился уже в чужие пределы, в соседские новомлинские луга. И тут вдруг у самого берега, на пологом спуске к реке следы Орлика резко оборвались и исчезли. Антон растерялся и совсем уж не зная, что теперь думать и гадать, склонился к воде и стал плескать ее в разгоряченное быстрой ходьбой и

тревогой лицо. А когда чуть остудил его, разогнулся и глянул на тот густо заросший ивняком и камышом-очеретом берег, то воочью увидел на просторной вольной полянке живого и невредимого Орлика. Но был он не один, а в паре с молодой буланой масти подружкой. Положив головы друг другу на холки, они отрешенно стояли посреди поляны и, кажется, ничего не слышали и не замечали окрест...

— Ах, вот оно что?! — изумленно вздохнул Антон и в полном изнеможении поднялся с пологого берега на кручу.

Вначале он хотел было с высокой этой кручи сразу строго и требовательно позвать Орлика к себе, но, немного поостыв, присел на луговой бугорок-кочку и унял непомерную свою строгость. Пусть постоят, пусть порадуется восходу солнца, ранней утренней заре, шелесту трав и ивовых листьев, неугодному щебетанию речных уже сбросивших с себя дрему ласточек.

Антону показалось, что солнце, в первые мгновения дня стремительно оторвавшись от горизонта, вдруг тоже заметило Орлика и молодую его подружку, умерило свой бег и стало теперь подниматься тихо и медленно, будто на цыпочках, чтоб случайно не вспугнуть возлюбленных горячими остро-колкими лучами. Оно спрятало их под кручу и ивовые кусты, оставляя Орлика с подружкой в тени и почти в ночном еще уединении.

В сговоре с солнцем Антон оберегал покой и уединение влюбленных долго, полчаса, а то, может, и целый час, курил, отгоняя ладонью табачный дым в наветренную сторону, словно боялся, что он серым облаком перелетит реку и потревожит молодую пару. Антон, наверное, сидел бы и дольше, но солнце (куда ж ему деться, надо светить, втягиваться в дневную свою горячую работу, пробуждать к жизни все живое и сущее) все-таки мало-помалу стало восходить-подниматься над брезжущим на горизонте лесом, побежало по утренним, еще прохладными лугами, по огородам и пастольникам и, переметнувшись наконец через реку, ярко осветило луговую поляну.

— Орлик, Орлик! — пересилив себя, в ту же минуту позвал Антон.

Орлик, откликаясь на его голос, чуть испуганно вскинул голову, прислушался и даже сделал было несколько шагов в сторону реки, но потом вернулся назад и в забвении потерял головой о шею подружки, должно быть, прощался с ней. «Ах, молодежь, молодежь!» — только и нашелся, что подумать и сказать Антон на все это жаркое прощание. Что-то сладкое и томительное заныло у него в груди, не забыто встревожилось, и он, чтоб погасить эту тревогу и это томление, поспешно закурил новую дымную папироску...

А Орлик, тяжело положив на воду крупную свою повинную голову, уже плыл к нему через речную преграду...

Когда он, немного отдышавшись после стремительной переправы, молча подошел к Антону и замер рядом, тот ни ругать, ни журить его не стал. Ну, что тут ругать, что журить понапрасну! Вон на том берегу стоит и провожает Орлика влюбленным взглядом красавица из красавиц, длинноногая, гибкая станом, с лебединой горделивой шеей. Ради такой убежишь за тысячу верст...

Пригасив папироску, Антон часто вздрагивающей ладонью стряхнул с Орлика остатки воды, потом привязал к оброти конопляной поводок и вдруг, сам не зная, как это с ним случилось, прямо с бугорка, едва оттолкнувшись от него ногой, по-молодому взлетел, взметнулся Орлику на спину.

Тот, не ожидая такого взлета и такого всадника-вершника, поначалу опасно всхрапнул и присел на все четыре ноги, но, когда Антон, подобрал на себя поводок и прихлопнул Орлика по шее совсем уж донельзя разгоряченной ладонью, тот опомнился и с места, с первого шага пошел в такой карьер, что лишь утренний остужающий ветер свистел в ушах у Антона.

Будто какой мальчишка-юноша, он припал к гриве Орлика всем телом и, задыхаясь, а мгновениями так и вовсе теряя дыхание от встречного этого ураганного ветра, чувствовал в душе молодую отвагу и ни с чем не сравнимую радость. Все невзгоды и неудачи, которые до сегодняшнего дня выпадали в жизни Антону, отодвинулись, отлетели в далекое, безвозвратное прошлое, уступив дорогу молодой веселой отваге, радости и счастьем. Видела бы сейчас Антона Варька...

То же самое, кажется, чувствовал и Орлик. Они слились с ним в одно единое существо и, распластавшись над землей, неудержимо летели вперед навстречу все выше и выше поднимавшемуся солнцу.

Не сбиваясь с шага, Орлик, словно на крыльях, перемахнул реку-старницу и вынес Антона на пастольник, на песчаную его кручу, от которой до села и дома было уже рукой подать. Но тут неожиданно прямо перед ними встал на глубоко протоптанной в траве рыбацкой тропинке Семен Макарович с мокрой погруженной в лодочку-поплавок сетью на плече. Антон невольно осадил Орлика и попридержал его за поводья. Нехорошо ему было бы промчаться мимо Семена Макаровича, возвращавшегося с утренней рыбалки (и, похоже, с богатым уловом, таившимся под сетью на дне корытца-поплавка), не поздоровавшись, не поинтересовавшись насчет богатого этого улова.

Семен Макарович тоже остановился, тоже поздоровался, сказал два-три обычных для рыбака, нарочито сокрушенных слова: «Да какой там улов!», потом вдруг вприщур глянул на Орлика и неопровержимо догадался, откуда это они с Антоном и по какому случаю мчатся в такую рань:

— Ну, что, взбунтовал?!

— Чего ему бунтовать?! — не выдал, встал на защиту Орлика Антон.

— То ли еще будет! — сделал вид, что не расслышал защитительных слов Антона Семен Макарович, неприметно усмехнулся и, поправив весло, которым поддерживал на плече сеть, тяжело пошел по тропинке к видневшимся уже низовым огородам.

Антон подождал, пока Семен Макарович отдалится на неблизкое расстояние и лишь после этого тронул Орлика. Но уже не в карьер и даже не в рысь, а медленным, усталым шагом. На душе у него похолодало, хотя, казалось бы, чего холодать, радоваться надо за Орлика, за его своевольный побег. Но — похолодало...

Дома и на этот раз Антон рассказывать Варьке о проступке Орлика не стал. Пусть все останется в тайне, только между ним и Антоном. Но весь день Антон неотступно думал, как быть, как поступать ему дальше: может, спутать в ночном Орлика или хотя бы стреножить, или опять пойти вместе с ним в дозор. Только ведь не помогут ни путы, ни тренога, ни дозор. Порвет, сбросит с себя все тенета Орлик, сломает дозор и уйдет в новомлинские луга, а вернется ли после такой обиды назад или нет — это еще неизвестно. Минутами вообще закрадывалась в голову Антона преступная мысль: может, надо было послушать умных людей и еще в раннем стригунковом возрасте превратить Орлика в обыкновенного трудового коня, в мерина. Все-таки не для верховой езды растили и поднимали

Орлика на ноги Антон с Варькой, а для рабочей хомутной жизни в телеге, плуге и бороне...

От всех этих дум и замыслов саднило на сердце у Антона. Нельзя ему было так мыслить против Орлика, ведь ничего противного своей природе и естеству тот не совершал. Пройдет необходимое время, Орлик сам по себе успокоится и послушно встанет под хомут, в телегу, в плуг и борону.

Подтолкнула Антона к верному решению Варька. Когда он собрался вести Орлика в ночное, захватив на всякий случай и путы, и треножный поводок, она вдруг сказала:

— Ты бы его в Проездку гонял, там трава погуще.

Антон спасительно схватился за Варькину подсказку и даже посоветовал на себя: как это он сам не сообразил определить Орлика на ночь в Проездку — просторную равнину, примыкавшую к Колодному, Кривому Колену и Цыганскому берегу. Трава там действительно густая, нетронутая, в человеческий пояс. Одно только было сомнение у Антона: из домового окошка или с веранды Орлика в Проездке не разглядишь — заслоняют и соседские дома, и высокие прибрежные вербы. Это ведь придется подниматься на самую верхнюю ступеньку лестницы, что стоит подле сарая. Борясь с собой, Антон тайно от Варьки взобрался на нее и поглядел поверх домов и деревьев на луговую равнину — Проездку. Она простиралась перед ним, как на ладони, все видать, все обозримо и доступно глазу. Антон решительно отмел пустые свои сомнения (велика ли беда, взобраться поутру на лестницу, вроде как стреху или конек на сарае поправить) и повел Орлика в Проездку. Отсюда, из равнины, отмежеванной от села огородами и речной излучиной, Орлик, даст Бог, никуда не убежит, не одолеет многотрудные эти препоны и заставы...

Но Орлик убежал. Утром, поднявшись на шаткую последнюю ступеньку лестницы и даже выше, на конек сарая, Антон его в равнинных просторах не обнаружил, и, деваться некуда, опять с поводком в руках пошел по следу Орлика в новомлинские пределы, за реку-старницу, и опять увидел его на том берегу в паре с тонконогой подружкой.

Звать Антон теперь Орлика не стал, а лишь сел на круче, на видном месте и принялся курить одну папироску за другой.

Орлик сам приплыл к нему, повинно постоял рядом, потерял головой о плечо. Домой они отправились, когда солнце уже выкатилось над горизонтом в четверть круга, но не верхом, а пешим шагом, в поводу, понуро оглядываясь по сторонам, чтоб не попасться на глаза какому-нибудь раннему рыбаку или косарю.

Убежал Орлик и на вторую, и на третью, и много последующих еще ночей. Антон совсем извелся ходить за ним, таиться от Варьки, остерегаться поутру встречных праздно любопытных мужиков.

В крайнем этом изнеможении Антон и решился на крайнюю меру. Знал он, перенял когда-то от деда Игната один отворотный заговор, усмирявший хоть коня, хоть племенного быка, когда те начинали сверж меру бунтовать, нарушать все законы природы.

Поздним вечером, приведя Орлика на прежнее место за огороды, под ольшаники (чего попусту гонять бунтаря в Проездку, а самому после скакать по лестницам и сараям — все равно ведь убежит), Антон остановил его возле лодочной привязи, успокоительно и ласково погладил по голове и шее, а потом, повернувшись лицом на потухающую зарю, трижды осенил себя крестным знаменем и начал творить заговор:

Раннею зарею, вечернею порою,
Святая пятница,
Помоги, Господи...

Орлик слушал Антона внимательно и безропотно, прикрыл даже, поддаваясь строгим отворотным словам, глаза и, кажется, впал в забвение, верный признак, что слова эти действуют на него спасительно, исцеляя от затянувшейся, прежде ничем не излечимой болезни.

Трижды повторил Антон потаенные свои речения и за каждым разом все больше укреплялся в вере, что они непременно помогут, и Орлик выздоровеет, как когда-то выздоровел от страшного телесного увечья, нанесенного ему волчьей изголодавшейся стаей.

Вечерняя заря к этому времени совсем потухла, на сонную затянутую туманом реку и на луга опустилась прохладная тихая ночь. Орлик низко опустив голову, постоял еще немного возле Антона и лишь после этого ушел из-под его руки на пастбище, совершенно, казалось, успокоенный и покорный. Антон проводил его долгим напутственным взглядом и тоже успокоенный и повеселевший, отправился домой, где его уже, наверное, ждалась Варька.

А на утренней заре Антон Орлика в лугах снова не обнаружил. Вначале он не поверил этому и долго оглядывал ольховые заросли, болотные низинки и береговые кручи, надеясь, что тот где-то таится там и скрывается, настойчиво звал и манил, но все было напрасно, и Антон волей-неволей оставил пустую эту затею. Тяжело вздохнув, он встал на уже протоптанную Орликом вдоль речного обрыва тропинку, на которой свежие его следы были видны отчетливо и ясно, и пошел по ним в новомлинские чужие луга.

Орлик был там. Там была и тонконогая его молодая подружка. Но они уже не стояли, отрешенно положив друг на друга головы, а как-то по-семейному, рядком, шаг в шаг, паслись посредине окруженной лозовыми зарослями поляны.

Антон сел на бугорок, закурил папироску и не знал, что ему делать дальше, как поступать и сейчас, поутру, сидя на крутом обрыве, и днем, и вечером — звать Орлика или терпеливо лишь дожидаться, когда тот приплывет сам (но приплывет ли после вчерашнего?!), творить или не творить утреннюю и вечернюю молитвы-заговоры (полагалось бы трижды)? Скорее всего, что не творить. Коль не поддался Орлик им с первого раза, то не поддастся и со второго и с третьего, такая в нем неодолимая тяга к новомлинскому берегу. Или, может быть, тут не в Орлике дело, а в Антоне: слова молитвы и заговора верные и неоспоримые, у деда Игната они всегда помогали, а у Антона не помогают, нет в них должной силы и крепости. Произносил их Антон с сомнением и колебанием, не зная, правильно ли, по-Божески ли встает он поперек пути Орлика. И вышло, что неправильно и не по-Божески, и промысел Господний на стороне Орлика, а не на стороне Антона.

Орлик хозяина с того берега заметил, несколько раз поднимал голову, но тут же опускал ее назад и начинал пастись с еще большим прилежанием. «Нет, приплывет», — замирало у Антона сердце.

Он закурил новую папироску и затянулся с такой силой, что она мигнутою сгорела и сожгла ему обветренные и запекшиеся от бессонной ночи губы.

В неодолимом этом борении и тревоге Антон, поди, довел бы себя до полного изнеможения, но тут вдруг из-за речного поворота показался на

утлой плоскодонке какой-то незнакомый ему мужик. Бойко причалив лодку к берегу, он еще бойчее взобрался на кручу к Антону, поздоровался, назвался (Иваном его звали), а, минуто спустя, указал черенком весла на Орлика:

— Твой, что ли, жених?

— Мой, — не в силах отрешиться от сумрачного своего настроения, угрюмо ответил Антон.

— Ну, стало быть, породнимся.

— Похоже, что породнимся, — кое-как одолел сумрак и темень в душе Антон.

А мужик принялся с веселым напором допрашивать его дальше:

— Зовут-то жениха как?

— Орликом.

— Да он не Орлик, а настоящий Орел, — присел рядом с Антоном на бугорке Иван и вдруг, любуясь Орликом, стал нахваливать его так, как будто это он, а не Антон, был хозяином столь отменного коня: — Ты погляди, ты только погляди, какая спина, какая шея! Да такому коню цены нет.

— Понятно, что нет, — с трудом вклиниваясь в неумолкаемый говор новомлинца, ответил Антон.

Иван тоже закурил, но совсем не так, как Антон, надсадно и почти что через силу, а всласть и в легкое пьянящее головокружение, и опять пустился в разговор:

— Если, даст Бог, найдется жеребенок, то быть ему Орленком. Тут и думать нечего.

— Орленок — это хорошо, — поддержал намерения будущего родича Антон.

Он хотел уже было подняться с бугорка и позвать к себе Орлика, а то говорливый новомлинец совсем приручит и сманит его. Но Иван не отпустил Антона (придержал даже за рукав) и разговорился еще пространнее:

— Я свою Ласточку издалека привез, из конезавода. Чуешь, как звучит: Орел и Ласточка?!

— Чую, — опять с трудом вставил слово в его скороговорку Антон. (Правильнее, конечно, было — Орлик и Ласточка. Но Антон спорить с новомлинцем не стал).

— То-то же, — назидательно сказал Иван, долгим взглядом посмотрел через реку на Ласточку и не смог сдержать восторга. — Ну, не красавица ли, а?!

— Красавица, — безраздельно согласился с Иваном Антон. Тут уж ничего не скажешь: красавица из красавиц. Орлик в красавицах действительно толк понимает.

Иван еще немного полюбовался Ласточкой: глядел на нее то из-под руки, заслоняясь от солнца, то высоко, на отлет откинув голову. А когда вдоволь нагляделся, то вдруг как бы даже пожаловался Антону:

— Нет, что там ни говори, а крестьянину без коня нельзя. Я с малых лет к ним приучен. Колхозный табун вначале с отцом пас, а после уже и сам в табунчики записался. Когда же лошадей извели, так ты не поверишь, я себя сирота сиротой почувствовал. Будто нет у меня ни отца, ни матери, ни жены, ни детей. Во, брат, дела! Лет десять я в этом сиротстве и жил. Думал, как-нибудь пообвыкнусь с машинами и тракторами, но не получилось, не вышло. Собрался тогда с силами и поехал аж в воронежский Хреновской конезавод и вернулся оттуда с Ласточкой. И сразу — будто заново на свет народился.

Иван ненадолго замолчал, еще раз глянул на Ласточку и Орлика и, наконец, поднялся с бугорка:

— Ну, ладно, зови своего, а то мне пора. Я на Ласточке по дворам молоко собираю. Женщины, поди, заждались, ругаться будут.

Он попрощался и, опираясь на весло, торопливо спустился по косогору к уютной своей лодчонке. Антон проследил, как Иван отчалил от берега и, держа плоскодонку против утренней зыбкой волны, стал упрямо бороться с быстрым течением. (Судя по всему, новомлинец этот — человек настойчивый и в жизни прочный). Но как только лодка коснулась противоположного берега, Антон перевел взгляд на Орлика и позвал его негромко и ласково, как звал только в детстве:

— Кось, кось, кось!

Орлик немного с удивлением оторвал от земли голову, перестал пастись и застыл посреди поляны на несколько минут, словно раздумывая, поддаваться ему на эту приманку или остаться на новомлинском берегу навсегда. Антон подошел к самому краю обрыва и позвал еще раз:

— Орлик, Орлик!

Но тот с места не страгивался, недвижимо стоял в густой росяной траве, подставив горделивую свою голову и грудь встречному солнцу и ветру. Тогда Ласточка прикоснулась к его голове удлиненно-нежною скулою (будто что-то шепнула на ухо) и, как показалось Антону, подтолкнула непокорного Орлика к реке. Тот переступил с ноги на ногу, размашисто потряхнул гривой, но через мгновение все же подчинился ей и, гулко приминая копытами траву, устремился на зов Антона...

* * *

Домой они шли вначале опять пешим шагом, в поводу, но возле старицы Антон не выдержал, перебросил поводок через голову Орлика, устойчиво оперся о колено левой его передней ноги и взметнулся на спину.

Орлик от тяжести (а больше, наверное, от неожиданности) едва заметно прогнулся, вздрогнул всем телом и даже скосил на Антона глаз, будто намереваясь сбросить его на землю. Антон крепче обхватил Орлика ногами, высвободил из-под гривы поводья и повелительно тронул их. Орлик послушался, сделал два-три коротких, как бы пробных шага, но на четвертом стал все убыстрять их и убыстрять и наконец помчал Антона к дому осторожной, размеренной рысью.

Возле ворот Антона с Орликом встретила Варька. (Так повелось у них с первого раза, что она всегда встречала Антона с Орликом у задних дворовых ворот.) Антон, стараясь не посрамиться перед Варькой, молодцевато спрыгнул на землю и передал ей поводья. А когда Варька подхватила их, чтоб увести Орлика к коновязи, где ему уже было приготовлено утреннее пойло, он, сам не зная, как это у него случилось (ведь минуту тому назад ни о чем подобном даже не думал) сказал:

— Надо бы Орлику завести седло.

— Конечно, надо, — легко согласилась Варька, как будто сама думала об этом давным-давно, но не решалась обмолвиться Антону.

— И подковать бы надо! — пошел Антон еще дальше.

— И подковать надо, — и тут безоговорочно согласилась с ним Варька...

Седло Антону раздобыл в областном городе сын Андрей. Хорошее кожаное седло, с двумя луками, с чепраком и потником, с подпругою на блескучей застежке и подлинно серебряными стремянами. Кавалерийское походное седло.

Ну, а подковали Орлика Антон с Варькой сами. Антон в кузнечных делах кое-что понимал. Еще до армии он почти два года состоял молотобойцем у знаменитого их деревенского кузнеца Григория Шубина. Препрежний его молотобоец и закадычный друг, Петр Ушатый, нечаянно повредил, сломал руку и надолго (после, оказалось, что навсегда) вышел из строя. Заменить его пробовали многие молодые ребята и мужики уже в годах, крепкие силой. Но никто их них в кузнице не прижился: одни не сошлись со строгим по характеру Григорием Шубиным, другие оказались напрочь неспособными к кузнечному делу. Пудовым молотом махать вроде бы и горазд, но все невпопад, все мимо, вкривь и вкось, третьи сторонились жарко горящего горна, задыхались от окалины. А у Антона все получилось. Был он невелик ростом, но жилистый и выносливый, с внутренней затяжной силою, к тому же и к учению, к кузнечной науке способен. За два года многое перенял Антон от Григория Шубина: мог самостоятельно и сошник отковать, и болт по нужному размеру вытянуть, и топор безошибочно закалить. Про лошадиные подковы и вовсе говорить не приходится. Случалось, в паре со своим наставником они изготовляли их в немалом количестве. Колхозный табун был тогда под семьдесят голов, и в зиму рабочих, выездных лошадей ковали на передние ноги, чтоб не скользили они и не падали, ломая оглобли, к примеру, на речном льду, когда подоспеет пора перевозить с заливных правобережных лугов сено.

Теперь кузница стоит заброшенная. По разорению колхоза потребность в ней отпала. Новые хозяева на всем готовом магазинном живут. Но — стоит, и Антон нет-нет, да и наведывается в нее, раздувает горн. То какая-нибудь бабка-старушка попросит его набить на серпе, к которому она привыкла, прикипела за долгую жизнь, источившиеся зубья, то прибежит к Антону запыхавшаяся хозяйка-женщина с великой своей бедой. Вздумала солить огурцы или помидоры, а обруч на дубовой бочке не ко времени лопнул, и без кузнечных дел мастера никак тут не обойтись, потому как ни в одном самом богатом магазине обручей тех ни за какие деньги не купишь. А бывает, что вдруг захочется Антону самому по себе пойти в кузницу, затеплить горн и вконец и в охотку отковать для собственных нужд и собственного интересу свинцовые грузила на перемет или сомовый особой остроты и заточки крючок, которого тоже ни в одном магазине днем с огнем не отыщешь.

Для мелких этих поковок и изобретений молотобоец, понятно не требовался, Антон справлялся со всем самостоятельно. А вот, чтоб сладить подковы, молотобоец нужен был непременно, тем более что изобретать их предстояло из материала подручного, который валялся на задах кузницы: старых сенокосилок, тракторных гусениц или из остатков не до конца разобранный колхозной грузовой машины.

Антон стал прикидывать, кого бы из деревенских мужиков или молодых парней поднарядить в молотобойцы. Но ничего путного из этих прикидок у него не получилось. Старые не пойдут, сошлются, кто на нездоровье, кто на занятость, да и с чего бы это им бросать свои рабочие или домашние дела и идти к Антону в наймы, надрывать жилы. А молодых,

которые бы пошли с интересом, чтоб помахать молотом, оттянуть подковы, считай, вовсе нету, разъехались по городам и дальним весям.

И тут неожиданно-негаданно, прослышав о незадаче Антона, выручила его опять Варька.

— Да чего ты горюешь, — с усмешкой на устах сказала она, — я оттяну.

— А не тяжело будет? — жалея Варьку, попробовал отговорить ее Антон.

— Ну, не тяжелее, чем в поле с тямкой, — совсем уж развеселилась та.

Оно, может, и верно. Деревенская женщина к любой мужской работе привычна, жизнь ее к тому принудила: и косить способна, и за плугом-бороной ходить, и цепом по старинке молотить. По крайней мере, Варька именно такая, хотя Антон вроде бы и оберегает ее от чрезмерных, непосильных занятий. Но она сама, когда Антон рыбалит или в отлучке где-нибудь в городе, себя не жалеет и не щадит, схватит двухпудовый мешок за чуб и отнесет, куда требуется. Антон после ругает Варьку, а она только смеется:

— Да, ладно тебе, некогда мне было ждать.

Ну, что ты с ней поделаешь: такая вот неугомонная, двуужильная натура. Иной раз не только в помощники Антону пилить-рубить дрова набьется или молотить в два цепа в клуне рожь встанет, а даже и луговой их надел на том берегу реки наравне с ним косою-«девяткою» косит. И ведь никак ее не отговоришь и не остановишь. На все увещевания Антона лишь улыбается: «Вдвоем веселей и легче!»

В общем, посомневался Антон, посомневался, да и принял Варьку в молотобойцы. Сняли они с Орлика мерку, пошли в кузницу, воспламенили горн и отковали по всем законам и правилам четыре серебряно-звонкие подковы. На каждой три шипа: два по концам и один — впереди, посередке. Понизу, между шипами пустили они похожую на ручеек бороздку, проделали восемь отверстий под гвозди-ухнали. Изготовили и сами ухнали нужной твердости и закалки: чтоб и прочными были, и легко, неломко загибались на копытах.

Подковать Орлика можно было бы и дома, в уединении, без постороннего, беспокойного для него взгляда. Но Антон с Варькой привели его к кузнице, где сохранился еще со времен покойного Григория Шубина специальный подковочный станок-загон.

Орлик стоял в нем смиренно, без долгих понуканий и принуждений подавал, когда требовалось, и недвижимо удерживал на закладке ногу. На любознательную ребятню, которая со всех сторон окружила станок, он внимания обращал мало, не сердился и не нервничал, как того можно было ожидать, а наоборот, время от времени назидательно поглядывал на мальчишек и девчонок, будто говорил им: «Смотрите и научайтесь!»

В тот же день, вечером, собираясь в луга, Антон впервые надел на Орлика седло. При серебряных подковах и седле Орлик, и без того высокий и стройный, поднялся в росте еще выше — конь-огонь, да и только. Когда же Антон, вставив ногу в золоченое стремя, взметнулся в новенькое скрипучее и необъезженное седло, он загарцевал посередине двора, зацокал, засверкал подковами.

Варька, глядя на гарцевания Орлика, на верховую кавалерийскую посадку Антона опять не смогла сдержать веселой улыбки (вообще она женщина веселая, с ней не соскучишься):

— Прямо-таки Буденный!

— Шашки не хватает и усов! — не остался в долгу и Антон-каваллерист.

— А ты займей! — подбивая его на новые подвиги, сказала Варька.

Подождав, пока Орлик успокоится, она взялась за стремя и, словно подлинная казачка, провожающая мужа-казака в дальний опасный поход, вывела наездника за ворота.

Орлик вздумал было снова загарцевать, подняться даже красоты и удали ради на дыбы, но Антон, туго натянув поводья, осадил его, подтолкнул пятками в бока (ах, как жаль, что нет у него на кирзовых расхожих сапогах шпор!), и Орлик с первого же шага перешел на неудержимый намет.

Нет, что там ни говори, а ехать-скакать в седле совсем иное дело, чем в охлюп на голой лошадиной спине, когда в два счета себе можно набить копчик, а коню натереть хребет. Это чувствовали они оба: и Антон, и Орлик, и, принаравливаясь к новой посадке, мчались по затянутому дымчато-сизым туманом лугу во весь опор (опять же, какое огорчение, что не видела их сейчас Варька!)

Признаться по правде, с детства и по нынешнюю пору ездить в седле Антону доводилось всего три-четыре раза. В колхозные времена седло было одно-единственное на всю артель. Под ним ходил племенной жеребец Мышкас, на котором имели непреложное законное право ездить лишь председатель колхоза да изредка и выборочно бригадиры двух полеводческих бригад. Позволял себе иной раз, если не видели председатель и бригадиры, покрасоваться в седле, якобы для выездки, а на самом деле для форсу, и конюх, ухаживавший за Мышкасом, Иван Рыбка. И вот в один год, подменяя приболевшего Ивана, Антон тоже по-мальчишески тайно от председателя и бригадиров испытал себя в седле. Особых навыков езды в нем во время кратких тех пробежек вокруг колхозного двора Антон обрести, понятно, не мог, почти ничего не запомнил от них ни телом, ни душой. Да и Мышкас был жеребцом тяжеловесным, неповоротливым, с шага на бег он переходил редко и неохотно.

Орлик же совсем иное дело: он легок и стремителен, пеший шаг не по нему. Он летучею птицей стелется над землей, молнией, скрадывает серебряными копытами луговые просторы. И тут уж держись Антон-казак, обретай навык и умение прямо на ходу, в верховом полете или с pozorом падай и разбивайся о береговую кручу.

С малого детства Антон к любому учению был способен: хоть к обыкновенным школьным наукам, математике и чистописанию, хоть к рыболовецким премудростям, хоть к молитвам-заговорам деда Игната. Все схватывал на лету.

Схватил он и кавалерийскую верховую посадку, можно сказать, с первого выезда. Пока шли они с Орликом огородами, зыбкой межою, Антон еще бестолково суетился, невпопад подпрыгивал в седле и даже несколько раз ронял ногами стремя, но как только Орлик вынес его на пастольник, на вольное широкое пространство, Антон суету свою бросил, быстро приспособился к наметному бегу Орлика и уже сидел в седле, как влитой. Фуражка-кепка сбилась у него набекрень, рубаха раздувалась, будто белые морские паруса, трепетала и рвалась на ветру, дыхание выровнялось, устоялось, а глаза глядели окрест по-ястребиному зорко. Если бы Антону в эти минуты еще и боевую шашку в руки (усы — само собой), так он действительно оборотился бы лихим казаком-атаманом или буденовцем-каваллеристом.

О том и говорить не надо, что помчались они с Орликом не в ближние пастольники под болотистый ольшаник, а сразу в новомлинские пределы, чтоб поглядели на них, полюбовались ими и длинноногая красавица, Ласточка, и говорливый ее хозяин, Иван, если, конечно, тому случится пристать в предвечерней заре к крутому берегу на утлой своей плоскодонке...

* * *

С того первого памятного дня так и повелось теперь у Антона с Орликом. Только начинало потухать, скатываться за горизонт солнце, как Варька выводила их за стремя со двора, и они мчались-неслись навстречу Ласточке, которая всегда терпеливо ждала их на заветной круговой поляне.

Сняв седло, Антон немедленно отпускал к ней Орлика и после долго сидел на берегу, наблюдал-радовался, как он переплывает реку, как стремительно бежит к Ласточке и как она с нежным призывным ржанием бежит к нему.

Седло Антон приспособился надежно прятать в стожке сена, чтоб завтра поутру возвращаться на Орлике опять в полной амуниции, далеко звеня и сверкая стременами.

Несколько раз за старицей встречали они Семена Макаровича, возвращающегося с ранней удачливой рыбалки. Но теперь он ничего не говорил Антону, а, придерживая на плече веслом поплавок с сетью, поспешно сторонился с тропинки и почтительно выжидал, пока промчится, пронесется мимо него грозная кавалерия. Может, даже и завидовал Антону, может, даже и сожалел о сказанных прежде несправедливых словах насчет бунта Орлика, но виду не подавал...

Между тем началась уже осень, первые ее золотисто-багряные дни. Пора было копать картошку, распахивать под будущую весеннюю посевную страду огородные наделы. Вообще-то, на песчаных и малоурожайных почвах под осень пахут редко. Рожь, к примеру, или озимую пшеницу сеют прямо по выкопанной картошке, лишь заборонив ее после посева. Но, случается, что и пахут: задернившийся какой-нибудь клинышек, чтоб он за зиму под снегом размяк, и рано по весне (не зря же говорят: сей в грязь, будешь князь) можно было посеять на нем яровые солнцелюбивые злаки.

Нашелся такой клинышек и у Антона с Варькой на «паях», которые достались им от колхоза. Несколько лет подряд они его не трогали: и руки не доходили, и был замысел, что клинышек задернится, и на нем сама по себе вырастет хорошая полевая трава, которую можно будет косить для коровы. Но задерниться-то клинышек задернился, а вот хорошая трава (овсяница или хотя бы осока) не выросла — один только квелый пырей да полынь. Варька и предложила: «Давай распашем клинышек в зиму, а в апреле-месяце посеем на нем овес для Орлика». Антон и загорелся этой мыслью, хотя, если признаться по правде, то можно было клинышек распахать и весной: место там высокое, песчаное, талая вода долго не держится. Но больно уж хотелось Антону испытать, проверить Орлика за плугом. Пойдет он под ним или разгневется и впадет в обиду, дескать, не по мне, скакуну и кавалеристу, потогонная эта повинность, от которой и трудовые обыкновенные лошади иной раз стонут и изнемогают.

Но куда же деться от потогонной этой повинности и коню (скакун ты

или не скакун), и хозяину-буденовцу, когда иного выхода и иной надежды никакой нету. Трактор, даже самый малый, «Беларусь», на косогорный целинный клинышек не взберется: с одной стороны река и пойменные айрные болота его окаймляют, а с другой — заросли шиповника. Да и не развернуться там трактору с навесными его плугами: посередке вспашет, а по краям лишь испоганит землю, оставит огрехи, которые придется после окапывать лопатами.

В прежние колхозные времена, в общем-то, бросовый этот клинышек косогор тоже только лошадьми и пахали. А нынче и сам Бог велел: трактор если и нанимать, пожертвовав плантациями шиповника (а он родится там в сливу величиной и такой ярко-красный, пламенный, такой кумачовый, что осенью, когда собираешь его, душа от красоты радуется и замирает), то не только без портков, а и без рубахи останешься. Сейчас народ совсем помешался на деньгах: у кого трактор или грузовая машина в руках, так за любую самую мелкую подсобную работу готов три шкуры хоть с родного отца содрать.

Одним словом, все шло у Антона с Варькой к тому, что надо было Орлику становиться в борозду, ломать свою гордыню. Антон опять так и сказал ему:

— Надо, брат, никуда не денешься!

Орлик согласился, хотя копытами беспокойно и поцокал, будто говорил назойливому своему хозяину: «Это только однажды поддайся, так после с борозды не вылезешь».

Но сразу, не медля ни единого дня, встать Антону с Орликом в борозду не вышло. Не имелось в хозяйстве у них конного, пусть даже самого завалавшегося плужка, и негде его было достать: ни в каком городском маркете или супермаркете плуги-бороны опять-таки не продавались, покупателя, должно быть, на такой неходкий товар не предвиделось спроса. Антон с Варькой хотели уже было бросить пахотную свою затею. Но потом отправились на всякий случай к кузнице, долго рылись там во всяком металлическом хламе и, что ж ты думаешь, старый увечный плужок отыскали. Снарядились они опять в ковали и молотобойцы и мало-помалу плужок привели в божеский вид: поправили у него и нож, и отвальный лемех, и ручки. Орлику под обновленный этот плужок встать было вроде бы и не зазорно.

Пахали они на утренней, ранней заре. Первую борозду Орлик шел не без волнения и оглядки и, если бы не Варька, которая вела его за оброть, так, может, и вовсе бы застопорился. Но Варька приободряла его, как могла, и Орлик вскоре притерпелся и даже вошел во вкус (пахота стоящего, дельного человека и коня затягивает, веселит, с нее начинается новый круговорот человеческой и лошадиной жизни), жадно вдыхал широко раздутыми ноздрями томящий запах земли, с видимым удовольствием шагал в мягкой прохладной борозде. Варька-поводырь ему теперь уже и не требовалась...

Конечно, пахать землю, да еще такую дернистую, целинную, как у Антона с Варькой на приречном заброшенном клинышке, лучше бы лошадиной парой. Оно и легче и сподручней. Антон, время от времени поглядывая на Орлика, упрямо налегавшего на хомут и до последнего предела натягивавшего постромки, воочью представлял рядом с ним Ласточку. Уж лучшей пары и содружества на пахоте и представить нельзя было. Орлик шел бы в борозде, коренником, а Ласточка, равняясь с ним в росте, пристяжной, по высокому нетронутому дерну. Но, с другой стороны, —

может, нынче, когда она собирается рожать жеребенка по кличке Орленок, в плуг и в борозду вставить ей и не стоит, поберечься бы надо. Орлик и сам при силе его и мощи обновленный остроносый плужок вытащит, будто паутинку...

* * *

На осенней пахотной страде Орлика с Антоном заметили многие деревенские жители и стали звать-просить их на свои огороды. Отказаться было вроде бы неловко, не по-соседски и не по-людски, и Антон с Орликом без долгих уговоров шли, откликались на те слезные просьбы. Не в богатые заработки и наймы шли, а в помощь, потому как маломощного, безлошадного и безтракторного народу, стариков и старух, в селе сейчас хоть отбавляй. И никто им больше не поможет и не подсобит. Так что надо было выручать брошенных этих на произвол судьбы земледельцев.

С утра до захода солнца трудились Антон с Орликом и на пахотной, и на любой иной тележной работе, обретая в селе добрую славу и усиленную благодарность. А как только солнце потухало, и вставала над речкою и лугами вечерняя заря, мчались они под седлом и позлащенными стременами на встречу и свидание с Ласточкой.

Так оно, наверное, было бы до самой зимы, пока реку не сковали бы полуметровые стеклянно-прозрачные льды, а луга, выбеливая все окрест, не покрыли глубокие снега. Но однажды Иван, хозяин Ласточки, причалив на плоскодонке к берегу, сказал Антону:

— Ты недели две-три не скачи сюда. Мы с Ласточкой в Лосеву Слободу к дочери поедем. Внучка там у нас родилась, так подсобить надо на первых порах и по дому, и по хозяйству.

— Внучка — это завидно, — поздравил Ивана Антон, но, признаться по правде, и расстроился немало его наказу-просьбе. Придется теперь им с Орликом отказаться от вечерних и утренних скачек под седлом и опять путешествовать пешком шагом в ближние пастольники или в Проездку, на Колодное и Цыганский берег. Антону, может, оно и ничего — послабление и ранний вечерний отдых, рыбалкою, переметами в свою охотку займется, а то что-то он их совсем забросил. А вот каково Орлику переживать разлуку-расставание с Ласточкой?! Это ведь терпение немалое надо иметь и выдержку. Хотя, с другой стороны, — подлинная, настоящая любовь только в разлуке и расставании и познается-проверяется. Антон с Варькой целых три года в разлуке жили, пока он в армии служил, знают, что это такое...

В первый по расставанию с Ласточкой вечер, взяв Орлика на поводок, Антон, как мог, объяснил ему, мол, так и так, в отъезде она, в Лосевой Слободе, внучку хозяина-Ивана нянчит, ты уж потерпи маленько. Орлик вроде бы внял его доводам и объяснениям, но все равно Антон много раз просыпался ночью, чадил папироской, поглядывал в темные невидимые луга, сомневался, все ли правильно понял Орлик, поверил ли ему на слово или сорвался с пастольника и все-таки убежал в Новые Млины.

Как только рассвело, Антон впритык припал к дворовому окошку, окинул встревоженным взглядом посветлевшие луга, метнулся очами с одного края в другой, от речного берега к ольшанику — и облегченно вздохнул. Орлик тихо-мирно пасся посередине лужайки, на открытом пространстве, будто специально выбрал это место, чтоб Антону хорошо и обзорно было видать его. Все объяснительные слова Антона Орлик, похоже, понял правильно, а может, сам почувал и предугадал (лошади, кони,

порой гораздо пронизательней и догадливей человека), что Ласточки в новомлинских лугах нет, что далеко она теперь от него и недосягаемо — и надо терпеть...

В стойком этом терпении и ожидании предстоящей радостной встречи с Ласточкой и побежали у Антона с Орликом день за днем.

Все вроде бы было хорошо и спокойно. Одно только начало тревожить и расстраивать Антона. Вдруг повадились по вечерам приезжать на крутой обрывистый берег рядом с пастбищем Орлика на мотоциклах чужие какие-то городские ребята. И ладно бы там — один-два, а то целое сонмище, армада, человек под двадцать, да еще и с развеселыми подружками на задних сидениях. Чуть появившись, они разжигали на берегу высокие костры, пили водку и пиво, дурачились, устраивая устрашающие гонки с прыжками и смертельными разворотами. Орлик не то чтоб так уж и сильно пугался их, но уходил от костров и неимоверного мотоциклетного рева подальше в ольховые дебри. Но и там, конечно, не было ему ни покоя, ни хорошего ночного кормления, ни сна.

Антон не выдержал и несколько раз подходил к ребятам-гонщикам и вполне мирно просил их:

— Вы бы вон туда, на Колодное, ездили, там простору побольше. А тут у меня конь. Пугаете вы его.

— Да не нужен нам твой конь! — похохатывая, отвечали те. — У нас свои кони — железные и стальные.

И тут же, поднимая мотоциклы на дыбы, мчались на самых предельных скоростях вдоль берега, и за каждым разворотом нарочито теснились все ближе и ближе к Орлику. Тот забивался в самую гущавину ольшаника и, случалось, коротал там всю ночь до утра.

У Антона промелькнула было подозрительная мысль: не ревнивый ли таборный цыган подослал этих хулиганистых мотоциклистов, чтоб они довели его до белого каления. А когда доведут, цыган опять заявится и начнет требовать себе Орлика, мол, мой это конь, в таборе при многих свидетелях рожденный, и вернуть его истинному хозяину полагается по всем писаным и неписаным законам и правилам.

Антон решил подождать еще пару ночей (может угомоняться гончики и больше не приедут), а затем уж либо вести Орлика в Проездку, либо, вооружившись ружьем, опять идти в ночное.

Но ведь и так худо, и так! В Проездке Орлика ни из окна, ни с веранды не видать (изведешься за ночь от неизвестности и тревоги — там или не там, и не нападают ли на него осенние голодные волки, да и ручей, отделяющий Проездку от села, вошел в половодье, заболотился и заилился, перебираться через него Орлику надо вплавь — того и гляди, завяжет в какой-нибудь бочажине.

А в ночное, что ж, можно и собраться. Но только будет ли от этого толк?! Стрелять из ружья по мотоциклистам-гоночникам и их подружкам не станешь, а слова человеческого они не слушаются и, судя по всему, не понимают. Завидя Антона в лугах, еще сильнее распялятся, станут на потеху своим подружкам приставать и к нему, и к Орлику.

Две отведенные Антоном выжидательные ночи для окончательного решения минули в бессонной тревоге, а на третью он, сняв с гвоздя ружье, принарядился в брезентовый плащ-дождевик и вышел в луга.

Но оказалось, совершенно напрасну. Мотоциклисты, то ли почуяв, что он в охране и дозоре, то ли испугавшись начавшего накрапывать дождя, на речном берегу не появились.

Не припожаловали они ни на вторую, ни на третью ночь, хотя дождь вроде бы и затих. Антон даже подрастерялся от такого поворота дела и не знал, что ему делать дальше: продолжать караульную свою службу или оставить Орлика в ночи одного. Коль не приезжают мотоциклетные орды три ночи подряд, то, даст Бог, не приедут и на четвертую. Варька, женщина многоумная и прозорливая, глядя на маету Антона, сказала:

— Ну, что ты томишься без толку. Отведи Орлика в новомлинские займища — там его никто не достанет. Или, хочешь, я покараулю?!

— Вот еще чего не хватало, чтоб ты по ночам не спала и мерзла на лугу! — с обидой даже отверг ее намерения Антон.

А вот мысль насчет новомлинских правобережных займищ запала ему в голову крепко. Антон даже удивился, как это он не додумался до нее сам. Ведь любому и каждому понятно, что в такую даль, за старицу мотоциклисты не поедут (хотя при желании ничего им и не стоит домчаться туда на угарных своих железных конях), а уж за реку не переберутся и тем более: никакого моста или кадки в Новых Млинах нету.

Целый день Антон пахал на Орлике чужие огороды, клинышки и делянки, а лишь за вечерело, собрался в дальнюю дорогу. Седлать он Орлика не стал, не тот вроде бы случай, да и не то настроение, чтоб гарцевать с пашкою наголо. Накинув на Орлика вместо ременной оброти обыкновенный конопляной поводок, Антон с высокого дворового крылечка взобрался на лошадиную спину в охлюп и, не дожидаясь, пока Варька выедет провожать их, выехал за ворота.

Утомленные дневной тяжелой работой, пробирались они и огородами, по прижухлой уже, опавшей к осени меже, и речным тоже порыжевшим берегом медленным, неходким шагом. Пробирались долго и молчаливо. Несколько раз даже останавливались, чтоб передохнуть и перевести дыхание.

Достигли Антон с Орликом новомлинских владений, когда вечерняя заря совсем уже погасла; солнце скатилось за почерневшие стога и лозняки, а на небе высыпали первые по-осеннему холодные звезды.

Антон спешил, подвел Орлика по песчаному пологому спуску к самой воде и, сняв поводок, легонько подтолкнул:

— Ну, плыви. Там тебе будет покой и воля.

Но Орлик, к удивлению Антона, от реки отпрянул, в воду не зашел, а несколько раз взглянув на правый пустынный берег, застыл, будто изваяние. Антон изумился такому его неожиданному поведению, но повторно принуждать к переправе не решился. Он по привычке присел на бугорок, закурил папироску и принялся исподтишка наблюдать за Орликом, надеясь, что тот, немного оглядевшись, все же поплывет на новомлинский берег (может, вода уже холодная, и он не сразу решается окунуться в нее), где действительно и привольней ему, и где отава поднялась в колено.

Но Орлик вдруг тоже поднялся на бугорок и встал рядом с Антоном, не утраившись едкого папиросного дыма. Несколько раз Антон пробовал понукать его с голого бесполезного бугорка и, если не хочет он (или страшится холодной воды) пасться на том, заречном берегу, то облюбовал бы себе делянку на этом, где трава в общем-то и не хуже заречной. Но Орлик упрямо не отходил, терся о плечо Антона головой и продолжал стоять. Честно говоря, Антон даже рассердился на него за такое непослушание.

Он докурил папироску, бросил ее на землю, присыпал песком и, наконец, поднявшись, безоглядно пошел домой. Была у Антона потаенная

мысль, что Орлик, оставшись один (при нем, может, стесняется или робеет), переплывет на ту сторону и будет до утра пастись там в полной безопасности.

Но, сделав с десяток шагов, Антон не выдержал, оглянулся и увидел, что Орлик неотступно идет за ним следом.

Так они шаг в шаг и вернулись назад к селу, на родное свое пастбище под ольховыми и лозовыми зарослями.

Бросив поводок на веранде, Антон с досадой рассказал Варьке о своем приключении и задаче с Орликом. Та на расстройство его и досаду лишь украдкой усмехнулась:

— Да нет там Ласточки, он и не плывет.

— Оно, конечно, — легко согласился с Варькой Антон, сам понимая, что не по робости своей и упрямству не поплыл на ту сторону Орлик, но все равно на душе у него было как-то невесело.

А Варька вдруг опять вызвалась идти в ночной дозор, надела даже брезентовый до пят плащ-дождевик и затребовала ружье.

— Ладно тебе! — рассердился и на нее Антон и, как и в прошлый раз остановил: — Только этого еще и не хватало! — А, минуто спустя, принял и вовсе строгое мужское решение: — Давай лучше ложиться спать. Утро вечера мудренее.

Варька пыл свой умерила, плащ сняла. Она ведь разумная женщина и хорошо понимает, что если уйдет в луга, в караул поперек воли Антона, так он все равно ни на минуту глаз не сомкнет и тут же побежит за ней следом, чтоб караулить и ее, и Орлика. И еще неизвестно — кого больше...

Обретя обоюдное согласие, они наскоро поужинали, повечеряли парным молоком с ржаным, нового уже урожая хлебом и раньше обычного легли спать.

* * *

Ночь была полнолунная, ко сну вроде бы всегда беспокойная. Но Антон, должно быть, устав от переживаний своих и тревог, уснул мгновенно, едва прикоснувшись головой к пуховой подушке.

Спал он так крепко и непробудно (словно убитый), что не слышал ни разговоров-пения возвращавшихся из клуба молодых деревенских ребят и девчонок, ни поурочного крика сторожевых петухов, ни даже тихого дыхания Варьки, которое слышал и ощущал всегда, каждую ночь...

Не уловил, не распознал Антон в провальном своем забытии рева и гула мотоциклистов (были они или не были?!). А ведь обычно распознавал их еще издали, как только они врывались на сельскую околицу. Распознавал и настораживался, выглядывал в окно или выбегал на веранду.

Ничего не расслышала и не заподозрила и Варька в крепком, глубоком сне. Тоже ведь намаялась за день и в работе, и в беспокойстве с Антоном. Сон ее краток (не успеет смежить века, как пора в пятом часу подниматься к корове) и потому всегда столь крепок и непробуден, что иной раз Варька даже не слышит, как Антон встает покурить.

Уже начала брезжить на востоке ранняя утренняя заря, а они все еще безмятежно и счастливо спали. Варька положила Антону голову на грудь, а он, и во сне охраняя и оберегая ее, держал Варьку утомленной рукой за плечо.

И вдруг, будто что-то толкнуло Антона. Он заполошно вскинулся и сразу расслышал, как за огородами, на лугу, ревмя ревут, исходят на предельных скоростях мотоциклы. Но еще сильнее мотоциклетного рычания раздаются, разносятся по всему лугу голоса самых гонщиков и их подружек. Какое-то там происходило у них небывалое веселье, и они, не отдавая отчета, что ведь ночь еще, деревенский народ спит, досыпает последние самые счастливые минуты, кричали, улюлюкали и подзадоривали себя, распалили разбойничьим свистом.

Антон метнулся к окну и обомлел. Окружая со всех сторон плотным кольцом Орлика и размахивая зажженными на длинных палках факелами, мотоциклисты с запредельным ревом машин, с ураганным свистом и пьяными криками гнали его к береговой десятиметровой круче. И ладно бы гнали вольного и опасного, а то ведь, неведомо каким образом обманув Орлика, повязали ему глаза красным непроицаемым шарфом и теперь гнали на верную гибель и смерть слепого и беспомощного...

Антон, как был в исподнем белом белье, так и выскочил из дому и, сколько было в нем силы и биения сердца, прямо по колючей черной стерне, вязким осенним грядам и провальному торфяному болоту побежал к Орлику на помощь и спасение.

— Орлик! Орлик! — не помня себя, стал кричать Антон на бегу, в надежде, что тот как-нибудь все ж таки услышит его голос, пробьется сквозь заслон и окружение и свернет в сторону от погибельной кручи.

Но было слишком далеко, слишком недосыгаемо, да и разве в силах был Антон слабым своим голосом перекричать реверие целого сонма мотоциклов, беспамятное улюлюканье потерявших самих себя гонщиков и их визгливых подружек?! Не мог, не хватило у него на это ни сердца, ни дыхания.

Перед самой кручей Орлик, должно быть, все же почувствовал перед собой гибельную пропасть, попробовал утишить бег, а, может, и вовсе остановиться (даже чуть присел на задние ноги), но гонщики бросили в него заранее заготовленные камни, палки-факелы и просто комья гранитно-твердой земли — и в следующее мгновение, еще на лету ломая себе шею и хребет, Орлик упал в черную речную пучину.

Гонщики, торжествуя свою победу, тут же развернули мотоциклы и, будто ночные бестелесные привидения, умчались за деревенскую околицу, в город.

Когда Антон прибежал на луг, к гибельной круче, там никого уже не было, и только река от падения Орлика выбивалась из берегов, шла на самой стремнине широкими кругами и кольцами, точно указывая, где тот упал. Несколько мгновений Антон безотрывно следил за этими кольцами-кругами, ожидая, что вот-вот они сломаются, и Орлик появится из-под них живой и невредимый. Но он никак не появлялся, и тогда Антон стал поспешно снимать с себя нателное белье, чтоб сейчас же, не медля больше ни единой секунды, броситься в осеннюю темную воду и, обнаружив на глубине Орлика, помочь выбраться ему и спастись.

На последнем шаге, когда Антон, выбросив далеко вперед руки, уже собирался прыгнуть с кручи (спускаться вниз по откосу было уже поздно), его вдруг больно схватила за плечо и остановила Варька. Оказывается, она, босая и простоволосая, вслед за Антоном тоже бросилась к реке и тоже, сколько было у нее силы и жалости в голосе кричала:

— Орлик! Орлик! Орлик!

Но Антон ничего этого не слышал и не видел. Он даже не узнал Варь-

ку и хотел было, высвобождаясь из-под ее захвата, оттолкнуть. Но ему это не удалось: Варька держала Антона так сильно, что он застыл на месте и обронил изготовленные для прыжка руки.

— Не вынырнет он, — сквозь слезы сказала Варька и сама резко оттолкнула Антона подальше от обрыва.

Он невольно попятился назад, опрокинулся и упал на холодную утреннюю землю. Когда же немного пришел в себя и, не поднимаясь во весь рост, начал кое-как натягивать рубаху, то не выдержал и заплакал. Варька, вся в слезах и отчаянии, присела рядом.

Круги на воде за эти недолгие минуты сузились и продолжали, поглощая друг друга, сужаться еще и наконец исчезли совсем. Река успокоилась, выровняла течение и затихла, скрываясь под низко опустившимся на нее туманом.

Тихо и почти бездыханно сидели на речном берегу и Антон с Варькой.

И вдруг они вначале услышали, а потом и увидели, как, пробиваясь сквозь густой предрассветный туман, мчится по правому высокому берегу из новомлинских лугов и займищ Ласточка. Мчится безоглядно, не разбирая дороги, перепрыгивая на лету через пойменные озера, оголенные уже темные кусты лозняка и ольшаника, через заросли камыша-очерета и так кричит, так плачет, как люди кричать и плакать не могут, не хватая на это у них ни души, ни сердца...





ТРЯСИНА

Повесть

С незапамятных времен утвердилось здесь, на берегу глубоководной быстрой реки, большое богатое село Стольное. Богатым оно было всегда: и в давние, ушедшие в предания столетия, образовавшись еще при набегах и полоне татар в глухих и непроходимых болотах; и в крепостные годы, когда селом владел жестокосердный польской фамилии помещик Ковальский; не обеднело оно ни в революцию, ни в разорительные годы коллективизации, когда многие зажиточные и работающие семьи из него навсегда исчезли, сгнули в далеких неведомых краях; устояло село и во время последней Отечественной войны под немецкими оккупантами, не поддавалось им и не сломилось под ними.

Народ в Стольном всегда жил трудолюбивый, стойкий, умевший принаравливаться к невзгодам и бедствиям, к любым властям, как умеет к ним приспособливаться только русский нестигаемый народ.

На все войны, которые только ни случались на веку села, оно бесчисленно посылало в сражающиеся с врагом армии пеших и конных ратников. Они на этих войнах бесчисленно гибли, но те, что возвращались в тяжелых увечьях, в громкой славе и наградах, крестах и звездах, оседали на земле еще крепче и трудились на ней до седьмого пота, пока, тоже по заслугам зарабатывая немеркнущую крестьянскую славу, не ложились на деревенском погосте опять-таки под кресты и звезды.

Богатство Стольного во все времена прирастало не землей, песчаной и малопродуктивной, а необъятными заливными лугами, займищами, по обе стороны реки, лесными чащами и борами, где вдоволь было и строевого леса, и дикого промыслового зверя, и грибов и ягод; рекой с тучным обилием рыбы, с гнездящимися в плавнях утками-чирками, с водяной мельницей и сукновальной, устроенными за земляной плотиной; и даже дарами торфяных зыбких болот, на которых предприимчивые стольники добывали горючий торф (себе и на продажу), лекарственные дикорастущие травы, вытаскивали из глубинных недр моренные, тысячелетней давности дубы.

При таких необъятных луговых и лесных просторах жители Стольного и в доколхозные, и в колхозные годы держали много молочного и тяглогового скота: коров, лошадей, овец и особой породы коз, из шерсти которых плели редкой красоты, мягкости и тепла пуховые платки.

В колхозе в пятидесятые и шестидесятые годы было два лошадиных табуна, воловье стадо под сотню голов, на вновь построенной из железобетона ферме в три корпуса обретались гурты хорошего завода и удоя коров, а также телят, которым, похоже, никто достоверно и счета не знал.

Выпаса хватало и на колхозные стада, и на частные, хозяйские, которые тоже были немалые: в каждом подворье корова, теленок, а у иных так еще и годовалая телка, подрастающая взамен старой, доживающей уже свой век коровы.

Казалось бы, селу при всем этом изобилии: лесном, луговом и водном, да при таких жадных на работу людях, все богатеть и богатеть на зависть соседям, где и изобилия поменьше и где люди неведомо по какой причине то ленивые, то разгульные.

Но вот неожиданно-негаданно настали времена совсем разорительные, едва ли не вровень (а то, гляди, и похуже) татарским, польско-литовским, начальным колхозным или поработительно-немецким, и в какие-то полтора десятилетия все пришло в полный упадок и забвение.

Молодые жители не стали по примеру своих родителей, дедов и прадедов, держаться за землю, за вековые хвойные и лиственные леса, за луговые займища и торфяники, а год за годом откочевали в большие и малые города, обзавелись там семьями и зажили шумной городской жизнью. Старые же согласно предельному своему возрасту повымерли, ушли на деревенские кладбища и погосты. Село опустошалось прямо на глазах, дома с забитыми крест-накрест окнами, погибали и рушились, огороды, прежде всегда ухоженные, задернулись, позарастали сорными травами: пыреем, лебедой и полынью. В конце концов от всего села уцелела всего лишь одна улочка, прозываемая с давних времен за свое отдаление от центральной усадьбы, церкви, школы и волостной управы (после — сельсовета), да за обширные окружающие его со всех сторон луга и пастольники Луговым хутором.

Одним порядком хутор примыкал к лесным чащобам, а другим уходил пологим склоном к торфяным болотам и реке. Но и на хуторе жилых, обитаемых дворов уцелело лишь восемь, а все остальные пустовали и рушились даже много быстрее, чем в центре села, может быть, потому, что были ежедневно на виду у хуторян, и каждая обломанная жердочка, штакетина или сорванный ветром шиферный лист сразу попадались на глаза, а в селе они гибли как бы сами по себе, невидимо и незримо.

В обитаемых, сохранившихся в каком-никаком присмотре домах доживали свой век старики и старухи, иные еще парно, семейно, а иные уже совсем одиноко и бесприютно. Многие из них давно бы могли уехать в города к детям и внукам, которые их настоятельно звали, требовали к себе, но старики не ехали, наотрез отказывались покидать родные свои места, родину, не в силах помыслить, как это они будут жить в городской тесноте и угаре, отдаленные и отрезанные от лесов, луговых равнин и даже от топких торфяных трясин, на которые в прежние времена, случилось, что и сетовали, и, поддаваясь повелениям высокого начальства, пытались осушать.

Но иным старикам и старухам ехать и переселяться было некуда. У одних дети по разным причинам в молодые годы не заимелись, а у других (в основном, сыновья) погибли на мелких, незначительных войнах: то афганских, то чеченских, то всяких прочих, которые, Бог знает, почему и зачем затевались вроде бы в совершенно мирные времена.

Жили старики-хуторяне дружно, как жили и в былые богатые годы,

чуточку на особицу и на отлет от остальных окрестных сел. Им сам Бог велел так жить на этом отшибе: своею породненной общиной. Они и теперь в полном забвении не растеряли бывшего родства. Как могли, помогали друг другу в хозяйственных повседневных делах, в болезнях и хворях, которые одолевали их все чаще и чаще, и во всяких иных крестьянских невзгодах.

Но существовать одним только забвением, болезнями и хворями не будешь. Крестьянская жизнь спокон веку так устроена, что все в ней чередуется, как чередуется день и ночь, зима и лето: за трудами и невздами обязательно наступает радостная минута, веселье и отдохновение.

По праздникам, а иногда так и в будние дни собирались хуторяне вечерами у кого-нибудь в доме, чтоб посумерничать, повспоминать военную и послевоенную молодость, поиграть при свете керосиновой лампы (электрический свет им давно отрезали) в карты и лото, и в тех вечерних сумеречных бдениях была для них великая радость.

Года три тому назад в каждом подворье держали хуторяне по старой привычке и необходимости коров. Они и подумать не могли, как это можно при их нынешнем сплошь натуральном хозяйстве обходиться без коров, без молока, творога и сметаны и, что главное — без навоза. Земля ведь у них вон какая песчаная и суховейная и, если не удобрить ее навозом, то ни один колосок, ни одно зернышко, ни одна картофелина не вырастет, погибнет и зачахнет еще в самом зародыше.

Но прошлой осенью, в преддверье почувствовали хуторяне, что держать им и дальше коров в каждом подворье уже не вмогуту, не по силам. Летом они с ними еще кое-как перебивались, пасли по очереди восьмеричное свое стадо по окраинам торфяных болот и трясин, а вот зимой приходилось совсем худо. Заготовить вдосталь сена для своих молочниц-коров, сметать его, как бывало, в высокие стога-вершины хуторяне уже не имели никакой возможности по причине все убывающего здоровья, стариковской немощи, но еще больше потому, что заготавливать его стало просто негде. Знаменитые их заливные луга-займища за годы запустения сплошь позарастали лозовыми кочкарниками, кривобокими ольховыми побегамми, дикой смородиной, густо оплетенной повиликой, да в человеческий рост крапивой и конским несъедобным щавелем. Вдобавок ко всем этим бедам луга вдоль и поперек перерыли целые нашествия, полчища кротов — и уже не погонишь, как раньше, покос по луговому простору от речного берега до невидимого за высокими травами горизонта. Луговую овсяницу, гусятник и молодую, пригодную для сена осоку приходилось теперь хуторянам заготавливать серпами, выискивая среди лозовых непроходимых зарослей, кочкарника, муравьиных и нарытых кротоми кочек. А много ли его таким никчемным и несподручным способом заготовишь?! Больше истомишься, надломишь поясицу да исколешь в кровь руки и ноги.

В общем, надо было хуторянам как-то выходить из положения, на что-то решаться — жизнь их к такому решению подталкивала. Не раз и не два они заговаривали об этом, сходясь в предзимние сумеречные вечера на стариковские посиделки. Прикидывали хуторяне и так и эдак, но поначалу ничего путного у них из этих прикидок не получалось, одни только переживания и немощные вздохи.

И все-таки однажды, теперь уже и не припомнить по чьей подсказке, хуторяне выход-заключение нашли, да какой разумный и верный. Из всех восьми коров вознамерились они оставить всего одну, самую удой-

ную и надежную. Пасти они ее и обихаживать будут опять-таки по очереди, и каждый очередник станет забирать для своих хозяйственных нужд молоко, и утреннее, и обеденное, и вечернее. Молока этого, хранимого в погребах, одиноким старикам и старухам на неделю хватит куда как вдосталь. С него и сметану можно будет изобрести, и творог, и простоквашу, и варенец-паруху — пожилым людям молочного продукта всего-то по глотку и щепотке и нужно. Нынче же, при отдельной корове в каждом подворье, они молоко не столько пили сами, сколько отдавали его пороссятам, а это, можно сказать, уже и непозволительное расточительство, да и баловство для самих пороссят: они после молока ничего иного есть не хотят, ни картофельно-тыквенного замеса, ни свекольной ботвы, ни кукурузы — молоко, известное дело, хоть у человека, хоть у скотины отбивает аппетит.

Сена на зиму для единственной на восемь домов коровы хуторяне потихоньку заготовят, нажнут сообща по кустам серпами, просушат на бугорках-полянах и сладят стожок пудов на двести. Припасут они и всякого иного корма, кто сколько сможет: картофеля, тыквы, свеклы-моркови для пойла-поднады в позднюю осень и соломы разных сортов (ржаной, пшеничной и просяной) для сечки-запарки под весну, когда с сеном, может быть, будет уже и туговато.

Сойдясь в этом твердом решении и замысле, хуторяне долго обдумывали и выбирали, чью корову оставить (а остальные сбыть в дальние многолюдные еще села), чтоб она была и вправду и самая удоинная, и самая покладистая, непривередливая ни в еде, ни в обхождении, слушалась и без утайки отдавала молоко любой хуторской женщине-старухе.

Нелегкие повечерние обсуждения насчет коровы были у хуторян и шумными, и бесконечно долгими, а иногда так даже и взаимно обидными: каждому желалось, чтоб оставили именно его корову. Никто не хотел добровольно расставаться со своей кормилицей, которую вынянчил, вырастил и воспитал с вот такусенького теленочного возраста и которая, понятно, была лучше соседских.

Но, в конце концов, хуторяне к единому мнению все-таки пришли и порешили оставить корову по кличке Ромашка овдовевшего года три-четыре тому назад старика Дмитрия Ивановича. Тут уж спор не оспорь, а корова его позаметнее всех иных-прочих в поредевшем их хуторском стаде: и удоинная из удоинных, и покладистая, спокойная характером-нравом, и не переборчивая в еде. Росту Ромашка невысокого, но какого-то величаво-статного, хотя к девятилетнему своему возрасту (для коровы самый расцвет и середина жизни) немного уже и грузная, что, правда, ничуть ее не портило, а, наоборот, лишь добавляло этого величия и коровьей красоты. В человеческой жизни так годам к тридцати, тридцати пяти набирают полную женственную стать многодетные матери.

Масть Ромашке досталась неброская, обыкновенно-рябая (темно-коричневые пятна по белому покрову), но опять-таки отличимая от других коров не только чистой и яркостью этих цветов, но еще и мягкостью их сочетания. Рога у Ромашки были редкостно соразмерными ее голове и туловищу (корона, а не рога, как любил говорить о них в отрадную минуту Дмитрий Иванович), а вымя тучное и хорошо раздоенное покойной ее хозяйкой Екатериной Михайловной, бабой Катей. По общему заключению хуторян, Ромашка была коровой особо ценной породы и заводу, хотя вроде бы и родилась, как и другие ее соседки-подружки, здесь же, на хуторе, в обыкновенном сарае-клетушке.

Но так случается и у людей, что однажды заложенная в человеке высокая порода, вдруг через два-три, а то и через все пять поколений вдруг дает о себе знать и проявляться родовыми своими чертами и в лице, и в фигуре и даже во взгляде.

Конечно, при жизни Екатерины Михайловны уход за Ромашкой был не тот, что нынче, когда Дмитрий Иванович остался один-одинешенек в своем, прежде таком обустроенном и светлом доме, а теперь тоже как будто впавшем в преждевременную старость и одиночество, в один-два года обветшал, потемнел стенами и осунулся кровлей. Дочери, Нина и Валя, и особенно внуки, Дмитрий, Иван, Ксения и Аня, звали Дмитрия Ивановича в город. Но он, по примеру других хуторян, не ехал и не откочевывал к ним, не желая и не смея оставить дом на полное, остатнее разрушение, а могилу Екатерины Михайловны на полное забвение. Опять же и Ромашка! Ее тоже не бросишь на произвол судьбы.

Екатерина Михайловна жила с Ромашкой душа в душу: кормила-поила отборным луговым сеном, колодезной, считай, ключевой водой, готовила своей любимице всякие коровьи лакомства — сытное густое пойло, в которое добавляла всего понемногу: и картошки, и свеклы с морковью и тыквой, и мелко порезанных шляпок подсолнечника, и даже яблок-падалицы. Доила она Ромашку всегда в одни и те же часы, не позволяя застояться в вымени и перегореть молоку. А уж как Екатерина Михайловна чистила-вычищала ей спину и бока специально заведенной щеткой от любой, самой мелкой соринки, как меняла ежедневно подстилку из ржаной соломы-обмялицы, о том и говорить не приходится. Ромашка на добро отвечала добром: молоко не придерживала, не своевольничала, как это случается с другими коровами, ни во время дойки, ни в стаде, в лугах и пастольниках, словно боялась подвести хозяйку, заслужить нареkanie пастухов.

Овдовев, Дмитрий Иванович досматривал за Ромашкой вроде бы точно так же, как и Екатерина Михайловна: и сена, и поила-приправы давал вдоволь, и доил в те же часы, что и покойная хозяйка, и соломенную подстилку менял каждый день, со всем старанием чистил Ромашке бока и спину, и даже разговаривать пытался с ней голосом и словами Екатерины Михайловны. Но выходило-получалось у него все совсем не так, как у нее. Ромашка это чувствовала, глядела на Дмитрия Ивановича долгим укоризненным взглядом, совсем по-человечески вздыхала и ложилась иной раз спать раньше времени, едва только надвигались сумерки. Спина и бока перестали у нее лосниться и играть на солнце бело-коричневым цветом, рога, как показалось Дмитрию Ивановичу, начали сужаться в обхвате, хвост — и тот измочалился и поредел, хотя Дмитрий Иванович прилежно следил и за ним — своевременно подрезал и расчесывал.

Иногда на помощь Дмитрию Ивановичу приходили соседки. Они вызывались доить Ромашку, подкармливали ее своими припасами и снадобьями, как подкармливали и самого Дмитрия Ивановича: то горячим, сваренным все ж таки женской рукой борщом, то молочной кашей, то дрожжевыми оладушками или блинами. Но Ромашка на чужое внимание и ласку откликалась плохо, переживала и от этого недодавала молока, а случалось, так и беспокойно вела себя на дойке.

Глядя на все эти ее мучения, Дмитрий Иванович решил, что деваться ему некуда, надо расставаться с Ромашкой, продавать ее на сторону в далекое какое-нибудь село. Глядишь, попадетсЯ она в хорошие руки, при-

выкнет к новым хозяевам и заживет прежней счастливой коровьей жизнью, а у Дмитрия Ивановича будет лишь томиться и страдать.

К неотвратному этому намерению все клонилось и шло. После смерти Екатерины Михайловны Дмитрий Иванович вдруг начал чувствовать, что силы его и здоровье тают прямо на глазах, хотя по годам и возрасту своему был он не такой уж чтоб и совсем древний. Всего-то и перевалило Дмитрию Ивановичу чуть за семьдесят, по деревенским меркам вроде бы еще и не старик, а вполне исправный и пригодный к любой работе мужчины. Но без внимания и опеки Екатерины Михайловны силы его невосполнимо уменьшались и гасли с каждым часом, как будто где-то внутри у Дмитрия Ивановича, может, даже в самом сердце, завелась какая-то серая полевая мышь. И вот теперь точит она и точит ему это прежде такое крепкое сердце. И уже не мог Дмитрий Иванович с былою легкостью, играя-поигрывая косяю ли, серпом ли, заготовить для Ромашки в июне месяце вдосталь сена, не мог пахать плугом и вскапывать лопаткою огород и грядки, засеивать их рожью и всякими иными овощными лакомствами, чтоб опять-таки была Ромашке в холодную зиму сытная подкормка. О себе Дмитрий Иванович не думал и не вспоминал, забывая иной день не то что поесть, но даже и попить. Молоко он отдавал старушкам-соседкам: и утреннее, и вечернее, а в летнюю пору так и обеденное — под самый венчик три наполненных ведра. Самому же ему больше одного стакана в день и не требовалось, да и то пополам с котом Рыжиком, приученным к молоку еще Екатериной Михайловной. Старушки, понимая все горести Дмитрия Ивановича, молоко у него забирали, ставили по своим погребам скисать на сметану и простоквашу, изобретали масло и творог и после настойчиво возвращали Дмитрию Ивановичу эти изобретения. Чтоб не обижать старушек, он дары их принимал, отведывал всего понемножку, по чайной ложке и ломтику, хвалил и нахваливал, но, расставшись с ними, вздыхал и печалился. Нет, все ж таки, сколь ни искусны его соседки, а у Екатерины Михайловны и сметана, и молоко, и творог с простоквашей были совсем иными и на вкус, и на цвет, и на запах. А иной раз Дмитрию Ивановичу казалось, что и само молоко у Ромашки без Екатерины Михайловны стало каким-то другим, и все потому, что он ослабел и изнемог, плохо ухаживает и плохо любит Ромашку. И, наверное, лучше будет, если она перейдет в чужие руки, обретет новых заботливых хозяев и с годами забудет бесприютного и бестолкового Дмитрия Ивановича.

В общем, твердо надумал он, что эту зиму еще с Ромашкой как-нибудь переживет, а по ранней весне и распрощается с ней, хотя Екатерина Михайловна такого его поступка и не одобрила бы. Но жизнь и немощная старость клонили Дмитрия Ивановича к этому.

Укрывать свое намерение от Ромашки он не посмел и однажды рано поутру зашел к ней в сарай, обнял за голову и честно, хотя и по-стариковски дрогнувшим, сломавшимся голосом, сказал:

— Ну, корова моя, цветок-Ромашка, будем мы с тобой прощаться.

Ромашка головы своей из объятий Дмитрия Ивановича не высвободила, а наоборот, прильнула к его груди шершавыми мокрыми губами и скулою, посмотрела на него грустным, понимающим взглядом и будто сказала в ответ: «На то, Дмитрий Иванович, твоя воля...»

И вот — на тебе: на повечернем сходе хуторяне-луговики решили, что из всех восьми коров оставляют они на молочное свое пропитание именно Ромашку, по справедливости и в полном согласии определив, что бу-

дет она для них кормилицей и поилицей лучше и надежнее всех прочих хуторских коров.

Дмитрий Иванович поначалу от такого мнения односельчан растерялся, думал, что, может быть, они так поступают лишь по состраданию и сожалению к его одинокой, идущей под уклон жизни. Он даже попробовал было вступить с хуторянами в противоречие, мол, есть коровы в стаде и поисправней Ромашки, помоложе годами, поудойней. Но хуторяне принятого решения не переменили, настояли на своем, и Дмитрий Иванович подчинился им, боясь, что старики и старухи уличат его в чрезмерной гордыне и своеволии.

— Ну, коль общество порешило, — сняв шапку, поднялся он с табуретки, — так я подчиняюсь.

Никакой чрезмерной гордыни или своеволия в душе у Дмитрия Ивановича не было, не обнаружилось, а вот великая нескрываемая радость охватила его в эти минуты горячей волною, и не столько за себя, сколько за Ромашку, которая останется в родных своих местах, в родном бревенчатом сарае, где родилась и выросла, на родных лугах и пастбищах.

Вернувшись домой, Дмитрий Иванович кое-как перемогся длинной осенней ночью, а утром поспешил к Ромашке, опять обнял ее за голову и, ничего не тая и не скрывая, рассказал всю истинную правду о вчерашнем собрании, как мог бы рассказать о нем в прежние времена лишь Екатерине Михайловне. Под конец разговора Дмитрий Иванович погладил почесал Ромашке скулу и шею и почти что слезно попросил ее:

— Ты уж будь умницей, не подведи меня перед людьми: и молоко все отдавай, и на пастбище подчиняйся.

Ромашка выслушала Дмитрия Ивановича внимательно и терпеливо, не меньше его обрадовавшись решению хуторян, по которому суждено ей остаться дома, а не готовиться в дальнюю невольную дорогу, где еще неизвестно, какая ее ожидает жизнь. Ромашка положила голову на плечо Дмитрию Ивановичу и ответила ему твердым, уверенным обещанием: «Не подведу, Дмитрий Иванович, ты не бойся...»

* * *

Обоюдосогласный свой замысел и намерение хуторяне за зиму исполнили в самой строгой точности. Помалу, одну за другой, сбыли своих коров (со слезами, понятно, и вздохами-стенаниями) в дальние богатые села и стали готовиться к обиходу и пастушеству единственной теперь их кормилицы — Ромашки.

Принялся готовиться к новой жизни и Дмитрий Иванович. Он замет-но приободрился и поздоровел, забросил куда подальше березовый посошок, который завел, было, себе вскоре после смерти Екатерины Михайловны. В шаге Дмитрий Иванович обрел прежнюю легкость и широту, распрямился спиной и плечами; даже за внешним своим видом и обликом начал следить поаккуратней: брился через день (а то ведь, случалось, иной раз обрастал бородой едва ли не по самую грудь), почаще менял чистые рубахи и исподнее белье. Дом свой Дмитрий Иванович содержал теперь в строгом порядке и уюте: самостоятельно, не дожидаясь помощи старух-соседак, мыл полы, белил печку и стены, заботливо поливал на подоконниках столь любимые когда-то Екатериной Михайловной цветы: герани, фиалки и «огоньки». Подворье свое, сарай, куриную будку, по-веть, все заборы, ворота и калитку Дмитрий Иванович опять-таки без



КОГДА ШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ СТРОКИ...

*Фото из архивов
Е.Г. Новичихина, В.И. Жихарева,
редакции журнала «Подъём»*

И.И. Евсеенко — главный редактор
журнала «Подъём»



И.И. Евсеенко (второй слева) — участник пленума правления СП России.
Санкт-Петербург, Эрмитаж, 1998



И. Евсеенко (второй слева) — участник первых Дней С.Н. Сергеева-Ценского. Тамбов, 1995



И. Евсеенко (слева) на презентации книги И. Щёлокова «Лето на двоих». 2008



На встрече с читателями. 2012



И.И. Евсеенко — лауреат премии
журнала «Подъём». 2013



С новой книгой. 2012



В кругу близких друзей. 2008



Один из последних фотопортретов писателя И.И. Евсеенко

посторонней помощи привел в надлежащий вид, чтоб не стыдно ему было перед хуторскими жителями, которые, снаряжаясь по очереди в пастухи Ромашке, будут заходить к нему с весны много чаще, чем в былые годы. В жизни своей и поведении Дмитрий Иванович обязан нынче подавать самый строгий пример, раз односельчане выказали им с Ромашкой такое доверие. Жаль, не дожила до этого дня Екатерина Михайловна, а то бы уж она, радуясь за Ромашку, содержала и дом, и сарай в такой чести, о которой Дмитрий Иванович и мечтать не смеет.

* * *

Зима в беспокойных хлопотах и заботах промелькнула, скороталась быстро: не успели хуторяне оглянуться, как вот он уже — май месяц, начальные его светлые и радостные дни. Весеннее половодье, скрывавшее заливные луга и пастольники, сошло в этом году всего за неделю по старцам и низинкам в природное русло реки, и молодая пригретая майским солнцем трава пробилась из земли и зазеленела неоглядным уходящим к горизонту ковром, считай, в единую ночь.

А вслед за этой ночью наступил один из самых долгожданных деревенских праздников — первый день выпаса. Спокон веку готовились хуторяне к нему загодя: почаще выпускали коров и телят во двор, чтоб те попривыкли пусть еще и к очерченной заборами и изгородами, но все-таки свободе, и после, когда переступят эту черту и окажутся на свободе уже полной, уличной и луговой, не затевали ристалищ и драк, не сшибались рогами. Мужчины захватывали весла на тот случай, если придется сопровождать стадо на только что просмоленных лодках-плоскодонках на ту сторону реки (смотря по погоде и половодью), где трава всегда была потучней. Женщины доставали из-за божниц святую, принесенную на Благовещенье из церкви лозу, которой полагалось по древнему обычаю выгонять в первый раз на пастбище скотину, дабы святая эта лоза охраняла ее и от злого зверя, и от случайной болезни-вывиха, и от всяких иных непредвиденных напастей, которые в лугах вполне даже могут случиться-произойти.

Нынче все было точно так же. С утра пораньше хуторяне собрались возле дома Дмитрия Ивановича с веслами и лозовыми прутиками, чтоб сопровождать на пастбище всем миром теперь всего лишь одну-единственную их корову-кормилицу — Ромашку. Конечно, что там и говорить, грустно было хуторянам от такого обстоятельства: одна корова — не стадо, и прежнего веселья у них не предвиделось. Но и совсем в уныние хуторяне не впали. За долгую жизнь они переносили и не такие еще невзгоды и лишения: войны, пожары, раннюю гибель родных людей, — и все по природной крестьянской стойкости превозмогали. Надеялись превозмочь и эту беду.

Ромашку они всем стариковским своим, не больно многолюдным обществом проводили далеко за околицу, к луговому бугорку-поляне на берегу и окоеме топкого торфяного болота, которое с незапамятных времен прозывалось Горелым. Оно и вправду не раз в жаркую, суховейную пору горело, то ли кем поджигаемое по неосторожности, то ли воспламенялось само по себе, что с торфяниками часто случается.

Первая пастушья очередь по общему согласию была определена и уступлена Дмитрию Ивановичу, все ж таки истинному хозяину Ромашки.

Пастушить он вышел во всем надлежащем снаряжении: прорезиненном (на случай дождя) плаще, высоких болотных сапогах, с переметной холщовой сумкой через плечо, в которой хранился сытный его луговой обед: ломоть хлеба, два сваренных вкрутую яйца, кусочек сала и поллитровая бутылка молока. В руках Дмитрий Иванович держал гибкую хворостинку-прутик, хотя та была, может, и излишней. Ромашка на простое, обыкновенное слово немедленно откликнулась со всем послушанием, так что он теребил хворостинку в заскорюзлой ладони больше для блезиру — все-таки пастух, загонщик, и без пастушьего орудия вроде бы как и нельзя.

Сразу за околицей Дмитрий Иванович повелел хуторянам расходиться по домам: с одной-единой коровой на лугу он справится и сам. Но хуторяне не расходились. Сбившись в пеструю тесную стайку, они надолго задержались у луговой черты, с заботливой участю смотрели, как Ромашка, едва вступив на пастольник, начала пастись возле лозовых кустов и Горелого болота, радовались за нее, но вместе с тем опять-таки нескрываяемо вздыхали, вспоминая своих теперь неизвестно где и в каких изобильных лугах пребывающих коров.

Но, вздыхай не вздыхай, таи не таи горючую обидную слезу о былых безвозвратных временах, а к новой сиротской жизни хуторянам привыкать надо было.

И они день за днем, неделя за неделей привыкли к ней, втянулись в новый ее порядок и обычай. Ромашку, согласно строгой очереди, хуторяне пасли в лугах, может быть, даже с большим прилежанием, чем пасли бы своих собственных коров. Ведь никому не хотелось, чтоб соседи уличили их в нерадении и недогляде и после, сойдясь на вечерние сходки-посиделки, сетовали за этот недогляд. Хозяйки постепенно изучили весь нрав Ромашки и приспособились ее доить не хуже покойной Екатерины Михайловны и тем более не хуже Дмитрия Ивановича. Ромашка внимание и ласку новых хозяек тоже оценила по достоинству: во время дойки стояла смирно-смирнешенько, молоко не утаивала и даже заметно прибавила его на три-четыре литра в сутки, так что хозяйкам-дояркам приходилось иной раз захватывать с собой лишнюю, запасную доенку или ведерко. К июню-месяцу Ромашку уже на каждом хуторском подворье считали за свою родную, природную корову, которая именно на этом подворье и появилась на свет много лет тому назад темной и холодной февральской ночью, несколько дней (а то и недель) обогревалась в их доме на соломенной подстилке, а потом жила в теплом сарае, непродуваемо обнесенном от зимних стуж-метелей картофельной ботвой и кочерыжками подсолнуха.

Дмитрий Иванович каждое утро провожал Ромашку из дома на пастбище с полным доверием к очередному пастуху-погонщику. Но частенько он долгой разлуки с ней не выдерживал и к обеду тоже шел в луга вроде бы как в подпаски и коротал длинный летний день в задушевных беседах-разговорах с законно утвержденным на этот день пастухом. Действительно, не сидеть же было ему в полном одиночестве в горнице, беседа разве что только с котом Рыжиком, когда тот заглядывал в редкие минуты домой. Лето ведь, простор, тепло и раздолье, и Рыжик находил себе занятия на хуторе поинтересней и позавлекательней, чем скучные назидательные беседы со своим многословным хозяином. Дмитрий Иванович во всем понимал Рыжика, не корил его за такое поведение, безропотно отпускал на свободный промысел, а сам шел в луга к Ромашке, которую

теперь, когда она стала общей и одинаково родной на каждом подворье, полюбил еще сильнее, чем прежде.

Но часто (и к немалой радости Дмитрия Ивановича) случалось, что хуторяне просили его подменить их в очереди по разным семейным причинам и обстоятельствам. Кому-то надо было сходить в дальнее село, проведать приболевших родственников, кто-то собирался съездить в район за срочной государственной справкой или записаться в поликлинике на прием к врачу, если вдруг сам заболел, у кого-то назревала неотложная работа, с которой нельзя было повременить ни единого дня. Дмитрий Иванович быстро входил в бедственное положение хуторян-соседей и с великой охотой подменял их.

Подменные эти дни почему-то казались Дмитрию Ивановичу особенно радостными и желанными. Все вроде бы точно так же, как и в очередной, «его», день, но и не так, совсем насобицу. Когда пасешь Ромашку в «свой» день, то это как бы только для себя, для своей выгоды и пользы, а в подменный, когда выручаешь из затруднительного положения, а то, может, и беды соседского человека — это совсем уже иное дело: сердцу отрадно, что помог ты ему, и что у соседа-товарища в жизни от твоей сильной помощи все сложится хорошо и тоже отрадно. Жить только для себя, для своей личной корыстной выгоды нельзя, не по-человечески это и не по-божески. И особенно в крестьянском трудном существовании, где и радости, и беды должны быть общими.

Одно только было плохо на лугу у Дмитрия Ивановича. Из болотистых ольшаников и хвойных лесов вдруг начала прибиваться к нему с Ромашкой приبلудная какая-то собака черно-угольной непроглядной масти с седыми проплешинами на загривке. И, может быть, даже не совсем собака, а помесь собаки с волком, которые теперь, по слухам, целыми стаями обретаются в окрестных лесах и дебрях. Она действительно была не по-собачьи костистой и стойкой в лапах и спине; широкие заостренные уши всегда держала топориком и даже заступом; взгляд у нее тоже был совсем не собачий, тянувшийся к человеческому теплу и ласке, а поистине волчий — злобный и недоверчивый. По-волчьи собака и вела себя: поворачивалась сразу всем туловищем, мгновенно откликнулась на каждый шорох и звук, щерилась клыкастыми желтыми зубами, кажется, готовая тут же пустить их в ход. От подлинной природной собаки у нее, по наблюдениям Дмитрия Ивановича, остался один лишь пронзительный устрещающий лай, хотя и тот с волчьим каким-то завыванием и нутряным рыком.

Вынырнув из ольшаника и леса, собака устраивалась на какой-нибудь болотной кочке или на травяном бугорке и могла часами безмолвно следить за Ромашкой, как будто выжидала охотничий самый верный момент, когда можно напасть на одинокую незащитную корову. А вот на Дмитрия Ивановича приبلудная эта, темно-ночная собака никакого внимания не обращала, словно его и вовсе не было на лугу, словно он вовсе не был пастухом и человеком, охраняющим и стерегущим Ромашку.

Дмитрий Иванович по характеру своему, несмотря на ослабевшее здоровье, считался стариком и мужчиной неробкого десятка. Вооружившись хворостинкой, а то и посошком потолще, он шел на собаку приступом, чтоб отогнать ее подальше от пастбища и Ромашки. Собака поначалу вроде бы подчинялась ему (все ж таки, хоть и старый, а человек, и человеческий всегда опасный для любого зверя исходит от него дух), отступала на десяток шагов и саженой, а потом, по-волчьи запорокинув го-

лову вверх, начинала лаять и выть и, что самое приметное, не на Дмитрия Ивановича, а опять-таки на одну лишь Ромашку, норовя вспугнуть ее с места, посеять в корове страх и беспокойство.

— Вот я тебе! — замахивался грозным своим посошком на собаку Дмитрий Иванович.

Но в ответ на его замахи собака обходила Ромашку стороною и принималась лаять пуще прежнего. Конечно, Ромашке ничего не стоило, наставив против назойливой этой собаки остроконечные свои рога, так поддеть ее, чтоб нарушительница лугового покоя навсегда заказала сюда дорогу.

Но Ромашка была коровой мирной, недрачливой: она лишь осуждающе поглядывала на понапрасну изводящую себя в утробном лае собаку и спокойно скрывалась за лозовым или черемуховым кустом, во всем, похоже, надеясь на Дмитрия Ивановича, который не просто же так, не ради же одной лишь забавы и прохладения, торчит с утра до вечера на лугу, а сторожит и охраняет вверенную ему всем хутором корову-кормилицу и, если лесная одичавшая собака задумает против нее что-нибудь по настоящему злое и опасное, то он не даст Ромашку в обиду.

Дмитрий Иванович рокового часа не дожидался, а, упреждая волчьи намерения собаки, гнал ее с пастбища всеми доступными ему способами и мерами: бросал в собаку и посошком, и оставшейся еще на лугу от весеннего пойменного разлива какой-нибудь корягой или камушком, а иной раз, в отчаянии, так и пастушьим своим, выгоревшем добела картузом. Собака от геройского его наступления, хотя и с лаем и рыком, но убегала за торфяное Горелое болото и топкое русло реки-старницы, а иногда так и вовсе, на радость Дмитрия Ивановича, исчезала в ольшанике и хвойном лесу, где у нее, наверное, была нора или логово.

Конечно, если бы у Дмитрия Ивановича или у кого-нибудь из его соседей хуторских мужчин-стариков имелось охотничье дробовое ружье, то он припугнул бы им разбойную собаку по настоящему, выстрелил бы раз другой поверх торчащих ее топориком и заступом ушей и, глядишь, собака, испугавшись и гулкого ружейного выстрела, и порохового запаха дыма, поостереглась бы приближаться к Ромашке и навсегда исчезла в своих лесных дебрях. Но даже самого завалывшегося охотничьего ружья-дробовика ни у кого из хуторян не сохранилось. Охотничьим промыслом никто из них и в прошедшие давние времена не занимался, а теперь так и подавно. Охота считалась на Луговом хуторе как бы даже и баловством, которое позволяли себе в давние эти времена только помещик Ковальский, а в новые — только большое районное начальство. Рядовому же крестьянину надо обрабатывать землю: сдобривать ее навозом, пахать, сеять, убирать урожай, а в промежутках между земледелием заготавливать сено, дрова, подновлять ветшающие дома, сараи и повети. Прохлаждаться же с ружьем наизготове по лесам и чащам вроде бы некогда. Рыбалка, к примеру, это совсем иное дело, скорое и удачливое. С удочкой или спиннингом-блесной крестьянин на бережку целыми днями тоже, понятно, сидеть не будет. Рыбалка для него не какое-нибудь спортивное праздное увлечение, а хозяйственный промысел, добыча. Пока жена доит корову рано поутру и растапливает печку, он сбегает на реку и с лодки-плоскодонки забросит в укромной заводи десяток-другой раз двадцатиметровую сеть (в прежние времена никаким браконьерством это не считалось, потому что ячейки в сети были широкими, и в них ловилась только крупная, возрастная уже, долго пожившая рыба, а всякая мелкота, мальки

проходили сквозь них свободно); или в иной раз, наоборот, уже после вечерней дойки, урвет какой час-полтора и поставит на ночь жаки-вентеря; или, если предстоит в семействе какая беседа, свадьба, родины-крестины, проводы в армию сына, то сообща с соседом-помощником затянет он по отмелям и озерам небольшой волочок-бредень. И всеми этими в веках испытанными снастями: сетью, волочком-бреднем, жаками изловит, случается, так даже полную переложенную травой осокой корзину самой отборной рыбы — щук, лещей, колючего, ершистого окуня, плотвы в две ладони размером, а то и таящихся в непроглядной тине карасей с линями — хватит и себе, и соседям.

Дмитрий Иванович удачливой такой рыбалкой при жизни Екатерины Михайловны тоже увлекался. Все у него было: и лодка-плоскодонка, и сети на ольховом корытце-поплавке, и жаки-вентеря, были и другие удачливые и скорые снасти, переметы, мотырки-жерлицы, «дорожки», но как не стало Екатерины Михайловны, Дмитрий Иванович все забросил и ни разу больше на реку не выходил и не выезжал. Зачем ему одному весь этот улов и изобилие?!

А вот к охоте он, по примеру других хуторских мужчин, тоже никакого пристрастия не испытывал: не гонялся по первому снегу-пороше за зайцами, лисами или кабаньими выводками, не бил влет из засады луговую или полевую птицу, уток-чирков, длинноногих куликов, перепелов, вальдшнепов, выманивая их на ружейный выстрел обманным подражательным криком или посвистом. Жалко как-то Дмитрию Ивановичу было истреблять безвинную доверчивую птицу или почти что ручного зверя — полевого робкого зайца. Поэтому и ружья он никогда не заводил и не держал в повседневных своих мыслях подобного желания.

Но даже если бы какое-никакое ружьецо у кого-нибудь из хуторян и обнаружилось, то Дмитрий Иванович все-таки не взял бы его в долг, не зарядил бы ни порохом, ни дробью, ни жаканом и не пошел бы с ним на злонамеренно преследующую их с Ромашкой собаку. И вовсе не потому, что робел обращаться с охотничьим огнестрельным ружьем, а по причине совсем иной. Лесная одичавшая собака была какой-то на редкость хитрой и увертливой. В дни, когда пастушили другие хуторяне, будь то старики-мужчины, вооруженные кнутами и пугами или даже совсем уже немощные старухи с тонюсенькими хворостинками в руках, которые не столько стерегли-охраняли Ромашку, сколько дремали на прогретом солнцем бугорке, где оборудовали себе травяное пастушьё лежбище, она не появлялась, не давала о себе знать ни собачьим лаем, ни волчьим завыванием. Не появлялась собака и в те дни, когда Дмитрий Иванович, наскучив сидеть дома, направлялся на луг в подпаски. Но, как только наступала его одиночная очередь, собака с утра пораньше выныривала из темного, поросшего ежевиком и папоротником ольшаника и начинала с лаем и воем ходить вокруг Ромашки волчьими своими, выверенными кругами.

Дмитрий Иванович дивился такой ее хитрости и выборочного пристрастия и никому из односельчан о собаке не рассказывал, думая и помышляя иной раз про себя, что, может быть, она просто причудилась и привиделась ему на затянутом утренним туманом лугу. Со стариками, говорят, по слабости их здоровья и убывающему зрению такое случается часто. Услышав беспокойный рассказ Дмитрия Ивановича о приبلудной собаке, хуторяне начнут подтрунивать над ним, насмешничать, а то, чего доброго, и вовсе лишат пастушьей очереди, чего он не переживет и не выдержит, в одну неделю сомлеет в опустошенном своем, заброшенном доме.

Собачий лай и завывание на лугу, может, кто из хуторян и слышал, но не придавал ему никакого значения. Мало ли какая безобидная Жучка, Найда или Шарик могли забежать на луг, чтоб вволю там порезвиться в густых сенокосных травах. Такое не раз случалось и в прежние многолюдные годы, и никто не видел в том никакой опасности.

Приняв все это во внимание и не решаясь беспокоить пустыми своими домыслами хуторян, Дмитрий Иванович продолжал бороться с хищной собакой в одиночку. А она все больше и больше наглела и уже несколько раз почти в открытую набрасывалась на Ромашку, страгивала ее с пастбища и гнала, теснила к Горелому провальному болоту.

Дмитрию Ивановичу с трудом удавалось оборонить Ромашку пастушьей палкой с увесистым, обрезанным в виде булавы корневищем на конце, которая так и называлась — «булавою» и с которой в былые времена пасли коровье стадо, овечью отару или даже конный табун такие вот возрастные уже старики, как нынче Дмитрий Иванович. Бегать за отбившеюся от стада коровою, овечкою или конем им было не по силам, а бросить с хорошего размаха пастушью булаву-булавку в ослушницу или ослушника, возвращая их в стадо, отару и табун, задору еще хватало.

Дмитрий Иванович незамедлительно обзавелся подобным безошибочным оружием и несколько раз почти что уцелил в ненавистную собаку, попал булавою ей по спине и ногам. Но собака, к немалому его удивлению, особой боли от удара, похоже, не почувствовала. Она даже не взвизгнула и не взвыла, как повел бы себя любой иной зверь, а лишь ощерилась на Дмитрия Ивановича и Ромашку клыкасто-желтыми, готовыми к расправе зубами.

Правда, охотничью свою стратегию и тактику изменила. Теперь она начала искусно и незримо прятаться в высокой траве на краю болота и так иногда лежала целыми часами, усыпляя бдительность Дмитрия Ивановича. И он действительно поддавался на ее обман, беспечно отвлекался на какое-нибудь постороннее занятие: плел лозовую корзину (первое пастушье занятие на досуге), обедал-перекусывал на травяном лежбище, а то даже и задремывал на нем после сытного обеда.

Тут собака и обнаруживала себя. В два-три прыжка кидалась из засады на Ромашку, гнала ее в самую глубь и топь болота, норовила укусыть за ногу, а то и вообще взметнуться на спину. Дмитрий Иванович просыпался, целил в собаку булавою, отбивал нападение хитроумного зверя, но и Ромашке выговаривал:

— Ты-то сама чего не обороняешься?! Рога вон какие — острее вил!

И еще много чего поучительного и назидательного говорил он Ромашке, сетовал и на нее, и на себя, на свою старость, на слабость в ногах, в пояснице и во всех прочих костях и суставах. Гоняться с булавою на замахе за собакой, у которой повадки суще волчьи и тигриные, Дмитрию Ивановичу, храбрись — не храбрись, а совсем уже не вмоготу. Надо им сообща с Ромашкой, в одной цепи и редуте, вступать в сражение с собачьим и волчьим нашествием, а то поодиночке она, того и гляди, одолеет их обоих, до смерти загрызет.

Ромашка повинно вздыхала, кажется, во всем понимая Дмитрия Ивановича и во всем соглашаясь с ним. Но вместе с тем, Дмитрию Ивановичу слышался в глубоких ее вздохах и упрек ему, укоризна: мол, если ты взялся пасти меня, охранять, так и охраняй по-настоящему, не отлеживайся на бугорке, не зарься на посторонние занятия: корзин не плети, щавель, подорожник или какую иную лекарственную траву, зверобой,

чабрец и золототысячник с медуницей, по кустам и луговым тропам не выискивай. Женщины-старухи, на что уж любительницы этого дела, а и те не отвлекаются, пастушат зорко и осмотрительно, не спуская с меня глаз. Вот приبلудная собака и боится их, не появляется в старушечьи очереди на лугу. Мое же дело — пастись, нагуливать молоко.

— Женщины, оно, конечно... — соглашался с Ромашкой Дмитрий Иванович и на несколько дней действительно забрасывал весь свой луговой промысел, не отходил от Ромашки ни на шаг, обедал и то рядышком с ней, на болотной кочке.

И что ж ты думаешь, собака в эти дни на лугу ни разу не показалась и не возникла, то ли притомилась она бороться с Дмитрием Ивановичем и Ромашкой, отступилась от них, почувяв, что никакой поживы ей тут не будет, то ли, может, зализывала где, в своем логове, раны, которые Дмитрий Иванович нанес ей, уцелив с близкого расстояния булавою по бокам и широкой волчьей груди.

— То-то же! — совсем по-молодому, победителем и героем, возликовал он.

— Есть еще порох в пороховницах!

Когда же собака не появилась и на четвертый его очередной день, Дмитрий Иванович безвозвратно успокоился и мало-помалу опять начал и корзины плести, и травы-лекарства собирать, и на бугорке в послеобеденный час подремывать. Все на лугу было тихо и мирно. Разве что какая птица, речная чайка-крячок, дальноролький коршун или случайная ворона-галка пролетят в полкрыла — и опять все затихнет и замрет.

Дмитрий Иванович хотел уже было рассказать о своем приключении с настырной собакой односельчанам, чтоб сообща посмеяться над его страхами и заблуждениями, но тут она, непрошенная гостья, опять и дала о себе знать.

Как всегда неспешно и основательно пообедав вареным яйцом, кусочком сала и молоком, которое, чтоб не прокисло, держал с утра в полиэтиленовой бутылке, погруженной в речную проточную воду, Дмитрий Иванович прилег на травяном, только накануне подновленном женщинами лежбище, положил под голову картуз и сладко, почти по-младенчески уснул. Но прежде, чем окончательно провалиться в глубокую полуденную дрему, он в последний раз посмотрел на Ромашку и как бы повiniлся перед ней:

— Я всего на полчаса!

«Да ладно тебе, — покачала в ответ Дмитрию Ивановичу крупно-тяжелой своей головой Ромашка. — Спи! Даст Бог, ничего со мной не случится...»

* * *

Но случилось, да еще какое тяжелое и непредвиденное! Не могло, наверное, не случиться. Минут через десять-пятнадцать, когда Дмитрию Ивановичу привиделся первый по-дневному зримый сон. Как будто они с Екатериной Михайловной совсем еще молодые, только-только повенчанные, вершат в сенокосную пору здесь же, в лугах, стожок пахнущего и зверобоем, и медуницей, и травой-гусятником сена. Вдруг из подножья ольшаника, из зарослей колючей ежевики и папоротника вынырнула и волчьим увертливым наметом, почти не касаясь земли ногами, пошла на Ромашку набравшаяся за дни отдыха в утробном своем логове звериных

утроенных и учетверенных сил собака. Будто какая татарская ядовитая стрела, она, вначале молча, не издавая ни единого звука, неслась над луговым простором, пласталась над ним черной, сливающейся с торфяниками тенью. Когда же до Ромашки оставалось всего два-три перелета, собака, предчувствуя скорую свою победу и добычу, безбоязненно обнаружила себя, зашлась в собачье-волчьем, рвущем на куски и части этот простор, лае.

Дмитрий Иванович мгновенно пробудился, все увидел и осознал и, схватив булаву, побежал, сколько было у него сил в ослабевших полусонных ногах на выручку Ромашке. Но было уже поздно: собака почти настигла ее, тоже беспечную и полусонную. Не ожидая такого подлого засадного нападения, Ромашка растерялась и, вместо того, чтоб поворотиться к собаке головой, поддеть ее на острые убойные рога, перекинуть через спину, а потом довершить расправу ногами, она бросилась в самую глубь и топь Горелого болота и прямо на глазах Дмитрия Ивановича стала погружаться в него вначале по щиколотки и колени, а после по тугое хорошо нагулянное за день вымя, и по живот. Болото это было коварным из коварных, всегда (даже в зимнюю самую лютую и морозную пору) бурлило маслянисто-пенистыми воронками-водоворотами и в недолгие минуты губельно засасывало в торфяные свои недра все живое и сущее. На него даже водоплавающая птица — утки или перелетные гуси — опасались садиться.

Собака на столь необдуманное болотное бегство Ромашки не рассчитывала. Она на всем лету и намете затормозила сразу всеми четырьмя лапами и принялась рыскать с прежним рыком и лаем у самой воды и топи, то ли выискивая какую-нибудь твердую опору, торфяную кочку или высохшее корневище лозового пня, чтоб свершить последний свой прыжок на спину Ромашке, то ли победно радовалась и торжествовала, что ненавистная ей корова (по какой-такой причине ненавистна — неведомо и незнаемо) сама по себе утонет в бездонной тине.

Дмитрий Иванович на тряском своем бегу-топтании, почти не целясь, как мог, метнул в собаку пастушью булаву. Та не долетела до нее метра на полтора, но все ж таки напугала. Собака отпрянула в сторону, ощерилась, но, к немалому удивлению Дмитрия Ивановича, кидаться на него не стала, должно быть, решив, что и ему, старому и немощному, предстоит вместе с коровой на болоте неминуемая гибель. Она хищно, торжествуяще рывкнула и, приминая грудью высокие, в человеческий рост заросли аира и камыша, скрылась в них.

А Ромашка тем временем уже погрузилась, легла на болотную топь всем своим грузным телом, животом и выменем, измазав их черной торфяной жижей, которая сразу засыхала на ее теле под лучами жаркого июньского солнца ломучей коркой-коростой. Несколько раз Ромашка пробовала высвободить передние ноги, чтоб обрести какую-никакую твердь впереди себя и выбраться на берег. Но с ее отчаянных попыток ничего путного не получалось: ноги из торфяной трясины не выдергивались, твердь не обреталась, и выходило еще хуже — Ромашка уже с трудом удерживала голову, чтоб и ее не обронить в болотную мокрядь.

— Лю-ди! Лю-ди! — что было силы закричал Дмитрий Иванович, хорошо понимая, что одному ему Ромашку никак не спасти.

Сиплый его, но все-таки с отчаяния и тревоги громкий, зовущий на помощь и выручку хуторян крик перелетел через травяные пастольники, пойменные грядки, через цветущие белым и розовым цветом клинышки

картофеля и полоски созревающей колосющейся ржи, достиг окраинных домов — и был услышан.

Еще не зная, что там, за полями-огородами, содеялось и случилось, и почему Дмитрий Иванович так заполошно кричит, зовет их в помощь, хуторяне один за другим побежали на луг.

Когда же они увидели тонущую в трясине Ромашку, бедственное ее положение, то в запале набросились на едва-едва живого Дмитрия Ивановича:

— И куда ты смотрел, окаянный?!

— Туда и смотрел! — не в силах так вот сразу признать свою оплошность, — ответил им Дмитрий Иванович. — Собака ее вспугнула, загнала в болото.

— Какая еще собака?! — не унимались старики и старухи.

— Обыкновенная, — кое-как приходя в себя и обретая жизнь, начал пояснять им Дмитрий Иванович. — Вон оттуда, из ольшаника выскочила и накинулась.

— Может, волк?! — засомневались в путаном и сбивчивом его признании старухи. — Что-то мы тут никакой собаки не видели!

— Может, и волк, — почувствовал в их словах вроде бы как поддержку себе Дмитрий Иванович. — Черный такой, с проседью.

— Да сроду тут никакой собаки и никакого волка не было! — ввязались в разговор и старики, ровесники Дмитрия Ивановича, все ж таки чаще женщин пастушившие в лугах. — Мы бы его приметили.

Дмитрий Иванович повинно промолчал на вполне справедливые слова стариков и, вспоминая прежние свои сомнения насчет преследующих их с Ромашкой собаки или волка, подумал, что сегодня-то, спросонья, они могли причудиться ему вдвойне, а на самом деле Ромашка забрела в трясины по собственной неосторожности: вздумала попить на его окоеме воды или потянулась за какой-нибудь особо приглянувшейся ей болотной травинкой, но не рассчитала шага и провалилась в топь.

— Ну, что вы на него накинулись?! — заступилась за Дмитрия Ивановича ближняя его по дому соседка, задушевная подружка покойной Екатерины Михайловны Анна Кузьминична. — Ромашку надо спасти, а не лаяться попусту!

Хуторяне действительно опаматовались, подступили всей толпой к краю болота и стали размышлять, как подручными средствами и крестьянским их опытом-умением выручить из беды и гибели несчастную корову.

— Доски ей следует под живот и грудь подвести, — подал голос самый старый и самый опытный из всех пастухов (еще в детстве, помогая выжить овдовевшей в первые колхозные годы матери, нанимался каждое лето в подпаски) дедок Савка, Савелий Мартынович.

С ним немедленно все согласились и снарядили гонцов в ближние к лугам дома за подручным древесным материалом: досками, слегами и смоляными жердями. Гонцы-посыльные, несмотря на пожилой свой убыточный возраст, обернулись минутой и принесли, кто что мог: и доски, и жерди, и даже снятую наспех с петель калитку.

Общими силами, забредая в болото по колени и выше, старики и старухи завели все эти спасительные непотопляемые древесины под живот и грудь Ромашке, и действительно на время облегчили ее участь: Ромашка легла на доски, жерди и калитку заскорузлым, измазанным животом и, веря в свое спасение, заметно повеселела, перестала мычать и жалобиться.

Кто-то из стариков догадался захватить небольшой поводок-налыгач. Его, опять-таки, залезая в болото по колени, изловчились захлестнуть на рога Ромашке и попробовали выдернуть ее из топи. Старики тянули Ромашку за поводок-налыгач на себя, на твердый грунт, а старухи принялись подгонять ее хворостинкой, чтоб Ромашка как следует поднапряглась, выдернула ноги из цепкой болотной трясины и в два-три усилия выбралась на берег. Но ничего из этих намерений не вышло, хотя и старики, и старухи, и Ромашка старались, сколько могли. Они лишь встревожили, перемесили, будто черное тягучее тесто, зыбкий торфяник, да стронули с места доски и жерди.

— Бросьте вы ее мучить, — видя все бессилие спасателей, заступилась и за Ромашку Анна Кузьминична. — Ее подоить для начала надо, а то молоко перегорит, и испортим скотину.

Анну Кузьминичну хуторяне еще более горячо, чем Савку, поддерживали и отпустили домой за доенкой. Пока же она ходила по возможности скорым шагом, старики и старухи порешили, что неплохо бы доставить с реки и спустить на болото какую-нибудь малую лодку-плоскодонку, иначе подоить Ромашку никак не удастся, доярка сама увязнет в трясине.

Всей донельзя взволнованной говорливой стайкой спасатели устремились к реке и, где на весу, а где и тегом по набравшей уже к вечеру росы луговой траве притащили рыбацкую утлую лодчонку Дмитрия Ивановича. Она была много легче всех остальных стоявших на привязи лодок, к тому же, по беспечности и доверию хозяина, не примкнута к причальной коряге даже самым малым замочком.

Лодку со всем старанием и предосторожностью, чтоб она не зачерпнула узенькими своими бортами маслянистой взбаламученной тины, спустили на болото, и на нее отважно взошла с доенкой и запасным оцинкованным ведрком в руках Анна Кузьминична. Старики, придерживая лодку за цепь, развернули ее жердями и причалили кормой точно под вымя Ромашки, которое почти все уже погрузилось в воду. Анна Кузьминична изловчилась, подвела под него самую широкую доску, и тугое, переполненное молоком вымя, вынырнув из болотной глубины, легло всей своей тяжестью на помост. Анна Кузьминична омыла его колодезной водой, которую не забыла захватить в запасном ведрке, вытерла его тоже предусмотрительно припасенным чистым полотенцем и, приспособив доенку на доске в полунаклон, начала бережно выдаивать сосок за соском.

Ромашка стояла сосредоточенно и покорно, лишь изредка поворачивая голову в сторону Анны Кузьминичны, как будто просила у нее прощения за доставленное по оплошности своей неудобство, и теперь вот дойти корову-утопленницу приходится с лодки, которая в любой момент может перевернуться вместе с дояркой. Но в долгом виноватом взгляде Ромашки читалось и совсем другое: раз доит ее Анна Кузьминична, то, стало быть, есть еще надежда на спасение.

Старики и старухи, наблюдая за Анной Кузьминичной, тоже стояли на берегу безмолвной толпой и тоже не теряли надежды, что Ромашку им все-таки удастся спасти и вызволить из болотного плена.

Молоко Ромашка отдала все до последней капли. Стоявшая в полунаклон доенка даже не смогла вместить его, и Анне Кузьминичне пришлось додаивать Ромашку в запасное оцинкованное ведрко.

В любом ином случае старики и старухи непременно отведали бы парного пенно-пахучего молока прямо здесь, на лугу, до того оно было призывно-манящим, сладким и сытным даже на погляд, без предвари-

тельной поочередной пробы. Но нынче, не сговариваясь, никто к молоку не притронулся. Доенку и ведерко поставили поодаль, под ольховым кустиком и прикрыли от вечернего комарья оставшимися в запасе чисто протертыми досками.

Но надежда надеждой, вздохи вздохами, а что-то надо было предпринимать дальше.

— Давайте перевернем лодку вверх днищем и подведем под Ромашку вместо досок, — предложил все тот же расторопный и предприимчивый дедок Савка. — Все верней будет.

Спасатели сразу схватились за эту подсказку, быстро перевернули лодку и подвели ее под утопленницу, потеснив доски в сторону, а калитку с тяжелыми, кованными в кузнице навесами и клямкою так и вовсе вытащили на берег, поскольку проку от нее было мало — калитка под тяжестью этих навесов и клямки сама почти невидимо погрузилась в тину.

Ромашка, как могла, помогала старикам и старухам, подбирала живот, пробовала опять шевелить ногами, выдергивать их из трясины. И все с лодкой вроде бы получилось: она поднырнула под живот Ромашки, укрепилась там и не потонула, сохраняя в просмоленном опрокинутом кузовке остатки воздуха, словно какой надувной понтон. Спасатели остались довольны своей придумкой и, поглядывая на прибодрившуюся Ромашку, определили, что она приподнялась из трясины не меньше как на ладонь. А может, это им так лишь показалось в предвечерних луговых сумерках, при багряном заходе солнца. Но как было старикам и старухам не обмануться и хоть в малой части не поддержать призрачную свою надежду на спасение единственной теперь их кормилицы — Ромашки. Иначе зачем им тогда и стоять здесь, на берегу болота, глядеть на ее мучения, да бесполезно измышлять все новые (и на этот раз самые верные) способы извлечения Ромашки на земную твердь.

За обоюдोगромкими разговорами, спорами и подсказками старики и старухи не заметили, как к ним подошел припозднившийся к месту неожиданно-негаданного происшествия с Ромашкой бывший их колхозный бригадир Федор Романович. Припозднился он не по равнодушию ко всеобщей их хуторской беде, а по той простой причине, что жил чуть в стороне от хутора, за небольшим березняком-осинником, где еще в бригадирские свои годы построил добротный, на восемь окон дом, вокруг которого вырастил грушево-яблоневый сад и завел в нем пасеку. На пасеке, возле ульев Федор Романович сегодня и возился весь день и увидел скопившихся на лугу хуторян лишь к вечеру, когда вошел в дом.

Несмотря на свой семидесятипятилетний возраст, Федор Романович был стариком еще крепким, работным, при здоровом и каком-то начальственном, навечно укоренившемся в нем уме. Хуторяне по старой привычке даже немного побаивались Федора Романовича, хотя вроде бы никакой власти над ними он теперь уже и не имел.

Прежде у Федора Романовича была большая семья: жена, Антонина Андреевна, работавшая в колхозе тоже на начальственной должности — учетчицей на ферме, трое детей — две дочери и сын. Но судьба, обходя высокостоящее его положение, распорядилась с Федором Романовичем так же, как и с остальными хуторянами. Жена его, Антонина Андреевна, умерла вскоре за женой Дмитрия Ивановича, Екатериной Михайловной, а дети, еще в советские колхозные времена при хорошей поддержке Федора Романовича, выучились в институтах и, опять же, как у Дмитрия Ивановича и многих других хуторян, разъехались по большим городам.

После смерти жены Федор Романович приловчился в зимнюю пору жить у кого-нибудь из детей (тут уж в отличие от Дмитрия Ивановича), но, как только пригревало солнышко, в конце марта месяца неизменно возвращался домой. И все из-за пасеки и пчел, к которым неотрывно привязался и которые давали ему (а, стало быть, и детям) неплохую выручку и доход.

Раздвинув притихшую при его появлении толпу, Федор Романович подошел к краю болота, пристально и придирчиво посмотрел на Ромашку и вдруг бригадирским своим начальственным голосом сказал:

— Прирезать ее надо, пока не поздно!

— Как это — прирезать?! — выступила вперед из стариковской стайки Анна Кузьминична, которая и в колхозные годы была похрабрее других всецело подчиненных бригадире женщин, и теперь не забоялась Федора Романовича. — Ты в своем ли уме!

— Я-то в своем, — еще больше построжал тот. — А вы совсем его потеряли. К полуночи утонет ваша скотина.

Федор Романович хотел сказать что-то еще, совсем уж, наверное, приказное и повелительное, но тут рядом с Анной Кузьминичной встал весь побелевший и решительно-непокорный Дмитрий Иванович.

— Не дам! — произнес он неожиданно твердым и беспрекословным возгласом.

— Ну тогда как знаете! — снял с себя всякую ответственность Федор Романович.

— А может, как-нибудь выручим?! — обозвался дедок Савка. — Все-таки живая душа!

— Как?! — повернулся к нему Федор Романович и посмотрел на Савку с таким требовательным нажимом во взгляде, что тот смутился и поспешил затеряться в толпе женщин, зная по колхозным злоключениям, чем могут закончиться такие вот острые взгляды и окрики Федора Романовича. Он ведь может и трудоводень-палочку укоротить (работу сделаешь, свершишь на пахоте ли, на сенокосе ли, на уборке ли, а Федор Романович вместо, к примеру, трех трудоводней запишет, запомнив твою дерзость и неповиновение, всего полтора, а то и один), или занарядит тебя на такую повинность, что, хоть ты пластом там растянешь, а больше одного трудоводня не заработаешь, или, что самое страшное, не даст тебе коня-подводу в нужный, край как неотложный для тебя день.

Времена те, конечно, безвозвратно прошли, канули, будто тоже утонули в болотной трясине, но Федор Романович гонору своего не оставил и не потерял, нет-нет да и возвышался над остальными стариками-хуторянами.

Он и нынче возвысился, не уронил начальственного своего положения. Минуту выждав, пока успокоятся и Дмитрий Иванович, и Анна Кузьминична, и дедок Савка со всеми прочими стариками-старухами, которые совсем растерялись под нажимом Федора Романовича и готовы уже были почти что и согласиться с его предложением: коль нет никакой возможности спасти Ромашку, так, может, и правда, прирезать ее. В крестьянской жизни дело это обычное, повседневное и не столь уж сердобольное, как кажется иным городским жителям, которые есть мясо-сало горазды, а резать курицу, кабана или овечку робеют, исходят слезами и плачем.

— Вы что, забыли, — стоя на бугорке, будто на трибуне в часы колхозного всеобщего собрания, воззвал к их памяти Федор Романович, — как здесь тонул бык Монгол?!

Старики и старухи только руками всплеснули и склонили перед Федором Романовичем повинные свои головы. Вот уж действительно стариковская память совсем дряхлая и дырявая. Как можно было под сегодняшний день и несчастье забыть такое приключение, хотя и случилось оно давным-давно, в пятидесятые еще годы, когда теперешние старики и старухи были всего лишь юношами и девицами-подростками, а то и вовсе детьми. А вот же, забыли и ни разу не вспомнили, не обмолвились промеж собой о колхозном племенном быке Монголе, который тонул на Горелом болоте в самый разгар лета, в канун Петрова дня, престольного, храмового в селе праздника. Тонул частью по вине пастухов, которые, настроившись уже на праздник, потеряли зоркость и бдительность, но больше по вине самого Монгола, по буйству и свирепости его характера.

Не совсем обычную свою кличку Монгол получил еще в подростковом возрасте, когда его одного, выбрав из сотенного телячьего стада, оставили расти и мужать племенным быком, а всех остальных его братьев-ровесников выхолостили и тем определили им судьбу тягловых трудовых волов, на которых тогда держалась вся колхозная жизнь. Выбор на свое-нравного этого, показывающего уже в детские годы строптивый, неумный характер бычка выпал не случайно. Был он покрупнее и покостистей своих братьев, с рано пробившимися рожками; масти пепельно-белой без единого пятнышка (все другие — рябые, переполесые), что выдавало в нем высокую какую-то породу, хотя вроде бы и мать его, колхозная корова по кличке Лыска, и отец, стареющий уже бык Журба, были вроде бы ничем не примечательными по виду своему и облику. Таких по всей округе, в любом деревенском стаде встретишь не один десяток.

Выделялся бычок в телячьем стаде не только крупным костистым телом, не только пепельно-белой мастью, но и скуластой какой-то, приплюснутой и утяжеленной головой с чуть раскосо поставленными глазами. Тут уж хочешь — не хочешь, а назовешь такого бычка Монголом, Чингисханом или Мамаем. Крестьянский народ приметлив и на подобные клички всегда горазд.

Племенной бык из Монгола получился в колхозном стаде, куда его выпустили в трехлетнем возрасте взамен выбракованного Журбы, отменным и надежным. Зоотехник и ветеринар нахвалиться на него не могли. Ни одна корова при его участии не осталась яловой. А что был он не в меру свирепым и яростным, так это дело, в общем-то, привычное, таким настоящим быком, предводителем стада, и должен быть.

В ноздрю Монголу вставили железное кольцо, а на лоб повесили дубовую, неодолимой крепости доску, которая сужала обзор монгольских его раскосых глаз. Тем малость и усмирили, хотя доску приходилось часто менять, потому что Монгол в гневе разбивал ее о первое попавшееся ему по дороге на пастбище дерево, колодезный журавель (иной раз, порушив и опрокинув его на землю) или о насквозь пропитанный креозотом телеграфный столб, установленный на двух пасынках.

Конечно, если бы в селе было всего одно коровье стадо и при нем всего один племенной бык, пусть даже и такой свирепый, как Монгол, то особого горя и беды и не предвиделось бы. Пастухи к нему приноровились, изучили все его повадки, весь его буйный нрав и норы, знали, когда на Монгола можно просто прикрикнуть (и он послушается того окрика), а когда можно (и нужно) пойти на него с ременным витым в шесть жил кнутом.

Приноровился к пастухам и Монгол.

Но кроме колхозного (в сто и больше голов) стада, в селе обретались еще четыре хозяйские череды. Без племенного быка, пусть и не такого свирепого и породистого, как Монгол, они тоже обойтись не могли.

По решению общего артельного собрания быки эти содержались на колхозной животноводческой ферме в соседних загонах с Монголом, зимой кормились из одного с ним котла и корыта и вроде бы жили мирно. А вот летом, когда быки распределялись по своим гуртам, случались между ними на лугах и выгонах нешуточные жестокие стычки. И чаще всего по вине Монгола. То ли ему не хватало для присмотра, ухаживания и утоления племенных своих страстей колхозных отощавших за зиму коров, то ли по причине злобного характера, но Монгол нет-нет, да и зарился на хозяйских коров, которые паслись здесь же, на лугу, и были, конечно, поисправней телом и потому позаманчивей колхозных. Монгол с трубным воинственным ревом шел на них подлинным набегом, стараясь захватить хотя бы одну в полон. И тут уж по всем законам природы опекавший хозяйскую череду бык вступал в схватку с Монголом, защищая законные свои права и владения.

Чаще всего такие схватки случались под вечер, когда стада уже возвращались домой. Первым из дальних лугов, из-за реки-старицы шло колхозное, с тем расчетом, чтоб доярки успели подоить коров еще засветло, до темноты, а дед Харитон, участник и инвалид Первой мировой войны, успел отвезти переполненные и хорошо закупоренные бидоны и фляги на запряженной двумя волами телеге-площадке в район на молокозавод.

Пропуская колхозное стадо, хозяйские пастухи теснили свои многочисленные гурты поближе к огородам и ольшаникам, зорко следили и за намерениями Монгола, и за оборонными порядками прикомандированных к хозяйским гуртам быков. Колхозные же пастухи Монголу попустительствовали, зная, что ни один из слабосильных хозяйских быков устоять перед ним не может. Вот разве что хуторской, входивший тогда уже в зрелые годы бык по кличке Красный. Но колхозным пастухам, облеченным особой властью и особым доверием начальства, наскучив за целый день томиться в лугах, как раз и интересно было поглядеть, чем нынче закончится схватка Монгола с Красным. Они втайне как бы даже и стравливали их, не укорачивая Монгола и не особенно-то препятствуя его противоборству с Красным.

Хуторской этот Красный бык смотрелся красным не только по цвету кожи (густо, даже ярко-красной, без единого постороннего пятнышка), но и по своей стати. Все было в нем устроено как-то на редкость соразмерно: и гибкое удлиненное тело, и стройные мускулистые ноги, и горделиво посаженная голова. Какой он был породы, заводу, как говорят в селе, никто тоже толком не знал, но только не местной, рябой и разномастной, а, похоже, завезенный откуда-то из южных степей и раздолий, где, по слухам, подобная красная порода встречается сплошь и рядом. Нраву Красный тоже был поистине красного, красивого, сдержанный и спокойный: лбом деревьев, колодезных журавлей и телеграфных столбов почем зря не крушил, не разносил в щепки заборы и калитки. Но, понятно, до поры до времени, пока его кто-нибудь не задевал, пытаясь притеснить на лугу подопечное ему стадо. А если задевал, то сразу просыпался в Красном и неукротимый нрав, и почти безрассудная отвага. И тогда уж только держись! С противником любой силы Красный шел на схватку, не колеблясь ни единой минуты, и умно и расчетливо бился с ним смертельным беспощадным боем.

Почему Монгол привязался именно к Красному, никто толком объяснить был не в силах. Может, его раздражал и приводил в ярость уже один только ярко-красный цвет этого хуторского сторожевого быка. Увидев его на лугу, Монгол сразу оставлял в покое всех остальных соперников, которые, случалось, в схватку с ним и вообще не вступали, а трусливо пятились назад, оставляя свои стада на полный его произвол.

Красный же не отступал и не пятился, а бился с Монголом до тех пор, пока тот не опрокидывал его многотонной своей тушей на землю и не норовил добить, лежачего, каменной крепости лбом и растоптать ногами. Пастухи, и колхозные, и хозяйские, едва-едва успевали отстоять Красного и развести драчунов по сторонам.

Но по мере того, как Красный с каждым годом все больше мужал и мужал, набирался зрелой устойчивой силы и боевого опыта, Монголу не всегда уже удавалось опрокинуть его на землю, а тем более растоптать, лежачего и окровавленного, ногами. Сила теперь шла на силу, характер на характер. Колхозные пастухи видели это и побаивались, как бы очередная схватка не закончилась позором и для Монгола, и для них (для них так еще и крепким нагоняем-выговором от начальства, если бы колхозный племенной породистый бык оказался вдруг изувеченным), всеми правдами и неправдами возвращали Монгола в колхозное, притихшее на берегу реки, стадо.

В тот памятный вечер Монгол и Красный сошлись на самом краешке провально-топкого Горелого болота. Причем сошлись, хорошо зная уже повадки и намерения друг друга, без предварительной разведки, трубного рева и дальних угроз, когда из-под копыт летят во все стороны торфяные вязкие комья. С неудержимого разбега Монгол и Красный сшиблись лбами с такой силой, что, казалось, весь луг озарила раскаленными искрами шаровая погибельная молния. Но никому из быков сбить противника на землю, повергнуть его не удалось. После взрыва шаровой смертельной молнии, они, ломая рога, уперлись друг в друга лбами и так стояли в глухом противоборстве и пять, и десять, и все двадцать минут. Наконец, истомившись от этого, никому не дающего перевеса противоборства, разошлись и вроде бы стали удаляться каждый к своему стаду. Но потом опять разбежались и опять сшиблись лбами с еще большей силой и яростью. Но и на этот раз победа никому не досталась.

Пастухи обеих противоборствующих сторон с удвоенным усердием стали разводять быков и стада, которые тоже готовы были вступить в драку. Подобные побоища по недосмотру и недогляду пастухов случались нередко. Не желая уступать друг другу дорогу на вечернем засыпающем лугу, стада по примеру своих предводителей вступали в подлинную битву, исходили воинственным ревом, ломали рога и не на шутку калечились.

По всему чувствовалось, что и нынче не миновать было стадам кровавого столкновения. Не зря же они, наблюдая за сражением Монгола и Красного, так настороженно замерли: одно возле речного берега, а другое — в тени ольшаника.

Но битвы не получилось, потому что Монгол и Красный, которых пастухи сдерживать не могли, сошлись и в третий раз. Бег их навстречу друг другу был настолько стремительным и грозным, что, казалось, вся земля, весь луг под ними набатно гудели и вздрагивали от ударов копыт. Чем мог закончиться этот разбег, и подумать было страшно: не иначе, как один из быков упал бы на краю болота замертво. Но тут случилось то, чего

никто не мог ожидать и предвидеть. Молодой, но уже многоумный и расчетливый Красный перехитрил грозного стареющего Монгола. Не добегая до него всего нескольких метров, он вдруг ловко увильнул в сторону, уклонился от столкновения, а Монгол, не в силах сдержать своего разгона, на всем скаку рухнул в пучину черного торфяного болота. Под его неподъемной тяжестью оно мгновенно просело и начало засасывать Монгола в подземные могильные недра.

Колхозные пастухи, видя все это, попробовали подхлестнуть Монгола кнутами, чтобы он изловчился и все-таки выскочил из вязкой тины на берег. Монгол и вправду, изнемогая под ударами кнутов, дернулся и раз, и другой, но цепкое, гибельное болото не отпустило его. Монгол затих и обреченно лег брюхом на покрытый затхлой стоячей водой торфяник.

Весть о том, что Монгол застрял в болоте, тут же облетела все село. На луг незамедлительно примчалось все колхозное начальство: оба председателя (колхоза и Сельского совета), зоотехник, ветеринар и заведующий животноводческий фермой. Все они были людьми опытными, прошедшими фронт и сразу оценили безвыходное положение Монгола. Чем-нибудь помочь ему было уже нельзя: никакими веревками и вожжами Монгола из болота живым не вытащишь, а лишь изувечишь его, поломаешь ноги и ребра.

— Надо дорезать! — принял на правах самого главного сельского начальника решение председатель колхоза. — Иначе утонет...

Никто противиться ему не посмел. Все видели, что председатель прав, что решение его по-крестьянски единственно верное. Если нельзя Монгола выручить из беды живым и здоровым, то надо дорезать, чтоб жирное его, нагулянное за лето мясо тут же продать односельчанам (кто же откажется от мяса-говядины в канун наступающего праздника, Петрова дня?!), а шкуру сдать в районе в заготконтору, чтоб после, хорошо выделав ее на кожевенном заводе, можно было пошить-изготовить, к примеру, не одну пару офицерских ялово-непромокаемых сапог, генеральских курток, ремней с портупейями или любых иных кожаных, необходимых в повседневной жизни вещей и изделий.

Председательское решение несколько не было жестоким, а, наоборот, милосердным: уж лучше Монголу честно погибнуть под ножом, которого ему рано или поздно все равно не миновать, чем в долгих мучениях и страданиях утонуть в трясине.

Председатель тут же выкликнул из толпы прибежавших на луг мужиков нынешнего дедка Савку, который в те годы был, понятно, никаким еще не дедком, а всего лишь тридцати с небольшим лет мужчиной, в самом расцвете сил, тоже прошедшим войну и фронт.

Савка считался лучшим в селе колонником свиней (их именно кололи остро заточенной свайкой, похожей на буравчик, или штыком мосинской винтовки-трехлинейки, а не резали ножом, как это было заведено в других местах). Проворнее всех деревенских мужиков справлялся он и с любой иной живностью, предназначенной на убой и заклание: телятами, овцами, коровами, выбракованными лошадьми и тягловыми волами. Работал тогда Савка, несмотря на свои фронтные ранения и увечья, молотобойцем в кузнице, был силен и крепок мужской зрелой силою, легок и точен в ударе. Под его рукой откормленный за лето до десятипудового веса кабан, или увертливая овца, или выбракованный, но все еще свирепый бык пикнуть не успевали, так ловко управлялся с ними Савка свай-

кой, штыком и специально изготовленным для этого промысла полуметровой длины ножом крепчайшей стали.

На оклик и призыв председателя Савка отозвался незамедлительно, хорошо понимая, что именно ему, лучшему колоннику и резчику в селе, и надо выходить на смертельную последнюю схватку с обреченным Монголом. Любой иной мужик по неумению своему или робости будет изводить и мучить несчастного быка, а Савка, даст Бог, справится с ним в две-три минуты.

И действительно справился. Подобравшись к Монголу по дощатому шаткому настилу, он с одного замаха оглушил его кувалдой, а потом уже и дорезал почти бездыханно лежащего на боку сабельно-острым ножом. Зрелище, конечно, не для слабонервных, но никуда от него не денешься, стороною не обойдешь — не нами заведен на земле такой порядок, не на нас он и закончится...

Опавшую тушу Монгола, не давая ей уйти в трясины, мужики поспешно захлестнули санными веревками и на лошадиной тяге вытащили на берег.

Неподалеку от болотца, в конце огородов, стояли тогда две вековые вербы. Мужики приспособили между их ветвями перекладину, подвесили на ней Монгола, и Савка при свете костра освежевал его, нигде ни единым неосторожным порезом не повредив дорогостоящую шкуру. Потом он так же ловко и умело разделил тушу на огненно-красные части, а когда завхоз под строгим присмотром председателя контрольно-ревизионной комиссии, старого колхозного активиста Михаила Онуфриевича принялся торговать мясом, добровольно взял на себя обязанности рубщика, хотя с этим могли бы легко справиться и другие, не принимавшие участия в борении с Монголом, мужики...

— Как не помнить?! — вышагнул и теперь из толпы в первые ряды постаревший, без малого девяностолетний Савка, Савелий Мартынович. — Все доподлинно помним!

Вслед за ним и все остальные старики и старухи пришли в память и стали наперебой, дополняя и опровергая друг друга, рассказывать о том давнем, оказывается, вовсе и не забытом ими случае с племенным колхозным быком Монголом. Старики и старухи даже вспомнили, как после гибели Монгола начальство вознамерилось определить Красного в колхозное стадо, но они отстояли его, и Красный еще долгие годы был предводителем и охранником хуторской их череды. Считаю, в каждом дворе новое, молодое поколение коров было его породы и заводу, в том числе и Ромашка. Не зря же у нее по спине и бокам раскинулись вон какие ярко-коричневые, почти красные, пятна. Хотя и от Монгола, наверное, Ромашке кое-что досталось: весь пепельно-белый ее покров-попона явно от него. Поди, зародился он в какой-нибудь прародительнице Ромашки еще в те времена, когда Монгол был безраздельным владельцем во всех стадах — и колхозном и сельско-хуторских.

Пока старики и старухи предавались воспоминаниям и спорам, Ромашка неподвижно стояла в трясины, измазанная болотной густой тинной, потерявшая прежний свой окрас, и пепельно-белый, и ярчайше-красный. Лишь изредка она поворачивала к едино-общим своим хозяевам голову, смотрела на них грустными поблеклыми глазами и едва слышимо подавала голос-мычание, как будто побуждала растерянных, беспомощных хозяев хоть к какому-нибудь определенному решению.

«Вы уж либо спасайте меня, — как бы говорила им Ромашка и грус-

тным своим безысходным взглядом, и протяжно взывающим к помощи мычанием, — либо снаряжайте Савку с кувалдой и ножом-резаком в руках. Я ко всему готова».

Савка, у которого теперь по древности его лет не было уже ни прежней силы в руках, ни прежней отваги в душе, тяжело вздохнул в ответ на ее справедливые укоризны, а потом, на мгновение о чем-то задумавшись, вдруг громко объявил, подсказал хуторянам самое верное из верных в бедственном их положении решение:

— МЧС надо вызвать!

— Какое еще МЧС? — не сразу поняли старики и старухи, о чем он говорит.

— Обыкновенное, — принялся втолковывать Савка, — которое всех спасает. По телевизору видели?

Хуторяне, обретая неожиданную эту надежду, опять наперебой загомонили, заволновались, припомнили сообща всякие виденные по телевизору случаи, когда эмчээсовцы в синих робах, оранжевых касках и высоких болотных сапогах спасали терпящих бедствие людей, животных и даже птиц.

— Так вам сюда, в тьмутаракань, МЧС и поедет! — остудил пыл Савки и хуторян Федор Романович.

— А почему же не поедет?! — не внял его сомнениям Савка. — В другие, далекие, страны ездит, а к нам, своим, не поедет?!

Старики и старухи всей говорливой своей толпой начали упорно поддерживать Савку, мол, как это так МЧС не поедет, когда корова Ромашка (да еще какая корова, кормилица и поилица хуторского их населения-общества) погибает, тонет в болотной трясине. Обязаны приехать, не каменная же у них душа!

Федор Романович на доказательства и резоны хуторян вроде бы и поддался и готов уже был согласиться с ними и принять их сторону. Кроме как на это далекое телевизионное МЧС надеяться и вправду было больше не на кого, но потом он вдруг по-новому озадачил хуторян:

— Ну, ладно, положим, МЧС приедет, и как оно будет выдергивать Ромашку?! Веревками, что ли, трактором?!

— Почему это — трактором?! — опять пошел поперек него Савка. — Вертолет пригонят, подведут под Ромашку шлеи-постромки — и поднимут по воздуху. Это им запросто.

Федор Романович, от изумления мечтательным таким речам Савки, даже взмахнул руками, как, бывало, взмахивал на колхозных или бригадных собраниях, когда кто-нибудь из рядовых поденных работников позволял себе дерзкие высказывания.

— Это, знаешь, в какую копейку обойдется?! — начальственно поглядел он на Савку. — Корова того не стоит!

— Знаю! — и после такой отповеди не дрогнул перед Федором Романовичем Савка. — Но ведь живая душа гибнет! Тоже понимать надо!

Федор Романович замолчал, то ли не сообразив с ходу, что ответить дотошному Савке, то ли вообще намереваясь уйти домой, коль разумных его и справедливых советов хуторяне слушаться не хотят.

Он, может, и действительно ушел бы, еще раз, совсем уж безнадежно махнув рукою, но тут вдруг подал голос Дмитрий Иванович, который до этого мгновения никакого участия в спорах не принимал, а, чувствуя свою неискупимую вину за все происшествие, одиноко стоял в стороне, да не-отрывно смотрел на утопающую Ромашку.

— Ты бы позвонил в район! — зная, как в прежние годы любил всякие просьбы и уговоры Федор Романович, остановил его Дмитрий Иванович.

— Откуда я позвоню?! — тоже, как в прежние годы, рассердился на столь докучливую просьбу Федор Романович.

— Как — откуда?! — кажется, непозволительно забылся и повысил на Федора Романовича голос Дмитрий Иванович. — У тебя же этот — как его? — карманный телефон есть!

— Телефон-то есть, — вроде бы внял слезной просьбе Дмитрия Ивановича Федор Романович. — Да денег на нем нет. Закончились!

— Мы скинемся, — от имени всех хуторян вступила в разговор Анна Кузьминична. — Деньги, чай, невелики?!

— Да не в деньгах дело, — совсем смягчился под напором Анны Кузьминичны, которую всегда немного побаивался, Федор Романович, — положить их на телефон только в районе можно.

— Ну, так и езжай в район, чего медлить?! — наступала на него Анна Кузьминична.

Федор Романович попятился чуть назад, словно опасаясь, что Анна Кузьминична, того и гляди, пустит в ход какую-нибудь хворостинку. От нее всего можно ожидать — она старуха дерзкая.

— На чем это я поеду?! — теряя остатки своего начальственного вида и гонора, переспросил ее Федор Романович.

— На тракторе! — подсказала ему Анна Кузьминична. — У тебя же «Беларусь» есть, на нем и езжай!

Федор Романович минуту помялся перед Анной Кузьминичной, как провинившийся школьник перед грозной учительницей, а потом ответил точно теми же словами, которыми отвечал Дмитрию Ивановичу насчет телефона:

— Трактор есть, да бензина нету ни капли! Пчел в поле вывезти не могу!

— Вот так у нас, в Рассее, всегда, — вдруг воскликнул с обидой и досадой на Федора Романовича, как будто тот отвечал за всю Россию, Савка: — Когда пожар — нету воды, когда потоп — нету пожара, огня!

— Может, и так, — безропотно принял на себя эту вину Федор Романович.

Хуторяне, осуждая несправедливые и несвоевременные речи Савки, с укоризной посмотрели на него и в одночасье простили Федору Романовичу все прежние его обиды и несправедливости. Не унялась только одна Анна Кузьминична. Она опять принялась наседать на Федора Романовича:

— Ну, так пешком иди! На асфальте какая-нибудь машина подберет!

— Чего я, на ночь глядя, пойду?! — с трудами начал отбиваться от нее Федор Романович. — Все равно там все конторы и автоматы закрыты. Утром на велосипеде поеду. Ромашка до рассвета потерпит.

Колесный трактор «Беларусь» и дорожный, тоже белорусского, минского производства, велосипед у Федора Романовича действительно имелись. Трактор достался ему, считай, задарма в дни разорения колхоза, а велосипед Федор Романович завел себе еще в бригадирские свои руководящие времена. На нем он, приторочив к раме складную сажень, объезжал подвластные ему поля, луга и пастольники. Оставив велосипед где-нибудь в тенечке, Федор Романович, размашисто, по-журавлиному шагая, измерял неподкупной этой саженью, сколько соток-гектаров вспахали за день конными или тракторным плугами хуторские оратаи, сколько пропололи

картофеля, кукурузы или льна объединенные в звенья женщины, сколько скосили в лугах и на болотах трав косари; и всем, согласно их труду и усердию, выставял Федор Романович в особой бригадирской учетной тетрадке трудодни-палочки. Веселые были, незабываемые времена...

Теперь же Федор Романович, невзирая на немолодые уже годы, собственноручно вывозил на тракторной прицепной тележке в поля и лесные листовые поляны для летнего медосбора улья, а на велосипеде ездил в свою охотку рыбалить на дальние пойменные озера, где рыба ловилась много лучше, чем в проточной речной воде.

Резоны и доказательства Федора Романовича были куда как разумными, и хуторяне, опять всем сообществом подступив к самому краю болотины и еще раз придирчиво оглядев и Ромашку, и лодку под ней, и наплавные доски с жердями, поддержали своего предводителя. Надо ждать до утра, до рассвета, Ромашка, даст Бог, действительно вытерпит. А там явятся спасатели с машинами и вертолетом, выдернут ее из трясины и вернут к жизни.

— Вы расходитесь помалу, — побудил стариков и старух в дорогу Дмитрий Иванович, — чего зря томиться.

— А ты? — обеспокоенно спросили его те.

— Я останусь пока, — уклончиво ответил Дмитрий Иванович.

Расходиться хуторянам, хочешь не хочешь, а надо было: дома ждали их какие-никакие дела и заботы, малая живность, поросята, куры, утки. Да и что толку топтаться здесь, на лугу, в ночи, все равно ничем они Ромашке уже не помогут.

Дмитрию Ивановичу тоже, конечно, можно было бы пойти домой, чтоб хоть немного передохнуть перед утренними спасательными работами. Но уже по одному его виду и кратким убедительным словам чувствовалось, что никуда он не уйдет, не бросит в одиночестве Ромашку, ведь, что там ни говори, а она все ж таки его родная корова...

— Если что — зови! — на прощанье сказали ему хуторяне. — Мы подменим.

Но и после этого они еще не разошлись. Мужчины под руководством Федора Романовича поправили лодку и доски, хотя те вроде бы и так лежали прочно и на месте, а женщины-старухи нарвали большую охапку луговой травы-овсяницы и положили ее на доске перед Ромашкой. Но так к траве даже не притронулась.

— Не хочет, — горестно покачали головами и стали ладиться в дорогу женщины.

— Молоко заберите! — указал им на доенку и оцинкованное дополнительное ведро Дмитрий Иванович.

— Да какое там молоко! — еще больше пригорюнились женщины, но и ведро, и доенку забрали, суеверно не сказав друг другу так и рвущиеся из уст слова-предчувствия: «Кто знает, может, уже и последнее»...

Тесной, неразрывной стайкой, повторно наказав Дмитрию Ивановичу в случае чего немедленно будить и звать их на луг, хуторяне, не разбирая тропинки, побрели по росному лугу к едва видимым уже в сумерках и не освещенным ни единым огоньком домам и вскоре исчезли, растаяли в зыбком тумане...

Через полчаса, правда, Анна Кузьминична вернулась назад и принесла Дмитрию Ивановичу в холщовой сумке полбуханки хлеба, два вареных яйца, кусочек сала, пучок только что сорванного на грядке молодого зеленого лука и литровую банку еще не остывшего парного молока.

— На вот, — передала она все припасы Дмитрию Ивановичу, — подкрепишься ночью.

— Да у меня все есть, — попробовал отказаться от ее подношений тот, — с обеда еще осталось.

У Дмитрия Ивановича и вправду в переметной заплечной сумке сохранилась с обеда (до полдника-то, до ужина дело из-за несчастья с Ромашкой так и не дошло) и краюшка хлеба, и недоеденный кусочек обжаренного сала, и два-три перышка зеленого луку. Вот только молоко он выпил все, опасаясь, что к вечеру оно в прогретой до самого дна речной воде прокиснет.

— Бери, бери! — настояла на своем Анна Кузьминична. — К утру проголодаешься.

Дальше спорить с упрямой Анной Кузьминичной Дмитрий Иванович не решился, переложил все ее дарения в свою пастушью сумку и приладил ее в тени ольхового кустика, где стояли прежде доенка и ведерко с молоком.

Анна Кузьминична сразу не ушла, а безбоязненно приблизилась по зыбкой топи к Ромашке, пошевелила, впустила палочкой-хворостинкой перед ней траву и назидательно сказала:

— Ты бы тоже поела, сил набралась.

Ромашка в ответ опустила голову к траве, но не захватила воспаленными губами и языком даже самой малой былинки.

— Вот беда так беда! — вздохнула Анна Кузьминична, задержалась еще на минуту-другую у самой воды и топи, на обрезе болотца, которое к ночи совсем потемнело и устрашилось, а потом вдруг повернулась к Дмитрию Ивановичу и спросила:

— Может, мне остаться? Что ты тут будешь один бедовать!

— Нет, не надо! — горячо воспротивился ей Дмитрий Иванович. — Я ведь не один здесь — с Ромашкой.

— Да уж — не один, — переложил из руки в руку пустую сумку Анна Кузьминична, но повторно уговаривать его не стала. Неровно ступая и путаясь в траве, она пошла к огородам и домам, теперь уже обозначенным желто-оранжевыми огоньками.

Дмитрий Иванович, сколько позволяли ему глаз и туман, все больше скрывающий щупленькую, клонящуюся то в одну, то в другую сторону фигурку Анны Кузьминичны, следил, провожал ее взглядом и раза два или три едва, было, не крикнул в луговые потемки: «А и останься, Кузьминична!», так Дмитрию Ивановичу вдруг одиноко и бесприютно стало возле гибельного, норовящего в любую минуту отнять у него Ромашку болота, и так захотелось ему, чтоб рядом была человеческая отзывчивая душа.

Дмитрий Иванович даже сорвал с головы картуз, чтоб помахать им, когда Анна Кузьминична услышит его крик и обернется: мол, давай, возвращайся назад, но так и не крикнул, сдавил, задержал глубоко в груди не только зачатки этого крика, но и само дыхание.

Конечно, Анна Кузьминична незамедлительно вернулась бы, и они с ней, не выпуская ни на минуту из обозрения Ромашку, скоротали бы потихоньку за житейскими, повседневными разговорами краткую июньскую ночь. Анна Кузьминична женщина хоть и строгая, но обходительная и чуткая к Дмитрию Ивановичу. Чаще других хуторских старух она заходит к нему: и борща-каши наварит, и рубахи постирает, и в доме приберется, и покойную Екатерину Михайловну, свою задушевную подружку, вспомнит.

Но потому-то и не крикнул, потому-то и не позвал Анну Кузьминичну Дмитрий Иванович, что никто ему, кроме Екатерины Михайловны, не был сейчас нужен. Под ее началом он сладил бы в ночи костерок-полыма (сколько раз ладил его и на сенокосе, и на жатве, и на любой иной крестьянской страде), потом они по-семейному поужинали бы домашними припасами, и не всухомятку, а разогретым на этом костерке борщом или картофельным куриным супом, к которому Дмитрий Иванович большой охотник, а то и оладушками с пылу, с жару. Уж Екатерина Михайловна знает, что и к вечерним мягко-пушистым оладушкам Дмитрий Иванович тоже охотник немалый, любит не только ранним утром, но и после захода солнца, перед сном-отдыхом полакомиться ими со сметаной, варенцом-парухой или растопленным в блюдечке сливочным маслом. Сама же она и приучила его к подобным лакомствам в вечном своем беспокойстве, чтоб он был вовремя напоен-накормлен, сыт, одет и обут и ни в чем не знал недостатка.

Потом бы Екатерина Михайловна отправила Дмитрия Ивановича полежать, подремать полчаса на пастушьем травяном настиле, а сама бы караулила, берегла Ромашку, да может, и выманила бы ее какими-нибудь только ей одной известными заповедными словами на сушу. Она ведь была большая мастерица на подобные слова-исцеления.

Но Екатерина Михайловна поторопилась, поспешила оставить белый немеркнувший свет, и теперь пребывает далеко и недоступно пока для Дмитрия Ивановича.

А коль так, то лучше он останется в ночном безмолвии с Ромашкой один на один, храня воспоминания о Екатерине Михайловне и непреложно зная, что и там, за пределами земной жизни, она в небесных светлых чертогах видит беду-страдание Ромашки и молит Бога о ее спасении.

Сам в одиночку Дмитрий Иванович никакого костерка ладить не стал, и даже не подумал о таком предприятии. Это получилось бы совсем не по-человечески: он сидит, греется возле жарко пылающего огня, а Ромашка тонет в холодном сыром болоте. Екатерина Михайловна опять-таки подобного поведения Дмитрия Ивановича ни за что бы не одобрила.

Ромашка, словно чувствуя и читая все мятущиеся мысли Дмитрия Ивановича, стояла по-прежнему покорно и недвижимо. Со стороны даже можно было подумать, что она дремлет и приглашает к тому неудачливо-го своего пастуха.

Но вот Ромашка пошевелила в подземной топи, наверное, отеками ногами и скосила на него вопрошающий взгляд.

Дмитрий Иванович, захватив краюшку хлеба, подошел к ней, намереваясь покормить ржаным домашней выпечки хлебешком, от которого Ромашка никогда не отказывалась. Но сколько он ни тянул с болотного берега руку, а достичь Ромашки не мог. Сама же она в беде своей вскинуть навстречу Дмитрию Ивановичу голову не догадывалась — его рука повисала в пустоте и никак не в силах была соприкоснуться с плотно сжатыми губами Ромашки.

Тогда Дмитрий Иванович снял резиновые свои пастушьи сапоги-бродни, а вслед за ними и брюки и, оставшись в одних только исподних бельевых портках, вступил в болотную трясику, надеясь, что она старое его, высохшее, как щепка, тело выдержит и подпустит к Ромашке.

Первые два-три шага дались Дмитрию Ивановичу легко, болотное дно возле берега было еще твердым и устойчивым и действительно надежно удерживало столь незначительную, почти невесомую тяжесть. Но на чет-

вертом шаге вязкая холодная трясина вдруг так цепко обхватила и засосала ноги Дмитрия Ивановича по самые колени, что он едва-едва смог переступить ими с пятки на пятку. Белые его нательные портки, которые он забыл закатать, сразу намокли, наполнились тиной и, будто стоудовые гири, стали тянуть вниз. Горячий озноб пробежал по всему телу Дмитрия Ивановича, достиг сердца, и оно в страхе и смятении забилося так часто и так гулко, что Дмитрий Иванович замер и растерялся, весь в сомнении, как ему себя вести дальше: то ли схватившись за доски, на которых лежала заготовленная женщинами трава, двигаться к Ромашке, то ли, пока не поздно, повернуть назад, к спасительному берегу. Скорее всего, он, наверное, повернул бы, но в это мгновение Ромашка вдруг подала голос, жалобно и призывно замычала, и Дмитрий Иванович устыдился своих намерений обратиться в бегство.

Он запрятал хлебную краюшку за пазуху и не только руками, но и всей грудью упал, повалился на доску-шестидесятку, и она приняла его тощее, бесплотное тело, почти не погрузившись в воду. Держась на плаву, Дмитрий Иванович дотянулся еще до одной доски, а потом и до слег с жердями и сумел-таки поочередно выдернуть из трясины свои немощные, сделавшиеся совсем неживыми ноги. Подождав, пока с них стечет подземная, нестерпимо студеная вода пополам с болотной торфяной жижей, он ползком взобрался на траву и встал на колени.

— Вот так-то, цветок-Ромашка, — с трудом переводя дыхание, сказал Дмитрий Иванович и крепко обнял Ромашку за голову.

Она ее не отстранила, а лишь тихонько повела ушами, словно привыкая к объятьям Дмитрия Ивановича, и вдруг ласково и доверчиво положила тяжелую свою истомившуюся голову ему на плечо, как любила это делать в детские, младенческие годы, еще будучи совсем малым, беспомощным теленком.

Дмитрий Иванович поднес к ее губам хлебушек, и Ромашка не отказалась от него, не отвергла, а стала прилежно и основательно жевать, насыщаться, заметно веселея и приободряясь. Дмитрий Иванович обрадовался ее бодрости, погладил по шее и размеренно шевелящимся скулам и сказал Ромашке почти в самое ухо:

— Ты не печалься! Не такое переживали!

Ромашка на мгновение перестала жевать, прильнула к шершавой ладони Дмитрия Ивановича теплой, согревающей скулою и как бы ответила ему: «Я и не печалюсь!»

— Вот и молодцом, — похвалил ее за такие разумные речи Дмитрий Иванович. — А на Федора не обижайся, он всегда был таким...

«Чего ж обижаться, — опять зашевелила скулами Ромашка. — Федор Романович правду говорит — утону я в болотине, что толку?!»

— Да какая там правда! — воспламенился Дмитрий Иванович и даже замахал руками, будто отбиваясь от какого наваждения. — Головой надо думать, умом, а не хвататься сразу за нож и топор!

«А как же иначе? — неожиданно запротивилась ему Ромашка. — Так наша жизнь устроена...»

Дмитрий Иванович хотел было с жаром возразить ей, мол, так — да не так, но тут вдруг не ко времени припомнил всю историю с Монголом и на полуслове осекся.

Минуту-другую они провели в полном молчании. Ромашка спокойно и размеренно дожевывала хлебушек, а Дмитрий Иванович уныло сидел на травяном настиле. Наконец он, кое-как собравшись с силами, отвлек-

ся от тяжелого их с Ромашкой разговора и промолвил уже с полным примирением, но почему-то не своими словами, а Анны Кузьминичны, как будто своих, собственных, у него не нашлось:

— Ты бы и травы поела. А то ослабнешь к утру.

«Поем и травы», — отозвалась Ромашка и в одно мгновение забыла все их неурочные размышления.

Она действительно потянулась к траве, захватила языком и губами влажный, исходящий живительным травяным соком, пучок луговой овсяницы и стала жевать его еще с большим старанием.

Чтоб не мешать ей, Дмитрий Иванович подвинулся на краешек досок и, не шевелясь, будто окаменел там.

На луг совсем уже опустилась июльская быстротечная ночь. Одна за другой на небо высыпались яркие лучистые звезды; далеко окрест было так тихо, что, казалось, слышно, как растут луговые травы. Лишь изредка тишину эту нарушал сдавленным тревожным вскриком возле ольшаника полусонный коростель-дергач да от реки доносились всплески играющей на самой стремнине тоже уже полусонной рыбы.

— А я ведь помню, как ты родилась, — боясь задремать вслед за коростелем и рыбами, подал Ромашке голос Дмитрий Иванович. — Зима в том году была морозная, снежная, мы с Екатериной Михайловной по ночам, считай, через каждый час навевывались в сарай к твоей матери, Зорьке, опасаясь, как бы ты, родившись, не простудилась, не отморозила уши. И все ж таки упустили мгновение. Когда пришли в очередной раз, ты уже на ногах стоишь, жмешься к матери. Я с себя полушубок долой, закрыл, укутал новорожденную, потом подхватил на руки и скорее в дом, в тепло. Оглядели мы там тебя с Екатериной Михайловной со всех сторон: и уши, и заиндедевшую на морозе мордочку, и ноги-копытца — нет ли где каких обморожений и ран. Но, слава Богу, все обошлось. Твоя мать, Зорька, корова опытная была, заботливая: и вылизала тебя до самой последней шерстинки, и под бочок свой подпустила, чтоб телом и дыханием согреть. Мы с Екатериной Михайловной на радостях, что все так хорошо сладилось, несмотря на нашу оплошность, быстро расстелили возле печки-лежанки на полу охапку соломы-обмялицы и уложили тебя на нее, да еще и полушубком моим для верности прикрыли. И ты, молодец, пригрелась под ним и тут же крепко уснула первым своим младенческим сном.

Ромашка сосредоточенно внимала рассказу Дмитрия Ивановича, иногда даже переставая жевать траву, чтоб не заглушать слабый его голос. Замолкал возле ольшаника и коростель-дергач, бесшумным шагом (летать он не большой мастер, а вот пешеход отменный) приближаясь к Ромашке и Дмитрию Ивановичу. В ночи он, наверное, соскучился от одиночества и собственного скрипучего крика, оставил сумрачный сырой ольшаник и пошел, заплетаясь тоненькими упругими ногами в густой росяной траве, на голоса Дмитрия Ивановича и Ромашки. Может, захотелось коростелю услышать их разговор до самого последнего слова, плениться им и вспомнить свое собственное птичье детство в теплом пуховом гнездышке рядом с матерью.

Вслед за коростелем примолкли на речной стремнине рыбы, отогнали от себя сон-дремоту и по узенькому ручейку-старнице, тихо-тихонечко шевеля плавниками, невидимо приплыли к болоту и стали слушать из своего подводного царства, куда наземные голоса едва-едва проникают, задушевную беседу Дмитрия Ивановича с Ромашкой.

Не остались в стороне от разговора Дмитрия Ивановича с Ромашкой

и ночные лучистые звезды. Они сгрудились, сошлись на небе потеснее, а потом, чтоб лучше различать земные слова и звуки, спустились так низко, что до любой можно было дотянуться рукой.

Дмитрий Иванович ни на что постороннее не отвлекался, а все рассказывал и рассказывал Ромашке о ее детских, младенческих годах: о том, как она росла и мужала день за днем, как Дмитрий Иванович с Екатериной Михайловной провожали ее в первый раз на пастбище, помогали переправиться вплавь рядом с матерью Зорькой на тот, правый, берег реки, где пойменная вода уже сошла, и выпаса зеленели молодыми майскими травами. А потом весь день Дмитрий Иванович и Екатерина Михайловна с тревогой и беспокойством ждали возвращения Зорьки с крошечной ее дочерью домой.

Ромашка изредка перебивала Дмитрия Ивановича негромким потанным признанием: «Я тоже это немного помню...»

— Понятно, что помнишь, — подхватывал на лету ее признания Дмитрий Иванович, — не маленькая уже была.

На голых промокших досках ноги у него затекли и нахолодали. Дмитрий Иванович вернулся назад на травяную охапку, отделил от нее два-три пучка, чтоб можно было на них сидеть или стоять на коленях, а остальную траву взбил, вспушил и подвинул поближе к Ромашке.

— Ты ешь, ешь, насыщайся, — заново поощрил он ее.

«Да я уже сыта», — с благодарностью ответила Ромашка и опять положила ему голову на плечо.

Дмитрий Иванович, согреваясь от ее теплого дыхания, прильнул к напряженной, мелко вздрагивающей скуле Ромашки и в который уж раз за сегодняшний вечер и ночь вспомнил Екатерину Михайловну. Она бы сейчас в одну минуту придумала, нашлась, как спасти, выручить Ромашку из болотного плена. Заповедными, молитвенными словами призвала бы на помощь всех луговых обитателей: птиц, зверей и подводных рыб, чтоб они осушили, вычерпали погибельное это болото, превратили его в земную твердь, на которой Ромашке стоять и по которой ходить ей было бы легко и удобно.

Но нет в живых Екатерины Михайловны и никогда уже не будет, так что надо Дмитрию Ивановичу, надеясь или не надеясь на военных скорых спасателей, что-то измышлять и придумывать самому.

Покрепче прижавшись к Ромашке, слушая биение каждой ее клеточки, он и принялся с удвоенным пристрастием думать, измышлять и рассчитывать. И вдруг, словно кто-то невидимый подсказал ему сверху, с ночного звездного неба, в одну секунду отбросил все эти измышления и промолвил:

— Я помолюсь за тебя.

«Помолись», — не отвергла его порыва Ромашка.

Дмитрий Иванович отпустил ее голову, встал на колени и повернулся лицом на восток. Звезды там были особенно яркими и лучезарными, каждая как будто обрамленная высоким венцом-сиянием. Дмитрий Иванович трижды осенил себя крестным знамением и начал произносить молитву Пресвятой Богородицы пред ее иконой «Спасительница утопающих», которую он когда-то слышал от Екатерины Михайловны и которая в эти мгновения отчетливо и ясно всплыла в его памяти:

«Заступница усердная, Мати Господа Вышняго! Ты еси всем Христианам помощь и заступление, паче же в бедах сущим. Призри с высоты святяя Твоя и на ны, с верою поклоняющиеся Пречистому Образу Твое-

му, и яви, молим Тя, скорую помощь Твою по морю плавающим и от ветров бурных тяжкия скорби терпящим. Подвигни и вся православныя христианы на спасение в водах утопающих и воздаждь подвизающимся в сем богатыя милости и щедроты Твоя. Се бо, на Образ Твой взирающее, Тебя, яко милостивно сущей с нами, приносим смиренныя моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токмо тебе, о Мати всех скорбящих и нападствуемых. Ты по Бозе наша Надежда и Заступница, и на Тя уповающе, сами себе, и друг друга, и всю жизнь нашу тебе предаем во веки веков. Аминь».

Слушая полусшепот Дмитрия Ивановича, Ромашка затаила дыхание, перестала дрожать и напрягаться всем телом и тем укрепляла и свою веру, и веру молящегося пастуха в скорое спасение.

Дмитрий Иванович, как и полагалось, трижды произнес молитву и, действительно, укрепился и телом и духом.

— Даст Бог, Пресвятая Богородица услышит нас, спасет и помилует, — сказал он в заключение и тоже трижды осенил крестным знаменем безмолвно стоявшую Ромашку.

В заповедной этой надежде и единстве им обоим стало хорошо и безропотно, как бывало в любые иные мирные дни и при жизни Екатерины Михайловны, и уже без нее, когда Ромашка возвращалась с пастбища, а Дмитрий Иванович, истомившись с раннего утра до позднего вечера в разлуке, встречал ее возле калитки.

Теперь они уже нисколько не сомневались, что спасение совсем близко. Надо только не поддаваться унынию и дотерпеть до рассветной ранней зари. Федор Романович, человек ответственный и строгий в своих обещаниях, не проспит ее, не упустит. Едва только начнет светлеть на востоке краешек неба, он взметнется на летучий свой, испытанный в дорогах велосипед и помчится на нем в район поднимать по тревоге и набату эмчээсовцев. Они незамедлительно явятся на машинах и стрекочущем, будто луговая стрекоза, вертолете и, тоже усердно помолясь Пресвятой Богородице (выручающие ежедневно из беды людей, зверей и птиц, они, поди, знают все спасительные молитвы не хуже, а может, и лучше Дмитрия Ивановича), извлекут из трясины страждущую Ромашку.

Поторапливая притаившийся где-то за земным горизонтом рассвет, Дмитрий Иванович опять посмотрел на восток, на неисчислимые высокие звезды, которые вроде бы действительно начали бледнеть и меркнуть, готовые вот-вот уступить краешек неба восходящему уже солнцу.

И вдруг он уловил у подножья ольшаника, на соприкосновении неба и земли, света и тьмы, два блуждающих, неистово горящих огонька. На звезды они совершенно не были похожи, пылали хищно и зло, то исчезая в траве, то снова появляясь, и ни единый лучик не исходил от них. Мертвым своим холодным мерцанием они насквозь прожигали луговое пространство, выискивая в нем утопающую Ромашку и беспомощного в старости своей Дмитрия Ивановича.

«Она, — с замершей было, а теперь вновь пронзившей все его тело тревогой определил Дмитрий Иванович. — Она, и больше никто, черная ненасытная собака с волчьим мертвенным взглядом!»

Пока на лугу были посторонние люди, собака не появлялась, выжидающе таилась где-то в своей земляной яме-берлоге, зализывая нанесенные ей в прежние дни раны Дмитрием Ивановичем. А как только он остался один с бедствующей Ромашкой, тут же и вышла на звериную охоту, теперь уже, похоже, ничуть не сомневаясь, что она будет удачной.

«Ну уж нет! — загорелся всей сохранившейся в нем силой и надеждой Дмитрий Иванович. — Пока я жив, никогда тому не бывать и не случиться!»

В непреклонной, обуявшей его решимости Дмитрий Иванович соскочил с помоста, схватил пастуший свой посох-булаву и, как был в исподних мокрых и измазанных торфяной тиной портках, так и помчался навстречу зловецим, мертвенно горящим огням.

Ненавистную и как будто поднышающую в ночи до небывало громадного роста собаку он заметил и опознал на той стороне болота. Готовясь к последнему своему гону-броску на Ромашку, она стояла на заросшей осокою кочке (отчего казалась еще более громадной и страшной) и сверлила, прожигала луговую темень ледяным своим взглядом.

На полном бегу и стремлении, безошибочно выверив глазомером расстояние до напряженно застывшей собаки, Дмитрий Иванович с широкого размаха бросил в нее отяжелевшую от ночной росы булаву.

Рассекая темноту и туман, она с грозным упреждающим свистом понеслась вначале низко над землей, а потом приподнялась выше и уцелила собаку точно в хребет, уже изогнутый дугой перед смертоносным прыжком. От неожиданности собака взвизгнула и, приминая осоку, подскочила над торфяной кочкой, но, похоже, нисколько не ослабела, а лишь обозлилась еще больше и будто разорвала все луговое пространство на мелкие клочки волчьим утробным рыком.

Дмитрий Иванович думал, что она бросится сейчас на него, теперь совсем безоружного, и приготовился вступить с темной вражеской силой в рукопашную схватку, уцепиться онемевшими пальцами, а то и зубами, ей в горло и не отпускать до тех пор, пока она не издаст последнего вздоха. Но собака оказалась много хитрей и изворотливей. Едва оправившись от удара, она бросилась в заросли айра и стала пробираться по ним, намереваясь, судя по всему, напасть на Ромашку со стороны села. Безоружного Дмитрия Ивановича собака теперь в расчет нисколько не брала, опасно-смертельного противника в нем не чувствовала, словно заведомо знала, что легко обманет его. Дмитрий Иванович мало ее интересовал: какая из него добыча и пожива, одни только старые высохшие кости да кожа. А что неистово он кидается булавой, так это все пустые мальчишеские угрозы, до смерти Дмитрий Иванович наученную волчьим поведением и почти не чувствующей боли собаку не зашибет и тонущую Ромашку не защитит. С засады и стремительного разбега собака волчьим прыжком взметнется Ромашке на спину, прокусит острыми клыками кровеносную жилу и никому уже не уступит свою добычу, особенно, когда почует запах горячей бьющей струей крови.

Но Дмитрий Иванович думал совсем иначе. Следя за помельком в зарослях айра собачьих, будто потусторонних глаз, он нашарил рукою неподалеку от кочки булаву и помчался наперерез собаке, лучше ее зная вокруг болота каждую тропку, каждую низинку и бугорок. И как была ни хитра и изворотлива собака, а он все же оказался умнее и проворнее ее.

Когда собака изготовилась к новому прыжку, Дмитрий Иванович настиг ее, спрямив дорогу по натопанной Ромашкой коровьей тропе, и опять метнул, сколько было силы, булаву. Попасть в собаку он на этот раз не попал, но прыжок ее все-таки упредил, заставил спрятаться за ольховым сухим кочкарником. На несколько минут Дмитрий Иванович даже потерял собаку из виду, так увертливо слилась она с торчащими в разные

стороны ветками и сучьями. Выдали собаку горящие ее, сузившиеся в охотничьем гоне до косых сабельных щелочек глаза. Дмитрий Иванович снова удачно обнаружил булаву, но метать ее больше не стал, а, взяв наперевес, пошел на собаку в открытую, грудь на грудь. Испугалась она Дмитрия Ивановича или не испугалась, он понять не мог. В это мгновение откуда-то из-за реки вдруг поднялась и закрыла все звездное небо темная, в одну масть с собакой туча, а низко над землей за клубился такой же темный и непроглядный туман. Не выдавая себя теперь даже косым сверканием глаз, собака растаяла в этой туче и в этом тумане. Дмитрий Иванович на минуту растерялся, не ведая, где теперь ее искать и с какой стороны опасаться нападения. Опустив булаву, он одиноко стоял посреди луга в мокрых, измочаленных портках и в насквозь мокрой от пота, прилипшей к плечам и спине рубашке.

И вдруг возле старицы подал встревоженный сторожевой голос коростель. Дмитрий Иванович вскинул на этот крик голову и воочию увидел собаку, которая во весь свой непомерно-громадный рост, возвышалась за кочкарником на осыпавшемся отроге болотного берега. Глаза ее еще более сузились, но не погасли, а наоборот, разгорелись жарким угольным огнем, готовым даже на таком дальнем расстоянии насмерть испепелить Дмитрия Ивановича. Раздумывать и медлить ему было некогда, и Дмитрий Иванович, держа отяжелевшую от росы палицу-булаву опять наперевес, бросился сквозь туманную занавесь к старице. Собака подпустила его почти вплотную, но когда Дмитрий Иванович уже замахнулся на нее булавою, она вместо того, чтоб залаять и зарычать на него или, минуя замах, взметнуться Дмитрию Ивановичу на грудь, неожиданно попятилась назад, извернулась всем телом и начала трусливо уходить подалее от Горелого болота в заросли ольшаника.

Сторожевой коростель из своего укрытия снова что-то тревожно прокричал, но Дмитрий Иванович не обратил на его крик никакого внимания, а, почти уже торжествуя победу, погнался вслед за собакой. Конечно, бег их был неравный: собака, едва касаясь земли упругими, привычными к гону лапами, мчалась широкими затяжными прыжками, а Дмитрий Иванович семеня мелкой трусцой, путался в траве и все больше и больше отставал от нее.

И все-таки он не терял надежды настичь собаку, безоглядно прибавлял и выравнивал мелкий свой стариковский шаг. Расстояние между ним и собакой действительно начало сокращаться, но в пылу погони и преследования Дмитрий Иванович не заметил, что ведет она себя как-то странно. Отбежав на десять-двадцать метров, собака вдруг останавливалась, замирала на месте и поджидала задыхающегося на бегу преследователя. Когда же он приближался, она снова мчалась по мокрому, затянутому густым туманом лугу, нарезала вокруг болота и тонущей в нем Ромашки все сужающиеся и сужающиеся круги и тем окончательно изматывала и изводила Дмитрия Ивановича.

Догадался он о зверином расчете и хитрости собаки лишь на последнем круге, у края болота, совсем потеряв остатки дыхания. Чувствуя, что вот-вот упадет, распластается на торфянике, Дмитрий Иванович оглянулся на Ромашку и, не то предупреждая ее об опасности, не то зовя на помощь и выручку, прокричал:

— Ромашка! Ромашка!

Зовущий его, предупреждающе-молящий крик Ромашка услышала, повернула к Дмитрию Ивановичу голову, должно быть, думая, что он со-

бирается опять взобраться к ней на помост, поделиться остатками хлебужка и неразлучно скоротать остаток ночи до приезда спасателей, но потом она обо всем догадалась, поняла и предупреждение, и призыв Дмитрия Ивановича и вдруг трубным набатным голосом трижды огласила тонущий в наплыве тучи и тумана луг. Собака от этого крика прижала уши и, приседая на задние лапы, начала со щенячьим каким-то визгом пятиться подальше от болота. Наученный горьким опытом, Дмитрий Иванович не очень-то поверил ее маневрам и хитрости, думал, что собака, как и в прошлый раз, сейчас опять затаится за кочкарником, чтоб как следует отдышаться там перед последним решительным прыжком вначале на Дмитрия Ивановича, а потом и на Ромашку.

Но собака, продолжая все так же скулить и взвизгивать, совсем вприпрыжку прижала к затылку уши, погасила глаза и неожиданно для Дмитрия Ивановича и Ромашки помчалась во весь намет и опор в начинающий уже синеть предрассветным маревом ольшаник. Если бы Дмитрий Иванович был помоложе или если бы у него остались еще хоть какие-нибудь силы, то он, наверное, засвистел бы ей вдогонку победным, молодецким свистом, чтоб она навсегда забыла дорогу к хуторским лугам. Но сил у Дмитрия Ивановича не осталось уже не только на молодецкий этот посвист, но даже на то, чтоб сказать Ромашке благодарственное, утешительное слово. Сердце ходуном ходило у него в груди, дыхание с клекотом и хрипом вторило ему, то совсем теряясь от непереносимой сухости во рту, то, наоборот, захлебываясь нутряной сладко-приторной мокротой. А все тело в ознобе и горении дрожало такой мелкой дрожью, что ноги у Дмитрия Ивановича подкосились сами собой, и он плашмя упал на травяное пастушье лежбище, будто на смертный одр.

— Екатерина Михайловна! Катя! — произнес он затухающим голосом и вдруг почувствовал, как охранный сон всей своей неодолимой тяжестью наваливается на него и отстраняет от земной суетной жизни.

Поначалу Дмитрию Ивановичу ничего в безмятежном том сне не снилось и не виделось: ни родительский дом, ни сами родители — отец и мать, прежде сновившиеся постоянно, и чем больше старел Дмитрий Иванович, тем снились все чаще и чаще; ни обе дочери, Нина и Валя, живущие в дальних краях; ни внуки — Дмитрий, Иван, Катюша и Аня; ни даже Екатерина Михайловна, свидания с которой у него случались во сне почти еженощно. Но потом вдруг овладела Дмитрием Ивановичем тревога и смятение, перед взором его всем образом своим и очертанием явилась Ромашка в болотной тине и потопе, а рядом с ней на берегу болота изготовившаяся к гибельному прыжку собака. Дмитрий Иванович опять трижды осенил и себя, и Ромашку крестным знаменем и начал произносить еще одну стойкую и верную молитву (пусть сбивчиво и путано, но произносить) о спасении от лютого зверя, врага и стихии, слова которой когда-то тоже перенял от Екатерины Михайловны и которые так ко времени возникли в его памяти: «Пусть ни лютей зверь, ни ворог, ни стихия, ни плохой человек не причинят нам зла...»

Он повторял ее шепотом и в голос, поворотившись все так же на скорый восход солнца. Была услышана его усердная молитва или не была, о том Дмитрий Иванович ведать не мог, но тревога и отчаяние отступили от него, и он все глубже и глубже стал засыпать сладко-дремотным, успокоительным сном...

Луговой хутор ожил еще до рассвета, когда на востоке лишь обозначилась и заалела неширокая полоска наступающего дня. Федор Романович выкатил из сарая быстроходный свой велосипед, по-молодому, в два-три шага вскочил на него и помчался в город по накатанной влажной тропинке. Вслед за ним пробудились неусыпная Анна Кузьминична и преклонных годов Савка, Савелий Мартынович, который по старой, еще фронтовой привычке удовлетворялся совсем малыми, краткими часами сна.

Обходя дом за домом, Анна Кузьминична и Савка подняли на ноги всех остальных хуторян, тоже спавших в эту ночь тревожно и чутко. Первым делом они старались разглядеть через заборы и изгороди, что там делается на лугу. Но утренний сизо-белый туман стелился так густо и низко над землей, что ничего разглядеть не удавалось. На лугу было тихо, как всегда и бывает в столь раннюю утреннюю пору.

Но хуторяне этой тишине и покою до конца не поверили. Огородною межою они заторопились на луг, стараясь суеверно не думать и не помышлять о том, какая тревога и участь их там ожидает. Предутренний туман, гонимый первыми лучами восходящего солнца тем временем начал быстро рассеиваться и уползать в лозовые топкие заросли и ольшаник. Над лугом сразу ожили, защебетали, зацвенькали на разные голоса птицы, словно поторапливая идущих гуськом по меже жителей. Те и вправду ускорили шаг, сбились за огородами, на просторе в стайку и одолели по травяному склону последние метры к болоту.

И вдруг в одночасье они все замерли у самого его обрыва. Тонущей и гибнущей Ромашки на болоте не было. Она мирно и безмятежно паслась на твердом бугорке луговой овсяницы, скрываясь в ней почти по самую грудь. Хуторяне заоглядывались по сторонам, ища где-нибудь поблизости и Дмитрия Ивановича. Но его тоже не было ни на болоте, ни хотя бы где-нибудь около него, в туманной нестойкой уже мороси. Хуторяне, не зная, что и подумать, принялись всем хором и поодиночке окликать Дмитрия Ивановича, надеясь, что он вот-вот отзовется и предстанет перед ними. Но он не появлялся и не давал о себе знать.

Старики и старухи совсем уже отчаялись и, оставив Ромашку в безмятежном ее покое, собрались понастойчивей обследовать болото, на котором, прибившись к берегу, теснились и наползали друг на друга лодка, доски и жерди.

Обнаружили они Дмитрия Ивановича в том месте, где прежде всего и надо было его искать. Внимательней всех оказалась Анна Кузьминична. Она отбилась от шеренги изыскателей, подошла к подернутому туманом пастушьему травяному лежбищу — и едва не упала возле него плашмя, так подкосились у нее старушечьи нетвердые ноги. Широко раскинув запястья и не обращая никакого внимания ни на крики стариков и старух, ни на щебетания утренних птиц, ни на щекочущие ему лицо лучи восходящего солнца, на примятой траве сладко и бездыханно лежал Дмитрий Иванович.

Хуторяне окружили его плотным, неразрывным кольцом и тоже все помертвели, одинокие и потерянные, не зная, что же им теперь делать и как тут быть: то ли нести Дмитрия Ивановича в дом, то ли оставить на травяном мягком настиле до приезда спасателей и Федора Романовича, который, хотя и бывший их, а все-таки бригадир-начальник...

Пока под водительством Анны Кузьминичны хуторяне решали нелегкую эту задачу, Савка вознамерился перевернуть на болоте лодку и вытянуть ее на берег, чтоб она понапрасну не мокла и не отсыревала в торфяной вязкой тине и чтоб не было ему от покойного Дмитрия Ивановича укора. Савка выудил посошком из воды лодочную цепь, перехватил ее рукой и неожиданно вскрикнул и испуганно отпрянул в сторону. Не видимая за лодкой, лежала в прибрежной осоке мертвая и растерзанная собака волчьей какой-то, черной с проседью, породы и масти.

Старики и старухи немедленно поспешили на крики Савки и, запоздало припоминая предупреждения Дмитрия Ивановича насчет темной, никому не ведомой на хуторе собаки, долго с изумлением и страхом смотрели на нее и опять-таки сомневались, извлекать эту, теперь уже мертвую, распластавшуюся на осоке, собаку на сушу или дожидаться приезда Федора Романовича и спасателей, которые вот-вот должны были появиться: утреннее, молодое солнце уже полным своим огненным кругом взошло над горизонтом и, отодвигая все дальше и дальше в ольшаник и на ту сторону реки ночную темноту, ярко осветило жаркими лучами широкий не-охватный луг от одного его края до другого...





ДМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА

Повесть

*Дмитриевская Родительская суббота —
день поминовения усопших воинов.*

Из православного календаря

Еще рано по весне, как только растаяли снега, неподалеку от деревенского кладбища, в березовой роще, что пологим бугорком возвышалась над окрестными полями, начались строительные работы. Вели их какие-то чужие, заезжие люди, не то турки, не то казахи, все в одинаковых добротных спецовках желто-глинистого цвета. Они подогнали к березняку несметное количество землеройной техники: малых и больших бульдозеров, тракторов, экскаваторов и буровых установок. В две-три недели эти турки или казахи разбили рощу на квадраты, вырезали, где требовалось, белоствольные раскидистые березы и начали в тех квадратах рыть неглубокие ямочки-могилы, укладывая вдоль них на изготовке короткопалые гладко отполированные бетонные столбы с русскими и иноземными надписями на лицевой стороне — надгробные камни.

Слухи о том, что возле Серпиловки будут строить немецкое военное кладбище, ходили давно. Несколько раз в село приезжали всевозможные комиссии из района, из области и даже, говорят, из самой Москвы. В каждой комиссии непременно были представители немецкой — германской — стороны. Они особенно придирчиво приглядывались к местности, что-то записывали и чертили в тетрадках, дотошно расспрашивали через переводчиков главу Серпиловской администрации (по-старому — председателя сельсовета), хитровато-услужливого перед начальством мужика Артема Забойкина, который в обязательном порядке сопровождал гостей.

При появлении очередной комиссии серпиловцы взбудораживались, приступали к Артему с расспросами насчет кладбища — правда или неправда. Артем, отбиваясь от них, всегда отвечал уклончиво и нетвердо:

— Да это просто так, прикидывают. Может, еще ничего и не будет.

Народ, издавна привыкший начальству верить, мало-помалу успокаивался и вскоре забывал обо всех слухах и прикидках. Других забот было

у него сверх всякой меры. Ничто ведь не ладилось в порушенной крестьянской жизни: ни с землей, ни со скотиной, ни с лесными и луговыми угодами, куда теперь без позволения новых хозяев зайти не смей, гриба-ягоды не сорви, травы для коровы накосить остерегайся. До кладбищенских ли слухов нынешнему крестьянину.

Но вот все самым достоверным образом подтвердилось: понаехали в Серпиловку турки с казахами, обосновались посреди поля в шатрах кочевым становищем — и работа в березовой роще, где прежде серпиловцы по праздникам любили отдыхать, водить хороводы-гуляния, закипела.

Дед Витя, тяжело опираясь на палку-крюку и припадая на протез, в ближайший выходной день, в субботу, сходил туда, посмотрел на весь умысел начальства, на турков-казахов и на двух долговязых немцев, которые вместе с нашими прорабами распоряжались стройкой. Шаг в шаг за ними шнел по аллеям Артем Забойкин. Но ни к нему, ни к прорабам, своим и германским, дед Витя подходить не стал. Прислонившись к старой березе, что росла на самой опушке рощи, он с полчаса наблюдал за хорошо налаженной работой иноземных строителей, а потом развернулся и поковылял к деревенскому погосту, огороженному шатким, кое-где уже и подгнившим штакетником.

Суббота нынче была Родительская, поминальная, а у деда Вити давно так было заведено, что в Родительскую субботу он всегда проводывал могилу матери. С собой дед Витя приносил четвертинку водки и самую малость какой-никакой закуски: завернутый в газетку ломоть хлеба, огурец, луковицу, кусочек сала да сваренные в мундирах картофелины — любимая их с покойной матерью еда, на которой они в годы немецкой оккупации только и выжили.

Зайдя за ограду, дед Витя разворачивал газетку на дощатом столике, устойчиво сооруженном на двух дубовых опорах, ставил четвертинку-чекушку и специально заведенную им для кладбищенских таких походов граненую стопочку. Но сразу к поминальной трапезе он не приступал, а с полчаса сидел на лавочке подле стола и молча глядел то на повитый белым вышитым рушником крест, то на песчаный бугорок-могилку, на которой в летнюю пору всегда росли посаженные женой деда Вити, Ольгой Максимовной, многолетние цветы-петушки, а в зимнюю лежали голубые белые снега.

Наконец дед Витя наливал стопочку, поясню склонял обнаженную свою пепельно-седую голову перед крестом и песчаной могилой и, обращаясь к матери, говорил ей всегда одни и те же, совсем вроде бы не поминальные слова:

— Ну, вот, мать, мы и свиделись!

— Дай-то Бог! — тоже одними и теми же и тоже не поминальными, не скорбными словами отвечала ему мать.

Дед Витя выпивал стопочку, осторожно закусывал и, теснясь спиной к ограде, ожидал продолжения разговора с матерью. И он непременно возникал.

— Отец не вернулся? — спустя недолгую минуту тихим, но таящим в себе надежду голосом спрашивала мать.

— Нет, не вернулся, — не смел скрывать от нее правду дед Витя. — И дядя Петро, и дядя Андрей, и дед Степан тоже не вернулись. Сто четыре человека не вернулись.

Мать умолкала, и с каждым разом все тяжелей и печальней. Но вскоре опять окликалась и наказывала деду Вите:

— Ты сходи тетку Соною, тетку Валю и детей проведай.

— Сейчас схожу, — послушно отвечал дед Витя и, захватив четвертинку со стопочкой, действительно шел через неширокий прогал-просеку к соседним могилам, где в одном ряду стояли два больших, взрослых, и пять маленьких, детских, крестов.

Он останавливался возле них, выпивал стопочку за упокой души тетки Сони и тетки Вали. Потом делал два шага в сторону, наливал еще одну стопочку и говорил, обращаясь к маленьким крестам и маленьким бугоркам, под которыми лежали бывшие его ровесники и погодки, сыновья и дочери тетки Вали и тетки Сони: Гриша, Коля и Нина Слепцовы и Лида и Ваня Борисенко:

— Мир вам и покой, ребята!

Слова были, конечно, стариковские, до конца малым детям, наверное, и не понятные. Но других у деда Вити не находилось. Деля на пять равных глотков стопочку, он тоже с низким поклоном выпивал ее и возвращался назад к матери.

* * *

Когда началась война, Витьке исполнилось всего пять лет, но он помнил это начало до самых малых подробностей. На шестой или на седьмой день отцу и многим другим серпиловским мужикам пришли мобилизационные повестки из военкомата. Долгих проводов, как это случалось раньше, в довоенную пору, когда отправляли на службу в Красную Армию молодых деревенских ребят, никто не устраивал. Собиралась самая ближняя родня да соседи, выпивали, кто сколько мог, — и на том все прощание. Война ведь застала всех врасплох, в самую жаркую сенокосную пору: впрок не было заготовлено ни самогонной водки, ни вдосталь закуски. Да и какие там гуляния, песни и пляски: это после так лишь в книжках писали да в победном кино показывали, а на самом деле — одни только слезы и плач. Прощались скоро и скорбно: не на увеселительную прогулку уходили мужики — на войну, где смерть и погибель ожидали их на каждом шагу. Уходили, считай, из каждого деревенского дома, и родные с соседями иной раз душу и сердце рвали, не зная, кого в первую очередь провожать.

У Витькиного отца на сборы и проводы и вовсе времени не осталось. Был он в селе человеком заметным и во многом даже незаменимым — лучшим из лучших соломенным кровельщиком. Его так все и звали в Серпиловке — Василий Кровельщик. Ржаною, кулевого обмолота соломою (а есть еще и обмялица, то есть мятая и ломаная, которая годится лишь на подстилку скотине) никто надежней отца покрыть деревенский дом или сарай не мог. Иные хозяева, задумавшие обновлять крышу, случалось, ждали его по полгода, не доверяя другим, не столь удачливым и искусным мастерам.

За неделю до начала войны своей очереди дождался на дальнем конце села, в подлесье, хозяйственный дореволюционный еще закалки мужик Афанасий Демьянович, друг и однополчанин погибшего в Гражданскую войну Витькиного деда по отцу — Михаила.

Каждое утро, приспособив за пояс топор, а под мышку — главный инструмент кровельщика, трепицу (деревянную в метр длины дощечку с ухватистой ручкой и забитыми по одному продольному торцу в виде гребешка гвоздиками с обрубленными головками), отец шел в подлесье. На-

прашиваясь ему в помощники, Витька часто увязывался за отцом и действительно, как мог, помогал: пробовал крутить перевясла, связывать маленькие парные кулики, которые кладут первым рядом, в подстрешье, бесстрашно взлетал по крутой лестнице, чтоб подать отцу напиток стуженой колодезной воды, квасу или сыворотки. Но не столько, конечно, помогал, сколько, глядя на отца, научался мудреной и нелегкой работе кровельщика (после наука та сгодилась, сам не одну крышу в Серпиловке накрыл и перекрыл) да веселил его своим детским неостановимо-бойким гомоном.

Дом у Афанасия Демьяновича был большой, на две комнаты: горница-светелка и кухня, к которой примыкали просторные рубленые сени и камора-кладовка. Крыша на таком доме возвышалась четырехскатная, с островерхим взлетающим в небо коньком. Работы на ней отцу с Витькой предостало много. Слово предчувствуя беду, они старались изо всех сил, но все равно не успели. Когда пришло известие о начале войны и отцу принесли из военкомата повестку, они накрыли всего четверть этой крыши. Если по-хорошему, то отцу надо было бы бросить заказ да перед уходом на войну привести в надлежащий порядок все у себя в доме: починить заборы, до которых прежде за чужими заботами не доходили руки, заготовить впрок дров (мать, оставшись одна с малолетним Витькой, как сама заготовит), перевезти с луга недавно только сметанный стожок сена (опять же, как матери одной будет с ним справляться), но Афанасий Демьянович слезно просил отца довести до ума его крышу. Ведь взамен ему придется звать какого-нибудь старика-кровельщика, у которого уже и сил нет, и умение растеряно. Накрытая им крыша через год-полтора просядет на стыках, начнет подтекать и сгниет раньше отведенного ей срока. И отец не мог не уважить слезную эту просьбу Афанасия Демьяновича. Все последние перед расставанием с семьей дни пропадал он возле его дома и завершил кровельную свою страду, выложил островерхий конек, в самый канун отправки новобранцев в район. Витька на той, считай, уже военной страде был неразлучно с отцом и так и запомнил его высоко стоящим с трепицею в руках на крыше — молодого, красивого и сильного, в вольно развевающейся на июльском ветру рубахе, в выгоревшем на солнце, почти белом картузе, из-под которого выбивались волнистые его светлорусые волосы.

Вечером они ходили с отцом к реке мыться и купаться. Долго плавали в теплой потемневшей к ночи воде, ныряли и выныривали, игрались в прятки, и Витька опять восхищался своим отцом: его крепким загорелым — как у всех деревенских мужиков, лишь по шее — телом, на котором при каждом движении бугрились тугие, будто железные мышцы, — и тоже запомнил вечернее то купание с отцом до самой последней мелочи.

Когда они вернулись домой, мать накрыла в горнице прощальный стол. Уже при свете керосиновой лампы они всей малой своей, но такой сплоченной семьей посидели, наверное, часа два. Отец с матерью выпили по рюмке водки, а Витька — полный стакан хлебного почти хмельного квасу. Мать несколько раз, глядя то на отца, то на Витьку, начинала плакать, вытирать глаза кончиком фартука. Отец останавливал ее и даже как будто сердился:

— Ну что ты плачешь, что плачешь?! Даст Бог, вернусь. Главное, парня береги.

— Да нам-то что, — обнимая Витьку, крепилась мать. — Кругом люди, народ — не дадут пропасть. Ты себя береги.

— Это уж как получится, — не стал лукавить отец.

Жесткие эти его, но справедливые слова, опять-таки, запали Витьке в память на всю жизнь...

Утром отец оделся в повседневную свою, порядком обветшавшую одежду: хлопчатобумажные брюки, ситцевую рубашу и серенький с двумя заплатами на локтях пиджак. А вот с сапогами у него вышла заминка. Они были совершенно новыми, только по весне пошитыми из добротной яловой кожи деревенским сапожником дедом Кузьмой. Отец намотал портянки и начал уже было обуваться, но потом посмотрел на сапоги как-ким-то особым, оценивающим взглядом, помял в руках голенища и вдруг сказал Витьке:

— Принеси-ка мне из сеней лапти.

— Да ты что?! — изумилась и опять заплакала мать. — В лаптях на войну пойдешь?!

— Пойду, — вполне серьезно ответил отец. — Меня босым на фронт чай не отправят, а тебе сапоги здесь пригодятся: и сама при случае обуешь, и Витька, когда подрастет, в школу в них ходить будет.

Мать заплакала еще сильнее, стала еще настойчивей отговаривать отца. Но Витька, не все понимая в их разногласиях, послушаться отца не посмел, прожегом бросился в сени и снял там с гвоздика целую связку лаптей.

В те довоенные годы мужики в деревне лапти носили еще часто. Особенно в сенокосную пору или во время жатвы, когда в лаптях ходить и прохладней и мягче. Обувал их иногда и отец на кровельные свои работы, оберегая новые сапоги, которые можно было оцарапать и поранить колючей и острой кулевой соломой.

Из принесенной Витькой связки отец выбрал поношенные, не раз уже бывшие в употреблении лапти (чтоб ноги не натереть, как объяснил он матери), заново перемотал портянки и, обувшись, туго крест-накрест переплел их высоко по щиколоткам и голеним конопляными веревочками.

— Чем не солдат?! — стараясь развеселить мать и Витьку, гулко притопнул он, прихлопнул лыковыми лаптями по глинобитному полу.

Мать на это только вздохнула и покачала головой, а Витька и вправду развеселился и по малолетству своему и слабому разумению подумал, что отец в лаптях собрался вовсе не на войну (ни одного солдата на газетных картинках и на плакатах, что висели в сельсовете, он в лаптях не видел), а на привычную свою заказную работу. Сейчас он возьмет в повеги трепицу, топор, и они пойдут с ним опять в подлесье или на дальнюю луговую улицу и начнут перекрывать у кого-нибудь из мужиков, с которыми у отца на этот счет есть договоренность, дом или сарай.

* * *

Но пошли они совсем в иную сторону, к сельсовету, где был назначен сбор всем новобранцам. Вместо трепицы и топора отец забросил за плечи приготовленный матерью мешочек-торбочку с парой запасного нательного белья и едой на трое суток, как о том было написано в повестке. Минуты две-три они по обычаю посидели на дорожку (чтоб она была удачной и счастливой) в полном молчании на лавке и вышли во двор. Отец взял Витьку за правую руку, мать — за левую, и так, в неразлучной цепочке, они и добрались до сельсовета.

Там уже было полным-полно народу. Вдоль забора стоял конный обоз

подвод на десять, на котором предстояло везти новобранцев в район. Многие женщины собирались идти вслед за ним до самого города, чтоб побыть с уходящими на войну мужьями лишние два-три часа. Загорелась сопро-вождать обоз и мать, но отец остановил и удержал ее:

— Чего ты зря будешь рвать сердце?! Да и Витька истомится.

Мать послушалась отца. Они в последний раз обнялись, припали друг к другу. Потом отец поднял на руки Витьку, поцеловал его и теперь уже ему как совершенно взрослому, самостоятельному мужчине наказал:

— Береги мать! Она у тебя одна.

И больше Витька отца никогда не видел.

От него пришло два письма, но еще из запасного, учебного полка, откуда-то из-под города Серпухова, а вот с фронта — ни единого. Пока отец обучался солдатскому военному делу и ремеслу, фронт сам пожаловал к ним в село. Четыре дня с короткими привалами шли через него наши отступающие войска, унылые и виноватые перед каждым деревенским домом и перед каждым деревенским жителем, которых они оставляли в полоне — может быть, и на верную гибель.

Вместе с последними разрозненными частями Красной Армии ушел в отступление и Витькин дед по матери Степан Игнатьевич. По возрасту он призыву в армию не подлежал (в самый канун войны деду исполнился пятьдесят один год), но по какому-то особому приказу таких вот, в общем-то, нестарых еще, крепких деревенских мужиков поднаряжали на колхозных подводах подвезти до соседнего села военное имущество, боеприпасы или раненных бойцов. Дед уехал в расчете вернуться через день-другой, но так и не вернулся. Часть, к которой он был прикомандирован, попала в окружение, и дед остался при ней уже полноправным солдатом, прорвался из окружения и долго воевал рядовым красноармейцем в взводе. Ни одного письма от деда Степана тоже не пришло. До сентября сорок третьего года, пока село находилось под оккупацией, писать ему письма было некуда. А к тому времени, когда село освободили, он уже погиб. О судьбе деда кратенько рассказал сельский их учитель Иван Петрович, который вместе с ним ушел в отступление, но на войне уцелел, вернулся домой в офицерском уже звании. Витька в старших классах семилетней школы учился у него математике.

А о судьбе отца Витька узнал лишь после войны. Под диктовку все того же Ивана Петровича он написал запрос в военный архив, и оттуда через полгода пришло извещение, в котором сообщалось, что его отец погиб смертью храбрых в декабре сорок первого года, защищая столицу нашей Родины — город Москву.

* * *

Как они с матерью пережили оккупацию, о том дед Витя вспоминать не любит. Всего они натерпелись: и голода, и холода, и притеснений полицаяв, которые деревенских женщин, вчерашних колхозниц, вместе с детьми гоняли на сельхозработы, заставляя и картофель для немецкой армии, вермахта, сажать, и рожь цепями молотить, и сено заготавливать.

Но погибельного, смертельного дня, что настиг их с матерью осенью сорок третьего года, дед Витя не забудет до последнего своего дня и часа — слишком большими слезами и большой кровью врезался он в его память.

Еще в конце августа стала доноситься с востока далекая, не стихаю-

щая ни днем, ни ночью канонада. Вначале глухая, будто грохочущая где-то за горизонтом гроза, а потом — все ясней и ясней. Таясь от полицаев, взрослые и дети прикладывали головы к земле — и было слышно, как она вся дрожит и наполняется непрерывным гулом.

— Наши! — передавалось из дома в дом, из уст в уста.

И действительно, вскоре фронт приблизился вплотную к селу. Бои шли всего в нескольких километрах от него, по берегу реки. Начались бомбежки и артобстрелы. Витька с матерью и прибившиеся к ним ближние соседки, тетка Соня и тетка Валя с детьми, спрятались в старинном их дедовском погребе, что стоял за сараем в углу двора. Сообща было не так страшно, да и дедовский погреб был надежнее, чем у соседей: кирпично-каменный, с неодолимо крепким, похожим на церковный купол сводом, не то что у тетки Сони и тетки Вали — деревянные, рубленные, правда, из дуба, но уже обветшавшие, готовые обрушиться при отдаленном даже взрыве снаряда или бомбы.

В тот день они с соседями сидели в погребе с самого утра, ожидая и надеясь, что немцы возле реки долго не удержатся и вот-вот побегут через луг и огороды прочь из села, а в него войдут солдаты Красной Армии — наши.

Немцы и вправду побежали скопом и поодиночке, на ходу отстреливаясь и, где можно, поджигая деревенские дома (во время тех поджогов и пожаров сгорел и дом Афанасия Демьяновича с новенькой, не успевшей еще потемнеть крышей, которую перекрыл перед самым уходом на фронт Витькин отец).

Несколько немецких солдат пробежали и через их двор. Дом и сарай они не подожгли, не до того уже фашистам было — наши солдаты неотвратно настигали их. И тогда немцы сотворили еще более страшное и непоправимое изуверство.

Услышав топот и крики отступавших фашистов, мать, тетка Соня и тетка Валя поплотнее закрыли дверцу погреба и велели детям сидеть смирно, не подавая ни единого звука. И уже почти переждали беду, но вдруг самая младшая из детей, двухлетняя Нина Слепцова, громко и неудержимо заплакала. Пробежавший мимо немец, должно быть, различил тот плач. Ударом сапога он вышиб дверцу погреба и бросил в его глубину гранату на длинной ручке. Дед Витя до сих пор видит, как она летит из погребного зева (или ему кажется, что видит) и как оцепенели все спрятавшиеся в погребе женщины и дети, понимая, что спасения им от той гранаты нет. И лишь одна Витькина мать в последнее перед взрывом мгновение успела толкнуть его за громадную бочку с солеными огурцами и прикрыть своим телом.

* * *

Очнулся, пришел в себя Витька в одном из классов деревенской их школы, где нашим командованием был оборудован полевой госпиталь. На соседних с ним койках лежали раненые солдаты и офицеры, а рядом сидела старшая материна сестра, тетка Анюта.

— Где мать? — первое, что спросил Витька.

Тетка заплакала.

— А остальные? — нашел в себе силы спросить ее и дальше Витька.

Тетка заплакала еще сильнее.

И сколь ни мал был Витька, а по тем ее горючим слезам понял, что

нет в живых ни матери, ни тетки Сони, ни тетки Вали, ни соседских детей, его сверстников и погодков.

Он тоже заплакал, уткнулся головой в подушку и долго так лежал, глядя на соседнюю койку, где стонал весь в бинтах и повязках пожилой тяжело раненный солдат. Когда же опять повернул голову к тетке Анюте, то вдруг как-то по-мальчишески невпопад, испуганно спросил:

— А я?

— А ты — живой, — обняла его за плечи тетка. — Только ранен в ногу.

Витька отбросил одеяло и увидел, что левая его нога взята в гипс и что ступни на ней и половины голени нет. Он попробовал пошевелить укороченной этой ногой, но все его тело пронизала такая острая, непереносимая боль, от которой Витька снова едва не потерял сознание.

— Терпи, браток, — перестав стонать, прибодрил его сосед по койке. — Главное — колено цело. Протез сделают — еще в футбол будешь играть.

Утешительные слова старого солдата-сибиряка по имени Петр (он умер через несколько дней) тоже навсегда запали в память Витьке. И особенно слово «браток», которое как бы уравнивало Витьку со всеми ранеными на войне красноармейцами. Хотя, конечно, равняться ему с ними не приходилось: они были ранены в боях и сражениях, а он всего лишь в погребке, где хотел укрыться от этих сражений.

* * *

Сегодня тоже была поминальная суббота. К тому же особая, называемая Дмитриевской. Учреждена она, говорят, давным-давно, в честь победы князя Дмитрия Донского на Куликовом поле над татарами. В эту субботу в первую очередь принято помянуть всех погибших на полях сражений воинов. Дед Витя всегда и поминал их: вначале отца с дедом, потом ближних и дальних родственников, дядьев, старших двоюродных и троюродных братьев, умершего в госпитале у него на глазах старого солдата Петра, которого тоже почитал теперь за родственника, и вообще, как и полагалось и требовалось в Дмитриевскую субботу, всех до единого не вернувшихся с войны солдат, пусть они ему и незнакомые, безымянные.

Мать, теток Соню и Валю и своих ребят-сверстников дед Витя в этот день поминал наравне с павшими воинами. Погибли они, считай, тоже на поле сражения и боя, хотя и были безоружны и никем не защищены от врага-неприятеля, кроме неодолимой своей веры, что рано или поздно неприятель этот будет побежден и наши красноармейские бойцы-защитники вернутся.

Верно это или неверно, грешно или праведно, но поминал дед Витя и оторванную свою ногу. Он представлял, какой бы она выросла во взрослой его жизни, как бы он в летнюю пору ходил на обеих устойчивых ногах босиком, и левая его ступня, точно так же, как и правая, чувствовала бы и прохладную утреннюю росу в сенокосных лугах, и жарко разогретый (раскаленный даже) к полудню песок на уличных тропинках, и каждый-любой корешок и камушек на огородах. А в зимнее, студеное время, обувая сапоги или валенки, Виктор равноценно наматывал бы на обе ступни байковые ворсистые портянки, и, опять-таки, левой ногой в них было бы точно так же тепло, как и правой.

Много и еще чего хорошего представлял дед Витя об этой утерянной

своей ноге, которой уже почти и не помнил (какие на ней были пальцы, какой подъем, какая щиколотка). Он только помнил, что обут был в тот день в яловые отцовские сапоги. Старенькие его, еще довоенной покупки, ботинки совсем прохудились, и мать, собираясь в погреб, велела Витьке для тепла обуть отцовские, бережно хранимые ими сапоги. Случалось, Витька носил их и раньше, наматывая двойные портянки и набивая в передки побольше ветоши и скомканных газет, чтоб сапоги хоть отдаленно подходили ему по размеру.

В погребной сырости Витьке было в отцовских сапогах действительно и тепло, и уютно, и совсем не страшно, как будто отец тоже был здесь, рядом, и в любую минуту мог защитить и Витьку, и мать, и соседок с детьми. Он лишь боялся, как бы не повредить сапоги о кирпичи и железную стоящую в наклон лесенку.

Но повредились сапоги совсем от иного. Во время взрыва гранаты осколками посеколо не только левый, но и правый сапог. Его располосовало вдоль всей подошвы и пятки. Чудом не была задета нога. Никакой починке изуродованный этот сапог не поддавался, хотя тетка Аня и носила его к деду Кузьме.

Чем больше Виктор взрослел, тем все больше становилось ему совестно перед отцом, что не уберег он его такие теплые и непромокаемые в любую погоду, почти новенькие еще сапоги. Лучше бы отец ушел в них на фронт, может быть, и уцелел бы, остался жив.

Дед Витя наливал отдельную, особую рюмочку и молча выпивал ее на помин детской своей обутой в отцовский сапог ноги, о которой думал в эти мгновения, как о совершенно живом существе...

* * *

В полевом армейском госпитале Витька пролежал три недели, пока тот не снялся и не ушел вслед за наступающими нашими войсками. Из окошка ему хорошо были видны колхозный двор и бревенчатая конюшня, в которую заперли немецких военнопленных. Их было, наверное, сотни полторы: обшарпанных, злобно-угрюмых, потерявших свой прежний бравый и наглый вид, с которым два года тому назад входили в село.

Рано поутру конвоиры выпускали пленных из конюшни в обнесенный изгородью лошадиный загон. Они брели к стоявшему посередине загона колодцу с водопойной колодой-корытом, кое-как умывались там и брились, жадно пили мутную, взбаламученную воду (иногда прямо из корыта), потом всем скопом подходили к ограде и, прося есть, кричали хором и поодиночке проходившим по улице деревенским жителям:

— Эссен! Эссен!

Голодный их одичавший рев был слышен по всему селу, и сердобольные женщины, не в силах переносить его, нет-нет да и подсылали к загородке мальчишек и девчонок с ломтем-другим хлеба или с ведерком сваренной в мундирах картошки.

Немцы жадно, впопыхах ели, запивая хлеб и картошку все той же мутной, с ворсинками-стебельками зеленого колодезного мха, водой. А поев и ополоснув возле колодца ведерко, возвращали его мальчишкам и девчонкам и тоже хором, словно по команде, говорили:

— Данке шен!

А иногда дарили им зажигалки и губные гармошки, показывали фотографии, на которых были изображены их жены и дети.

— Майн фрау, майн киндер! — произносили они охрипшими голосами, тыча себя в грудь.

Раз в два дня приезжала на колхозное подворье полевая солдатская кухня, и повар-красноармеец в окружении все тех же неуспешных мальчишек и девчонок варил для военнопленных кашу из пшеницы или ячменя.

Ребята, часто проводывавшие Витьку в госпитале, приносили ему в настоящем солдатском котелке, который одалживали у повара, наваристой ячменно-пшеничной каши, и она почему-то казалась ему гораздо вкуснее той, что варили для раненых бойцов в госпитале.

Пленные немцы вели себя вроде бы смиренно и послушно, ни в чем не перечая красноармейцам-охранникам. И, похоже, усыпили их бдительность. Однажды, выбрав глухую дождливую ночь, трое военнопленных вылезли из конюшни через соломенную крышу, перепрыгнули через жердяную изгородь и стали уходить в болотистый ольшаник, который начинался сразу за колхозным подворьем. Но далеко не ушли. Охранники все-таки обнаружили их, бросились в погоню и застрелили всех троих из автоматов на самой опушке ольшаника.

Похоронили немцев там же, на краю болотца. Из военнопленных была выделена специальная похоронная команда, пять или шесть человек. Под присмотром красноармейцев они вырыли три отдельные, не очень глубокие могилы (грунт был топкий и вязкий, сразу проступающий болотной водой), положили туда застреленных, прикрыли шинелями и забросали землей. С позволения конвоиров похоронщики сладили три березовых креста, написали на них химическим карандашом имена убитых и воткнули те кресты в надмогильные насыпи.

Никто из взрослых сельских жителей смотреть на немецкие похороны не ходил. Свидетелями были одни лишь мальчишки. Молчаливой настороженной стайкой они стояли далеко в стороне, смотрели, как расчетливо, сменяя друг друга через равные промежутки времени, работают пленные немцы и как тоже угрюмо молчат наши красноармейцы.

Никто из серпиловцев не заглядывал к немецким могилам и после похорон, не косил поблизости от них болотную траву, осоку и камыш, не рубил в ольшанике жердей. Мальчишки тоже обходили это место стороной: рано по весне, в первые майские дни, не рвали сладкую съедобную траву — аир, а в самый разгар лета не собирали ягоду-ежевику, которой на опушке ольшаника было видимо-невидимо. Никакого запрета ни на косьбу, ни на порубку жердей, ни на сбор аира и ежевики никто вроде бы не устанавливал — запрет образовался как-то сам собой, и немецкое это трехмогильное кладбище все больше и больше отчуждалось и от жизни серпиловцев, и от их песчаной, не больно плодородной земли.

Березовые кресты на немецких могилах с надписями на непонятном чужом языке быстро подгнили и куда-то исчезли. А вскоре исчезли и сами могилы: торфяное топкое болото разрослось, расширилось и год за годом навсегда поглотило их. О могилах вспомнили лишь прошлым летом, когда пошли все эти разговоры насчет германского кладбища и когда по всей округе стали бродить отряды своих и иноземных одетых в одинаковую камуфляжную форму людей и отыскивать под землей, на месте боев, погибших немцев. Но деда Вити все это не касается...

Как только речь заходила о войне, он сразу умолкал, делался мрачным и тяжелым и пил сверх меры водку. Вообще характер у Виктора годам к двадцати образовался вспыльчивый, с резкими перепадами от не-

людимого молчания и забытья до каких-то горячечных взрывов. Особенно если он выпивал рюмку-другую. Тогда с ним могла справиться одна только Ольга Максимовна, женщина властная, но добрая. Она двумя-тремя словами унимала распалившегося своего мужа, называя его иногда в шутку (а иногда, если уж сильно доводил ее, — так и всерьез) «хромым бесом». Виктор на эти сказанные ею в сердцах слова не обижался. Ругаться-то Ольга Максимовна ругалась, а замуж вышла за «хромого беса» не по принуждению, а по доброй воле и девичьему влечению, послушавшись родителей, которые остерегали ее связывать жизнь с хромым, увечным парнем, да еще с таким неумным, вспыльчивым характером. Но она не послушалась их — связала и никогда о том не жалела...

* * *

Нынче дед Витя пришел на кладбище по деревенским меркам не так уж чтоб и рано — в девятом часу. Утро выдалось ясным и солнечным, без единого облачка на прозрачно-голубом небе. Сизо-лиловый туман, опустившийся вчера с вечера на все окрестные поля, на луга и речку, сегодня к утру растаял, невидимо рассеялся, и лишь в березняке за кладбищем он устоял, зацепившись за багряную позолоту плотной, будто дождевой тучей.

Изредка поглядывая на эту тучу, скрывающую все, что делалось-творилось в березняке, дед Витя развернул на столике узелок, долго устанавливал стопку и четвертинку (раньше, в молодые годы, приносил он поллитровку, а теперь уже не та сила и не та возможность), еще дольше чистил картошку в мундирах, вчера с вечера запеченную Ольгой Максимовной в поддувале лежанки, — всегда, каждый год в одном и том же числе: ровно девять недавно только вырытых на огороде картофелин — для матери, теток Сони и Вали, для малых детей (Гриши, Коли, Нины Слепцовых, Лиды и Вани Борисенко); он клал их на перекладины крестов, как кладут на Радоницу яйца-крашенки и ломтики пасхального кулича. И одну — для себя.

В начале одиннадцатого дед Витя в последний раз оглядел материнскую могилу (все ли на ней хорошо и ладно), поправил захлестнутый набежавшим ветром за опору креста вышитый рушник и собрался уже было уходить домой (обещал Ольге Максимовне срубить на пойменных грядках капусту, солить которую на зиму как раз подспела в эти начальные дни ноября пора), но вдруг он увидел, что со стороны города по осенней пустынной дороге, минуя село и кладбище, движется прямо к березовой раскопанной и растревоженной роще целая кавалькада машин. Впереди, охранно сопровождая этот обоз, мчался милицейско-полицейский уазик с синей угрожающей мигалкой на крыше. Вслед за ней неслось несколько легковых, сверкающих на солнце лаком и затененными, будто маскировочными, стеклами машин-иномарок, потом — громадный на три двери тупорылый автобус, тоже не нашего производства, заграничный, с заграничными, непонятными надписями по всем стенкам. Замыкали колонну три военных грузовика, крытых брезентом, какая-то затерханная машиненка-«жигули» (как после выяснится, с журналистами — телевизионщиками и фоторепортерами) и на почтительном расстоянии от них — юркая бытовка, еще с весны хорошо примелькавшаяся в Серпиловке, на которой ездили прорабы, ведавшие работами на будущем немецком кладбище, подневольники-казахи и добровольно набивавшийся им в помощники Артем.

Замедлила ход и остановилась колонна на опушке рощи всего в тридцати метрах от деда Вити. Глядеть на всю предстоящую церемонию у него не было никакого желания. Пусть Артем глядит, коль он прослыл таким поборником строительства немецкого погоста, безропотно отдал под него березовую серпиловскую рощу. Может, и вправду ему что-либо от того пособничества обломится: асфальтная дорога до самого дома или какой-нибудь шинок-корчма возле погоста, которым проворный Артем и станет заведовать.

Завернув в доскутик-полотенце остатки еды и опорожненную чекушку, дед Витя спрятал их в сумку и, поскрипывая протезом, направился к кладбищенским воротам. Но с удалением своим он немного опоздал: со стороны села к березовой роще наперерез ему шли-торопились многие деревенские мужики и бабы. Рядом со взрослыми бежали малые и чуть постарше, школьного уже возраста, дети, большие охотники до любых происшествий и зрелищ.

Встречаться с мужиками и бабами, вступать с ними в какие бы то ни было разговоры, да еще при детях, деду Вите не хотелось. Он вернулся назад, к материнской могиле, снял шапку и сел на лавочку. Самым тщательным и придирчивым образом он обследовал четвертинку-чекушку: не осталось ли в ней еще хотя бы полрюмочки, чтоб, не произнося уже никаких поминальных слов, просто выпить, пока деда Витю не обнаружил кто-нибудь из бегущих к роще и не стал звать с собой. Но четвертинка была пуста и прозрачна, на слезы в ней он не оставил ни капли.

Березовую с почти уже опавшими листьями рощу колонна-обоз охватила в широкий полукруг, как будто намерена была держать здесь долговременную оборону. Из уазика тут же выскочили бойкие милиционеры-полицейские, вооруженные резиновыми дубинками, и действительно начали организовывать эту оборону. Они перехватили подступивших на опасно близкое расстояние к легковым иноземным машинам деревенских мужиков и баб и указали им на место в стороне от рощи — на пустыре, который отделял ее от кладбища. Мужики и бабы попробовали было о чем-то спорить с милиционерами-полицейскими, но потом, с опаской поглядывая на их черные ребристые дубинки, уступили превосходящей военной силе и покорно заняли указанное место на пустыре. Не подчинились полицейским одни лишь мальчишки-подростки, обманув их: они проворно взобрались на березы и зависли там грачиными говорливыми стайками. Полицейские, запрокидывая головы, что-то прокричали мальчишкам, пригрозились даже дубинками, но снимать не решились: лезть на березы без вспомогательной техники, подъемного крана или хотя бы какой-нибудь лестницы было и высоко, и опасно, да и ребятишки никакой угрозы для предстоящей церемонии пока вроде бы не представляли.

Из легковых машин тем временем начали выгружаться гости и начальники (свои и иноземные): все в добротных, тоже будто покрытых лаком плащах и куртках, которые прямо-таки горели-сияли на осеннем утреннем солнце. Первыми из серебристо-белого «опеля» вылезли, как догадался дед Витя, два самых главных и важных начальника, наш и немецкий (поди, губернаторы или какие-нибудь мэры). Догадаться об этом и вправду было нетрудно, потому что возле «опеля» в ту же минуту и секунду услужливо засуетились милиционеры-полицейские и всякая иная челядь. Даже дверцу в машине открывали не сами губернаторы-мэры, а юркий охранник-распорядитель, вынырнувший из толпы.

Наш губернатор был совсем еще молодым человеком (может, лет со-

рока-сорока двух), бодрым, напористым и, как почудилось деду Вите по первым его шагам и движениям, хорошо знающим себе цену.

Немец выглядел годами чуть постарше, с копной густых седеющих волос и крупным, будто переломленным надвое горбинкой, носом. Держался он спокойно, с достоинством, как, наверное, и полагается держаться столь значительному лицу, представляющему за границей свою мощную, сильную державу, с которой считаются во всем мире.

Вслед за губернаторами-мэрами выпорхнула из «опеля» переводчица, бойкая тонконогая девица в штанах-джинсах, высоченных с накладками на коленях сапогах-ботфортах и укороченной, словно для равновесия с этими ботфортами, кожаной переполесой куртке. Чувствуя себя на торжестве-мероприятии едва ли не главнее самих губернаторов, она гордо встала между ними и, с нескрываемым превосходством поглядывая на всех остальных гостей, что-то залепетала-зачастила, хотя ее подопечные, кажется, еще и не начинали никакого разговора.

Из машины, затормозившей рядом с губернаторской, вылезли два генерала: один, опять-таки, наш, а другой — немецкий. Своего дед Витя легко признал по широким красным лампасам на брюках и непомерного размера фуражке-аэродроме с высоко, почти к самой макушке загнутой тульей (дед Витя давно заметил по телевизору, что у наших военных пошла нынче такая мода: чем выше начальственный чин, тем выше задрана у него тулья). Немецкий же генерал смотрелся поскромнее, но как-то внушительней. Одет он был в парадную светло-мышинного цвета (любимый немецкий цвет) шинель-пальто с тяжелыми ниспадавшими с правого плеча на грудь аксельбантами. Оба генерала заслуженные (может быть, даже и боевые), в больших армейских или штабных должностях. Сквозь распахнутые полы шинелей (в машине, наверное, жарко, да и на улице — еще не зима) ярко гляделись и у того, и у другого, занимая полгруды, наградные колодки. У немца они были мясистые и увесистые, чем-то напоминающие окурки сигар, зато у нашего наградных (пусть и поуже) колодок насчитывалось вдвое больше, и это уравнивало генералов в их воинских доблестях. Сопровождал генералов военный щеголеватый переводчик, лейтенант или старший лейтенант, в фуражке, понятно, поменьше, чем у генерала, но с тульей, загнутой по-молодому лихо и нахально. Сразу было видно, что он тоже метит в генералы и с годами непременно им будет.

Только вступив на землю, переводчик ненавязчиво завладел вниманием генералов, принялся помогать им в непринужденной беседе, будто связывать в единый узел и цепочку, но превосходства ни над кем не выказывал: человек военный, он четко знал свое место.

Еще из одной машины тоже парно выбрались два священника. Дед Витя по их одеяниям и по их обличьям и тут безошибочно определил, что один священник немецкий (протестантской или какой там еще веры?), а другой — доподлинно наш православный батюшка. Немецкий пастор был гладко выбрит, худой и поджарый, будто всю жизнь только тем и занимался, что постился. Облачен он был в длиннополую сутану, подпоясанную красным поясом-кушаком. Когда пастор поворачивался спиной, то дед Витя замечал на его затылке тоже красную похожую на блюдечко шапочку, которая неведомо каким образом удерживалась там. Руки пастора были заняты неустанной работой: правой он размеренно перебирал четки, а в левой твердо удерживал махонькую какую-то книжицу — может, «Библию», «Молитвослов» или немецкий их протестантский «Требник».

Наш батюшка росточка был невысокого, но плотненький (с заметно даже обозначившимся брюшком), обросший густой курчавой бородой, длинными заплетенными в косичку и забранными для удобства под синий клобук волосами. Батюшка оказался более догадливый, чем пастор, и оделся согласно осенней прохладной уже погоде не только в рясу, а еще и в утепленную скуфейку. Но все эти различия между пастором и батюшкой скрадывали два наперсных играющих на солнце позолотой креста (точь-в-точь как наградные колодки у генералов): у пастора — протестантско-католический, всего с одной перекладинкой, а у батюшки — православный, с двумя, прямой и косою, но издалека, из укрытия деда Вити, это почти не различалось.

Переводчик был приставлен и к священникам; согласно их чину и званию, не мирской и не военный, а воцерковленный — молодой парень в повседневно походном облачении, то ли уже начинающий, недавно окончивший духовную семинарию или академию попик, то ли какой-нибудь монастырский послушник — они теперь все образованные и грамотные.

Но больше всего деда Витю поразил вылезший из тупорылого расписного автобуса прежде всех иных его пассажиров высоченный немец-старик. Годами, сколько мог различить дед Витя, он действительно был уже древний, но держался бодро и уверенно, не гнулся ни в плечах, ни в спине. В руках, правда, он держал толстую палку с согнутой в полукруг металлической рукояткой-набалдашником. Но выходя из автобуса, палкой этой старик почти не пользовался, а лишь, словно для забавы, поигрывал ею.

На груди у него (куда твой пасторский крест или наградные планки?!) висел здоровенный, тяжелый фотоаппарат с удлинненным, похожим на жерло миномета объективом.

Взойдя на землю, старик поначалу не примкнул ни к генералам, ни к священникам, а стал внимательно оглядываться по сторонам и целиться из своего фотоаппарата-миномета то в рощу (и особенно на мальчишек, повисших гирляндами на березовых ветках), то в толпу серпиловских мужиков и баб, которых по-прежнему зорко стерегла полиция, не давая переступить запретную черту, и, наконец, в само село, в шиферные крыши домов, тонущих в деревьях, в реку и в деревянную увенчанную голубой маковкой и узорчатой колоколенкой над притвором церквушку. Церквушка эта, будто заговоренная, уцелела в Серпиловке и во времена Гражданской войны, и во время безбожных гонений в тридцатые годы, и даже во время войны Отечественной, когда фронт дважды прокатился над ее неустрашимой маковкой и колоколенкой. Деда Витю в серпиловской церквушке, носящей имя Пресвятой Богородицы, когда-то крестили, в ней он, несмотря на все партийно-комсомольские запреты, венчался с Ольгой Максимовной, даст Бог, здесь его и будут отпевать, к чему дед Витя, в общем-то, уже давно готов.

Немец-старик нацелился дальнобойным фотоаппаратом-минометом и на кладбище, походил жерлом с одного его конца на другой, но, по-видимому, не найдя там ничего достойного запечатления, оборонил на грудь и слился наконец воедино с губернаторами, генералами и скорбными священниками. Пока смешанное это собрание вело дружеские, заинтересованные разговоры, делясь, наверное, впечатлением от увиденного, из военного грузовика, словно орехи, высыпались солдатики, но не с автоматами или с каким-либо иным огнестрельным оружием, как того можно было ожидать, а с обыкновенными лопатами. Выстроившись двумя ше-

ренгами возле дороги, они наскоро выслушали наставления своего начальника-командира и под руководством прорабов (нашего и немецкого) начали выгружать из зелено-пятнистого КРАза малые, похожие на детские, гробы-ящички с загодя заколоченными крышками. Подхватывая их на руки, они впробежку несли не больно тяжкую и обременительную ношу к могилам и устанавливали рядом с бетонными столбиками. Все гробы были обиты черным креповым материалом, и от этого на фоне осенней порыжевшей земли и отливающего багряным цветом березняка гляделись пронзительно остро и болезненно глазу.

Дед Витя начал было считать их (мало ли, много ли нарыли немецких костей-останков), но вскоре сбился со счета, заметив вдруг в толпе Артема, который безостановочно сновал от одной группы к другой, всем на правах хозяина предстоящей траурно-торжественной церемонии жал руки, давал пояснения. Немцам через переводчиков — излишне пространно и подробно, а своим — кратко и четко, словно на докладе у вышестоящего грозного начальства. Не обошел Артем вниманием и односельчан, приблизился к ним почти вплотную, но здороваться с каждым по отдельности, за руку не стал (их вон сколько набежало — со всеми не поручкаешься), а лишь сказал несколько, судя по всему, веселых и ободряющих слов и отошел к милиционерам-полицейским, которые за какой-то надобностью поманили его к себе. Одет был Артем тоже празднично, но как-то не по-городскому, не по-киношному и телевизионному, а определенно подеревенски: в сине-блеклую чуть мешковатую для него куртку при разлапистом выбивающемся из-за ворота галстуке и фетровую шляпу, которая все время наползала ему на глаза и которую он явно носить не умел.

Переговорив с полицейскими, Артем опять засеменял в самую гущу гостей, теперь выжидательно наблюдавших, как солдатики по-муравьиному трудолюбиво расставляют гробы, с немецкой точностью выравнивают их в одну строгую линию, но на полдороге он вдруг остановился, глянул в сторону кладбища (нет ли там какого недочета и оплошности, за которую ему, главе сельской администрации, будет стыдно и перед начальством, и перед гостями) и высмотрел-таки сидящего на лавочке за могильной оградой деда Витю. Артем сорвал с головы праздничную свою шляпу и призывно помахал ею, мол, чего там сидишь один, иди сюда, к народу. Дед Витя сделал вид, что зазывных этих его взмахов не замечает. Уклоняясь от них, он подвинулся на самый край лавочки и укрылся за кустом калины, что росла в изголовье соседней прадедовской могилы, с которой и начинался их родовой погост. Куст был рясно усыпан красными созревшими гроздьями (такими красными, кто каждая ягодка напоминала деду Вите капельку застывшей крови). Сравнение это всегда приходило ему в голову по осени, в Дмитриевскую субботу, когда ягоды, иной год уже и чуть подернутые морозцем, пламенели особенно ярко, щемили сердце.

* * *

С госпиталя Витьку забрала к себе тетка Анюта. Поначалу он передвигался на маленьких детских костылях, которые ему смастерили военные санитары из обломков старых взрослых костылей, а через полгода сосед тетки Анюты, дед Харитон, участник и инвалид Первой мировой войны, вырезал Витьке из осинового чурбачка настоящий пешеходный протез с двумя высоко поднятыми к самому паху и бедру дощечками-лещетками. На таких протезах тогда перемагались многие обезноженные на

Первой мировой, Гражданской и последней, Отечественной, войнах деревенские мужики, у которых сохранилось колено. Поставив его на проложенную войлоком площадочку, они туго привязывали ремнями, а то и обыкновенными бечевками дощечки-лещетки к бедру и ходили на том осиновом, подбитом толстою резиною от автомобильного ската протезе иногда даже и без вспомогательной палочки. Мало-помалу приспособился ходить на протезе и Витька. И не только ходить, но и делать в подмогу тетке Анюте любую посильную по его возрасту работу: рубить дрова, ухаживать за скотиной, курами и гусями, полоть (стоя, правда, на коленях) картофель и просо. Да что там дрова, скотина и просо с картофелем — Витька даже, помня слова солдата Петра, играл вместе с остальными здоровыми деревенскими ребятами в футбол. Не в поле, конечно, не нападающим и не защитником, а вратарем, и ребята к нему особых претензий не имели. Парнем он был юрким, по-обезьяньи цепким, и кидался на мяч под ноги соперникам без оглядки на свое увечье и протез.

Одно было плохо: рос Витька быстро, и на протезе часто приходилось менять резиновые набойки на более толстые, двойные и тройные, а раз в полтора-два года нужно было менять и сам протез, иначе Витька начинал припадать на укороченную осиновую подпорку.

На ночь он протез отстегивал, давая отдохнуть и колену, на котором постепенно образовалась похожая на подошву мозоль, и онемевшей ноге с туго натянутым на обрубок шерстяным носком-чехольчиком — изобретением тетки Анюты. Но во сне, без протеза, Витька забывал, что ноги у него нет, и несколько раз, в первые по увечью годы, просыпаясь, сгоряча ступал на культю, по-новому, в кровь ранил ее и даже едва не обломал кость. После таких падений тетка порывалась везти его на подводе в районную больницу к хирургам, но Витька ехать напрочь отказывался, боясь, что ему опять будут делать операцию. Он терпеливо отлеживался дома, отмачивал культю в холодной воде, позволял тетке лечить ее единственно верным и незаменимым крестьянским средством — компрессами из листьев подорожника и лопуха. И недели через две-три культя переставала болеть и саднить, опухоль на ней спадала. Витька оживал, вновь вставал на протез, чтоб поначалу осторожно и боязно ходить лишь по дому и по двору, а потом и в школу, которую за время болезни тогда порядком подзапустил.

Так на сменных осиновых подпорках-чурочках Витька перемогался до сорок девятого года. А потом тетка Анюта прознала от фронтовиков, что в областном городе при собесе есть специальная мастерская, где изготовляют на заказ протезы (хоть со ступней, хоть без ступни, с одной лишь костыльной, обутой в резиновый наконечник, опорой) для получивших увечье на фронте солдат. Витька солдатом не был, но тетка, выпросив у бригадира подводу, все равно повезла его за шестьдесят километров в область, чтоб заказать там устойчивый, почти что и не отличимый от настоящей ноги (по требованию Витьки — обязательно со ступней) протез.

По вдовьей горемычной жизни с целым выводком детей — двумя своими, сыном и дочерью, и третьим, приемным, Витькой-крестником (муж ее, дядя Сергей, которого они все так ждали с войны, погиб в начале сорок пятого года), тетка была женщиной многоопытной и предприимчивой. В передок телеги она поставила кошелку с двумя увесистыми кусками сала, с зарезанным накануне поездки и оципанном петухом, с венком репчатого луку и с мешочком сушеных яблок, груш, слив и вишен. Завернутая в газетку, тайно стояла там, понятно, и бутылка самогона. Тетка Анюта хорошо понимала и предчувствовала, что такие дела, как у

них с Витькой, без подобных деревенских подарков не делаются. Получилось, правда, все совсем по-иному...

Протезную мастерскую они отыскали быстро, хотя деревенский их конек, не привыкший к машинам, трамваям и вообще к шумной городской жизни, шарахался на каждом шагу и едва не поломал оглобли. Но в самой мастерской дело не заладилось. Приемщица, дородная, коротко остриженная и завитая в шестимесячную химическую завивку женщина, выслушав просьбу тетки, наотрез отказала им:

— Делаем только фронтовикам!

— А он что, не фронтовик?! — указывая на Витьку, стала наседать на приемщицу и тетку. — Его немец гранатой поранил! А мать убил!

— Это я не знаю — немец или не немец, — не поддавалась на ее напор и жалобы приемщица, поди, наслушавшаяся в протезной этой мастерской еще и не таких историй. — Может, он с оружием баловался, вот ногу и оторвало.

Тетка едва не заплакала, но потом все же сдержалась и решила повести разговор с приемщицей иным образом. Пододвигая к ней прикрытую чистым полотенцем кошелку, она по-деревенски простодушно сказала:

— Мы отблагодарим.

Приемщица пристально глянула на кошелку, но не соблазнилась ею:

— Не нужны мне ваши благодарности!

Отчего и почему приемщица так себя повела, ни тетка, ни Витька понять не могли. Может, старенькая их обтерханная кошелка показалась ей слишком легковесной, а может, привыкшая и разбалованная на доходном своем месте продуктовыми подарками приемщица намекала, что надо бы отблагодарить ее деньгами. Но уж чего-чего, а лишних денег у тетки не было (они едва-едва собрали их на протез, откладывая почти целый год Витькину инвалидско-сиротскую пенсию — сто двадцать пять рублей), да она и не знала, сколько надо давать, чтоб приемщица помягчала: сто рублей, двести или много больше.

В общем, все клонилось к тому, что надо было тетке с Витькой возвращаться домой и на время забыть о настоящем фабричном протезе. По крайней мере, до тех пор, пока их изготовят для фронтовиков и дойдет очередь до таких инвалидов, как Витька.

Но тут в мастерскую как раз и зашел, опираясь на палочку, доподлинный фронтовик — степенный мужчина лет тридцати пяти-сорока. Тетка, уже действительно вся в слезах, начала жаловаться ему на обиду и несправедливость. Фронтовик быстро разобрался в ее жалобах, вник в положение деревенских неудачливых просителей и приступил с допросом к приемщице:

— Ну и чего ты парня не запишешь?!

— Не положено! — уперлась та.

— Почему это — не положено?! — для начала вроде бы вполне мирно спросил фронтовик.

— Потому что инструкция! — совсем распоясалась приемщица.

Не обращая больше внимания ни на фронтовика, ни на тетку Анюту с Витькой, который все это время безучастно стоял в уголке, она стала переключать какие-то квитанции, громко щелкать на счетах, делать записи в толстой амбарной книге.

— Больно ты рыжая и кудрявая! — вдруг не на шутку взорвался фронтовик. — Сейчас пойду в обком, пусть вам тут мозги вправят. Пиши парня вместо меня. Я уступаю ему свою очередь.

Обкомов и райкомов партии тогда боялись еще начальники и повыше приемщицы. Она мигом это сообразила, по одному только виду безногого фронтовика поняв, что этот (может, в прошлом и офицер в значительных чинах, командир) ни перед чем не остановится и действительно пойдет — если не в обком партии, то к заведующему облсобесом. А ей лишние приключения ни к чему.

— Ну, если уступаете, — вяла его угрозам приемщица, — тогда иное дело — запишу.

Проворно, с каким-то особым шиком, так, что даже нельзя было заметить, куда, в какую сторону отлетают те или иные костяшки, пощелкав на счетах, она назвала цену, которую надо было заплатить за протез, и выписала квитанцию. Цена была не так уж чтоб и большая, но для тетки Анюты с Витькой и не маленькая. Тетка развязала платочек и выложила перед приемщицей все до единой копейки пенсионные их сбережения, да еще и добавила целых десять рублей из подорожных денег.

С обнадеживающей той квитанцией они направились теперь уже в саму мастерскую. Фронтовик и тут вошел в их положение и взялся сопровождать.

В мастерской пахло деревом, кожей и резиной. В дальнем углу стояли два небольших токарных станка, на которых, наверное, вытачивались заготовки протезов. Сейчас они, правда, не работали (может, были сломаны или остановлены на обеденный перерыв), чему Витька очень огорчился: токарного станка он сроду не видел, и ему хотелось хоть одним глазком понаблюдать, как на нем вытачивают дерево, а еще бы лучше металл, чтоб после дома рассказать о том друзьям-товарищам, которым токарные станки тоже были в диковинку и невидаль.

Вдоль стены за низенькими, заваленными заготовками и всевозможными инструментами верстаками сидели мастера в кожаных толстых фартуках. Одного из них фронтовик — судя по всему, частый здесь гость — и позвал.

— Роман! — бодро и весело, совсем не так, как разговаривал с приемщицей, крикнул он. — Гляди, какого я привел тебе заказчика!

На зов фронтовика к ним подошел невысокий щупленький видом мужчина в круглых, совиных каких-то очках. Вскинув их высоко на лоб, он поздоровался вначале с фронтовиком и теткой (Витька заметил, что на правой руке у него недостает двух пальцев: мизинца и безымянного) и лишь потом посмотрел на Витьку, но как-то странно посмотрел: не в лицо, не в глаза, а сразу вниз — на ноги.

— Заказчик как заказчик, — немного утомленно и не в тон фронтовику сказал он.

Расспрашивать Витьку, где и как тот потерял ногу, Роман не стал (тетка, вклинившись в разговор и словно боясь, что мастер откажет им, в одну минуту все выложила и объяснила), а, усадив Витьку на табурет, велел ему отстегнуть самодельный протез и оголить культю. С протезом Витька справился быстро, а вот с культей замешкался: долго развязывал штанину и шерстяной чехольчик. Культия была тоненькой и темно-синюшной. Витька, кроме тетки Анюты, редко ее кому показывал, особенно своим ровесникам, ребятам и девчонкам, которые при виде ее умолкали и страшились. Видели они ее разве что на речке, во время купания, когда Витька, отстегнув протез, заползал в воду и выползал обратно на берег на коленях, а иногда — так и по-пластунски.

Роман придирчиво, со знанием дела, словно врач-хирург осмотрел и ощупал культю со всех сторон, время от времени спрашивая Витьку:

— Так — не больно?

— Не больно, — торопливо отвечал тот, вслед за теткой боясь, что если он скажет правду (культя все-таки от жестких прикосновений немного побаливала), то Роман делать ему протез откажется.

— А вот так?

— И так не больно, — терпел Витька.

— Ну и хорошо, — остался доволен осмотром Роман и широко улыбнулся Витьке. — Сладим тебе ногу лучше прежней.

Приезжать за готовым протезом он велел через месяц. Время вроде бы недолгое, особенно летом, когда в школу ходить не надо и мальчишеские дни бегут быстро и незаметно. Но предприимчивая тетка Анюта начала просить и уговаривать Романа, нельзя ли поторопиться.

— Парень вконец извелся! — жалилась она и опять вспомнила о своей кошелке с подношениями и выпивкой.

От подношений Роман отказался. Но совсем не так, как отказывалась избалованная сытными подарками, кошелками и оклунками приемщица. Поглядев на измученную работой и вдовой жизнью тетку, он лишь махнул рукой:

— Да ладно тебе...

А вот от выпивки Роман уклоняться не стал. Он завел тетку с Витькой и фронтовика в тесную каморку-подсобку, заперся на ключик, и они вчетвером распили там (Витьке тоже налили рюмочку) бутылку деревенского хлебного самогона. Чуть захмелев, Роман попросил Витьку еще раз показать культю, повторно ощупал ее пальцами, обмерил портновским метром, записал какие-то цифры на обрывке бумажки и не очень уверенно, но все-таки пообещал:

— Загляните недели через две, вдруг успею...

И не обманул заказчиков — обещание свое выполнил. Когда Витька с теткой через две недели опять появились в мастерской, Роман вынес им первозданно пахнущий кожей, масляным лаком и деревом-березой протез. Не протез даже, а действительно почти что живую настоящую ногу с широкой, в Витькин размер ступней, которая была приделана к щиколотке блестящим, чутким в движении шарнирчиком.

Когда Витька надел протез и встал в полный рост, то сразу почувствовал себя совершенно иным человеком, здоровым и сильным, равным всем остальным, неувечным людям, как будто в одно мгновение вырос из маленького полудетского еще человечка во взрослого парня и мужчину. При первом шаге, правда, культя вспыхнула точно такой же острой, как и когда-то в госпитале, болью, которая не укрылась от Романа.

— Ничего, — попридержал он его за плечо беспалой своей раненой рукой, — это только поначалу больно, а потом привыкнешь...

* * *

Когда последний гроб был установлен, и солдатики по указанию начальника-командира застыли наизготове с лопатами и длинными обрезками брезентовых ремней за песчаными насыпями, вся говорливая толпа приезжих хлынула в рощу и плотным кольцом окружила первую в ряду, правофланговую могилу. Среди серпиловских мужиков и баб тоже возникло волнение, и они ринулись было вслед за приезжими, но поли-

цейские строго осаждали их, должно быть, вразумительно объяснив, что пока им лучше понаблюдать за всем происходящим издалека, а вблизи посмотрят позже, когда могилы будут зарыты.

Мужики и бабы, приученные к послушанию, остались за охранной чертой, вдоль которой неусыпным дозором прохаживались милиционеры-полицейские и несколько молодых крепких ребят в штатском из тайной какой-то охраны высокого областного и московского начальства. Видеть подобных охранников серпиловцам доводилось только по телевизору, и они побереглись вступать с ними в какие бы то ни было переговоры, хотя и милиционеров-полицейских в таком числе и количестве, да еще с дубинками в руках, тоже видели впервые, робели и от этих и все теснее сбивались в молчаливую стайку на опушке березняка, будто коровье стадо в загоне. И лишь несколько самых шустрых и бойких мальчишек безбоязненно просочились сквозь все заслоны и, словно какие лазутчики, приблизились к правофланговой могиле. Их начал было приструнять Артем, но мальчишки легко уклонялись от него, прятались за деревьями, машинами, заводили веселые разговоры с солдатами и казаками-турками. Артем, в конце концов, махнул на мальчишек рукой (охрана мероприятия — это все ж таки не его забота, пусть милиция-полиция получше сторожит), да ему было уже и не до мальчишек.

Начальство, генералы, священники и все остальные гости-свита изготавились говорить речи перед целым сонмом микрофонов, которые на всевозможных треногах и подпорках установили распорядители и телевизионщики в двух шагах от могилы. Артем, изловчившись, тоже нашел себе место в начальственной и гостевой толпе: нельзя сказать, чтоб слишком уж близко к микрофонам, но и не совсем в отдалении, а как раз так, чтоб его хорошо видели и начальство, и гости и понимали (и по достоинству оценили), что хозяевами они без внимания и опеки не оставлены.

Первым говорил губернатор. Дед Витя сроду не видел его и решил послушать, что он провозглашает. Губернаторские слова, усиленные микрофоном, долетали до него через пустырь гулким, многократно повторяемым эхом. Изредка, правда, микрофон, наверное, по недосмотру связистов или по каким-то иным непредвиденным причинам шипел и потрескивал, искажая губернаторскую речь. Но дед Витя, преодолевая все эти помехи и искажения, хотя и с трудом, но понял, о чем губернатор говорил и хотел сказать. Мол, так случилось, что по вине своих вождей наши народы много лет тому назад вступили в кровавую войну, во время которой с обеих сторон погибли миллионы ни в чем не повинных людей. Теперь настало иное время: немецкий и русский народы живут в мире и согласии, и нам надо взаимно помнить погибших наших сограждан. И если будем помнить, то война никогда больше не повторится.

Примерно то же говорил и немецкий губернатор. Микрофон к началу его выступления был налажен и исправлен: слова теперь летели к деду Вите через пустырь по-немецки отчетливо и ясно. Эхо на все лады повторяло их, множило и уносило вверх деревенского кладбища в Серпиловку и еще дальше, за речку и луг.

Единственно, что сердило деда Витю, так это переводчица. Занятая демонстрацией своих нарядов, она следила за речью важного иностранного гостя рассеянно и невнимательно. Он произносил фразу за фразой без запинок и остановок-пауз, а переводчица постоянно путалась, сбивалась, и переводные русские слова выходили из ее уст какими-то корявыми, неверно сложенными друг с другом, и от этого не всегда понятными. Осо-

бенно запуталась переводчица в конце речи, когда гость начал говорить о крови, немецкой и русской, которой было пролито в годы войны очень много, но теперь нам надо взаимно покаяться друг перед другом и взаимно простить друг друга.

Вслед за гражданскими начальниками к микрофону подступили генералы. Говорили они не так пространно и складно, как генералы гражданские, но зато по-военному кратко и доходчиво, словно отдавали приказы и распоряжения. Речи их тоже сильно смахивали одна на другую.

— Солдаты, — вторили один другому генералы, — в войнах не повинны. Они выполняют приказы и платят за эти приказы своими жизнями. И опять о крови, о памяти, покаянии и прощении.

Генеральские речи переводил военный переводчик-лейтенант, более опытный и ответственный в своем деле. Строгие, будто рубленые слова генералов он доносил до деда Вити с полным вразумлением и каким-то особым гортанным переливом. Чувствовалось, что ему очень нравится немецкий отточенный и отшлифованный язык, и переводчик, если приходилось делать для гостей обратный перевод с русского на немецкий, произносил каждое германское слово с нескрываемым удовольствием и наслаждением.

Когда генералы отговорили свои воинственно-примирительные речи, пожали друг другу руки и отдали честь, к микрофону стали зазывать старого немца, который до этого все так же прицельно поводил из стороны в сторону хоботом фотоаппарата-миномета и, словно соревнуясь с телевизионщиками и фоторепортерами, снимал на пленку митингующую толпу. Но старик неожиданно от выступления отказался и даже попятился от микрофонов.

— Найн, найн! — дребезжащим, но неуступчиво-твердым голосом проговорил он. — Данке шеен!

Отказные его слова дед Витя понял и без переводчика: «Нет, нет! Большое спасибо!»

Старика принялись наперебой уговаривать и гражданские начальники-губернаторы, и генералы, и даже священники, но он остался непреклонен, еще сильнее замахал руками и, словно в каком-то забытии, опять повторил свое отречение:

— Найн, найн! Данке шеен!

«Ишь ты какой, — подумал про себя дед Витя, — робеет чего или стесняется».

Отказника еще немного поугovarивали и на русском, и на немецком языках (вся эта разноголосица долетала через микрофон до деда Вити и почему-то тоже сердила его, хотя, казалось бы, какая ему разница — хочет этот капризный немец-старик говорить или не хочет), но, в конце концов, оставили в покое. Старик тут же снова подхватил в руки оброненный было на грудь фотоаппарат и, радуясь свободе, защелкал им навскидку, не целясь, как будто заранее знал, что не промахнется.

Взамен его к микрофонам подтолкнули Артема.

Тот снял шляпу, прокашлялся и, удивляя многих собравшихся, сказал незамысловатую, но вразумительную речь (он еще с советских времен, когда был в колхозе секретарем комсомольской, а после и партийной организации, научился говорить складно и вразумительно, чем всегда заслуживал похвалу начальства и аплодисменты собрания). Не подвел начальство Артем и сегодня.

— Собратья! — одним единым словом объединил он всю примолкнув-

шую толпу. — Мы очень рады, что именно в Серпиловке, где в годы войны шли кровопролитные бои («И этот о крови», — не ускользнуло от деда Вити высказывание Артема), устроено кладбище павших немецких солдат. В те далекие годы они были нашими противниками и врагами, а нынче — просто погибшие люди. И мы обещаем с достоинством и честью хранить их могилы в полном порядке.

Толпа действительно разразилась громкими аплодисментами и одобрительными разноязыкими возгласами.

— Молодец! — отечески приобнял Артема за плечо наш губернатор.

— Гут! Зэр гут, — следуя его примеру, похвалил Артема и обнял за другое плечо губернатор немецкий.

Потом Артему поочередно пожали руку генералы и священники, вроде как благословили его крестными знаменами. Немецкий — своим, протестантским, слева направо, а наш батюшка своим — православным, широким и размашистым, справа налево. Но этой разницы никто, кроме деда Вити, кажется, и не заметил.

Немец-фотограф столь счастливых, зрелищных мгновений не пропустил: длинной непрерывной очередью он успел заснять Артема, застывшего в обнимку с губернаторами, пожимавшего руки генералам и смиренно стоявшего под благословением священников.

Артем от всеобщего повышенного внимания смутился, стал раскланиваться во все стороны, скороговоркой благодарить всех и каждого и незаметно отходить от микрофонов, прятаться за спинами начальства. Свое дело он сделал (и, кажется, неплохо), и теперь ему лучше было скромно затеряться в толпе и не путаться до поры до времени под ногами этого начальства. Оно хорошо его уже заметило и оценило и в нужный момент само вспомнит и снова вызовет в первые ряды. Немалый комсомольско-партийный опыт подсказывал Артему, что так оно всегда было прежде, так будет и нынче.

Оказавшись далеко от начальства, он надел шляпу и внимательно глянул на стайку серпиловцев, словно задним числом старался понять: аплодировали они ему (и как громко и продолжительно) или не аплодировали вовсе, толком не расслышав его речи. Но ничего понять в поведении серпиловцев он не мог. Они стояли темным расплывчатыми тенями за отведенной им чертой, о чем-то негромко переговаривались и томились ожиданием дальнейшего действия в роще. Артему, конечно, можно было подойти к землякам, разузнать об их настроении, приободрить, если надо, назидательным словом. Но он поостерегся это делать. Во-первых, ободряющих этих и назидательных слов у него как-то не находилось. А во-вторых, слишком удаляться ему от начальства было все-таки нельзя — вдруг понадобится по какому-либо неотложному, срочному делу.

Посмотрел, глянул Артем из-под низко опавшей ему на лоб и глаза шляпы и на деда Витю, но тоже не сделал в его сторону ни единого шага, а лишь как бы удостоверился, сидит тот еще на кладбище, прячется за кустом калины — или его давно уже там нет.

* * *

Привыкал, приспособливался к протезу Витька, наверное, с полгода, пока не образовалась теперь уже на культе устойчивая грубая мозоль.

Тетка Анюта, как-то исхитрившись с деньгами, купила ему новенькие ботинки на высокой шнуровке. Витька обул в них обе ноги и почув-

ствовал себя еще более уверенно, чем в первый момент, когда только примерил протез в мастерской у Романа. А до этого он обувал лишь одну здоровую правую ногу, левые же ботинки и сапоги тетка Аня, почему-то не решаясь их выбрасывать, прятала в снях-каморе. Для взрослых безногих фронтовиков продавалась в те годы в магазинах беспарная обувь (хоть на левую, хоть на правую ногу), а вот для детей такого удобства придумано не было. В городской же сапожной мастерской заказ всего на один ботинок или на один сапог брать не хотели. Не выгоден он был, что ли. Лишь однажды дед Кузьма пошил для Витьки яловый, будто игрушечный, сапожок. Но Витька носил эту самодельную крупно прошитую смоляной дратвою и пробитую по подметке кленовыми гвоздиками обувку всего года полтора. Нога у него быстро выросла, сапожок даже без портянки перестал налезать на нее, и тетка, в последний раз смазав изображение деда Кузьмы дегтем, тоже спрятала его в кладовке. Так сапожок и лежал там несколько лет, словно гордясь перед сиротливыми своими собратьями: они все левые, а он один-единственный — правый, да еще и пошитый на заказ...

Первое время Витька ходил на новом поскрипывающем и пощелкивающим в шарнирчике протезе с палочкой и недолго: только по двору и возле дома. А если предстояла какая-нибудь более дальняя дорога, в поле, в лес или в луга, пристегивал старый свой осиновый с двумя высокими лещетками. Но по мере того как на культе образовывалась мозоль и она все больше притиралась в глубокой, похожей на ступку ямочке нового протеза, он настойчиво удлинял дорогу и отказывался от палочки, хотя после затяжных этих путешествий ему опять приходилось отмачивать под присмотром тетки Ани культю в холодной воде.

Вообще если бы не тетка, то Витька, наверное, не выжил бы и сразу после ранения, и в дальнейшей своей инвалидской детской и юношеской жизни. Тетка доводилась ему крестной матерью. Она и относилась к нему, как мать, ни в чем не отделяя от своих собственных детей, Николая и Люды, а даже, наоборот, иной раз заботясь о Витьке больше.

— Вы сироты только наполовину, — назидательно говорила она им, — а он круглый сирота — и без ноги.

Витька в ответ почитал тетку Аню то же словно родную мать (называть ее матерью он привык по деревенскому обычаю еще с самого малого возраста).

Будучи старшим в доме среди детей, он опекал Николая и Люду, как родных своих брата и сестру, всегда уступал им лучший кусочек в еде, берег в работе, заступался на улице и в школе, если кто-нибудь пробовал их обидеть. Когда же тетка Аня постарела и Николай забрал ее к себе в город нанять внуков, Виктор будто осиротел еще раз.

К следующей весне Витька ходил на новом протезе совсем уже бойко. Он приловчился надевать на него и валенок, и даже сапог, чтоб никто не мог отличить, своя у Витьки нога или деревянная. А еще через год по завершении учебы в седьмом классе (в школу он пошел из-за войны и оккупации на две зимы позже) Витька решил на поступок, о котором до сих пор не знает ни одна живая душа.

Сразу после выпускных экзаменов и получения свидетельства об окончании семилетки он поехал подводу в город (возил из маслозавода на колхозную свиноферму отгон-обрат) и постучался в райвоенкомат. Парнем Витька был настырным и изворотливым. Он пробился на прием

к самому райвоенкому, хорошо известному любому парню-допризывнику подполковнику Черноусову.

— Хочу поступить в военное училище, — решительно заявил ему Витька.

— В какое? — заинтересованно спросил его подполковник (многих деревенских ребят, ровесников Витьки, в те годы военные вербовщики зывали в училища, а тут пришел сам).

— В летное! — совсем осмелел Витька.

— Можно и в летное, — и тут поддержал его подполковник. — Если, конечно, пройдешь по здоровью.

— Пройду! — уверенно и серьезно сказал Витька. — На здоровье пока не жалуюсь.

Подполковник внимательно посмотрел на него и протянул чистый листочек:

— Тогда пиши заявление. Через неделю вызовем на медкомиссию. Можно в Борисоглебское, а можно в Качинское.

— В Борисоглебское! — минуту помедлив, сделал выбор Витька (уж больно ему понравилось название города).

— Хорошо, в Борисоглебское, — согласился с ним подполковник и сделал на Витькином прилежно, без единой помарки написанном заявлении какую-то пометку. — Там сам Чкалов учился.

На радостях, что все так удачно у него получилось, Витька резко поднялся со стула, почти уже по-военному повернулся через левое плечо и пошел из кабинета. Но возле самой двери протез его предательски скрипнул и щелкнул в шарнире. Странные эти и подозрительные звуки не укрылись от многоопытного в общении с допризывниками и кандидатами в военные училища подполковника Черноусова.

— Подожди, — остановил он Витьку. — А что у тебя с ногой?

— Ничего, — спокойно и по-мальчишески дерзко ответил Витька.

— Подними штанину! — приказал подполковник.

Деваться Витьке было некуда, он подчинился строгому приказу подполковника и штанину поднял.

— Та-а-к, — изумился тот. — И ты что же, хочешь с протезом летать?!

— Хочу! — поспешно ответил Витька. — Маресьев же летал.

— Летал, — сам опустил и даже отряхнул подвернувшуюся Витькину штанину подполковник. — Но у него на ногах были отморожены только ступни, а у тебя нет ноги почти до самого колена.

— Как это — ступни? — не поверил подполковнику Витька. — Я в книжке читал...

— В книжке — это одно, — вздохнул подполковник, — а в жизни, брат, совсем иное.

Он снова сел за рабочий свой стол, достал из папки Витькино заявление, долго глядел на него, будто надеясь увидеть там что-то новое, дающее ему право все-таки разрешить деревенскому этому мальчишке-инвалиду поступать в военное училище. Но, увы, так и не нашел.

Подполковник зачеркнул на заявлении прежнюю разрешительную пометку и написал новую, коротенькую и безжалостно-неопровержимую: «Отказать по состоянию здоровья».

Смягчая неизбежный свой отказ, он заговорил с Витькой мягко, без военной строгости и жесткости. Похвалил даже:

— Это хорошо, что ты хотел стать летчиком. Но сам подумай, ни в какое военное училище тебя не примут: ни в летное, ни в танковое, ни

даже в интендантское, тыловое. Тебе на бухгалтера надо учиться или в педшколу поступать.

— Не хочу я на бухгалтера! — весь вспыхнул, загорелся Витька и, на глазах у подполковника разорвав заявление, вышел из военкомата.

Поначалу он решил ни за что не сдаваться, написать письмо тогдашнему военному министру, маршалу Советского Союза Василевскому, а может, даже и самому Сталину. Но постепенно Витька остыл. И не потому, что заробел (парень он был как раз не робкого десятка), а потому, что вскоре все слова и предсказания подполковника Черноусова сбылись. Витьку не приняли не только в военное училище, но даже в училище механизации сельского хозяйства, куда он подал было заявление. Не взяли Витьку из-за протеза и на трехмесячные районные курсы трактористов и шоферов. В общем, действительно, одна ему была дорога — в бухгалтера или в сапожники, учеником и подмастерьем к деду Кузьме. Тетка, стараясь смягчить его переживания, настаивала, чтоб Витька сперва окончил в районе десятилетку, а потом уж поступал куда-нибудь учиться дальше: например, на агронома, учителя или инженера, где его увечная нога не будет помехой.

Но в десятилетку Витька не пошел. Во-первых, за учебу в восьмом, девятом и десятом классах тогда еще платили деньги. Пусть не слишком большие, но все равно деньги. А откуда их было тетке при ее колхозных пустопорожних трудоднях и малых детях брать?! Во-вторых, Витьке предстояло бы жить в городе, на квартире, что опять-таки — деньги и отлучка из дома, где без его ежедневной помощи тетке было бы обходиться с малыми этими детьми нелегко. А в-третьих, Витьку при его резком, вспыльчивом характере будто заклинило: раз нельзя в военное училище или хотя бы в училище механизации сельского хозяйства, так ему больше никуда и не надо.

Подманув тетку, что его, переростка, в восьмой класс тоже не берут, Витька пошел с осени в колхоз. Тут никто никаких справок и медосмотров от него не требовал. Можешь трудиться на земле — трудись. Витька и трудился. Поначалу наравне с другими, здоровыми и увечными (здоровых в те послевоенные годы было мало: кто на фронте здоровье потерял, кто во время оккупации, под немцами), обретался на любых рядовых колхозных работах: пахал на пароконном плуге, заготавливал в лесу на расчистке дрова, возил с поля на воловьих упряжках к токам снопы, а зимою к фермам — сено, пробовал даже косить. Но тут у Витьки часто случались оплошности. На высоком месте, на буграх ни на шаг не отставал он от других косарей, а иногда так даже и вел их за собою в длинном ряду. А вот чуть выпадет где топкое болотце, там Витьке приходилось туго. Мужики косили босиком, подвернув повыше штанины, Витьке же с его протезом надо было воды беречься. Деревянная стопа и щиколотка от влаги набухали и после, высыхая, могли в любой момент пойти трещинами, лопнуть. Вода затекала и в сам протез, в ямочку-ступку, войлок и шерстяной носок-чехольчик быстро намокали; культу начинало саднить, будто в самые первые дни, когда Витька только приспособивался к протезу. Помучившись так и раз, и в другой, он выходить на косовицу перестал, хотя и сам огорчался этому, и огорчал бригадира, у которого все мужчины-косари были наперечет.

Повезло Витьке лишь конце пятидесятих годов. По распоряжению Хрущева районные машинно-тракторные станции, МТС, были расформированы, и вся техника передана в ведение колхозов, поближе к земле, как тогда писалось в газетах. В Серпиловке спешным порядком был оборуодован машин-

ный двор, построены гаражи и мастерская по ремонту сельхозтехники. Витька после недолгих переговоров с бригадиром и председателем устроился туда вначале учеником слесаря, а месяца через три уже и полноправным слесарем. К машинам и технике у него была просто какая-то природная способность и талант. Любую поломку он определял не только на погляд, но даже и на слух, чем немало удивлял опытных, с фронтовым еще стажем, шоферов и трактористов. С ремонтом, устранением этой поломки, если, конечно, были запчасти, Витька тоже справлялся быстро, что в весеннюю пахотную страду или в летнюю, уборочную, ценилось на вес золота

Занимаясь ремонтом техники, Витька легко и незаметно даже для самого себя выучился ездить и на автомобилях, и на тракторах любых марок, хоть колесных, хоть гусеничных. После это умение и навык не раз ему в жизни пригодилось. И даже не столько ему, сколько бригадиру и председателю колхоза. Бывало, в самый разгар полевых работ кто-нибудь из шоферов заболит или крепко многодневно запьет (что случалось гораздо чаще), так бригадир с председателем сразу бежали к Витьке:

— Выручай, Виктор Васильевич, больше некому.

И Витька выручал. Неделями не вылезал из кабины грузовой машины, трактора, а то и комбайна: в апреле-мае месяце пахал, сеял, бороновал, в июле-августе убирал комбайном рожь, пшеницу, овес, возил в район на элеватор, не имея шоферских прав, зерно. О своем увечье, о протезе Витька в такие дни напрочь забывал. Ну какое может быть увечье, когда идет такая горячка, битва за урожай, как, опять-таки, любили писать в газетах, который гибнет и без Витькиного участия вовсе погибнет на корню.

В те же годы Витька впервые стал заглядываться на девчонок, а они — на него. Пока он шкандыбал на осиновой подпорке с согнутой в колене и далеко отброшенной назад ногой, девчонок Витька сторонился и робел. А теперь, когда протез его почти неотличим от настоящей живой ноги, когда Витька во всем полноправный работник, как ему было не осмелеть и в клубе, на танцах, не поглядеть то на одну деревенскую красавицу, то на другую, то на третью. Танцевать он тоже выучился (Маресьев на двух протезах танцевал, а он — всего на одном) и смело приглашал этих красавиц и на медленно-томное танго, и на быстролетучий вальс, и даже на искрометную «сербиянку с выходом». Во время танцев он безошибочно и выглядел будущую свою жену — Ольгу Максимовну. Характера она оказалась непреклонно-твердого (хотя на самом деле — ласково-обходительного, о чем, может быть, один только Виктор по-настоящему и знал), как раз такого, какой и нужен Виктору при его вспыльчивости и частом гневе. Чуть он начнет яриться (особенно если выпьет с мужиками лишку где-нибудь возле магазина, в тенечке) — Ольга Максимовна тут как тут. Сразу высвобождает его из пьяного плена, возьмет под белые руки и за воротник и скажет любимую свою прибаутку:

— Ах ты, хромой бес!

Но так скажет, что Виктору иной раз хотелось захромать и на вторую ногу. Во какая у него Ольга Максимовна, не чета всяким иным несообразительным женам-супругам...

Жизнь они с Ольгой Максимовной прожили долгую и, в общем-то, счастливую, чего тут Бога гневить. Детей у них трое: два сына, Василий и Петр, и младшая дочь, которую они назвали в честь матери Виктора Анастасией — Настенькой. Внуков у деда Вити и Ольги Максимовны пятеро и один правнук — тоже Витька.

Пока Виктор был холост, он жил в доме тетки Анюты. В свой, родительский, дом Виктор навещался редко, лишь затем, чтоб вспахать да засеять огород. Без отца и матери он казался ему умершим, будто тоже погибшим на войне, и совершенно непригодным для жилья. А тут еще погреб, который Виктор вообще обходил стороной...

Но когда он женился на Ольге Максимовне, то по общему согласию и по договоренности с теткой Анютой поселились молодожены бездетной еще своей семьей в наследственном, отцовско-материнском, дедовском и прадедовском доме.

За лето они с Ольгой Максимовной отремонтировали его, привели в божеский вид: что надо — побелили, что надо — покрасили. Виктор самолечно перекрыл дом соломой нового обмолота, и он под этой желто-горячей, золотой крышей (будто пасхальное яичко, так говорят о подобных крышах) сразу помолодел и, кажется, навсегда забыл обо всех прежних своих потерях и бедах.

А вот к погребу Виктор никак подступиться не мог. Он долгие годы стоял еще разоренным, с зияющее-провальным, обрушенным сводом. На стенках погреба были видны следы от осколков гранаты, а в нескольких местах, понизу, Виктору даже чудилась запекшаяся, несмываемая кровь. Он хотел было вообще погреб зарыть, сравнять его с землей, чтоб всего этого каждодневно не видеть и не терзать душу. Но Ольга Максимовна остановила его:

— Будет еще хуже!

Уж кто-кто, а она, наблюдая всю маету Виктора, знала, что зарой он погреб, живым похорони, так после как жить при этой могиле, как растить детей и внуков?

Виктор послушался Ольгу Максимовну, раздобыл хорошего обжигного кирпича и в несколько дней восстановил погреб, свел над ним воедино разрушенный немецкою гранатою свод-купол. А вот осколочные следы-рытвины и причудившуюся ему кровь заделывать не стал и велел не заделывать их Ольге Максимовне.

— Пусть сохраняются, — попросил он ее.

— Пусть, — без промедления согласилась с ним чуткая Ольга Максимовна.

Но и в обновленный погреб Виктор заходил редко, разве только в те дни, когда нужно было закатить туда бочки для засолки огурцов, помидоров и капусты. В остальное же время сторонился его, чувствуя в душе недолимый запрет и преграду. Ольга Максимовна и тут ни разу Виктора не приневолила, зримо видела и чуяла этот его запрет и эту преграду. Погреб она обихаживала, содержала в полном порядке и чистоте сама. И мало того, что содержала, так еще и повесила там икону Божией Матери Заступницы, а во все поминальные дни ставила перед той иконой на специально заведенной дощечке семь свечей в память о погибшей матери Виктора, ее подругах-соседках и детях. Погреб при сиянии поминальных свечей светлел, рытвины и кровь как будто навсегда исчезали с его стен, и он напоминал подземную церковь, почти подобную тем, которые Виктор видел однажды в Киево-Печерской лавре, в Ближних и Дальних пещерах.

Но на душе у него при виде высоко горящих в погребке поминальных свечей легче и светлей не становилось. А наоборот, душа его тяжелела и будто наливалась свинцом и камнем. Осенний смертельно-погибельный

день сорок третьего года всплывал в памяти Виктора ясней и четче, во всех подробностях: вот шаткая погребная дверца широко распахивается от удара немецкого сапога (с каждым годом этот удар казался Виктору все более сильным и безжалостным), вот граната на длинной ручке с визгом и свистом летит из погребного зева, и сразу за этим — взрыв, вспышка, предсмертный крик детей и женщин, безумный толчок матери, а дальше — нестерпимая боль в ноге и полная темнота.

Виктор, не выдерживая этих видений, прятал в карман бутылку водки, случайно попавшуюся под руку закуску и уходил на кладбище.

В первые по женитьбе годы Ольга Максимовна порывалась идти вместе с ним, но Виктор угрюмо останавливал ее:

— Я — один...

Ольга Максимовна вздыхала и оставалась дома. Правда, несколько раз за день она выглядывала за калитку и тайком наблюдала за Виктором, как он, нахохлившись, сидит на лавочке возле могилы матери, но приблизиться не решалась, безошибочно чувствуя, что ему действительно лучше там побыть сейчас одному.

Совместно они ходили на кладбище лишь на Радоницу, когда там собиралось все село. Тут Виктор Ольгу Максимовну не останавливал, как не мог остановить и остальных односельчан, пришедших помянуть своих сродственников. Печаль и скорбь в этот день для всех одна...

С годами Ольга Максимовна все же придумала, как смягчить в поминальные дни тяжесть и ожесточение Виктора. Едва затеплив в погребке свечи, она сама увязывала ему узелок с выпивкой и закуской, помогала сойти с крылечка и долго смотрела вслед, как будто он уходил из дому безвозвратно.

Виктор действительно смягчался и, оглядываясь на Ольгу Максимовну, порывался все же взять ее с собой, но так ни разу и не взял. Там, на могилах, он в одиночку пил водку, молчал и с каждой новой выпитой рюмкой молчал все тяжелей и тяжелей. И никто не смел нарушить его молчания...

* * *

Ответной речью-обещанием Артема митинг и закончился. Теперь наступало во всех торжествах главное событие — похороны. Уплотняя толпу, поспешно выдвинулись к гробу-ящичку оба священника. Немецкий открыл книжечку и начал читать по ней, должно быть, какую-то молитву, но не очень громко и напевно, а как-то неразборчиво, с частыми разрывами в словах, будто про себя. Читал ли какую молитву наш батюшка, дед Витя расслышать и определить не мог. Уступив главенство немецкому пастору, батюшка стоял в нескольких шагах от микрофонов, к тому же, кажется, и растерялся, не зная, читать ли ему поминальную молитву совместно и в один голос с немецким священником или ждать своей, отдельной, очереди.

Но он так ее и не дождался, потому что едва немецкий его соратник произнес (на этот раз громко и отчетливо) последнее в молитве слово: «Аминь!», как по приказу командира-начальника к гробу выметнулись два солдата, заученно подхватили его на ремни (чувствовалось, что этой сноровке они долго и упорно тренировались) и в одно мгновение опустили в яму.

Немецкий пастор перелистнул в книжечке несколько страничек и,

глядя в провальное дно ямы, прочитал еще какую-то совсем уже краткую молитву. Наш батюшка теперь оказался проворнее: он тоже сказал несколько слов, но была ли это молитва или просто подходящие к случаю мирские слова, дед Витя опять не разобрал.

Солдатики и выскочившие им на подмогу откуда-то из засады четверо казахов-турков в новеньких, похоже, специально выданных им к сегодняшнему дню робах взялись было за лопаты, но тут вдруг произошло небольшое замешательство. Упреждая их порыв, немецкий пастор что-то сказал своим соплеменникам, и те, подступив к самому краю могилы, стали бросать в нее комья песчаной осенней земли. Первым бросил старик-немец. Но не сразу, а после долгой задерживающей всех остальных подготовки. Прежде всего, он зачехлил и передвинул для удобства далеко за спину фотоаппарат, потом достал из кармана черные перчатки и, тщательно притирая их и разглаживая на пальцах, натянул по самые запястья. Но и этого старику показалось мало. Наклоняться без опоры-подмоги к земле ему было опасно, и он, выбросив далеко вперед толстую свою палку, долго тыкал ею в нетронутый травянистый дерн, отыскивая необходимое равновесие. Когда же нашел, то оперся одной рукой на ржавяющий наконечник палки, а другой, подавая пример соплеменникам, расчетливо бросил в яму три горсти земли. На ярком осеннем солнце, в это мгновение выглянувшем из набежавшей было тучи, наконечник палки и металлические застежки перчаток ослепительно блеснули, но деду Вите показалось, что блеск этот какой-то тусклый, словно мертвый.

Вслед за стариком принялись бросать землю и остальные немцы: кто голыми озябшими руками, а кто — тоже успев надеть перчатки.

Наши хозяева-гости во главе с губернатором, столпившиеся уже в стороне от могилы, замешкались и, не зная, как им надлежит поступить — бросать землю или не бросать, — стояли в растерянности. Все смотрели на губернатора, ожидая от него решения и подсказки. Но и губернатор подрастерялся, беспокойно заглядывался по сторонам, будто сам искал там какого-нибудь выхода из создавшегося положения. И, к своему удивлению, почти мгновенно нашел его.

На глаза губернатору как нельзя кстати попался Артем, который неприметно, но весь на стреме и изготовке стоял позади больших и малых начальников. Губернатор, не долго думая, опять обхватил его за плечо и без лишних разговоров повелительно подтолкнул к земляной насыпи.

Артем быстро сообразил, чего от него требуется. Проваливаясь в могильном, оплывающем под ногами грунте по самые щиколотки и пачкая штанины выходного костюма, он взобрался на вершину бугорка, глубоко зачерпнул ладонью горсть сырого, влажного песка и прицельно бросил его в яму. Ладонь у Артема была широкая с длинными увертливыми пальцами, и песка набралось в нее на добрую штыковую лопату. Секунду-другую помедлив, пока первая горсть рассыплется поверх крышки гроба и смешается с комьями, брошенными немцами, он еще дважды зачерпывал с бугорка широченной своей ладонью-лопатой. Но бросал теперь землю не сразу, а постоянно оглядываясь на губернатора (так ли все, правильно ли делает), долго и мелко разминал, размягчал ее пальцами и лишь после этого, размахиваясь из-за плеча, россыпью и веером кидал, будто сеял зерно, с одного края могилы до другого.

Старик-немец, успевший уже разогнуться и опять завести на грудь фотоаппарат, в упор щелкнул им по Артему, и этот снимок, похоже, был самым удачным из всех, которые старик сделал за все утро.

Подражая Артему, по малой (будто переведенной с русской на немецкую) горсточке земли метнули в яму переводчики и переводчицы: и губернаторские, и генеральские, и даже неприметный семинарист-попик в клобучке-чепчике. Им как бы и нельзя было не бросить, нельзя было отстраниться от своих подопечных-немцев, с которыми они за время служения так близко сошлись и сроднились.

К земляному бугорку потянулись еще несколько человек из начальственной свиты, но, вовремя глянув на губернатора, который к могиле не подходил, а увлеченно беседовал с немецким коллегой и генералами, они от бугорка отпрянули, решив, что губернатор, несомненно, во всем прав и вполне достаточно участия в ритуале главы местной администрации Артема и переводчиков.

Да они уже и не успели со своим порывом. Как только последние комья земли, брошенной переводчиками, исчезли в неглубоком провале могилы, командир-начальник дал отмашку солдатам и казахам-туркам, и те в четыре лопаты начали поспешно и обвалью зарывать ее. Когда земли там набралось чуть больше половины, солдатики (опять-таки, заученно и натренированно) положили в изголовье ее мерную рейку, а казахи-турки в два-три приема установили на необходимой высоте похожий на обрубок водяной сваи надгробный столбик. После, конечно, по весне, когда грунт осядет и уплотнится, могилу придется разрывать, а столбик — цементировать, иначе он завалится на сторону или уйдет в землю по самую макушку. Но все это потом, в окончание долгой холодной зимы, а сейчас главное, чтоб столбик стоял по уровню, на заданной высоте и обозначал, что немецкое кладбище уже есть, уже существует.

Дождавшись, пока солдатики и казахи-турки довершат обустройство первой в ряду, правофланговой могилы, заметно поредевшая толпа вслед за священниками перешла к соседней. Никакого митинга там уже не затевалось, речей никто не произносил, один лишь немецкий пастор ускоренно прочитал из книжечки молитву и уступил место могильщикам, которых набралось теперь человек до десяти. С похоронной своей работой они сообща справились много быстрее, чем возле первой могилы, — всего через каких-нибудь десять минут бетонный столбик-свая уже возвышался над невысоким песчаным бугорком.

К третьей и четвертой могилам толпа поредела еще больше. По крайней мере, наш и немецкий губернаторы со своими свитами и переводчиками туда не пошли, а вернулись на твердый пятак, поближе к машинам. Их примеру последовали генералы и даже немец-старик с фотоаппаратом.

Оно и вправду — не ходить же им от могилы к могиле по узеньким междурядьям-просекам, скользя по выброшенной из ям земле, и спотыкаться о пеньки спиленных во многих местах берез. Никакой необходимости в этом уже нет: что нужно было сказать — сказано, траурные почести и дань погибшим — отданы, и возле остальных могил теперь идет хотя и скорбная, но, в общем-то, рядовая работа. Там вполне достаточно священников, солдат и казахов-турок во главе с прорабами и командиром-начальником — да Артема, который догадался по доброй воле откомандироваться туда, представляя сразу все власти, начиная от самых высших, московских и областных, и заканчивая местными, низовыми. Мужик он расторопный, деловой и вполне справится самостоятельно, без руководящих указаний.

И Артем действительно справился. Терпеливо выслушивал краткое чтение немецкого священника-пастора, вступал в задушевный разговор с нашим немного растерянным батюшкой, чем, кажется, приободрял его, бросал в каждую могилу по три обязательные горсти земли, давал дельные советы могильщикам, а иногда так и сам брался за лопату.

Пока шла неустанная эта погребальная страда, гости на пяточке, дожидаясь ее окончания, томились, то разбиваясь на отдельные группки, то опять соединяясь вокруг губернаторов и генералов в одну общую колышущуюся толпу.

Неутомимый немец-старик тоже уgomонился, но в продолжительные беседы ни с кем не вступал, а пристально поглядывал на село да на все еще запертых в загоне милиционерами-полицейскими серпиловцев, словно хотел там увидеть кого-то знакомого. Не обносил он дальнoзорким своим взглядом и деревенское кладбище-погост. Там старик опять высмотрел деда Витю и удивился, почему этот деревенский мужик в русской стеганке-телогрейке одиноко сидит на лавочке за могильной оградой (да еще и прячется в тени жиденьких с почти уже облетевшей листвой зарослей), а не присоединяется к односельчанам, которых вот-вот выпустят на свободу.

Ловко, словно артист-фокусник, поиграв палкою, старик даже сделал в сторону кладбища и деда Вити несколько шагов, но в это время на пяточке все пришло в движение и совсем уже в праздничную суету. Не занятые в похоронах солдатики и какие-то посторонние молодые ребята и девчонки в голубеньких мундирчиках с галстуками (официанты или какие-нибудь другие прислужники, как догадался дед Витя) расставили по всему периметру пяточка длинные раскладывающиеся столы и покрыли их белоснежными скатертями. Через минуту на этих столах появилась и водка, и всевозможные закуски, которые официанты-служки проворно выносили из отдельной поварской какой-то машины-кухни.

Толпа, увлекаемая губернаторами, стала окружать эти столы, разбираться вокруг них согласно своим рангам и должностям. Старику-немцу место было определено за столом, предназначенным для начальства и особо почетных гостей, как всегда это и делается во время праздничных банкетов (дед Витя ни разу в своей жизни на них не присутствовал, но видел в кино и по телевизору): рядовые гости стоят впритирку, плечом к плечу, за общими столами-братинами, а президиум и гости почетные, особо отмеченные и приближенные, — за отдельным, поставленным на особицу, в отдалении от общих братин и поперек им. По наблюдениям деда Вити, на столах этих выпивка и закуска тоже были особые и в особом изобилии: коньяки, разных сортов водка и вина, прохладительные напитки и фрукты. Само собой разумеется, что и посуда на стол президиума выносилась отдельная, хрустальная и фарфоровая, высокого качества, а на общих — пластмассовая, разового пользования.

На нынешних столах все было организовано точь-в-точь как в кино и в телевизоре. Стол президиума, поблескивая на солнце дорогими бутылками и дорогой посудой, возвышался на самой маковке бугорка, рядовые же как бы стекали в низинку, к пустырю.

Поминальное торжество-трапезу можно было уже и начинать, но наш губернатор медлил, позволения и команды пока не давал, дожидаясь священников.

Те появились минуты через три-четыре в сопровождении благостно-покорного воцерковленного переводчика и Артема, утомленные затынув-

шейся службой, припорошенные березовыми листьями и могильной землей. Место им было определено в президиуме, в самой середине стола, между губернаторами и генералами.

Артем, доведя священников до президиума и сдав их из рук в руки начальству целыми и невредимыми, скромно попятился к столам рядовым, в самый конец их и завершение, где заняли себе места журналисты. Но губернатор повелительным жестом остановил его и указал место за столом президиума в соседстве с немцем-фотографом. Противиться губернатору Артем не осмелился, хотя там, в конце рядовых столов в толпе журналистов — людей на поминках в общем-то случайных и необязательных (они все-таки на работе: сделали свое дело, что надо — засняли на пленку, что надо — записали в блокнотиках — и давно бы могли уехать), — он чувствовал бы себя свободнее и вольнее (там и выпить можно было бы побольше и без оглядки). Но слово губернатора — закон, и Артем, сняв шляпу, пристроился рядом со стариком и сразу затеял с ним, призывая на помощь переводчицу, какой-то дружеский, застольный разговор.

Еще через пару минут подошли к столу президиума несколько милиционеров-полицейских в серьезных, важных чинах: полковники и подполковники. Полицейские же рангом пониже продолжали исправно нести охранную бдительную службу. Серпиловцев они наконец-то из заточения выпустили и позволили им беспрепятственно разглядывать свежие захоронения, но к столам подходить близко не советовали. Да серпиловцы по деликатности своей и сами туда не стремились, хорошо понимая, что на них за столами не рассчитывали (это сколько же надо выпивки и яств, чтоб упоить и укормить полсела). Пусть там трапезничает от имени и по поручению крестьянского сообщества Артем, деревенский их самый главный начальник. Он в трапезах-застольях толк и обхождение понимает и после, если не загордится, то расскажет, что там было и как: какая выпивка, какая закуска. Рассказывать Артем умеет еще лучше, чем выпивать и закусывать. Впрочем, народу в стайке, за чертой, к концу погребений задержалось совсем мало. Многие, посмотрев издали только начало митинга и похорон, разошлись по домам. Смотреть было вроде бы больше и нечего. Возле каждой могилы в березовой роще работа шла однообразная и скорая, будто на конвейере: священники, солдатики и казахи-турки трудились неразгибно. Подсобить им — это, конечно, совсем иное дело, а просто безучастно смотреть, ротозействовать — как-то оно вроде бы и нехорошо, не по-людски и не по-человечески. В березняке остались лишь старики, старухи да дети-подростки, свергшиеся с деревьев. Обретя свободу, серпиловцы стали бродить между рядами, читать, каждый по своему знанию, надписи на столбиках на немецком и русском языках. Именных надписей там было не так уж чтоб и много, да и то — лишь в начальных рядах, а на дальних темнели одна под другой надписи «Томб офте Унковн» — «Неизвестный».

Вслед за серпиловцами, наскоро собрав лопаты и другой шанцевый инструмент, уехали с похорон и солдатики. (Самовольно, как журналисты, занять места за столами они, понятно, не смели.) Поторапливаться солдатикам был особый резон. Если нигде не застрянут в дороге, то как раз успеют в гарнизонную столовую к обеду. А он сегодня особый, субботний, с наваристым борщом, с кашей перловкой или макаронами «пофлотски» и главное — с густым розово-красным киселем вместо обычного жиденького чая.

А вот для вольнонаемных казахов-турков время обеда еще не настало, и они, вытесняя из рощи последних серпиловцев, принялись совковыми лопатами и метлами зачищать междурядья, подравнивать, где необходимо, надмогильные бугорки и неровно в спешке поставленные столбики. Негромко, на малых оборотах заурчали и уползли к дальнему соприкасающемуся с деревенским погостом краю березняка два трактора: малый, экскаваторный, с выброшенной вперед, будто какой хобот, ковшом-землечерпалкой и тяжелый, играющий на солнце отполированным до серебряно-стального блеска бульдозерным ножом. Наверное, там, на окраине вновь обретенного немецкого кладбища, была какая-то срочная земляная работа, с которой казахи-турки вручную справиться не могли. А может, просто кто-то из распорядителей торжеств решил спрятать трактора куда подальше, чтоб они своим видом не мешали проведению заключительной части этих торжеств — банкета-поминок.

Пора было уходить домой и деду Вите. Ему тоже развлекаться тут больше нечем, на огороде ждет капуста, и если не терять время попусту, не прохладяться, то к вечеру ее можно будет потихоньку срубить и свезти на тачке ко двору и тем порадовать Ольгу Максимовну.

Дед Витя в последний раз оглядел материну могилу, снял с креста несколько только-только опавших листиков и вышел за ограду.

— Ну, мать, — поклонился он могиле и сказал так, как всегда и говорил при расставании, — прощай пока. В следующую субботу приду.

— Прощай, — молодым и вовсе не грустным голосом ответила мать, а может быть, это деду Вите лишь послышалось в шелесте березовых высоких ветвей и калинового усыпанного гроздьями-кловинками куста.

За оградой он надел шапку, половчей приладил в руке палочку-посошок и твердо встал на протоптанную за долгие годы хождения к матери песчаную тропинку. Но тут дед Витя вдруг услышал, как позади него кто-то заполошно и надрывно кричит:

— Виктор Васильевич! Виктор Васильевич! Подожди!

Дед Витя оглянулся и увидел, как через пустырь, заплетаясь широкими брючинами в осеннем порыжевшем бурьяне, к нему бежит Артем.

— Чего тебе? — любопытства ради задержал шаг дед Витя, немало дивясь, почему это Артем вдруг стал окликать его по имени-отчеству, а не так, как привык по обыкновению, в повседневной жизни, — дедом Витей.

— Тебя Юрий Иванович зовет!

— А кто такой Юрий Иванович? — перекинул посошок из руки в руку дед Витя.

— Ну ты даешь! — неподдельно возмущился Артем. — Губернатор наш.

— И зачем я понадобился нашему губернатору? — повесил на посошок сумку с пустой четвертинкой дед Витя.

— Поговорить хочет. С гостями познакомиться. Я рассказал ему о тебе.

— И что же ты рассказал ему? — вскинул отяжелевший взгляд дед Витя на фетровую шляпу Артема, которая опять наполнила тому на самый лоб.

— Так, все рассказал, — забеспокоился под этим взглядом Артем, — что ты в Серпиловке теперь, считай, последний, кто помнит войну, кто пострадал на ней.

— Некогда мне! — отрывисто и резко ответил дед Витя и, отстранив Артема, зашагал по тропинке.

Но Артем не отставал, крутился, словно какой вьюнок, вокруг него, загоразивая дорогу и уговаривая на все лады:

— Неудобно же, Виктор Васильевич. Тебя все ждут.

— Неудобно штаны через голову надевать, — начал уже всерьез заводиться дед Витя, и Артем прекрасно знал, что ничего хорошего это не сулит.

Он прильнул к нему с другого боку и проговорил с обидой и жалобой в голосе:

— Меня ругать будут. Я же обещал...

— Зря обещал! — не стал больше слушать его дед Витя.

Но шаг он все-таки опять замедлил и дальнозорко посмотрел в сторону застолья.

Там, прервав трапезу, и хозяева, и гости действительно ждали, чем закончатся переговоры Артема с дедом Витей. Они с напряжением и любопытством наблюдали за ними, а немец-старик даже нацелился своим минометным фотоаппаратом.

— А этот что? — ткнул в него посошком дед Витя. — Небось воевал у нас?

— Бог его знает, — уклонился от прямого ответа Артем. — Но говорит — ветеран.

— Эсесовец, поди, — завелся еще больше дед Витя. — Там только такие верзилы и были.

Он еще раз посмотрел на все застывшее, безмолвное застолье и вдруг в одну минуту переменял свое решение, как это нередко случалось с ним и в обыденной жизни, особенно если дед Витя выпивал рюмку:

— Ладно, я пойду!

Он свернул с тропинки на пустырь и, почти не помогая себе посошком, не прислушиваясь, как поскрипывает и саднит культую распатавшийся за день протез, пошел к празднично-поминальным столам.

Артем семенил рядом, без умолку болтал и похвалялся, что и наш, и немецкий губернаторы твердо обещали проложить к Серпиловке асфальт, провести газ, а может быть, даже и воду. Но дед Витя мало его слушал, а все поглядывал и поглядывал на подвыпивших уже поминальщиков и в первую очередь — на старика-немца, который, не переставая, целился в него и щелкал фотоаппаратом.

На подходе к пятачку-площадке Артем ловко подхватил деда Витю под локоть и, минуя рядовые, на добрую треть уже опустошенные столы, подвел его к президиуму, где водки и закусок не убывало.

— Вот, — легонько подтолкнул он туда своего пленника. — Виктор Васильевич, я вам говорил, ветеран наш и герой войны.

— Очень рады, — потеснив священников и генералов, освободил губернатор рядом с собой место для деда Вити.

— Чему рады? — помедлил дед Витя занимать это место.

— Рады познакомиться, — немного смущаясь, протянул ему руку губернатор, не привыкший к подобным разговорам с собой.

Молодую холеную эту руку дед Витя пожал и стал выжидать, что будет дальше.

Губернатор попробовал было знакомить его с соседями по застолью, нашими и чужими, но вовремя догадался, что прежде знакомства надо все ж таки деду Вите, ветерану и герою, налить рюмку.

Он дал знать об этом стоящему прямо у него за спиной официанту. Но когда тот потянулся за бутылкой, ловко перехватил ее у него и начал

самолично наливать деду Вите водку в махонькую прозрачно иссеченную затейливыми узорами рюмку.

— Я с такой тары и такими дозами не пью, — неожиданно остановил его дед Витя.

Губернатор, подождав, пока переводчица переведет его слова иноземным гостям, не смог сдержать улыбки и откровенно загордился перед этими гостями: вот, мол, какие у нас, у русских, ветераны и герои войны — с мелкой тары и мелкими дозами не пьют. Он потянулся за фужером, расчерченным точно такими же, как и рюмка, узорами, но потом что-то шепнул службе-официанту, и тот неведомо откуда раздобыл и водрузил на стол граненый двухсотпятидесятиграммовый стакан.

Теперь уже совсем широко и по-свойски улыбаясь, губернатор с пониманием дела и, чувствуялось, немалым опытом принялся наливать водку, которая утромно побулькивала и будто сама поскорее рвалась из бутылки. Но на половине стакана он горлышко бутылки оторвал и вопросительно посмотрел на деда Витю.

— Лей, лей, — поторопил его тот. — Водка, поди, не твоя — казенная.

— Казенная, — подыграл деду Вите губернатор и еще больше загордился им перед иностранными гостями. Заодно загордился и собой, своим откровенным, открытым разговором с народом, от которого ему утаивать и скрывать нечего.

Когда стакан наполнился по самый венчик и ободок, дед Витя взял его твердой, недрогнувшей рукой, внимательно оглядел все застолье, начиная от заглавного поперечного стола и заканчивая стоящими продольно, вниз по склону, и вдруг опять озадачил, спросил молодого губернатора:

— И за что же вы тут пьете?!

Губернатор на этот раз гордыню свою смирил, вспыхнул и зарделся, словно красная девица, и с трудом нашелся, что ответить деду Вите:

— Похороны, сами понимаете...

— Ну, за эти похороны я пить не буду, — подвинулся поближе к столу, чтоб поставить на него стакан, дед Витя.

Иностранные гости, дожидаясь, пока толмачи объяснят им, что там за разговор затеялся между губернатором и ершистым русским стариком-инвалидом в шапке ушанке, потертых штанах и телогрейке-стеганке, которую они прежде видели только в кино, по-гусиному вытянули в сторону переводчиков головы и насторожились в предчувствии чего-нибудь особо веселого и развлекательного. А наши заволновались и встревожились всерьез. Они с удвоенным вниманием стали прислушиваться к переводчикам, надеясь, что те как-нибудь смягчат, скрадут слова деда Вити и тем выручат губернатора, в общем-то, по своей воле и легкомыслию попавшего в эту неожиданную переделку.

Но выручил его сам дед Витя. Глянув на побагровевшее растерянное лицо губернатора, он стакан не поставил, а наоборот — еще крепче зажал его в заскоружлой горсти и сказал как бы только одному своему собеседнику:

— А вот за нынешнюю Дмитриевскую субботу я выпью. Знаешь, что такое Дмитриевская суббота?

Ни губернатор, ни многие другие, приехавшие вместе с ним областные и московские гости, не знали. Но им ловко и вовремя подсказал наш внимательный ко всему происходящему батюшка. Он из-за плеча немецкого пастора в двух-трех доходчивых словах все объяснил губернатору.

Тот сразу подобрел лицом, успокоился, улыбнулся деду Вите, может быть, даже опять скрытно гордясь им. А иноземным гостям все было без разницы. Если они мало чего поняли из разговора деда Вити с губернатором, то тем более ничего не поняли насчет Дмитриевской субботы, которая у них, в немецкой стороне, не празднуется и не отмечается. Они теперь с нескрываемым страхом смотрели на стакан деда Вити, не веря, что тот в один раз и присест выпьет его.

Но дед Витя выпил. Не торопясь и не поспешая, мерными расчетливыми глотками, внимательно следя, чтоб ни единая капля не обронилась ему на подбородок. Когда же стакан опорожнился, дед Витя аккуратно поставил его на край стола и закусил малым ломтиком хлеба с колбаской.

Теперь все ожидали (и губернатор, кажется, в первую очередь), что почетный гость, ветеран и инвалид, поблагодарит за угощение и потихоньку уйдет домой. Все, что надо было знать о нем, они узнали от Артема. Хотелось, конечно, и посмотреть на героя, о котором Артем так вдохновенно рассказывал, чтоб удостовериться — не перебрал ли он, не переборщил ли в своих похвалах. Они посмотрели и удостоверились (втайне решив, что все ж таки переборщил), и на том их интерес к деду Вите пропал. Делать ему тут вроде бы больше нечего, тем более, как им казалось, хорошо выпивши.

Но дед Витя сам не ушел, а, повернувшись к старику-немцу, вдруг почти в самый окуляр фотоаппарата и в грудь ткнул его посошком:

— А ты чего приехал?! Воевал небось у нас?!

— Найн, найн! — похоже, без переводчика понимая деда Витю, замахал тот руками. — Нихт им Криег!

— Ладно тебе — нихт! — не отставал от него дед Витя. — Эсэс поди?

— Найн эсэс! — еще пуще заволновался старик. — Их бин ейн Инфантерист¹.

— Теперь вы все пехота, — подловил его на этой оплошности и невольном признании, что воевал, дед Витя.

Переводчики опять все путано пересказывали и сглаживали, чтоб слова деда Вити не слишком задевали иноземных гостей. Но те на этот раз поняли их правильно, только идти на помощь старику, словно сговорившись, почему-то не решились, а оставили его один на один с дотошным дедом Витей. Растерялись даже генералы и священники.

Минута установилась тяжелая и напряженная. Чтоб разрядить ее, надо было, наверное, вмешаться нашему губернатору, но тот опять не нашелся, как это поумней и поделикатней сделать.

А дед Витя, между тем, повторно ткнул старика в окуляр и, отстраняясь от стола, как бы даже вознамерился подойти к нему вплотную:

— А раз пехота, так, значит, это ты и бросил нам вон там, в селе (он указал посошком на Серпиловку), в погреб гранату.

— Найн, найн! — стараясь улыбаться и свести все в шутку, загородился от деда Вити фотоаппаратом и палкой старик.

— Ну, не ты, так такой, как ты! — вроде бы смягчился тот, но, чуть помедлив, указал посошком на возвышающиеся невдалеке остатки бывшей колхозной фермы. — А вон там, в конюшне, ты, случаем, не сидел, воду по-собачьи из корыта (дед Витя показал — как) не хлебал?!

Старик, проследив, куда указывает дед Витя, тоже немного помолчал, покрепче оперся на палку и вдруг произнес:

¹ Пехотинец (нем.).

— Я, я! (То есть да, да — сидел.)

— Ну, стало быть, и гранату ты бросил. И нечего отпираться! — совсем добил его дед Витя.

Старик, дождавшись перевода, начал о чем-то долго и горячо говорить, размахивать палкой и все время забрасывать за спину непокорный фотоаппарат. Но дед Витя его уже не слушал (и не слушал никого иного). Он неожиданно для всех высоко поддернул на левой ноге штанину и белые подштанники, которые, начиная с сентября месяца, чтоб не мерзла культя, начинал носить, показал немцу прихваченный двумя ремешками за худую костлявую голень старый измочаленный протез:

— Это твоя работа! Фотографируй на память!

Немец сбился с пространной своей речи, забормотал что-то невнятное, а губернатор, видя, что назревает и затевается скандал, за который в первую очередь придется отвечать ему, поманил к себе Артема и с раздражением приказал:

— Уводи его отсюда!

Дважды повторять Артему приказ не надо было. Он тут же обхватил деда Витю за плечи и почти силком начал уводить из-за стола.

— Пойдем, пойдем, — настойчиво уговаривал он его. — Ольга Максимовна, поди, заждалась.

Но дед Витя, опустив штанину, стоял твердо и никуда идти не собирался. На обманно-ласковые уговоры Артема он ответил резко, будто ударил наотмашь:

— Ничего, подождет! Она у меня терпеливая.

На помощь Артему подоспели два милиционера-полицейских, но дед Витя прикрикнул и на них:

— А ваше какое дело?!

Но когда к нему, оставив гостей, сердито подошел сам губернатор, дед Витя вроде бы как подчинился ему, отпрянул от стола и сделал несколько шагов вслед за Артемом и полицейскими.

Все облегченно вздохнули и потянулись за бутылками, чтоб окончательно разрядить обстановку. Но дед Витя в следующее мгновение, вырвавшись из-под опеки, цепко схватил немца-старика за рукав и развернул его лицом к деревенскому кладбищу-погосту:

— Пошли, коли гонят!

— Вогин золлте ман гээн?² — попробовал было сопротивляться немец, но дед Витя посильней подтолкнул его в спину:

— Шнель! Шнель! Сейчас увидишь — куда! — и снова повторил: — Шнель! — вдруг вспомнив, как осенью сорок первого года немецкие надсмотрщики и полицаи гоняли их с матерью копать недокопанную колхозную картошку и все шнелькали, поторапливая прикладами автоматов и палками, которыми были вооружены.

Немец вырываться от деда Вити не посмел, а лишь несколько раз оглянулся на застолье и покорно пошел впереди его, будто под конвоем.

Так они и брели через весь насквозь продуваемый вдруг похолодавшим ветром пустырь: впереди, опираясь на толстую лакированную палку, — немец, а в шаге от него — дед Витя с рябиновым посошком-палочкой.

В полном одиночестве, один на один, заботливое начальство, правда,

² Куда идти? (Нем.)

их не оставило. Тут же вдогонку за стариками был послан доброволец Артем, милиционер-полицейский и переводчица в ботфортах. Подхватив на плечо камеру, за ними ринулся было еще и телевизионный оператор, пьяненький и оттого самовольно-решительный, но какая-то начальствующая над ним дама удержала его за рукав, своевременно почувствовав и сообразив, что ничего больше снимать не надо и что за столом президиума намерение оператора не одобряют.

Переводчицу дед Витя принял, а на Артема и милиционера-полицейского взъярился и погрозил им сумкою с остатками еды и пустой четвертинкой:

— Не бойтесь, не задущу я его!

Полицейский и Артем под замахом деда Вити на минуту остановились, потоптались в бурьяне, но ослухаться начальства и повернуть назад не рискнули. Отпустив деда Витю, немца и переводчицу на несколько шагов вперед, они двинулись за ними бдительным, неотвязным дозором.

Дед Витя раз-другой оглянулся на них, для острастки опять погрозил сумкою и посошком, но вскоре перестал об этом стерегущем дозоре и думать: идут, ну и пусть себе идут — тоже ведь какая-никакая служба.

С переводчицей, которая, путаясь и заплетаясь в бадылях полыни и дурнишника тоненькими нестойкими каблучками, постоянно отставала, дед Витя никаких разговоров не вел (не о чем было ему пока с ней разговаривать). А вот немцу время от времени подсказывал:

— Прямей иди, прямей!

Немец опять самостоятельно, без подсказки переводчицы понимал, чего от него требует дед Витя, подчинялся ему и широким упорным шагом, действительно никуда не уклоняясь, шел точно по прямой линии к деревенскому кладбищу-погосту.

Остановились они возле материной могилы. Дав немцу немного отдышаться, дед Витя подвел его к самой ограде и указал на бугорок-холмик:

— Здесь мать моя лежит. От гранаты твоей в погребке погибла.

На этот раз немец дождался от переводчицы подробного перевода, о чем-то даже переспросил ее. Но на слова деда Вити никак не откликнулся: выпрямившись во весь свой немалый рост, он молча стоял у ограды, изредка лишь зачем-то постукивая палкой о ее крашенные штакетины.

Дед Витя, признаться, и не ожидал, и не требовал от немца никаких слов. Молчит — и ладно, вот только палкой стучать о штакетины ему незачем.

Пытаясь унять немца, дед Витя опять жестко взял его за рукав и перевел через прогал-просеку к двум другим могилам:

— А здесь, — взмахнул он снятой еще на подходе к кладбищу шапкой, — соседки наши, тетка Соня и тетка Валя. Также в погребке прятались.

Немец и тут отмолчался, но палкой об ограду больше не стучал, а нашел для нее другое применение: оперся сразу двумя длиннопальцами в старческих бурых пятнах руками, но не согнулся и не сгорбился — стоял прямо, будто в военном строю. Похоже, он надеялся, что на этом его приключения с надоедливым русским стариком закончатся: на выручку подоспеет полицейский и такой обходительный в разговорах с ним глава местной администрации — Артем. Сейчас они покурят возле кладбищенских ворот — и придут.

Но дед Витя рассеял эти его преждевременные надежды. Он теперь уже без всякого насилия и принуждения поманил немца за собой к детским увенчанным низенькими крестами могилам, встал у первой из них и сказал:

— А здесь дети лежат, тобой убиенные, — и перечислил всех своих погибших сверстников поименно: — Гриша, Коля и Нина Слепцовы и Лида и Ваня Борисенко.

Переводчица, до этого какая-то взбалмошенная и чрезмерно горячая, что на мероприятии без нее ни большие начальники, ни иностранные гости, ни такой вот крикливый деревенский дед обойтись не могут, вдруг подобралась, перестала ершиться и будто повзрослела.

— Переведи ему все повнимательней, без пропусков, — перестал сердиться на нее и дед Витя. — Чтоб все понял.

Переводчица, подступив поближе к немцу, действительно со всем прилежанием стала выполнять просьбу деда Вити, особенно четко произнося детские звонкие имена:

— Гриша, Коля, Нина, Лида, Ваня.

Немец тоже слушал ее гораздо внимательней, чем прежде, иногда даже прикладывал к уху ладонь и клонил в сторону переводчицы седую свою голову с жиденькими, но аккуратно, на косой пробор расчесанными волосами. Когда же она закончила, он повернулся к деду Вите и произнес не так уж чтоб и жестко, но и не совсем мягко, с хриплым клокотанием в горле:

— Ес вар ейн Криег!

— Была война! — передала его слова деду Вите переводчица.

— Конечно, война, — вдруг вспыхнул и тверже укрепился посошком и протезом о кладбищенскую землю дед Витя. — И вы здорово научились воевать с русскими детьми и бабами.

— Так и переводить? — переспросила его переводчица, напуганная его громким, почти срывающимся на крик голосом.

— Так и переводи, — повелел ей дед Витя. — Ему не помешает... — А сам он из-за деревьев и кустов испытующе посмотрел на полицейского и Артема.

И посмотрел и не зря. Те, почуяв, что на кладбище дед Витя затевает что-то неладное, побросали папироски и устремились на подмогу и выручку немцу.

Подошли они как раз вовремя. Немец еще не успел до конца понять все-таки сбивчивый и утаенный пересказ слов деда Вити, как они были уже возле могил.

— Ты опять! — закричал на него Артем, чувствуя себя здесь, на кладбище, самым большим и ответственным начальником. — Выпил — и давай домой! Нечего тут разоряться!

— Давай, давай! — принялся помогать Артему и полицейский, натренированно отталкивая деда Витю от ограды на тропинку.

Но тот не поддался ни Артему, ни полицейскому.

— Вы меня не погоняйте, не запрягали! — уже во весь замах руки вскинул он на них посошок.

Полицейский с Артемом стали соображать и в полголоса советовать, что им делать дальше с распоясавшимся стариком: брать уговорами или силой, а дед Витя тем временем, указывая немцу на пустырь и поминальные столы, опять прикрикнул на него:

— Цюрюк! Шнель, цюрюк!

Он сам не мог понять, почему ему вспомнилось еще одно немецкое, лающее и холодное, будто ледышка, слово. Но вспомнилось, и он произнес его еще раз и еще и повторно указал немцу на пустырь:

— Цюрюк коммен!³

Когда дед Витя привел немца к столам, поминки-торжество уже заканчивались. Поминальщики, разбившись на мелкие смешанные группы, громко переговаривались, похлопывали друг друга по плечам, обнимались, выпивали «посошок».

Немец-старик, высвободившись из-под конвоя деда Вити, неожиданно быстрым шагом занял свое место за столом и тоже потребовал налить себе рюмку. От нашего губернатора поспешный этот шаг и болезненно постарчески вздрагивающая в его руке рюмка не укрылись. Оставив деда Витю одиноко, словно на юру, стоять в междурядье столов, губернатор подозвал к себе Артема и принялся допрашивать его, дознаваться правды:

— Что там?!

— Так что! — переступил с ноги на ногу Артем. — Не надо было его сюда звать — один скандал. Я же говорил.

Артем начал было более подробно рассказывать губернатору обо всем случившемся на кладбище, но не дошел и до середины, как дед Витя вдруг оборвал его, перебил на полуслове и указал посошком вначале на старика-немца, так и не успевшего еще выпить своей успокоительной рюмки, а потом, через столы и голову губернатора, — на земляные бугорки с надгробными бетонными сваями:

— Кол им осиновый, а не могилы! Вот что!

Русская часть застолья замолчала и как бы в единый миг протрезвела, а немцы, не понимая слов деда Вити, но чувствуя, что тот сказал что-то злое и грубое, разрушающее все торжественно-печальное мероприятие, начали настойчиво переспрашивать, терзать переводчиков. Но те с переводом опять замешкались: во-первых, не зная, как перевести заполошный этот крик деда Вити (в немецком языке подобного выражения насчет осинового кола не существует), а во-вторых, не зная, надо ли вообще его переводить. Они ждали указания, а еще лучше бы какой-нибудь подсказки от губернатора, которая могла бы вывести их из неловкого, затруднительного положения. Но губернатор в негодовании на деда Витю и на Артема с полицейским, не сумевшими справиться с подвыпившим стариком и увести его домой, и даже на своего соседа, немецкого губернатора, в первую очередь потребовавшего перевода, сам пришел в замешательство. Растерялись и такие верные и надежные во всех иных случаях помощники и советники губернатора. Они начали прятаться за его спиной и незаметно рассеиваться и таять в толпе.

Побагровел до цвета лампас и наш, основательно выпивший генерал (теряться ему не полагалось по высокому своему воинскому званию и должности). Он, словно беря в самый трудный момент сражения, когда командующий фронтом, а может быть, даже и сам верховный главнокомандующий погибли, все руководство битвой на себя, крикнул что-то грозное полковнику-полицейскому, который окаменело стоял в торце стола. Но окрик этот на полковника никак не подействовал: военный, общевойсковой генерал не был для него прямым начальником, и выполнять его приказания тот не был обязан.

³ Пошел назад! (Нем.)

И тут вдруг всех выручил наш неприметно-робкий батюшка. Он проворно выбрался из-за стола и, будто прикрывая от деда Вити застывшее в тревоге и испуге застолье широкой своей скуфейкой и клобуком, подошел к нему.

— Так нельзя, — ласково и тихо сказал он деду Вите. — Все мы люди...

— Вам, может, и нельзя, а мне можно, — перебил и батюшку на полуслове дед Витя.

Батюшка столь дерзкого ответа не смутился, он взял в руки наперсный крест и сказал еще тише и проникновенней:

— Бог прощал врагам своим и нам велел.

— Я за Бога не в ответе! — не внял и этим молитвенным словам батюшки не очень-то богомольный по природе своей и прожитой жизни дед Витя. — Где он был в войну?! У немцев тоже на ремнях было написано: «С нами Бог».

Батюшка креста из рук не выпустил и, наверное, через минуту-другую нашелся бы, чем утешить и унять разгневанного старика (в его служении бывали еще и не такие случаи). По крайней мере, уговорить деда Витю уйти домой и не разрушать собрания, может, и справедливыми, но необдуманно и не вовремя сказанными словами батюшка смог бы и сумел. Да дед Витя и сам уже собирался уходить, краем глаза увидев, что, спрямляя дорогу, бежит от деревенского их дома к кладбищу Ольга Максимовна, которой, поди, вернувшись с похорон серпиловцы уже рассказали, что дед Витя там воюет и наводит смуту. А может, Ольга Максимовна и без подсказки сама обо всем догадалась. К его негодованиям и ярости она приучена и чует их на самом дальнем расстоянии.

Но надо же было такому случиться, что именно в эти минуты из заболоченной опушки березняка, завершив там все земляные работы, вкрадчиво возвращался на место стоянки за палаточным городком строителей тяжелый гусеничный трактор-бульдозер. Как раз напротив деда Вити он замер, и тракторист-казах, не выключая мотора, подбежал с докладом к прорабу, который тоже уже пристроился за поминальными столами.

Дед Витя воспаленно глянул на этот оранжево-красный, робко, словно боясь грозного окрика начальства, работающий на самых малых оборотах трактор, на его широко распахнутую дверцу и вдруг, оттолкнув на ходу нескольких поминальщиков, в два-три шага оказался возле него. Привычно, как не раз это делал в молодые свои годы, когда подменял трактористов, он взобрался в кабину, захлопнул дверцу и, опустив на землю многотонный, весь еще в комьях сырого кладбищенского грунта, нож, круто развернул бульдозер вначале на поминальные столы, а потом и дальше, прицельно метя на заглавную правофланговую немецкую могилу.

— Кол вам осиновый, а не могилы! — еще раз крикнул он, цепляя ножом и подминая гусеницами сияющий хрусталами, фарфором и дорогами бутылками стол президиума.

Поминальщики, вся хмельная, загульная толпа, невзирая на должности и ранги, толкая друг друга, бросилась из-под ножа и гусениц врассыпную. В первые мгновения никто не мог сообразить, что случилось и как остановить этот словно сам собой, без человеческого участия сорвавшийся с места и теперь изничтожающий все на своем пути трактор. Но потом с одной стороны бульдозера кто-то из самых отчаянных милиционеров-полицейских, а с другой — обронивший где-то на ходу шляпу Артем попробовали вскочить на подножку трактора, распахнуть дверцу и

вытащить из кабины, кажется, совсем потерявшего разум деда Витю. Но дверцы никак не поддавались им, и спасатели, теперь уже боясь за свои собственные жизни, прыгнули на землю, едва не поломав себе ноги и не свернув шеи.

А дед Витя, расправившись со столом, тем временем медленно и неостановимо подвигался к правофланговой, уже чуть подернутой пылью и засыпанной вокруг бетонного столбика березовыми листьями, могиле. Еще бы минута-другая — и он снес бы ее ножом, а потом подмял бы и сравнял с землей гусеницами. Но в последнее мгновение словно из-под этой земли перед ним вырос и встал во весь свой громадный рост немец-старик. Стоял он прямо и бесстрашно, широко расставив ноги, как привык это делать в молодые свои годы, когда был верным и надежным солдатом вермахта. Лакированную палку немец положил на оброненный на грудь фотоаппарат и цепко обхватил ее по краям покрасневшими от напряжения и потерявшими старческие пятна руками. Соединившись в одно целое, фотоаппарат и палка воочью напоминали немецкий автомат-шмайсер, а за поясом у старика, в прорехе распахнутого плаща, деду Вите почудилась еще и граната на длинной точеной ручке. Но дед Витя ничуть не испугался и не заробел бывшего немецкого пехотинца (а может, и вправду эсэсовца) с его шмайсером и гранатой. Ничего они сделать не могли ни против его самого, ни против тяжелого, напоминающего русский танк-тридцатичетверку трактора. Не уклоняясь от наведенного дула автомата и остекленевшего взгляда немца, дед Витя все ближе и ближе подвигал к могиле грозно блестящий сталью нож бульдозера. Остановил он его лишь в нескольких сантиметрах от старика, едва не придавив ему ноги, обутые в твердо-кожаные с высокой шнуровкой ботинки. Распахнув дверцу, дед Витя выбрался из кабины и, ни разу не оглянувшись на немца, пошел, пособляя себе посошком и поскрипывая протезом, навстречу Ольге Максимовне, которая уже почти подбежала к столам.

Толпа поминальщиков расступилась перед ним, образовав живой коридор, и никто в этой толпе не знал, что же делать с разгневанным дедом Витей: не знали ни губернаторы (наш и немецкий), ни протрезвевшие генералы, ни даже священники — протестантский пастор и наш православный батюшка. Они лишь растерянно смотрели друг на друга да теребили в руках наперсные кресты, с которых скорбно взирал на окрестный мир распятый Иисус Христос.





РАССКАЗЫ

*Из цикла
«Трагедии нашего времени»*

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

В первый класс сельской нашей семилетней школы мы пошли ровно через пять лет после Победы — осенью тысяча девятьсот пятидесятого года. И сразу обнаружили, что из двадцати двух человек отцы у нас есть только у четверых. У остальных же они погибли либо на фронте, либо здесь, в селе, во время оккупации.

У меня и моего соседа по парте, Володи Коноваленко, отцов тоже не было.

Мы с Володей жили на одной улице возле речки и хорошо знали друг друга еще до школы. Володин дом стоял чуть на отшибе, за сосновым кладбищем, и там укромно было собираться всей окрестной детворе. В недалекой ольховой роще мы играли в прятки, догонялки, которые у нас назывались «квачом», а больше всего в войну, в «немцев» и «наших». Володя приходил в рощу с младшей своей сестрой Таней, непоседливой, юркой девчонкой, требующей постоянного внимания и опеки. Сам же он был парнем покладистым и надежным. Мы часто выбирали Володю командиром «наших» и под его водительством «немцев» всегда побеждали.

В школе мы с Володей сдружились еще больше. Вместе учили уроки то у меня в дома, то у него, нянчили дошкольницу Таню, помогали матерям по хозяйству: гоняли с огородов ненасытных кур, копали картошку и свеклу, жали серпами траву для телят, пробовали даже рубить дрова — все матерям подмена. Учился Володя лучше меня и многих других одноклассников, на одни только четверки и пятерки. Особенно легко давались ему каллиграфия и арифметика. Я, бывало, часами маюсь над неподатливыми буквами, путаюсь в счете, а он все делает в одну минуту и уже готов бежать на улицу. Поведения Володя тоже был самого примерного, почем зря, как иные мальчишки, не баловался ни на уроках, ни на переменках. Наша первая учительница, Нина Тимофеевна, быстро обратила на это внимание, и мы вскоре по ее совету избрали его старостой класса. И ни разу после не пожалели о том. Володя всегда поступал с нами по справедливости: драчунов разнимал и успокаивал, слабых защищал и не давал в обиду, а главное — не наушничал, не ябедничал Нине Тимофеев-

не о больших и малых наших проступках. За это мы его очень уважали и гордились, что у нас такой староста.

Так мы и жили до четвертого класса, дружно и мирно, все, за редким исключением, безотцовщина, сироты, родившиеся в самый разгар войны. И вдруг в сентябре и октябре пятьдесят третьего года еще у троих из нас отцы объявились. Оказывается, они не погибли на фронте и даже не были там, а сидели в тюрьме и заключении. Но нам о том никто не говорил, не рассказывал: не принято тогда было рассказывать о подобных делах...

Оттаивать народ понемногу начал лишь после смерти Сталина. Разговоры у взрослых пошли посвободней, повольней, без прежней оглядки и осторожности, и мы кое-что узнали от них о нежданно-негаданно вернувшихся этих отцах.

При немцах они служили в полиции или в волостной управе. Их арестовали и судили, как толькo пришла Красная Армия, в конце сорок третьего года. Судили, правда, не всех, а лишь тех, на ком была кровь, кто участвовал в карательных операциях против партизан, расстреливал и казнил выходивших из окружения красноармейцев, членов ВКП(б), сельсоветчиков, вылавливал в районном нашем железнодорожном городке — местечке — евреев. Остальных же, на ком крови не было, писарей и прочих подручных сельских старост и городских бургомистров призвали на фронт в штрафные батальоны. Там они почти все и погибли.

А осужденные почти все уцелели. Сидеть им предстояло по двадцать пять лет, считай, до конца жизни. Но вот умер Сталин, была объявлена амнистия, и бывшие полицаи начали возвращаться домой.

Вернулся в село и отец Володи, Степан Коваленко. До его возвращения Володя мне о своем отце мало чего рассказывал, да, наверное, и не знал о нем всей правды. А я о своем рассказывал. Мой отец пропал на оккупированной территории без вести. Он был у нас в школе учителем. Немцы арестовали его за антифашистскую пропаганду и связь с партизанами, увезли в Черниговскую тюрьму, и там следы отца затерялись. Но мы с матерью не переставали все эти годы верить, что он жив. Может, как убежал от немцев по дороге, ушел в партизаны, потом воевал на фронте, был тяжело ранен. Теперь отец лежит в каком-нибудь особом госпитале и обязательно еще вернется. Подобные случаи после войны, хоть и редко, но бывали. А у Володи отец погиб, и надеяться ему не на что...

* * *

Так вышло, что я стал свидетелем возвращения Степана Коваленко из заключения. В тот день мы с Володей и Таней играли неподалеку от их дома на опушке кладбища в «высокого дуба» и «ярки» и неожиданно увидели, как по кладбищенской тропинке к нам идет какой-то незнакомый мужчина в черной стеганной телогрейке. Первой признала его Володина и Танина мать, тетя Феня, которая, дожидаясь стада, сидела на крыльчке.

Разглядев среди сосен и кустов боярышника мужчину, она на минуту замерла, оглянувшись на Володю и Таню, а потом вдруг с причитанием и слезами закричала:

— Отец!

Володя и Таня тоже замерли, вскинули испуганные головы, веря и еще не веря матери. Но через мгновение, бросив игру, сорвались с места и побежали вслед за ней к черному этому мужчине.

Тетя Феня, все так же с криком и плачем, обняла, обвила его за шею; Володя, по-мальчишески скрывая слезы (я прежде ни разу не видел его плачущим), уткнулся отцу в телогрейку; девятилетнюю Таню Степан легко подхватил на руки — и так они все четверо стояли на усыпанной хвойными иголками тропинке и все четверо плакали от радости, что отец вернулся, что он жив.

Я остался возле ярок-ямочек с застрявшим в них резиновым мячиком совсем один, забытый, брошенный Володей и Таней. И вдруг почувствовал, как по моим щекам сами собой текут крупные и очень горячие слезы. Мне так хотелось, чтоб и мой отец тоже вернулся. Ведь он не погиб, а всего лишь пропал без вести за полгода до моего рождения и, значит, обязательно должен придти. Но пришел отец Володи и Тани, который считался погибшим.

Наконец я не выдержал и, не объявляясь счастливым тете Фене, Володе, Тане и их отцу, огородами, по-над ольшаником и берегом реки побежал к себе домой. Там я забился в сарай, на сеновал и до самого вечера, пока не пришла с работы мать, сидел и таился, пряча голову в сухое ключее сено...

* * *

Два дня Степан Коваленко никуда не выходил из дома, редко даже показывался во дворе. Никого не проведаль он из соседей или родственников, не навестил старых своих довоенных друзей. Никто не постучался и к нему. Мать мне тоже почему-то не велела ходить к Володе домой, и мы встречались с ним только в школе. Но об отце его разговоров не вели, словно ничего и не случилось, словно тот, как и раньше, считался погибшим. Не спрашивали Володю об отце и другие ребята. Одна лишь Нина Тимофеевна поглядывала на него настороженно и за эти два дня ни разу не вызвала к доске.

До войны Степан Коваленко работал в городе на железной дороге сцепщиком вагонов. На фронт его не призвали: у всех железнодорожников была бронь. Они до самого последнего момента, пока немцы не разбомбили мост через речку, обеспечивали продвижение составов с отступающими нашими войсками. А потом, когда мост разбомбили, никто из них уйти из города не мог: немцы захватили его в одночасье.

Через день-другой новые власти начали восстанавливать железную дорогу уже для своих нужд. Всех бывших путейцев они быстро вычислили (добровольные помощники тут же нашлись) и под угрозой расстрела привлекли на восстановительные эти работы. Отыскали немцы и Степана Коваленко. Но он вдруг вместо путейской привычной службы попросился в полицию.

Никакой обиды у Степана на советскую власть вроде бы не было. В годы коллективизации его семью не раскулачивали, не выгоняли из дома, не ссылали на Соловки или на строительство Беломорканала, куда послали и откуда не вернулись многие наши односельчане. Но вот же пошел... Заманчивой и легкой показалась ему полицейская охранная служба. Все тогда на оккупированной территории перемешалось, все перепуталось, не разберешь, где свои, где чужие. Вчера еще только был человек тихим и кротким, а сегодня в нем открылась такая бездна, куда лучше не заглядывать...

Полицейским Степан служил не в нашем селе, а в одном из дальних,

граничащих с брянскими лесами, не то в Елино, не то в Корюковке, сразу ставших при немцах партизанскими. Там, в этих лесах, может, и воевал мой отец, которого в сорок первом году на фронт не взяли по непризывному тогда еще его возрасту.

Судили Степана вместе с другими полицейскими и старостами. Кровь на нем была, и, говорят, немалая. Елинцы и корюковцы на суде пообещали, что если даже он отсидит двадцать пять лет и вернется живым, они все равно убьют его. Простить Степану смерть своих отцов, матерей, жен и детей вчерашние партизаны не могли.

Потому Степан два дня безвыходно и сидел дома, нигде не объявляясь и не показываясь. Ему, может, и вовсе не надо было возвращаться в село, а завербоваться после тюрьмы куда-нибудь на Донбасс, на Север или на Дальний Восток, да и затеряться там. Обжившись на новом месте, он мог бы вызвать туда семью, жену, детей — Володю и Таню. Так многие из освободившихся по амнистии полицейских и поступали.

Но Степан вернулся. То ли смелый такой был и отчаянный, ни елинцев, ни корюковцев не побоялся, то ли по какой иной причине: попробуй, разбери его. Человек он и до войны, по рассказам, был скрытный, нелюдимый, а теперь, проведя десять лет в тюрьме, стал скрытым еще более.

Два дня Степан таился, скрытничал в доме, а на третий все-таки вышел. Полагалось ему встать в районе на какой-то обязательный учет, вытребовать вольные, не тюремные документы, без которых его на работу никуда, даже в колхоз не взяли бы.

По-за огородами, рано утром, еще в сумерках Степан и ушел в район никем не замеченный.

Третий тот день загорелся на редкость чистым и ясным — настоящее бабье лето. Когда мы в школе выбежали из класса на первую перемену, все небо над нашими головами было заполнено тоненькими белыми паутинками. Гонимые ветром, они летели на луг и там оседали на невысокой отаве густым чуть сизоватым ковром. Мы сговорились, что после уроков отправимся туда всей нашей ребячьей ватажкой. Была у нас одна веселая детская забава. Вооружившись палочками, мы отчаянно бегали по лугу, наматывали на них козловую паутину. Когда же на концах палочек образовывались веретена-шпульки, мы принимались с широкого, заплечного размаха бросать их вперед себя. Отягощенные этими веретенами, палочки летели очень далеко и втыкались в порыжевшую отаву, словно подлинно боевые стрелы и копьа. Мы приходили от их полета и падения в восторг, мчались наперегонки каждый к своей стреле и копьа, случалось, так даже и спорили, чьи пролетели дальше. Было в этой необузданной осенней забаве что-то необъяснимо щемящее и болезненное. Мы чувствовали (но не хотели тому верить), что она уже последняя на широком чистом лугу, что вот-вот нагрянут осенние надоедливые дожди, река выйдет из берегов и затопит все окрест холодным свинцово-серым паводком. Пока же на лугу широко и чисто, надо стремглав бежать по шелковистой отаве, наматывать и наматывать на палочку ускользящую от тебя и исчезающую высоко в небе паутину.

С трудом досидев уроки, мы, как только прозвенел звонок, сразу вознамерились расходиться по домам, чтоб через полчаса, обзаведясь палочками, собраться на лугу. Но Володю Нина Тимофеевна, к великому нашему огорчению, оставила после уроков. Оказывается, надо было выпускать классную стенную газету «Пионерская звездочка», а лучше Володи, без ошибок и помарок, никто не мог переписать заметки, нарисовать смешные карикатуры на двоечников и нарушителей дисциплины.

Без Володи мне было на лугу скучно и неинтересно. Мы всегда бегали с ним в паре, плечом к плечу, наматывали самые большие веретена-шпильки и запускали их далеко-далеко, иной раз даже в начинающиеся за лугом заросли камыша. Но послушаться Нину Тимофеевну Володя не мог: кто же тогда еще будет выпускать стенную газету, если не он — староста класса.

Делать нам с Володей было нечего, мы договорились, что встретимся на лугу позже — и расстались. Я побежал в одиночестве домой, а он принялся под присмотром Нины Тимофеевны переписывать заметки и рисовать карикатуры.

Дома я наскоро пообедал, вырезал ножиком-складеньком новую очень замашную палочку из хвороста, который мы с матерью недавно насобирали в ольшанике и привезли на двухколесной тачке, одолженной у соседа, деда Игната. Выскочив на крылечко, я уже хотел было умчаться за огороды на луг, по в последнее мгновение приметил, что неподалеку от кладбища, возле Марфиного колодца (так он назвался потому, что стоял рядом с домом тетки Марфы Журбиной), собралась и все возрастает немалая толпа народу, что там что-то произошло.

Забыв о своем луговом походе, я тоже устремился туда, пробрался поближе к колодцу и вдруг увидел, что в двух шагах от него лежит Володин отец — Степан Коваленко. Руки его раскинуты на траве-подорожнике, глаза широко открыты, но какие-то они стеклянные, ничего не видящие, а лицо бледное и бескровное. Возле Степана неловко суетится наша деревенская фельдшерица, Елена Михайловна. Расстегнув на груди у него телогрейку и рубашку, она пробует делать Степану искусственное дыхание. Но все напрасно: Степан все бледнеет и бледнеет лицом, не подает никаких признаков жизни, глаза у него закатываются и становятся совсем незрячими.

Здесь уже были и тетя Феня, и Таня. Привалившись грудью к колодезной ограде, тетя Феня обнимала Таню и что-то бессвязно и непонятно кричала. Ее пытались успокаивать, утешать женщины из толпы. Но тоже напрасно: тетя Феня не давалась им, отталкивала, рвала с головы платок, который от этого лишь сильнее затягивался у нее на шее.

Чуть в стороне, за оградой Марфа Журбина рассказывала тесно окружившим ее старикам и старухам:

— Он подошел к колодцу, набрал воды, попил и тут же упал, вот так вот — навзничь.

Старики и старухи сокрушенно качали головами, подступались к тете Фене, но та отталкивала и их и опять неистово рвала и затягивала на шее платок.

Меня она поначалу не замечала, смотрела куда-то мимо. Я испугался, отпрянул подальше в толпу, норовя скрыться за спинами взрослых. Но было уже поздно: тетя Феня меня наконец заметила, признала и только теперь, похоже, обнаружила, что нигде нет Володи.

— Где он?! — не помня себя, заголосила она.

— В школе, — весь помертвев от ее взгляда, ответил я и, не дожидаясь больше от тети Фени никаких просьб и приказаний, сколько было во мне дыхания и быстроты, побежал в школу.

Со всего размаха рванул я на себя классную нашу дверь и (мальчишка еще мальчишкой) во весь голос крикнул:

— Володя, отец умер.

До сих пор помню я голубые, наполненные ужасом и еще не напол-

ненные слезами глаза Володи. Он посмотрел на меня так, как будто это именно я и был повинен в том, что его отец, вернувшись домой всего два дня тому назад, на третий вдруг взял и умер.

Но в следующую секунду из Володиных глаз брызнули крупные неостановимые слезы. Он выскочил из-за парты, и теперь мы уже вдвоем, то и дело обрывая, теряя дыхание, помчались вдоль улицы: Володя впереди, а я сзади, за ним, шаг в шаг, ступня в ступню.

Еще издали увидев нас, бегущих, толпа возле колодца расступилась. Володя проскочил сквозь нее, словно сквозь строй, отшатнулся было от лежащего отца, но потом совсем не по-детски, не по-мальчишески упал перед нам на колени и стал целовать в щеки, в лоб, в уже закрытые кем-то глаза. Степан никак не отзывался на эти его поцелуи и слезы, старался даже как будто уклониться от них, и тогда Володя, схватив отца за распахнутый ворот телогрейки, принялся изо всех сил тянуть на себя, просить и требовать:

— Вставайте! Вставайте!

Но Степан не поддавался ему. Грузным своим, набрякшим телом он опрокидывался назад на жесткий темно-зеленый подорожник и тащил за собой, маленького, сжимающегося в комочек Володю. И может, действительно утащил бы, но тут подоспели мужчины с громадным рядом в руках. Они отняли у Степана Володю, передали его тете Фене и Тане, а сами, уложив на рядно умершего, понесли в дом...

* * *

Как хоронили Володиного отца, я не помню. Отпевали ли его в церкви, несли ли по дороге на кладбище впереди крест и хоругви, много ли было на тех похоронах народу? Смутно помню и разговоры, которые долго еще велись в селе после смерти Степана, и все об одном и том же: Бог все видит и все знает, и каждому воздает по его делам и по его жизни.

Но хорошо помню я и часто вспоминаю день возвращения Володино-го отца домой, кладбищенскую, усыпанную хвойными иголками тропинку, а на ней всю в сборе, всю счастливую и счастливо плачущую семью Коваленок...

И еще ясно и отчетливо помню себя в тот осенний, клонящийся к вечеру день. Сквозь пелену времени видится мне одиноко стоящий над ямочками-ярками веснушчатый, по-школьному остриженный наголо мальчик. Он тоже плачет, горько и неудержимо, смотрит и никак не может насмотреться на Володю и на его вернувшегося домой живым отца...

И кто в мире ответит мне за эти мои детские неутоленные слезы?!

И кто ответит за счастливые слезы Володи Коваленко?!

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ

В начале шестидесятых годов к нам в деревню прислали нового фельдшера, Алевтину Николаевну, Алю. Было ей на ту пору лет двадцать пять-двадцать шесть. По нашим юношеским меркам много и даже очень много. Где она работала раньше и вообще откуда она, никто толком не знал. Сама же Аля об этом рассказывать не любила.

Поселилась она у бабки Федосьи, как раз через дорогу от фельдшерского пункта, клуба и библиотеки, где всегда и селились всякие заезжие специалисты: учителя, агрономы, киномеханики.

Фельдшером Аля оказалась очень хорошим и, главное, безотказным. В любое время дня и ночи она готова была идти по первому вызову к больному хоть на хутор, в подлесье, хоть на другой конец села, на Галерку. Деревенские старики и старухи нарадоваться ею не могли: и уколы делает не больно, и в разговорах с ними внимательна и уступчива, не то, что прежние фельдшера, которые, случалось, шли к больному не сразу, ссылаясь на занятость, — не только на хутор или на Галерку, а даже в близкие к фельдшерскому пункту дома. А уж об их разговорах и уколах и вовсе вспоминать не хочется: все на скорую руку, все впопыхах.

По вечерам Аля, как все деревенские жители, ходила в клуб в кино, которое показывали через день, а после оставалась на танцы, быстро сдружившись с нашими девчонками.

Электрического света у нас тогда еще не было, а значит, не было ни радиолы, ни проигрывателя, уже входивших в моду в других местах. Танцевали мы по старинке под гармошку или под баян простые, привычные нам танцы: вальс, падеспань, польку или краковяк и «сербиянку с выходом». Но пробовали уже и танго, переняв его музыку и движения из кино. Аля танцевать краковяк или «сербиянку с выходом» не умела, а может, просто стеснялась. Танцы это были веселые, задорные, там надо было не только танцевать, а еще и петь частушки-переклички то в общем кругу, то один на один с подружкой-соперницей или кавалером. А вот вальсы и танго Аля танцевала много лучше нас. Деревенские наши, самые видные ребята, танцоры и кавалеры, особенно из тех, кто уже отслужил в армии и кому пора было задумываться о женитьбе, наперебой приглашали Алю, часто даже забывая прежних своих невест и подружек. Те, понятно, обижались на них, ревновали, тем более, что особой девичьей красотой и статью Аля не отличалась. Была девчонкой самой обыкновенной: русоволосой, сероглазой, роста чуть выше среднего, вот разве что прическу завела городскую, коротко постриженную, а наши невесты и подружки еще носили длинные тугие косы, в которые вплетали разноцветные ленты.

После танцев ребята, все так же наперебой, старались проводить Алю домой. Но она ни с одним не пошла, не посидела на лавочке возле дома бабки Федосьи, словно боялась обидеть какую-нибудь девчонку, отбить у нее давно приглянувшегося жениха. Девчонки это сразу оценили и еще больше сдружились с Алей.

Но вот однажды самый лучший наш баянист Толя Ткаченко, по деревенской кличке Тимта, который учился тогда в Черниговском музыкальном училище, прежде чем взять в руки баян, громко, на весь зал объявил:

— Белый танец!

Что такое «белый танец», мы уже знали и всегда с нетерпением ожидали его. Ведь одно дело, когда парень приглашает девчонку, и совсем иное, когда, наоборот, приглашает девчонка. Парень может пригласить на вальс одну девчонку, а на падеспань — другую, и ни о чем это еще не говорит, но если приглашает, делает выбор девчонка — это уже значит очень многое. Первого попавшегося парня она приглашать не будет, а лишь того, кто ей давно нравится, по которому давно сохнет девичья ее неприкаянная душа. Если же «ее парня» кто-нибудь перехватит, то девчонка лучше незаметно постоит в уголке, но абы кого не пригласит, не даст ему легкомысленного намека.

Толя заиграл любимый у нас в те годы вальс «Амурские волны». Все

девчонки стали поспешно разбирать кавалеров и уже кружиться с ними посреди зала, а Аля все еще стояла возле клубной сцены, то ли не решаясь, кого ей выбрать, то ли вообще и не думая танцевать этот белый вальс «Амурские волны». И вдруг она прошла через весь зал к стайке еще не разобранных ребят, что толпились возле кинобудки, и пригласила Алешу Беленького, самого неприметного нашего парня. Все удивились ее выбору, а ребята постарше, из недавно демобилизованных и еще ходивших в клуб в военной форме при значках и погонах, так даже и обиделись. Действительно, обидеться было за что. Алеша Беленький во всем им проигрывал: был худой, нескладный, в армии еще не служил, не выучился даже на шофера или на тракториста, а работал в колхозе на рядовых повседневных работах, пахал на лошадях огороды, заготавливал в лесу жерди, косил сено. Фамилия у Алеши была наша, самая обыкновенная — Ефименко. Но весь их род звали по-уличному Беленькими. Они и вправду были беленькими, белобрысыми, по виду своему отличимыми от остальных деревенских жителей, как будто какими-то пришлыми из других мест, пришельцами. Алеша, ко всему, еще и при волнении довольно ощутимо заикался. Но вот же Аля почему-то выбрала именно его, отличила от всех прочих ребят.

Направляясь к Алеше через весь зал, она не заметила, что к нему, опоздав всего лишь на единое мгновение, устремилась было еще одна девчонка, Галя Филотова. Мы все знали, что Галя с Алешей дружили еще со школы, с седьмого класса. Правда, дружили как-то странно: Галя тянулась к Алеше, всегда давала ему списывать контрольные по математике и даже обороняла от других ребят, если кто намеревался Алешу обидеть. А он не то чтобы сторонился Гали, но при ее появлении начинал краснеть, волноваться и заикался сильнее прежнего.

Пока Алеша и Аля танцевали «Амурские волны» кружились в самом центре зала, Галя обиженно стояла в уголке, так никого больше и не посмев пригласить. Ничего страшного из этого быстротечного танца Алеши и Али, наверное, не произошло бы. Станцевали и разошлись, да, может, кто из девчонок и подсказал бы Але, что Алеша уже «занят», что он дружит с Галей Филотовой, вон она стоит, обижается в уголке. Но Толя Тимта в игре на баяне всегда был большой затейник и выдумщик, разойтись Але с Алешей не дал. С вальса он вдруг перешел на танго, а потом и на падепань, заставив их быть неразлучно едва ли не полвечера. Мы заметили, что Аля с Алешей уже о чем-то разговаривают. Вернее, разговаривает одна Аля, что-то рассказывает Алеше, чему-то смеется, а он лишь отвечает на все ее вопросы, краснеет и часто сбивается с ритма.

Но может быть, и после этого, так надолго затянувшегося танца между Алей и Алешей ничего бы еще не произошло. Ну, поговорили, посмеялись (не танцевать же подряд три танца молча!), познакомились даже, в деревне ведь жить незнакомыми трудно. А вот продолжилось бы это знакомство дальше или нет, еще неизвестно. Галя девчонка была отчаянная и постоять за себя могла. Таясь в уголке, она, конечно, ожидала, что на следующий, уже простой, не «белый танец», Алеша непременно пригласит ее, и тогда все выяснится. Но Алеша пригласил Алю.

И не только на этот танец, а и на все остальные до самого конца вечера. Алю от себя он не отпускал ни на шаг. Да она и сама не отходила от него. Когда Толя Тимта опять объявлял «белый танец», Аля каждый раз успевала пригласить Алешу раньше, чем Галя или какая-нибудь иная девчонка.

Из клуба в тот вечер Аля с Алешей ушли вместе и долго сидели на лавочке возле дома бабки Федосьи.

А Галя ушла домой одна.

С этого вечера у Али с Алешей все и началось. В кино они теперь всегда сидели рядом на соседних скамейках, во время танцев тоже почти не разлучались, танцевали в паре и вальс, и танго, и даже краковяк, которому Алеша быстро Алю выучил. На Галю же внимания он больше не обращал, как будто ее вовсе не существовало. По крайней мере, ни на один танец за все лето не пригласил.

Галя переживала, но сама подойти к Алеше тоже не решалась, не могла преодолеть девичьей своей гордости. Да и удобного к тому случая не было. Толя Тимта уехал в Чернигов в музыкальное училище, а другие наши деревенские гармонисты объявляли «белый танец» робели.

Но однажды Толя приехал на выходные дни домой, пришел в клуб и на радость всем нашим девчонкам едва ли не с первого танца заиграл «белый» вальс «Амурские волны». Али в тот вечер в клубе не было, ее срочно вызвали к больному куда-то на хутор, и Галя, все же преодолев свою гордость, подошла к Алеше и пригласила его на танец. Он вначале вроде бы и шагнул к ней, подал даже руку, но потом, словно удержанный кем-то невидимым, остановился и, ни разу не заикнувшись, сказал:

— Я уже занят.

Галя вся в слезах выскочила из клуба, убежала на крылечко библиотеки и там затаилась. Когда мы обнаружили ее и попробовали утешать, она совсем разрыдалась, дала волю слезам, а потом вдруг насухо вытерла глаза и пригрозила:

— Отравлю я ее!

— Да ты что?! — испугались мы и опять как могли начали успокаивать ее, утешать. Но Галя и во второй раз повторила свою угрозу:

— Вот увидите, собираю в лесу мухоморов и отравлю.

Передал ли кто Але эту страшную Галину угрозу или нет — неизвестно, но от Алеши она не отказалась.

Они по-прежнему встречались почти каждый день, ходили в кино, на танцы, допоздна сидели на лавочке, а к осени, когда пошли дожди, стали прятаться в фельдшерском пункте. Закрывались изнутри на крючок и ни разу не зажгли там лампы.

Чем бы закончилась их дружба, никто не знает, но поздней осенью Алешу Беленького призвали в армию. Я на его проводах не был, потому что ушел в армию на месяц раньше Алеши. Но мне рассказывали, что Галя на провода действительно принесла баночку маринованных грибов-маслят. Девчонки это заметили, и на всякий случай выставлять ее на стол забоялись. Когда же по обычаю все начали дарить новобранцу платочки, то Галя своего на тарелку не положила. А Аля положила не только платочек, но еще и дорогостоящую электрическую бритву. На следующий день она провожала Алешу в город и возле военкомата, прощаясь, принародно поцеловала.

Через две недели от Алеши пришло домой письмо. Попал он служить за границу в Германию в летные войска и теперь учился там на шофера. Аля тоже начала ждать от Алеши письма. Но прошел и месяц, и другой, и третий, а письма все не было и не было. Если бы письмо пришло, то наша почтарка Маруся о том непременно бы знала. А знала бы Маруся, то знало бы и все село. Женщиной она была говорливой, общительной и где-нибудь да обмолвилась бы о переписке Алеши и Али. Но письма не было.

Тогда Аля раздобыла Алешин адрес и сама написала в Германию. Ответа она ждала терпеливо и безропотно. Но опять прошел и месяц, и другой, а ответа все не было. Аля не выдержала и начала писать Алеше письма почти ежедневно, о чем все знали, потому что она опускала их в единственный на все село почтовый ящик, который висел возле магазина. Вынимала оттуда письма и увозила их в город на почту Маруся и уж, конечно, по говорливости своей выдала кому-то тайну переписки. Но и на эти частые ежедневные Алины письма ответа от Алеши так и не пришло.

А вот Гале он неожиданно прислал свою фотографию с обычной в таких случаях надписью: «На память Гале от Алексея в дни службы в армии». Фотографию эту я видел много лет спустя в доме у Гали, читал и надпись. Алеше очень шла военная летная форма. Он возмужал, окреп, уже не выглядел таким нескладным. Письма же и Гале Алеша не написал. Вложил в конверт одну только фотографию — и все. Станный он все-таки был парень, этот Алеша Беленький. Странной была и Галя. Не получив от Алеши письма (а только фотографию), она ничего ему не ответила, стала выжидать, не повинится ли он перед ней за все прежние обиды. Он не повинился.

Конечно, если бы Алеша служил где-нибудь в Союзе, то Аля, наверное, взяла бы отпуск и поехала к нему. Но он служил в Германии, а туда просто так не поедешь.

Аля терпела еще несколько месяцев, стала молчаливой, неразговорчивой, в кино и на танцах больше не появлялась, все вечера сидела в доме у бабки Федосьи. Поговаривали даже, что она собирается перевестись от нас куда-то в иное место.

Но никуда он не перевелась и, как после выяснилось, и не думала об этом. Подождав от Алеши еще дней десять какого-нибудь известия, она совершила совсем иное. Поздно вечером в самый разгар танцев Аля закрылась в медпункте и повесилась там на крючке, рядом с двенадцатилитровой керосиновой лампой.

Обнаружила ее на следующее утро санитарка и уборщица, деревенская наша пожилая женщина Опеньчиха. Тут же сообщили в милицию и райздрав, стали искать Алиных родителей. Но оказалось, что родителей у нее нет, они погибли во время войны, когда Аля была совсем маленькой, всего пятилетней. Жила она после и воспитывалась в детском доме где-то под Черниговом.

Похоронили Алю на краю соснового нашего кладбища в могиле без креста. Самоубийцам он не положен.

Первые годы за могилой ухаживали старики и старухи, помня, каким хорошим фельдшером была Аля, как легко и не больно делала уколы, как утешала их своими разговорами. Но постепенно старики и старухи повымерли. На ровесников же Алиных надежды было мало. Одни разъехались из села, другие поженились, повыходили замуж, нарожали детей, им было не до чужих могил, за своими ухаживать некогда. О более молодых и вовсе говорить не приходится. Они Алю уже не помнили. Заброшенная ее могила постепенно заросла кустарником, сиренью и диким боярышником и почти сравнялась с землей.

У Алеши с Галей тоже ничего не сладилось. Писать они друг другу так и не стали, и у каждого из них сложилась своя, отдельная жизнь и судьба. Алеша остался в армии на сверхсрочную, там женился, обзавелся семьей и за все эти годы приезжал, говорят, в село всего несколько раз, чтоб проведать совсем уже стареньких родителей, отца и мать. На Али-

ной могиле он не был, да и вряд ли нашел бы ее на кладбище среди зарослей без посторонней помощи.

Галя вышла замуж за нашего деревенского парня, Петра Дорошенко, который в те годы, когда приключилась вся история с Алей, отбывал службу на флоте. Они с Галей нарожали троих детей, жили в добром семейном ладу и согласии. Петр был человеком серьезным, основательным, работал в колхозе шофером. Начальство его уважало и ценило. Много раз Петра избирали депутатом сельского совета, а это в деревне кое-что да значит. Галя Петр очень любил, в кино, на концертах или на каком ином деревенском празднике всегда появлялся только с ней и всегда звал ее по имени-отчеству, Галиной Васильевной, что в деревне случается редко. Многие женщины завидовали Гале и в веселую минуту, на празднике, в перерыве между песнями говорили ей: «Хорошо, что ты не вышла замуж за этого беспутного Алешу Беленького». — «Конечно, хорошо», — отвечала им Галя, но иногда, украдкой от Петра, вздыхала как-то странно и тяжело.

Изредка приезжая в село, я всегда заходил на кладбище, чтоб проведать свои родовые могилы. Приехал и в этом году, в самый канун Радоницы. Вооружившись граблями и лопатами, мы вдвоем с моим школьным товарищем Николаем пришли на кладбище и дружно принялись за уборку. Николай сгребал многолетние листья, расчищал дорожки, а я вызвался носить из песчаного карьера, что был на самом краю кладбища, белый песок, чтоб посыпать им могильные холмики. Так у нас заведено. Тропинка к карьере бежала далеко обочь Алиной могилы, но я вдруг вспомнил о ней и решил заглянуть, хотя тоже боялся, что без посторонней помощи не найду ее.

И все же нашел, по верной примете: громадной, неохватной сосне, которая росла в изголовье могилы. Я ожидал увидеть холмик все таким же заброшенным, заросшим сиренью и диким боярышником и почти уже сравнявшимся с землей. Но еще издали я увидел совсем иное. Алина могила была обнесена металлической ажурной оградой, а в изголовье холмика, теснясь к сосне, стоял высокий надгробный памятник из белого мрамора. Вверху, справа, на нем искусно был выбит портрет Али, а внизу стояли даты совсем коротенькой ее жизни — «1937-1963 г.г.» — и надпись: «Прости нас всех, Аля».

Сердце у меня вздрогнуло, и я спросил у Николая, который тоже подошел к могиле, должно быть, устав работать в одиночку:

— Алексей?

— Нет, не Алексей, — сразу понял меня Николай.

— А кто же тогда?

— Галя, — немного помолчав, ответил Николай и рассказал обо всем подробно: — Добыла где-то Алину фотографию, заказала в Чернигове памятник и вот прошлой осенью установила его.

Опершись на ограду, мы долго стояли с Николаем возле могилы, запоздало коря себя в душе, что — вот надо же — за столько лет сами не додумались если не установить на Алиной могиле памятник, то хотя бы подравнять холмик, вырубить сорные побеги сирени и боярышника. Стояли и вслед за Галей повторяли пришедшие ей в душу и сердце через столько лет слова: «Прости нас всех, Аля». Прости всех до единого: и меня, и Николая, и Галя, и Алешу Беленького, которого когда-то так неосторожно пригласила на «белый танец». Прости и не держи на нас зла: мы были молоды и неразумны, теперь состарились и поумнели. А ты навсегда останешься молодой и любимой...

БЕЗДНА

Мы познакомились с Василием на первом курсе института и неожиданно сошлись очень близко. Многие однокурсники удивлялись этой нашей дружбе: мы были людьми совершенно разными и по возрасту, и по характеру, и по своим пристрастиям. Я поступил в институт уже после службы в армии и двух лет работы учителем труда в сельской школе, а Василий — сразу после десятилетки. Человеком он был молчаливым, угрюмым, а иногда так и скрытным. Василий не любил шумных студенческих компаний, общественных, модных в те годы мероприятий, сторонился их и часто упрекал меня за то, что я понапрасну трачу время на всевозможных комсомольских собраниях и студсоветах. Учился Василий легко и как бы даже мимоходом, случайно, словно учеба не была для него тогда главным делом жизни. Он не просиживал ночи напролет за учебниками, не зубрил грамматических правил и философских истин. Всему этому Василий предпочитал изучение первоисточников. Он прочитывал всю обязательную и дополнительную литературу, отыскивал в библиотеке, где любил подолгу рыться, такие книги (часто даже запретные, дореволюционные), о которых не всегда знали и наши преподаватели-профессора. По каждому предмету Василий имел свое собственное мнение. Умные преподаватели это сразу оценили и выделили Василия среди остальных студентов, а не очень умные, посредственные, иногда просто побаивались его, потому что он своими суждениями мог поставить их в тупик.

Был у Василия, пожалуй, лишь один недостаток: несмотря на свой юный возраст, он любил выпить. Но не в студенческих многолюдных застольях, а в одиночку или, самое большее, с двумя-тремя однокурсниками, которым доверял. Пил он немного, но уже после нескольких рюмок наливался какой-то свинцовой, совершенно необъяснимой в его молодые годы тяжестью. И без этого темные его коричневые глаза еще больше темнели, зрачки суживались, и в глубине их проступала зияющая страшная бездна. Василий начинал метаться, прятался от товарищей в самых укромных местах общежития, в кладовках и лестничных пролетах, убегал от них, а случалось, так и уезжал куда-нибудь на электричке или поезде. После этих побегов он отчуждался еще больше, ни с кем не хотел говорить и объясняться, целыми днями лежал на койке и все о чем-то думал, думал и думал.

Едва закончив первый курс, Василий женился. Причем не на москвичке, как того можно было ожидать и как это делали многие ребята старших курсов, а на девчонке из маленького сибирского городка, откуда он был родом. Они дружили с ней с самого раннего детства, учились в одном классе, сидели за одной партой. Звали девчонку Леной, но Василий называл ее по-своему — Оленой, Олешей. Вообще он любил давать людям прозвища и клички — и всегда попадал в точку, выявляя в этом прозвище подлинную суть человека.

Жить Василию с Олешей в общежитии не разрешали, и они сняли однокомнатную квартиру на окраине Москвы в районе метро «Ждановская». Квартира стоила дорого — пятьдесят рублей, почти две студенческие стипендии. Ждать помощи Василию и Олеше было неоткуда. Родители присылали им по десятке-другой, но не больше, поскольку сами едва-едва сводили концы с концами. К тому же мать и отец Олеси были в разводе, а у Василия отца не было вовсе. Он умер при каких-то загадочных обстоятельствах, о которых Василий никогда не рассказывал. Выход у

молодоженов был один — искать работу. И вскоре они ее нашли. Олеша устроилась по лимиту маляром в подмосковном строительном комбинате, а Василий после долгих неудач нашел себе неожиданную и такую удобную для студента вечернюю службу инкассатором.

Тогда почти все студенты подрабатывали: кто сторожем, кто дворником, но никто из нас не додумался пойти в инкассаторы, да и не каждого, наверное, туда бы взяли. По нашему разумению, там должны быть люди проверенные, отслужившие, по крайней мере, в армии, ведь они постоянно имеют дело с деньгами, с оружием. Но Василия взяли. Теперь он после занятий каждый вечер торопился в инкассаторскую контору, получал там под расписку пистолет и до поздней ночи ездил по городу на специальной машине, собирая в магазинах дневную выручку. О своей опасной, совсем не студенческой работе Василий ничего не рассказывал: то ли ему не положено было о ней рассказывать, то ли он таился по причине скрытного своего характера. Лишь однажды, в подземном пивном баре на углу Пушкинской улицы и Столешникова переулка, куда мы с ним часто ходили в день стипендии, Василий вдруг сказал:

— Долго носить с собой оружие человеку нельзя!

— Почему? — удивился я этому его открытию.

— Потому что хочется выстрелить в затылок впереди сидящего.

Я ответил не сразу, несколько минут обдумывал признание Василия, а потом, взглянув в темные, уже начавшие наливаться тяжестью его глаза, посоветовал:

— Бросай ты эту свою службу!

— Брошу, — пообещал Василий, и на том дружеский наш разговор закончился.

Но обещания своего Василий так и не выполнил. До конца учебы он продолжал работать инкассатором. И я догадывался — почему. Василию было интересно бороться с самим собой, со своим соблазном выстрелить в затылок впереди сидящему человеку. А такие случаи, говорят, среди инкассаторов бывали.

После института жизнь у Василия сложилась удачно. Олеше наконец дали постоянную прописку в Москве, а вскоре и квартиру. Малярную работу она бросила, родила Василию двух сыновей-погодков. Его же оставили в аспирантуре. Василий без особого труда закончил ее, защитил кандидатскую диссертацию и уже подбирался к докторской. И вдруг бросил все занятия наукой, философией и эстетикой, в которой придумал какую-то свою, совершенно новую теорию, и ушел диспетчером в пожарную часть. Я ничуть не удивился этому его чудачеству. Последние годы, приезжая в Москву и всегда останавливаясь у Василия, я видел, как он все больше теряет интерес к науке, как ему становится скучным читать студентам лекции, принимать экзамены и зачеты, ходить на заседания кафедры и ученого совета. Олеша сказала, что Василий опять несколько раз убежал из дома в Ташкент и куда-то еще дальше, чуть ли не на Сахалин, стал больше пить, и она очень рада, что он, наконец, нашел себе такую спокойную, тихую работу. Пусть отдохнет.

Но отдыхал Василий недолго. В очередной мой приезд в Москву мы пошли с ним все в тот же пивной бар, чтоб посидеть там за кружкой пива, вспомнить старые студенческие годы. И вот когда уже вдоволь навспоминались, Василий поднял на меня отяжелевшие свои глаза, в которых бездна за эти годы стала еще глубже и темнее, и сказал:

— Человек долго смотреть на огонь не может.

— Почему? — опять удивился я его открытию.

— Потому, — ответил Василий, — что огонь — стихия, бездна, и человек перед ним ничто!

На этот раз я не стал спорить с ним и не стал давать никаких советов насчет пожарной его, огненной службы. Он никогда никого не слушался, все решения принимал самостоятельно, верил только самому себе. Но я чувствовал, что пожарку он бросит, если только ничего с ним в ближайшее время не случится, если не надумает он опять убежать в Ташкент или на Сахалин.

Слава Богу, ничего не случилось, никуда Василий не убежал. Но пожарку вскоре действительно бросил, устроился работать псаломщиком в церкви где-то за городом (кажется, в Переделкино) и теперь дни и ночи пропадал там. В доме их появились иконы, лампадка, церковные книги. Олеша тоже вся преобразилась. Стала носить платок, туго, как у монашек, повязанный по лбу и подбородку, блюсти все праздники и посты, и если случалось их как-нибудь нарушить, то очень сокрушалась и всегда говорила себе в осуждение:

— Батюшка опять не допустит меня к причастию.

У Василия все шло к рукоположению. Кажется, даже был уже назначен день этого рукоположения. Но едва ли не накануне таинства пострижения Василий вдруг сбежал и от Олешы, и от рукоположения, скитался неведомо где почти целый месяц, а когда объявился, то сбрил бороду и усы, которые завел было, служа псаломщиком, подстриг волосы и сказал мне все там же в пивном баре на Пушкинской:

— Человек находиться долго рядом с Богом не может.

— Почему? — стараясь не смотреть Василию в совсем потемневшие во время скитаний глаза, спросил я.

— Потому, — ответил он как бы через силу, — что чем больше человек находится рядом с Богом, тем больше он впадает в грех.

Наверное, Василий был прав. Во всяком случае, я тогда никак не смог опспорить его доводов.

Года два Василий перебивался какими-то случайными заработками: давал частные уроки абитуриентам, помогал писать диссертации будущим кандидатам наук, переводил для издательств сложные научные тексты и, может, так и существовал бы до сих пор, ведь для него всегда самым главным были свобода и независимость.

Но тут начались смутные времена, перестройка и переделка всего и вся. Василий раньше других почувствовал, что возврата к старой жизни никогда не будет, надо приспособливаться к новой. Олеша, как всегда, была на его стороне.

Собрав последние деньги, они открыли собственное семейное предприятие, стали торговать всем, что попадало под руку. Олеша моталась челноком в Польшу и Турцию, а Василий — так и подальше, в Египет и Индию. Вскоре они сколотили себе капитал, небольшой, но вполне для них достаточный. Купили загородный дом, машину, поменяли квартиру, в общем, зажили так, как мечтали когда-то в студенческие голодные годы. Олеша в очередной раз преобразилась. Завела себе дорогие наряды, ходила в театры и на всевозможные презентации, неведомо где доставая на них приглашения, перезнакомилась со многими известными предпринимателями и их женами. Василий, правда, этих знакомств сторонился, жил как бы сам по себе, наособицу, никому в новом для себя мире предпринимателей не доверяя.

Встречались мы с ним теперь редко. Мне ездить в Москву было незначем да, признаться, и не на что. Но вот однажды я все-таки приехал и, как всегда, пошел к нему. Олеси не было дома (она отдыхала в каком-то санатории или пансионате на берегу моря), и мы устроили с Василием домашнее застолье, отложив поход в пивной бар на потом.

Все поначалу шло хорошо. Мы опять вспомнили студенческую жизнь, общих друзей, говорили и о прошлом, и о будущем. Пил Василий мало, но как-то исступленно, надривно. Мне надо было бы его остановить, но я упустил мгновение, и вот глаза Василия уже налились тяжестью, и бездна проступила в них совсем уж темная, непроглядная. Он вдруг достал из стола пистолет, заученно снял его с предохранителя и сказал, глядя куда-то в сторону, в окно:

— Застрелиться, что ли?

— Зачем? — перехватил я его руку.

Василий сопротивляться не стал, но перевел тяжелый, помертвелый какой-то взгляд на меня и произнес:

— Или застрелить тебя?

Я промолчал: таких разговоров у нас с ним раньше не случалось. Конечно, если бы Василий не был так пьян, то мы с ним как-нибудь объяснились бы, я бы задал ему свои очередные «Почему?» и «Зачем?», а он ответил бы мне, хотя и уклончиво, но вполне вразумительно, как дошел до таких мыслей. Но Василий захмелел раньше обычного, упал головой на стол и выронил из рук пистолет. Я осторожно поднял его, спрятал в сервант и, захватив свой полупустой портфель, ушел на вокзал.

С тех пор мы с Василием больше не видались. Изредка еще перезванивались, но звонки эти становились все более редкими и наконец прекратились вовсе. И вот недавно позвонила мне Олеша, поздоровавшись, долго молчала в трубку, а потом сказала:

— Василий застрелился...

Я не нашелся, что ей ответить, и не ответил до сих пор. Нет, человек все-таки бездна, и ничего мы о нем не знаем...

НЕНАВИСТЬ

Николая Николаевича я знаю лет тридцать. Судьба свела нас в многотиражке одного завода. Вернее, даже не в многотиражке, а в типографии. Николай Николаевич работал там метранпажем, а я, устроившись в заводскую газету после окончания института литсотрудником, забегал туда почти ежедневно по разным редакционным делам. День за днем, и мы с ним не то чтобы сдружились, но сошлись близко. Николай Николаевич по возрасту годился мне в отцы; воевал на фронте, был тяжело ранен в конце войны осколком снаряда в бедро и голень правой ноги. От этого он заметно прихрамывал, но в шаге всегда был легок и быстр. Я часто заходил к Николаю Николаевичу домой, познакомился с его женой, Марьей Петровной, и дочерью, почти моей ровесницей, с немного странным по тем временам сказочным именем — Василиса.

По своему характеру Николай Николаевич был человеком молчаливым, замкнутым и, как все молчаливые люди, вспыльчивым, резким. Дома, правда, эту его вспыльчивость легко гасили Марья Петровна и послушная во всем Василиса. А вот на работе у Николая Николаевича случались из-за неуживчивого его характера разногласия и с руководством типографии, и с подчиненными. Впрочем, и в типографии ему многое

процалось, поскольку работником, метранпажем Николай Николаевич показал себя самым ценным и даже незаменимым.

Те, кто знал Николая Николаевича до войны и в первые послевоенные годы, говорили, что прежде он таким молчаливым и вспыльчивым не был. Всему виной стал один случай, приключившийся с ним году в сорок шестом или в сорок седьмом и острой занозой засевший у Николая Николаевича в душе. Его не приняли в партию, в члены ВКП(б).

Долгие годы об этой незаживающей ране никто Николая Николаевича не спрашивал, не положено тогда было, да, может, и опасно спрашивать: не приняли — значит, так надо было, а за что и про что — то не нашего ума дело. Но вот пошли времена иные, помягче и повольней, и молодые ребята, линотиписты и печатники, стали где-нибудь в курилке затрагивать престарелого Николая Николаевича, иногда так и с подначкой и почти с нескрываемой насмешкой над пожилым человеком, которого теперь никому не жаль:

— За что же не приняли-то, Николай Николаевич?

Тот надолго замолкал, отходил даже, случалось, от ребят в сторону, от греха подальше, но потом вдруг вспыхивал, воспалялся и, не помня себя, начинал кричать на всю курилку:

— Я ихнюю ВКП(б) вот где видал!

При этом он резко и отрывисто ударял ребром левой ладони по локтю правой и выбрасывал далеко вперед жилистый, весь прокуренный, с намертво въевшейся в поры типографской краской кулак. Жест получался таким многозначительным и таким угрожающим, что ребята иной раз уже и сожалели о затеянном разговоре. А Николай Николаевич, видя их растерянность и уступчивость, распался еще больше:

— Устава их я не знаю! На политзанятия не хожу! Да я этот устав вот этими руками (теперь он выбрасывал вперед две широченные, все в мозолях и ссадинах ладони) сам устанавливал, и на войне, и в мирной жизни!

Ребятам нет бы уняться и уйти из курилки. Но их словно кто за язык тянул. Они забывали все свои прежние опасения и затрагивали Николая Николаевича еще больней:

— Значит, правильно не приняли, раз устава ВКП(б) не знал. На политзанятия не ходил! Какой из тебя член партии?!

Николаю Николаевичу только этого и надо было. Он львом, заточенным в клетку, начинал метаться из одного угла курилки в другой и исходил такой руганью, какой, наверное, и на фронте во время штыковых атак сорок первого года услышать было трудно:

— Не приняли таких, как я, вот и прос...ли все!

Схватки эти происходили часто, но потом постепенно затихли: ребята повзрослели, набрались ума, из молодого возраста незаметно переместились в средний, а Николай Николаевич вскоре уволился из типографии и ушел на пенсию участника и инвалида Великой Отечественной войны.

С тех пор минуло довольно много лет. Николай Николаевич овдовел, дочь Василиса вышла замуж и уехала в другой город, Николай Николаевич родственных связей с ней почти не поддерживал, как будто она совсем и не была ему дочерью. Жил он один в двухкомнатной квартире, редко где появлялся, и о нем постепенно все забыли: не до стариков стало, тут и молодые оказались на улице, без дела, без работы и без денег. На заводе, где прежде мы с Николаем Николаевичем работали, закрылись и многотиражка, и типография, а потом закрылся и сам завод.

Теперь на пенсии не только Николай Николаевич и я, но уже и кое-

кто из тех, прежде молодых, ребят, бывших линотипистов и печатников. Встречаемся мы чаще всего на всевозможных митингах, которые случаются едва ли не ежедневно, протестуем, яримся, хотя и сами знаем, что никаких серьезных последствий от наших митингов не будет. Никто нас давно не слушает и в расчет не принимает.

Неожиданно стал возникать на этих митингах и Николай Николаевич, как будто проснулся от какой-то спячки. Он обзавелся увесистой клюкой, хотя она пока вроде бы ему еще и не нужна: шаг у Николая Николаевича по-прежнему быстр и легок. Но с клюкой он выглядит как-то внушительней и строже. Пробираясь во время очередного митинга поближе к оратору, который возвышался на какой-нибудь случайной бортовой машине, на второпях сколоченном помосте, а то и просто на табуретке, Николай Николаевич в ответ на жалобы и стенания, перемежающиеся громогласными призывами и лозунгами, тоже громогласно и зычно принимался кричать, размахивая увесистой своей клюкой:

— Это все ваш хваленый русский народ!

Вначале на запальчивые эти его упреки никто серьезного внимания не обращал: страна рушилась, ломалась, падала в пропасть прямо на глазах, и во многих ее бедах, может, и правда, был повинен не в меру терпеливый и податливый на всякие обещания и посулы русский народ. Но потом воспаленные речи Николая Николаевича стали участников сходки уже не на шутку настораживать. И особенно после того, как он однажды, все так же потяраясь клюкой, закричал на всю площадь:

— Ненавижу!

— Кого это ты ненавидишь?! — обступили Николая Николаевича тесной толпой соратники по митингу.

— Да вас же всех и ненавижу! — не заробел тот. — Весь русский народ ненавижу!

Соратники испуганно замолчали и на всякий случай отошли от разъяренного Николая Николаевича подальше. Много чего резкого и крикливого доводилось им слышать на собраниях всеобщего протеста и недовольства (да и самим кричать), но такое слышали впервые.

— А ты сам-то, что ли, не русский? — наконец нашелся кто-то посмелее.

— Русский! — и тут не заробел Николай Николаевич. — В седьмом и восьмом колене русский! Но я — исключение.

...После того, первого, случая подобные выходки Николая Николаевича начали повторяться часто. Разгневанные старики, его ровесники из участников и инвалидов войны, несколько раз пробовали бить Николая Николаевича со всем остервенением и обидой. Но он каждый раз, поднимаясь из пыли и грязи в кровоподтеках и синяках, кричал еще громче:

— Вот за это и ненавижу!

Участники и инвалиды войны больше его не трогали, стайками и по одиночке уходили с площади в небольшой скверик, что раскинулся вокруг памятника известному народному поэту. Здесь в мирное, промежуточное между митингами время они обычно играли в шахматы, шашки или домино. Николай Николаевич шел за ними следом, но не успокаивался, не садился играть ни в шахматы, ни в шашки, ни в домино, хотя игроком был тоже отменным, выучился еще в типографские свои времена.

Он одиноко садился на лавочку рядом с бюстом-памятником народному поэту и вроде бы успокаивался и даже как бы задремывал, опершись на клюку. Но вдруг неведомо отчего пробуждался, вздымал клюку высо-

ко вверх и, повергая своих противников и обидчиков, опять кричал громко и зычно:

— Вот и Витька ненавидел!

— Какой Витька?! — замирали за досками участники и инвалиды войны.

— Астафьев, — победно говорил Николай Николаевич, — писатель, — и так сокровенно говорил, так сокровенно при этом вздыхал, как будто с писателем Виктором Астафьевым был близко, накоротке, знаком, а то, может, и воевал вместе с ним в одном взводе или в одной роте.

Ветераны и инвалиды войны, среди которых было немало заядлых книгоцеев и книголюбов, имя Астафьева, конечно, слышали и кое-что из его сочинений читали. Они тут же затевали нешуточный, со взаимными упреками спор: одни за Астафьева, другие — против. Но, в конце концов, мирились (делить им, в общем-то, было нечего), обступали Николая Николаевича, виновника их спора, тесным кольцом и, срывая его с лавочки, кричали:

— То Астафьев, а то — ты!

Николай Николаевич на это ничего не отвечал, как будто ему было достаточно и того, что завел и перессорил всех обитателей сквера. Но когда они немного затихали и снова возвращались к своим почти забытым, а часто и разбросанным шахматным и шашечным доскам, костяшкам домино, он немного показно доставал из кармана сложенную пополам брошюру и вспыхивал по-новому:

— И Горький тоже ненавидел!

— Ну, это ты брось! — рвались к брошюре шахматисты и шашечники. — Горький — пролетарский писатель!

— Потому и ненавидел, что пролетарский, — ликовал Николай Николаевич и, уловив минуту, когда обескураженные слушатели умолкали, начинал читать из книжечки-брошюры Горького «Несвоевременные мысли» жирно подчеркнутую им цитату:

«Я уверен, что любвеобильные граждане, упрекавшие меня в ненависти к народу, в глубине своих душ так же не любят этот одичавший своекорыстный народ, как и я его не люблю. Но если я ошибаюсь, и они все-таки любят его таким, каков он есть, — прошу извинить меня за ошибку, но — остаюсь при своем мнении: не люблю».

Шахматисты и шашечники слушали, затаив дыхание, с детских, еще школьных времен привыкшие верить каждому печатному слову, а тем более слову буревестника революции — Горького. Наконец кто-то, опять из самых смелых и решительных, из доминошников, выхватывал брошюру из рук Николая Николаевича, пробовал читать сам, сверяя по названию на обложке, Горьким написана эта книжица или кем другим, а Николай Николаевич лишь выдает ее за сочинение Горького. Удостоверившись, что все же Горького, он частью сам кидался рвать ее на мелкие клочки, а частью передавал в руки своих товарищей, и те в считанные минуты довершали расправу над несвоевременными мыслями пролетарского писателя, оказывается, тоже так люто ненавидевшего русский народ, разрывали ее на еще более мелкие клочки, разбрасывали по ветру, втапывали в грязь.

Николай Николаевич смотрел на эту расправу снисходительно, как будто она его совершенно не касалась, за Горького не вступался, не защищал его, не замахивался на обидчиков клюкой, а, наподобие Челкаша, просторно сидел на лавочке, тая в устах такую улыбку, что всем вдруг становилось не по себе, холодно и сыро.

А на следующий день он появлялся на той же самой лавочке с новой брошюрой-книжицей Горького, которыми, судя по всему, запасся впрок не на одну политбеседу. И все повторялось заново.

Но бывало, что затевал Николай Николаевич в сквере и совсем уж неожиданный для своих ровесников разговор. Опершись подбородком на клюку, он отрешенно, как бы сам для себя, а не для посторонних слушателей, говорил:

— Был бы я помоложе, уехал бы отсюда!

— И куда бы ты уехал? — вначале не придавали его тоске никакого значения участники и инвалиды войны: у каждого на душе тоже было несладко, хоть и правда — беги куда глаза глядят.

— Да в ту же Германию и уехал бы, — добивал их Николай Николаевич. — У немцев всегда был порядок: и на войне, и после...

Вынести этого участника и инвалиды войны, понятно, не могли, они опять отбрасывали в сторону все игры-забавы и шли на Николая Николаевича приступом:

— Тебя где ранило?! — ярился пуще других кто-нибудь из тех, кто застал войну еще с сорок первого года, был и ранен, и контужен.

— Под Смоленском в сорок четвертом, — твердо отвечал Николай Николаевич. — Я четыре километра по танковому следу полз к своим.

— Не туда ты полз! — взрывался совсем уж яростным огнем фронтовой побратим Николая Николаевича, которому доводилось тоже не раз ползти, окровавленным и полуживым, к своим и по танковому следу, и по грязи, и по ледяному насту. — В обратную сторону надо было лезть, к немцам! Сейчас бы баварское пиво пил.

— Может, и надо было, — спокойно отвечал Николай Николаевич и победно уходил из сквера.

...Незримой, тающей какой-то тенью шатается он с митинга на митинг, бродит по городским многолюдным улицам и всюду во всеуслышание ненасытно кричит и кричит:

— Ненавижу!

Конечно, если бы Николай Николаевич кричал про какой-нибудь иной народ, то, глядишь, его повели бы и в милицию. Но про русский народ кричать все можно, за него никакая милиция не заступится, не охранит. Все терпят и сносят эти крики и проклятия Николая Николаевича, делая вид, будто не слышат их, и никто не знает, что же с ним делать, участником и инвалидом войны.

И действительно, что же нам всем с ним делать?

ОДНОФАМИЛЬЦЫ

В середине шестидесятых годов учились у нас в институте на заочном отделении два однофамильца: Гриша и Вася Соколовы. Правда, они себя однофамильцами не считали. И прежде всего Гриша, природный донской казак из Новочеркасска. Свою фамилию он на казачий манер произносил с ударением на первом слоге — Соколов, горделиво подчеркивая этим отличие от курносого рязанского Васи.

Был Гриша высоким, статным, со смоляным вьющимся чубом, который всегда выбивался у него из-под фуражки или шапки. Нос и глаза Грише тоже достались поистине казачьи. Нос узкий, огнедышащий, с высокой переломной горбинкой; глаза угольно-черные, пронзающие любого встречного-поперечного насквозь; брови, чуть что, сразу взлетают

вверх к смолянному чубу, и тогда уж держись, тогда никому и ничему нет пощады. Кажется, выхватит сейчас Гриша из ножен шашку и пойдет рубить ею наотмашь, без разбора — и виновных, и правых. Само собой разумеется, что носил Гриша и усы. Какой же казак без усов? Словом, вылитый Григорий Мелехов. Не одна наша Аксинья, не одна сокурница и с очного, и с заочного отделений сохла по нему. Особенно когда Гриша во время студенческих пиршеств-застольев, склонив набок непокорный, лихой свой чуб, запевал крепко-мужским, раскатистым голосом знаменитую казачью песню:

По Дону гуляет,
по Дону гуляет,
по Дону гуляет
казак молодой.
О чем дева плачет,
о чем дева плачет,
о чем дева плачет
над быстрой рекой?

Ох, плакали девы, горько плакали, слушая те напевы...

В начальные годы учебы Гриша работал у себя на родине, в Новочеркасске, секретарем райкома комсомола, не то вторым, не то третьим — по идеологии, а к концу был переведен в райком партии на должность зама завотделом пропаганды и агитации. Многие преподаватели института из молодых, почти Гришиных ровесников заметно побаивались его и, от греха подальше, на зачетах и на экзаменах по всем предметам ставили ему только отличные отметки. Так и то сказать: пригласи их, к примеру, на беседу в Краснопресненский или Фрунзенский райком партии к замзавотделом пропаганды и агитации — у любого поджилки затрясутся.

Вася же Соколов из рязанского городка Касимова по всем статьям отличался от своего однофамильца. Русоволосый, голубоглазый, роста он был невысокого, приземистого даже, но сбит и сложен крепенько, плотно, этакий добрый молодец, Иван Царевич. Брось впереди него клубочек, так он, не раздумывая, пойдет вслед за ним в тридевятое царство, в тридесятое государство искать похищенную Змеем Горынычем ненаглядную Марью-царевну. По нашему общему мнению, Вася и лицом, и статью был похож на своего не менее знаменитого, чем Григорий Мелехов, земляка — Сергея Есенина. Ему бы и имя носить Сергей, оно как-то больше шло к нему, льнуло, но вот же — родители назвали сына Васей. Откуда им было знать, что, поднявшись в возрасте, он станет походить на Есенина, да еще и стихи пописывать.

Работал Вася в районной газете литсотрудником сельхозотдела, мотался по деревням и селам, писал статьи про трактористов, шоферов, доярок и птичниц, про весеннюю и осеннюю пахоту, про надои молока, про прибавку в живом весе и плодовитость кур-несушек. Кто сотрудничал в районках, тот знает, какая это суетная, круговертная работа, ни дня тебе, ни ночи, гони и гони строчки. Там, в этих бесконечных командировках, в общении и обиходе с трактористами, шоферами и доярками приловчился Вася основательно, со знанием дела, тоже, считай, по-есенински выпивать. Одним днем в выпивках-застольях Вася не ограничивался, а любил загулять всерьез, непрерываемо, иной раз так и на неделю, с долгой томительной опохмелкой.

И вот во время подобных своих гуляний-опохмелок в институте вспылчивый, разгоряченный Вася на виду у всех однокурсников обидно задевал Гришу Соколова:

— Не люблю я вас, казачков!

— Это почему же ты нас не любишь?! — кое-как сдерживал себя Гриша.

— Так ведь отложитесь в любой момент, — совсем уж за живое цеплял его Вася-рязанец. — предадите...

— Кого же это мы предавали? — вскидывал вверх ломаной подковой бровь Гриша, но и тут сохранял еще спокойствие.

— Да всех же и предавали, от всех же и откладывались! — рвал на груди красную свою, всю в петухах, рязанскую рубаху Вася. — Со Стенькой Разиным погуляли и выдали его на расправу, на плаху! Пугачева тоже выдали! Государя своего, помазанника Божьего, царя Николая Второго — и того предали, за большевиками пошли!

Пока Гриша раздумывал, как бы покруче осадить, угомонить распоясавшегося Васю, тот выкладывал коронный свой довод, почему-то казавшийся ему самым убедительным в обвинениях казаков в отступничестве:

— Да что там Стенька, что Емельян, что государь! Вы Лжедмитрия в Москву привели, клятвопреступники, бродни!

Кто такие бродни, бродники, мы к тому времени, обучаясь истории, уже знали: потомки разгромленного князем Святославом иудео-хазарского каганата, которые скитались, бродили по побережью Азовского моря, в понизовьях Дона.

Этого уж домогательства, позора Гриша вытерпеть не мог. Он окончательно сламывал пополам бровь, взрывался:

— А ты сам-то родом откуда?!

— Из Касимова, — гордо отвечал Вася.

— Вот то-то! — ликовал теперь Гриша. — Татарва, значит, голопузая, иногородняя. Рязанец-зас...нец!

— А ты откуда?! — ершился, вставал грудь на грудь Вася.

Гриша костяшками указательных пальцев неспешно разглаживал усы, потом подкручивал их, превращая в остроконечные пики, и отвечал спокойно, без прежней уже горячности:

— Из Новочеркасска!

Васе только этого и надо было.

— Ага, черкес, выходит, чеченец!

И в довершение, окончательно добивая Гришу, читал очень полюбившееся ему стихотворение Лермонтова — «Казачью колыбельную песню»:

Злой чечен ползет на берег.

Точит свой кинжал...

Я, как мог, разнимал их, успокаивал, не зная, по правде говоря, чью принять сторону. Родом я из Порубежной Украины, из бывшей Древней Руси, сразу и русский, и украинец, и белорус, в одночасье и черниговский, и гомельский, и брянский, вполне мог сойти за земляка обоим спорщикам. Грише — так, поди, в первую очередь. Из черниговского казачьего полка, насколько я знаю, переселенного на юг, произошли кубанские казаки, побратимы и сродственники казаков донских.

В другой раз, во время очередной сессии, поднакопив за зиму сил и ярости, Вася задевал Гришу новой придиркой:

— Ну что, казачок, доносы, подметные письма пишешь?

— С чего бы это мне их писать? — тоже за зиму укрепившись в силе и твердости, легко поначалу отбивался от него Гриша.

Но от Васи-рязанца просто так не отобьешься, он въедливый, цепкий,

привяжется, как смола-живица в летнюю пору, — в один присест не отлепишься.

— С тебя станется, пишешь! — с новым замахом бил он Гришу. — По глазам вижу: с басурманами пересылаешься!

— На кого же мне писать? — все-таки не выдерживал этой смолы, этих петушиных наскоков Гриша. — На тебя, что ли?!

— Да хоть бы и на меня! — самолично наливал себе очередную рюмку из общей бутылки Вася. — Вы рязанских, иногородних, спокон веку не любите!

В общем, слово за слово, и опять доходило у Васи с Гришей до дреколя. Все видели, что добром их стычки не закончатся, что быть беде — и немало.

Так оно и вышло. И виной всему стала знаменитая Гришина песня про донского гулевого казака. Только он запел ее, заиграл, говоря по-казачьи, только встал на голос и раскат, только заплакали девы окрест, как Вася — вот он, тут как тут:

— Что-то ты шибко разгулялся, казачок! А?

Девы сквозь слезы было цыкнули на него, но Васю слезами и девичьим цыканьем просто так не окоротить. Он с одной рюмки завелся, расхрабрился не на шутку:

— Гуляет, говоришь, бездельничает?! Как бы не так! Грабит, насильничает, кровушку русскую, рязанскую, пускает. Вот что значат ваши гуляния!

— А вам, татарве, — взвился над столом, обрывая песню, Гриша, — иногда и кровушку пустить не грех, чтоб место свое знали!

Ну и пошла между ними опять стычка-перепалка, а от нее уже и до драки всего ничего. Завязалась и драка, да какая кровавая, страшная!

Всяких драк насмотрелся я на своем веку: и деревенских, с кольями и выломанными оглоблями, и солдатских, когда в ход шли ремни и бляхи, случалось наблюдать и экзовскую поножовщину. Кое в каких делах и сам участвовал: как скроешься, когда товарищей-побратимов бьют?! Но такое остервенение видел впервые, так могут драться и увечить друг друга только близкие, родные по крови люди, которые не знают пощады и прощения. Гриша, конечно, был посильнее, поспортивистей Васи, да и во хмелю стоек, неподатлив, но Вася поувертливей, понахальней, его прямым, открытым ударом не уцелишь, его тоже хитростью надо брать и обманом. А Грише этого как раз и не хватало. В ход пошли и стулья, и табуретки, и настольные лампы, не говоря уж про заполошные крики «Сарынь на кичку!», «Наших бьют!» и про матерок, перед которым не устояли бы ни порабощенные иудеями хазары, будущие бродни и бродники, ни касимовская голопузая татарва.

Я и на этот раз, как умел, кинулся разнимать противников, приводить в разум, но мне же больше всех и досталось — после две недели отлеживался. Так и поделом — не зря в наших местах говорится: два в драку, а третий — известно куда... Хорошо еще, что ребята из соседних комнат подоспели, развели, повязали Гришу с Васей, а то бы они друг друга, да и меня заодно, до смерти забили.

Опамятовались бойцы лишь на следующий день, но повели себя совсем по-разному. Вася, едва открыв заплывшие кровоподтеками глаза, потребовал принести ему на опохмелку вина или водки, да на том и успокоился. В первый раз его, что ли, бьют до полусмерти?!

А Гриша пошел в деканат, в партком и даже к самому ректору. И не

зря ходил: его признали стороной потерпевшей, оскорбленной, а Васю — виновной, преступной, зачинщиком пьяной, подсудной драки. Васю и осудили. К счастью, не уголовным беспощадным судом, а своим институтским, ректорским: выгнали, отстранили от учения — и вся недолга. Года через полтора-два, правда, ректор смиростивился, восстановил Васю в правах студента, и он оканчивал институт уже не на моей памяти.

Учился вместе с Гришей и Васей на заочном отделении еще один очень любопытный парень — Борис, Боря. Родом он был откуда-то из-под Одессы или из-под Армавира. Фамилию Боря носил для нас не очень привычную, буквально назывную — Голубничий. Он и действительно был по-голубиному тих и неприметен. Любому и всякому друг и сродственник, а то, глядишь, и однофамилец. Ни в каких наших спорах и размолвках Боря предусмотрительно не участвовал, сидел в застолье во всем неприметный, отстраненный и лишь потаенно так, замысловато усмехался. За эту усмешку попробовали было присвоить ему кличку-прозвище — Темноватый. Но она не сладилась, не прижилась — так и остался Боря с природной своей голубиной фамилией, и вправду — всем нам родня и единомышленник.

В злополучной той драке в общежитии, что случилась между Гришей и Васей Соколовыми, Боря тоже не участвовал. Теперь я уже и не помню почему. То ли рука у него к тому времени была повреждена, вывихнута, то ли какая иная опасная болезнь с ним приключилась, но не участвовал он в драке, а только, по укореившейся в нем привычке, усмехнулся потаенно и отошел в сторону. Так, может, и правильно сделал: с его фамилией лучше в подобных драках не участвовать. Зато после его ни в деканат, ни в партком, ни к ректору на правез не таскали.

Окончив институт, Гриша, теперь с высшим московским образованием, быстро пошел в гору. В два-три года стал первым секретарем райкома партии. Но, кажется, не в Новочеркасске, а в каком-то из близлежащих к нему казачьих городков. Потом нацелился и еще выше, в область, и до нас доходили слухи, что вот-вот изберут его первым секретарем обкома партии, а оттуда и до Москвы ему, до ЦК, уже один шаг. Так бы оно, наверное, и случилось, не затей Горбачев перестроечную катавасию. Гриша вначале прильнул было к нему, повесил и у себя в кабинете над рабочим столом и даже, говорят, дома, в курене, пятнисто-лысый портрет генсека, агитировал за Горбачева и на казачьем кругу, и на иногородних сходках. Но в самый канун путча вдруг смекнул, что с этим пятнисто-лысым каши не сваришь, что заведет он в такую кугу, откуда нет пути-дороги ни вперед, ни назад. Смекнул и вовремя отложился от Горбачева, целовал крест Ельцину, пошел под его беспалую руку. И сразу был замечен, обласкан и возвеличен — избран-назначен председателем областного Совета народных депутатов, после преобразованного в Думу, чтоб с этой промежуточной ступеньки, обретя опыт законодательной работы, пересест в кресло губернаторское, ну а дальше — опять-таки в Москву, теперь, конечно, уже не в ЦК разгромленной партии, а куда-нибудь поближе к президенту.

Но не зря еще в институте считался Гриша у нас самым дальновидным и догадливым. Оглядевшись как следует по сторонам на новом месте, сообразил он и на этот раз, что с беспалым, окропившим себя в девяносто третьем году народной кровью Ельциным не то что каши, но даже казацкого кулеша не сваришь. И быстро отложился он и от Ельцина. Мы по простоте своей думали — пропадет Гриша, затеряется где-нибудь без-

вестно в ростовских степях и просторах. А он не пропал и не затерялся. Не успели домовитые и гулевые его соплеменники присмотреться к Грише по-настоящему, как он вдруг возник на казацком кругу — и уже войсковой атаман. Завел себе Гриша шаровары с лампасами, нагайку, Георгиевский крест на груди (какой же казак, да еще атаман, без креста?!), в ухо даже золоченую серьгу повесил. Хлесткий, жилистый, неутомимый, каждый круг или сходку начинал он зычным, раскатистым криком:

— Станичники!..

А уж как поведет костяшками пальцев по усам, так и вообще — куда твой Корнилов: хоть сегодня, хоть завтра в верховные правители.

Но и в атаманах Гриша недолго задержался. Осмотрел новонастроенную жизнь высоким соколиным взглядом и сообразил, что казаковать — это дело хоть и видное, да пустое: поразвлечься как следует, погулять по Дону великому — не дадут. Свои же казачки и скрутят, и поведут, будто неразумного Стеньку Разина, на дыбу и плаху. Одним словом, отложился Гриша и от ненадежных своих станичников, которых хлебом не корми — дай только атамана скрутить да всей ватажкой и выдать его на расправу...

Стал Гриша после этого прибиваться ко всяким вновь образованным партиям. Побывал и под двускатной крышей в выморочной черномырдинской гурьбе «Наш дом — Россия», целовал крест Жириновскому, приглядывался даже к «Яблоку» Явлинского и СПС. И не напрасно, похоже, приглядывался и перебирал, не напрасно осторожничал. Нынче Гриша в Государственной Думе, депутат, сидит в самой середке в «Единой России». Костюм на нем дорогой, может, даже от самого Зайцева или и кого повыше — от Кардена, отутюженный, с атласным отливом, на груди вместо Георгиевского креста — депутатский значок с триколором. Казачью серьгу, правда, Гриша из уха вынул. Неудобно как-то с серьгой в Думе, слишком много звона от нее...

А Вася-рязанец так до сих пор и работает литсотрудником в районной газете. В девяносто третьем году примкнул к мятежному Верховному Совету, к Макашову и Анпилову, штурмовал Останкино. Уцелел чудом, выскользнул в самый последний момент из кольца по подземным лабиринтам на Красной Пресне, затаился в Касимове. Но успокоиться, понятно, не успокоился. Не тот Вася человек, чтоб от первой перестрелки успокаиваться. Наоборот, распалился еще больше и теперь, едва сколыхнется что в державе, наезжает в Москву, митингует возле Государственной Думы, костерит на чем свет стоит всех депутатов подряд, выбрасывает против них самые замысловатые лозунги, поносит стихами.

Особенно достается от Васи бывшему сокурснику Грише Соколову. Не успеет завидеть его где-нибудь у подъезда Думы, как сразу кричит во всеуслышание, ярится:

— Казачка гоните! Казачка!.. Отложится!

И ведь прав во многом Вася. В последнее время стало замечаться, что Гриша из середки «Единой России» приноровился все больше и больше тесниться к краю; того и гляди — вправду отложится, в очередной раз переметнется в какую-либо иную ватажку. Нюх у него на это просто собачий.

В долгу перед Васей Гриша тоже не остается. Проходя мимо, непременно заденет, скажет свое излюбленное:

— У-у-у, татарва касимовская! Рязанец-зас...нец! — А то и похуже: — Рязанец-обрезанец!

Это уж и совсем зря, это уж и совсем для Васи, наверное, обидно.

Какой же он «обрезанец» — самый что ни на есть русский православный человек. Православней уже и не бывает.

Если же Вася и после таких обид не унимается, то Гриша строго поведет ломучей своей бровью — и тут же охранники его возникнут (депутатам без охранников никак нельзя) и отгонят избирателя...

Иногда зовет Вася и меня в Москву помитинговать, покучковаться перед Думой. Но я все не еду. Из наших мест до Москвы пенсионеру, бывшему учителю, часто не наездишься, не то что Васе от Рязани: всего два-три часа — и вот она уже, Белокаменная, Дума и Кремль, хоть головой об них бейся. Да и чего ездить?! У нас и своих выморочных казачков, депутатов с охранниками и всяких прочих потомков половцев и печенегов не перечесть. Морду могут начистить за милую душу, хоть нагайками, а хощь — так и чем-нибудь попроще: дреколем или оглоблями.

Нет, все ж таки странно мы устроены, русские люди! В миру и порядке между собой никак жить не умеем. Взяли бы да поучились у каких-либо иных, более сговорчивых народов. Вот, к примеру, американцы: в кого ни ткни, любой и каждый — потомок каторжных разбойников, искателей приключений, следопытов да негров-невольников, а только тронь их — сразу руку на грудь, глаза на звездочетный свой флаг и поют согласно, единым хором: «Америка, я с тобой, права ты или не права!» — все американцы.

В Германии та же история. Баварцы, пруссы, саксонцы, швабы и прочие другие народности — запутаешься в названиях, а сядут вокруг пивной бочки с кружками в руках — сразу все немцы-арийцы.

Про Израиль и вовсе говорить не приходится: те с миру по нитке со всего земного шара собрались-съехались, а опять-таки — все единоутробные евреи, и голыми руками их не возьмешь.

Одни только мы никак не научимся быть русскими, будто стесняемся, будто стыдимся этого звания. Оттого и беды все у нас и напасти все, оттого и задирает нас всяк кому не лень...

А что же Борис, Боря Голубничий? Да вот что! Пока мы все делились, хватали друг дружку за грудки, казаковали да депутатствовали, он незаметно, тихо сколотил себе капиталец на купле-продаже, на паленой водке, на цветных металлах и на всем ином, что плохо лежало, и сейчас, говорят, — один из самых богатых людей в России. Живет Боря по уму, по разуму: нигде зазря не показывается, не высовывается, налоги платит почти все и исправно; с государством не судится, малоимущим даже помогает. Мне вот недавно воспомоществование прислал. «Я, — говорит, — добра не забываю». Надо же! А я вроде бы никакого особого добра ему и не делал. Учились лишь совместно, встречались, когда он на сессии приезжал, — и вся дружба. Но помнит, не зазнается, вот ведь какой памятливейший человек...

Ни в облике, ни в повадках Бори ничего не переменялось. Он сохранил свои давние привычки и привязанности. На службе, в офисе, на любом собрании коллектива, который в нем души не чает, или даже в дружеском застолье Боря по-прежнему застенчиво и почти незримо усмехается. Интересно, чего это он так по-голубиному загадочно усмехается, глядя на нашу грешную жизнь?

Встретимся когда, надо будет спросить...



Живая память

Воспоминания друзей, коллег
и близких



Григорий БЛЕХМАН,
писатель,
доктор биологических наук
(Москва)

ПИСАТЕЛЬ. ОРГАНИЗАТОР. ГРАЖДАНИН

Наша первая встреча, как, впрочем, и многое в жизни человека, была абсолютной случайной. Она случилась в начале 70-х в Центральном Доме литераторов, где я нередко бывал со своей тетушкой Татьяной Третьяковой — дочерью известного в 20-е — 30-е годы поэта-футуриста Сергея Третьякова (близкого друга Маяковского). Мы пришли туда на премьерный показ фильма «Был месяц май», сценарий к которому написал писатель-фронтовик, один из представителей так называемой «лейтенантской» прозы Григорий Бакланов по своему рассказу «Почем фунт лиха». Поставил фильм режиссер Марлен Хуциев.

По окончании в фойе мы встретились с Григорием Яковлевичем, Марленом Мартыновичем, а также с исполнявшим в этом фильме одну из главных ролей режиссером Петром Ефимовичем Тодоровским; помню еще нескольких писателей, среди них были Юрий Васильевич Бондарев и Сергей Павлович Залыгин с молодым человеком, которого он представил нам как многообещающего писателя. Этим молодым человеком оказался Иван Евсеенко.

Потом мы довольно большой компанией шли по зеленому в ту пору Садовому кольцу, еще не обезображенному расширением проезжих частей и нелепыми современными небоскребами, абсолютно не гармонирующими с Москвой, с превалирующими купеческими особняками и домами сталинского ампира, который еще в ту пору сохранился.

Старшее поколение увлеченно продолжало обсуждать фильм, а мы с Иваном как-то спонтанно немного отстали и, незаметно перейдя по его инициативе на «ты» и обращаясь по именам, что логично, поскольку были сверстниками, разговорились друг о друге. Точнее, со слов Сергея Павловича мне было ясно, что Ваню ждет многообещающее будущее писателя.

Примерно через пару лет, когда он привезет мне свою книгу повестей и рассказов, названную «Бревенчатый дом», которую прочитаю за ночь, я пойму, что Сергей Залыгин, представляя нам Ивана, знал, о чем говорит. Ваня полностью оправдывает его надежды. Каждая последующая его книга будет событием в литературной жизни страны.

Это потом он станет известным писателем, журналистом, педагогом, главным редактором одного из лучших российских журналов «Подъём». А пока мы идем и увлеченно разговариваем о самом разном — и, конечно же, о литературе: Серебряном веке, поэзии и прозе писателей-фронтовиков Великой Отечественной, так называемых «шестидесятниках»... Читаем друг другу по памяти полюбившиеся стихи Блока, Пастернака, Гумилева, Есенина, Твардовского, Симонова, Самойлова, Рождественского...

Он, как оказалось, думал, что я тоже профессионально занимаюсь художественной литературой. И был очень удивлен, обнаружив, что не имею никакого отношения к писательскому сообществу, а занимаюсь молекулярной генетикой — в ту пору (в 1970 году) я защитил первую диссертацию. Узнав об этом, Ваня попросил рассказать о сути этой науки и моей работе. И так увлекся, что минут через пять разговора у меня уже было ощущение, что беседую с коллегой, а не с человеком, который впервые слышит о современном на тот момент состоянии в области исследований элитного по сей день раздела биохимии, физиологии и молекулярной биологии. Он задавал вопросы, по которым сразу чувствовалось, что человек не только получил общее представление, но и достаточно глубоко вник в новый для него раздел знаний — а это является признаком природной одаренности.

Потом, когда Ваня приезжал по своим литературным делам — привозил рукописи своих повестей и рассказов в редакции разных журналов: «Роман-газета», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», возглавляемый Сергеем Залыгиным, — он всегда звонил, и мы встречались. В основном, в нижнем буфете ЦДЛ.

Однажды я пригласил его в наш Институт физиологии и биохимии АН СССР, где показал все лаборатории, рассказал, в какой из них чем занимаются, показал современные на ту пору приборы, с помощью которых изучают проблемы, стоящие перед учеными в нашей области знаний, и благодаря которым идет проверка точности полученных экспериментальных результатов. Показал еще нашу научную библиотеку, куда поступали все новейшие публикации, обнародованные в лучших на тот момент биологических журналах Америки, Канады, Японии, Германии, Франции — стран, где происходили тогда исследования на самом современном уровне.

Тогда отношение к фундаментальной науке со стороны государства было очень серьезным, поэтому Институты Академии наук СССР получали все необходимое для работы.

Познакомил Ваню и с сотрудниками своего отдела — к тому времени был уже доктором наук, профессором, заведующим ведущего отдела молекулярной генетики АН СССР.

Иван был очень впечатлен не только условиями, созданными для нашей работы, но и тем, что ученые Советского Союза прекрасно знают русскую и зарубежную классику, а также читают новинки лучших современных писателей.

Узнав от меня, что перед ними — автор книги «Бревенчатый дом», а также — повестей и рассказов, которые мы все читали в упомянутых чуть раньше литературных журналах, сотрудники стали просить его о творческой встрече в актовом зале нашего Института, где трудились более 800 человек. Ване была приятна такая реакция со стороны научной интеллигенции.

Потом как-то незаметно в стране наступила эпоха Горбачева, названная на одном из Ученых советов мудрым директором нашего Института академиком Андреем Львовичем Курсановым «махровой демократией». И сразу резко изменилось со стороны руководства страны отношение к фундаментальным исследованиям — институты АН СССР на глазах беднели, сотрудники были поставлены на грань выживания, поэтому искали любые подработки на стороне, чтобы прокормить семьи. Дальше — больше: после распада Советского Союза все усугубилось до такой степени, что науку постепенно возглавили не ученые, а функционеры...

Поэтому, к сожалению, творческая встреча с Иваном в нашем Институте не состоялась.

С той поры мы не виделись, а только время от времени созванивались. Разговаривали о самом разном, но в итоге сходились на том, что перестройка в таком виде до добра не доведет. Добрым словом вспоминали Советский Союз. Особенно — времена Сталина, в которые обоим довелось пожить и во многом сформироваться как личностям, поскольку атмосфера в стране формирует с «младых ногтей» и на всю оставшуюся жизнь.

В какой-то момент судьба сложилась так, что абсолютно неожиданно привела меня в профессиональное занятие литературой. В связи с этим вспомнил сейчас Ванин звонок и наш разговор:

— Гриш, я тут увидел, что у тебя в литературе появился полный тезка...

— Прости, Ванечка, бес попутал...

— В таком случае я полностью на стороне этого «беса»: по-моему, ты и здесь занимаешься своим делом...

Оказалось, что Иван звонил после того, как в одном из литературных журналов — по-моему, «Ковчег-Крым» — прочитал то ли цикл моих стихов, то ли какую-то из первых повестей.

Поскольку он в лукавстве никогда замечен не был (наше поколение не так воспитано), мне было приятно слышать от профессионала, что нахожусь я хоть и в самом начале, но на правильном пути.

Потом в издательстве «Российский писатель» стали выходить мои книги стихов и прозы. Первые три успел отправить Ване. Читал он внимательно, потому что когда звонил, то говорил не обобщенно, а об определенных местах текстов — их стиле, достоинствах и недостатках. Я же слушал его, как минимум, не менее внимательно, поскольку подробный разбор такого Мастера дорогого стоит. Конечно, было приятно слышать его непереносимое в завершении каждого разговора: «Только ни в коем случае не бросай писать. Верю в тебя и вижу, что не напрасно».

Тогда я был уже в таком возрасте, какой давно позволяет понимать степень аванса, выдаваемого тебе большим Мастером. Жаль, что теперь не узнаю, в какой мере оправдываю и оправдываю ли сегодня потраченное им на меня время...

Ваня тоже присылал мне свои книги, которые я читал запоем. Говорить, почему — думаю, излишне, поскольку каждый, кто хоть что-нибудь прочитал из его произведений, сразу меня поймет.

Последняя книга, которую он мне прислал, называется «Затаив дыхание». Она состоит из повестей.

К сожалению, вскоре Ваня, давно уже ставший Иваном Ивановичем, уйдет из жизни земной в жизнь вечную, которую он заслужил своими бессмертными произведениями. Потому что они, в конечном счете, составляют написанную в блистательной художественной форме летопись нашей многовековой истории. А это далеко не каждому дано.

Глеб БОБРОВ,
писатель, журналист,
председатель Союза писателей ЛНР
(Луганск)

УЙДУТ ОТ НАС УЧИТЕЛЯ...

Когда-то, много лет тому назад, Иван Иванович Евсеенко дал мне путевку в большой мир русской литературы. Случилось это так.

В начале девяностых «Афган», все еще бурливший в моей душе, прорвался парой рассказов и небольшой, по сути, автобиографичной повестью. Рассчитывать «русскоязычному» автору на Украине, уже тогда тяжко больной «незалежностью», можно было только на себя. Поэтому один экземпляр набранного на печатной машинке «Erika» сборника отправился с оказией в Москву. Оттуда стараниями секретаря Союза писателей СССР Ларисы Георгиевны Барановой-Гонченко рукопись оказалась в территориально близком к Луганску Воронеже.

Через пару недель после отправки рукописи в Москву я неожиданно получил очень теплое, светлое письмо от маститого писателя, где мне была обещана всяческая наставническая помощь и поддержка. А спустя пару месяцев в возглавляемом им журнале «Подъём» вышла моя первая повесть. Так началось наше сотрудничество и доброе товарищество с Иваном Ивановичем Евсеенко.

Неоднократно бывал у него дома. На диване в гостиной вместе со мной спали его кошки. Слава о термоядерной горчице, изготавливаемой по хитрому рецепту в дорогу домой специально для меня «Светой-большой» — заботливой супругой Ивана Ивановича, — по сей день живет в Луганске. Но главное — та мягкая и ненавязчивая рука мастера, которая в моем присутствии правила и доводила мои тексты, та неутомимая забота о «молодом таланте», которого надо бережно вести за руку к читателю, навсегда запала мне в душу как образец и поведенческая модель.

С тех пор минуло немало лет. Сам я попрос, мой литературный ресурс, посвященный современной военной литературе, давно уже тянет наверх новых молодых авторов и пишущих ветеранов. Нашими усилиями многие из них приняты в Союз писателей России, десятки наших авторов издали свои книги в ведущих российских издательствах. Верю, во всей этой работе незримо присутствует и частица души моего учителя — Ивана Ивановича. Точно так же, как некогда он взял под опеку начинающего писателя, так и я сегодня делаю для каждого из них все, что мне по силам.

В этом вижу главный подвижнический итог Евсеенко — как наставника. Ведь помимо меня у Ивана Ивановича были десятки и десятки «поднятых» им учеников, литературных питомцев и воспитанников. А многие годы возглавляемый им российский литературный журнал «Подъём» был площадкой, где впервые в своей жизни (!) «светились» дебютанты.

Ну а книги Ивана Ивановича, начиная с первых его публикаций и кончая последними — особенно «Пока печалются колокола», «Затаив дыхание», — знаю, еще долго будут с нами. Как бы жестокий и прагматичный день сегодняшней ни изгалялся над настоящей, исконно русской литературой.

Спи, дорогой друг и учитель. Земля тебе пухом. Добрую память о себе ты уже заработал и передал свой дар наставника другим. И пусть слова малоизвестного автора из Авдеевки станут духовной эпитафией этому прощальному...

Уйдут от нас учителя,
И станем мы учителями.
И все, на чем стоит Земля,
Вдруг станет нашими плечами...

Виктор БУДАКОВ,
писатель (Воронеж)

СЛОВО ПРАВДЫ И НАДЕЖДЫ

Миновала уже какая годовщина, как завершилась земная жизнь Ивана Евсеенко. Если бы потребовалось сказать о нем кратко и точно, можно было бы обойтись всего тремя словами: «Большой русский писатель». За этими словами стоит очень многое, существенное, во всяком случае, далеко превосходящее то же самое слово «большой» применительно к пестрой бесконечности нынешних литераторов, режиссеров, актеров, бардов, для большинства из которых слова «мода», «эпатаж», «пиар» столь же ласкают их слух, как и неумеренные восторги одномышленников по поводу их сотворений.

Евсеенко был человек русской классической литературной традиции, он учился в Литинституте у Сергея Петровича Залыгина, и он как-то незаметно, но верно встал в тот ряд, который составляют имена Абрамова, Белова, Носова, Астафьева, Шукшина, Распутина, Лихоносова, Крушина...

Мое знакомство с Иваном Евсеенко было заглазным, заочным. В 1973 году в Центрально-Черноземном книжном издательстве готовилась к печати книга прозы молодых, которую меня попросили редактировать и которой по одноименному рассказу я дал название «Вишневое солнце». Авторы книги (Юрий Бобоня, Иван Евсеенко, Василий Кравченко, Николай Студеникин, Петр Чалый), на мою радость, оказались людьми литературно одаренными, и особых редакторских хлопот не потребовалось. Более того, я не без удовольствия прочитал и перечитал их (впоследствии — разной степени известных писателей) рассказы, и среди них, прежде всего, — Ивана Евсеенко. Его «Бревенчатый низенький дом» был написан не только добротнo, но душевно, сердечно и навевал родное.

По той же поре молодой писатель перебрался из Курска в Воронеж, где по весомому звонку Залыгина был принят в журнал «Подъём» и стал заведовать отделом прозы. Мы с ним сошлись как-то незаметно. Разговоры, начинаясь с какого-нибудь пустяка, чаще всего переходили на литературу, причем меж имен русских писателей мелькали и имена украинских — не только кобзаря, но и современных: Павла Тычины, Бориса Олейника, Павла Загребельного, Олесья Гончара, Ивана Драча. Здесь к месту сказать, что я в свое время поступал в Киевский университет, не раз бывал на Украине, гостил у знакомых и родных (моя мама глубокими корнями произрастала с Полтавщины и Харьковщины), так что разговоры о

родной Ивану Евсеенко Украине (он родился в Займище на древней Черниговщине) были обоюднo заинтересованными.

Ваня, по первому впечатлению, был угрюмоватый, словно бы чем заведомо недовольный. Но когда он уже при первой встрече видел человека, пришедшего не по корысти (скажем, незамедлительно, с первого рассказа желавшего быть напечатанным), когда видел человека содержательного, порядочного и литературно одаренного, он преображался, голос его становился теплее, участливее, и сам он душевно открывался. Он умел побороться за своих сверстников, талантливых и близких ему по духу. Пусть и тексты талантливых убеждали, но Ваня нередко ходатайствовал за них дополнительно, то есть приходил к редактору Инне Сафоновой или же к главному редактору Александре Жигульской, приносил книги или короткие рукописи Михаила Еськова, Валерия Баранова, Александра Акулинина и просил прочитать хотя бы несколько страниц. В Центрально-Черноземном книжном издательстве редакторы подобрались толковые, опытные, с первой страницы чувствовавшие и видевшие авторские возможности, и Ваня помогал автору будущей и в основном хорошей книги еще и таким путем. Позже Иван Евсеенко, будучи уже главным редактором «Подъема», помог и в творческом становлении талантливого прозаика Виктора Никитина.

В советские времена принято было направлять не только студентов, но и вполне по годам зрелых сотрудников различных учреждений на помощь селу, не поспевавшему с уборкой сахарной свеклы. Таким образом, сколько помнится, поздней осенью 1977 года мы оказались теми «шефами-помощниками» в далекоудаленной от Воронежа деревне Тройня. Привычное дело — и очищать свекольные корни, и загружать ими машины, и отвозить на склад ближайшего сахзавода.

А по вечерам мы бродили мимо редких изб и бесфамильного обелиска, при виде которых читался крестный путь России, мимо деревенского пруда, говорили о разном и опять-таки больше — о литературе: не просто о литературе как о большем или меньшем искусстве, красавословии, изыске для немногих, но о литературе, всеми корнями своими вырастающей из толщи народного бытия.

Иногда в вечерние часы в битком набитой комнатухе играли в шахматы, Иван тогда был шахматист начинающий, обычно «вылетал», но не обижался и не уходил, а внимательно следил за игрой более сильных.

А вскоре страна стала меняться, на глазах менялась, неумно утягиваемая в тряские дебри «перестройки» и реформ. Поистине — эти Миши, эти Бори... Эти «гаранты» нелюбви к отечеству и жажды власти через обман, через предательство. В те ограбляющие, разрушительные для страны времена (не вспомню, когда именно) в Москве был шумно затеян так называемый антифашистский конгресс, естественно, с привлечением провинций. «Антифашистская выборная конференция» состоялась и в нашем под стать столице граде, и возвращенные и вскормленные Советской властью и народом, победившим фашизм, местные радикал-либералы громко устремились бичевать угрозу «русского фашизма», «коричнево-красной чумы». В те дни я был в отъезде, и когда Иван, оказавшийся на том собрании белой вороной, по моем возвращении рассказал о шумном губернском действе, я изумился: «То есть как?! Народ, победивший всеевропейский фашизм, потерявший миллионы лучших, страна, ставшая после фашистского нашествия наполовину пепелищем, — и чтобы эти народ и страна допустили у себя фашизм! Да у нас стойкая вакцина против него

в его европейском и любом одеянии!» — «Вот я об этом и сказал. Но оказался в побитом меньшинстве. Вернее, исходя из спецподбора приглашенных, одинок. Ладно, все эти конгрессы — вне действительного бытия страны». — «Насчет одиночества, — возразил я, — думаю, преувеличение. Но какой хороший заголовок для рассказа — „Мужество одинокого Вани“! Строже — „Мужество одинокого Ивана“».

Евсеенко дорожил прошлым, его вещами, пусть, на первый взгляд, и незначительными. Горевал, когда в перестроечные дни архив Воронежской писательской организации свалили в огромную ванну — фотографии, книги с надписями, рукописные страницы литераторов... Я его неутешимо утешал, дескать, в овраги и на свалки выбрасываются великие меры сахара, колбасы, мыла, чтоб только пуст был советский магазин; или сколько неповторимого губерньски-уездного антиквариата от мебели и посуды до старинных книг из ветхих чердаков, кладовых шло и уходит на выброс, чаще — в жадно-примерчивые руки; более того, даже великие Архивы и Библиотеки и прежде сгорали в мировом пламени, и сколько еще сгорят от молний природы или от злого человеческого умысла и огня.

В юбилейный для Ивана день 1993 года к нам в «Подъём» и Воронежскую организацию Союза писателей России (тогда они располагались в одном здании — в музейном Магистрате) пожаловал председатель областной Думы Иван Шабанов. Издавший виды писательский отсек из двух проходных комнат был захламлен журналами, всякого рода папками и бумагами. Но худо-бедно разместились, и председатель Думы поднял тост за будущее русской литературы и именинника, который в этой литературе — далеко не последний. Иван, как всегда, мрачновато шутил, мол, вот и областная власть пришла поздравить русского писателя. Уходящая власть. А новоявленная — та не поздравит. Других поздравит — более угодных и угодливых.

Далее справедливости ради стоит напомнить об одной из эпизодических вех «Подъёма», поскольку именно журналу Евсеенко отдал десятилетия своей литературной страды и жизни. Кажется, в июне девяносто пятого при полном единодушии обеих писательских организаций я был рекомендован и вскоре утвержден губернской властью на должность главного редактора «Подъёма». На верхнем властном этаже были приняты мои условия по названию и содержательному наполнению журнала, по его стратегическому планированию и кадровому вопросу. Но после обоюдной договоренности тогдашний губернатор вдруг предложил повременить с кадрами и названием журнала. В просторнейшем кабинете председателя областного комитета по культуре, сообщившего мне сие, я выслушал («а как же недавние договоренности?»), поблагодарил и... направился к выходу. Надо отдать должное Виктору Одинцову и Станиславу Никулину (их планировали ко мне в заместители) — они тоже последовали за мною. А Иван, узнав об этом, ругал меня на чем свет стоит, дескать, пренебрег устройством местной литературной жизни, а мог бы помочь стольким молодым даровитым писателям, которым нужен редактор опытный, эрудированный и сильный. Но нет худа без добра. Вскоре председателем областного комитета по культуре стал Евгений Новичихин, он добился назначения Ивана Евсеенко на пост главного редактора «Подъёма». Это было справедливо и разумно, думаю, Евсеенко тогда был самой подходящей фигурой для главного редакторства. С первого новослужебного дня я навещал своего товарища, помогал, когда в том нужда была, советами, материалами и рубриками — «Духовное поле», «Сыны Отечества», также

тематические номера и поныне выпускаются. Будучи давнoletним членом редколлегии «Подъёма», помогал ему определять наиболее существенные векторы в журнале. Заседания редколлегии, за редкими исключениями, собиравшие иногородних представителей из Белгорода, Курска, Липецка, Тамбова, иногда из Орла, обычно выдавались плодотворными, перспективоопределяющими, с неизменным последующим застольем, где Евсеенко нередко зачитывал свои весьма вольные, но точные строки-четверостишия о новых нравах, о столичных и местных литераторах.

Однажды я ему довольно полно ответил на несколько касательных истории Воронежа и страны вопросов, и с той поры он, имевший тягу многое знать, многое видеть и слышать, о многом «в корень» размышлять, нередко обращался ко мне с почтительно-ироническим «энциклопедист». Он мне даже шутливо, при обычной грубоватой лексике и ироничности, четверостишие посвятил, переиначив пушкинское «То академик, то герой...», шутливо налегая на мое почетное профессорство, на членство в разных общественных академиях, на частые выступления в разных аудиториях города, области и страны.

Мне думается, что кресло главного редактора журнала далось ему тяжело, и уже не имел он возможности в рабочие часы отвести душу с зашедшими на час друзьями — тем более, не имел возможности сразиться в шахматы, ставшие его страстью. А прежде со Стасом Никулиным, Гавриилом Троепольским он мог часами переставлять шахматные фигуры. (Забавный штрих. Я тоже с Иваном, еще не главным редактором, играл в шахматы, поначалу легко обыгрывал его (имея с юности далеко не последний разряд), а затем после затяжных ничьих стал и проигрывать. Дело в том, что над шахматной доской я не любил долго раздумывать, а он часто брал измором. Впрочем, это неточное определение — «измор». Иван Иванович, за что бы ни брался, обдумывал всякое дело основательно, согласно поговорке «семь раз отмерь...», так что для него каждый шахматный ход был столь же значим, как если бы литературный абзац.)

Теперь ему приходилось вести бесконечные разговоры с забредавшими с улицы авторами с рукописями и без рукописей, с их желанием немедленно быть прочитанными, услышанными, с их неумением слушать других, и жаль было потерянного времени. Изнуряли объяснения с какой-нибудь дамой, томимой графоманическими недугами, или вдруг откуда ни возьмись взявшимся в болезненной напористости говорливцем-стихотворцем, или же назойливым адвокатом-литератором, в своих «биописаниях», оценках, анонимках одержимым синдромами плебейского лакейства, лжи-зависти и провокаторства.

Нередко Иван Иванович звонил, спрашивая меня сурово: сколько страниц одолел? И более сурово: или хотя бы строчек? Он считал необходимым писать каждый день. Не то что — ни дня без строчки, но поступал именно так. И постоянно отчитывал меня, когда я подолгу не брал в руки «творящего» пера. Я шутливо отнекивался: «Я же стихотворствующий. Нахлынет — напишу. А так — зачем, о чем? Все уже сказано Сервантесом, Достоевским, Толстым...»

Наконец, и я, утолченный его жесткими требованиями писать каждодневно, взялся за начатые еще в юности замыслы, требовавшие именно прозаических воплощений; по-иному осмыслил тогда и его давнее выступление на послесъездовском, кажется, 1990 года правлении Союза писателей России, когда он русских писателей-почвенников звал к письменному столу, а не на митинговые площади.

В начале нынешнего века он усиленно взялся за написание воспоминаний. И с какой впечатляющей яркостью образов и картин, с какими тактом, благодарностью, подчас юмором поведал он нам о своих наставниках и старших друзьях — Залыгине, Носове, Распутине. И за каждой строкой чувствовалась правда — прежде всего, правда. Мужественно правдив он и на страницах воспоминаний о Солженицыне, где рассказывает и о Троепольском, с которым был дружен, но не принял застольного спича автора «Белого Бима...» по окончании в Воронеже выездного пленума Союза писателей России — как и более позднего его выступления на союзном писательском съезде в связи с реакцией грузинской делегации на рассказ Астафьева «Ловля пескарей в Грузии» или его ухода из традиционного писательского Союза. Столь же прям и честен он был и с другими воронежскими по рождению художниками слова, увенчанными наградами, тогда еще не интернетным читательским вниманием и далеко не всегда разборчивыми в отношениях с их так называемыми литературными прочтенцами-«биографами».

Людам, говорящим в глаза правду, не всегда комфортным, то есть мало толерантно-предупредительно-любезным и покорным в отношениях со старшими по службе, нередко не по своей воле приходится уходить, оставлять любимое, налаженное занятие. Разумеется, и Евсеенко при его независимом характере однажды вынужден был уйти с поста главного редактора. Что ему осталось отработать положенные по трудовому законодательству два месяца, известно стало скоро, и как-то незаметно и вдруг иссяк в его двери поток посетителей, просителей, литераторов, агитаторов... В ту пору навещаая его почти ежедневно, видел, как он ранимо все это переживал, и тогда я выводил его на прежние наши разговоры о скоротечности всего, а не то что каких-то служебных кресел, о преходящности и дурного, и хорошего, о конечной бессмыслице человеческих музеев, театров, академий, поскольку... солнце погаснет. А все сущее когда-нибудь покроется водами, как сказал наш великий поэт.

В последние годы я часто бывал в гостях у Валентина Распутина в его московской квартире на Староконюшенном. Долгие многочасовые беседы иногда длились допоздна, но все равно были — словно мгновенье. При расставании Распутин неизменно передавал добрые пожелания воронежцам Новичихину, Белозерцеву, Стручковой, Жихареву. И неизменно — Евсеенко. В одной из бесед я напомнил Валентину Григорьевичу, разумеется, не слово в слово, предваряющие строки Ивана Евсеенко из его снабженной распутинским послесловием книги «Крик коростеля» — строки о малой родине, о земле Черниговской, о реке Снови, где, по преданию, в смертном противоборстве схватились Илья Муромец и Соловей-разбойник (здесь цитирую в точности): «Два начала поразительно уживаются в душе человеческой: одно сродни Илье Муромцу, доброе, справедливое, с чистыми бескрайними лугами, с высоко парящим в небе аистом, с запахом цветущего льна и конопли, а другое под стать Соловью-Разбойнику, злое, погибельное, звериное. Наступает смертельный час, и вдруг опять сойдутся они, как в старье, древние времена. И тогда один брат идет воевать непрошенного гостя, а другой предает свою родную землю, свои луга и поля, свое небо и свой дом». Помолчав, Валентин Григорьевич заметил: «Так и будет до скончания века...»

Хотя я и не любитель телефонных бесед, мы, особенно в последние его месяцы, часто беседовали по телефону. И, может, чаще всего об Украине. Он сокрушался, что внешне управляемая Украина избрала недру-

жественное к России слово, и в немалом числе украинские писатели (а там были его друзья) стали завзятыми самостийниками, для которых, как позже выяснилось, Украина не может быть процветающей без заокеанской Америки. А как же Россия — большая ветка единого славянского древа? Единокровная, единопородная, восточнославянская Русь — это «москаляку — на гияляку»? «Гори оно все у них синим пламенем!» — это Иван Иванович с горечью выдохнул о безумье беззаконной, переворотной украинской олигархической верхушки, обманно и вероломно захватившей власть и цинично кинувшей в народ семена лжи, розни, славянско-го раздора.

А однажды поутру — резкое, словно бритвенно-ранящее, короткое и неожиданное Иваново сообщение: «У меня на днях мозговая операция! Врачи сказывают, что-то лишнее в голове появилось». И вопросительно, как всегда, шутливо-иронично, спросил: «Может, излишек мозга? Может, мозг не такой, какой нужен сегодня?»

Операция прошла сложно. Спасительно, но ненадолго. Вскоре потребовалась еще одна операция — особый скальпель... лучевой лазерный нож!

Наши телефонные беседы после операций становились все тише, тише, все реже и реже...

Иван Иванович Евсеенко (так случилось) похоронен на загороднем, дальнем от Воронежа Буденновском кладбище, но его образ неизменно — перед нашими глазами, как с нами и его мужественное, лиричное, ироничное слово. Слово единомышленника, товарища, друга. Слово большого художника.

Наталья ГРЕБЕННИКОВА,

*главный библиограф библиотеки № 2
имени А.В. Кольцова (Воронеж)*

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА

Иван Иванович Евсеенко оставил в моей памяти самые светлые воспоминания.

В 2006 году судьба привела меня в библиотеку № 2 имени А.В. Кольцова. Библиотека эта является краеведческим центром и расположена в центре Воронежа. Наш маленький уютный читальный зал стал своеобразным центром притяжения для литераторов, музыкантов, художников, историков.

Запомнился случай, когда Иван Иванович в один из своих визитов помог мне подготовить интерактивное мероприятие для школьников. Он начал задавать мне вопросы и сам же давал на них ответы. Ответы эти были такими глубокими, что и после встречи с Иваном Ивановичем они постоянно вспоминались и заставляли вновь и вновь переживать беседу с ним.

Так сложилось, что совместные мероприятия проводили мы нечасто. Но каждая новая встреча заставляла меня с большим уважением относиться к известному воронежскому писателю.

Иван Иванович всегда казался мне человеком старше своего возраста. Думаю, на мое восприятие повлияли и его мудрые произведения, и его природный ум.

Однажды мне удалось побывать на творческом вечере Ивана Ивановича. Тогда я только начинала трудовую деятельность в должности библиотечаря и от этого чувствовала некую неловкость в окружении маститых литераторов. Ход мероприятия задавал Иван Иванович, и постепенно мое волнение ушло. Встреча была наполнена дружескими воспоминаниями, шутками. Запомнила эпиграмму, которая звучала примерно так: «У Евсеенко Ивана нет ни фальши, ни изъяна, у него один изъян — он Евсеенко Иван!» За давностью лет многое забылось, но общее яркое впечатление от встречи сохранилось до сих пор.

А последнюю нашу встречу с Иваном Ивановичем я, может быть, и хотела бы забыть, да она не забывается. Это было осенью 2014 года, за несколько месяцев до ухода писателя из жизни. Мы встретились во дворе его дома. Я обратила внимание, что он очень изменился внешне: болезнь сделала свое дело. Он создавал впечатление глубоко одинокого человека и более того — отчаявшегося уже что-то изменить к лучшему. Не знаю, почему я так подумала, но разговор наш был грустный. Предложила ему:

— Иван Иванович, давайте проведем у нас, в библиотеке, вашу встречу со школьниками.

Мне нравилось, когда Иван Иванович читал вслух свои произведения, да и как педагог он умел расположить к себе молодежь. Тогда я была уверена, что встреча состоится. Но Иван Иванович лишь тихо сказал:

— Многие меня просят выступить... но встречи постоянно отменяются...

Так и случилось. Встреча не состоялась, и я очень переживала по этому поводу. Но ничего изменить уже было нельзя...

При жизни писателя наша библиотека не раз организовывала книжные выставки о жизни и творчестве Ивана Евсеенко, отмечала его юбилеи. В фонде библиотеки хранится драгоценный подарок от автора — книга «Пока печалются колокола» с его автографом. На титульном листе этого издания он написал:

«На добрую память сотрудникам и читателям Воронежской городской библиотеки № 2. 17.12.2008. Иван Евсеенко».

Иван ЕВСЕЕНКО-младший,
писатель, редактор-составитель альманаха
«Литературный оверлок» (Москва)

1. ВРЕМЯ САЖАТЬ БЕРЕЗЫ

*Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез,
Слушаю — и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез...*

Николай Рубцов

Вот и минул год со дня смерти отца. Пронесся декабрьским ветром, пронизал, похолодил душу, но не выстудил боль. Не смиряется сердце с утратой, болит, и время здесь не в помощь.

Два с небольшим года назад увесистой бандеролью пришла на мой адрес одна из последних книг отца с тревожным названием «Затаив дыхание». На титульном листе подпись: «На память Ивану Евсеенко-млад-

шему от Ивана Евсеенко-старшего». Как всегда, чуть ироничная, но добрая, отеческая...

И была та книга, помимо прекрасного содержания, и внешне несказанно хороша: в твердом переплете, на белоснежной плотной бумаге, впечатляющая по объему. На лицевой стороне обложки безукоризненной гладью синела река Сновь. Запечатленная фотографом с деревянного Займищенского моста, построенного уже в девяностые годы, она уводила взгляд смотрящего вдаль и терялась меж бескрайних лесов и полей. На тыльной стороне изображены сам мост на черных костистых опорах да с щербатым настилом и текущая под ним все та же Сновь-река. Здесь она снята теперь уже то ли с лодки, то ли с берега, противоположного тому, на котором стоит родное село отца Займище.

Неспешно и величаво течет Сновь, омывая знакомые еще по раннему детству пологие берега, усеянные кустарниками боярышника и камышом.

Хорошо помню, как с тех самых берегов мы с отцом в конце семидесятых годов не единожды рыбачили — когда спиннингом, а чаще простыми удочками, наспех сварганенными из прибрежного ивняка...

Совсем далеко, поверх зеленоватых макушек деревьев, почти сливаясь с небом, едва различимым голубоватым пятнышком светится церковь. Вернее, это теперь церковь. А в годы моего детства — обыкновенный сельский клуб. Один из многих, которые во времена СССР имелись во всяком мало-мальски приличном селе. В него теплыми июльскими вечерами отец часто водил меня на просмотры советских кинофильмов или же на концерты местной художественной самодеятельности.

И если спуститься с моста на ту сторону, где расположено село, и немного пройти по широкой песчаной дороге вдоль берега, то скоро займищанский храм Петра и Павла предстанет перед вами во всей красе. Здесь, напившись воды из церковного колодца, стоит повернуть на улицу Червоноармейскую и минут через пять оказаться у крыльца нашего родового дома.

Об этом доме отец написал очень много, и даже в тех повестях и рассказах, которые не были по своим сюжетам документальными, я часто узнавал его по знакомым лишь мне деталям: русской белой печке, пристроенному к ней деревянному полику, просторным сениям, устеленному соломой чердаку. Узнавал и искренне радовался про себя этому узнаванию. Не зря, наверное, отец так часто вставлял в свои произведения подробное описание нашего дома. Настолько он по своему внешнему и внутреннему облику был типичен — как для Украины, так и для России.

Рядом с хатой, теперь уже на вид не бревенчатой, а обделанной на современный лад бежевым сайдингом, в небольшом палисаднике, огражденном низеньким деревянным заборчиком, посреди выращенных уже в нынешнее время декоративных растений и тесня их своей ширью возвышается береза, посаженная перед самой войной моим дедом Иваном Денисовичем Евсеенко. Для отца все, что связано с дедом, всегда было без преувеличения священным.

Привилось такое отношение и мне. Помню, как часто, будучи еще совсем ребенком, я подбирался к березе и осторожно трогал ее кору-бересту, словно через прикосновение пытался ощутить теплоту рук деда. Ведь теплота эта, по моему тогдашнему детскому разумению, чудесным образом должна была сохраниться до сей поры. Если честно, то я и сейчас в это свято верю.

Примерно в те же годы — а точнее, в семьдесят пятом — пригожим апрельским днем, уже в городе Воронеже, мы с отцом, вооружившись лопатой и ведром с водой, вышли во двор, чтобы посадить теперь уже нашу семейную березу. Что тут сказать: не считая хорошего настроения и ощущения начала чего-то светлого и настоящего, ничего особенного в этом действе не было. Выкопали неглубокую ямку, опустили в нее тоненький, почти безжизненный саженец, принесенный отцом из близлежащего леса, засыпали землей, полили. А закончив посадку, чуть постояли в удовлетворенном молчании.

Особенное ожидало меня потом, когда береза стала подрастать, словно, как мне тогда казалось, ростом своим соревнуясь с ростом моим. А самое главное, время от времени невольно вынуждала думать о себе и даже беспокоиться. Как будто ее березовая судьба каким-то образом связалась с судьбой моей — человеческой — и теперь чуть ли не влияла на нее.

Очень часто, проживая уже в другом районе Воронежа, я, доверяясь минутному порыву, мог ни с того ни с сего оседлать свой складной велосипед и, преодолевая крутые подъемы и спуски Чернавского моста, без усталости мчать через весь город. Лишь для того, чтобы провести наше с отцом дерево. Доехав, минут пять, не слезая с велосипеда, издали оценивающе глядел на него и, удостоверившись, что все в порядке, катил обратно. Иногда, бывало, сам отец случайно оказывался на левом берегу и по возвращении домой, за обедом, а чаще за ужином добродушно, приглаживая ладонью начинающую сесть бороду, рассказывал всему семейству про нашу с ним березу, о том, насколько она подросла — и вверх, ивширь.

Однажды, то ли в конце восьмидесятых, то ли уже в начале девяностых, его рассказ меня сильно расстроил. По словам отца, одна из толстых ветвей березы начала гнить, а потом и сохнуть. Чтобы сохранить дерево, наши бывшие соседи больную ветвь отпилили и замазали место спила садовым варом, словно рану. Я, помнится, выслушав тревожную весть, порядком огорчился, словно плохое произошло с кем-то из родных или близких. Долго переживали мы с отцом эту неприятность, намеревались даже посадить под окнами новое дерево. Но позже, где-то год спустя, видимо, еще раз побывав в тех местах, отец как-то торжественно объявил, что все, слава Богу, нормально, береза ожила, а на обрубке появились небольшие веточки с листочками.

Сегодня отца вот уже год, как нет. Но в Воронеже, на левом берегу, во дворе одного из домов по улице 25 Января до сих пор качается и шумит наша с ним береза. Съездить бы, взглянуть на нее! А еще лучше — показать сыну. Подойти, осторожно коснуться завитков лоснящейся бересты, как в теперь уже далеком детстве, помянуть светлые детские дни и, конечно, отца. Ведь береза наша, как и та займищанская, уверен, все еще хранит тепло его рук.

Люди уходят, а деревья, посаженные ими, остаются и своим благородным молчанием хранят память о них. А иногда, чаще по осени, то нарастающим, то затихающим шелестом будто что-то говорят нам. А мы, затаив дыхание, слушаем и, конечно, понимаем, о чем этот рассказ...

Дождаться бы весны, искристого апрельского солнца, позаимствовать у русского леса березовых саженцев и теперь уже около своего дома, вместе с сыном, посадить их. Потому как чувствую сердцем: подоспело время...

2. СТЕЗЯ, КОТОРУЮ НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ

Как-то в бытность моего обучения в Литературном институте имени А.М. Горького один, скажем так, интересный преподаватель, проводя семинар литературного мастерства, с сожалением заметил, что, мол, ничего достойного в современной отечественной литературе ныне не наблюдается. А далее с мармеладной улыбкой добавил, что с западноевропейской литературой в данном смысле, слава Богу, все в порядке!

Прошло три года, и когда-то прозвучавший приговор стал, пожалуй, основной причиной моего ухода из упомянутого заведения. Ведь как я мог внимать подобным вердиктам педагогов-мастеров, если мой тогда здравствующий во всех смыслах отец — русский писатель Иван Иванович Евсеенко — из года в год предлагал российскому читателю все новые и новые произведения. И как показывает время — произведения, достойные как высокого звания русского писателя, так и не менее почетного звания русского читателя. К тому же — произведения, оцененные критикой, общественностью, нередко становящиеся материалом для конкурсных работ современных литераторов. Не так давно аспирантка Воронежского государственного университета Марина Краснякова заняла третье место литературной премии «Кольцовский край» за статью «Русская душа в прозе Ивана Евсеенко». И это не единственный случай.

Кстати, студенты, учившиеся со мной в то время, также проявляли явное малодушие к современному отечественному литпроцессу, считая, что сегодня нужно читать не Лихоносова с Распутиным и Беловым, а, скажем, Мураками и Анну Гавальда.

Поначалу я рассуждал так: ну, наверное, эти молодые люди (хотя им было уже лет по двадцать пять) в свое время досконально изучили отечественную классику, как раннюю, так и позднюю, и теперь таким же углубленным образом изучают зарубежную. Но мои выводы, как выяснилось, были величайшей иллюзией. Ничего они толком не читали, а при вопросе: «Кто такой, к примеру, Федор Абрамов?» недоуменно закатывали глаза. Самые же смелые отвечали, что Толстой и Тургенев — это очень хорошо, так же, как Шукшин с Рубцовым, но они никуда не денутся и навсегда останутся русской классикой, а вот за современным литературным процессом Европы надобно следить пристально, дабы не пропустить что-нибудь значимое и интересное.

Вообще следует разобраться с тем, что же так привлекает нашу молодежь в новейшей зарубежной европейской литературе и культуре в целом? Мне, как человеку многим в свое время искушенному, кажется, что влечет ее, прежде всего, либеральный фон. И этот фон по сути своей заключается в том, что если, скажем, в произведении описывается какая-либо локальная война, то главным в ее описании становится не борьба нации за независимость, а сомнительно звучащее право личности относиться к этой войне как хочется. То есть, черт с ним, с патриотизмом, и с тем, что государство, в котором ты родился и вырос, станет зависимым от другой, более наглой державы. Главное, что тот режим, который она навяжет, тебе вдруг может оказаться по душе. И пусть это не типично для человеческого восприятия, но ведь так тоже случается! Человек ведь по сути своей свободен и вправе думать, как заблагорассудится! Почему бы и нет?

Или же другое... Если в произведении зарубежного автора описываются некие отношения между мужчиной и женщиной, в простонародье называемые любовью, то обязательно возникает какое-либо психопатологическое препятствие, исходящее от одного из партнеров — героев сюжета. Например, Он оказывается латентным гомосексуалистом, или же Она — активной лесбиянкой, или же Он — тайный кокаинист, а Она — отчаянно собирает грибы по ночам. И, конечно же, подобный расклад манит молодого читателя своей неприкрытой эпатажностью! Это ведь так интересно и сложно: Джон любит Стеллу, а Стелла любит Помеллу, которая вздыхает по Гарри, который еженощно вдыхает клей! Конфликт как-никак, что и говорить!

Но ладно бы этот либеральный фон одурманивал и привлекал обычного читателя, так сказать, обывателя, что простительно! Но он влечет, как я написал выше, человека, обремененного идеей писательства. Тут можно рассуждать бесконечно, но суть в том, что даже студенты Литинститута (не все, конечно, есть вполне приличные) на поверку — всего лишь обычные читатели-обыватели, неумело прикрывающиеся маской интеллектуальности. И, конечно же, они не читали толком русской классики, современной в том числе. Не вникали в нее! В лучшем случае прочитывали, от скуки страдая, в школе. Потому как если бы читали, то и интересовало бы их в литературе другое: жизнь своего соотечественника, современника, его тяготы и проблемы! А их интересует жизнь, к которой они не имеют никакого отношения, которую они толком не знают, которую видели в кино или сквозь розовые очки, будучи в туристических поездках. И потому манит она их поверхностно, как запретный плод Адама, как фольга ворону!

Кстати, если кто-то вдруг решил, что моя статья — хула на Литинститут, сильно ошибается. Преподаватели, работающие в нем, — профессионалы экстра-класса! Беда лишь в том, что школьные педагоги не всегда этим отличаются. А ведь они — в первой очереди призванных воспитывать подрастающее поколение, а нежный возраст их подопечных — архиважен!

Но вернемся к писателю Ивану Ивановичу Евсеенко, который, кстати, тоже учился в Литинституте.

Неужели моего отца и таких, как он, нельзя считать современными писателями? Или, как мне и поведала одна моя сокурсница, он (мой отец) жил в другое время, советское время, и, соответственно, его литература — об этом, а о современной жизни писать ему не с руки!

Но, как это ни странно, мой отец жил именно в наше время, и я это подчеркиваю, и так же своими глазами видел все происходящее. И чем его глаза, позвольте спросить, отличаются от глаз современной, стремящейся к писательству молодежи? Думаю, лишь тем, что он благодаря недюжинному опыту без труда отличал истинность некоторых жизненных процессов от ложных. И здесь страшно себе представить, чтобы он мог вдруг себе позволить написать какую-либо заигрывающую с читателем лабуду, где нетипичные для человека психические патологии легли бы в основу повествования! Кстати, что касается произведений Ивана Евсеенко о современной России, то у него есть замечательный цикл рассказов «Трагедии нашего времени», где на примерах судеб соотечественников показан во всей «красе» тот жутковатый период середины и конца девяностых.

Да и что за странная оценка творческой личности по возрасту?! Вспом-

ним хотя бы Л.Н. Толстого. Неужели он к началу двадцатого века уже не считался современным писателем? По мне, так он величайший писатель современности!

Проблема в другом! Что такое современный писатель сегодня! Кого считать таковым, и какими качествами он должен обладать?

Мой отец, так мне всегда казалось, стал писателем не благодаря, а вопреки...

Рожденный в глухой украинской деревне, рано испытавший тяготы и лишения послевоенного детства, он в полной мере ощутил на себе важные исторические вехи государства.

Это его поколение детей войны собственными глазами видело рано поседевших послевоенных вдов, поднимавших и своих, и чужих детей!

Это его поколение едва сдерживало слезы, глядя на искалеченных недавней войной русских солдат, умиравших от пьянства под покосившимися заборами продмагов и рюмочных.

Это он десятилетним мальчишкой искренне плакал, узнав о смерти Сталина!

Это он был свидетелем людских судов над бывшими полициями, до которых неизвестно откуда долетала пуля возмездия.

И именно такие, порой страшные, знания и делают литератора настоящим. И знания эти важны и полезны в любой исторический отрезок, а уж сегодня — тем более!

Человек пишущий — это особое право и особая стезя, которые нужно заработать, заслужить! Заслужить своей жизнью, внимательным всматриванием в нее! Писатель, не знающий истории (как истории страны, так и истории литературы) или знающий о ней понаслышке, — вовсе не писатель, а любитель. И, конечно же, только человек, ясно понимающий прошлое, может оценивать настоящее и писать о нем — а может быть, и предвосхищать будущее!

И все это — не считая личных душевных и физических испытаний, которые тоже зачастую становятся важной составляющей творческой единицы!

Уже в двадцать шесть лет мой отец столкнулся с неизлечимой болезнью глаз, которая заключалась в мгновенно возникающей усталости при малейшем фиксировании внимания на чем-либо. В случае писателя — на листе бумаге. Все мое детство прошло на фоне суеты, связанной с поиском лекарства от этой отцовской хвори. Но ничто не приносило облегчения. Многочисленные поездки по врачам — в институты Федорова, Гельмгольца — ничего не давали. Каких только лекарств и методов лечения мой отец не испробовал на себе! И если по-честному, с такой болезнью желать быть человеком пишущим вообще странно! Но отец писал и делал это ежедневно и донельзя прилежно. Более двух часов его глаза не выдерживали. Он часто сетовал, что из-за усталости глаз не может не только писать, сколько душа велит, но и читать. В том же Литинституте из-за болезни ему в свое время не удалось подробно изучить предметы и дисциплины, которые там преподавались, прочитать и перечитать то, что так хотелось и было столь необходимо в профессии литератора. Поэтому он и сочинял понемногу, а после отправлялся в редакцию журнала «Подъём», где вынужден был прочитывать много как хорошего, так и не очень.

Отчетливо помню чуть праздный разговор в столовой кокетельского Дома творчества, происходящий между двумя тогда еще молодыми литераторами: критиком Владимиром Бондаренко и прозаиком Иваном

Евсеенко. Отец в присущей ему шутливой форме сетовал на то, что не в состоянии работать с текстом более двух часов в день, а Бондаренко, как сейчас помню, поедая овсяную кашу, довольно отвечал, что, мол, да, Ваня, беда и что он за два часа только разогреться успевает и пишет ежедневно часов по шесть.

Мне было жаль отца, до того жаль, что когда он не писал, а просто что-то делал по хозяйству — на даче или в квартире, — я втайне радовался за него, а именно за то, что его глаза в это время отдыхают.

Помню, как я с ужасом воспринял его слова о том, что с выходом на пенсию он будет работать в две смены. Сложно было представить, как физически он это собирается делать. По рассказам матери, писал отец почти вслепую, почти не глядя ни на бумажный лист, ни на монитор компьютера. Но, тем не менее, за первое десятилетие двадцать первого века вышло в свет более дюжины его довольно крупных повестей. Многие из них были по достоинству оценены. Так, в 2009 году им получена премия имени В.М. Шукшина, а в 2013 году — премия «Прохоровское поле».

Но вскоре случилось непредвиденное, на фоне чего прежняя слабость глаз, сопровождавшая его более сорока лет, показалась почти пустяком. Отец тяжело и неизлечимо заболел. Заболел той самой напастью, которая сегодня так часто обсуждается в телевизионных программах и которая за последние несколько лет унесла жизни многих талантливых людей. Эта болезнь не то что не подразумевала писательской деятельности, но и делала обычную жизнь нестерпимой мукой. Но и в этом состоянии отец прилежно продолжал свое дело, рассуждая примерно так: «Николай Островский писал слепым и парализованным, значит, и я смогу!»

Его последний, нигде не опубликованный рассказ был написан печатными буквами шариковой ручкой более чем на ста страницах и закончен за несколько месяцев до смерти. Уже будучи совсем в плохом состоянии, отец ежедневно делал некоторые дополнения к написанному, а за несколько недель до смерти попросил написать название рассказа на руке... Видимо, именно так, а не иначе живут и умирают настоящие русские писатели!

А нам остается смотреть на них и учиться мужеству — и верности выбранному делу!

Виталий ЖИХАРЕВ,

*писатель, заместитель председателя правления
регионального отделения
Союза писателей России (Воронеж)*

ВСПОМИНАЮ С ЗАМИРАНИЕМ СЕРДЦА...

Хочу рассказать несколько биографических деталей и историй про Ивана Евсеенко. Нас связывали добрые товарищеские отношения. В Воронеже мы объявились с разницей в два года. Он в 1973-м, я в 1975-м. Когда Иван с семьей получил квартиру на Средне-Московской улице, у нас оказался общий двор. Их дом ходил и ходит через двор на нашу Плехановскую к остановкам общественного транспорта, а наш двор пользуется услугами конгломерата магазинов на стыке Средне-Московской с Кольцовской.

Иван быстро освоился в Воронеже. Уже через год в Центрально-Черноземном книжном издательстве вышел его первый сборник повестей и рассказов. А за пять лет — пять книг. В 1976-м становится членом Союза писателей. С этого времени в гору идет его авторитет в среде воронежских литераторов. И держится на высоте по сию пору, хотя Ивана с нами нет уже десять лет...

* * *

Иван Евсеенко дважды поступал в Курский педагогический институт и дважды из него отчислялся.

Выбор этого вуза, конечно, не случаен. Отец и мать — сельские учителя, стаж трудовой его самого начинался после десятилетки в школе в незначительной должности лаборанта. Но за этим первым шагом последовал второй — перевели учителем труда. По обычаю тех, уже давних, лет наличие «производственной» практики в два года давало абитуриенту некоторое преимущество при поступлении в вуз против того, кто мечтал сразу сменить школьный класс на студенческую аудиторию.

1 сентября 1962 года успешно сдавшему вступительный экзамен первокурснику Ивану Евсеенко выписали зачетную книжку, где был указан факультет — историко-филологический — и специальность, причем не ожидаемая нами с учетом личных интересов его («русский язык и литература»), а «история». То есть можно предположить, что он к этому времени еще не имел ориентиром литературную будущность.

Проучился наш коллега на историка совсем недолго. К середине октября пришла повестка из военкомата: «На основании закона СССР “О всеобщей воинской обязанности” Вы призваны на действительную воинскую службу... Приказываю Вам явиться...»

Не думаю, что эта депеша с синей печатью за подписью горвоенкома вызвала у студиязуса прилив радости, он все-таки пришел учиться. Однако будучи человеком законопослушным, Иван Евсеенко взял, как говорится, под козырек. Он написал соответствующее заявление на имя ректора, а ректор издал приказ: «15 октября 1962 г. Евсеенко И.И., студента 1 курса историко-филологического факультета, отчислить в связи с призывом в ряды Советской Армии. Основание: заявление тов. Евсеенко И.И. и повестка из горвоенкомата».

Дело прошлое, но мне кажется приказ безжалостным. Человек не по своей воле идет в армию. Его востребовало государство на службу к себе. Суровая жизнь, коль молодость в шинели, а юность перетянута ремнем...

Мы как-то с Иваном вспоминали о срочной службе в армии. Он бывший ракетчик, я бывший танкист. Его годы при погонах — первая половина шестидесятых, мои — конец шестидесятых. Повод к разговору был такой. Власти новой России готовили программу «совершенствования» пенсионного обеспечения. Тогда чудил Егор Гайдар и его команда. Додумались исключить срочную службу из общего стажа при оформлении пенсии. Запамятовал, в какой газетке была на сей счет дискуссия: один прогрессист и поборник рыночной и прочей свободы так и сказал — а зачем учитывать армейские годы, если от человека не шло никаких отчислений?

— Дурак этот Гайдар, — постучал Евсеенко костяшками пальцев по столу. — Даром что внук хорошего писателя.

Но согласился, и в советское время формулировка об отчислении из вуза в связи с призывом могла бы быть более «сердечной».

— Ну, например, предоставить академический отпуск на этот период. Или отчислить с правом восстановления по окончании службы. Но, — добавил Иван, — история не знает сослагательного наклонения. К прошлому нет возврата...

После увольнения в запас Иван Евсеенко возвращается в родное село Займище, проводит там зиму и 2 июня теперь уже 1966 года по почте обращается к ректору Курского госпединститута с прошением зачислить студентом 1 курса на историко-филологический факультет, но теперь уже по специальности «русский язык и литература».

Учебу надо было начинать с нуля. За четыре года кое-что подзабылось, но наш герой — парень с характером. Уже после первого семестра он в передовиках учебы. За активное участие в работе научных кружков в числе нескольких студентов награждается приказом ректора ценным подарком.

Этой же весной историко-филологический факультет разделили на исторический и литературный. Думается, само это слово — литературный — мобилизующим образом повлияло на Ивана, укореняя в его душе крепнущее желание заняться литературным творчеством на профессиональной основе. Завершив третий курс, он принимает решение попробовать поступить в Литературный институт. С превеликим трудом выпрашивает на руки аттестат зрелости о своем среднем образовании и уговаривает ректора дать ему характеристику — без такой бумаги с места работы или учебы тогда нельзя было обойтись. Что интересно, ректор соглашается уступить знаменитому столичному вузу одного из своих лучших студентов. Вот текст этой характеристики:

«Тов. Евсеенко И.И. был принят в институт в 1966 году после демобилизации из рядов Советской Армии. Имея большой жизненный опыт по организации молодежи, с первых же дней он приложил много сил и старания для формирования новичков в академическую группу. На протяжении двух лет сам учился только на “хорошо” и “отлично” и много помогает своим товарищам в повышении успеваемости. За помощь товарищам, за организаторские способности пользуется большим уважением среди студентов.»

Тов. Евсеенко принимает активное участие в общественной работе. На первом курсе он был членом институтского комитета комсомола, в настоящее время является членом факультетского партийного бюро.

Тов. Евсеенко является одним из организаторов и участников поэтического клуба “Данко”, пропагандирующего поэзию среди студентов. Он принимает участие в организации общеинститутских вечеров поэзии и вечеров искусства. Постоянно печатается в факультетской газете “Историк и филолог”, в многотиражке “За педагогические кадры”.

За активное участие в литературной жизни института тов. Евсеенко неоднократно награждался ценными подарками и грамотами.

Характеристика дана для предоставления в Литературный институт им. Горького».

Ректором Курского педагогического института в ту пору был Илья Яковлевич Климов, кандидат исторических наук, доцент. Видать, добрую душу имел человек. Дал дорогу будущему писателю.

Вспоминается далекий восьмидесятый год. В конце ноября в Доме актера отмечали 75-летие Гавриила Николаевича Троепольского. Мероприятие официально называлось творческим вечером. Заведующий отделом культуры обкома партии Александр Синицын зачитал и вручил юбиляру приветственный адрес от имени областного комитета КПСС и облисполкома. Мэтра тепло поздравил специально приехавший из Москвы член коллегии Министерства культуры СССР Михаил Грибанов, много добрых пожеланий высказали представители общественности, коллеги по перу, читатели.

Уже не помню, какими делами был занят, но на официальную часть я не поспел, зато был точен по части неофициальной. Эта часть проходила в актерском кафе на первом этаже. Общего стола не накрывали, народ кучковался за парой десятков небольших столов, густо уставленных бутылками и тарелками. Мое, редактора газеты «Молодой коммунар», место было с собственными корреспондентами центральной прессы. В дальнем углу примостилась компания под верховодством поэтов Геннадия Луткова и Виталия Иванова с несколькими незнакомыми мне гражданами. От них в сторону стола заглавного сидело разное писательство вперемежку с людьми из других творческих союзов и культурных организаций. Я разглядел двух бородатых — художника Василия Криворучко, с бородой лопатой, и подъемовского заведомом прозы Ивана Евсеенко, с растительностью, приличествующей молодому еще человеку.

Было шумно. Так бывает, когда после третьей рюмки народ забывает, по какому поводу застолье. Колготной Лутков не в первый раз порывался с тостом и, чтобы его услышали, стучал об пол длинным предметом — то ли мечом в ножнах, то ли богато украшенной толстой тростью. Навершие этого предмета, явно предназначавшегося в подарок юбиляру, было под черным кожаным чехольчиком, похожим на колпак, который надевают на голову ловчей птицы, чтобы умерить ее лихой норов.

На Луткова напирал любопытствующий Иванов:

— Покажи, Генаша. Не томи человечество.

— Ладно, Виташа, — наконец согласился Лутков и снял колпак.

Взору сотрапезников предстал посох с рукоятью, вырезанной из дерева ценной породы в форме мужского детородного органа. Работа резчика выглядела чрезвычайно выразительно.

— Ух ты! Как живой! — воскликнул сосед мой Александр Пятунин, собкор «Советской России».

Одна дама, в миг ставшая пунцовой, прикрыла ладошками лицо, но поглядывала сквозь растопыренные пальцы в сторону Луткова. Я обратил внимание на Ивана Евсеенко. Он отвернулся, чтобы не лицезреть непотребства; даже издали мне было видно, как лицо его стало беспокойным, взгляд тревожным и недоуменным. Иван переложил вилку из левой руки в правую, тут же вернул ее назад, потом и вовсе положил на тарелку. Так бывает, когда совестливый человек становится согладатаем чего-то такого, от чего ему стыдно, противно его внутреннему ладу, нравственным устоям, но он не может, не имеет возможности прекратить бесстыдство, кроме как отвернуться или закрыть глаза.

Я представил, какие мытарства предстоят с подарочком старому человеку, увенчанному лауреатскими званиями: по улице с похабным посохом не пройдешь, дома на показ не выставишь. Остается напаять колпак, обмотать тряпьем и спрятать в дальний темный угол, а еще проще — снести

на мусорку. Не знаю, как распорядился Гавриил Николаевич, но уверен, что бесполезная, да еще скабрезная вещь не задержалась в его квартире.

Юбилейное застолье до его официального завершения мы покинули на пару с Сергеем Пылевым, редактором отдела Евсеенко. Дарственный посох Пылев не видел, сидел в другом конце зала, и моему рассказу о фривольной рукояти не поверил. Но поверил в реакцию Ивана Евсеенко.

* * *

В 1979 году у Евсеенко вышло два сборника рассказов — «До конца жизни» в московском «Современнике» и «Была пора отлета» в Центрально-Черноземном книжном издательстве. С первой из них и началось мое знакомство с Евсеенко-писателем, с миром его литературных героев. Со мной можно не соглашаться, но считаю, что человек, населяющих повести, рассказы, очерки нашего Ивана, объединяет одно общее качество души — совесть.

Рассказ «Домна Григорьевна» — сама простота в смысле сюжета. Солдатская вдова в возрасте, учительница на пенсии, внук есть, никак не решается ответить на предложение порядочного мужчины вместе дошагать остаток земной жизни. Умом Домна Григорьевна понимала, что может от этого союза быть немалая выгода ей и польза, но она не смогла, совесть не позволила переступить через память о сгоревшем в пекле войны муже Алеше; ей чудится, как на первых их свиданиях он распахивает свое пальто, и она, озябшая на зимнем ветру, прижимается к Алешиному теплу и чувствует стук его сердца.

Никак не кажется чудачком герой большой и интересной повести «Паломник» Николай Петрович, в здравом уме отправившийся в путешествие от порога родного дома до далекого святого собора в Киеве. Этот его путь — от себя прежнего, греховного, к себе обновленному — лежит через покаяние. Дорога была нелегкой, но старый человек ее одолел, ибо каждому Бог дает крест по силам. Не все виды бытия по обе стороны движения радовали паломника. Напротив, нагляделся, да и натерпелся Николай Петрович всяких российских, а затем и украинских неудобств и неуклюжестей, даже срамоты. Но назад не развернулся, добрался-таки до святого места и с чистой совестью справил последнюю молитву.

Я был на встрече Ивана Евсеенко с читателями и работниками главной нашей областной библиотеки, Никитинки. Проходила она 12 марта 2013 года. Представили нашего коллегу как члена Высшего творческого совета Союза писателей России, заслуженного работника культуры, все премии перечислили, которых он был удостоен на тот момент. Гость заметил, что ко всем регалиям относится с большой долей скепсиса, потому как «в другую жизнь мы ничего с собой не заберем, что есть в душе, с тем и предстанем перед Господом».

— Есть ли у Николая Петровича прототип?

— Был, — ответил Евсеенко. — Точнее, были. Этот литературный герой «списан» с нескольких конкретных людей. СобираТЕЛЬНЫЙ образ. Совестьливый русский человек, солдат Великой Отечественной. Работяга-крестьянин.

— Что, по-вашему, совесть?

— Человек сделал кому-то плохо и осознал это. Попросил прощения. Значит, у него есть совесть. Ему стыдно. О дурном человеке говорят, что у него нет ни стыда, ни совести.

28 августа 2009 года в Репьевке местные власти, откликнувшись на предложение председателя нашей писательской организации Евгения Новичихина, устроили литературный праздник «На реке Потудани». Посвящался он 110-летию со дня рождения Платонова. Новичихин собрал туда писательскую делегацию под своим началом, куда включил Ивана Евсеенко, Виктора Будакова, Ивана Щёлокова и меня. Я тогда работал в «Коммуне» главным редактором, и в Репьевку мы отправились на редакционном 7-местном минивэне «Карнивал» с двумя журналистами для освещения события.

По дороге слушали в основном Новичихина и Евсеенко. Они много лет проработали бок о бок в «Подъёме», уж, казалось, все байки перетерли, но продолжали выковыривать из глубин памяти всякие разные, преимущественно веселые истории, в которые попадали те или иные литературные персоны. Иногда в разговор «вписывался» Будаков. Эти трое в Союз писателей вступили еще при Советах, в семидесятые годы; много хорошего написали, утвердились мастерами литературного дела. А мы со Щёлоковым пришли в писательскую общину примерно через четверть века после них, уже в буржуазной России, пришли как бы из параллельного мира, из журналистики, хотя и родственного, но все же более скованного графиком газетного конвейера. Впрочем, и нам было что рассказать — своих, газетных быличек хоть отбавляй.

Поскольку нас в дорогу позвал Платонов, то и его разговор наш касался. Евсеенко развеял миф о якобы нищенстве писателя, властями гонимого, в последние годы жизни, отчего тот вынужден был подрабатывать дворником. Это неправда. Иван назвал людей из писательской среды, живших в Москве с Платоновым по соседству в писательском доме на Тверском бульваре. С их слов Андрей Платонович брался за метлу не для того, чтобы снискать пропитание, а просто подмести перед входом в свою квартиру.

В Репьевке нас сразу повели в библиотеку. Послушать писателей из Воронежа собралась вся местная интеллигенция. Все-таки для небольшого села, хоть и райцентровского, литературный праздник — событие из событий. Репьевка расположена на берегу донского притока Потудани, воспетой Платоновым в небольшой повести, которую литкритики назвали «реалистической» и даже «одним из центральных произведений» в творчестве писателя.

Перед репьевцами мы выступили по очереди, воздали дань уважения Андрею Платоновичу, похвалили за уважительное отношение к памяти знаменитого воронежца. Запомнилось выступление Евсеенко. Он говорил о необычном художественном мире, который создал Платонов, находил в этом мире гоголевские начала. Привел слова своего литинститутского наставника, большого писателя Сергея Залыгина, назвавшего автора «Реки Потудань» «странноязычным» и абсолютно неповторимым в своем слове.

— Платоновские традиции — как робкие ростки ранней весной: нет-нет, да и пробьются, — подчеркнул Иван. — В Калаче жил писатель Юрий Доброскокин. Писатель интересный. Он рановато умер и оставил нам всего три небольших книжечки рассказов. Его можно называть наследником платоновской «неповторимости».

Закончил Евсеенко свое выступление предложением сделать платоновский праздник «На реке Потудани» ежегодным. Зал одобрительно загудел и откликнулся аплодисментами. Присутствовавший на встрече заместитель главы Репьевской районной администрации Сергей Мишус-

тин тотчас отреагировал: да, предложение Ивана Ивановича Евсеенко обязательно будет поддержано.

После в компании библиотечного актива и группы поддержки, состоявшей из артистов ансамбля «Радовесь», приехавшего из Воронежа, и коллектива художественной самодеятельности местного Дома культуры, отправились на берег Потудани. С мостка Новичихин опустил в реку венки из цветов, торжественно произнес:

— От нас, воронежцев, Андрею Платоновичу. Наша память ему и наша любовь!

Потудань, неспешно остывающая после знойного лета, приняла разноцветье репьевских палисадов, выделила венку эскорт из десятка стрелков-махолетов и бережно понесла дар памяти по своей водной дороге к батюшке-Дону. Действо это сопровождала величальная песня в исполнении сборного хора, создавая приподнятое, лирическое настроение.

— Наверное, здесь Люба и Никита говорили про счастливую реку Потудань, — тихо заметил я Ивану.

— Потому что она «будет течь мимо берегов далеких стран, в которых растут цветы и поют птицы», — продолжил он цитатой из платоновской повести.

Ну а после был обед. Поскольку нынешний писатель не тот, что прежний, по части горячительных напитков, то обед получился более похожим на легкую деловую беседу под минеральную воду. Мне захотелось развить предложение Евсеенко насчет «ежегодности» платоновского литературного праздника на Потудани. Памятуя, что Андрей Платонович, можно сказать, кровно связан с «Коммуной», был ее и автором, и сотрудником, я решил, что редакция газеты может и даже обязана стать одним из учредителей, организаторов и отчасти спонсором праздника, который, считает Евсеенко, лучше бы назвать фестивалем. Слово «спонсор» произвело особо сильное впечатление на заместителя главы районной администрации Мишустина и на сопровождавших его лиц.

Но и это еще не все. «Коммуна», если кто не знает или забыл, образно говоря, выпестовала областную писательскую организацию. С двадцатых годов прошлого века редакция газеты стала местом сосредоточения основных писательских сил сначала Воронежской губернии, потом Воронежской области, потом Центральной-Черноземной области РСФСР. Редакция предоставляла свои помещения для работы местных структур зарождающихся всесоюзных и всероссийских союзов, ассоциаций, артелей писателей типа ЛЕФ, «Перевал», ВАПП, РАПП, ВОКП, «Чернозем». Многие писатели, подобно Платонову, шагнули со страниц «Коммуны» в большую литературу.

В 1934 году «Коммуна» стала колыбелью областной организации Союза советских писателей, а ответственный редактор Александр Швер возглавил ее как председатель правления. Литературоцентричной оставалась газета и в военные годы, и в послевоенные, и в последующие. Вслед за Платоновым из коммуновской колыбели вышли Петр Прудковский, Николай Задонский, Алексей Шубин, Федор Волохов, Михаил Домогацких, Николай Коноплин, Иван Сидельников и другие литераторы. Когда я впервые переступил в 1986 году порог «Коммуны», там членами Союза писателей состояли редактор Владимир Евтушенко, сотрудники Олег Шевченко, Владимир Котенко, Петр Чалый, Михаил Тимошечкин.

Коммуновские читатели скоро поняли, что события начала 1990-х годов в России это не что иное, как необуржуазная революция. Под по-

литическую трескотню тихой сапой началось разворачивание народной собственности; общественные нравы упали ниже плинтуса. На вызовы времени «Коммуна» стала отвечать новой публицистикой — публицистической защитой нравственного здоровья русского человека, традиционных ценностей русского мира, отчаянного сопротивления морали, насаждаемой литературными «власовцами». Ведущие «штыки» газеты — Борис Ваулин, Вадим Кордов, Николай Старых, Анатолий Бавыкин — показали себя настоящими — неустрашимыми и неподкупными — журналистами. На помощь им шли неистовый «красный» профессор-экономист Исаак Загайтов, талантливый политолог Александра Глухова, башковитый рабочий Василий Шишлов и, конечно, наши идейные друзья из писательской среды. Затаив дыхание, называю имена Евгения Новичихина, Ивана Евсеенко, Виктора Будакова, чьи статьи на общественно-политические и социальные темы, о проблемах морали и нравственности, литературы, культуры и искусства сделали «Коммуне» большую честь. С их стороны это были не разовые выходы на страницы, а постоянное сотрудничество.

После такого отступления от платоновской темы опять возвращаюсь к ней и к Ивану Евсеенко, к развитию его идеи ежегодных Платоновских фестивалей на Потудани. После возвращения из Репьевки и месяца не прошло, как мы с Новичихиным придумали Всероссийскую литературную премию имени Андрея Платонова размером в 100 тысяч рублей. Учредителями ее выступили редакция газеты «Коммуна», взявшая на себя финансово-организационные вопросы, и правление Воронежского регионального отделения Союза писателей России, заботой которого становилось обеспечение работы жюри. Поскольку премия с замахом на всю страну, то решили просить Валерия Ганичева возглавить конкурсную комиссию.

Поехали к нему в Москву, он согласился, и после обсуждения состав жюри стал таким: мы с Новичихиным у Валерия Николаевича — заместители, члены — писатели Владимир Крупин, Виктор Будаков, Иван Евсеенко, первый секретарь правления СПР Геннадий Иванов, профессор Литинститута Владимир Смирнов, главный редактор журнала «Подъём» Иван Щёлоков.

Как говорилось в «Положении о Всероссийской литературной премии имени А. П. Платонова», она учреждается «как дань памяти выдающегося русского писателя, а также для морального и материального поощрения писателей России, развивающих и обогащающих традиции отечественной литературы».

Чтобы с самого начала придать акции авторитет, решили, что первым лауреатом будет писатель из числа знаменитых. Остановили выбор на Юрии Бондареве. Его фамилию и огласили. Мы с Евгением Григорьевичем не сговаривались, но думали одинаково: следующим лауреатом должен стать Иван Евсеенко.

Но тут вот что произошло. В конце 2009-го и начале 2010 года я выступил с серией статей в «Коммуне» в защиту подконтрольной областной администрации прессы. С приходом губернатора Гордеева здесь была фактически введена цензура: районные газеты подчинили так называемому «РИА Воронеж» — казенной структуре, сотрудники которой специально были выделены для предварительного знакомства с версткой райгазет, унизив тем самым недоверием редакторов на местах. Стало запредельным славословие — к примеру, в газете «Молодой коммунар» в течение календарного года было напечатано аж 400 фотографий губернатора! Я бы мог и не влезать в это дело. Но на тот момент на мне были обязанно-

сти не только главного редактора газеты, но и председателя областной организации Союза журналистов, по своему Уставу обязанного защищать права и свободы тружеников пера. Давление, которое стали на меня оказывать власти, становилось опасным для газеты, и мне пришлось уйти в отставку с редакторской и председательской должностей.

Мой преемник по «Коммуне» не стал заморачиваться с Платоновской премией и искать 100 тысяч. Он предложил губернатору взять премию под крыло Платоновского фестиваля. Деньги Бондареву выплатила уже администрация Гордеева. А такие писатели, как наш Иван, у организаторов того самого Платоновфеста оказались не в чести. Им битовых подавай...

* * *

Ряд современных писателей из молодого (в сравнении с ним) поколения — Олега Павлова, Евгения Шишкина, Лидию Сычеву, Александра Яковлева, Алексея Варламова, Михаила Тарковского, Василия Килякова, Виктора Никитина — наш Иван успел назвать «новыми реалистами». Эти имена не единожды встречаются в его текстах публицистического и литературоведческого характера в сопровождении хороших эпитетов. Признаться, с творчеством половины из этого списка я знаком очень мало. Но уверен: они и купно, и розно также испытывали и продолжают испытывать симпатию к Евсеенко-писателю и Евсеенко-человеку.

Первой из «реалистов» откликнулась на смерть Ивана Лидия Сычева, землячка наша московская. На «Русском поле» и в блогосфере очень по-женски трепетно и сильно прозвучали ее слова: «Горькая весть пришла из Воронежа — умер Иван Иванович Евсеенко. Писатель, который впервые меня напечатал на родине — в журнале “Подъём”. Я его очень уважала — за русскую позицию — и в творчестве, и в гражданской жизни. Сердцу больно: никогда мы с ним больше не встретимся на вокзале, не “сверим часы”, не обсудим новости — от видов на урожай до геополитических потрясений... Кажалось, ему и сноса не будет — он был сильный человек! Как жаль... Уходит железное советское поколение, знающее толк в слове. Уже и мы — немолодые. А что сделали?! Очень мне будет не хватать Ивана Ивановича! Очень!»

В день похорон Виктор Никитин едва поспел к отъезду катафалка; его, габаритного, с трудом носили большие ноги, и к Иванову подъезду он, прихрамывая, явился, кажется, последним. Никитин в отделе прозы в «Подъёме» наследовал традиции крепких предшественников, из коих усопший выделялся силой таланта и был для него, молодого, наставником в работе и примером в творчестве.

— Я осиротел, — спокойно и твердо сказал Никитин. — Мне дорого было его мнение. И совет. А ведь Иван Иванович мог бы еще пожить. Впрочем, смерть всем предстоит. Но, конечно, лучше бы так — сразу. Чтoб немочью своей никого не обременять...

Увы! «Молодого реалиста» Никитина, автора хорошей прозы, помещенной, что называется, клеймом качества самого наставника, через семь лет после ухода из жизни Ивана Евсеенко, в пятьдесят девять, в больничной палате задушит новомодный коронавирус. Больной вел дневник в фейсбуке⁴ и последние слова его были такие: «Ночью из коридора слышит-

¹ Принадлежит организации Meta, признанной на территории Российской Федерации экстремистской.

ся надрывный женский крик — постоянный, в голос, через два с половиной часа он стихает...»

Еще один из плеяды «молодых реалистов», Михаил Тарковский, появился в Воронеже через два месяца после смерти Ивана Евсеенко. От Тарковского веяло далекой тайгой и влажным дыханием Енисея. Он большой оригинал: будучи москвичом, сыном кинорежиссера и лингвистки, внуком известного поэта Арсения Тарковского, биологом с высшим образованием, благам цивилизации предпочел жизнь в суровом сибирском климате, в глухом поселке между Красноярском и Норильском. Многие годы прожил и проработал на природе — на Енисейской биостанции, потом охотником — должность эта была штатная. Михаил по совместительству прозаик и поэт, возвращенный самой природой. В последние годы перебрался в Красноярск, является здесь главным редактором литературного альманаха «Енисей».

В феврале 2015-го Михаил приехал в Воронеж по своим делам и, поскольку дорога от Енисея до Дона долгая и была через Москву, только здесь узнал о кончине Ивана Евсеенко. Он вез ему в подарок вышедшую в издательстве «Историческое наследие Сибири» новую книгу своих избранных произведений — повестей, рассказов, очерков и стихов. К книге прилагался 70-минутный диск с записью документального фильма «Замороженное время», Тарковским же и сработанного. Это фильм о нем самом. О том, почему выбрал на жительство Сибирь, как живет здесь, «когда звереет и слепит глаза мошка», как вызрел и развился в таежной глухомани талант поэта и писателя.

Погоревав, что не суждено ему свидеться с Иваном Ивановичем Евсеенко, Михаил Александрович вздохнул:

— Ну не везти же книгу назад...

И взял — да и подписал ее мне: «На добрую память от автора. 15 февраля, 2015».

Так у меня дома появился еще один, хотя и косвенный, но все же символ памяти о незабвенном Иване Евсеенко.

* * *

Не знаю, что скажет Светлана Ефимовна, но Иван, считаю, был рукодельным человеком. Как я понял из его рассказов, многие дачные работы, на которые часто нанимают, он выполнял сам. Какие-то неисправности по электрической части или по водопроводной в квартире тоже устранял, не привлекая сторонние силы. Знал я иных представителей творческой интеллигенции, которые гвоздя не могли забить. И напротив — дружил и дружу с коллегами, у кого верхние конечности выросли из нужного места, кто имеет интересные и полезные увлечения. Возьмем того же Гоголя, любимого писателя нашего Ивана Ивановича. Тот с удовольствием занимался рукоделием, с большой старательностью кроил себе батистовые платки и чинил шинели. Лев Толстой освоил ремесло сапожника. Драматург Островский отлично резал по дереву. Куприн летал на воздушном шаре и аэропланах и спускался на морское дно в водолазном костюме. Серафимович строил моторные лодки и плавал вверх по Дону до самого Воронежа.

А что наш Иван?

Заметив при нем новый бадик, я не мог не обратить внимания на эту приспособу, облегчающую передвижение, явно не заводской работы: до-

вольно прочная ровная трость со следами сучков плавно переходила в полукружье рукояти и изгибом своим напоминала лебединую шею. Сверху рукоять декорировала накладка, фигурно вырезанная из листовой латуни и притороченная шурупчиками впопай.

— Откуда вещь? — спрашиваю Ивана.

— Хохлы говорят: сам зробив.

— Материал?

— Стебель дуба, выросшего из желудя. Обычного дуба, которого при Петре Первом не успели перевести на «Гото Предестинацию». Подыскивал в лесу постройнее. Потом шкурил. Потом забивал в трубу железную, а то, что из трубы оставалось торчать, гнул полукольцом и связывал бечевкой. За лето дерево высыхало и принимало нужную форму. Далее — обреза, шлифовка, пропитка тонированным лаком.

— Шикарное изделие, — похвалил я Ивана.

— Хочешь, тебе сделаю.

— Да вроде еще рановато.

— Ну, как скажешь. Лишь бы поздно не было.

В другой раз мы с ним обсуждали, почему электролобзик, такая удобная на даче штука, при продольном резе плохо держит прямую — пилка так и норовит уйти влево или вправо. Я сознался, что к лобзику безжалостен, пилю им даже дрова. Видать, от этого «косина».

— Я не пилю дрова, нежничая. А пилка косит.

Помозговав немного, пришли к выводу, что проблема, видимо, в люфте, который имеет штوك-держатель пилки в дешевых моделях. После я справился в интернете по этому вопросу и нашел подтверждение нашей догадке.

По настоянию супруги я соорудил на даче душ. И не простой, а с электрическим подогревом. Воду в бочку заливал шлангом из трубы, проложенной по участкам. Все хорошо, и жена довольна. Но хлопотно заливать в бочку и контролировать расход. Пару раз сгорали тэны из-за того, что забывал налить воду и включал электричество при порожней бочке. Иван как дачник с опытом посоветовал в верхней части бочки установить клапан с поплавком от унитаза. Теперь все лето кран от магистрали открыт, вода подливается по мере расходования, и тэн постоянно «купается» в воде.

Есть за что помянуть тебя добрым словом, Иван Евсеенко!

Марьяна ЗУБАВИНА,

*консультант председателя правления
Союза писателей России (Москва)*

СОРАТНИК ПО ЗАБЫТОМУ ВРЕМЕНИ

Позвонил Женя Новичихин. Он готовит книгу памяти в связи с 80-летием Ивана Евсеенко. Предложил поучаствовать.

Ванечка Евсеенко... Солнышко...

С первого знакомства с ним, личного знакомства (творчески он давно был знаком мне как серьезный, хотя еще и молодой автор), я восприняла его как доброго знакомого. Они, «подъемовцы», пришли в Союз писате-

лей на Комсомольский проспект втроем: главный редактор Виктор Попов, ответственный секретарь Евгений Новичихин, давние знакомцы, и Иван Евсеенко, заведомо прозы. Он сразу и бесповоротно своей доверительной манерой общения, мягким голосом, потребностью поделиться тем, что необходимо высказать именно сейчас, и услышать в ответ необязательно поддержку, но мнение человека, чья позиция тебе близка, стал на долгие годы Ванечкой Евсеенко, общение с которым доставляло всегда радость.

Он ожидал к себе, к своему творчеству внимания, ему как ребенку необходимо было доброе слово, взаимопонимание, сочувствие. Мы довольно редко виделись. Вроде бы и времени не было, чтобы узнать его, почувствовать глубину его душевных порывов, осмысление им происходящего. Но его доверчивость, его открытость, его внутренняя культура давали возможность познаться с ним, с его непростой судьбой. Убежденный семьянин, он дожил тем, что у него двое деток: сын — конечно, Иван — и дочка — конечно, как мама: Светлана. А мама, конечно же, связана с искусством, ибо искусство для него неразрывно связано с его творчеством.

Иван мужественно боролся со своим недугом. У него были большие проблемы со зрительным нервом. Пришлось записаться в библиотеку для слепых, чтобы поберечь зрение, выписывать книги и необходимые материалы для слепых. В советское время он активно пользовался этим, спасая зрение.

А потом настали похабные для всех нас времена...

Иван никогда ничего для себя не просил. С чем довольно часто обращались иные авторы. И Союз писателей, если мог, всегда помогал. Вот если дело касалось его коллег, или молодых талантливых ребят, он старался довести дело до конца. Касалось ли это публикации, участия в семинаре или поддержки в материальном плане.

Два года (06.06.1995–10.11.1997) он отдал работе над большим объемным произведением «Забытое время». Книга вышла в Воронеже в 2006 году. Ванечка не определил ее как роман. По-моему, это реквием по тому времени, в котором мы были современниками. И где Иван Евсеенко был большим русским писателем. Он таким остается и ныне для тех, кому дорога русская словесность.

«Дорогой Марьяне Васильевне, соратнице по забытому советскому времени, когда мы были молоды и верили в счастье».

Это последний привет от дорогого Ванечки, датированный 03.12.2008 г.

Быть в дружбе с таким человеком, с таким тонким художником слова — это огромное счастье.

Светлана КАРАБУТ,
радиоведущая (Первое радио, Израиль)

ДЛЯ НЕГО НЕ БЫЛО ПОНЯТИЙ «ПИШЕТСЯ» ИЛИ «НЕ ПИШЕТСЯ»

Когда я была маленькой, я никогда не воспринимала своего папу как писателя. Для меня в ту пору все профессии были примерно равнозначны. Слесарь, водитель, писатель... Все это воспринималось мною как профессии, если можно так сказать, одинакового ранга.

Когда же я немного подросла, то в классе пятом или шестом, впер-

вые прочитала какие-то рассказы отца. Наверняка это были рассказы из книги «Дети войны». Конечно, что-то я тогда поняла, что-то — не совсем. Но именно в этом возрасте — в одиннадцать или двенадцать лет — я стала осознавать, что в других семьях папы утром идут на работу, а в моей семье папа идет в свой рабочий кабинет и садится писать. Это и есть его работа. Постепенно я начинала понимать и то, что ему нельзя мешать: не надо шуметь, прыгать или играть на пианино. Это проходило не без конфликтов, потому что именно в те часы, когда папа садился за письменный стол, мне почему-то всегда очень хотелось заниматься музыкой.

Сейчас с удовольствием вспоминаю о том, что именно я стала первой читательницей многих произведений отца. С грамотностью у меня всегда было хорошо, и я иногда поправляла в его текстах грамматические ошибки. Ведь он учился в украинской школе, и в том, что исходило из-под его пера, это иногда давало о себе знать. Поправляя его, я испытывала такой кайф! Но рядом с этим кайфом присутствовал и самый настоящий трепет, когда в моих руках оказывалась новая рукопись папы. Я гордилась тем, что первой читаю какие-то его повести или рассказы.

Что касается профессиональных и человеческих качеств, то мне всегда нравилось — да отец и сам об этом не раз говорил, — что он человеческие качества всегда ставил выше профессиональных. Не важно, какая у тебя профессия — творческая или не творческая (а особенно, если творческая!), приходит ли к тебе вдохновение или не приходит (а оно не к каждому может прийти!), — ты всегда должен оставаться Человеком.

Мне нравилось и то, что папа садился писать каждое утро. Для него не было понятий «пишется» или «не пишется». Он писал каждый день!

Со мной навсегда останется это: когда отец умирал, когда он уже не ходил и все время лежал в кровати, последнюю свою повесть под названием «Бычья кровь» он записывал шариковой ручкой на листе бумаги печатными буквами. Считаю, что такой силе духа стоит поучиться каждому!

Очень хочется надеяться, что память о моем отце не растворится в половодье бездуховности, и она будет жить — благодаря его книгам, благодаря его читателям.

Это главное, чего он желал, уходя из жизни...

Вячеслав ЛЮТЫЙ,

писатель,

*заместитель главного редактора
журнала «Подъём» (Воронеж)*

ОН СЛОЖИЛСЯ КАК РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1. ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ, ОЗАРЯЮЩИЙ ЛИЦА

С именем Ивана Евсеенко в русской прозе рубежа двух веков связано чувство глубокой любви к крестьянскому миру и удивительный лиризм повествования. Начиная свой литературный путь со стихов и впоследствии целиком отдавший свой талант прозе, он придал романному письму редкую вдохновенность интонации и растворил в повествовании пора-

зительное по сердечности участие автора в судьбах героев. Одним его произведениям свойствен «гоголевский» гротеск и черты народной фантастики, другим — внимательный взгляд на современника, попытка уловить соединение уходящего времени с наступающим. Почти всегда персонажи его романов и повестей переживают жестокий разлом жизни: смерть близких, опустошение родного края, отторжение социальным порядком затаенного, немногословного человека. Писатель жалел и словно бы опекал героев, которые близки его душе, и был жестко ироничен, рисуя фигуры, олицетворяющие новый порядок на Руси, растерявшей все лучшие достижения советской эпохи.

Его литературный стиль отличался замечательным вниманием к деталям окружающего мира. Иван Евсеенко любил предметы, которых коснулась рука мастерового человека. Он мог уделить описанию подобных житейских мелочей несколько страниц повествовательного текста. Его жестоко упрекали за эти, казалось бы, длинноты, не подозревая, что слова писателя посвящены уходящей натуре: они как бы удерживают ее в сегодняшнем дне, не позволяя упасть в небытие стремительно и безвозвратно... По этой прозе в другие времена будут изучать характер русского человека в его лучших чертах, постепенно понимая, что и смута душевная, искажающая наш облик, не в силах отменить Божественное задание, спрятанное в тайниках ума и сердца.

У Ивана Евсеенко есть цикл небольших рассказов под общим названием «Трагедии нашего времени». Написанные безо всяких стиливых изысков, эти вещи отличаются лаконизмом и представляют читателю самую суть происходящего с людьми, которые жили, были счастливы или безрадостны, сталкивались как будто со случайными событиями — судьба их рушилась, и они горестно и нелепо заканчивали свое земное существование. Простота рассказа здесь — лучшее свидетельство мастерства автора, а сюжет — печальный упрек нескладной нашей жизни, неспособности ее сохранить волшебный свет, озаряющий человеческие лица, зажигающий глаза и делающий походку легкой: такой она бывает только в юности, полной надежд...

В конце «черных» 1990-х Иван Евсеенко стал главным редактором воронежского журнала «Подъём» и озвучил тезис, который в тот момент мог бы объединить публикуемые материалы: «Журнал русского национального достоинства». В эпоху, когда всякое упоминание о собственно Русском мире вызывало раздражение у власти, эта формула была дерзкой и для многих неудобной. Однако именно она позволила журналу создать фундамент для своего художественного развития в последующие годы — более широкого тематически и более многообразного в стиливом отношении.

Евсеенко обладал способностью очень кратко и образно охарактеризовать человека или явление. Последовательный сторонник отечественной традиции, он называл авторов, у которых в тексте много грязи, «литературной шпаной». И почти всегда оказывался прав, поскольку эти сочинители и творчески вели себя подобным образом.

С уходом Ивана Евсеенко в воронежской прозе словно бы отодвинулась в прошлое эпоха, в которой писательские дарования отличались замечательной весомостью, а интеллектуальные и художественные мотивы повествования соотносились с целым миром — никак не меньше.

2. ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ИВАНОМ ЕВСЕЕНКО

Я часто вспоминаю настойчивые слова Ивана Ивановича Евсеенко: «Слава, пишите! Нужно писать обязательно».

На дворе был 1999 год. Он — главный редактор воронежского журнала «Подъём», а я — редактор отдела культуры, краеведения и современных проблем. Совсем недавно Евсеенко сформулировал концепцию этого издания с максимально возможной для того времени откровенностью и точностью: «“Подъём” — журнал русского национального достоинства, которое связано с именами Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого».

К тому времени я «молчал» почти семь лет, хотя в журнале постоянно занимался подготовкой дискуссионных материалов и обсуждений самых разных литературных и общественных тем. А Иван Иванович был верен себе: каждое утро садился за письменный стол и три часа посвящал своей прозе. Он считал, что писатель должен быть постоянно в рабочем творческом состоянии, и когда что-то мешало ему следовать собственному правилу, чувствовал себя неуютно.

Помню, однажды — уже в 2000-х, когда я вплотную занялся литературной критикой, он меня наставлял и упрекал в том, что я мало времени провожу за письменным столом. В свою очередь, я сослался на несовпадение жанров прозы и критики, что вполне определенно сказывается на писательском поведении. Евсеенко меня «не услышал», и тогда я безжалостно указал ему на несходство наших ситуаций: «Вот вы пишете рассказ, повесть, роман, говорите о своих героях, о природе или еще о чем-то, но все равно черпаете из себя, то есть о себе пишете в скрытой форме. А мне предлагаете каждое утро погружаться в чужую книгу и заниматься делом не сокровенным: разбирать тексты совершенно не свои, а какого-то дяди. Поэтому рано утром каждый Божий день я в это занятие погружаться не буду, поскольку выбираю не строгую литературную дисциплину, а собственно жизнь». На что Иван Иванович снисходительно ответил: «Нет, Слава, вы выбираете не жизнь, а сон». В этом заключении был весь Евсеенко, построивший свою творческую судьбу с ноля, не нарушавший сложившиеся внутри него законы, но притом — ироничный и обладающий не только острым глазом, но и способностью кратко обозначить то, что ему не очень-то и нравится.

Мои отношения с главным редактором «Подъёма» складывались почти исключительно на работе. Однако их смысловая и житейская полнота была разнообразна, в ней находилось место дискуссии о литературе и философии, разговорам о призвании писателя, шуткам и участливому отношению друг к другу, которое Иван Иванович называл как-то по-особенному, со своей интонацией и весомым значением — «товарищеским». Наверное, слово это он благодарно принял от Гоголя — Тарас Бульба не раз упоминал о товариществе. А Гоголь для Евсеенко был фигурой всеобъемлющей. Тут, видимо, сказывалось малороссийское происхождение Николая Васильевича, которое для уроженца Черниговщины Ивана Евсеенко оказывалось равносильно землячеству. Такой глубокой любви он, наверное, не испытывал к другим русским литературным классикам, которых ценил всемерно, но имя Гоголя хранилось у него, что называется, под сердцем.

Когда в 1997 году я пришел в редакцию «Подъёма», который только начинал свою новую жизнь, отвернувшись от скандалов и «жареных»

материалов, искусительно склоняющих многие издания на путь шумный и короткий, Евсеенко попросил меня подготовить публикацию романа Александра Конаныкина «Проклятые годы». Авторский текст был рыхлым, порой скатывался к «потоку сознания», а само построение внутреннего монолога главного героя Фомы Опискинъша, прибалтийского интеллигента-радикала, напоминало говор иностранца, который испытывает легкие трудности в построении фразы на неродном языке. Терпеливо, хотя порой и скрипя зубами, я делил объемное синтаксическое целое на внятные периоды, имея в виду именно такое происхождение речи центрального персонажа, которое дополнительно окрашивало его ментальность и поведение. Автор, кажется, выстраивал свой текст интуитивно, безо всяких концептуальных подложек, стиль повествования выглядел как прозаическая «руда» произвольная, и поэтому моя догадка о чужом сознании, психологии и речи была очень кстати, добавляя изобразительной убедительности произведению автора.

Между тем, поручение главного редактора поработать над рукописью прозы, тем более объемного романа, было странным для меня — по штатному расписанию, редактора отдела культуры, краеведения и современных проблем. Мой хлеб в сложившихся обстоятельствах — статьи соответствующей тематики, аналитические или эмоциональные, как правило, не посягающие на территорию собственно художественную, где и организация текста, и сама фактура слова устроены и окрашены совсем по-другому. И только позднее я понял: Иван Евсеенко проверял меня на литературную пригодность в самых разных жанрах. Об этом он мне не говорил, но взаимопонимание, связанное с уяснением сердцевинны того или иного текста, однажды возникнув, потом из наших бесед никогда не исчезало.

Впрочем, Евсеенко частенько любил показать, кто в доме старший по возрасту и литературному опыту. Житейская искушенность в его устах не выглядела демонстративной, скорее, она напоминала советы пожившего и навидавшегося человека, который сведущ не только в писательском ремесле, но и во многих иных вещах, которые сопровождают человека нашего времени в путешествии по жизни. Он мог авторитетно рассуждать, скажем, о ремонте крыши или о живописи, говорить о событиях войны или о государственном значении литературы и писателя. Иногда у нас возникали столкновения, по словам — резкие, но по главному содержанию спора никто из нас не противоречил другому. Как-то я довольно резко высказался о литераторах, которые конвейерным способом пишут свои опусы. Иван Иванович тут же спросил довольно напряженным голосом: «Почему вы, Слава, так не любите писателей?» В свою очередь, не менее определенно я ответил, что преклоняюсь перед теми авторами, которые не падают себя в изучении русского мира, и с отвращением относятся к иным тщеславным и расчетливым сочинителям, которые озабочены только личным самоутверждением. Развивать дискуссию мы не стали, потому что в самой глубине наших запальчивых фраз были тайно согласны друг с другом: писателей необходимо щадить, а самоотдача художника должна быть полной.

Во второй половине редакционного дня, когда у главного редактора уже не было неотложных задач, Евсеенко приходил ко мне в комнату, усаживался в кресло и, наблюдая за моей работой, начинал рассказывать что-то из собственного опыта — литературного или житейского. У меня же почти всегда в таких случаях времени катастрофически не хватало, я

слушал его вполуха, отвечая иногда односложно, а порой и жестко — как человек, которого отвлекают от серьезного дела.

Однажды я запаковывал бандероли для отправки номеров журнала нашим авторам. Это было важно в качестве обратной связи редакции с писателями, и я сам взялся за подобную черновую работу: если привлечь к сотрудничеству с журналом какого-то человека, значит, и удерживать его вблизи «Подъёма» должен именно ты. Почтовую бумагу приходилось клеить конторским клеем, все руки были им измазаны. На столе сохли только что завернутые журналы, а я почти автоматически складывал подвороты и клапаны этих почтовых пакетов, которых набралась почти дюжина. Напротив устроился в кресле Иван Иванович и принялся погружать меня в детали очередной истории, которая позже будет им использована в каком-нибудь рассказе или романном эпизоде. Вдруг он замолчал, а потом авторитетно произнес: «Вы неправильно заворачиваете бандероли, Слава, все нужно делать по-другому». Тихо чертыхнувшись, я ответил: «Давайте я переведу дух, а вы заклейте все как надо и по-своему». Евсеенко не обиделся, но замолчал, потом сказал мне какое-то напутствие и оставил меня в покое, удалившись к себе в кабинет.

По житейскому антуражу и языковым вкраплениям проза Ивана Евсеенко может быть отнесена к литературе Слобожанщины, но такое впечатление обманчиво. Его повествования являются чисто русскими, а все украинское присутствует в них лишь в качестве потаенной любви к воспоминаниям о черниговском прошлом. Он являл собой тот редкий тип русского художника, который не забывает свое духовное и человеческое происхождение, но понимает себя как фигуру, принадлежащую российской культуре и истории.

Не один раз украинская диаспора в Воронеже пыталась вовлечь Евсеенко в культурно-этнографическую практику, в скрытой форме содержащую элементы осознанного и настойчивого украинства, молчаливо изоляционистского по отношению к русскому бытию и укладу. Но он совершенно определенно отказывался от подобных предложений, в какой-то мере считая их провокационными. «Если случится, не приведи Бог, конфликт между Россией и Украиной, — говорил он задолго до военного противостояния, в которое мы погружены сегодня, — украинские структуры в России непременно выступают в роли “пятой колонны”». Как в воду глядел... Но при этом его потаенная любовь к малой родине не исчезала, а преображалась, и становилась истинно общерусской — именно такое чувство нежности к Малороссии пронизывает раннюю прозу Гоголя.

Мудрое и ответственное отношение к «украинскому вопросу» Евсеенко обозначил в беседе «Украина или окраина?», которая была опубликована в 2006 году воронежской газетой «Русский формат» и затем разлетелась по интернету. Очень показательно, что уроженец села Займище Черниговской области, Иван Евсеенко сложился как русский писатель, которому никогда не придет в голову сказать о Зоценко: «Ведь он — украинец?». Так однажды на спецкурсе в Литературном институте у Юрия Томашевского, влюбленного в зощенковскую прозу, с нажимом поинтересовался один мой однокурсник из Киева на рубеже 90-х годов. Иван Иванович всегда подчеркивал, что писатель — человек государственный, и сам был державным художником, который ни за что не променял бы принадлежность к большой родине на местечковую уединенность и эфемерные фантазии ангажированных или доморощенных историков.

Между тем, у него были свои художественные пристрастия, к кото-

рым он относился уже привычно и считал их почти бессознательно едва ли не нормативными. Так, он не слишком жаловал постмодернистские повествовательные приемы, а фантазмагорию воспринимал, пожалуй, только на эпико-народном повествовательном полотне. Спустя годы меня тревожит настойчивая мысль: быть может, он был прав, и незачем «портить» многоцветную и объемную реальность гротескными картинками, в которых творческий эгоизм автора заслоняет едва уловимый рисунок нашего бытия.

У прозаика Виктора Никитина, с которым Евсеенко в последние годы был дружен, несмотря на принадлежность к разным поколениям, прежде публиковались рассказы и повести, но вот, наконец, завершен роман. Вещь пестрая, в которой любовь и горечь, чувство жизни и весны сочетались с закатом и распадом советской системы, потерявшей смысл собственного существования. Название Витя дал своему произведению какое-то несуразное, которое не понравилось никому в редакции «Подъёма». Никитин отнес рукопись на суд Ивану Ивановичу как старшему собрату и главному редактору литературного журнала, а меня позвал на последующее обсуждение. И вот сидим мы с Виктором напротив Евсеенко, он высказывает заслуженные похвалы стилю и языку, осторожно упрекает автора в замысловатой композиции романа, а потом однозначно говорит, что название книги никуда не годится. К этому Никитин был уже готов. Но тут Иван Иванович очень весомо, со значением предлагает: «Думаю, что роман нужно назвать «Символ». Сказать, что Витя Никитин был этим смущен — не сказать ничего: он сошел с лица, кажется, побледнел и едва ли не начал сползать со стула. Кое-как мы с ним принялись отнекиваться и обещали найти наименование хорошее, содержательное и соответствующее настроению всей этой истории. Никитина я попросил принести десять вариантов, из которых окончательным лейтмотивом повествования оказалась фраза «Исчезнут, как птицы». Евсеенко сдержанно согласился. Вообще-то, он любил повторять, что большую вещь необходимо начинать с названия, тогда сюжет будет выстраиваться органично, потому что образ и мысль, заложенные в его начало, будут пронизывать текст и делать его единым целым. Не всегда удается воплотить на деле это пожелание как прозаику, так и критику. Но сам Иван Иванович внутренне по правилу как будто следовал неукоснительно. А книжка Вити Никитина после журнальной публикации была издана в Воронеже, и по сей день ее название кажется одним из самых поэтичных в современной городской прозе.

В художественном пространстве Ивана Евсеенко автор всегда видится идеалистом. Все лучшее, что есть в русском человеке, писатель подчеркивал, сочувствовал этому и старался поддержать своим словом. В романе «Забывшее время», отображая советскую эпоху 60-70-х годов, он создал замечательный образ главной героини, в какой-то степени отсылающий читателя к пушкинской Татьяне из «Евгения Онегина». Такая творческая и душевная установка требует от прозаика особенной лиричности слога. И Евсеенко этим свойством обладал — прежде он сочинял стихи и только потом поступил в Литературный институт в семинар прозы Сергея Залыгина.

Он написал много — тут и романы, и повести, и короткие драматические рассказы, воспоминания, литературная публицистика. Кажется, все его произведения были опубликованы в книгах и журналах, размещены в интернете, но порознь или в лучшем случае в виде сборника. Когда

видишь россыпь этих изданий на столе, возникает совершенно естественное желание более пристально взглянуть на наследие писателя, представить его в виде строгого собрания сочинений, подготовленного неторопливо и тщательно, с хорошим дизайном. Иван Евсеенко и его художественный мир, несомненно, заслуживают такой судьбы, потому что перед читательским оком — литературная классика трагических десятилетий трудной русской истории.

Виктор НИКИТИН,
писатель (Воронеж)

НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

С Иваном Ивановичем Евсеенко я познакомился в середине 90-х годов, когда пришел в редакцию «Подъёма», чтобы предложить свои рассказы. Еще в середине 80-х должна была выйти моя повесть в коллективном сборнике молодых авторов, но потом началась перестройка, и что-то не сладилось, затормозилось, а потом уже не сладилось с целой страной и стало вообще не до литературы, так что мой дебют в литературе не состоялся.

И вот уже в середине 90-х, когда у меня прибавилось рассказов, а возможностей где-то опубликоваться стало еще меньше, я решил прийти в журнал, чтобы уже как-то разобраться со своим творчеством и заодно с собой. Одним словом, мне надо было не по почте получить ответ, а в лицо выслушать что-то вроде вердикта.

И вот первая встреча с Иваном Ивановичем, знакомство. Он тут же взял рукопись, начал читать, спрашивать меня о разном, приглядываться... Можно сказать, что мне повезло. Я встретил равнодушного человека. Это самое главное его качество. Другой мог бы, как говорится, «пройти мимо», но не он. Он вообще отмечал все сколько-нибудь стоящее, малейший способный к развитию росток, приветствовал его, давая ходу, вводя в литературную жизнь, и, наоборот, противостоял пустословию и графомании.

Меня напечатали, я стал автором «Подъёма», так началась моя литературная жизнь. И в дальнейшем Иван Иванович с интересом следил за моим творчеством, даже случалось ему придумывать моим рассказам удачные названия (бывает такое, что упреешься как в стену, и только взгляд со стороны поставит все на место). С его подачи я вступил в Союз писателей России, и все дальнейшее в моей литературной судьбе так или иначе было связано с тем, что он меня в свое время увидел и оценил. И это при том, что мы совершенно разные писатели по стилю: он, в упрощенном понимании, «деревенщик», я представляю «городскую» прозу. Но что-то нас сближало, несмотря еще на разницу в возрасте; мы часто общались. Он ценил юмор, меткое слово. Как писателю, ему был интересен окружающий мир. Он всегда стремился узнать что-то новое. Помню, как он осваивал компьютер, переходя с пишущей машинки. Ему хватало терпения вникать во всякие виртуальные подробности; так же происходило и с освоением пространства интернета...

Иван Иванович Евсеенко — писатель, принадлежавший к «старой школе», не любивший приблизительности, знавший то, о чем он пишет,

владевший словом, любивший образный язык. Я думаю, что при всем том, что он часто сетовал на неостребованность художественного слова в нынешние времена, на снижение качественной планки, он все же верил в силу слова и образа, в силу книги. Иначе бы он просто бросил заниматься творчеством, опустил бы руки.

Проще простого было бы определить Ивана Ивановича Евсеенко как реалиста, «деревенщика», но мне он в большей степени представляется идеалистом, потому что в итоге ведь он писал о том, как должно быть на самом деле, к чему надо стремиться. Это было его целью: сохранить нравственные ориентиры, извечный уклад неторопливой и обустроенной жизни, жизни в единении с природой и в ладу с самим собой, противостоять упадку и разрушению.

Именно поэтому так важна в его творчестве подробная детализация быта. В этом чувствуется крестьянская закваска, деревенская основательность, знание о предмете не понаслышке. И все это надо сохранить, запечатлеть словом, чтобы оно не исчезло, не кануло в вечность. Когда он писал, он обустроивал этот описываемый мир, он делал его физически осязаемым, последовательным и необходимым.

И не случайно герой его произведений является человеком совестливым, задающим себе и другим сложные и вместе с тем простые вопросы, касающиеся отношений между людьми, устройства жизни и ее смысла. Это всегда поступательное, не лишенное шероховатостей и преград движение к истине, как ее понимает работающий своим трудом, своими руками человек.

Во всем это была и есть своеобразная философия земли, человека, строящего жизнь на земле от себя, его нутряной взгляд на вещи, его смекалка, привычки, его думы, печали и радости...

Для меня Иван Иванович Евсеенко останется светлым человеком, умеющим ценить дружбу. Он был интересным собеседником, радушным хозяином, широкой души русским человеком. В памяти остался его голос по телефону. Наш последний телефонный разговор...

Я многим ему обязан...

Евгений НОВИЧИХИН,

*писатель, заместитель председателя правления
регионального отделения
Союза писателей России (Воронеж)*

ЧИСТОГО РУССКОГО СЛОВА РАДЕТЕЛЬ

«Вот и настало время воспоминаний. В молодые годы никому из нас не дано предвидеть своих жизненных пределов, не дано знать, кто первым уйдет в мир иной, а кому придется в одиночестве печалиться и скорбеть об ушедших друзьях, которые, возможно, были достойны более длинной жизни, чем твоя собственная. Но коль судьба отнеслась к тебе столь милостиво, то, отложив все другие дела и заботы, сядь и напиши об ушедших все, что ты о них знал, что запомнил. За это тебе потом воздастся: может, кто-то еще, более долговечный, чем ты, и о тебе вспомнит добрым, непредвзятым словом».

Так начинаются воспоминания Ивана Ивановича Евсеенко о Литинституте, о своем литературном учителе Сергее Павловиче Залыгине. А теперь пришло время вспомнить и о нем самом — большом русском писателе, моем давнем и хорошем друге Иване Евсеенко. Говоря его словами, я оказался «более долговечным», чем он, хоть он и моложе меня.

Наша с ним дружба началась в 1973 году. Именно тогда я был приглашен новым главным редактором журнала «Подъём» Виктором Михайловичем Поповым на должность редактора отдела поэзии и публицистики. Работу начал в марте. Напротив моего стола в рабочем кабинете редакции стоял стол редактора отдела прозы. Его занимал известный писатель Юрий Данилович Гончаров. Но он уже подал заявление об уходе, наводил порядок в ящиках, забитых рукописями, и со свойственными ему нотками нытья без конца убеждал меня:

— Женья, ничего хорошего здесь сделать невозможно... Не дадут ни обком, ни цензура...

В эти же дни Виктор Михайлович Попов собрал коллектив редакции, чтобы посоветоваться: кого назначить вместо Гончарова? Я, разумеется, деликатно молчал — рано мне еще было советы давать, а другие называли какие-то фамилии. Заместитель Попова Александр Иванович Гридчин, помнится, сказал:

— Надо бы найти прозаика уровня Гончарова. Но это практически невозможно.

Так и разошлись, ничего не придумав.

А еще через несколько дней главный редактор снова собрал нас в своем кабинете. Объявил:

— В отдел культуры обкома партии позвонил Залыгин. Попросил принять к нам на прозу одного своего выпускника. Очень хорошо о нем отзывается. Тимофеев считает, что к Залыгину надо прислушаться.

Имя Сергея Павловича Залыгина — известного в стране прозаика и профессора Литературного института — было в то время настолько авторитетным, что заведующий отделом культуры обкома Евгений Алексеевич Тимофеев никак не мог проигнорировать его просьбу.

Гридчин поинтересовался у Попова:

— А фамилию этого выпускника Тимофеев назвал?

Попов заглянул в какие-то записи и сказал:

— Евсеенко.

Гридчин радостно всплеснул руками:

— Ваня Евсеенко? Я отлично его знаю! Лучшей кандидатуры нам не найти!

Выяснилось, что до Литинститута Евсеенко учился в Курском педагогическом, а Гридчин много раз принимал участие в совещаниях молодых литераторов, проводимых курянами. Там и познакомились.

Словом, вопрос о будущем редакторе отдела прозы журнала был решен. Кстати, впоследствии, когда Залыгин приезжал в Воронеж на Кольцовско-Никитинские дни литературы, я был свидетелем одной из его встреч с Иваном Евсеенко и понял, что Сергей Павлович действительно считал Ваню одним из лучших своих учеников, если не самым лучшим.

В редакции Иван Иванович появился ближе к концу лета, но к работе приступил не сразу. У него была семья, и надо было искать жилье. Оказалось это делом нелегким, на него ушло немало времени. Как-то прочитал у одного злопыхателя: мол, воронежским писателям приходилось ждать квартиру по много лет, а этому пришлому выскочке Евсеенко дали

сразу, как он только появился в Воронеже. Тут сразу две лжи. Во-первых, в ту пору воронежских писателей обеспечивали жильем безо всяких особых проблем. Литфонд СССР был богатой организацией и беспрепятственно выделял деньги на долевое участие в строительстве жилья любой писательской организации — по ее запросу. Во-вторых, Евсеенко, прежде чем получить квартиру, пришлось много лет ее снимать, оплачивая из собственной зарплаты.

Приступив к работе, он, самый молодой сотрудник редакции, как-то сразу стал задавать тон требовательного отношения к авторам и публикуемым на страницах журнала произведениям. В принципиальных вопросах ни на какие компромиссы не шел и мог открыто возмущаться даже тогда, когда какой-нибудь плохой рассказ или повесть оказывались поставленными в номер по воле самого главного редактора. С его мнением в редакции всегда считались. И совсем не потому, что его учителями были Залыгин и Евгений Носов. Всем было ясно: Евсеенко и сам вырастет в большого писателя. Об этом говорило не столько его литинститутское образование, сколько природная душевная образованность. Это подтверждала и первая его книжка повестей и рассказов, вышедшая в Воронеже в 1974 году с предисловием Сергея Залыгина. Мы радовались ей всем коллективом. А через два года Ваня стал членом Союза писателей СССР. К тому времени он был автором уже двух книг: вторая под названием «Бревенчатый дом» (с предисловием Евгения Носова) вышла в Москве, в издательстве «Современник», в 1975-м. Помню, каким расстроенным был Ваня, получив сигнальный экземпляр этой книги. Дело в том, что ее редактор изменил название, не согласовав с автором. Евсеенко дал своей книге название «Бревенчатый низенький дом». В изданном варианте слово «низенький» исчезло. Мне и сейчас кажется, что название, которое дал книге Евсеенко, выглядело более привлекательным, тем более что это — строчка из Николая Рубцова.

С приходом Вани в «Подъём» отдел прозы журнала заметно преобразился. Появились новые авторы — как правило, молодые, но уже заметно заявившие о себе в литературе. Большой положительный резонанс имел журнальный номер, целиком состоящий из молодежной прозы. Его «благословил» своим вступительным словом Сергей Владимирович Михалков. О прозе журнала стала чаще писать центральная российская пресса. Понятно, что и интерес читателей к «Подъёму» неизменно возрастал.

Двенадцать лет, с 1979 по 1991 год, мы жили с Ваней в одном подъезде — я на пятом этаже, он на девятом. Виделись с ним не только на работе, но и дома. За эти годы мы с ним еще больше подружились. Как писатель он жил по известному принципу «ни дня без строчки». С утра, до одиннадцати часов, он не принимал никаких звонков, ни с кем не обсуждал никаких вопросов. Он писал. А после одиннадцати занимался домашними делами. Любил постолярничать: пилил, строгал, благоустраивая свой быт и быт своей супруги Светланы Ефимовны, своих детей Вани (тоже Ивана Ивановича Евсеенко!) и Светы.

Литературного бахвальства, игры «в классики» Евсеенко решительно не принимал. Он реагировал на них моментально. Вспоминается, как гораздо позднее, в июне 1995 года в Якутске, в перерыве между заседаниями пленума правления Союза писателей России я стал невольным свидетелем разговора Вани с местным прозаиком, его сокурсником по Литинституту.

— Ваня, вот я останусь в якутской литературе! — гордо сказал сокур-
тник. — А ты?

Евсеенко посмотрел на него в упор и не без ехидцы сказал:

— А я не останусь. Но — в русской!

Своей принадлежностью к русской литературе он очень дорожил. Украинец по национальности, Евсеенко был глубоко русским человеком по своей сути. «Нас трудно обвинить в высокомерии, это не русская черта характера, — писал он в одной из статей, — но... отдавая дань уважения выдающимся талантам западно-европейской и американской литератур, таким писателям, как Хемингуэй, Стейнбек, Вулф, Маркес, Белль и другие, позволим себе заметить, что если этих писателей поставить в один ряд с их русскими ровесниками: Шолоховым, Платоновым, Леоновым, Булгаковым, то не уменьшатся ли они в размере и росте, сколько бы Нобелевских премий не получали». Согласитесь: это евсеенковское «нас» о многом говорит.

На писательских собраниях, на встречах с читателями он постоянно подчеркивал, что русский писатель должен, как и его великие духовные предшественники, жить жизнью своего народа и писать его судьбу. Сам Евсеенко так и жил, так и работал.

Подлинный пример русского писателя он видел в Гоголе, который, по мнению Евсеенко, совершил подвиг: поставил перед собой «великую, почти религиозную и заведомо неисполнимую цель — исправить посредством слова и литературы погрязшего в грехах человека», а увидев, что цель эта неисполнима, пошел «на духовное распятие, на крест».

Конечно, свою Украину он любил так же, как и Россию. И горько переживал, понимая, что пропасть между ними стремительно растет. Помню, как он страдал, возвратившись из поездки на Украину в 1994 году. Тогда его пригласили в Киев и Николаев на празднование 180-летия со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Увидев собственными глазами, как украинцы делают Кобзаря символом своего противостояния с Россией, Ваня в сердцах заявил даже, что нельзя, недопустимо устанавливать памятник Шевченко в воронежской Росоши (в ту пору как раз появилась такая инициатива, не реализованная, впрочем, и до сих пор). С возмущением рассказывал мне об увиденном им «параде государственных флагов» стран, в которых живут украинцы. Среди множества таких флагов он еле обнаружил государственный флаг России, потому что разместили его в числе самых последних. Но больше всего его волновало то, о чем позднее он напишет так: «Не мог я преодолеть в себе горькую обиду, что не по моей вине и желанию малая моя родина стала вдруг как бы уже и не родиной, а чужой страной, зарубежьем. Ее у меня просто-напросто украли злые, чем-то похожие на Соловья-Разбойника люди».

А весной 1996 года мы побывали с ним на Украине вместе. Руководитель Черниговского отделения Союза писателей Украины Станислав Репях пригласил нас на литературный праздник, посвященный 105-й годовщине со дня рождения классика украинской советской литературы Павла Григорьевича Тычины. Ваня со Станиславом были земляками-черниговцами и хорошо знали друг друга, я же был знаком с Репяхом заочно, потому что годом раньше перевел на русский и опубликовал в «Подъеме» его интереснейшее документальное исследование «Мареве», посвященное взаимоотношениям Тараса Шевченко с женщинами. Праздник этот завершался встречами писателей с читателями сельских районов Черниговщины, и Ваня настойчиво просил организаторов, чтобы меня

направили в общей с ним группе в его родной Щорский район. Нам пошли навстречу.

Город Щорс встретил нас хорошей погодой и доброжелательными улыбками. Выступали с Ваней в его родной украинской школе, а потом — в русской. Вместе с нами был украинский прозаик Александр Смоляк, Ванин земляк: они родились в одном селе. Оба они — и Евсеенко, и Смоляк — были своеобразными символами переплетения судеб русских и украинцев. Дело в том, что Евсеенко окончил украинскую школу, но стал русским писателем, Смоляк же учился в русской школе, но стал писателем украинским. Ко второй встрече к нам присоединилась сестра Ивана Ивановича — Таисия Ивановна Шкрюм, приехавшая на встречу с братом из Днепропетровска. Ее, врача по профессии, хорошо знали не только в Щорском районе, но и во всей Украине: она была известным общественным деятелем, организатором движения солдатских матерей.

Еще одна встреча с нами состоялась в Щорской детской библиотеке. После этого у нас оказалось два совершенно свободных дня, так как поезд Киев-Воронеж, которым мы должны были возвратиться домой, был в ходу уже не ежедневно, как в прежние времена. И на эти два дня Ваня пригласил меня в свое родное Займище. Побывали на могиле матери Ивана — известной и любимой в селе учительницы. На берегу реки Сновь, описанной во многих его книгах, он восторженно рассказывал мне о своих земляках. Не без гордости знакомил меня с Ушатými — родом, к которому по материнской линии принадлежал сам и представители которого постоянно упоминаются на страницах его рассказов и повестей. Радовался, как ребенок, показывая мне чернобрового аиста, устроившего гнездо посреди села, на телеграфном столбе, и бесконечно удивлялся, что эту птицу я вижу впервые в своей жизни. А в Щорском дворце культуры для нас пел большой и совершенно профессиональный хор села. Пел только для четверых: для Вани, его сестры Таси, Александра Смоляка и меня. Земляки любили Ваню так же горячо, как любил их он. Достаточно сказать, что в Займищенском клубе есть музейная экспозиция о жизни и творчестве Евсеенко, земляки издали и посвященный ему библиографический справочник.

Концерт хора, который назывался «Спадщина», что по-русски означает «Наследие», лично мне очень понравился. По настроению же Ивана я понял, что он чем-то недоволен. Когда мы остались одни, скрыть своего недовольства он не смог.

— Понимаешь, этот хор в пятидесятые годы исполнял и русские, и украинские, и белорусские песни, — поделился Ваня воспоминаниями. — По-иному и быть не могло: ведь село наше было расположено на стыке трех республик. А сегодня... Да ты же сам слышал — только украинские песни поются. Какая же это спадщина, какое же наследие? Наше общее наследие — общие песни! А Украина об этом забывает. Умышленно?

Немного помолчав, добавил:

— Думаю, что Василий Иванович Полевик (руководитель хора. — *Е.Н.*) и сам все понимает. Но куда ж ему деваться? Пойдет по району слух об этом концерте, вызовут его в какой-нибудь высокий кабинет, и получит он такую нахлобучку!

В этой поездке чувства Вани были обострены до предела! Приведу еще один пример. Зашли мы с ним в гости к его родственникам. За гостеприимным столом шел обычный разговор. Я не обратил совершенно никакого внимания на одну, казалось бы, мелочь, которая Ваню очень задела. Расстраивать родственников он не стал, а мне в этот же вечер сказал:

— Тоскливо мне как-то. Понимаешь, в прежние мои приезды тетя Маня всегда спрашивала: «Как там дела у вас в Воронеже?» А сегодня спросила: «Как там дела у вас в России?» Я еле выдержал, чтобы не взорваться! Они же все ощущают себя уже отдельно — и от России, и от меня...

Позднее он напишет: «Порвана пуповина и между Украиной и Россией, тут не надо тешить себя ложными надеждами и мечтаниями. Побывав на могиле матери и уезжая назад в Россию, теперь каждый раз плачу я, а плачет ли по блудному своему сыну Украина, мне неизвестно. Скорее всего, если и плачет, но не очень горючими слезами... А ведь таких сыновей по всей России, по всему белому свету рассеяно многие миллионы. Соберет ли она их когда-нибудь вместе?! Похоже, что, в гордыне своей расставшись с Россией, не соберет. Не до того ей нынче...»

Но возвращаюсь назад, в семидесятые годы. Однажды Ваня попросил меня прочитать рукопись его нового рассказа. Я прочитал, а кое-что и поправил: окончивший, как я уже сказал выше, украинскую школу, он иногда неоправданно употреблял в тексте украинские слова, путал в русских словах буквы «ы» и «и». Высказал ему и свое мнение о рассказе. С тех пор я стал, как он сам неоднократно утверждал, его первоочитателем. По утверждению Вани, его рассказы и повести я читал раньше других, а иногда вторым — после дочери Светланы. Однажды во время обсуждения на писательском «литературном вторнике» одного из произведений Евсеенко прозвучала какая-то бездоказательная критика в его адрес. Ваня незамедлительно ответил критикану: «Здесь есть люди, литературным вкусом которых я доверяю больше, чем вашим!» — и указал в мою сторону, порядком меня смутив.

Он всегда, надрывая свое сердце, чутко реагировал на все, что казалось ему выходящим за пределы норм человеческого общения. Однажды под его горячую руку попал даже авторитетный Егор Исаев. Пользуясь своими хорошими отношениями с воронежским губернатором, Егор Александрович позвонил ему и решил один из спорных вопросов явно не на пользу воронежской литературы. Вскоре после этого мы с Евсеенко оказались в Москве, в храме Христа Спасителя, где проходил очередной Всемирный Русский Народный Собор. Стоим с ним в фойе зала церковных соборов и видим, что к нам, раскрыв объятия, приближается Исаев. Когда он протянул нам свои руки, Ваня неожиданно отрезал:

— А я тебе своей руки не подам!

Егор Александрович опешил от недоумения. А Евсеенко повернулся и ушел.

Надо сказать, что Ваня с самого начала работы в «Подъёме» показал себя как человек довольно острый на язык. Одна из первых его шуток была связана с тем, что у Виктора Михайловича Попова практически не было волос на голове. Когда мы всей редакцией собирались за праздничным столом или отмечали выход книги кого-нибудь из нас, Евсеенко непременно произносил свой коронный тост:

— Пусть больше ни один волос не выпадет с головы главного редактора!

Когда на этом посту Попова сменил я, тост Ивана видоизменился:

— Пусть больше ни один волос не поседеет на голове главного редактора!

Можете себе представить, как выглядела к тому времени моя голова, если он по этому поводу шутил.

Он шутил даже над собой, написав на себя эпигramму:

У Евсеенко Ивана
Никакого нет изъяна.
У него один изъян:
Он Евсеенко Иван!

В нашей писательской организации в свое время была стенгазета под названием «Подкова», возникшая по инициативе Владимира Григорьевича Гордейчева (сам он и рассказал о ней в своей книге «Памятные страницы», вышедшей в 1987 году в Воронеже). Каждый мог оставить в ней любую шутку или эпигramму. Со временем стенгазета перестала существовать, но ее традиции еще долго жили в устном варианте. Немалый успех имела так называемая «Поэма прихода», в которой первая строка каждого четверостишия начиналась со слов «приходил» или «приходила». Например: «Приходил к нам Троепольский...». Или: «Приходила поэтесса...» Одно из четверостиший принадлежало Евсеенко. В нем он обыграл тот факт, что многих прозаиков, приносивших свои рукописи в отдел прозы «Подъема» звали Иванами (Иван Сидельников, Иван Матюшин и т.д.), а редактор отдела тоже был Иваном:

Приходил вчера Иван,
Приносил нам свой роман.
Посидел с часок с Иваном —
И пошел назад с романом!

В устном варианте вместо «назад» обычно употреблялось более крепкое словечко.

В литературном и окололитературном мире слишком много тех, кто не имеет понятия о своем реальном месте в литературе. Многие, издав одну-две книжки, уже мнят себя гениями. Совсем не преувеличиваю. Мне сотни раз приходилось бывать на всевозможных обсуждениях, презентациях и тому подобное. Прочтет автор весьма посредственное произведение, а друзья уже восклицают:

— Гениально!

И автор принимает это как должное.

Однажды позвонил мне один такой коллега:

— Слышал, что Евсеенко получил очередную премию?

Конечно, я узнавал обо всех литературных наградах Евсеенко одним из первых, потому что Ваня своими радостями спешил поделиться с друзьями: со мной, с Виктором Будаковым, с Виктором Никитиным.

— Как считаешь: заслуженно ли он ее получил? — не унимался коллега.

Объяснил ему, как смог, что Евсеенко достоин и куда более весомого признания.

— А я с тобой не согласен! — заявил мой собеседник. — Вот я написал великолепный рассказ, послал его Ивану, а он мне его вернул!

Такие «аргументы» или подобные им ходили вокруг имени писателя десятками. Более того, на него писали всевозможные доносы, как говорится, «от Москвы до самых до окраин»: то Президенту, то председателю Союза писателей, то губернатору. А еще раньше — то Генеральному секретарю ЦК, то первому секретарю обкома... Писали и анонимно, и открыто. Вспоминается, как один курянин написал в обком партии жалобу, в которой утверждал: я, мол, привез Евсеенко две бутылки водки, а он пе-

чатать мой роман не стал. Я к тому времени был уже главным редактором журнала, сменив на этом посту Виктора Михайловича Попова. Поэтому по поводу этой жалобы именно меня вызвали в отдел культуры обкома. Заведующий отделом Александр Сергеевич Синицын протянул мне эту «телегу», а когда я ее прочитал, спросил:

— Что будем делать?

Я сказал, что доверяю Ивану Ивановичу полностью и в правильности его решения не сомневаюсь.

— Я понимаю, — сказал Синицын. — Но и ты меня пойми: ведь в жалобе говорится о водке. Автор же на взятку намекает!

— Да чушь все это! — возмутился я.

— Ладно, — согласился он. — Пусть Евсеенко напишет объяснительную, и мы это дело закроем...

Вернулся я в редакцию, рассказал обо всем Ивану. Он вспыхнул:

— Ничего писать не буду!

Я хорошо знал его характер, поэтому молча ушел в свой кабинет, уверенный, что через несколько минут Ваня эту злосчастную объяснительную мне принесет. И оказался прав. Он зашел ко мне, усмехаясь, и подал вот что:

«Главному редактору журнала “Подъём” Е.Г. Новичихину. Объяснительная. Объясняю, что я взятки никогда не брал и не беру, особенно водкой. И. Евсеенко».

Эту «объяснительную» я и отнес в обком.

В этом «объяснении» он весь. В самом деле, не объяснять же всерьез, почему он вернул рукопись графоману, если этот графоман даже предложил с ним выпить! Кстати, с водкой Ваня даже в молодые годы не очень-то дружил.

Один такой графоман до сих пор уверен, что это именно он своими доносами снял Евсеенко с поста главного редактора в 2006 году. Даже бахвалится этим в интернете. Слава Богу, в наше время уже никто не принимает доносы всерьез. А уход Евсеенко из редакции был связан совсем с другими причинами.

Я же ушел с поста главного редактора в начале 1993 года, полностью разuverившись в возможности проводить независимую литературную политику в условиях нагрянувшей «экономической цензуры». Новым местом моей службы стал Воронежский областной литературный музей имени И.С. Никитина, куда меня назначили директором. Конечно, Ваня был раздосадован моим уходом. Ведь мы с ним проработали бок о бок два десятка лет. По поводу моего ухода он съязвил эпитаграммой:

Ты был Евгений из Евгениев!
Ну а теперь ты — экспонат.
И на тебя с большим сомнением
Кольцов с Никитиным глядят...

А при встречах неоднократно шутил:

— Возьми меня на работу в музей... экспонатом! Представляешь, сажу я в музейном зале, а передо мною табличка: «Живой писатель. Руками не трогать!» Разве не интересно будет такое посетителям?

Не знаю уж, витала ли эта идея в воздухе или Ваня поделился ею с Эдуардом Лимоновым (они были хорошо знакомы), но позднее, на выставке, посвященной творчеству последнего (она проходила в Москве, в

Политехническом музее), Лимонов сидел в выставочном зале, а перед ним висела табличка: «С экспонатом не разговаривать!»

Главным редактором «Подъёма» Евсеенко стал в 1997 году не без моего участия. В то время я уже возглавлял комитет по культуре администрации Воронежской области. Экономическая ситуация в «Подъёме» была, что называется, аховая, журнал погибал. Глава области Иван Михайлович Шабанов, несмотря на труднейшую ситуацию с бюджетом, откликнулся на просьбы редакции и комитета по культуре: «Подъём» изменил статус, став (впервые в стране!) государственным учреждением культуры. Решение по назначению главного редактора должен был принять я, и у меня, признаться, не было никаких раздумий: на этом посту мне не виделась ни одна кандидатура, кроме Ивана Евсеенко. Он согласился, попросив, правда, вменить в его обязанности только творческие вопросы, освободив от административно-хозяйственных.

— Я в этом деле профан, — честно признался он.

И тогда я своим приказом разделил в редакции административно-хозяйственные и творческие функции, введя в штатное расписание «Подъёма» должность директора. Им стал Александр Голубев.

О своем решении я никогда не пожалел. И в качестве главного редактора Евсеенко оказался на высоте.

Однажды Ваня меня весьма удивил. Еще в пору нашего знакомства мы разговаривали с ним как-то о том, как война вошла в наши судьбы. Он рассказал о своем погибшем отце. А я поведал ему о давней трагедии: немцы, отступая из нашего села, облили бензином и забросали гранатами подвал, в котором родители укрыли от бомб, снарядов и пуль полтора десятка детишек. Я и сам, вместе со старшим братом, сидел в том подвале, но за несколько минут до трагедии мама увела нас домой со словами: «Погибать — так вместе...» Я и не думал, что Евсеенко будет целых сорок лет держать эту историю в своей голове! Его повесть «Дмитриевская суббота» навеяна как раз этим моим рассказом, о чем он неоднократно — и устно, и печатно — говорил и коллегам по перу, и читателям.

Я прочитал все, что написано Иваном Ивановичем Евсеенко. Писатель он редкий, большой. Он был подлинным радетелем русского слова, свято берег традиции отечественной прозы. Но не только берег. Он их и развивал. Совсем не случайно Сергей Чупринин, размышляя о повести Евсеенко «Одноворец Калашников» писал в «Литературной газете»: «Есть ли в русской литературе аналоги подобного рода прозе?»

Жаль, что при жизни Вани многие не понимали его огромного писательского масштаба. Думаю, что этого не понимали и воронежские власти. Накануне 50-летия Союза писателей России на имя губернатора области В.Г. Кулакова пришло письмо за подписью председателя Союза писателей России Валерия Ганичева. В нем руководитель Союза просил администрацию области инициировать награждение Ивана Евсеенко орденом Почета за заслуги в развитии отечественной литературы. Никаких результатов не последовало.

Летом 2014 года, когда он уже тяжело болел, мы несколько раз сидели с ним вдвоем на скамеечке во дворе его дома. Говорили о жизни, о литературе, о событиях на Украине, которые он не мог не принимать близко к сердцу. В те дни Ваня был полон оптимизма и надежды на то, что справится со своим нелегким недугом. Но недели за три до смерти в телефонном разговоре сказал мне: «Все, Женя. Мне пора собираться...» Попробовал его успокоить. Но какие слова тут можно подобрать?

На прощание с Ваней из местного начальства пришел только депутат областной Думы Сергей Иванович Рудаков. Он, доктор философских наук, конечно же, понимал, кто такой Иван Евсеенко для русской литературы, для чести и гордости области. Никто больше до этого не додумался.

...Кем и чем был для него я, Ваня понял гораздо раньше, чем я понял, кем и чем для меня был он. На своей последней книге «Затаив дыхание...» он оставил такой автограф:

«Дорогой Женя! Большое тебе спасибо за все, что ты сделал для меня в жизни! И. Евсеенко. 23.04.2013 г.»

А что, собственно говоря, я для него сделал? За что он меня благодарил? Ну назначил я его главным редактором журнала... Ну нашел спонсора для издания его маленькой повести в серии «Воронежские писатели: XXI век»... Ну стал он по моей инициативе первым лауреатом премии Воронежского отделения Союза писателей России «В прекрасном и яростном мире»... Ну написал и опубликовал я несколько рецензий на его книги... Так ведь все это такие мелочи по сравнению с его огромным талантом! Нет, не об этом его автограф. Этими словами он оценил нашу с ним дружбу.

Прости, Ваня, что я поблагодарить тебя за эту дружбу не успел...

Аркадий МАКАРОВ,
писатель (Воронеж)

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ ПО-УКРАИНСКИ

Для любого писателя, а провинциального — тем более, работа сторожем где-нибудь в тихом месте — самое то! Правда, смотря что вкладывать в понятие «провинциальный». Вот Шолохов — писатель провинциальный или как?

На охранной, сторожевой работе — уединение идеальное, ночного времени столько, что иногда глаза слезятся от воспоминаний о жизни, затраченной на пустыки, на ловлю улетающей птицы удачи, которая потом оказывается в лучшем случае сереньким воробышком. Правда, зарплата маленькая, но гораздо выше, чем месячные гонорары какого-нибудь классика из центра. Вот и живешь как-нибудь, что Бог послал...

...Встречаю на шумной улице Ивана Евсеенко. После переезда в наш столичный черноземный град из тихого Тамбова для меня все улицы Воронежа кажутся шумными. А Плехановская — тем более. Вечер. Озабоченный завтрашним днем народ по сторонам не смотрит. А чего любопытничать? Пустое дело! Скорее втиснуться в маршрутку — и ты дома, у родного очага, отужинать бы скорее — и к телеку на занимательные передачи «про это». А может быть, и «про то». У каждого своя думка на вечер, каждый свою копну молотит. Жизнь, одним словом.

— Иван! — я чуть не врезался в него со всего маху: спешу на дежурство в дом под одиноким вязом на Никитинской, 22. Там Дом воронежских писателей. Быть сторожем в нем не зазорно. Вот и спешу встретиться с творческим народом, которому этот дом роднее собственного. Писательские посиделки — не просто времяпрепровождение, а работа, своеобразный творческий процесс, где можно товарища выслушать и самому

похвастаться написанным. Потому там по вечерам всегда можно отвести душу с хорошим собеседником.

Потому и спешу.

— Иван! Вот так встреча! Не видел тебя сто лет! Здорово!

Я, действительно, как переехал из Тамбова, еще с Евсеенко не встречался. У меня с ним были не такие уж приятельские отношения, чтобы хлопать по плечу, но довольно товарищеские, чтобы разговаривать на «ты».

Иван Иванович, работая главным редактором журнала «Подъём», меня охотно публиковал, хотя был и по-редакторски требовательным, и внимательным читателем, творческие промахи замечал, как никто, но и удачам радовался.

Конец рабочего дня, народ толпится, не поговоришь. У Ивана взгляд рассеянный, чем-то занят своим, глубоким, но улыбается с добринкой:

— Как на новом месте?

— Сторожу вот. Пойдем посидим. У меня первая зарплата. Может, по «сухарю» вдарим!

— Спасибо, старик! Не пью. Я в партию к Жихареву Виталию Ивановичу записался. Как он, так и я. Кроме водички — ничего!

— За чаем посидим, покалякаем... У меня печенюшки есть...

— Спасибо! Иди давай, а то тебя Чекиров заждался. Ты его сменить должен.

Чекирова Виктора Мустафьевича я действительно должен менять на вахте. Он в писательском доме литконсультантом и дольше всех задерживается с начинающими пробовать перо. У него всегда толчея из непризнанных гениев.

— Ладно, бывай! — протягиваю ладонь.

— Буду! Зайду как-нибудь на огонек.

* * *

Зимний вечер долог. Сажу за компьютером. Целых два абзаца своей нетленки натюкал пальцем. Устал. Дом писателей хотя и обветшал до предела, но тепло держит хорошо. «Ой, мороз-мороз, не возьмешь меня! Я сажу в тепле на исходе дня».

Вот ведь дело какое, когда все сделано! На стихи потянуло. Сплошной ремейк, как теперь выражаются умные люди. Но ведь правда хорошо! Тепло от батарей — как медвежья полость мехом наружу с ног до головы пеленает. Сладко под мехом. В сон как в немыслимую ересь тянет. Я вроде сторожем здесь. Бдеть должен. Домовой, как-никак.

Стук в окно — как выстрел у виска. Чуть компьютер не свалил, выпрастываясь из меховой полости. Вскочил, как ванька-встанька. Раз! И я к стеклу!

Улица в рассыпчатом желтом свете фонарей. В окне улыбается в бороду Иван Евсеенко. Вот удача! Машу ему рукой, чтобы заходил. «Чайку поьем. Покалякаем...» — так, кажется, я ему говорил тем летом при первой встрече.

— Заходи! — широко открываю дверь.

Евсеенко в морозной дымке, видно, долго гулял на свежем воздухе, припылился снежком, пообветрился. От него потянуло чем-то домашним, родственным, так входят с дороги свои люди в давно обжитое, желанное тепло. Так и кажется, что он вот сейчас размашисто перекрес-

тится на передний угол, где место иконам. Я даже по своей православной привычке оглянулся туда, но в пустом углу — ничего и никого, если не считать паука-крестовика, одомашненного временем и тесным пространством.

Бегу ставить чайник — гость как-никак. У меня в записке на всякий случай пылится четвертинка водки. Предложить, может?..

— Иван, — кричу из другой комнаты, где гремлю посудой, — насчет водочки с морозца как?

— А никак! В смысле — никаких возражений.

Выставляю застоявшуюся без призора чекушку, крошу на газете нехитрую закуску, достал махонькие, на один глоток, стопарики. Разливаю.

— Ну, за встречу! — поднимаю склянку.

Иван отводит мою руку:

— Тебе нельзя! Ты на работе! — смеется.

— Так и тебе нельзя! Ты в партии Виталия Жихарева.

— Вышел я из партии... Ну ее! Я теперь антипартийный! Врачи говорят — можно!

— Ну, и мне можно! Я на этой работе — ну, как член... нашего правительства, что ли. Чем меньше вникаю, тем для дела лучше.

Смеемся оба. Настроение хорошее. На шутки тянет.

Иван, как и любой пишущий человек, — любитель поговорить. Потолковать о жизни. О нынешней подленькой и о прошлой, пусть не без промахов, но той настоящей, героической, где каждый чувствовал себя личностью, а не тем электоратом, от которого ничего не зависит.

— В армии вот тоже, — начинаю я, — никогда не спеши выполнять приказ, ибо будет команда: «Отставить!»

— А ты в армии хоть служил? — спрашивает с подначкой.

— Три года и шесть месяцев — как с куста! — впереди пограничных застав отбарабанил. В ГДР служил. Карибский кризис. Рядом американская империалистическая морда зло ощеряется. Вот и задержали дембель.

— Ефрейтором, небось, на гражданку вышел.

— Откуда ты знаешь?

— По росту сужу. Выше ефрейтора не дадут.

— Не в чинах дело! Гитлер вон тоже, я слышал, ефрейтором был...

— Потому и Гитлер, что самолюбие душило.

— А ты, видать, в генералах ходил!

— Можно сказать и так. Я при политотделе части комсоргом служил. Весь состав подо мной был. До сих пор у прибалтийцев моя служба костью в горле стоит. Не забывают братья сводные...

— Ты же ничего делать не умел, вот и поставили комсоргом, — тоже подначиваю по-приятельски.

Разговор постепенно стал переходить на житейские темы — благо, такими порциями даже четвертинку не сразу осилишь, а зимний вечер долог.

Евсеенко сел на своего любимого конька. Бесконечные рассказы — как попать, полудить, как косу отбить, как землю правильно пахать. Его назидательные монологи отличались хорошим знанием дела. В отличие от меня, Иван был большим охотником помастерить, поточить, построгать. Незаменимый человек по дачному хозяйству: где крышу подлатать, где рамы в окна вставить, где в огороде покопаться. В нем так и виделся простой русский крестьянин, огородник и добытчик. Было видно, что деревня в нем глубоко сидит, свою метку оставила, зарубку

на всю жизнь, несмотря на высокое образование и звание русского писателя. Именно русского, хотя он и был чистейший представитель украинского народа.

В то время, как и теперь, Украина вся на слуху, вся на страхе за свои нелогичные действия. Все эти померанцевые, оранжевые и прочие майданы, вся русофобия «западнцев» так захлестнула страну, так вдолбили народу про заклятых москалей, которые все сало слопали, что даже в русском Харькове можно было услышать фашиствующий призыв: «Москалей на ножи! На ножи!»

И потянуло страну в соблазн распутства. Це — Европа. Це — незалежная. В Европе салом даже сапоги не мажут... Сало будем сами есть. Лучше гирише, но иныше! То есть, пусть хуже, но будем жить по-другому. Чистейшая хохлацкая мольба, упование на перемены. Вот и дождались...

Теперь, когда Украина залила кровью и нелюдью все пространство от Днепра до Буга, я вспоминаю русского украинца писателя Ивана Евсеенко, и тот еще тихий зимний вечер, и его сказ, как на Украине ставят быков в упряжь.

— Ты вот в деревне не жил. Лошадь никогда не запрягал. Не знаешь, как из буйного быка покорного вола делают? Не знаешь, а еще говоришь, что ты сельский человек. Город тебя обокрал вчистую. Помнишь, как писал твой земляк Вячеслав Богданов: «Город, город, что же ты наделал? Ты украл деревню у меня...»

Иван расстегнул куртку, двумя руками огладил бороду, отвалился на спинку кресла. Было видно, что хорошо ему в этом доме, при вечернем свете ламп, при внимательном слушателе.

А его сегодняшний внимательный слушатель жил в тамбовском большом районном центре, где не было колхоза, где село отличалось от города лишь тем, что дома были пониже, а лужи пожиге.

— Вот у нас на Украине как? — продолжает Евсеенко, — растет, растет бычок на воле, травку пощипывает, а как настанет срок — его охолостить надо. Лишить яиц, чтобы мышцы круче были, сильнее. Придет нужный в деревне человек, чиркнет пару раз по мешочкам — и бычок уже в другом качестве. Теперь ему уже не до телок, теперь у него одна дорога — в хомут. А в хомут идти ему не хочется: упирается, рогом землю чертит, из ноздрей пар идет, пена дурная на губах. Тогда что? Запрягают такого бедолагу в сани. А на дворе лето в самом настоящем виде. Жара. Сани загрузят доверху бутовым камнем, плитами бетонными, железом всяким, чтобы сани тяжелее были, и давай этого бычару промеж ног багром ширять. От боли взревет бывший коровий хахаль, пустит струю на землю — и сани сорвутся с места. А в санях тонны полторы груза, а земелька с песочком, а багор у палача острый, а гужи — из сыромятной кожи, не порвать. Вот и прет бычара сани по три-четыре круга вокруг деревни, пока не рухнет на колени. А как упал на колени, так хватит. Так ты уже и не бык вовсе, а настоящий вол — молчаливый и послушный.

...И теперь, слушая про Украину чудовищные вещи, мне вспоминается тот сказ Ивана Евсеенко про горькую долю вола. Гениальная метафора украинского пространства власти.

Царствие тебе Небесное, раб Божий Иван! Земля — пухом! Как говорят у нас на Руси, да и на твоей Украине тоже.

Сергей ПЫЛЁВ,

*писатель, редактор отдела прозы
журнала «Подъём» (Воронеж)*

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Мне в моей жизни очень повезло — не было в ней на близком расстоянии людей неинтересных, незначительных. Но даже среди них Иван Иванович Евсеенко занимает место в моей памяти как один из самых дорогих, незабываемых.

Мы познакомились в конце 70-х годов прошлого века. Я тогда только начинал свое, так сказать, писательство: вышло несколько моих рассказов в коллективных прозаических сборниках, выпущенных Центрально-Черноземным книжным издательством и нашим широко известным в Воронеже и России литературно-художественным журналом «Подъём», возглавляемом тогда замечательным писателем и человеком Виктором Михайловичем Поповым.

Иван Иванович работал в это время заведующим отделом прозы «Подъёма». И был он, как признавало большинство воронежских (и не только воронежских) писателей, человеком на своем месте. Даже более того. Многие мог бы рассказать я о тех добрых и удивительно глубоких замечаниях и советах, которые давал Иван Иванович мне в то время, помогая найти свой путь в литературном пространстве. А начался он с многократного прочтения и разбора чуть ли не по словам прекрасного рассказа еще молодого тогда Ивана Евсеенко «Петька».

А вскоре мне в те далекие восьмидесятые годы прошлого века посчастливилось работать не один год вместе с Иваном Ивановичем в возглавляемом им отделе прозы. Более того, мы, как тогда принято было говорить, подружились семьями: отмечали вместе праздники, ходили по грибы, помогали друг другу в решении тех или иных бытовых проблем. Лично я никого из наших коллег по писательскому цеху не могу поставить рядом с ним в том его деловитом, радостном пристрастии делать многое по дому в основном только своими руками. Разве что высокочтимого Гавриила Троепольского, любившего хотя бы раз в год разобрать на винтики свой любимый автомобиль и все в нем откорректировать, отладить. Одним словом, мастеровитость Ивана Ивановича проявлялась во всем: был он, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Однако прежде всего, он запомнился мне своими глубокими, ответственными и дальновидными мыслями о жизни человека на этой земле, о сути ее, этой жизни, и ее значимости. Так что основной урок, полученный мной от Ивана Ивановича, не касался тайн построения сюжета, стилистического своеобразия и прочих литературных профессиональных составных писательского мастерства. Как масштабная личность, Иван Иванович был особо значителен в осознании глубинных процессов государственных масштабов.

Вначале позволю себе процитировать слова классика русской литературы Валентина Распутина о главном, стержневом смысле прозы Евсеенко:

«Мысли о русской и славянской душе, о ее особенностях и питающих ее корнях невольно приходят в голову, когда читаешь прозу воронежско-

го писателя Ивана Евсеенко. Задумываясь над его героями, убеждаешься в том, что внешние, временные обстоятельства могут ее, душу народную, накренить в ту или иную сторону, но не могут искоренить ее основу, которая в сущности, в главном остается такой же, какой она была и сто, и двести лет назад...»

Подтверждением этому высказыванию Распутина служит взыскательное, масштабное выступление Ивана Ивановича в мае 2004 года в Орле с трибуны XII съезда Союза писателей России. На этом форуме Воронежскую писательскую организацию представляли Виктор Попов, Евгений Новичихин и тогда уже главный редактор журнала «Подъём» Иван Евсеенко.

Итак, цитирую Ивана Ивановича:

«...культура, литература и искусство делаются не в Министерстве культуры, не в комитетах, управлениях и департаментах культуры, а полунищими, полуголодными писателями, художниками и актерами. Ни один здравомыслящий человек не может объяснить, почему чиновник от культуры получает зарплату во много раз выше, чем творец этой культуры?! Так было при советской власти, так, к сожалению, остается и сейчас! И даже во много раз хуже! Русская культура, в том числе и литература, лежат в руинах... А издательские фирмы ориентируются не на издание русской национальной литературы, а на убогие детективы и прочую печатную продукцию разового употребления. И государство смотрит на это сквозь пальцы, как будто ему все равно, что читают, на чем воспитываются, каким героям подражают его подданные, и особенно молодежь.

Государству пора бы, наконец, понять, что русский национальный писатель — человек государственный, и к нему надо относиться как к самому большому государственному достоянию, ведь в своих произведениях, больших и малых, он воссоздает современную ему жизнь, сохраняет для будущих поколений душу современного русского человека, русского народа. Есть ли у нас ценности выше?!»

Надо назвать не иначе как пророческими эти слова Ивана Ивановича. Тяжелая болезнь слишком рано прервала его нарастающую могучую литературную и социальную деятельность. Судьба однозначно выбрала для него путь человека, ратующего за родной народ, за родную литературу. Поэтому от всех нас требуется особая заботливость о созданных Иваном Евсеенко произведениях, чтобы они не затерялись в мутном потоке второсортной дребедени, отравленной прозападным ядовитым либерализмом.

Во все новых и новых произведениях Ивана Евсеенко с нарастающей силой чувствовалось явление таланта классического уровня, личности гениальной масштабности.

Вслушайтесь в великую музыку заглавий лишь некоторых шедевров, созданных рукой этого автора: «Раннею зарею, вечернею порою», «За тридевять земель», «Забытое время», «Заря вечерняя», «Пока печалются колокола», «Затаив дыхание»...

Так что мы каждый день должны спрашивать себя, что нами сделано для того, чтобы произведения Ивана Евсеенко никогда не забывались. В них — душа народная, ее радость и беда.

Святослав РЫБАС,
*писатель, историк,
генеральный директор
Русского биографического института,
главный редактор журнала
«Российский Кто есть Кто» (Москва)*

СВЕТЛЫЙ, НЕСГИБАЕМЫЙ

В августе 1968 года мы стали студентами Литературного института имени А.М. Горького (семинар прозы Сергея Павловича Залыгина). Ивану тогда было 25 лет. Мы все были бедны, непритязательны и верили в свою звезду. Он отличался от большинства тем, что ни в какую звезду не верил, был серьезен и как будто знал что-то особенное. Залыгин относился к нему с большим уважением, даже по-отечески, после выпуска занимался его трудоустройством. Иван был достоин внимания учителя.

Помню, по рекомендации Залыгина редакция «Комсомольской правды» поручила Ивану написать очерк о молодой доярке из Омской области, Герое Социалистического Труда, чтобы по результатам командировки решить вопрос о его штатной работе. Иван задание провалил. Он признался мне, что не может написать парадный очерк, потому что нет для этого никаких оснований. Вопрос о столичной карьере отпал сам собой.

По своему дарованию мой товарищ входил в первую десятку русских прозаиков. О силе характера не говорю.

Мы поддерживали дружеские отношения много лет. Когда-то в издаваемом мной журнале «Российский Кто есть Кто» был о нем большой очерк, из которого приведу несколько строк:

«Иван Евсеенко считает, что во многом живем сейчас в России чичиковых, свидригайловых, капитанов лебядкиных и прочих больших и малых бесов, а надо возвращаться и жить в России Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова. Русскому народу надо обрести утерянное национальное достоинство.

Иван Евсеенко в литературном мире человек одинокий. В любых писательских сообществах, объединениях и клубах он как бы не до конца свой, и все по той простой причине, что безоглядно не подчиняется чужим идеям, не подпадает ни под чье влияние».

Иван всегда был таким.

Сын партизана, расстрелянного немцами в 1943 году, он воспитывался матерью, сельской учительницей. Сегодня невозможно представить, какими трудными были его детство и юность.

В нем ощущался несгибаемый стержень. В своих книгах и в будничной жизни он был человеком нравственным и принципиальным.

Люди такого типа возвышаются над повседневностью, не требуя ничего для себя и наполняя душевным светом наше существование.

Лидия СЫЧЕВА,
*писатель, главный редактор
литературного интернет-журнала
«МОЛОКО»*

ВОИН РУССКОГО СЛОВА

...Мы встречались с ним на вокзале в Воронеже. Выезжая из Калача, я звонила:

— Иван Иванович, здравствуйте!

— Лида! Когда у тебя поезд?

— Давайте так: буду подъезжать к городу, позвоню. А то вдруг автобус сломается или в пробку засядем...

Признаться, я стеснялась его тревожить: заслуженный писатель, в отцы мне годится, а я звоню, отрываю от дел — ну, это ладно, ничего; так он еще и на вокзал ко мне приходит (по статусу положено наоборот). Но с другой стороны, узнав из переписки, что я была в Воронеже и не подала весточки, Евсеенко обижался: мол, «забыла старика» (т.е. «пренебрегаю», зазналась, задрала нос и прочее).

Но вот мы созваниваемся, счастливо встречаемся, Иван Иванович дарит мне новую книгу (как правило, туда входят вещи уже опубликованные в журнале «МОЛОКО», потому они мною читаны), мы сидим в зале ожидания, и у нас есть час или полтора для весьма содержательной беседы — тут и литновости воронежские и московские, и политика, и «славянский вопрос», и — с определенного времени — тема разработки никеля на Черноземье, и судьба русской деревни, и его быт (ему приходилось брать квартирантов — («Лида, кого я только не перевидал!»), и нынешнее писательское сиротство на Руси. Говорим и о Славе Дегтеве (я написала свой очерк о нем, не представляя многих коллизий воронежской жизни, а вот Иван Иванович знал Дегтева хорошо и говорил, что многое из характера угадано мною точно), о Сергее Залыгине (Евсеенко учился у него, а меня Залыгин успел напечатать в «Новом мире»), о Викторе Лихоносове, любимом мною прозаике, которого Иван Иванович сопровождал в поездке по области... Вот такой тесный литературный мир русской традиции, где все связано — общностью миропонимания и тревог: о будущем России, языка, словесности.

Я не уставала удивляться:

— Иван Иванович, Вы так много пишете! У меня не получается...

— Потому что у меня литература — на первом месте. Работаю с утра. Выполню свою «норму» — и дальше живу. И так — каждый день. Пишите, пока молодая, не ждите вдохновения.

Он и в письмах меня наставлял — «больше работайте», и по телефону, и при встречах. Никаких скидок «на слабый пол» — взялся за гуж, не говори, что не дюж. В статьях укорял: «В противовес всем изыскам модернизма и постмодернизма именно на переломе XX и XXI веков громко и талантливо заявила о себе группа молодых писателей, обозначивших себя “новыми реалистами”»: Олег Павлов, Михаил Тарковский, Алексей Варламов, Лидия Сычева, Виктор Никитин, Василий Киляков и многие другие... Ожидалось, что “новые реалисты” после этого первого, вполне заслуженного успеха (наиболее громкий выпал на долю их лидера Олега

Павлова) напишут произведения, которые встанут в один ряд с произведениями их предшественников, писателей фронтового и послефронтового поколений. Пока этого, к сожалению, не случилось или случилось, но не в той мере, в которой ожидалось...»

И, в общем, он прав в своих укорах: ни один из нас, мне кажется, высоты Евсеенко в творчестве пока не достиг. Да, есть хорошие рассказы, повести, статьи и очерки... Но есть и различия. Представим себе, что на месте когда-то шумной дубравы разбит парк: есть декоративные кусты, правильно подстриженные деревья, скамейки, клумбы, тропинки, выложенные «собянинской» плиткой, все вполне «культурно», на уровне. И где-то в углу, на отшибе, уцелело несколько крепких, кражистых дубов; осенью они сорят бронзовым, будто чеканным листом, зимой держат на ветвях охапки снега... Так и творчество отборных советских (по рождению и становлению) писателей отличается от нынешней «полудизайнерской» или «коллажной» литературы; не хватает новым литераторам силы земли, стихийности, мощи, которая дает именно «дубрава» — согласный «зеленый шум» в саду русской словесности...

Евсеенко часто критиковали за многословность и подробность изложения, но теперь, когда он ушел, я думаю: как хорошо, что Иван Иванович был так педантично дотошен в своих описаниях!.. Теперь-то у него ничего не переспросишь, не уточнишь, а он сам позаботился о нас, оставив богатое литературное наследство — потрудившись «за себя и за того парня».

Одна из моих самых любимых вещей у Евсеенко — «Родительский дом». Это, в сущности, мемуары, горький рассказ о послевоенном времени. Про мать, овдовевшую в 22 года, про бабушку Марью и другую деревенскую родню, про председателя и трудности строительства дома — без мужика... Это простое (по форме) повествование наполнено такой потаенной болью, что невозможно сдержать слез, не заплакать сердцем, читая его. Конечно, такая литература, связывающая поколения, либеральным законам в искусстве не нужна — потому что она показывает ничтожность их хозяев — с украденными у народа заводами-пароходами, с гигантскими «зарплатами» и телемогуществом. Не верил Евсеенко в глобализм, укреплял «родительский дом» — Россию — и в прозе, и в публицистике, и в жизни.

А родом он был с Черниговщины, и очень переживал раскол славянского мира, о чем говорил в большой своей работе «Навеки вместе — на века раздельно». Статья написана аж в 2004 году, но все, что мы видим сегодня на Украине, в ней уже есть. И хочется спросить: дорогая (во всех смыслах — и в финансовом тоже) Администрация Президента РФ! И дорогой МИД! И дорогое Россотрудничество! Дорогие наши чиновничьи ведомства, включая ФСБ! Вы эту статью видели?! Ну, хоть сейчас почитайте и сделайте выводы: вот до чего доводит культурное одичание и очарование огромными собачьими будками (которые вы называете виллами); пока вы занимались «частной жизнью», обустройством берегов ницц и прочих заграниц, рядом с Россией разрасталась русофобская зараза, а ныне мы — русские и украинцы — оплачиваем кровью вашу «халатность»... И неслучайно — ничего случайного в осмысленной жизни вообще не бывает — именно Иван Евсеенко помог в литературном становлении молодому автору с Луганщины Глебу Боброву — тому самому, что за несколько лет до

нынешних событий в романе «Эпоха мертворожденных» предсказал гражданскую войну на Донбассе. И снова — писательское пророчество не было услышано.

А Глеб Бобров, скорбя об учителе, цитирует давний рассказ Ивана Евсеенко: «Ты что, думаешь, в будущем невозможны новые концлагеря, новые Освенцимы и Бухенвальды, новые распятия, новые расстрелы и поголовное истребление ни в чем не повинных людей?! Еще как возможны! Человеческие страдания забываются через два поколения. О войне помним мы — ее участники, да вы, родившиеся в войну, а последующие поколения все предадут забвению и готовы уже будут воевать заново. Попомнишь мое слово...» Пятнадцать лет прошло с того момента, как был написан рассказ «Каратели», и мы уже наблюдаем воочию исполнение этого пророчества. Что дальше?! Страшно и подумывать...

В Воронеже Иван Евсеенко жил с давних пор. Он вел как главный редактор журнал «Подъём» (именно при нем я впервые напечаталась на родине!); он много сделал для укоренения русской литературной традиции в этих краях, он, в конце концов, на сегодняшний день был самым именитым писателем в городе. Но я ни разу не слышала, чтобы его прозу, например, инсценировали на сцене местных театров...

Что ж, Иван Иванович Евсеенко прожил достойную жизнь, много написал хорошего и нужного и, действительно, имел полное право повторить вслед за Некрасовым: «Я лиру посвятил народу своему». Вечная память достойному гражданину, воину русского слова, патриоту и человеку! Да будет так!

Иван ЩЁЛОКОВ,

*главный редактор журнала «Подъём»,
председатель правления
регионального отделения
Союза писателей России (Воронеж)*

СЕРДЦЕ-КОЛОКОЛ

Мое житейское и творческое сближение с Иваном Ивановичем состоялось не сразу, оно растянулось на многие годы. Будто бы вызревало, подготавливалось к чему-то большему, чем сиюминутно-конъюнктурные контакты. У меня, журналиста-газетчика из «Молодого коммунара» и начинающего стихотворца, в те далекие 80-е годы не было необходимости знакомиться с «подъемовским» прозаиком. Я достаточно часто общался с его коллегами, поэтами старшего поколения — В.В. Будаковым, Е.Г. Новичихиным, С.Н. Никулиным, А.А. Ионкиным, В.И. Самойловым, а также с критиком В.В. Семеновым, по просьбе которого даже готовил литературно-критические статьи о поэзии Юрия Кузнецова и тамбовского прозаика Виктора Герасина. Писатели были авторами «молодежки», регулярно приносили в газету свои стихи или статьи. В свою очередь я тоже изредка заглядывал в «Подъём». Возможно, кто-то из этих старших товарищей и знакомил меня тогда с И.И. Евсеенко. Помню сумрачное помещение, в котором за письменным столом с горкой бумаг сидел крупный, крепко сложен-

ный физически бородатый мужик, острый на язык, готовый в любой момент правду-матку рубануть. К такому, казалось мне, запросто не подойдешь, не протянешь с робостью начинающего автора тетрадку со стишками из опасений услышать в ответ жесткое откровение о своих опусах.

Тем не менее, мое плавное погружение в атмосферу «Подъёма» уже началось. В февральском номере журнала за 1986 год вышла моя первая публикация. Она никакого отношения к поэзии не имела. Это был очерк «Сто дорог к дому» с характерным для советских времен подзаголовком «Об Анатолии Ивановиче Петренко, председателе колхоза “40 лет Октября” Острогожского района Воронежской области». Да и появился материал не по моей инициативе, а при настойчивой просьбе Валерия Михайловича Барабашова, заведовавшего тогда в «Подъёме» публицистикой. Был год очередного съезда КПСС, в прессе, на телевидении и радио требовались публикации про молодежные производственные коллективы и их локальные экономические показатели. Профанация, конечно, была полная: экономика и есть экономика, она не может быть половозрастной или еще какой-либо. Но партия сказала: надо! Вот мы, журналисты «молодежки», и выискивали по области адреса коллективов, где по возрасту трудились как бы комсомольцы, а значит, их экономика должна была отличаться от всей остальной, «взрослой» экономики, своей нравственной чистотой, крепким общественным здоровьем и историческим оптимизмом. Так что про молодежные производственные коллективы в аграрном и промышленном производстве я писал часто и много. Даже когда перестал заведовать отделом рабочей и сельской молодежи и перешел на место ответственного секретаря редакции, мой блокнот по-прежнему был набит именами земляков — трактористов, комбайнеров, слесарей, токарей, агрономов, инженеров, руководителей колхозов, совхозов, строительных и промышленных предприятий, а также множеством интересовавших газету событий, сведений и фактов. Со многими героями своих статей и очерков я по-прежнему поддерживал дружеские контакты и был в курсе их трудовой и общественной деятельности. На этом В.М. Барабашов, видимо, и сыграл.

— Ваня, — поинтересовался он по телефону, — а у вас не найдется для «Подъёма» что-нибудь про комсомольско-молодежные коллективы?

— Совсем новенького не найдется, — признался я честно.

— Это ничего. Главное, ваши герои живы-здоровы, делом своим занимаются, — заметил он, выстраивая логику соблазнения. — В основе их работы лежит экономика, эффективность труда. Вы же цифрами апеллировали наверняка, когда про ребят писали. Что-то с чем-то сравнивали, делали выводы...

— Ну да, безусловно, — соглашался я.

— А не могли бы вы поразмышлять для журнала над темой молодежных коллективов, над экономикой производственных бригад, звеньев, хозяйств? — поинтересовался он. — Проще говоря, переделать свои прошлые газетные материалы на размышления автора под формат «толстого» журнала. Сами понимаете, это ведь не газета. Здесь все должно быть объемно, аргументированно, глубоко по смыслу, с расчетом на интерес читателя, который проживает в разных уголках страны... Можно, например, раскрыть тему через портрет современного молодого руководителя:

его стиль, подход к делу, увлеченность, профессионализм... Почувствуйте себя писателем!

И я рискнул, согласился поразмышлять для «Подъёма».

А вскоре и еще раз...

Уже в седьмом номере за все тот же 1986 год был опубликован мой новый материал «Владелец волчьих тайн», в котором я рассказывал о замечательном воронежском ученом Льве Серафимовиче Рябове. Он был признанным в стране специалистом-волчатником. Посвятил изучению поведения и привычек этого таинственного зверя всю свою жизнь. Заведовал заповедником на Кавказе, затем трудился в Хоперском заповеднике, а впоследствии преподавал в Воронежском государственном университете.

В 1988 году, в мартовском номере, была напечатана даже такая экзотическая по форме и конъюнктурная по содержанию вещица, как публицистически обработанная запись прямой телефонной линии. Она так и называлась — «Диалог. О диалоге райкома комсомола с молодежью Эртильского района». Новый жанр входил в моду, и мода, как видим, добралась и до «толстых» журналов.

Зато в 1990 году журнал впервые (и похвастаюсь: дважды!) напечатал мои стихи — в пятом и девятом номерах. Это и был, можно сказать, мой волшебный случай закрепиться в «Подъёме» уже как автору поэтических произведений, чему в немалой степени способствовали главный редактор Е.Г. Новичихин и заведующий отделом поэзии С.Н. Никулин. К тому сроку я уже почти три года руководил газетой «Молодой коммунар». С Иваном Ивановичем Евсеенко наши контакты оставались примерно такими же — эпизодическими. Но мне уже казалось, что теперь он на меня смотрит с более дружеским расположением и как на молодого коллегу. Иногда это давало нам повод за недолгими разговорами о насущном в жизни и русской литературе пропустить рюмочку водки в очень узком кругу.

1991 год стал для меня во многих смыслах определяющим. Страна с горбачевскими реформами окончательно катилась в пропасть. В августе случился путч, названный ГКЧП. Ощущение тревоги и возможной трагедии буквально витали в обществе. Все это не могло не повлиять на содержание моих стихов, на эмоционально-публицистический строй молодых и горячих строк. Я писал много и лихорадочно, стихи складывал в красную папку на завязках, которую бережно хранил в нижнем ящике большого редакторского стола, лишь единожды позволив себе напечатать из нее в родном «Молодом коммунаре» лирическо-публицистический цикл «Звезда Водолея».

И вот в такие послепутчевские тревожные мгновения ко мне неожиданно заглянул поэт Виктор Самойлов, стихи которого регулярно публиковали в газете. Мы были знакомы давно — еще с середины 70-х годов прошлого века. По приглашению моего бывшего школьного учителя Анатолия Петровича Гатицкого, работавшего в те годы в новосеманской районной газете «Путь Ленина» заведующим отделом, я, студент-филолог, иногда ездил из Воронежа на заседания литобъединения в местную редакцию. Виктор Иванович Самойлов постоянно участвовал в работе поэтического клуба, можно сказать, был наставником. С тех пор он с интересом следил за моими стихотворными опытами.

Во время разговора Виктор Иванович поинтересовался:

— Скажи, продолжаешь писать?

Я утвердительно кивнул головой.

— Можешь показать? — вежливо попросил он.

— Да вон, в папке, в столе, — открыл я нижний ящик и вытащил пухлую красную папку с завязками.

— Позволишь с собой взять? Хочу почитать...

— Нет вопросов — берите!

За редакционной суетой я тут же забыл про отданную Самойлову папку.

Недели через две или три звонит мне поэт Анатолий Ионкин и чуть не благим матом кричит в телефонную трубку:

— Да как ты мог... скрывать от меня... лучшего поэта Воронежа... Я, Витя Самойлов и Валентин Семенов... уже написали рекомендации... на издание твоего сборника... Приезжай срочно на Плехановскую, 3 (там до 2006 года, как и журнал «Подъём», размещалась Воронежская областная писательская организация — *прим. авт.*)... забирай... и к Толику Свиридову... пусть ставит в план издательства... А сам рукопись готовь... Мы отметили стихи, какие нам понравились... У всех по-разному... А ты отбирай, что самому нравится... Не слушай нас, старых дураков...

В советское время молодой автор без рекомендаций членов Союза писателей СССР не мог издать свою книгу. Такова была повсеместная практика. И в этом был резон — халтура и откровенная графомания не прокатывали и не просачивались к читателям.

Анатолий Николаевич Свиридов, директор Центрально-Черноземного книжного издательства, бегло пробежал по рекомендациям, согласился издать сборник моих стихотворений. Пригласил к себе Людмилу Петровну Бахареву и попросил ее быть редактором моей книжки. По договору сборник планировали выпустить тиражом две тысячи экземпляров, а также выплатить гонорар в размере пяти тысяч рублей. От такой суммы у меня чуть не закружилась голова: как редактор «молодежки» я получал 800 рублей в месяц. Весь остаток года ушел на подготовку рукописи. Правил и переделывал стихи под жестким руководством Л.П. Бахаревой. «А эту фигню выброси!» — ворчала она, тыкая в текст не нравившегося ей стихотворения указательным и средним пальцами, которые одновременно крепко удерживали дымившуюся «беломорину». За это время рухнул Советский Союз, а уже 8 января 1992 года я был утвержден на должность председателя комитета по печати и информации администрации области. В апреле рукопись сдали в набор и только в декабре — в печать. А.Н. Свиридов накануне позвонил мне, извинился за обстоятельства и огорошил: дела в издательстве неважные, сборник выйдет на газетной бумаге тиражом в одну тысячу экземпляров, а с обещанным гонораром вообще не получится — нет денег. В начале 1993 года я получил авторские экземпляры отпечатанного тиража и радовался, как ребенок, забыв про злополучный гонорар. Первым делом сбегал в журнал «Подъём» и писательскую организацию и подарил книжку почти всем, кто там был. Некоторые писатели вскоре стали предлагать мне вступить в Союз. Я очень долго колебался. Останавливало сомнение, что вдруг не оправдаю ожиданий рекомендуемых и самого себя: сегодня пишу, а завтра, мало ли что, брошу, не смогу... Забегая вперед, признаюсь: тягомотина со вступлением-невступлением тянулась аж до 1997 года. В конце концов,

я внутренне созрел к такому ответственному для себя шагу. Приемная комиссия в Москве подтвердила решение собрания воронежской писательской организации по моей кандидатуре, и вскоре мне вручили писательский билет за подписью самого С.М. Михалкова.

В январе 1993 года Е.Г. Новичихин перешел на должность директора литературного музея имени И.С. Никитина. Наступили трудные времена для «Подъема». Вулканические страсти в коллективе бушевали несколько лет. Журнал, оформленный в статусе малого предприятия, стал банкротом, фискальные органы готовили его закрытие. Но тут вновь и вовремя на выручку пришел Евгений Григорьевич. Это был 1997 год. Е.Г. Новичихин возглавлял комитет по культуре администрации области. Он обратился за помощью к главе администрации Воронежской области Ивану Михайловичу Шабанову. Тот откликнулся на просьбу писателей. Было подписано распоряжение о создании на базе журнала «Подъем» государственного учреждения культуры с финансированием из областного бюджета. Директором учреждения комитет по культуре назначил А.А. Голубева, а главным редактором — И.И. Евсеенко.

Так началась другая жизнь и у журнала «Подъем», и у его нового главного редактора и талантливого прозаика И. И. Евсеенко.

С того же времени, можно сказать, начинается и новый этап моего сближения с Иваном Ивановичем.

Весной 1998 года глава администрации области И.М. Шабанов встречался с руководителями областных и районных газет, радио и телевидения, собственными корреспондентами центральных газет, издателями. Участники встречи, не сговариваясь, в один голос стали просить его учредить премию по журналистике и книгоизданию. Заодно прозвучало предложение помочь со стороны власти в выпуске книг воронежских писателей. Иван Михайлович охотно поддержал обе идеи. Областной премией и книгоиздательской программой поручили заниматься непосредственно мне как председателю комитета по делам СМИ и полиграфии. Мы создали при нашем комитете областной совет по книгоизданию. В него вошли чиновники некоторых ведомств, а также издатели, ученые, библиотекари, писатели, краеведы. В начале нулевых годов совет пополнился кандидатурой Ивана Ивановича Евсеенко. Писатель сразу стал одной из ключевых фигур в общественной структуре. Во-первых, как главный редактор он находился в гуще российского литературного процесса, обладал широким кругозором в мире словесности, хорошо знал воронежских писателей и мог оценить степень талантливости каждого из них. Во-вторых, имел четкую, порой даже жесткую позицию по месту и роли русской литературы в жизни народа и истории страны в разные ее периоды. А желающих потоптаться и попиариться, выражаясь современным языком, на этой щекотливой теме было предостаточно. В-третьих, сам он был ярким, узнаваемым прозаиком, его имя звучало в русской литературе. Писателя публиковали столичные «толстые» журналы. Он получал престижные литературные премии. Мнение И.И. Евсеенко было весомо, авторитетно и на страницах местных и центральных газет, в которых он довольно часто выступал с публицистическими статьями. Иметь в совете по книгоизданию неустрашимого борца с фальшью и бездарностью было полезно, выгодно и продуктивно. С таким именем, как И.И. Евсеенко, нам легче было сопротивляться графоманам всех мастей. А многие из

них нагло обивали пороги комитета по делам СМИ и полиграфии: творцов невиданных доселе «шедевров» ой как манила бюджетная халяга! Выступления Ивана Ивановича на заседаниях совета всегда отличались самобытностью. Они были нередко категоричны и бескомпромиссны. Не всем нравилось. Не со всеми его высказываниями соглашался и я. А главное, у меня уже было понимание: издание книг местных авторов редко когда обходится без интриг и обид.

Кстати, членам совета по книгоизданию не запрещалось подавать заявки и на выпуск личных книг. При этом вводились ограничения по срокам, чтобы не было соблазна издаваться ежегодно или через раз.

За десять лет моего кураторства над книгоиздательской программой Иван Иванович воспользовался этим правом единственный раз. В 2008 году вышла книга его повестей и рассказов «Пока печалются колокола» — внушительный по объему сборник.

Извечная головная боль для чиновника — дефицит свободного времени, и, тем не менее, евсеенковские «Колокола...» не отпускали, очень хотелось почитать. В чем причина, я до сих пор не понимаю. Может, ностальгировало студенческое: помните, Хемингуэй, его знаменитый роман «По ком звонит колокол»... А тут вот и у Евсеенко — тоже колокол, верней, колокола. И пусть они не звонят, а печалются, но велика ли разница! И в одном, и в другом случае — будто вечность сквозит. А что может быть для человека загадочнее, притягательнее! К постижению вечного каждый из нас идет всю свою жизнь в надежде прикоснуться к великой тайне бытия. В 80-е годы минувшего века я уже пытался читать прозу Ивана Евсеенко на страницах «Подъёма». Но, если честно, не легло, не забрало. Наверное, препятствовали литературные авторитеты — Василий Белов, Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Борис Можаев, очеркист Иван Васильев и другие писатели-деревенщики. Мне казалось, сказать что-то новое в этой теме уже не получится, да и деревня, та милая советская деревня, почти вымерла. Конечно же, по молодости я ошибался. А понял это позже, когда в 2011 году познакомился с Борисом Екимовым, кто уже в новой российской действительности заставил обратить на себя взор читателей и критики как на блестящего прозаика, пишущего на современные деревенские темы... И вот прошли годы, и вдруг — колокола, которые почему-то печалются. С «Колоколов...» я и начал заново открывать для себя прозу И.И. Евсеенко. Потом были «Ветряные мельницы», далее — «Сарабанда», «Седьмая картина», «Смертный час», «Фатерланд»... Ощущение было — нет, не восторга, скорей — ошеломления. Я проглатывал страницу за страницей — что-то необъяснимое волновало, беспокоило, совестило, мучило. И было стыдно, горько — за себя, за героев этой книги: они по воле писателя приходили к тебе и приоткрывали правду, которую ты просто не знал, или не понимал, или обходил ее стороной. Писатель как бы сигнализировал: мы, русские люди, теряем себя, теряем страну. Поклоняемся чужим идолам. Суть подменяем фантаками либо упаковками из маркетов. Мы глумимся над своей историей, стесняемся ее. Наконец, мы привыкаем к духовной и моральной ущербности. В наши открытые, доверчивые души врываются коварные ветры с чужбины, чтоб остудить нас и обескровить...

В один из августовских дней 2008 года мне позвонил Иван Иванович и напросился в гости.

— Книгу надо обмыть, — вошел он в кабинет, спокойно выложил на

приставной столик бутылку и снедь. — Не побрезгуй: все свое, — заметил он. — Сало сам солил, горилку лично гнал, как у нас на Черниговщине, картофель, овощи и зелень — с дачи, ну а яйца и хлеб, понятно, — из магазина.

Я поначалу отнекивался: разгар рабочего дня, срочные дела, но в какой-то момент понял — важно не перейти черту, чтобы не обидеть.

— Ну, разве по рюмке за вашу чудесную книгу!

— Вот именно! По рюмке...

Рюмкой дело не ограничилось. Иван Иванович — собеседник глубокий, неторопливый. Говорили о жизни, литературе, политике, Боге и безбожии... За неспешной беседой два с лишним часа пролетели как одно мгновение. И только пустая бутылка из-под самогона откровенно намекала, что пора бы и заканчивать.

Наутро голова моя была не совсем свежей, но задушевность вчерашней беседы перевешивала последствия небольшого похмелья. Это был наш первый большой разговор за все годы знакомства и без присутствия посторонних лиц. Наверное, он был важен для совестливой души И.И. Евсеенко, и таким образом он выразил благодарность за то, что я поддержал его книгу. Но еще важнее встреча оказалась для меня: она дала мне возможность почувствовать личность написавшего «Пока печалятся колокола», как говорится, вживую. Сомнения отпали: И.И. Евсеенко — большой самобытный русский прозаик, крупный мыслитель и личность. Его проза 90-х и последующих 2000-х годов вплоть до кончины — вершина творческого мастерства автора. Его писательское зрение в этот период обретает невероятную фантастическую проницательность. Писатель предчувствовал: в современном глобалистском мире мораль и ее «дети» — честь, достоинство, стыд, совесть — больше не ценность. Нравственное разложение в постмодернистском обществе — прямая дорога в пропасть. Пророческое сердце писателя стало для русской души, подвергшейся ужасающему цивилизационному вызову, вечным колоколом, чтобы, печалась, спасать. И до сих пор это сердце-колокол бьет в набат, тревожится и щемит, как и тогда, предупреждая о нарастающей беде.

А повод для подобных мыслей у писателя был. Уроженец сельской провинции Черниговской области Украины и патриот Воронежского края, И.И. Евсеенко всякий раз после очередного посещения малой родины возвращался в столицу Черноземья морально подавленным, духовно опустошенным. Что такого могло произойти там, где он родился, ходил в школу, имел друзей и близких, чтобы за считанные годы его дорогие земляки, как и большинство украинцев, стали жертвами чужих игр, утратили национальную и житейскую самоидентичность, заместили здравый смысл завистью, злобой и ненавистью? Может быть, еще и поэтому в последних повестях автора так много горечи и обескураженности. В сюжетах произведений герои автора оказываются на родине отцов, но не находят себя там. Не просто так именно в эти годы И.И. Евсеенко, писатель-реалист по своей природной сути, прибегает к использованию в текстах фантазийных элементов, картин сновидений и необъяснимых разуму превращений, будто тень самого Гоголя в минуты творческих мук дежурила за спиной автора. Главные герои повестей автора испытывают пространственно-временную дезориентацию, теряют ощущение внутренней цельности, гражданской и социально-духовной востребованности. В поведении и

поступках действующих лиц царят растерянность и душевная зыбкость.

Эти главенствующие интонации легко прочитываются в повестях и рассказах писателя «Пока печалятся колокола», «Сарабанда», «Раннею зарею, вечернею порою...», «Затаив дыхание», «Петр и Февронья», «Поющие пески», «Трясина», «Дмитриевская суббота» и многих других. Лично для меня эти, кстати, небольшие по объему лирико-философские произведения — самые что ни на есть повести-плачи, повести-сигналы, повести-предупреждения о подстерегающей нас беде. Их жанровые особенности, думается, наиболее удачно передают авторскую цель — говорить с читателем открыто и честно, как с Богом. И как тут не восхититься мастерством и философским символизмом автора, читая, например, повесть «Раннею зарею, вечернею порою...»! Образ живенького, радостного красавца-жеребенка — это же некая новая молодая страна, родившаяся на руинах Советского Союза. Для кого-то — Россия, для автора, возможно, — Украина. Не суть важно. Важно, что этот милый резвый жеребенок — людская надежда на возрождение. Но вот явились современные кровавые «конекрады» и лишили нас этой надежды... Или вспомним повесть «Трясина». Буренка, корова-молочница, кормившая семью, вдруг попадает в беду — топнет в болоте. Жители бегают, суетятся, ссорятся. Кругом хаос и растерянность. И никто в этой неразберихе не может вызволить бедное животное из трясины... Разве эта буренка — не метафора страны, тонущей в болоте воровства, продажности и духовной тщеты?

Вместе с автором мы проживаем минуты горечи и вопрошания: где же он, выход, из всего сложившегося? Где Божий суд? Куда идти? На что, на кого опираться? Не в лобовую, не плакатно, а через тончайшие художественно-психологические тропы своих сюжетов писатель, почти по Достоевскому, подводит нас к единственной в таких ситуациях логической необходимости — к нравственному самоочищению, обращению к своим родовым корням, вековой мудрости народа и предшествующих поколений. Хочешь освободиться от наносного, чужеродного — обустрой себя и окружающий мир по божьей справедливости и благоразумию, соедини общее и отдельное в одно неразрывное, единое, что и называется народом...

2009 год стал годом больших перемен. Иван Иванович получил престижную в российской писательской среде Шукшинскую премию. Я готовился к уходу с государственной службы — власть в области поменялась. После отставки мне предложили должность директора — главного редактора журнала «Подъём». О том, что И.И. Евсеенко здесь под запретом уже не один год, я узнал случайно и с нескрываемым удивлением. Сотрудники редакции с намеком кивали головами в сторону бывшего директора-главреда: это все, мол, его проделки. Немного разобравшись в текущих журнальных делах, я позвонил Ивану Ивановичу и предложил напечататься. По тончайшим нюансам короткого телефонного общения понял: он рад.

Так после долго молчания на страницах его родного «Подъёма», которому были отданы годы и годы работы и из которого в 2006 году его незаслуженно и насильственно выдворили в результате кляуз, сплетен и интриг, одна за другой появились повести автора: «Раннею зарею, вечернею порою...» (2011), «Затаив дыханье» (2012), «Петр и Феронья» (2013). В 2013 году И.И. Евсеенко стал лауреатом премии журнала «Подъём»

«Родная речь» в номинации «Проза». К тому времени писателю уже нездоровилось. Он торопился: замыслов было много, а сил оставалось все меньше.

Примерно за год до своей кончины Иван Иванович пришел в редакцию. Присел на стул, достал папку и протянул ее мне:

— Оставь у себя, — попросил он. — Это рукописи повестей и рассказов. Они не публиковались. Пусть будут у тебя, мало ли что...

— Не переживайте, Иван Иванович, все будет нормально.

Это была наша последняя встреча.

После смерти писателя все, что он оставил нам в папке в качестве своеобразного творческого завещания, решили обязательно опубликовать. Мнение было единодушное и у меня, и у моего заместителя Вячеслава Дмитриевича Лютого, и у ответственного секретаря Владимира Евгеньевича Новохатского, и у редактора прозы Виктора Николаевича Никитина, которым, к слову сказать, Иван Иванович гордился как своим лучшим учеником, а тот по праву почитал Евсеенко своим главным учителем.

Обещание, данное тогда себе, мы сдержали, ежегодно публикуя по одному произведению автора из оставленной им в редакции папки.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Марина КРАСНЯКОВА,

*кандидат филологических наук
(Воронеж)*

РУССКАЯ ДУША В ПРОЗЕ ИВАНА ЕВСЕЕНКО

Начальной точкой жизни и творчества известного воронежского писателя Ивана Ивановича Евсеенко (1943–2014) стала Великая Отечественная война. Многие стихотворения, рассказы и повести автора посвящены людям, пережившим то время. В них — осмысление трагических для Родины событий, затронувших каждого, интерес к внутренней жизни своих ровесников, «детей войны», религиозно-философские поиски.

Первые стихи Ивана Евсеенко появились в печати в 1961 году, в 1980–90-х вышли в свет небольшие рассказы и повести, написанные в духе и стиле «деревенской» прозы: «Одноворец Калашников» (1987), «Петушине дворики» (1990), «Ветряные мельницы» (1992). В цикле повестей под объединяющим названием «Большая беда» (2002–03) писатель пытается соединить, казалось бы, несовместимое: сатирическое начало с началом лирико-эпическим. Вступление в XXI век знаменует для Евсеенко новый творческий этап: он осознает православие как основу души русского человека. Наиболее заметны в этом ряду повести «Паломник» (2002) и «Отшельник» (2004).

Красота русской православной души открывается читателям в образе главного героя повести «Паломник», бывшего фронтовика Николая

Петровича. В начале повествования он принимает решение направиться в Киево-Печерскую лавру для поклонения святыням. Автор повести выбирает традиционный для русской литературы паломнический сюжет, для которого характерен мотив чуда. На паломничество Николай Петрович решается не сам, а после видения чудесного старца, явившегося герою, чтобы возвестить о необходимости помолиться в Киево-Печерской лавре. Поступок его выглядит неожиданным: жил почти восемьдесят лет, не совершив паломнической поездки даже к ближайшим святыням, редко молился и перед домашними иконами, «будучи по жизни своей человеком не очень-то и богомольным». Писатель показывает нам, как самые главные поступки в нашей жизни происходят с Божьей помощью. Мотив чуда помогает автору дать мотивировку дальнейшим поступкам персонажа.

В повести изображена палитра человеческих характеров и судеб. Николай Петрович встречает на своем пути совершенно разных людей: и тех, кто ему помогает и жалеет, и тех, кто обворовывает и отнимает даже сапоги, заставляя его идти босым по мартовской, не согревшейся еще земле. Думая о каждом из них, герой принимает решение истинно православного человека — помолиться о всякой душе, даже если она причинила ему зло. Тем самым герой исполняет слова Нагорной проповеди Христа: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...»

Николай Петрович сталкивается с серьезным испытанием в пути. На одной из станций, в ожидании киевского поезда, он знакомится с двумя мужчинами «в ссадинах и подтеках, в поношенных и во многих местах порванных пальто и донельзя прокуренных и пропитых». Они предлагают ему организовать общее застолье. Пожалев их, Николай Петрович делится хлебом и салом, соглашается выпить с ними водки. Паломник воспринимает новых знакомых как «просто несчастных и самых заблудших из всех заблудших» и по чистоте своей души не ждет от них никакого зла или обмана. Неслучайно новых знакомых зовут Симон и Павел — это имена первоверховных апостолов, которые последовали за Христом, проповедовали Слово Божие и приняли мученическую смерть за веру.

Символичен отказ Симона и Павла идти с Николаем Петровичем в Киево-Печерскую лавру: «Там своих ребят хватает, нам не прокормиться». Автор показывает, как современный человек далек от христианского восприятия святыни. Для нынешних Симона и Павла храм лишь место, где можно просить милостыню. При расставании они, помогая хмельному Николаю Петровичу застегнуть пиджак и телогрейку, забрали у него документы и деньги, оказываясь на деле неблагодарными и нераскаявшимися разбойниками. Однако герой все же принимает решение идти дальше.

Другая встреча в пути также символична. Недалеко от украинской границы, которую Николай Петрович преодолевает пешком, он встречает одиноко сидящего на скамье возле дома старика и решает завести с ним разговор. Их судьбы во многом схожи: примерно одного возраста, оба бывшие фронтовики, страдающие от схожих болезненных приступов удушья. Старик, в прошлом бравый моряк, сейчас вызывает у собеседника жалость: «он сидел на лавочке в стоптанных негреющих валенках, в кожухе с чужого плеча, в шапке с чужой головы и ждал и жаж-

дал скорой смерти». Он прямо заявляет Николаю Петровичу, что к вечеру умрет. Паломник видит безрадостную старость «последнего здесь фронтовика», его отчаяние. Старик предлагает выпить за свою смерть, так как «больше не за что». Еще страшнее для Николая Петровича звучит запретительная просьба-приказ умирающего: «Ты за меня не молись... потому, что крови на мне много... вражеская кровь что, не человеческая?»

Старик, оглядываясь на прожитую жизнь, оценивает ее как напрасно прожитую. И герой понимает, что без искренней веры в милосердие Божие, без надежды на прощение, без молитвы жизнь действительно может показаться лишенной смысла. Уже на украинской стороне, услышав удары колокола, возвещающие о смерти непреклонно старика, Николай Петрович, презрев запретительные слова, молится за него и еще больше укрепляется в правильности и необходимости своего пути.

В финальной части повести происходит «второе рождение» героя, которое связано с действием Святого Духа, ощущаемого паломником в конце своего длинного и трудного пути на пороге храма Киево-Печерской лавры: «... чувствовал, как Божья благодать овладевает всем его существом, оставляя в живых одну только его душу». Не случайно успешное паломничество к киевским святыням, увенчавшееся молитвой, совпадает с концом его жизненного пути. Повесть можно прочитать как развернутую сюжетную метафору: жизнь всякого человека — паломничество к святыням. При этом автор достаточно прямолинейно указывает на две дороги: к Богу через покаяние и молитву (путь Николая Петровича) и от Бога, без покаяния и без молитвы (путь умершего старика). Николай Петрович тоже умирает, но этому предшествует духовное перерождение. Жизнь Николая Петровича убеждает читателя, по мысли автора, что прийти к Богу никогда не поздно.

Интересно обратить внимание на изображение пространства и времени в повести. Во многом они традиционны для паломнического сюжета. В художественном тексте сосуществуют одновременно три пространственно-временных пласта.

Первый из них связан с реальным местом и временем пребывания героя. Николай Петрович движется от родной деревни Малые Волошки до святынь Киево-Печерской лавры. Поскольку герой — почти восьмидесятилетний участник Великой Отечественной войны, на которую попал совсем молодым человеком, мы предполагаем реальное время повести — рубеж XX и XXI веков.

Второй пространственно-временной пласт связан с хронотопом Великой Отечественной войны. Бывший фронтовик, шагая с посошком по дороге к вокзалу, перемещается из одной реальности в другую: «И тут же Николаю Петровичу начинало чудиться, что это вовсе не рябиновый посошок, а винтовка-трехлинейка... и что идет он не один, а рядом с товарищами по пехотному взводу и роте к новому месту дислокации».

Реальное пространство и время на протяжении всего паломнического пути героя сосуществует с пространством и временем войны. Николай Петрович одновременно совершает паломничество к великим святыням и готовится к тяжелому бою. Чем ближе герой к Киеву, тем ближе он со своим взводом к месту решающего сражения: «по левой стороне обочины

шагает его пехотный фронтовой взвод... впереди взвод ждет смертельный бой, от которого зависит исход всего затеянного на неохватном пространстве сражения с врагом».

Возникает мотив борьбы, сражения, которое предстоит главному герою. Бой этот уже не с фашистами, а с врагом невидимым, бесплотным, который не желает его приближения к святыням: «Чем ближе Николай Петрович подходил к Лавре... все тело наливалось какой-то неподъемной тяжестью, ноги совсем не слушались, голова затуманилась... волей-неволей пришлось часто останавливаться». Одержав победу над фашистами много лет назад, он с помощью молитвы одерживает победу над своим бессилием, над своей греховной сущностью и здесь, у ворот храма.

Третий пространственно-временной пласт сакрализован и связан, прежде всего, с видениями седого старца, который ведет героя к святыням. Реальное время отходит на задний план: «времени во сне Николай Петрович не осознавал». Оказавшись на берегу Днепра, он решает искупаться. Герой воспринимает окружающее его пространство так, как воспринимали его много веков назад первые крестившиеся в этих водах славяне: «Николай Петрович легко и неощутимо заходил все глубже и глубже, как когда-то заходили в эту реку еще языческие люди для принятия новой, христианской веры».

Действие в повести начинается в пятницу на Пасхальной неделе, а заканчивается накануне празднования 9 Мая. В финале три пространственно-временных пласта сливаются воедино. 9 Мая — День Победы над врагом и Пасха — День Воскресения и Победы Иисуса Христа над смертью растворяются в реальном времени героя, одержавшего свою духовную победу.

Валентин Распутин очень тонко подметил главную особенность творчества воронежского автора: «Мысли о русской и славянской душе, о ее особенностях и питающих ее корнях невольно приходят в голову, когда читаешь прозу воронежского писателя Ивана Евсеенко. Задумываясь над его героями, над их сознательными и бессознательными поступками и над тем, когда, в какой грани сознательное переходит в бессознательное, размышляя о жизни этих героев в природном и вещественном мире, еще раз с удовольствием, словно это не литература, а бесспорное доказательство, убеждаешься в том, что внешние, временные обстоятельства могут ее, душу народную, накрепко в ту или иную сторону, но не могут искоренить ее основу, которая, в сущности, в главном остается такой же, какой она была и сто и двести лет назад и какой, шлифуясь по пути, продолжается она для конечных целей».



Иван
ЕВСЕЕНКО
Сердце-колокол

СОДЕРЖАНИЕ

П О Ю Щ И Е П Е С К И .

Повести и рассказы последних лет

Затаив дыхание... <i>Повесть</i>	4
Не вечерняя заря спотухала. <i>Повесть</i>	44
Поющие пески. <i>Повесть</i>	71
Работник. <i>Повесть</i>	126
Петр и Февронья. <i>Повесть</i>	178
Нетленный солдат. <i>Рассказ</i>	266
Раннюю зарю, вечернею порою. <i>Повесть</i>	293
Трясина. <i>Повесть</i>	342
Дмитриевская суббота. <i>Повесть</i>	380
Рассказы из цикла «Трагедии нашего времени»	422

Ж И В Я Я П А М Я Т Ь .

Воспоминания друзей, коллег и близких

Григорий Блехман. Писатель. Организатор. Гражданин	449
Глеб Бобров. Уйдут от нас учителя... ..	452
Виктор Будаков. Слово правды и надежды	453
Наталья Гребенникова. Несостоявшаяся встреча	458
Иван Евсеенко-младший. 1. Время сажать березы	459
2. Стезя, которую нужно заслужить	462
Виталий Жихарев. Вспоминаю с замиранием сердца... ..	465
Марьяна Зубавина. Соратник по забытому времени	475

<i>Светлана Карабут</i> . Для него не было понятий «пишется» или «не пишется»	476
<i>Вячеслав Лютый</i> . Он сложился как русский писатель	477
<i>Виктор Никитин</i> . Неравнодушный человек	483
<i>Евгений Новичихин</i> . Чистого русского слова радеть	484
<i>Аркадий Макаров</i> . Укрощение строптивых по-украински	493
<i>Сергей Пылёв</i> . Незабываемое	497
<i>Святослав Рыбас</i> . Светлый, негибаемый	499
<i>Лидия Сычева</i> . Воин русского слова	500
<i>Иван Щёлоков</i> . Сердце-колокол	502
<i>Точка зрения:</i>	
<i>Марина Краснякова</i> . Русская душа в прозе Ивана Евсеенко	510

Е **Евсеенко И.И.**
Сердце-колокол. Повести последних лет. Воспоминания коллег и друзей. —
Воронеж: ГБУК ВО «Журнал “Подъём”», 2024. — 516 с.
ISBN

УДК
ББК
Е

Литературно-художественное издание

Евсеенко Иван Иванович

СЕРДЦЕ-КОЛОКОЛ

*Повести последних лет.
Воспоминания коллег и друзей*

Руководитель издательского проекта *И. А. Щёлоков*
Составитель *Е.Г. Новичихин*
Редактор-составитель *В.Е. Новохатский*
Корректор *Е.С. Стрельникова*
Компьютерная верстка и дизайн *И.К. Вовчаренко*

Подписано в печать 30.07.24. Формат 70x100 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Заказ № . Тираж 300 экз.